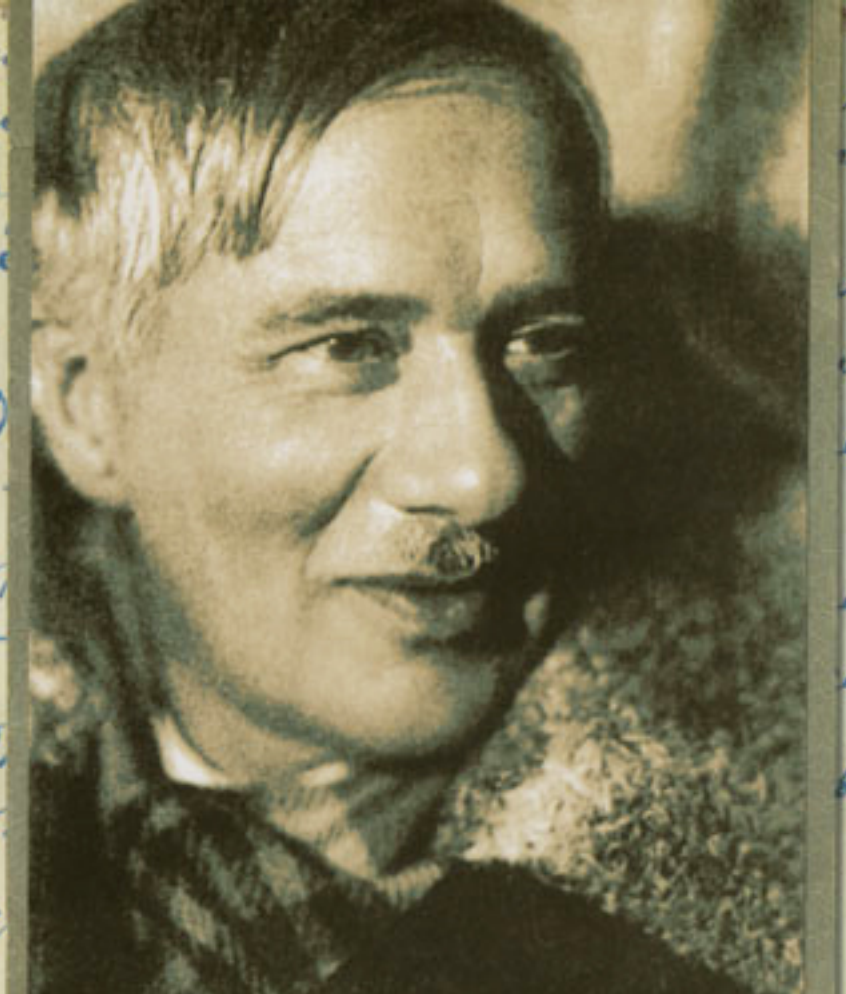

Корней Чуковский

---

2 Е. К. Жуковская. "Записки". Л. 1930, стр. 2

3 Там же, стр. 205–206

Корней Чуковский

Корней

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ ТОМАХ

Чуковский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ДЕВЯТЫЙ

ЛЮДИ И КНИГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

МОСКВА 2012

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6
Ч-88

Файл книги для электронного издания подготовлен
в ООО «Агентство ФТМ, Лтд.» по оригинал-макету издания:
Чуковский К. И. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 9. —
М.: ТЕРРА–Книжный клуб, 2004.

Составление и подготовка текста
Б. Мельгунова и Е. Чуковской
При участии
О. Степановой

Оформление художника
С. Любаева

Чуковский К. И.

Ч-88 Собрание сочинений: В 15 т. Т. 9: Люди и книги/ Коммент. Б. Мельгунова и Е. Ивановой. — 2-е изд., электронное, испр. — М.: Агентство ФТМ, Лтд, 2012. — 496 с.

В девятый том Собрания сочинений вошел сборник «Люди и книги», посвященный «эпохе Некрасова». Среди статей К. Чуковского — рассказы о писателях 1860-х годов, печатавшихся в некрасовском «Современнике», жизнь и творчество Николая Успенского, Василия Слепцова, А. В. Дружинина, их отношения с Некрасовым, их общественная позиция — все это воссоздает литературную обстановку эпохи.

В приложении помещены критические статьи Чуковского о писателях 19 века, разбросанные по малодоступным изданиям. Среди этих работ — статьи о Тарасе Шевченко, А. К. Толстом, И. В. Омулевском, о мемуарах Т. Пассек и Е. Жуковской.

Большинство статей после революции не переиздавалось.

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

© К. Чуковский, наследники, 2012
© Е. Чуковская, составление, 2012
© Е. Иванова, комментарии, 2012
© Б. Мельгунов, комментарии, 2012
© Агентство ФТМ, Лтд., 2012

ЛЮДИ И КНИГИ

1

Существует рассказ о том, будто в сороковых годах минувшего столетия один русский степной помещик, человек азартный и размашистый, встретился в Париже с Карлом Марксом и так воспламенился его революционной проповедью, что обещал ему тотчас же по приезде в Россию продать все свое имение, с тем, чтобы вырученные деньги пожертвовать на нужды европейской революции.

Об этом повествует в своих «Литературных воспоминаниях» критик и мемуарист Павел Васильевич Анненков[1]. Из тех же «Литературных воспоминаний» мы знаем, что, вернувшись на родину, помещик и думать забыл о своих «горячих словах» и никаких денег на революцию не дал. Все его «горячие слова» оказались пустым бахвальством. Впрочем, Анненков не сомневается в том, что, заявляя о готовности «бросить себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции», этот человек в ту минуту был искренен и свято верил своему обещанию.

Установить фамилию этого человека было довольно легко, потому что она, как мы ниже увидим, неоднократно встречается в тогдашней переписке Маркса и Энгельса, равно как и некоторых других эмигрантов, проживавших в то время в Париже.

Фамилия этого человека — Толстой.

Но что это был за Толстой, долго оставалось невыясненным, причем разнообразные догадки, высказывавшиеся по этому поводу, были зачастую основаны на полном незнании дела.

Так, Марсель Гервег, редактор переписки своего отца, немецкого поэта Георга Гервега, печатая письмо Карла Маркса, где упоминается этот Толстой, без дальних размышлений объявил его Львом Николаевичем, хотя Льву Николаевичу было в ту пору

[1] *П. В. Анненков.* Литературные воспоминания. М., 1960, с. 301.

не больше семнадцати лет, и он ни разу еще не выезжал за границу[1].

Другой исследователь, немецкий биограф Бакунина, «специалист по анархизму» доктор Макс Неттлау, высказал предположение, столь же беспочвенное, что это — Дмитрий Толстой, впоследствии пресловутый министр народного просвещения и внутренних дел, хотя Дмитрий Толстой был в ту пору зеленым юнцом, только что сошедшим со школьной скамьи и чрезвычайно далеким от всякой политики.

Неизвестный редактор архивного наследия Анненкова[*2], опубликованного лет через пять после смерти писателя, найдя в одном из документов упоминание о том же Толстом, окрестил его Феофилом Толстым, и это было такой же нелепостью[3]. Феофил Толстой, музыкант и писатель, близкий к придворным кругам, — в качестве многолетнего соратника Фаддея Булгарина, имел слишком определенную репутацию воинствующего мракобеса, и, конечно, никакие связи с революционными деятелями были ему недоступны.

Хитроумнее всех поступил Е. А. Ляцкий, редактор полного собрания писем Белинского. Белинский в одном из писем упоминает об этом самом Толстом, а Ляцкий, даже не пытаясь дознаться, что это был за Толстой, зарегистрировал его фамилию без имени-отчества и тем самым надолго сохранил его инкогнито[4].

Вскоре, впрочем, нашелся исследователь (Д. Рязанов), занявшийся этим вопросом вплотную. После тщательных раскопок в зарубежных и русских архивах он пришел к убеждению, что то был Яков Толстой, небезызвестный парижский агент русской политической полиции[5].

Это утверждение было сразу же принято всеми с самой простодушной доверчивостью и никем никогда не оспаривалось.

Проявив большую эрудицию, исследователь сочинил нечто вроде трактата о многогрешном Якове Толстом, о его доносах и предательствах, а также о его провокаторских отношениях к Марксу, — и можно ли сомневаться, что трактат представлял бы собою немалую ценность, если бы тот Толстой, о котором мы сейчас говорили, был и в самом деле Яковым Толстым. Но так как

---

[1] «Briefe von und an Georg Herwegh». Hrsg. von Marcel Herwegh, 1898, c. 89.

[2] Здесь и далее знаком «*» обозначены комментарии в конце тома. — *Примеч. сост.*

[3] «Анненков и его друзья». СПб, 1892, с. 521.

[4] *В. Г. Белинский.* Письма. Т. III (1843—1848). СПб., 1914, с. 179.

[5] *Д. Рязанов.* Карл Маркс и русские люди сороковых годов. Второе дополн. изд. М., 1920, с. 27—71.

Яков Толстой здесь ни при чем, весь этот кропотливый и затейливый труд оказался совершенно никчемным.

Странным образом в литературе о Марксе и Энгельсе эта ошибка держалась не меньше пятнадцати лет. Еще в 1926 году вышла в Центрархиве любопытная книга донесений Якова Толстого в Третье отделение о революционных событиях 1848 года во Франции[1], и в предисловии к ней повторяется та же легенда о личных сношениях этого чиновника тайной полиции с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом[2].

Между тем не требуется никакой эрудиции, чтобы с первого же взгляда заметить, что ни одной чертой своей личности Яков Толстой не похож на того «степного помещика», который фигурирует в воспоминаниях Анненкова. Яков Толстой был осторожный, замкнутый, уклончиво-корректный чиновник, которому никакие широкие жесты были совершенно несвойственны, а тот Толстой, о котором мы сейчас говорим, был, судя по воспоминаниям Анненкова, человеком другого, прямо противоположного психологического склада. И все же, когда в 1928 году я в своем предисловии к «Воспоминаниям» А. Я. Панаевой дерзнул указать по какому-то случайному поводу, что «степной помещик», встречавшийся с Марксом в Париже, был не Яков, а Григорий Толстой*, человек в своем роде весьма примечательный, и что именно об этом Григории Толстом говорится в воспоминаниях Анненкова, мое утверждение было встречено с большим недоверием и даже, как это ни странно, с раздражением.

В «Летописях марксизма» появилась статья Д. Рязанова, где он не то чтобы опровергал мое указание на Григория Толстого, но третировал его как пустую гипотезу, не подкрепленную фактами.

«К сожалению, — иронизировал он, — К. Чуковский забыл нам сообщить, как ему все это удалось установить»[3].

И тут же выражал сожаление, что я не представил читателю никаких писем Григория Толстого, дабы «произвести экспертизу

---

[1] «Революция 1848 г. во Франции. Донесения Якова Толстого». Предисл. Г. Зайделя и С. Красного. Л.: Изд. Центрархива, 1926.

[2] В том же архивном источнике, из которого составители почерпнули опубликованные ими материалы, было помещено и незамеченное ими донесение Якова Толстого о молодом Марксе и его знаменитом издании «Deutsch-Französische Jahrbücher». Донесение относится как раз к 1844 г., когда произошла и парижская встреча К. Маркса с Г. Толстым. Этот документ, столь красноречиво обнаруживающий грубую ошибку автора предисловия, опубликован ныне в «Литературном наследстве». Т. 31—32, с. 604—605.

[3] *Д. Рязанов.* Новые данные о русских приятелях Маркса и Энгельса. — «Летопись марксизма». Т. VI, 1928, с. 41.

и путем их сравнения с имеющимся в оригинале письмом Толстого к Марксу доказать тождественность их почерков»[1].

Писем я действительно никаких не представил, но мизерно скудной была бы методика историко-литературных исследований, если бы сличение почерков являлось ее главным ресурсом.

В данном случае гораздо плодотворнее сличение психических особенностей того и другого Толстого.

В ту пору у нас все еще процветала обширная категория историков, у которых вполне атрофировалась живая способность вникать в психологию изучаемых ими исторических лиц. Иначе эта странная ошибка не держалась бы в литературе столько лет, а была бы опровергнута тотчас же, так как не требуется никаких документов, чтобы утверждать с непоколебимой уверенностью, что парижским знакомым и собеседником Маркса и Энгельса был отнюдь не полицейский агент Яков Николаевич Толстой, а помещик Казанской губернии Григорий Михайлович Толстой, человек довольно популярный в тогдашних политических, писательских и светских кругах.

Ведь в литературе издавна известен один поступок Григория Михайловича, который во многих подробностях, во всей своей внутренней сущности так изумительно похож на описанный Анненковым поступок неведомого «степного помещика», что прямо-таки невозможно отказаться от мысли, что оба эти поступка совершены одним и тем же лицом.

Если бы даже мы ничего другого не знали о Григории Толстом, кроме того эпизода, о котором я сейчас говорю, мы и тогда не могли бы отказаться от мысли, что он — и никто другой — обещал Карлу Марксу продать свое степное имение, чтобы, по выражению Анненкова, «бросить себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции».

2

Этот эпизод входит в биографию Некрасова и до того характерен, что давно уже следовало бы возможно пристальнее всмотреться в него, тем более что он связан с одним из важнейших событий в истории нашей общественности — с основанием журнала «Современник».

Дело происходило в 1846 году. То был поворотный год в жизни молодого Некрасова, год его необыкновенных литературных

[1] *Д. Рязанов*. Новые данные о русских приятелях Маркса и Энгельса. — «Летопись марксизма». Т. VI, 1928, с. 42.

и житейских удач. Именно в этом году Некрасов после долгих поисков, затянувшихся на многие годы, нашел, наконец, впервые свой собственный, некрасовский стиль — глубоко народный, самобытный, вполне отвечавший демократическим требованиям нарождавшихся в ту пору в России широких читательских масс.

Ему было двадцать пять лет. Он только что написал «В дороге», «Огородника», «Псовую охоту», «Родину», «Тройку» — то есть первые стихотворения, в которых послышался его подлинный голос, и сразу, в какие-нибудь несколько месяцев, встал перед молодежью, перед Белинским и Герценом как одна из центральных литературных фигур, призванных сказать в современной поэзии новое, неслыханное слово.

Еще в 1843—1844 годах Белинский считал Некрасова «не более, как полезным журнальным сотрудником», а в 1845 году, прочитав стихотворение «В дороге», он с восторженным удивлением говорит молодому писателю:

«Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный!»[1]

В 1846 году это удивление сменилось уверенностью; и можно смело сказать, что тот Некрасов, которого мы знаем теперь, Некрасов «Коробейников», «Мороза, Красного носа», «Кому на Руси жить хорошо», впервые сформировался именно тогда, в 1845—1846 годах.

С этого времени Некрасов под могучим влиянием Гоголя и Белинского перестал сочинять водевили для «александрынских» подмостков, отказался от роли журналиста-поденщика, стряхнул с себя личины «Перепельского», «Пружинина», «Ивана Грибовникова» и осознал до конца свой будущий творческий путь. В биографии Некрасова 1845—1846 годы — годы перелома и необычайного роста. Характерно, что, издавая впоследствии сборники своих стихотворений, он выбрасывал оттуда решительно все, что было написано им до этой знаменательной даты.

Другая удача Некрасова, относящаяся к тем же переломным годам, заключалась в небывалом успехе его «Петербургского сборника». Он и раньше издавал не без успеха ходкие альманахи, брошюры и книги, но именно «Петербургский сборник», вышедший в свет 12 января 1846 года с «Бедными людьми» Достоевского, стал выдающимся литературным событием. Успех его был, по выражению Белинского, «страшный». «Только три книги на Руси шли так страшно, — сообщал он из Петербурга приятелю, — «Мертвые души», «Тарантас» и «Петербургский сборник»[2].

[1] *И. Панаев.* Литературные воспоминания. М., 1950, с. 249.
[2] *В. Г. Белинский.* Полн. собр. соч. Т. XII. М., 1956, с. 263.

Именно с этого времени вчерашний, как он сам говорил о себе, «литературный бродяга», сделавшись в несколько месяцев полноправным членом кружка Белинского, получил счастливую возможность объединить все, что было молодого и творческого в передовой литературе эпохи. Недаром Гоголь в том же 1846 году назвал эту группу «некрасовцами»*: и Панаева, и Достоевского, и Герцена, и Тургенева. И теперь, когда все впервые уверовали в редакторский гений Некрасова, когда впервые окончательно выяснились его огромные возможности и как поэта, и как собирателя лучших сил передовой литературы, он не мог не подумать об осуществлении дерзкого замысла — о создании боевого журнала, который под руководством Белинского, при участии Герцена, Тургенева, Гончарова, Григоровича, Боткина, Панаева, Дружинина, Анненкова, явился бы средоточием всего прогрессивного, что существовало в тогдашней России.

Он действительно был гениальным редактором. В нем чудесно совместились все качества, необходимые для того, чтобы в условиях царской цензуры создать столь могучие аккумуляторы передовой русской мысли, какими явились его «Современник» и «Отечественные записки».

Оттого-то так легкомысленны те мемуары, где сообщается, будто мечта о журнале явилась к нему неожиданно, чуть ли не за чайным столом, или будто ему посоветовал какой-то добродушный помещик: «А почему бы вам не приняться за издание журнала?» Все это обывательский вздор.

Мысль о журнале — упорная, страстная — не могла не зародиться у Некрасова еще в 1845 году*, когда он работал над созданием «Петербургского сборника». Не забудем, что именно к этому времени — в 1846 году — у него сформировались убеждения, которые сделали его единственным в тогдашней России могучим революционным поэтом. У Булгарина были все основания в том же 1846 году доносить о нем тайной полиции: «Некрасов — самый отчаянный коммунист: стоит прочесть стихи его и прозу в С.-Петербургском Альманахе, чтоб удостовериться в этом. Он страшно вопиет в пользу революции»[1].

Революционная настроенность Некрасова, его демократизм, ненависть к николаевской рабовладельческой монархии должны были определить и действительно определили программу журнала.

У Некрасова было все для осуществления его давнишнего замысла: им был заранее намечен великий идейный руководитель

[1] *П[авел] Щ[еголев]*. Эпизод из жизни В. Г. Белинского. — «Былое». 1906. № 10, с. 283.

журнала — Белинский; у него была сплоченная группа высокодаровитых сотрудников, которые воплощали в себе все будущее русской литературы; у него была боевая программа — борьба с самодержавием, с крепостничеством; у него был обширный издательский опыт, какого не было ни у кого из писателей, окружавших Белинского; у него были налаженные связи с фабрикантами бумаги и с типографами, и было бы противоестественно, если бы он не попытался использовать все эти богатые возможности.

Одного у него не было: денег. Конечно, и «Петербургский сборник», и две другие книги, которые он — тоже чрезвычайно удачливо — издал и распродал вскоре после выхода «Петербургского сборника», принесли ему кое-какие доходы*, но для издания журнала был нужен большой капитал.

За этим-то капиталом, очевидно, и отправился он в мае 1846 года из Петербурга в казанскую глушь к тому самому Григорию Толстому, которого, как мы только что видели, горе-исследователи именовали то Дмитрием, то Львом, то Феофилом, то Яковом.

Из воспоминаний Валериана Панаева мы знаем, что еще осенью 1845 года этот Григорий Толстой прямо из-за границы приехал на несколько недель в Петербург, где познакомился с юным Некрасовым, а также с Достоевским, Григоровичем и другими писателями, входившими тогда в кружок Белинского.

Знакомил его со всеми, конечно, Иван Панаев, с которым он незадолго до этого довольно близко сошелся в Париже.

Валериан Панаев вспоминает: «Среди знакомых появилось новое для литературного кружка лицо: Григорий Михайлович Толстой, которого я знал с детства. Это был... образованнейший человек, в полном смысле джентльмен, как в жизни, так и по характеру и по манерам. Толстой проводил постоянно время за границей... Он только что приехал оттуда и жил некоторое время в Петербурге до отъезда в свою деревню Ново-Спасское, Казанской губернии, Лаишевского уезда, куда и пригласил на лето Ивана Ивановича с женой, а также Некрасова для дивной охоты на дупелей, которые водились в неисчислимом количестве в окрестностях означенной деревни»[1].

Валериан Панаев в своих мемуарах описывает и наружность Григория Толстого. Оказывается, это был широкоплечий красавец, богатырского роста, с большой шевелюрой, изящный и стройный[2]. Привлекательная наружность Григория Толстого упоминается и в других материалах.

---

[1] «Воспоминания В. А. Панаева». — «Русская старина». 1901. Кн. 9, с. 491.

[2] Там же.

Теперь, в мае 1846 года, едва только стало известно, что Григорий Толстой воротился из Парижа на родину, Некрасов совместно с Панаевым поспешил повидаться с ним, чтобы достать у него средства на издание журнала.

Ехать пришлось далеко — в экипажах — через всю Россию, из Петербурга в Казань. Наивные мемуаристы уверяют, будто Некрасов проехал все эти тысячи верст лишь для того, чтобы пострелять дупелей в имении Григория Толстого. Чаще всего это дело изображается так, будто ни у Некрасова, ни у Панаева не было и мысли о журнале, когда они поехали в гости к Толстому*: просто петербургские писатели совершили увеселительную прогулку в живописное имение богатого барина, пожили там в свое удовольствие, и, если бы хозяин ни с того ни с сего по случайному поводу не заговорил с ними об издании журнала, у русской молодой демократии, пожалуй, и не было бы никогда «Современника»!

Все это пустые измышления. Некрасов ни за что не поехал бы в эту дальнюю усадьбу Григория Толстого, если бы он не надеялся на приобретение средств для осуществления своей заветной мечты.

В мемуарной литературе есть указания на то, что еще до поездки к Толстому мысль об основании журнала была «заветной мечтой» Некрасова. По словам А. Я. Панаевой, он так и заявил Григорию и Владимиру Толстым: «Я много раз рассуждал с Белинским об основании нового журнала, но осуществить нашу заветную мечту, к несчастию, невозможно без денег»[1].

В одной из своих предсмертных автобиографических записей Некрасов, упомянув о своей поездке к Толстому, без всяких обиняков указал ее цель: «Я возбуждал вопрос об издании журнала. Дело остановилось за деньгами» (XII, 14)[2].

Самое слово «возбуждал» не оставляет сомнений, что инициатива в этом деле принадлежала Некрасову и что ему вовсе не требовалось ездить в такую даль, чтобы ему подсказывали его же идею.

3

Поездка, играющая такую заметную роль в биографии Некрасова, останется для нас непонятной, покуда мы не дознаемся, что за человек был Григорий Толстой и каким он должен был пока-

[1] *А. Я. Панаева.* Воспоминания. М., 1956, с. 152.

[2] Здесь и на дальнейших страницах римская цифра означает том, арабская — страницу двенадцатитомного полного собрания сочинений и писем Н. А. Некрасова (1948—1952).

заться Некрасову, появившись в кружке Белинского осенью 1845 года.

До сих пор почему-то считается, что единственные сведения о том периоде жизни Григория Толстого мы можем почерпнуть лишь в мемуарах А. Я. Панаевой, где очень бегло и скупо рассказано, что Григорий Толстой, проживая в Париже в 1845 году, часто встречался с Михаилом Бакуниным и проводил с ним почти все вечера в каких-то горячих беседах.

Между тем существуют более подробные материалы о Григории Толстом — главным образом об интересующем нас периоде его биографии.

Материалы эти, остававшиеся долгие годы не замеченными, имеют, как мне кажется, немалую ценность: они объясняют нам при помощи нескольких случайных и разрозненных фактов, какие мотивы руководили Некрасовым, когда, затевая журнал «Современник», он счел необходимым привлечь в качестве одного из основателей этого радикального органа именно Григория Толстого.

Укажу раньше всего на воспоминания немецкого историка и публициста Карла Теодора Фердинанда Грюна (1817–1887), того самого, с которым русский читатель знаком по ранней переписке Маркса — Энгельса и по их «Немецкой идеологии», где целая глава посвящена Карлу Грюну как представителю так называемого «истинного социализма»[1].

Вспоминая о своем пребывании во Франции в 1845 году (то есть за полгода до встречи Некрасова с Григорием Толстым), Карл Грюн сообщает, что среди революционеров, с которыми он встречался в то время в Париже, русские казались ему революционнее всех, и при этом он называет Бакунина, а также «некоего графа Толстого», который был, очевидно, неразлучен с Бакуниным.

«Тогда все стремления были однородны, — пишет он. — Задача состояла в том, чтобы разрушить старое и на его место водворить нечто новое, великое — точно не знали, что именно. Русские радикалы, смелостью превосходившие всех других, импонировали особенно сынам великого царства середины (то есть немцам. — *К. Ч.*). Если эти русские шли так далеко, чего же могли ждать мы, остальные? Однако наши личные отношения были весьма ограниченны, прежде всего — вследствие полной противоположности нашего образа жизни. Бакунин и прочие русские — из них я припоминаю еще одного, графа Толстого (Герцена же я

[1] См.: *К. Маркс и Ф. Энгельс.* Сочинения. Т. 27: Переписка. М., 1962, с. 9, 31, 37, 39–41, 49, 58–60, 63 и т. д.

никогда не видал, он жил тогда, кажется, в Женеве)[1] — все не занимались, в сущности, ничем, кроме чтения газет; они превращали ночь в день и день в ночь)»[2].

Этот отрывок из воспоминаний К. Грюна, написанных в 1876 году, давно уже напечатан в русском историческом журнале, но редакция журнала не заметила того обстоятельства, что этот «граф Толстой», которого Карл Грюн ставит рядом с Бакуниным и Герценом, и есть все тот же Григорий Толстой. Правда, Грюн ошибочно зовет его графом, но это обычная ошибка иностранца, пишущего о богатом русском барине. К тому же он мог полагать, что у нас все Толстые — графы. Как бы то ни было, он на всю жизнь запомнил, что в предреволюционном Париже, среди тех, кто стремился «разрушить старое и на его место водворить нечто новое, великое», был какой-то Толстой, друг Бакунина, — и что наряду с Бакуниным, наряду с другими русскими радикалами, жившими в то время в Париже, он смелостью своих революционных речей превосходил всех других «разрушителей старого». Что этот смелый радикал был именно Григорий Толстой, косвенно подтверждается «Воспоминаниями» А. Я. Панаевой, которая, рассказывая о своей заграничной поездке (в 1844 году), сообщает, что Бакунин познакомил ее в Париже с казанскими помещиками братьями Толстыми и что она часто проводила вечера вместе с ними, слушая их горячие речи — то есть речи Бакунина и братьев Толстых. Почему Панаева говорит о братьях Толстых, я не знаю; думаю, что Григорий находился там со своим братом Владимиром, но Владимир Толстой был, должно быть, довольно бесцветною личностью, потому что другие мемуаристы даже не упоминают о нем[3].

Могут возразить, что ни Карл Грюн, ни Панаева не являются свидетелями вполне достоверными. Но, во-первых, оба они, не зная друг друга, утверждают одно и то же, а во-вторых, у нас есть еще одно показание, на этот раз незыблемо точное, не подлежащее ни малейшим сомнениям: подлинное письмо самого Михаила Бакунина, тоже никем не замеченное. Это письмо не только подтверждает правильность мемуарной записи Карла Грюна,

[1] Герцен в то время еще находился в России.

[2] «Из воспоминаний Карла Грюна о Бакунине». — «Голос минувшего». 1913. № 1, с. 186.

[3] В 1928 г. известный знаток казанской старины Б. П. Ильин прислал мне по моей просьбе «Сведения о Григории Михайловиче Толстом, полученные от правнучки его», и там, между прочим, сказано: «Сделавшись самостоятельным владельцем своего состояния (Толстой) вместе с братом Владимиром проживал большею частью за границей — преимущественно в Париже... Брат Григория Михайловича Владимир был женат на крестьянке...»

но — к нашему удивлению — свидетельствует, что Григорий Толстой в то время был в глазах Бакунина самым пламенным из всех прославленных деятелей европейской демократии, каких Бакунин когда-либо встречал; а встречал он к тому времени и Георга Гервега, и Луи Блана, и Прудона, и Арнольда Руге, и Фохта, и Вейтлинга, не говоря уже о Марксе и Энгельсе. Это звучит чудовищно, но это документально доказанный факт: в зиму 1845—1846 года Бакунин был так очарован революционным максимализмом Григория Толстого, что ставил его выше двух величайших борцов за свободу, считая, вопреки очевидности, что Григорий Толстой — человек революционного действия, а они — всего лишь теоретики (?!), приверженцы мертворожденных (!) кабинетных доктрин.

Вот это письмо, где Бакунин с такой страстной восторженностью прославляет революционный энтузиазм Григория Толстого:

«Целую зиму (1844—1845) мы были здесь в Париже неразлучны, — сообщает он своему брату Павлу 29 марта 1845 года, — проводили целые дни вместе, и не прошло почти ни одного вечера, в котором бы мы, читая и разговаривая, куря цигаретки и запивая их чаем, не засиживались бы до трех часов ночи...

Мы слились духом и сердцем: у нас общая цель и общий путь, хотя и в разных краях и обстоятельствах. Я узнал после твоего отъезда множество людей в Германии, Швейцарии, Бельгии, Франции, познакомился со многими и самыми замечательными демократическими знаменитостями и, *могу тебя уверить, не знаю ни одного человека, который не был бы ниже его в демократическом отношении; я не знаю демократа, которого мог бы сравнить с ним, потому что то, что в других – слова, теории, системы, слабые предчувствия, то стало в нем жизнью, страстью, религией, делом!..* (Курсив мой. — *К. Ч.*)

...Милый Павел, встреча моя с ним в Париже для меня была великое счастье; я отогрел несколько очерствелую душу, и окреп, и возмужал, и снова помолодел в любовных отношениях с ним...»[1]

Таково было мнение Бакунина о Григории Толстом. Правда, Бакунин был человек увлекающийся, но если он провел с Григорием Толстым в «любовных отношениях» столько месяцев, если, наблюдая его изо дня в день, проводя в беседах с ним целые ночи, он пришел к убеждению, что Григорий Толстой — его ближайший собрат по революционной борьбе, значит, были в этом казанском помещике какие-то душевные качества, которые способствовали подобным иллюзиям.

---

[1] *А. А. Корнилов.* Годы странствий Михаила Бакунина. М.—Л., 1925, с. 283.

Даже учитывая всегдашнюю наклонность Бакунина к гиперболической фразе, мы не можем пренебречь сделанной им характеристикой Григория Толстого.

Ведь писал эти строки не тот свихнувшийся, полубезумный Бакунин, политический авантюрист, заговорщик, который воевал с Интернационалом и якшался с Нечаевым, — их писал Бакунин первого периода революционной работы, полный еще неистраченных сил и воплотивший — как ошибочно казалось тогда — в своей огромной фигуре «протестацию» многомиллионных народов против угнетавшего их деспотизма. Это был молодой Бакунин, веривший, что революция — завтра, и замечательно, что он считал Григория Толстого не только своим единомышленником, но и своим двойником, — искренне видел в нем второго Бакунина.

«Он [Григорий Толстой] через полгода или через год возвращается на святую Русь, — писал в том же письме Бакунин брату, — он отыщет тебя, где бы ты ни был, и вполне *заменит тебе меня, тем более что можешь быть наперед уверен, что его слова, его чувства и его мысли будут вполне и без всякого ограничения также и мои слова, мои чувства и мои мысли*. Вверься ему вполне, милый друг, я посылаю тебе в нем спасителя, который поможет тебе и словом и делом»[1].

Это письмо внушено не мимолетным увлечением. Оно написано после долгого знакомства с Григорием Толстым. Поразительно, что такой документ остался незамеченным; никто даже не попробовал вникнуть, о ком говорит с таким восхищением Бакунин. Печатая это письмо в своей книге «Годы странствий Михаила Бакунина», неряшливый и равнодушный публикатор даже не сделал попытки узнать, кого изображает здесь знаменитый бунтарь как своего лучшего друга[2]. Та глава, где приводится это письмо, названа Корниловым так: «Встреча с русским демократом в Париже осенью 1844 г.» — и для исследователей оставалось неведомым, что этот «русский демократ» есть опять-таки Григорий Толстой.

Правда, в целях конспирации Бакунин нигде не называет его по фамилии, но, если бы даже не существовало воспоминаний Карла Грюна и А. Я. Панаевой, можно без большого труда доказать, что все вышеприведенные дифирамбы Бакунина посвящены именно Григорию Толстому. Дело в том, что Бакунин называет «русского демократа» в одном месте своего письма — «родственником Елизаветы Петровны», а единственной Елизаветой Петровной, которая в ту пору находилась в близких отношениях с Бакуниным, была, конечно, Елизавета Петровна Языкова, заме-

[1] *А. А. Корнилов*. Годы странствий Михаила Бакунина. М.—Л., 1925, с. 283—284.

[2] Там же.

чательная русская женщина, старшая сестра декабриста Ивашева. В литературе о декабристах ее самоотверженная преданность пострадавшему брату пользуется почетной известностью[1]. М. Д. Беляев в сборнике «Памяти декабристов» справедливо говорит, что Елизавета Петровна доводила эту любовь (к брату) почти до экзальтации[2].

Это та самая «Лиза Языкова», о которой Бакунин писал в одном более раннем письме: «...как страстно я люблю эту женщину, как я предан ей...», «Я преклоняюсь перед ней, боготворю ее» (письмо из Дрездена от 9 октября 1842 года)[3]. Письма Бакунина, относящиеся к дрезденскому периоду его жизни, полны разнообразных упоминаний о ней. Елизавета Петровна жила в Дрездене с 1838 года вместе с больным мужем Петром Михайловичем Языковым и младшей сестрой. У нее-то и поселился Бакунин по приезде в Дрезден осенью 1841 года и у нее познакомился с Григорием Толстым — именно как с ее другом и родственником. Проф. А. А. Корнилов, должно быть, не знал, что деды Григория Михайловича и Елизаветы Петровны Языковой были родные братья, и что девичья фамилия ее матери, генеральши Веры Ивашевой, — Толстая. «Грегуар Толстой», как его называли в семействе Ивашевых, был в доме Елизаветы Петровны на правах своего человека. Характерно, что в одном из писем Бакунин, вспомнив о семье Елизаветы Петровны, тут же, в той же самой строке вспоминает и Григория Толстого:

«Поклонитесь от меня хорошенько Елизавете Петровне и всем барышням и Григорию Михайловичу»[4].

С Елизаветой Языковой, как мы ниже увидим, Григория Толстого связывала давнишняя дружба. Так как из воспоминаний Карла Грюна и А. Я. Панаевой мы знаем, что Бакунин в те годы был в близком общении с каким-то Толстым, и так как из всех Толстых, которые могли бы встретиться с Бакуниным в Дрездене в 1841 году и в Париже в 1844—1845 годах, только Григорий Михайлович был «родственником Елизаветы Петровны» (Языковой), мы можем считать установленным, что восторженные строки Бакунина относятся именно к Григорию Толстому.

Все это мог легко сообразить исследователь жизни Бакунина проф. А. А. Корнилов, но — повторяю — он так неохотно вникал в публикуемые им документы, что даже не заинтересовался вопросом, кто же был в то время ближайшим товарищем героя его долголетних «исследований».

---

[1] *О. К. Буланова.* Роман декабриста. М., 1925, с. 206— 221.

[2] *М. Д. Беляев.* От ареста до ссылки. — Сб. «Памяти декабристов». Т. 2. Л., 1926, с. 5—50.

[3] *А. А. Корнилов.* Годы странствий Михаила Бакунина. М.—Л., 1925, с. 161.

[4] Т а м ж е, с. 89.

Из того же письма мы видим, что Бакунин не сразу сошелся с Толстым. В Дрездене в 1841 году, когда они встречались у Елизаветы Языковой, их знакомство не стало дружбой. «Ты помнишь, — пишет своему брату Бакунин, — мы всегда уважали его (то есть Григория Толстого) и признавали в нем благородную и богатую природу; но нам казалось тогда, что в нем есть недостаток энергии, мы упрекали его в отсутствии практического идеализма. Мы были чужды ему, несмотря на все уважение, которое питали к нему. Он также смотрел на нас, и особливо на меня, несколько искоса. Теперь же наши отношения совершенно переменились. Мы слились духом и сердцем»[1].

Значит, любовь к этому человеку зародилась издавна и не была внезапным увлечением Бакунина, подобно многим его дружбам и привязанностям.

К тому времени политическая экзальтация Бакунина уже дошла до крайнего предела, и, так как разрушение старого мира стало, в сущности, единственной темой всех его тогдашних писаний, разговоров, речей, нет никакого сомнения, что любимейшим его собеседником мог быть в ту пору лишь тот, кто вполне разделял его бунтарские мысли. Ведь не стал бы он излагать эти мысли в течение десятков ночей перед каким-нибудь безучастным филистером.

И если бы во время этих еженощных бесед Толстой ограничился ролью пассивного слушателя, Бакунин не назвал бы Толстого обновителем его «зачерствелой» души, не подчеркивал бы, что это — человек революционного *действия*.

И разве стал бы Бакунин так уверенно называть Григория Толстого ближайшим своим другом и союзником, лучшим своим заместителем на русской земле, если бы Григорий Толстой не высказывал изо дня в день те же максималистские взгляды, какие высказывал в ту пору Бакунин!

Не забудем, что дело происходило в Париже, в предгрозовую эпоху, за три года до февральских событий, в раскаленной эмигрантской среде, для которой революция была единственным содержанием жизни.

4

Знал ли Некрасов, отправляясь в село Ново-Спасское, что он едет к единомышленнику и боевому собрату Бакунина? Конечно, знал, потому что, во-первых, А. Я. Панаева во время своего пре-

[1] *А. А. Корнилов.* Годы странствий Михаила Бакунина. М.—Л., 1925, с. 283—284.

бывания в Париже многократно присутствовала при откровенных ночных разговорах Бакунина и братьев Толстых, — и эти разговоры так поразили ее, что она и через сорок лет вспоминала о них как об одной из достопримечательностей тогдашней парижской жизни.

А во-вторых, учитывая жгучий интерес Белинского к тому, что в те годы происходило в Париже, трудно представить себе, чтобы, приехав прямо из Парижа в Петербург осенью 1845 года и очутившись в кружке Белинского в качестве лучшего друга Бакунина (о чем могли свидетельствовать те же Панаевы), трудно представить себе, чтобы Григорий Толстой, так близко стоявший к парижской эмигрантской среде, начитавшийся и «Трибюн», и «Насьональ», и «Попюлер», и «Реформ», вдоволь надышавшийся революционным воздухом великого города, не стал бы рассказывать в этом кружке о Феликсе Пиа, Кавеньяке, Ледрю-Роллене, Жорж Санд, Викторе Гюго и других знаменитостях предреволюционной Франции, чьи имена звучали как родные для передовых людей той эпохи.

Высказывал ли он в кружке Белинского максималистские взгляды, которые так пленили Бакунина, мы, конечно, не знаем, но несомненно, что в этом кружке у него прочно сложилась репутация человека передовых убеждений. Ниже мы увидим, что не только Панаевы, но и Боткин и Анненков, то есть наиболее влиятельные члены кружка Белинского, были свидетелями его парижского сближения с Бакуниным и другими революционными деятелями.

Конечно, под влиянием Бакунина он анархистом не стал. Но революционную страсть (хотя бы и на короткое время) Бакунин, несомненно, возбудил в нем, и Некрасову естественно было надеяться, что журналу, руководителем которого будет Белинский, охотнее всего окажет поддержку убежденный сторонник революционной борьбы, ближайший товарищ Бакунина. Не станет же давать деньги на радикальный журнал тот, кто не сочувствует его направлению. Здесь нужен был свой человек, человек той же «партии», и у Некрасова были все основания считать Толстого именно таким человеком. Этому способствовало и то обстоятельство, что всем была, конечно, известна его родственная и дружеская близость к декабристу Ивашеву.

Повторяю, Некрасов потому главным образом и обратился к Толстому, что Толстой был как бы одним из заочных членов кружка Белинского, другом Бакунина и прославленных европейских демократов, человеком передовых убеждений.

Об этом сказал сам Некрасов в той автобиографической записи 1877 года, которая была упомянута выше. Здесь Некрасов име-

нует Толстого своим приятелем и добавляет: «...он бывал за границей, обладал некоторым либерализмом». Сдержанность этой характеристики понятна в ретроспективной оценке, отразившей разочарование Некрасова в последующем поведении Толстого, но все же здесь подтверждается даваемое мною объяснение причины, заставившей поэта обратиться именно к Григорию Толстому.

Много лет спустя в газете «Волжский вестник» была напечатана заметка П. Юшкова «Н. А. Некрасов в селе Спасском», и в этой заметке читаем:

«Гостеприимный, умный, развитой и замечательно оригинальный человек был Григорий Михайлович! Человек хорошо образованный, богатый, изъездивший не раз Европу, Григорий Михайлович был сыном своего времени. Это был вполне человек сороковых годов, человек увлекающийся, страстный... Село Ново-Спасское, где жил Григорий Михайлович во время приезда к нему гостей — Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, — большое, богатое село, раскинувшееся привольно и широко по оврагу речонки Курлянки, с большим густым садом. В то время Григорий Михайлович жил в деревянном флигеле, построенном у сада с террасой, выходящей в сад. Тут-то, на этой террасе, в хорошие, ведренные дни, особенно по вечерам, часто сиживали Некрасов, Панаев и Толстой — и тут-то было окончательно решено арендовать «Современник» у Плетнева. Далеко за полночь на этом балконе велась живая, увлекательная речь о новом журнале, обдумывалась его программа, те улучшения, какие предполагалось ввести в него, и проч. При этом все трое давали друг другу слово работать для журнала и поддерживать его кто чем может»[1].

Юшков дважды упоминает об «увлекательной речи» и о «живых, жарких беседах», которые Толстой вел со своими гостями, но оба раза эти «жаркие беседы», по его словам, были посвящены «Современнику». Думаю, что, хотя новый журнал (его название, кстати, тогда еще не определилось, так как, находясь в имении у Толстого, Некрасов еще не знал, какой из двух-трех петербургских журналов ему удастся приобрести) должен был горячо интересовать всех трех собеседников, все же он не был единственной темой их долгих деревенских разговоров. Человек, исколесивший Европу, проживший несколько лет в предреволюционном Париже, водивший знакомство и с декабристами, и с Карлом Марксом, и с Энгельсом, многое мог рассказать заезжим петер-

[1] «Волжский вестник». 1887. № 338. Отмечу кстати, что эта газетная вырезка сохранилась в бумагах Н. Г. Чернышевского и ныне находится в саратовском музее его имени, по инвентарю № 1038.

бургским литераторам. И трудно себе представить, чтобы Григорий Толстой, только что переживший горячее увлечение идеями Маркса, не рассказывал петербургским гостям, представителям радикальной общественной мысли, близким друзьям Белинского, о своих парижских встречах с Марксом и не поведал бы о своих великодушных намерениях продать Ново-Спасское, дабы истратить вырученные деньги на улучшение благосостояния своих крепостных и на другие мероприятия подобного рода.

Но, конечно, центром их бесед был новый журнал. С юношеским энтузиазмом отнесся Григорий Толстой к созданию передового демократического журнала, изъявляя полную готовность отдать этому делу и силы, и средства. Недаром Анненков назвал его в своих воспоминаниях «пылким», а Юшков «увлекающимся»: тот «практический идеализм», который открыл в этом человеке Бакунин, оказался на первых порах действительно горяч и активен.

Ради нового журнала Толстой был готов принести большие материальные жертвы.

И можно ли сомневаться, что в его тогдашнем сознании эти жертвы были одной из форм той новой общественно-политической деятельности, о которой еще так недавно он с увлечением говорил Карлу Марксу. И не потому ли Некрасов после этих разговоров с Толстым так уверовал в полную реальность его обещаний, что ему, как и Марксу, Толстой заявил о своем твердом намерении продать все свои «степные имения».

Заручившись полным сочувствием Толстого, Некрасов помчался обратно в столицу, чтобы немедленно взяться за дело. «Еще в Казани, — извещал он Белинского через несколько дней, — решили мы с Толстым и с Панаевым хлопотать о приобретении журнала, чтоб с 1847 года приступить к его изданию. На это приобретение Толстой и Панаев решились употребить значительные деньги» (X, 53).

Вскоре в литературных кругах стала известна и сумма, которую вносит Толстой в «Современник».

«Фонд «Современника», — писал из Петербурга Боткин Анненкову, — состоит из 35 000 Панаева и 35 000 Толстого»[1].

Эти деньги нужны были Некрасову возможно скорее. Нужно было затратить немалые суммы не только на приобретение писательских рукописей, не только на широкую рекламу, еще не виданную в истории русского журнального дела, но и на изрядное количество замаскированных взяток: на уплату «гонорара» подставно-

[1] *В. Евгеньев-Максимов.* «Современник» в 40-х и 50-х годах. Л., 1934, с. 39; «Анненков и его друзья», СПб., 1892, с. 521.

му редактору, цензору А. В. Никитенко, на выдачу аванса владельцу «Современника» П. А. Плетневу, получившему в первый же год 5850 рублей ассигнациями за одно лишь название журнала*.

Деньги с каждым днем были все более нужны, но Григорий Толстой не прислал ни гроша: все его обещания оказались обманом.

Знал ли он, что говорит неправду, в ту минуту, когда давал обещания?

Едва ли.

Но от этого Некрасову было не легче. Для него это был страшный удар. Когда поэт окончательно понял, что всех обещанных денег Григорий Толстой не даст, он в минуту крайности попросил его выслать хоть мелкую сумму, хоть пять тысяч ассигнациями*, то есть нечто совершенно мизерное по сравнению с той суммой, которая была обещана Толстым. Толстой остался глух и к этой просьбе.

Наконец, когда миновали все сроки, он, словно в насмешку, прислал Некрасову не деньги, а вексель, который было невозможно учесть, — ни к чему не нужную бумагу; причем векселю предшествовало письмо, заключавшее в себе странный совет — уладить все дело так, чтобы можно было обойтись и без векселя.

Оскорбленный Некрасов с нескрываемым гневом отослал этот вексель обратно и написал Толстому такое письмо (оно сохранилось лишь в черновике):

«Вы, казалось, так хорошо понимали важность в этом деле своевременного получения денег на журнал, Вы так ручались за себя, и Ваши уверения казались мне так дельными и несомненными, что я скорее боялся не получить денег от Панаева, чем от Вас. Помню, что эту боязнь и Вы со мной разделяли. Что ж вышло? Деньги от Панаева я давно получил и истратил, а от Вас — после двух писем моих к Вам, в которых настоятельную надобность в деньгах я доказывал цифрами, — вдруг получаем мы заемное письмо в 12 500 ру[блей] ассигнациями, то есть половину обещанной Вами суммы» (X, 63).

В сущности, это не была «половина обещанной суммы». Это был круглый нуль, так как из дальнейших строк того же письма выясняется, что у издателей «Современника» не было возможности достать в Петербурге деньги под залог этого толстовского векселя.

Но, может быть, Толстой не то чтобы не хотел, а не мог выполнить свое обещание? Может быть, у него не случилось свободной наличности?

В том-то и дело, что деньги у него все же были и он, если бы захотел, мог бы прислать их Некрасову.

«Вы *имели возможность* внести деньги... — пишет ему в дальнейших строках того же письма Некрасов. — Доказательство: Ваши собственные письма, в которых Вы уведомляли, что приступаете к хлебной торговле и деньги, бывшие у Вас, употребили на закупку хлеба» (X, 63).

Значит, Григорий Толстой не захотел тратить свои деньги на такое неверное дело, как основание передового журнала, возглавляемого «опасным» Белинским, а решил заняться привычной дворянской коммерцией: скупкой и перепродажей зерна. Замечательно, что при этой оказии он не проявил даже свойственного ему «джентльменства»: на два настоятельных письма Некрасова он так и не ответил, а просто поручил какому-то Петру Андреевичу написать А. Я. Панаевой, чтобы она посоветовала Некрасову обойтись без обещанных денег.

Это особенно оскорбило Некрасова.

«Мало того, — пишет он, — даже присылке самого векселя предшествовало письмо Петра Андреевича (к Авдотье Яковлевне), в котором было сказано, что вексель Вы пришлете, и мы должны постараться занять под него, а *впрочем, нельзя ли как-нибудь извернуться, всего бы лучше?* Что это значит? — я долго думал. Если Вы хотите, чтоб мы извернулись без Вашего векселя, то на что было и посылать его?.. А если мы, получив, должны были держать его без употребления, то в чем же заключалось бы участие Ваше в издержках на журнал?

Да и во всяком случае оно не могло быть действительно, ибо при основании журнала мне, как я Вам писал, настоятельно нужны были деньги, а не вексель...

Итак, надежда моя на денежное содействие Ваше при основании журнала оказалась ошибочною: Вашего содействия не было, и журнал основан средствами Панаева и некоторыми другими, к которым я вынужден был прибегнуть. Препровождаю к Вам обратно Ваш вексель» (X, 63–64).

Вот каким оказался при первом же столкновении с действительностью боевой идеализм этого «апостола свободы», в котором Бакунин в ту самую пору видел своего собрата по революционной борьбе, веря, что служение революции было для него «жизнью, страстью, религией, делом».

Пламенная готовность на всякие жертвы и подвиги — и жалкое увиливание от взятых на себя обязательств.

И об этом человеке Бакунин писал незадолго до того своему брату:

«Он возвратит тебе и жар и свежесть юношеского стремления, разрушит в тебе отвратительную мудрость преждевременной старости и снова зажжет в сердце твоем веру в то, что в окру-

жающем тебя мире называют невозможным (то есть в русскую революцию. — *К. Ч.*) и страсть к отважным предприятиям»[1].

Вряд ли издание «Современника», хотя бы и под руководством Белинского, казалось Михаилу Бакунину наиболее «отважным предприятием». Но даже и для этого «предприятия» у Григория Толстого не хватило отваги, даже и здесь проявил он «отвратительную мудрость преждевременной старости».

«Вероятно, Григория Михайловича по отъезде гостей увлекла другая страсть», — говорит П. Юшков в «Волжском вестнике», пытаясь возможно благовиднее объяснить тот обман, в котором оказался повинен Григорий Толстой.

Некрасов после этого случая прервал с ним отношения навсегда. По крайней мере, во всей известной нам переписке Некрасова имя Григория Толстого больше не упоминается ни разу.

5

И все же у нас есть свидетельство, что через несколько лет он отнесся к Григорию Толстому куда снисходительнее и попытался, уже без всякого гнева, объяснить его неприглядный поступок общими условиями русской действительности.

Свидетельством этим является роман Некрасова «Три страны света», который, через два года после поездки в село Ново-Спасское, он писал совместно с А. Я. Панаевой.

Роман «Три страны света» писался, как известно, поневоле. Грозная цензура 1848 года вырезала все шесть повестей, находившихся в портфеле «Современника», и Некрасов был вынужден возможно скорее изготовить такой материал, который в течение долгого времени мог бы печататься в журнале из месяца в месяц и был бы забронирован от цензурных придирок.

Других целей у Некрасова не было, когда он совместно с Авдотьей Панаевой засел за этот громоздкий роман. Сам он никогда не признавал в нем художественно-литературных достоинств.

«Если увидите мой роман, — писал он Тургеневу в декабре 1848 года, — не судите его строго: он писан с тем и так, чтоб было что печатать в журнале, — вот единственная причина, породившая его на свет» (X, 121).

Но роман оказался лучше, чем думал о нем Некрасов. Не мог такой могучий поэт в первые же годы своей поэтической зрелости совершенно отвлечься от волновавших его чувств и мыслей и

[1] *А. А. Корнилов*. Годы странствий Михаила Бакунина. М.—Л., 1925, с. 288.

превратиться в простого ремесленника, хотя бы его и побуждали к тому обстоятельства его журнальной работы. Несмотря на принадлежность романа к жанру развлекательного чтения, многие встречающиеся в нем мысли и образы перекликаются с основными мотивами таких стихотворений Некрасова, в которых поэт выражает задушевнейшие свои убеждения. И нет ничего удивительного, что в трактовке образа Григория Толстого наметилась, — правда, еще в зачаточной форме, — одна заветная идея молодого поэта, которая через несколько лет нашла более рельефное свое воплощение в его лучших стихах и поэмах.

По моему убеждению, Григорий Михайлович Толстой выведен в романе под именем Григория Матвеевича Данкова. Наружность Данкова изображается Некрасовым так:

«Данкову... было лет тридцать пять. Высокий, плечистый, с довольно полным, выразительным лицом... с манерами, которых размашистую резкость облагораживала изящная простота, он представлял собою совершеннейший тип русского красивого молодца» (VII, 252).

Здесь полное портретное сходство с наружностью Григория Толстого.

В то время, когда Некрасов гостил в Ново-Спасском, Толстому и в самом деле было «лет тридцать пять», так как родился он в 1808 году.

Инженер Валериан Панаев, вспоминая об одной встрече с Григорием Толстым, раньше всего отмечает его высокий рост и красоту.

«Он был... хорош собою и прекрасного роста», — говорит о нем мемуарист[1].

«Во мне роста 2 аршина 8 вершков», — сообщает о себе сам Григорий Толстой в одной мемуарной заметке[2].

Мне не известны портреты Григория Толстого, относящиеся к годам его молодости, но, судя по его стариковскому фотопортрету, который подарен мне его правнучкой, это был действительно высокий, осанистый, широкоплечий мужчина с выразительным, красивым, чрезвычайно русским лицом. Во всем его облике даже в преклонные годы чувствуется бывший красавец.

Но не только наружность ново-спасского барина воспроизвел в своем романе поэт. Он тут же в трех строчках наметил тогдашние вехи его биографии.

---

[1] «Воспоминания В. А. Панаева». — «Русская старина». 1893. Т. 80. Кн. 12, с. 543.

[2] «Русская старина». 1890. Т. 68. Кн. 11, с. 338.

В романе мы читаем о Данкове: «Один богатый помещик той губернии, весьма умный и образованный, живший то в Москве, то в Петербурге, то в Париже, вздумал наконец пожить в своей губернии с самой благой целью» (VII, 252).

Здесь каждое слово — о Григории Толстом.

Григорий Толстой был действительно одним из самых богатых и образованных помещиков заволжского края. Правда, Некрасов дважды называет его не казанским, но «с—ким» помещиком, однако это не противоречит фактическим данным, потому что Григорий Толстой, как мы ниже увидим, всеми своими корнями был связан именно с Симбирской губернией.

Из разных мемуарных источников мы знаем, что в 1842 году он жил в Москве, в 1844 и 1845 годах — в Париже и в Петербурге, а в 1846 году поселился у себя в Ново-Спасском с намерением остаться там подольше или, говоря словами Некрасова, «пожить в своей губернии с самой благой целью».

В романе из-за цензурных стеснений Некрасов лишь обиняками указывает, в чем эта «благая цель» заключалась. Но в «Воспоминаниях» Авдотьи Панаевой, гостившей в Ново-Спасском в то же самое время, подцензурные намеки Некрасова *расшифровываются с полной ясностью.* Оказывается, Григорий Толстой после долгих странствий по Европе поселился в деревне затем, чтобы облегчить, по возможности, жизнь многочисленных своих крепостных. Вместе с каким-то родственником (может быть, с братом Владимиром) он, по словам Панаевой, устроил в своем имении школу для крепостных детей, лично оказывал крестьянам медицинскую помощь, уничтожил барщину — словом, обнаружил так много гуманных стремлений, что вызвал будто бы негодование соседей-помещиков.

«В наше время, — говорит в романе Григорий Данков, — стыдно ничего не делать. Я довольно пострaнствовал по свету, теперь хочу *работать... работать, приносить пользу обществу»* (VII, 252.)

На подцензурном языке того времени это означало, что богатый и образованный барин хочет отдать все силы облегчению участи своих крепостных.

Очевидно, либеральные новшества, которыми он так эффектно щегольнул перед приехавшими из столицы молодыми писателями, были представлены им в виде первоначальных шагов на пути к улучшению крестьянского быта. Из романа Некрасова явствует, что в качестве программы ближайшего будущего этот alter ego Бакунина намечал более широкие и смелые планы.

«Когда, — пишет Некрасов, — тряхнув своими длинными кудрями, остриженными в кружок, он энергически ударял кулаком по столу и заводил речь о той жажде благородной деятельности,

которая кипит в его груди, нельзя было не сочувствовать, не верить каждому его слову, нельзя было не сознаться, что он призван *действовать* и *сделает* много хорошего» (VII, 253).

Но, конечно, все это оказалось таким же бахвальством, как и те обещания, которые дал Толстой Некрасову по поводу его «Современника». Через несколько страниц Некрасов пишет, что Каютин *«сначала удивлялся, почему Данков медлит приводить в исполнение свои остроумные и общеполезные планы, о которых так прекрасно и с таким жаром говорил. Но когда поближе присмотрелся к делу, когда сам пожил той жизнью, удивление его кончилось»* (VII, 283–284).

Последняя фраза производит впечатление скомканной. По цензурным условиям 1848–1849 годов выразить резче свое осуждение этому разладу между словом и делом автор, конечно, не мог. Но отчетливым комментарием к данному отрывку романа являются, как уже сказано, стихотворения Некрасова, где несколько раз та же самая тема выражалась гораздо яснее.

Возьмем хотя бы только что процитированный нами отрывок из речи Григория Данкова. Ведь это — слово в слово — то самое, что говорит в поэме Некрасова «Саша» вернувшийся из-за границы Агарин:

Бил, — говорит, — я довольно баклуши...
Благословите на *дело*... пора!

(I, 123)

Слово «дело» занимает в поэзии Некрасова почетное место. Для Некрасова это — священное слово, и он всегда с особым уважением произносит его:

Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для *дела* вы мертвы давно.

(II, 97)

В его стихах выведена целая вереница людей, которые при высоком благородстве своих убеждений никогда не воплощают их в дело. Тот же самый Агарин:

Если ж за *дело* возьмется — беда!
Мир виноват в неудаче тогда.

(I, 128)

И в черновике Некрасова об Агарине (когда он еще назывался Чужбининым) сказано:

Он по природе своей благороден,
Только заносчив и к *делу* негоден.

(I, 477)

Проклятие высоким словам, которые не стали делами, — один из центральных мотивов некрасовской лирики на протяжении всей жизни поэта. Через год после того как была закончена «Саша», он снова повторил эту тему в стихах, начинающихся такими строками:

Самодовольных болтунов,
Охотников до споров модных,
Где много благородных слов,
А *дел* не видно благородных,
Ты откровенно презирал.
(I, 170)

В «Поэте и гражданине» клеймит он — «богатых *словом, делом* бедных», и вообще примат действования, антитеза благородного *слова* и благородного *дела* — такова была насущная тема наступившей эпохи — сороковых и пятидесятых годов. Достаточно вспомнить о тургеневском Рудине. «Тип был один, оттенков было много», — так выразился Некрасов впоследствии. Образ Данкова в «Трех странах света» есть, насколько я знаю, наиболее ранняя литературная экспозиция этого типа. Данков у Некрасова для того-то и твердит с таким упорством: «работать, работать, приносить пользу обществу» — и сам Некрасов (в коротком отрывке о нем) для того и повторяет слова: «деятельность», «действовать», «сделает», чтобы читатель яснее увидел из дальнейшего текста, что за всеми благородными фразами красноречивого барина скрывается полное отсутствие благородных поступков. К разным «оттенкам» этого типа Некрасов, как известно, относился по-разному:

Шалит землевладелец крупный,
Морочит модной маской свет, —
(II, 271)[1]

презрительно сказал он об одной категории этих людей, но о той, в которую он включил и Данкова, он отзывался иначе, с какой-то пренебрежительной жалостью — и постоянно указывал на нравственную чистоту их неосуществленных стремлений:

Ты стоял перед отчизною,
Честен мыслью, сердцем чист...
. . . . . .
Честный по натуре,
Он был аристократ, гуляка и лентяй...
. . . . . .

[1] В черновом автографе «Саши» то же слово применяется к Агарину: «Как он морочит...» (I, 467).

Как был он чист, как он далеко видел,
Как *честно*, хоть бесплодно ненавидел,
И шапку перед ним готов я снять... —

(II, 276, 278 и др.)

говорит поэт в одном из вариантов «Медвежьей охоты».

Впоследствии Некрасов не раз повторял, что сеют эти люди «все-таки *доброе* семя», что «мы должны *добром* их поминать», этих «рыцарей *доброго* стремления и беспутного житья», что разрыв между словом и делом есть не вина, а беда всех этих Агариных, Данковых, Решетиловых, Чужбининых, Пальцовых, так как та историческая обстановка, в которой они принуждены были жить, обрекла их на полное бездействие, выбросив за борт общественной жизни.

В затуманенном — по цензурным условиям — отрывке о Григории Данкове эта мысль, как мы только что видели, изложена Некрасовым так: Каютин сперва удивлялся, почему Данков медлит приводить в исполнение свои общеполезные планы, но «когда сам присмотрелся к делу, когда сам пожил той жизнью», *перестал удивляться*, — то есть понял, что в русском быту существует ряд вполне объективных причин для того, чтобы Данковы, при всей своей честности, всегда до конца своих дней оставались пустыми фразерами, не воплотившими в дело своих благородных намерений.

6

Таков был художнический метод Некрасова: отбросив все случайное и личное, он обобщил свои впечатления от встречи с Григорием Толстым и с необыкновенною зоркостью разглядел в нем еще не определившийся общественный тип.

И чем пристальнее мы вникаем в те скудные, бессвязные клочки и обрывки биографии Григория Толстого, которые дошли до нас в немногих мемуарах и письмах, тем больше убеждаемся, что, определив его как одну из разновидностей Рудина чуть ли не за десять лет до появления тургеневской повести, Некрасов (который раз!) обнаружил свою непревзойденную способность схватывать раньше других самую суть социальных явлений, едва намечавшихся в тогдашней России.

Духовная биография Григория Толстого действительно очень типична для так называемых «лишних людей».

Как и большинство представителей этого типа, он был человеком высокой европейской культуры. Мы не стали бы подчеркивать в нем это качество, если бы в литературе не существовало по-

пытки представить его темным, захолустным помещиком чрезвычайно низкого культурного уровня.

Между тем каждый встречавшийся с ним указывает раньше всего именно на его образованность. Очевидно, она каждому бросалась в глаза. И Юшков, и Валериан Панаев, и А. Я. Панаева однообразно повторяют друг за другом, едва только назовут его имя: «человек образованный», «образованнейший человек» и т. д.

Некрасов в своем романе наделяет его тем же эпитетом: «богатый помещик, весьма умный и образованный».

И не только в столицах, но и в деревенской глуши, в Казанской и Симбирской губерниях, он вращался среди наиболее культурных слоев тамошнего дворянского общества.

«Дворянство симбирское, — говорит в своих «Воспоминаниях» В. А. Соллогуб, — считалось образованным, влиятельным и богатым. Здесь я услыхал впервые имена Ивашевых, Тургеневых, Ермоловых, Бестужевых, Столыпиных, Кротковых, Киндяковых, Татариновых, Родионовых и многих других. Между ними были люди замечательно просвещенные, но встречались также и оригиналы, или скорее самодуры большой руки»[1].

Хотя имение Толстого находилось в Казанской губернии, но сам он по всем своим семейным и дружеским связям принадлежал именно к тому кругу симбирского общества, которое, по словам Соллогуба, славилось своей образованностью и включало в себя «замечательно просвещенных людей». Многие из перечисленных Соллогубом помещиков были близкими родственниками Григорию Толстому.

Вообще мы ничего не поймем в этом человеке, если искусственно вырвем его из той среды, где он сформировался и вырос.

То был верхушечный слой богатого поместного дворянства, в недрах которого за несколько лет до того созрели декабристские убеждения и верования.

Во время декабрьского восстания Григорию Толстому шел уже восемнадцатый год, и это не случайность, что среди его близких родных, с которыми он рос и воспитывался, было так много людей, связанных с идеологией декабризма. Ивашевы и Завалишины — в кругу этих замечательных семейств прошли его детство и юность. Особенно тесно он был связан с Ивашевыми. Ивашевы заменили ему родную семью. Собственной семьи у него, кажется, не было, так как его матерью была крепостная «девка» Авдотья, и довольно долго он числился ее незаконнорожденным сыном. Лишь на десятом году его отец, отставной майор Михаил Льво-

[1] *В. А. Соллогуб.* Воспоминания. М.—Л., 1931, с. 235—236.

вич Толстой, женился на Авдотье, и она стала Евдокией Савельевной. И только в 1825 году юноша был узаконен высочайшим указом.

С самого раннего возраста в радушном семействе Ивашевых он чувствовал себя лучше, чем в отеческом доме. Декабрист Василий Петрович Ивашев относился к нему как к своему младшему брату. Отец декабриста, Петр Никифорович Ивашев, богатейший помещик Симбирской губернии, генерал-аншеф, сподвижник Суворова, приходился ему по жене дядей. Дочери этого большого симбирского барина были выданы за именитых заволжских людей. Одна за Языкова, другая за князя Хованского, третья за гвардии штабс-капитана Ермолова — и Григорий Толстой, или, как все они звали его, Грегуар, на правах близкого родственника чувствовал себя своим человеком в их симбирских (и казанских) усадьбах.

Все эти столбовые симбирцы были для Грегуара Толстого кузинами, дядями, тетками и по-семейному любили его.

Единственное «дело», которое он совершил за всю свою долгую жизнь, связано с семейством Ивашевых. Я говорю о его тайной поездке в Туринск к декабристу Василию Петровичу Ивашеву в 1838 году, тотчас же после смерти генерала Ивашева, отца декабриста.

Правда, никакой отчаянной смелости для этого ему не потребовалось, ибо он предпринял поездку после того, как ее благополучно совершили другие: годом раньше предприимчивый Пьер Зиновьев, пламенный друг Елизаветы Петровны, успел дважды побывать у декабриста Ивашева, сначала один, а потом — вместе с нею, причем, как рассказывают, она во все время пути выдавала себя за мужчину.

Елизавета Петровна гостила у своего ссыльного брата целых две недели при явном попустительстве местных властей, несомненно подкупленных щедрыми взятками. Но все же, хотя Григорий Толстой съездил к декабристу по проторенной дорожке, после того как убедился, что риску здесь не так уж много, он проявил при этом несомненное мужество — и не без гордости до конца своих дней вспоминал об этом своем путешествии. Единственное его литературное произведение, известное нам до настоящего времени, так и озаглавлено «Поездка в Туринск к декабристу Василию Петровичу Ивашеву»[1].

Всякий, кто даст себе труд разыскать этот рассказ в «Русской старине», согласится со мною, что у Григория Толстого был несомненный талант беллетриста. Рассказ написан очень бойкими го-

[1] «Русская старина». 1890. Т. 68. Кн. 11, с. 327–351.

рячими красками, иногда чересчур залихватски, — но на каждой странице чувствуется разбитной и жизнелюбивый талант, не лишенный проблесков юмора. Должно быть, Григория Толстого вообще тянуло к писательству: Бакунин в одном из своих писем вспоминает какое-то юмористическое произведение Григория Толстого, написанное в Дрездене в 1841 году[1].

Конечно, его писательские попытки, подобно всем прочим его начинаниям и замыслам, так и остались попытками, но не подлежит никакому сомнению, что из него мог бы выйти неплохой беллетрист.

Уже одна его близость к семейству Ивашевых, особенно к одухотворенной Елизавете Петровне, к той самой Лизе Языковой, перед которой так преклонялся Бакунин, доказывает, как глубоко не правы писатели, желающие изобразить его «диким помещиком», который в силу каких-то забавных причин затесался в среду, чуждую ему по культурному уровню.

В числе своих друзей и знакомых Григорий Михайлович мог бы назвать самых замечательных русских людей. Об этом свидетельствует, например, следующий отрывок из аксаковских воспоминаний о Гоголе:

«Через несколько дней, — повествует Аксаков, — а именно в субботу (1840), обедал у нас Гоголь с другими гостями, в том числе были Юрий Федорович Самарин и Григорий Толстой, давнишний знакомый и товарищ по театру, который жил в Симбирске и приехал в Москву на короткое время и которому очень хотелось увидеть и познакомиться с Гоголем»[2].

Познакомиться у Аксакова с Гоголем было в ту пору не так-то легко: Аксаковы благоговейно охраняли его от нежелательных ему посторонних людей. И уже одно то, что Сергей Тимофеевич позволил Григорию Толстому прийти и сесть за одну трапезу с Гоголем, показывает, что Григорий Толстой был для старика Аксакова в достаточной степени своим человеком. На обеде присутствовали также граф В. А. Соллогуб, впоследствии прославившийся своим «Тарантасом», причем оказалось, что и с этим писателем Григорий Толстой находился в отношениях приятельских.

С Сергеем Аксаковым он, как мы видим, был связан московским театром двадцатых — тридцатых годов, с Соллогубом — дружескими встречами на берегах Черемшана, в Заволжье, где у матери Соллогуба было большое имение Никольское[3].

---

[1] См. письмо Бакунина к брату Павлу от 29 марта 1845 г. в книге: *А. А. Корнилов.* Годы странствий Михаила Бакунина. М.—Л., 1925, с. 282—284.

[2] *С. Т. Аксаков.* Мое знакомство с Гоголем. Полн. собр. соч. Т. III. СПб., 1886, с. 342—343.

[3] *В. А. Соллогуб.* Воспоминания. М.—Л., 1931, с. 229—233.

Свои чувства к Григорию Толстому граф Соллогуб через несколько лет выразил в стихотворном послании к нему:

Не говори, что я погиб
В чаду столичных наслаждений,
Что вновь мы дружно не могли б
Быть чувств одних и разных мнений[1].

Иными словами: пусть ничто не мешает радикалу Толстому питать самые дружеские чувства к такому блюстителю реакционных идей, каким заявил себя граф Соллогуб!

Словом, для этого молодого, красивого, образованного, богатого и знатного барина были открыты все двери и доступны любые знакомства и в Петербурге, и в Москве, и в Симбирске. В числе его близких друзей были и декабристы, и славянофилы, и западники, и актеры, и светские люди, и писатели, и революционные деятели. Поэт Федор Тютчев был его двоюродным братом. Увлечение московским театром — Щепкиным, Мочаловым,— должно быть, доходило у него до подлинной страсти, если такой фанатик театра, как С. Т. Аксаков, мог увидеть в нем своего сотоварища. Какие драгоценные мемуары мог бы оставить этот счастливец, встречавшийся и с Гоголем, и с Сергеем Аксаковым, и с Некрасовым, и с Белинским, и с Загоскиным, и с Бакуниным, и с Николаем Языковым, и с Достоевским, и с великим множеством других выдающихся деятелей и переживший, хотя бы только в качестве стороннего зрителя, столько замечательных эпох политического развития России.

7

Вот и все, что я знал о Григории Толстом, когда выступил в печати с утверждением, что именно он, а не Яков Толстой встречался в Париже с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом[2].

---

[1] *В. А. Соллогуб.* Сочинения. Т. IV. СПб., 1856, с. 559.

[2] Это утверждение было, как сказано выше, встречено с большим недоверием, но теперь оно уже ни в ком не вызывает сомнений. Так, хотя в алфавитном указателе к первому тому «Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса» (XXI том их сочинений), вышедшему в 1929 г., сказано:

«Толстой, Яков Николаевич, граф (1791—1867), на дипломатической и политической службе в Париже, 34, 35, 41, 42, 61», — в четвертом томе той же переписки, вышедшем в 1931 г., в общем указателе *о том же самом лице* напечатано с указанием *тех же страниц*;

«Толстой, Григорий Михайлович (1808—1871), казанский помещик, один из русских приятелей Маркса и Энгельса в 40-х годах, **I**, 34, 35, 41, 42, 61».

Таким образом, моя догадка о Григории Толстом уже вошла в научный обиход в качестве достоверного факта.

Именно об этом Толстом — о Григории Михайловиче — Бакунин писал Бернайсу в марте 1844 года (в Париже):

«Милый Бернайс! Толстой хотел еще вчера пойти со мной к вам, но ему что-то нездоровится. Он просит вас сегодня вечером между 7 и 12 зайти к нему. Будут также Гервег, Маркс и компания».

И Арнольд Руге в своем письме к Кехли имел в виду именно этого Толстого — Григория Михайловича, когда писал 24 марта 1844 года:

«Вчера мы, немцы, русские и французы, собрались совместно на обед, чтобы поближе рассмотреть и обсудить наши дела; русские: Бакунин, Боткин, Толстой (эмигранты, демократы, коммунисты), Маркс, Рибентроп и Бернайс, французы: Леру, Луи Блан, Феликс Пиа... В общем, мы прекрасно столковались».

Именно об этом Толстом — о Григории Михайловиче — Карл Маркс писал через три года Георгу Гервегу (26 октября 1847 г.):

«...Я попросил бы тебя узнать у *Бакунина*, каким путем, по какому адресу и каким образом я могу переправить письмо *Толстому*?»[1]

И Георг Гервег через день отвечал Карлу Марксу — именно об этом Толстом, о Григории Михайловиче:

«Адрес Толстого такой: Казань, Казанская губерния»[2] (таким образом, скажу в скобках, моя давняя догадка о том, что это был казанский Толстой, подтверждается документальными данными).

Из всего этого явствует, что в течение трех лет (с 1844 по 1847 год, а может быть, и дольше) Карл Маркс поддерживал какие-то отношения с этим казанским помещиком, участвовал вместе с ним в обсуждении насущных политических вопросов, бывал у него в парижской квартире (вместе с Фридрихом Энгельсом) и даже переписывался с ним.

И у Григория Толстого, очевидно, были все основания считать, что он пользуется некоторым доверием Маркса, раз он решился в 1846 году, уже находясь в России, где-то на пути в Петербург, дать своему приятелю Павлу Васильевичу Анненкову рекомендательное письмо к Карлу Марксу и подписать его словами «Ваш истинный друг»[3].

---

[1] *К. Маркс и Ф. Энгельс.* Сочинения. Т. 27. М., 1962, с. 419.

[2] См. фотокопию этого письма в Институте Маркса — Энгельса — Ленина.

[3] *П. В. Анненков.* Литературные воспоминания. М., 1960, с. 32. Вот полный текст этого письма к Карлу Марксу: «Мой дорогой друг. Рекомендую Вам господина Анненкова. Этот человек должен понравиться Вам во всех отношениях. Достаточно его увидеть, чтобы полюбить. Он расскажет Вам обо мне. Не имею возможности в настоящее время высказать Вам все, что я хотел бы, так как через несколько минут уезжаю в Петербург.

Примите уверения в искренности моих дружеских чувств. Прощайте и не забывайте Вашего истинного друга Толстого.

Вследствие этой рекомендации Толстого Маркс, по словам П. В. Анненкова, «очень дружественно» принял его. Анненков добавляет при этом, вспоминая, несомненно, свой первый разговор с Марксом, неизбежно коснувшийся Толстого, что «Маркс находился под влиянием своих воспоминаний об образце широкой русской натуры, на которую так случайно наткнулся, и говорил о ней с участием, усматривая в этом новом для него явлении, как мне показалось, признаки неподдельной мощи русского народного элемента вообще». Казалось бы, что интерес, проявленный Марксом к Толстому, должен был побудить Анненкова пристальнее всмотреться в человека, который, по его же словам, «был искренен» в своем тогдашнем увлечении революционными идеями Маркса.

Этого, однако, не случилось.

О письме Григория Толстого к Марксу мы знаем из воспоминаний самого П. В. Анненкова, но здесь необходимо признать, что Анненков, который вполне справедливо считается одним из самых выдающихся русских мемуаристов, наиболее серьезным и вдумчивым, в данном случае, к сожалению не единственном, значительно отклонился от истины и обо многом умолчал, кое-что исказил и, главное, дал слишком упрощенную, слишком верхоглядную характеристику Григория Толстого.

Сила Анненкова всегда заключалась в тонком умении изображать сложные и противоречивые черты человеческой психики, о чем свидетельствуют хотя бы его классические воспоминания о Гоголе. В данном случае он этой своей силой не воспользовался и написал о Григории Толстом те поверхностные и ядовитые строки, на которые мне уже случалось ссылаться. Привожу эти строки полностью, так как уже одно то, что в них упоминается имя Маркса, побуждает меня возможно тщательнее проанализировать их.

«По дороге в Европу, — пишет Анненков, — я получил рекомендательное письмо к известному Марксу от нашего степного помещика, также известного в своем кругу за отличного певца цыганских песен, ловкого игрока и опытного охотника. Он находился, как оказалось, в самых дружеских отношениях с учителем Лассаля и будущим главой интернационального общества; он уверил Маркса, что, предавшись душой и телом его лучезарной проповеди и делу водворения экономического порядка в Европе, он едет обратно в Россию с намерением продать все свое имение и бросить себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции. Далее этого увлечение идти не могло, но я убежден, что когда лихой помещик давал все эти обещания, он был в ту минуту искренен. Возвратившись же на родину, сперва в свои имения, а затем в Москву, он забыл и думать о горячих словах, прозвенев-

ших некогда так эффектно перед изумленным Марксом, и умер не так давно престарелым, но все еще пылким холостяком в Москве»[1].

Вышеприведенные строки П. В. Анненкова очень часто цитировались в разных статьях, посвященных многознаменательной теме «Карл Маркс и русские люди». Но так как исследователи исходили из ошибочной мысли, будто в воспоминаниях Анненкова речь идет о Якове Толстом, нам приходится по-новому вчитываться в старые, всем известные строки.

Оставим в стороне мелкие неточности этой иронической записи. Григорий Толстой умер не в Москве, как утверждает Анненков, а в селе Левашове, Спасского уезда, Казанской губернии. Вернувшись на родину, он вопреки утверждению Анненкова, сперва побывал в Москве, а уж потом воротился в деревню. Но дело, конечно, не в этих подробностях, а в том ироническом, неуважительном тоне, с каким Анненков третирует Григория Толстого как некую разновидность ноздревского типа. У Анненкова получается довольно упрощенный образ лихого бреттера, тешившего свои убогие страсти картежною игрою, охотою, трактирными песнями, женщинами.

Может быть, все это было в Григории Толстом, но было, конечно, и многое другое, о чем Анненков почему-то предпочел умолчать.

Если бы Григорий Толстой был и вправду таким дикарем, каким изображает его Анненков, разве стал бы он сам, Павел Анненков, считавший себя другом Белинского, Станкевича, Герцена, водиться с этим человеком как с близким приятелем! А он знал Григория Толстого чуть ли не с самого детства, бывал у него и подолгу беседовал с ним. Вернувшись из-за границы после свидания с Марксом и Энгельсом, он поддерживал связи с Григорием Толстым. В его записных книжках, опубликованных в журнале «Былое», есть, между прочим, такие заметки, относящиеся к 1849 году:

«Летом объезжаю заволжских помещиков, Григория Толстого, Ермолова и других...»[2]. «В виде продолжения к летним прогулкам следует сказать о двухдневном плавании из Богородска до Симбирска в рыбачьей лодке в большом обществе с Толстым, Ермоловым, Чернявским, Постниковым и прочими».

Да и не дал бы ему Григорий Толстой рекомендательного письма к Карлу Марксу, если бы не считал его, Павла Анненкова,

[1] *П. В. Анненков.* Литературные воспоминания. М., 1960, с. 301.

[2] *П. В. Анненков.* Две зимы в провинции и деревне. — «Былое». 1922, с. 18; «Литературные воспоминания». М., 1960, с. 530.

близким человеком, единомышленником. И Анненков не воспользовался бы рекомендацией Толстого, если бы в то время питал к нему те язвительно-высокомерные чувства, с которыми стал третировать своего старинного знакомого по прошествии тридцати с чем-то лет.

Подобно Ивашевым, Соллогубам, Языковым, Анненков был помещиком Симбирской губернии. Там ему и его многочисленным братьям принадлежало село Чириково (Чирьково тож), а также село Павловка, деревня Иевлева, деревня Моревна[1]. Характерно, что он называет Толстого «нашим степным помещиком», то есть причисляет его к своим землякам, к симбирцам. Можно не сомневаться, что он встречался с Толстым еще в юности. По уездной табели о рангах в тридцатых и сороковых годах Григорий Толстой, как один из «ивашевцев», стоял гораздо выше, чем Анненков. Кроме того, в тех пренебрежительных словах, которыми Анненков характеризует «лихого степного помещика», не чувствуется, что этот помещик был один из просвещеннейших людей своего поколения, что он любил не только цыганские песни, но и квартеты Бетховена, не только карты, но и философские книги, что с ним беседовал и вел переписку Маркс, что он смолоду вращался среди лучших людей, какие только были в России.

Вопреки своему обычаю, Анненков в вышеприведенном отрывке исказил образ вспоминаемого им человека в сторону карикатуры и шаржа.

8

Но здесь нам необходимо отвлечься, хотя бы на самое короткое время, от Григория Толстого и напомнить читателю об одной неприятности, которая произошла с мемуарами Анненкова в 1880 году.

Его публично уличили в неправде.

В ту пору в «Вестнике Европы» печатался его известный мемуарный труд «Замечательное десятилетие». Там он, между прочим, вспоминал о первых литературных шагах Достоевского.

По его словам, Достоевский, помещая в «Петербургском сборнике» своих «Бедных людей», предъявил будто бы к Некрасову забавное требование, внушенное чрезмерным самомнением: поместить каждую страницу романа в особую типографическую рамку, в отличие от прочих повестей и рассказов, печатавшихся в том же альманахе.

[1] *П. Мартынов.* Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1903, с. 157–161.

«Роман и был действительно обведен почетной каймой», — заключил свое повествование Анненков[1].

Его слова нетрудно было проверить. Взяли «Петербургский сборник» Некрасова, перелистали в нем «Бедных людей» и никакой рамки вокруг текста не нашли. Роман Достоевского был напечатан Некрасовым без всякой «почетной каймы».

Дорого обошлась Анненкову эта «кайма». В «Новом времени» Буренин и Суворин поместили целую серию едких заметок — одну за другою, где называли утверждение Анненкова «глупою сплетнею», «явным журнальным вздором»[2].

Суворин обратился по этому поводу к самому Достоевскому. Достоевский ответил, что он «очень доволен» газетными заметками, где изобличается Анненков[3].

После этого в той же газете было напечатано следующее:

«Ф. М. Достоевский, находясь в Старой Руссе, где он лечится, просит нас сообщить, что ничего подобного тому, что рассказано в «Вестнике Европы», не было и не могло быть»[4].

Конечно, Анненков не рассказывал бы этого анекдота о рамках, если бы он не был уверен, что рассказывает чистейшую правду. Ведь знал же он, что его сообщение легко поддается проверке. Когда он писал свои воспоминания (за границей, в Брюсселе и в Бадене), он был уверен, что рамки эти он видел своими глазами.

Он так и написал М. М. Стасюлевичу 19 апреля 1880 года:

«Не знаю, какой экземпляр был в руках оппонента моего из «Нового времени», но знаю, что я *сам видел первые* экземпляры «Сборника» с рамками»[5].

Все это, конечно, была аберрация старческой памяти. Впрочем, не следует думать, что Анненков выдумал весь эпизод. Мы знаем из разных источников, что Достоевский действительно требовал каких-то типографских преимуществ для своих «Бедных людей». Не стали бы Некрасов и Тургенев упоминать об этой «почетной кайме» в известной эпиграмме (1847)*, не стал бы рассказывать о ней в своем фельетоне Панаев (1855)*, если бы для этого не было никаких оснований[6].

Но память Анненкова сыграла с ним коварную шутку. Притязания Достоевского он принял за осуществившийся факт, и через

---

[1] «Вестник Европы». 1880, апрель, с. 479. В позднейшем отдельном издании воспоминаний Анненкова эта фраза отсутствует.

[2] «Новое время». 1880. №№ 1473, 1499, 1500, 1510 (4 апреля, 5, 6, 16 мая).

[3] «Письма русских писателей к А. С. Суворину». Л., 1927, с. 50.

[4] «Новое время». 1880. № 1515 (21 мая).

[5] «М. М. Стасюлевич и его современники». Т. III. СПб., 1912, с. 384.

[6] См. мою статью «Плеяда Белинского и Достоевский» в книге: *Н. Некрасов.* Тонкий человек. М.—Л., 1928.

три десятилетия ему стало казаться, что он сам был очевидцем того, о чем только слышал от других. Он, так сказать, закруглил услышанный им эпизод, сделал его более эффектным, придал ему острую концовку.

Это часто бывает с мемуаристами, имеющими вкус к беллетристике. Их услужливая память послушно диктует им то, чего требует беллетристический канон.

Нетрудно доказать, что то же самое произошло и с воспоминаниями Анненкова об отношениях Григория Толстого и Маркса.

Анненков умудрился запамятовать, что не кто другой, как именно он, Анненков, внушил Карлу Марксу легенду о желании Григория Толстого продать свои имения для нужд революции!

Сохранилось старое письмо Анненкова, из которого с полной очевидностью явствует, что именно он был автором (или вернее — соавтором) вышеприведенной легенды.

В этом старом письме (от 8 мая 1846 года) Анненков сообщает Карлу Марксу в качестве свежей новости:

«Я только что получил известие, что Толстой принял решение продать все имения, которые ему принадлежат в России. *Нетрудно догадаться, с какой целью*»[1].

Значит, Анненков сам сообщил это известие Марксу — уже после того, как Григорий Толстой уехал из Парижа в Россию. И тут же намекнул на «жерло революции», куда будто бы Толстой хочет бросить свой капитал. Через несколько месяцев Анненков повторил ту же версию в новом письме к Карлу Марксу как о таком факте, о котором Карл Маркс, несомненно, осведомлен.

Поводом для этого нового письма было следующее.

В ту самую осень, когда Григорий Толстой, вскоре после возвращения в Россию, проживая безвыездно в своей казанской глуши, занимался, как мы знаем, куплей-продажей зерна и вел деловую переписку с Некрасовым, одна из заграничных радикальных газет «Ausburger Allgemeine Zeitung» разоблачила Якова Толстого как тайного агента петербургских жандармов. А так как парижские эмигранты не знали о единовременном пребывании в Париже двух разных Толстых, им естественно было подумать, что разоблачение относится к Григорию Толстому, тем более что они звали его просто Толстой, не принимая во внимание его имени-отчества.

Карл Маркс обратился за разъяснениями к Анненкову, и тот, извещая Маркса, что парижским агентом Третьего отделения

[1] Архив ИМЭЛ. Ср. «Летописи марксизма». 1928. № 6, с. 46. (Подлинник по-французски.)

был не этот Толстой, а другой, — написал в защиту отсутствующего Григория Михайловича:

«О боже! И наш честный, простой, прямой Толстой, который *думает теперь в России только о том, чтобы распродать все свои имения и поселиться в Европе!* Благодарю Вас, мой дорогой Маркс, от его имени, что Вы усомнились, читая статью в «Allgemeine», и обратились ко мне за разъяснениями»[1].

И, наконец, у нас имеется третье свидетельство, исходящее от Фридриха Энгельса. В своем письме к Карлу Марксу (от 16 сентября 1846 года), написанном еще в тот период, когда парижские эмигранты не знали о существовании двух разных Толстых и принимали Григория за Якова, Энгельс в понятном раздражении писал: «Этот Толстой и есть не кто иной, как наш благородный Толстой, навравший нам, будто он хочет продать в России свои имения»[2].

Эта резкая фразеология объясняется тем, что Энгельс в то время думал, будто речь идет о шпионе Толстом. Как бы то ни было, в этом письме заключается подтверждение того, что было сказано Анненковым: «степной помещик» действительно говорил Марксу и Энгельсу, что он намерен распродать свои имения.

Но, стремясь к беллетризации своих мемуаров, Анненков присочинил от себя фантастическое «жерло революции», куда будто бы Толстой собирался, с одобрения Маркса, «бросить себя и весь свой капитал». Здесь была дешевая ирония; в ней слышалось неуважение не только к Толстому, но и к Марксу[3].

Впоследствии, говоря в мемуарах о «нашем степном помещике» и о его заявлениях, сделанных Карлу Марксу, Анненков на свою беду позабыл, что в числе тех языков, которые знал Карл Маркс, был также и русский язык. Карл Маркс тогда же, в 1880 году, прочитал в апрельской книжке «Вестника Европы» XXV—XXVI главы «Замечательного десятилетия» и здесь же на полях 496-й страницы, против места, где говорится о Григории Толстом, написал, подчеркнув в тексте слова: «Он уверил Маркса»:

«Ложь! Ничего подобного он (то есть Григорий Толстой.— *К. Ч.*) не говорил. Напротив, он уверял, что вернется к себе до-

---

[1] Письмо от 2 октября 1846 г.

[2] *К. Маркс и Ф. Энгельс.* Сочинения. Т. 27. М., 1962, с. 42.

[3] Вообще во всем этом знаменитом фрагменте анненковских воспоминаний есть оттенок фальши: здесь Анненков почему-то скрывает свои подлинные отношения не только к Толстому, но и к Марксу. Его отношения к Марксу, как мы знаем из его писем, были благоговейно почтительны, но на страницах «Вестника Европы», — быть может, в угоду либеральной редакции этого органа, — к почтительности примешивается какой-то наигранный иронический тон.

мой для вящего блага своих крестьян. Он даже был настолько наивен, что приглашал меня с собой»[1].

Эти энергичные строки отнюдь не зачеркивают всего повествования Анненкова о Григории Толстом. Напротив, они подтверждают его сообщения о встречах и беседах Толстого с Марксом. Не протестует Маркс и против утверждения Анненкова о «самых дружеских отношениях», существовавших в 1845 году между «степным помещиком» и «будущим главой интернационального общества», так как слова эти находятся выше того текста, к которому относится опровержение Маркса. Равным образом это опровержение не может относиться к тем строкам, где Анненков говорит о намерении «степного помещика» продать «все свои имения», ибо, как мы только что видели, Толстой действительно заявлял об этом Марксу и Энгельсу.

Так что возражение Маркса относится исключительно к тем строкам мемуаров Анненкова, где говорится о желании Толстого послужить своим капиталом революции.

Возникший у Толстого благородный «порыв» (как любили выражаться в то время) повысить благосостояние своих крепостных, употребив на это средства, вырученные от продажи имения, — черта социальных мечтаний, типичная для многих тогдашних дворян, принадлежавших к поколению Огарева и Герцена, — расширился в памяти Анненкова до масштабов практического служения делу европейской революции и водворения коммунизма в Европе. Против этого-то искажения истины и протестовал в своей записи Маркс.

Эта запись самым неожиданным образом снова возвращает нас к Некрасову, ибо в ней мы находим и подтверждение тому, что сообщает Авдотья Панаева, и реальный комментарий к тем страницам некрасовских «Трех стран света», где говорится о помещике Данкове, прототипом которого является Григорий Толстой.

В романе Данков, как мы знаем, вернувшись из-за границы в деревню, решает — по выражению Некрасова — «пожить в своей губернии с самой благой целью».

Теперь эта «благая цель» приобретает благодаря свидетельству Маркса совершенно конкретное содержание: она заключается в том, чтобы, поселившись в деревне, приносить крестьянам наибольшую пользу.

И Панаева в книге своих мемуаров, и Некрасов в «Трех странах света» сообщают то самое, что сказано в этой записи Маркса. Оба они видели Григория Толстого через несколько месяцев после его свидания с Марксом и оба в один голос свидетельствуют,

[1] «Русская мысль». 1903. № 8, с. 63.

что он действительно пытался привести в исполнение те планы, которые незадолго до этого излагал во время пребывания в Париже великому своему собеседнику. Так беглая запись Маркса, сделанная на полях русской книги, дает нам возможность расшифровать подцензурные строки в одном из первых романов Некрасова.

Но, конечно, Григорий Толстой не был бы «лишним человеком», Агариным, «рыцарем доброго стремления и беспутного житья», если бы стал до конца осуществлять свои благородные планы. Проведя в качестве «благодетельного помещика» три-четыре месяца в своей усадьбе, он при первых же заморозках уехал в Симбирск, а в декабре 1847 года продал-таки свое Ново-Спасское и таким образом навсегда отступился от всяких забот о «вящем благе» своих крепостных. Он и в этом случае остался верен себе.

Характерно, что в черновых набросках к своей «Саше» Некрасов первоначально хотел приписать герою поэмы, Агарину, именно такое внезапное охлаждение к «вящему благу» крестьян. В этих черновиках приехавший из-за границы помещик сперва проповедует самоотверженное служение интересам крепостного люда, а потом нарушает свои же собственные гуманные заповеди*, — и за такую измену крестьянам любимая женщина отвергает его. В окончательной версии «Саши» этот мотив, в силу цензурных условий, всячески приглушен и затушеван, но в черновых вариантах отказ Агарина от служения народному благу выступает со всей очевидностью. Некрасов и здесь обнаружил глубокое знание этой породы людей.

* * *

Уже одно то, что Григорий Толстой так или иначе, хоть на самое короткое время, вошел в соприкосновение с Марксом и Некрасовым, побудило меня возможно внимательнее присмотреться к нему, тем более что и сама по себе его личность, столь выразительно характеризующая среду и эпоху, не может не представлять интереса для историка русской общественности. Недаром Некрасов вплоть до семидесятых годов настойчиво возвращался к многообразным подобиям этого типа в ряде стихов и поэм. В созданной Некрасовым большой галерее «рыцарей на час», «героев слова», Решетиловых, Агариных, Пальцовых*, первое по времени место занимает именно Григорий Толстой, воплощенный в образе Данкова на страницах раннего романа Некрасова.

1946

1

В русской литературе Дружинин кажется каким-то иностранцем: все его повести словно переводы с немецкого.

Даже имена его героинь иностранные: Лола Монтес, Шарлотта, Жюли, фрейлейн Вильгельмина, Полинька Сакс, мисс Мэри.

В качестве литературного критика он сильнее всего тяготел к англичанам и охотнее писал о них, чем о русских.

Работал он тоже на заграничный манер: регулярно, от такого-то до такого-то, изумляя окружающих своей продуктивностью.

«Позавидовать ему или пугаться за него, просто не знаю, — восклицал Григорович, сообщая Некрасову, сколько повестей и статей сочинил Дружинин в три недели. — Просто изумительно! Просто невероятно!»[1]

Странен был среди русских писателей этот чопорный денди, всегда спокойный, немного надменный, холодновато-учтивый и, главное, такой самодовольный. Самодовольство у него было тоже нерусское. В его письмах и дневниках мы читаем:

«Я сделал большой шаг для моей славы...»

«Мое имя любимо в литературном круге...»

«Мой труд полезен для просвещения и добрых людей...»

«Я слишком умен, как все мои герои...»

«Я всегда буду стоять в первых рядах литературы...»

Никогда не знал он сомнений в себе и твердо верил в свою высокую литературную миссию. Даже сочиняя роман «Чернокнижников» — это убогое подражание Поль де Коку, Вашингтону Ирвингу и «Пиквику»*, не имевшее никакого успеха, — он искренне считал его шедевром неотразимого юмора.

«Перелистывал «Чернокнижникова», — пишет он в дневнике, — и расхохотался до того, что тотчас же написал почти лист...

[1] «Некрасовский сборник». Пг., 1918, с. 107.

Этот жанр может создать мою славу... Моя веселость есть какая-то особенная веселость...»[1]

Веселости в нем и на волос не было, но он считал себя чуть ли не Диккенсом и до такой степени был уверен в себе, что написал до тысячи страниц юмористики, в которой совершенно отсутствует юмор.

Ясность духа у него была такая, какой вообще не знал ни один из российских писателей той катастрофически бурной эпохи.

«Долгов у меня нет, денег хватает, горя и забот не имеется, — записывал он в дневнике. — Многих людей я люблю, и они меня любят, в душе моей нет ничего тяжкого и недоброго. С таким настроением мне почти везде хорошо и везде приятно...»

Самый счастливый из современных ему русских писателей, без гражданской скорби, без надрыва, без смеха сквозь слезы, без печали и гнева, без всего ассортимента русских писательских мук.

В том, верилось ему, и заключалась его литературная миссия, чтобы проповедовать счастье.

«Будьте жизнерадостны!» — требовал он от писателей и запрещал им высказывать какие бы то ни было горькие чувства. — Долой и «гнев и печаль», и «смех сквозь слезы», и «гражданскую скорбь».

У него была иллюзия, будто в николаевской кнутобойной России можно создать для себя идиллический Оксфорд, праздничный и светлый литературный уют, и он создал себе этот Оксфорд — и был его единственным жителем. В этом Оксфорде он писал об изящной британской словесности, восхвалял Бозвела, Ричардсона, Теккерея и Крабба — и ему мерещилось, что его с умилением читают просвещенные русские сквайры, респектабельные русские джентльмены и леди. Все его книги были адресованы им. Он проповедовал им мудрое эпикурейство, благодушный и грациозный дендизм, он поэтизировал для них Черную речку и Лахту, он щеголял перед ними аристократическим пониманием изящного.

Нет сомнения, что в качестве критика он имел бы немалый успех, если бы те, для кого он писал, существовали в действительности. Если бы были в России просвещенные, респектабельные сквайры, высокообразованные лорды, носители старинной куль-

[1] Записки и дневники Дружинина до сих пор неизвестны в печати*. Я познакомился с ними благодаря любезности его племянника, археографа В. Г. Дружинина. Он же предоставил мне письма Л. Н. Толстого, напечатанные в настоящей статье. Ныне они вошли в Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого.

туры, они сделали бы Дружинина знаменитым писателем и чтили бы его, как Джеффри или Джонсона.

Но он был слеп и не видел, что вокруг него — пустота.

Тот слой просвещенных дворян, к которым адресовался Дружинин, был в России так ничтожен и слаб, что при первых же натисках миллионной толпы разночинцев сделался почти незаметен. Потому-то Дружинин, считавшийся в пятидесятых годах, когда литература обращалась главным образом к просвещенным дворянам, одним из самых влиятельных русских писателей, в шестидесятых был сразу забыт, и многотомное собрание его сочинений, вышедшее вскоре после его смерти*, так и легло в магазинах, не дойдя до читательских масс.

Созданный им Оксфорд рассыпался в пыль. Этой катастрофы он не предчувствовал до конца своих дней, так и умер в уверенности, что его окружают избранные, любовно внимающие его сладостной проповеди.

Проповедь его была действительно сладостная. Это была проповедь о необходимости «светлого взгляда на вещи», «веселого простодушного смеха», «беззлобного отношения к действительности», «симпатического взгляда на людей и на дела людские».

В качестве литературного критика он порицал писателей «желчных и мрачных», изображавших людские страдания, — например, Огарева, Некрасова. Поэзия Некрасова, настаивал он, может нравиться только несчастным, так как она оставляет без отзыва «врожденную во всяком человеке потребность ясности и счастия, ощущений блаженства и радости жизни»[1]. И ничего хорошего не находил он в стихах Огарева, где сказываются «кислые» взгляды на жизнь, где «самые светлые картины зачернены унылыми пятнами»[2].

И вольно же было Белинскому «выдумать»(!), будто художник — каратель общественных зол! Дружинин упорно опровергал эту «выдумку». Художник, по его словам, — примиритель, успокоитель враждующих классов. Он радостно приемлет изображаемый мир, и напрасно думают, будто Гончаров обличает обломовщину, а Тургенев протестует против порабощения крестьян, а Островский ненавидит свое «темное царство». Все это праздные вымыслы публицистической критики. Гончаров любит Обломова, Островскому его «темное царство» милее всего, а Тургенев — успокоительный и благодушный поэт, неспособный ни к какому протесту. И пусть бы Островский писал побольше беззаботных юмористических пьесок, вроде «Праздничного сна до обеда»,

[1] *А. В. Дружинин.* Собр. соч. Т. VII. СПб., 1865, с. 266 и 488.

[2] Т а м ж е, с. 135 («Зимний путь» Н. Огарева).

полных того веселого смеха, которым так умеют смеяться в Вене, в Париже, в Италии и почему-то (!) не умеют смеяться у нас. «Я хохочу чистейшим веселым смехом, как школьник между резвых товарищей, и знать не хочу ни о какой горестной подкладке жизни», — писал он по поводу этой «юмористической пьески»[1].

«Знать не хочу ни о какой горестной подкладке жизни» — таков был его неизменный девиз. Стоило какому-нибудь автору хотя бы мимоходом изобразить анекдот без всяких покушений на сатиру, и Дружинин аплодировал ему с величайшим сочувствием. «Восхищаясь веселостью, проникавшей Хазарова и Мари Ступицыну, мы не высказали всей нашей мысли о том, насколько эта неудержимая, непобедимая веселость была нова и полезна в нашей литературе, давно не знававшей настоящего бесконечного (беспечного? — *К. Ч.*) смеха», — писал он в статье о Писемском и тут же восхвалял романиста за то, что, наперекор всем дидактическим доктринам, он не побоялся изобразить в своем «Лешем» благородного и честного исправника, делающего людям добро[2].

Даже у Салтыкова-Щедрина умудрился Дружинин найти «светлые и тихие страницы» без всякой «горестной подкладки», где дана «поэзия и правда чиновничьей жизни», и уговаривал автора «Губернских очерков», чтобы он не вдавался в дидактику, не изображал «вопиющих и раздирательных» сцен, а улавливал бы в канцелярской среде частицы правды и «поэзии»...[3]

Даже у Томаса Гуда, автора скорбных стихов, насыщенных социальным протестом, он подслушал слова, знаменующие примирение с действительностью:

«Наш мир хорош, очень хорош... Он далеко не так гадок, как разные люди о том провозглашают... Будем надеяться, что все устроено к лучшему»[4].

Правда, эти слова были сказаны Томасом Гудом почти в беспамятстве, на смертном одре, и нисколько не выражали его литературного credo, но только этими словами он и сделался близок Дружинину. Пока Дружинин не знал этих слов, он относился к Томасу Гуду без особых симпатий, ибо всякий социальный протест был в его глазах «язвой искусства». Поэтов бунтарей и обличителей он пренебрежительно называл памфлетистами, или еще хуже — дидактиками. «Дидактик» было у него ругательным сло-

---

[1] *А. В. Дружинин.* Собр. соч. Т. VII. СПб., 1865, с. 566.

[2] Там же, с. 267.

[3] Там же, с. 256.

[4] Там же. Т. V, с. 478. Ср. с письмом Дружинина к Е. Н. Ахматовой, где он говорит: «Ваш талант предназначен к успеху и влиянию, потому что опирается на доктрину высокую и утешительную, а именно на сознание о том, что *жизнь хороша*» («Русская мысль». 1891. № 12, с. 118).

вом. Тем дороже ему был его любимый Шекспир, «веселый зритель человеческих дел» (!), и «всепрощающий (!) Пушкин», «успокоительный гений» (!), глядевший на жизнь с приветливостью, «возбуждая светлые улыбки собратий» и «своей веселостью усиливая радость счастливых»[1].

У нас изображают Дружинина поклонником искусства для искусства. Это, конечно, так. Но нельзя забывать, что основа его «чистой эстетики» была именно в радостном приятии действительности. Его вера в самоцельность искусства вся вытекала из его гедонизма, то есть из непоколебимой уверенности, что жизнь создана для наслаждений. А гедонизмом неизменно прикрывались охранительно-реакционные инстинкты. «Внутреннее чувство нам заявляет, — писал он в одной из своих последних статей, — что человек создан не для озлобления, не для раздвоения, не для сомнения и не для стремлений к (революционным. — *К. Ч.*) утопиям!»[2] Здесь, так сказать, подоплека его ненависти к обличительному, «гоголевскому» направлению в искусстве. Истинным поэтом-художником, не обинуясь, называл он того, кто, отказавшись от каких бы то ни было сатирических выпадов против патриархально помещичьего быта тогдашней России, славит и поет этот быт.

«Явится когда-нибудь, — пророчил Дружинин, — и, может быть, скоро явится на Руси истинный поэт-художник, который скажет новое ненасмешливое слово о поэзии нашей великой отчизны и сделает ее широкое раздолье, ее зимние и летние пейзажи, ее села и городки так же близкими к сердцу читателя, как близки к сердцу мыслящего человека простые чудеса ровной, болотистой, по-видимому неприветливой Голландии, воссозданные в бессмертных трудах фламандских художников. Многое найдет сообщить нам в своих вдохновенных уроках будущий поэт-счастливец, и целые миры откроются перед ним там, где в настоящее время все кажется таким прозаическим, таким непривлекательным. Ему будет труд и слава; на его долю выпадет много открытий, если он приступит к своему труду с любящим сердцем и зорким глазом. Ему достанется изображать сладость спокойствия для человека с измученной душою; ему поэзия первого снега и первых листов на дереве, ему тихий семейный очаг, ему отрада нескончаемой зимней беседы, ему золотые плоды умного уединения, ему тысячи картин, тысячи драм, которых мы еще не видим непросветленными глазами; ему возвышенно-философская

[1] *А. В. Дружинин.* Собр. соч. Т. VII. СПб., 1865, с. 61 и след. («А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений»).

[2] Там же. Т. II, с. 376.

мысль о том, что человек должен быть везде занимателен и везде счастлив»[1].

Здесь, в этой тираде, можно воочию видеть, какими путями программный оптимизм Дружинина неуклонно вел его к идеализации культурного барства, к окрашиванию в розовый цвет усадебного быта русских сквайров, с их «тихими семейными очагами», «нескончаемыми зимними беседами», «золотыми плодами умного уединения» в стародворянских наследственных гнездах.

Стародворянские гнезда были так любезны ему, что он чуть не святотатством считал проникновение в них буржуазной стихии.

«Эти древние дома с фронтонами, колоннами, эти здания с бельведерами и длинными боковыми флигелями, эти обширные приюты старого гостеприимства и старой здоровой гастрономии — милы до крайности, — писал он в 1855 году. — Нам жаль видеть их в руках спекуляторов и прижимистых торговцев, нам грустно думать, что эти добрые московские палаццо покинуты своими обладателями... Нам жаль этих барских почтенных домов...»[2]

Все его тогдашние писания были адресованы именно «барским почтенным домам», «приютам старого гостеприимства» и «старой здоровой гастрономии». Это пристрастие к барству еще обнаженнее в его дневниках. «Я люблю хорошую помещичью жизнь*, начиная от жизни, блистательно обставленной, поэзия которой исключительна и видна глазу, до простого быта скромных и опрятных помещиков. Тургенев, между прочим, где-то говорит о сценах из помещичьей жизни. Но, описывая эти сцены, не надо быть ядовитым, не то можно выйти на Гоголеву дорогу».

«Выйти на Гоголеву дорогу» — это пугало его больше всего. Барская гостиная представлялась ему высшим трибуналом искусства. «Это издание не стыдно держать на столе в гостиной», — похвалил он какую-то книжку[3], и мудрено ли, что категория «изящного», «элегантного», «грациозного» занимает в его эстетике такое заметное место. Он даже пушкинскую сцену в келье Пимена именует сценой «грациозной». Иногда он и сам отмечал в своих повестях и рассказах салонную, «манерную грацию». Этой грацией были наделены им в избытке все его Полиньки, Шарлотты, Жанетты, Вильгельмины, Жюли и мисс Мэри: они «лепетали», они «резвились», они «порхали, как птички», они были «полны самой грациозной веселости», и он чуть не в стихах восхвалял

[1] *А. В. Дружинин.* Собр. соч. Т. I. СПб., 1865, с. 627. См. «Пашенька». Рассказ написан в 1855 г. в самый разгар борьбы с Чернышевским.

[2] Там же. Т. VII, с. 97—98.

[3] Там же. Т. VII. СПб., 1865, с. 30.

«чистоту их девических помыслов». Когда впоследствии Николай Успенский в одном из своих юмористических очерков заставил некоего прощелыгу писать великосветские повести о «роскошных аристократических спальнях», где «полулежат» молодые красавицы с «роскошно-обнаженной грудью»[1], он тем самым подверг осмеянию беллетристическую манеру Дружинина, у которого в романе «Жюли» на первой же странице говорилось, что в «изящной спальне», среди «изящных, блестящих вещиц», «на маленькой бархатной кушетке лежала молодая женщина лет осьмнадцати» и кончиком своей маленькой ножки «упиралась в ручку близ стоявшего кресла», причем, конечно, и кресло и ножка соперничали между собою в изяществе.

Вот к какой жантильности приводила Дружинина его борьба с «гоголевским направлением» в искусстве. Гоголевским Собакевичам он только и мог противопоставить в своей беллетристике этих изящных Жаннет, полулежащих на изящных кушетках. Здесь ему изменял даже его изысканный вкус, который внушил ему столько превосходных страниц о Шекспире, Фете, Тургеневе, Пушкине.

Так что, когда наши литературоведы один за другим именуют Дружинина приверженцем «искусства для искусства», они отмечают не главную, а второстепенную черту его личности. Основное же в Дружинине, как мы только что видели, его тяготение к усладам, утехам и радостям, которые так привлекательны для богатых и «просвещенных» помещиков. Еще Чернышевский очень тонко подметил, что прославление «чистого искусства» служит для Дружинина ширмой, прикрывающей эгоистическую жажду комфорта.

Не называя его по имени, Чернышевский широкою кистью набросал его портрет во весь рост. Сходство получилось разительное.

«...Есть люди, — писал Чернышевский,— для которых общественные интересы не существуют, которым известны только личные наслаждения и огорчения, независимые от исторических вопросов, движущих обществом. Для этих изящных эпикурейцев жизнь ограничивается тем горизонтом, который обнимается поэзиею Анакреона и Горация: веселая беседа за умеренным, но изысканным столом, комфорт и женщины[2] — больше не нужно для них ничего. Само собою разумеется, что для таких темпераментов равно скучны все предметы, выходящие из круга эпику-

[1] *Николай Успенский.* Сочинения. М.—Л., 1933, с. 425—426.

[2] Прямой намек на привычки и вкусы Дружинина и его приятеля Василия Боткина.

рейских идей; они хотели бы, чтобы и литература ограничивалась содержанием, которым ограничивается их собственная жизнь. Но прямо выразить такое желание значило бы обнаружить крайнюю нетерпимость и односторонность, и *для прикрытия* (курсив мой. — *К. Ч.*) служат им фразы о чистом искусстве, независимом будто бы от интересов жизни. Но, скажите, разве хороший стол, женщины и приятная беседа о женщинах не принадлежат к житейским фактам наравне с нищетою и пороком, злоупотреблениями и благородными стремлениями? Разве поэзия, если бы решилась ограничиться застольными песнями и эротическими беседами, не была бы все-таки выразительницею известного направления в жизни, служительницею известных идей?.. Проповедовать эпикуреизм значит просто-напросто быть проповедником эпикуреизма, а не служителем чистого искусства»[1].

Вот какова подоплека той чистой эстетики, за которую якобы боролся Дружинин: жажда успокоительных образов, усыпляющих встревоженную совесть, утверждающих гнет и порабощение масс. Отказ от участия в социальной борьбе был для него, как это часто бывает, актом ожесточеннейшей социальной борьбы.

Нужно ли говорить, что, ратуя за чистое искусство, он требовал, чтобы художник не смел отражать в своих творениях современность и не откликался бы на события текущей действительности.

«Горе поэту, променявшему вечную цель на цель временную...»

«Дидактики, приносящие свой поэтический талант в жертву интересам так называемой *современности*, вянут и отцветают вместе с современностью, которой служили»[2].

Он предсказывал «жрецам современности», что им грозит забвение в потомстве, и призывал их служить только вечным идеалам правды, красоты и добра:

«Твердо веруя, что интересы минуты скоропреходящи, что человечество, изменяясь непрестанно, не изменяется только в одних идеях вечной красоты, добра и правды, он (представитель чистого искусства. — *К. Ч.*) в бескорыстном служении этим идеям видит свой вечный якорь»[3].

Эти эффектные тирады Дружинина о преимуществах «вечного якоря» перед скоропреходящими злобами дня звучали весьма патетически. Но в основе своей они имели все тот же злободневный характер, ибо вызваны были желанием отвратить читатель-

[1] *Н. Г. Чернышевский.* Полн. собр. соч. Т. III. М., 1947, с. 300.
[2] *А. В. Дружинин.* Собр. соч. Т. VII. СПб., 1865, с. 217.
[3] Там же, с. 214.

скую массу от каких бы то ни было боевых выступлений против «свинцовых мерзостей» жестокого строя. Таким образом, призывы к «бескорыстному» служению чистой эстетике внушены были явной корыстью. Впоследствии, когда (через несколько лет) критики реакционного лагеря ополчались против добролюбовского «Свистка», против «Искры» Курочкина, сатир Щедрина и Некрасова, обличительных сцен Николая Успенского, вообще против всей революционно-демократической литературы шестидесятых годов, они прибегали к тем же приемам полемики: всячески осуждая интерес к скоропреходящим, злободневным вопросам, противопоставляли им «вечные» ценности красоты и добра. Хуже всего было то, что в этой реакционно-идеалистической философии Дружинина всегда ощущался особый петербургско-канцелярский, чиновничий привкус, ибо Дружинин только в мечтах воображал себя жизнерадостным сквайром, говорящим от лица богатого и просвещенного барства, а на деле являл собою плоть от плоти петербургской бюрократии, живое подобие своего канцелярского праведника Сакса, мужа легкомысленной Полиньки Сакс.

Недаром, желая изобразить идеального представителя культурного общества николаевских времен, Дружинин воплотил свой идеал именно в этом петербургском чиновнике с немецкой фамилией. Под всеми повадками крупного барина в Дружинине оставался трудолюбивый, аккуратный, упрямый, щепетильный и самодовольный петербургский чиновник.

Отец Дружинина начал службу простым экзекутором и дослужился до высокого чина неустанным канцелярским трудом. Свое имение в Гдовском уезде он получил в награду за верную чиновничью службу: человек изумительной честности, он спас большие казенные суммы во время московских пожаров 1812 года. О матери Дружинина Старчевский рассказывает, что она была «типичной чиновницей».

Петербуржец до мозга костей, Дружинин был помещиком только отчасти. Свою усадьбу посещал лишь наездами, в качестве типичного петербургского дачника и, хотя всю жизнь якшался с людьми артистической складки (да и сам был не чужд артистизма), — не имел в своем характере ничего от богемы: даже проповедь счастья и радости осуществлял петербургским, так сказать, бюрократическим способом: веселился аккуратно, в установленный срок, по заранее обдуманному плану.

Специально для увеселения нанимал он за городом небольшую квартирку — окнами на Смоленское кладбище, где в определенные дни водил хороводы с друзьями вокруг статуи Венеры Медицейской, и хотя ретиво смеялся, и топал ногами, и пел, но в его

веселости, даже по словам его друга, «проглядывало что-то искусственное, гальваническое, вызванное не натуральным побуждением веселиться, а холодным соображением человека, надумавшего, что... надо во что бы то ни стало принять порцию увеселений, и чем они эксцентричней, тем действие их будет лучше»[1].

Участвовавших в этих увеселениях уличных женщин он именовал не без игривости «феями», «нимфами», «гризетками», «доннами», «сильфидами», «гуриями».

Такие увеселения и назывались у него «чернокнижием», которое нисколько не мешало ему оставаться в своем обиходе благопристойным и чинным образцом петербургской «порядочности».

2

Из всех писателей, вступивших в борьбу с разночинцами шестидесятых годов, Дружинин был наиболее непреклонным и стойким.

И Тургенев, и Анненков, и Григорович, и Гончаров, и даже Василий Боткин очень хорошо понимали, что прямая борьба невозможна, и вступили на путь компромиссов.

Дружинину они казались изменниками, ибо он был человек твердокаменный и ни на какие сделки с врагами не шел.

Единственный из всей этой группы, он, начиная с 1855 года, вступил в открытую борьбу с Чернышевским.

Правда, ее застрельщиком был Григорович. В июле 1855 года он написал в имении Дружинина пасквильный рассказ «Школа гостеприимства», где Чернышевский (под фамилией Чернушкин) изображен грубияном, «желчевиком», паразитом и пьяницей. По приезде в Питер Григорович отдал этот пасквиль в «Библиотеку для чтения», а сам тотчас же кинулся к ненавистному «*желчевику*» с покаянием и принялся уверять, что Дружинин все лето «возмущал и расстраивал» его, Григоровича, своими нападками на статьи Чернышевского[2]. А когда через месяц повесть была напечатана, он явился в «Современник» с повинной. Он так и сказал Панаеву, что сам считает свое пасквильное сочинение «мерзким» и просит, чтобы «Современник» не упоминал об этой «мерзости» перед своими читателями, а великодушно промолчал бы о ней[3].

Тургенев и Боткин, конечно, не были повинны в подобных грехах. Но и они не проявили упорства в борьбе с направлением,

[1] *Д. В. Григорович.* Литературные воспоминания. Л., 1928, с. 248.
[2] См.: *Н. Г. Чернышевский.* Полн. собр. соч. Т. XIV. М., 1949, с. 311.
[3] «Некрасовский сборник». Пг., 1918, с. 103.

которое возглавлял Чернышевский; им даже показалось на первых порах, будто они хорошо понимают всю историческую неизбежность провозглашенных им «ересей», и потому они оба пытались в какой-то мере примириться с его «ересями». Тургенев, хоть и давал клятву Григоровичу «преследовать, презирать и уничтожать его (Чернышевского. — *К. Ч.*) всеми дозволенными и в особенности недозволенными средствами», вскоре поспешил заявить: «Я чувствую в нем струю живую... он понимает... потребности действительной, современной жизни — и в нем это не есть проявление расстройства печени, как говорил некогда милейший Григорович, — а самый корень всего его существования... я почитаю Чернышевского полезным»[1].

Боткин, говоря о борьбе Дружинина против гоголевского направления, за которое ратовал тогда Чернышевский, уговаривал Дружинина в письме:

«Нет, не протестуйте, любезный друг, против гоголевского направления — оно необходимо для общественной пользы, для общественного сознания»[2].

Анненков, уклончивый и зыбкий, менял свои позиции ежедневно, примыкая то к той, то к другой стороне.

Один только Дружинин горел ровной и негаснущей ненавистью.

В то самое время, когда Григорович, живя у Дружинина, сочинял свой пасквиль о «Чернушкине», Дружинин (может быть, за тем же столом) изображал в очередном фельетоне «писателя с больной печенкой» — так в том кругу именовали Чернышевского.

«Он... обладает весьма малым талантом и огромною злобою. Он много раз бросался в литературу, хотел быть гонителем и страшилищем поэтов, но это не имело успеха... Он охотно выколол бы себе глаз с тем условием, чтобы каждому человеку было выколото два глаза, он злится на солнце, злится на бравурную арию в театре, злится на веселую беседу своих знакомых, одним словом, у него болит печенка...»[3].

Это как раз те черты, которыми Григорович характеризовал в своем рассказе Чернушкина. Но Григорович, как мы видим, тотчас же отказался от дальнейших баталий. Дружинин же с этого времени — примерно до 1859 года — все свои писания направил против позиций врага. Ни разу не упомянув имени Чернышевского, он каждую свою статью направлял против его «*лжеучений*».

---

[1] «Письма к А. В. Дружинину». М., 1948, с. 317 и 321.

[2] Там же, с. 37.

[3] *А. В. Дружинин.* Заметки петербургского туриста. — Собр. соч. Т. VIII. СПб., 1865, с. 265—266.

В одном письме к Анненкову он так и писал: «Я полагаю, полезно будет в противодействие новосеминарскому взгляду» написать то-то и то-то.

Почти весь седьмой том собрания его сочинений написан ради этого «противодействия новосеминарскому взгляду». О ком бы он ни говорил в этом томе — о Фете, о Пушкине, о Полежаеве, о Писемском, о Марко Вовчке, — он преследовал единственную цель: опровергнуть «возмутительную ересь врага». Он даже шекспировского «Кориолана» перевел для того, чтобы устами Шекспира посрамить ненавистных плебеев, воплощением которых казался ему Чернышевский.

Со свойственной ему самонадеянностью он был твердо уверен, что окончательная победа над врагами близка, и часто повторял в своих статьях, что для его противников приходят последние дни. Можно себе представить, как был бы он удивлен и обижен, если бы узнал, что в это самое время Чернышевский сообщает Некрасову, что Дружинин — живой мертвец, что можно, пожалуй, почтить его погребальной хвалой, но спорить с ним, конечно, не стоит.

«Дай бог ему писать и повести (лишь бы только хорошие), и ученые рассуждения, и все на свете, я совершенно готов хвалить его в глаза и за глаза, печатно и словесно и рад даже обниматься с ним, а заводить ссору вовсе не намерен. Он теперь безвреден, *потому что его никто не слушает и не читает, – чего же другого и можно желать?*»[1]

Приговор убийственный и вполне подтвержденный историей. Тот «высокородный и просвещенный читатель», к которому Дружинин обращал свои тонкие речи, оказался мифом. В то самое время, когда Дружинин чувствовал себя накануне великих побед, когда ему казалось, что он наносит врагу последнюю смертельную рану, враг даже не глядел в его сторону.

«Он будет в «Библ[иотеке для чтения]» защищать свободное творчество и беспощадно разить таких безумных, как я... — писал Чернышевский Некрасову. — Тем не менее я питаю к нему самую нежную дружбу, и стрелы его, конечно, не так остры, чтобы возбуждать во мне потребность ответа. С «Совр[еменником]» он хочет хранить приязнь, негодуя исключительно на меня, — ну, пусть негодует, а я всегда буду отзываться о нем хорошо при всякой возможности»[2].

---

[1] *Н. Г. Чернышевский.* Полн. собр. соч. Т. XIV. М., 1949, с. 316–317. (Курсив мой. — *К. Ч.*)

[2] Там же, с. 327–328. Однако через несколько месяцев Чернышевский в статье о книге А. Ф. Писемского «Очерки из крестьянского быта» дал резкий отпор эстетическим воззрениям Дружинина («Современник». 1857. № 4, с. 30–50).

Чернышевский зорко учитывал подлинное соотношение общественных сил. Он понимал, что те представители дворянской культуры, которые не примкнут к разночинцам, скоро будут смяты и отброшены. Для Чернышевского Дружинин в ту пору был непогребенным покойником.

Таким же ощущал его Некрасов.

«Не знаю, как будет кушать публика г<...> со сливками, называемое дружининским направлением, — писал Некрасов Тургеневу, — но смрад от этого блюда скоро ударит и отгонит от журнала (то есть от «Библиотеки для чтения». — *К. Ч.*) все живое в нарождающемся поколении, а без этих сподвижников, еще готовящихся, — журналу нет прочности» (X, 308).

Некрасов понимал, что накануне шестидесятых годов необходима ставка на *новых людей* и что под теми эстетическими сливками, которыми потчует своих единоверцев Дружинин, скрывается зловонное блюдо реакции.

«Дружинин просто врет, и врет безнадежно, так что и говорить с ним о подобных вещах бесполезно» (X, 247), — писал поэт Василию Боткину еще в 1855 году по поводу литературных воззрений Дружинина.

Дружинин в то время действительно был для «новых людей» уже не существовавшим противником.

Собравшаяся вокруг него группа писателей включала в себя замечательных художников слова, но была раздроблена, неоднородна, изменчива. Своим вождем она его никогда не считала. В сущности, она сплотилась вокруг него лишь в первую минуту «катастрофы», в 1855—1856 годах, и только, а потом каждый в одиночку по-своему повел свою тяжбу с эпохой. Тургенев, на которого Дружинин возлагал такие большие надежды, назвал его писания «пирогами с нетом», его журнал — «темной и глухой дырой»[1], а его самого заклеймил в эпиграмме:

Дружинин корчит европейца,
Как ошибается бедняк!
Он труп российского гвардейца,
Одетый в а́нглийский пиджак.

Слово *труп* было здесь очень уместно. Боткин и Анненков, оттесненные от «Современника», оказались в качестве союзников беспомощны. Панаев перешел на сторону врагов, раскаялся в своих дворянских литературных грехах и стал (главным образом при помощи своих мемуаров) отмежевываться от прежних союзников.

[1] *И. С. Тургенев*. Письма: в 13 т. Т. 4. М.—Л., 1962, с. 284.

3

В одной из статей, посвященных Дружинину, сказано, что от природы ему была свойственна кротость, что он был миролюбивейшим из русских писателей, что он «обладал удивительной терпимостью к чужим мнениям», что «только самые безобразные крайности, которых нам не раз приходилось быть свидетелями в последнее время (то есть опять-таки учение Чернышевского, «нигилизм» и пр. — *К. Ч.*), могли оттолкнуть его от людей и вызвать в нем суровые чувства»[1].

И действительно, в начале своего литературного поприща он постоянно старался мирить всякие непримиримые крайности. Он и в самом деле был уверен тогда, что литератор как носитель некоей вечной общечеловеческой правды должен быть «всеобщим миротворцем», «соединителем враждующих классов». Наша критика должна быть, по его выражению, богата «элементом, примиряющим и согласующим спорящие стороны»[2].

«Дружинин ухитрялся мирить «Современник» с «Русским вестником», — иронизировал впоследствии Писарев[3].

Покуда борьба не дошла до открытого боя, покуда самые цели ее не стали отчетливы, Дружинину и вправду казалось, будто он во всех лагерях — свой, будто, отрешившись от партийных пристрастий, он обеспечил себе драгоценное право судить литературу надклассовым, чисто литературным судом, не привнося в свои оценки никаких чуждых искусству критериев.

Даже обожаемым своим англичанам он делал выговор за слишком пылкие журнальные распри, ибо любил щеголять перед читателями необыкновенной терпимостью вкусов, сочувственным пониманием обоих враждующих лагерей. Слово *умеренность* было в его устах похвалой.

«Умеренность моих взглядов известна достаточно,— писал он в одной официальной записке. — По состоянию и положению в обществе я совершенно независим и от службы и от литературы, к правде я привык давно и умею высказывать ее без задора и увлечений»[4].

Ему казалось, что, свободный от всяких пристрастий, от «задора и увлечений», он может не зависеть от временных заблужде-

---

[1] «Голос». 1864. № 33.

[2] *А. В. Дружинин.* Критика гоголевского периода. — Собр. соч. Т. VII. СПб., 1865, с. 206.

[3] *Д. И. Писарев.* Соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1956, с. 454.

[4] «Записка о настоящем положении цензуры драматических произведений» (12 ноября 1859 г.) в Рукописном отделении ИРЛИ.

ний толпы. Эта поза бесстрастного зрителя доходила у него до аффектации, и он часто бравировал ею.

Когда, например, Сенковский предпринял гонение на Гоголя, всякий из русских писателей был либо на той, либо на другой стороне, — один Дружинин был и за Гоголя и за Сенковского и заявлял в начале пятидесятых годов:

«После Гоголя я уважаю Сенковского пред всеми нашими литераторами»[1].

Это заявление звучало чудовищно для всякого активного участника тогдашней общественно-политической жизни, ибо оно говорило о демонстративной социальной апатии.

Позднее, во время гражданской войны в Америке, когда все реакционеры в России были на стороне Южных (невольничьих) штатов, а радикалы на стороне их врагов, Дружинин громко заявлял свои симпатии и к тем и к другим, причем доказывал, что неграм-невольникам свобода была бы в тягость.

Оторванность от всякого конкретного быта, от реальной жизненной практики помогала Дружинину ощущать себя беспристрастным судьей бытовых и литературных явлений, стоящим высоко над житейщиной.

Когда «Современник» в 1851 году напечатал пошлого Кукольника*, представителя булгаринской фарисейско-патриотической партии, в этом был некоторый ущерб для журнала, оправдываемый лишь цензурным террором, но Дружинин, щеголяя широкостью своих литературных симпатий, увидел здесь самое доброе знамение* и приветствовал появление имени Кукольника на тех самых страницах, где печатались Герцен, Белинский, Некрасов, для которых Кукольник был враг.

Словно для того, чтобы лучше подчеркнуть эту позу, Дружинин одновременно сотрудничал в разных журналах, упорно игнорируя вражду между ними. В 1854 году он работал и в «Современнике», и в «Отечественных записках», и в «Библиотеке для чтения», хотя эти журналы были между собой на ножах.

«Я не принадлежу ни к какой литературной партии, — похвалялся Дружинин в письме к Е. Н. Ахматовой, — и слишком горд, чтобы прилепиться душой и телом к успеху одного какого-нибудь журнала». «Дружеские мои отношения ко всем нашим журналам дадут мне возможность всюду иметь работу»[2].

Но при первом же столкновении с действительностью такие иллюзии обычно рассыпаются прахом, и Дружинин лишь до по-

---

[1] «Русская мысль». 1891. № 12, с. 121.

[2] Там же, с. 120; *А. Старчевский.* А. В. Дружинин. — «Наблюдатель». 1885. № 4, с. 125.

ры, до времени мог носить эту личину примирителя непримиримых идей.

К началу шестидесятых годов почти все наигранное его беспристрастие слетело с него, и он, как мы видели, сделался фанатиком борьбы с «новосеминарскими» принципами.

В этой борьбе, несмотря на всю ее внешнюю чинность, он зашел так далеко, что незадолго до смерти соединился с изувером Катковым, стал сотрудничать в «Московских ведомостях», в «Русском вестнике», громко высказываясь против толков о нашем «крайнем и нестройном прогрессе», против «политического кайенского перца», против «фокусов, переделанных с французского», против «подстрекательств на вражду и насилие», — то есть сделался типичным катковцем[1].

«Из достоверного источника я узнала, что Катков очень дорожит Вашими статьями, — сообщала ему в дружеском письме боевая обскурантка С. Энгельгардт, — знаю, что это Вас порадует, поскольку, как я это знаю, Вы очень к нему расположены».

Характерно, что в том же письме С. Энгельгардт с откровенным бесстыдством говорит о революционных борцах: «Я первая перекрещусь, когда узнаю, что их вздернули на виселицу»[2].

Катков и в самом деле встретил Дружинина с распростертыми объятиями. Обычно сухой и сдержанный в отношениях со своими сотрудниками, он писал Дружинину в нежнейшем письме: «Ваши письма из деревни— прелесть», «Быть в постоянных непосредственных сношениях с людьми, подобными Вам, — отрада и счастье». И тут же уверял его, что он «одно из самых близких нам лиц в Петербурге», — «нам», то есть тем шовинистам, которых он сплотил в своей газете.

Сделавшись в шестидесятых годах общепризнанным вдохновителем всероссийской реакции, Катков, по выражению Никитенко, «совсем одурел от успеха»[3]. В литературных кругах возмущались «несносной надутостью, заносчивостью и несказанным высокомерием Каткова»[4].

Но к Дружинину Катков в это самое время относился с сердечной любовью, без тени заносчивости. «Не знаю, как благодарить Вас за Ваше усердное участие в «Русском вестнике», — пишет он Дружинину в горячем письме, — за этот ряд прекрасных очерков, который заключался в последнем номере, за надежды на

---

[1] См.: *А. В. Дружинин.* Собр. соч. Т. II, с. 388 и след. «Прошлое лето в деревне».

[2] «Письма к А. В. Дружинину». М., 1948, с. 393.

[3] *А. В. Никитенко.* Дневник. Т. II. М., 1955, с. 400.

[4] Т а м ж е, с. 344.

дальнейшее содействие Ваше, за Ваше доброе расположение, за сочувствие, в котором есть крепительная и одобряющая сила...»[1].

Дружинин платил ему той же монетой и объявил, например, «Русский вестник» Каткова «превосходнейшим европейским журналом»[2].

Нет сомнений, что, доживи Дружинин до каракозовских дней, он стал бы, как и Боткин, одним из оплотов реакции. К этому он шел, не останавливаясь, с 1855 года.

4

А между тем ничего реакционного не было в его ранних писаниях.

В молодости, во времена Петрашевского, он был даже чуть-чуть фурьеристом и писал в юношеском своем дневнике за два года до «Полиньки Сакс» — в 1845 году:

«Исследовать попытки социальных реформ последнего времени — вот моя цель...* Смерть одного труженика, не видевшего в жизни ни наслаждений, ни борьбы, ни любви, ни даже чувственных удовольствий, возбуждает страшный вопрос: где справедливость?.. Сколько добродетели, преданности и любви скрыто в массе, которую мы зовем грубою массою».

К этой *грубой массе* двадцатилетний Дружинин был исполнен величайших симпатий. Недаром его наставником, другом, кумиром был в ту пору такой демократ, как художник Павел Андреевич Федотов, которого он прославил впоследствии в одной из своих лучших статей. Мало сказать, что Дружинин чувствовал тогда симпатию к Федотову, — он был влюблен в Федотова, преклонялся пред ним, жаждал ему подражать. Все в Федотове было мило ему. Он восхищался и угловатыми манерами своего старшего друга, и его чудаковатой, «неуглаженной» речью, и его героической страстью к труду, и его суровым пренебрежением к «аристократическим стервецам», «фешенеблям и снобам».

Именно демократизм Федотова был особенно притягателен для молодого Дружинина. «Мне случалось видеть его обед, — с умилением вспоминает Дружинин, — присылаемый от соседних кухмистеров за плату, редко превышающую 15 копеек серебром; случалось находить его рисующим в холодной комнате, имея на себе сверх платья тулуп и шинель». Столь же сочувственно вспоминает писатель, как Федотов, «пренебрегая лишениями», «вы-

[1] «Письма к А. В. Дружинину». М., 1948, с. 151—152.
[2] *А. В. Дружинин.* Собр. соч. Т. VII. СПб., 1885, с. 548.

зывал на бой нужду», как он вылавливал из Невы унесенные бурей дрова, как охотно он общался с людьми, которых называли тогда чернью, — и вообще вся статья преисполнена такого жаркого сочувствия к разночинцу-плебею, утверждавшему в искусстве свои плебейские идеалы и принципы, что читателю становится ясно: Дружинин был тогда совершенно иным и не предвидел той роли, которую довелось ему сыграть через несколько лет, — роли реакционного критика, идеолога привилегированных классов[1]. Тот же Федотов, — как был бы он поражен, если бы дожил до шестидесятых годов и увидел своего былого поклонника гонителем демократического, передового искусства.

Родоначальник обличительного жанра, предтеча передвижников, Федотов был прямолинейным, убежденным и непоколебимым «дидактиком», одним из тех, кого Дружинин в последние годы своей критической деятельности привык шельмовать и клеймить.

По словам Дружинина, Федотов и сам говорил, что каждое его произведение должно содействовать исправлению нравов. Художник был простодушно уверен, что вот этой картиной он учит избегать расточительства, а вот этой — предостерегает от корыстного брака[2]. Можно себе представить, сколько насмешливых и сердитых эпитетов обрушил бы на его картины Дружинин, если бы они появились немного позднее, в ту пору, когда писатель уже успел превратиться в фанатика искусства для искусства. Он обвинил бы Федотова и в «сухом морализме», и в «оскорбительной», «мизерной», «ребяческой» жажде подчинить свое искусство публицистике, и в измене вечным идеалам ради мелких временных и случайных задач.

Нужно ли говорить, что в тот — федотовский — период его жизни он еще не был таким благополучным и зажиточным сквайром, каким ощущал себя в позднейшие годы.

Напротив, юность его проходила в унизительной бедности. Семья была разорена, отцовское имение заложено. «Я был глубоко несчастлив в это время, — писал Дружинин через несколько лет. — Я получил глубокое омерзение к жизни»[3].

От этого «омерзения к жизни», казалось бы столь несвойственного будущему проповеднику счастья, спас его тот же Федотов, переносивший свою нищету с мудрым спокойствием, безмятежно и радостно. «Видя каждый день это спокойное, умно-беззла-

---

[1] См.: *А. В. Дружинин.* Воспоминание о русском художнике Павле Андреиче Федотове. — Собр. соч. Т. VII. СПб., 1865, с. 683 и след.

[2] См.: *А. В. Дружинин.* Собр. соч. Т. VII. СПб., 1865, с. 688.

[3] *П. Попов.* Архив Дружинина. Вступительная статья в сб. «Письма к А. В. Дружинину». М., 1948, с. 9.

ботное лицо, — говорит Дружинин, вспоминая Федотова, — я дошел до убеждения, что можно посредством размышления и сокращения своих потребностей поставить и себя в такое блаженное состояние нравственного равновесия»[1].

Это совсем не то эпикурейство гурмана и барина, каким тешил себя Дружинин позднее, в последнее десятилетие своей литературной работы.

Это было эпикурейство бедняка и плебея, счастливого своим чердаком.

Мудрено ли, что, когда двадцатичетырехлетний Дружинин, прошедший трудную житейскую школу, друг демократа Федотова, автор «Полиньки Сакс», вошел в 1847 году в «Современник», только что основанный Некрасовым, его приняли там как своего человека. И Белинский и Некрасов охотно ввели его в круг своих ближайших сотрудников, творчество которых определяло собою демократическое направление журнала. Он не обманул их ожиданий. Не прошло и года, как Некрасов сообщил из Петербурга Тургеневу, который уже успел напечатать в журнале лучшие из своих «Записок охотника»:

«Вы и Дружинин теперь два лица наиболее читаемые, хвалимые и любимые публикой и действительно наиболее заметные в русской литературе» (X, 115).

Эта хвала была вызвана повестью Дружинина «Рассказ Алексея Дмитрича»*, которую в то же самое время радостно приветствовал Белинский. «А какую Дружинин написал повесть новую — чудо! — восклицал Белинский в письме к одному из друзей. — 30 лет разницы от «Полиньки Сакс»! Он для женщин будет то же, что Герцен для мужчин»[2].

Судя по тогдашнему умонастроению великого критика, его — как и Некрасова — привлекла главным образом публицистическая тенденция повести, прозвучавшее в ней обличение семейного гнета и самодурства помещиков.

Вообще в ранней своей беллетристике Дружинин — в полном согласии с программой самого передового журнала эпохи — восставал и против деспотизма феодальной семьи, и против порабощения женщины, и против уродливого воспитания детей[3].

Характерно, что и Белинский, и Некрасов, говоря о его первых вещах, находят возможным тут же упомянуть имя Герцена, — так уверены были они в ту раннюю пору в демократичности убеж-

---

[1] *П. Попов.* Архив Дружинина. Вступительная статья в сб. «Письма к А. В. Дружинину». М., 1948, с. 9.

[2] *В. Г. Белинский.* Полн. собр. соч. Т. XII. М., 1956, с. 467.

[3] См., например, в первом томе его сочинений, с. 139, 163, 164, 169, 176—177.

дений Дружинина. Если же обличительный пафос его тогдашних повестей и рассказов кажется нам недостаточно сильным, это объясняется цензурным террором, свирепствовавшим в конце сороковых и в начале пятидесятых годов. После февральских дней 1848 года* цензура либо кромсала и уродовала беллетристические произведения Дружинина, либо уничтожала их полностью от первой строки до последней.

Об одной из своих повестей, о «Фрейлейн Вильгельмине»*, относящейся к 1848 году, сам Дружинин сообщал в письме к Ахматовой: «Моя Вильгельмина! не совсем моя, она писана была в пору журнального террора, и цензор смело мог назваться моим сотрудником в этой повести»[1].

По словам Старчевского, «лужи красных чернил заливали первые повести и рассказы Дружинина»[2].

30 сентября 1850 года Некрасов сообщал П. В. Анненкову: «На IX № [«Современника»] набрали мы две повести — одну Сальяс, другую Дружинина, но от них не осталось и следа,

Как от любви ребенка безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной...»

(X, 154)

Поэтому мы и права не имеем судить о юношеской беллетристике Дружинина по напечатанным его повестям и рассказам. Браня его «Жюли», «Шарлотт» и «Вильгельмин» за бессодержательность, пустоту, тривиальность, мы не должны забывать, что автором этих вещей зачастую был скорее цензор, чем Дружинин.

Цензурная ярость не смущала молодого писателя. Узнав о запрещении одной своей повести, — или, как тогда говорили, статьи, — он сейчас же принимался писать другую. «Если и эту постигала та же участь, он, не разгибая спины, начинал и оканчивал третью», — вспоминал о нем впоследствии Некрасов (IX, 430).

Не забудем также, что в молодости, после смерти Белинского, Дружинин, вдвоем с Некрасовым, выносил на своих плечах «Современник»*.

Вместе с Некрасовым он пронес этот журнал сквозь все удушливое семилетие реакции — до самого 1855 года, и, когда в 1855 году узнал о смерти Николая I, записал у себя в дневнике: «Конец давящего кошмара»*.

Цензурный террор был в то семилетье таков, что в журнал не допускали вообще никаких критических статей, так как после Бе-

[1] «Русская мысль». 1891. № 12, с. 119.
[2] «Наблюдатель». 1885. № 6, с. 259.

линского самый этот жанр считался крамольным. Приходилось прибегать к суррогатам, заменяя критику фельетонными очерками*, полными игривой болтовни в духе барона Брамбеуса.

Эти очерки Дружинин писал виртуозно, и мы, учитывая политическую обстановку эпохи, опять-таки не имеем права вменять в вину его тогдашним писаниям отсутствие каких бы то ни было руководящих идей. Самое слово *идея* было тогда заподозрено. Без этих статей «Современник» Некрасова был бы совершенно беспомощен в 1849, 50 и 51 годах.

Вспоминая в некрологе «блеск, живость, занимательность тогдашних фельетонов Дружинина», Некрасов утверждал, что во всей журналистике того времени они одни «носили на себе печать жизни». Если Дружинин в своих писаниях умудрялся порицать таких махровых реакционеров, как Шевырев и Погодин[1], — это был максимум доступного тогда свободомыслия.

Замечательно, что любимого своего Сенковского (Барона Брамбеуса) молодой Дружинин укорял в беспринципности, требуя от него в духе Белинского — горячего и страстного отношения к литературным событиям. «Редакция «Библиотеки для чтения» явно вдалась в какой-то странный индифферентизм», — писал он в 1849 году, порицая «холодное и неподвижное равнодушие» Сенковского[2]. Конечно, и тогда проскальзывало у него преклонение перед зажиточными и просвещенными сквайрами, но, как он сам выражался, к «знатным холуям», к «аристократическим стервецам», к «фешенеблям и снобам» он в ту пору питал неукротимое презрение[3].

Словом, лишь при полном пренебрежении к фактам можно изображать молодого Дружинина боевым обскурантом, как это делают некоторые исследователи нашей словесности. Таким он стал лишь к началу шестидесятых годов — в эпоху поправения того социального слоя, с которым он связал свою судьбу.

Долгие годы беспросветной реакции — этого «давящего кошмара», по выражению Дружинина, — постепенно развратили его: они убили в нем прежнюю жажду протеста, с которой он вступил на литературное поприще...

Мало-помалу он полюбил свою роль светского балагура, занимающего досужих читателей легкой, невинной, салонной беседой о крупных и мелких — главным образом мелких — литературных новинках. Если вчитаться в те критические фельетоны Дру-

---

[1] *А. В. Дружинин.* Собр. соч. Т. VI. СПб., 1865, с. 46—47, 55 и др.

[2] Т а м ж е, с. 22—24.

[3] См. в Рукописном отделении ИРЛИ неизданное письмо Дружинина к Анненкову (1858)*.

жинина, которые печатались из месяца в месяц в «Современнике» сороковых и пятидесятых годов (под общим заглавием: «Письма иногороднего подписчика о русской журналистике»), можно заметить, что слишком уж скоро он свыкся с цензурной неволей и довольно удачно приспособился к ней.

Писатель, которого на первых порах то и дело терзала цензура, понемногу стал трактовать в своих «Письмах» лишь такие безобидные темы, к которым не мог бы придраться и самый мрачный изувер той эпохи. Подобный сотрудник тогда был истинный клад для журнала, и естественно, что даже в позднейшее время, когда Дружинин примкнул к тому лагерю, который был враждебен Некрасову, поэт не раз вспоминал с благодарностью его усердное служение «Современнику» в условиях цензурного террора.

«Одним из ревностных наших товарищей и помощников, — в эпоху особенно трудную для журналистики»,— назвал он Дружинина в 1861 году (IX, 583). И позже, через несколько лет: «Мы с ним работали много и дружно для «Современника» в начале его литературной деятельности» (IX, 430). «Милейший друг и один из приятнейших сердцу моему товарищей», — написал в одном из своих писем Некрасов Дружинину. Письмо относится к тем временам, когда уже четко наметилось идейное расхождение обоих писателей (X, 231). В этом письме Некрасов выражает свое восхищение дружининскими статьями о Пушкине — восхищение, которое он не замедлил выразить и в своем «Современнике», как бы не замечая, что в этих статьях было немало такого, с чем он ни в коем случае не мог согласиться (X, 230).

Вообще он высоко ценил лучшие стороны таланта Дружинина. Когда появился в печати дружининский перевод «Короля Лира», Некрасов отозвался об этом превосходном труде с самой горячей хвалой:

«Если мы скажем, что такого перевода творений Шекспира еще не было на русском языке, то скажем не много в похвалу переводу г. Дружинина. Блестящая даровитость, утонченный вкус, способность мастерская владеть языком — все лучшие качества этого писателя полно и прекрасно выразились в этом труде, выполненном с любовию вследствие увлечения великим писателем и долговременного изучения его творений» (IX, 285).

Похвала Некрасова выдержала испытание временем: дружининские переводы Шекспира и посейчас остаются непревзойденными во многих отношениях.

Но признание мастерства, даровитости и вкуса Дружинина не мешало Некрасову, как мы только что видели, считать глубоко ошибочной дружининскую борьбу с «дидактизмом» в искусстве.

В письме к Василию Боткину (от 16 сентября 1855 года) Некрасов проникновенно сказал, что сам-то Дружинин является лучшим опровержением своей собственной проповеди о вреде «дидактизма» и о спасительности чистой эстетики.

«Дружинин поглядел бы прежде всего на себя, — писал Некрасов. — Что он произвел изрядного (в сфере *искусства*) — «Полиньку Сакс», но она именно хороша потому, что в ней есть то, чего нет в дальнейших его повестях (то есть социальный протест. — *К. Ч.*). И кабы Дружинин продолжал идти по этой дороге, так верно, был бы ближе даже и к искусству, о котором он так хлопочет» (X, 247).

Таким же опровержением теорий Дружинина является основанный им Литературный фонд, который сослужил великую службу беднякам разночинцам шестидесятых, семидесятых и более поздних годов.

Кому не известно, что этот дружининский фонд стал прибежищем для тех литературных плебеев, к которым сам-то Дружинин, преклоняясь перед ревнителями чистой эстетики, всегда относился враждебно, для тех Николаев и Глебов Успенских, Якушкиных, Слепцовых, Орфановых, Помяловских, Левитовых, Вороновых, которых он никогда не удостоил бы ни единой строкой в своих литературно-критических очерках.

Даже трудно представить себе, что делали бы все эти люди без созданного Дружининым демократического учреждения, со славою просуществовавшего многие годы. И не следует думать, что инициатива Дружинина была случайностью в его биографии. Нет, еще до основания фонда он был, так сказать, ходячим фондом для нуждающейся писательской братии. Изучив неизданную его переписку, я вижу, как много помогал он и делом и деньгами Горбунову, поэту Михайлову, Ливенцову, сестрам поэта Крешева, матери Сниткиной, родителям художника Федотова, начинающему беллетристу Петрову и многим, очень многим другим.

Считается почему-то, что основание фонда далось ему очень легко: задумал основать и основал. Конечно, это было не так. Исследуя его бумаги, мы видим, сколько черной работы пришлось ему выполнить, сколько кляуз и доносов пришлось опровергнуть, сколько подвохов, козней, закулисных интриг пришлось преодолеть и рассеять для того, чтобы в 1859 году могло наконец состояться первое заседание этого общества*, которому было суждено пятьдесят с лишним лет служить писательской низовой демократии.

Так как одно время разные недоброжелатели довольно громко злословили, будто бы Литературный фонд создан кем-то дру-

гим, а Дружинин будто бы присвоил себе чужую заслугу, Некрасов уже после полного расхождения с Дружининым счел необходимым засвидетельствовать:

«Нет сомнения, читатели сами знают, что Дружинин был литератор даровитый и честный, точно так же, как знают и то, что Дружинин есть истинный *основатель общества литературного фонда*. Прибавлять нечего» (IX, 431).

Создание этого общества, по мнению Некрасова, объясняется благородством Дружинина:

«Это был характер прямой и серьезный... Он умел любить своих друзей... Дружинина искренне любили и *уважали*...» и т. д. (IX, 430—431).

Таким же запомнился он и Тургеневу. Рекомендуя в 1881 году Льву Толстому книжку молодого Мопассана, Тургенев между прочим сказал: «Он, как человек, напоминает мне Дружинина. Такой же, как и Дружинин, прекрасный сын, прекрасный друг... un homme d'un commerce sûr...»[1]. И Лев Толстой, очевидно, вполне согласился с этой тургеневской оценкой Дружинина, но от себя не сказал ни единого слова, так как давно уже предал осуждению и забвению ту полосу своей жизни, в которой Дружинин играл такую заметную — и чуть ли не главную — роль.

Лишь за год до смерти, 5 ноября 1909 года, восьмидесятилетний Толстой вспомнил Дружинина как основателя Литературного фонда и, поздравляя фонд с полувековым юбилеем, прислал правлению фонда такое письмо:

«Вспоминаю основателей и приветствую сотоварищей Литературного фонда. Сочувствую его доброй пятидесятилетней деятельности. Рад буду внести свою лепту в предполагаемый сборник»[2].

Это сдержанное приветствие заключало в себе все хорошее, что на старости лет пожелал сказать Лев Толстой о любимейшем из литературных друзей своей молодости[3]. Даже имени его не назвал, а глухо включил его в безыменную группу основателей Литературного фонда. А между тем у Толстого было что вспомнить об этом когда-то близком ему человеке.

Из переписки Льва Николаевича с Василием Боткиным, опубликованной уже в советское время, читатели с удивлением узнали, как страстно и нежно любил он Дружинина в юности. Когда

---

[1] «Л. Н. Толстой о литературе». М., 1955, с. 271. Человек, на которого можно положиться *(франц.)*.

[2] «Юбилейный сборник Литературного фонда». СПб., 1909, с. 599.

[3] Говорят, впрочем, что существует неизданное письмо Льва Толстого к Венгерову, посвященное воспоминаниям о Дружинине. Поиски этого письма были до сих пор безуспешны.

же мне посчастливилось отыскать в одном частном архиве письма Льва Толстого к Дружинину и дневник Дружинина, относящийся к 1855—1859 годам*, стала вполне ясна и причина этой загадочной дружбы.

5

Вернемся же к тому давнему времени, к самой середине пятидесятых годов. Незадолго до знакомства с Толстым Дружинин в приятельском письме к одному офицеру* написал такие невероятные строки:

«Кстати о литературе. Отыщите, любезнейший Михаил Алексеич, в «Современнике» за июнь статью Толстого, бывшего вашего кавказского Толстого, «Севастополь в декабре 1854 года». Статью эту два раза читала государыня, государь читал ее сам, весь Петербург ее расхваливает, а я знаю, что вы можете (?!) написать подобную вещь — и гораздо лучше (?!). Зачем вы дали опередить себя, зачем вы не составили подобного же рода рассказа о ваших экспедициях к Бебутовым?»[1]

Художественное значение толстовского очерка было до такой степени заслонено его животрепещущей темой, что даже квалифицированный критик на первых порах оценил лишь его злободневность.

Личное же знакомство с Толстым завязалось у Дружинина в ноябре 1855 года, едва только Толстой вошел в круг петербургских писателей, причем характерно, что на первых порах Дружинин воспринял Толстого опять-таки главным образом как очевидца севастопольских событий. В среду 23 ноября 1855 года он записал у себя в дневнике:

«Вчера обедал у Некрасова с новыми весьма интересными лицами — туристом Ковалевским и Л. Н. Толстым. Оба из Севастополя. Мне нравятся оба (I like both)».

К тому времени группа крупнейших сотрудников «Современника» сплотилась особенно тесно.

Это была как бы гвардия нашей словесности: Тургенев, Дружинин, Анненков, Гончаров, Григорович, Панаев, впоследствии Писемский. Их жизнь стала немыслима без шампанского, великолепных обедов, интимных бесед, веселых ночных похождений. Конечно, они часто встречались с другими писателями, но относились к ним очень учтиво, и только, — никогда не вводя их в свой круг. К ним близко примыкали в то время Николай Гербель,

[1] Впервые опубликовано мною в журнале «Звезда» № 3 в 1930 г.

Яков Полонский, Михаил Михайлов, Николай Щербина, Колбасин.

Лейб-органом этой привилегированной группы, беспрестанно восхвалявшим ее литературные подвиги, был в ту пору журнал «Современник», на страницах которого из номера в номер печаталось, что:

— рассказ «Свистулькин» есть «остроумный каприз» Григоровича,

— рассказ «Пашенька» есть «одно из самых прихотливых созданий Дружинина»,

— стихотворение Фета, «самого симпатичного из наших поэтов», так «освежительно действует на душу», что «всякая похвала немеет перед его высокой поэзией»,

— Писемский, «один из самых талантливых наших писателей в настоящую минуту», «читал свой роман в высшем петербургском обществе»,

— «Тургенев окончил и отдал уже нам свою повесть, и «Современник» считает себя счастливым, что может напечатать ее»[1].

Тургенев был у них генералом. «Современник» в те годы охотно ставил Тургенева рядом с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым[2], и в каждой книжке по нескольку раз, в самых различных отделах, с самой нежной почтительностью упоминал его имя.

«...Эскиз, небрежно набросанный [рукою] такого писателя, как г. Тургенев, во сто раз ценнее многих отделанных романов...»

То был медовый месяц его славы, и многие считали своим долгом посвящать ему свои произведения: Лев Толстой посвятил ему рассказ «Рубка леса», Некрасов — свою первую поэму, знаменитую «Сашу», Фет обратился к нему с обширным стихотворным посланием*. Вообще союз этих знаменитых писателей казался тогда нерушимым.

Вот в каких выражениях писал, например, Дружинин своему кавказскому приятелю о тех манифестациях дружбы, которыми был ознаменован их «дворянский союз» накануне шестидесятых годов:

«Я, Григорович и Боткин пробрались в имение Тургенева, там жили месяц, веселились, играли в домашний театр, оттуда переехали в Тульскую губернию к Григоровичу, оттуда в Москву к Боткину, оттуда через Нарву в мое имение. Более ясных, веселых, истинно товарищеских дней трудно кому-нибудь испытать,

[1] «Современник». 1855. № 2, с. 228, 248; № 3, с. 118; № 11, с. 87 и др.
[2] Там же. № 5, с. 121.

мы беседовали всякую ночь до рассвета и, когда пришлось разъезжаться, расстались как братья»[1].

В самый разгар этих «братских» веселий, 21 ноября 1855 года, и приехал из Севастополя 27-летний поручик Лев Толстой, которого они еще никогда не видали и в которого сразу чуть не поголовно влюбились:

«Что это за милый человек, а уж какой умница! — писал о нем Некрасов в Москву Василию Боткину. — И мне приятно сказать, что, явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милый, энергический, благородный юноша — сокол!.. а может быть, и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши. Тебе он, верно, понравится... Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое, и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит. Мне он очень полюбился» (X, 258).

Дружинин в то же самое время писал своему кавказскому другу:

«На днях все мы, литераторы, были обрадованы приездом из Крыма гр. Толстого, известного по статьям о Севастополе. Это превосходнейший господин, истинный русский офицер, с превосходными рассказами, чуждыми фразе, и самым здравым взглядом на вещи»[2] .

Поселился Толстой у Тургенева на Малой Конюшенной, и 9 декабря Тургенев писал о нем Анненкову:

«Вообразите: вот уже более двух недель, как у меня живет Толстой (Л. Н. Т.) — и что бы я дал, чтобы увидать вас обоих вместе! Вы не можете себе представить, что это за милый и замечательный человек — хоть он за дикую ревность и упорство буйволообразное получил от меня название Троглодит. Я его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое»[3].

Эти люди были тогда в полном расцвете всех своих сил и талантов.

Анненков только что закончил огромную работу над новым изданием Пушкина, которое вышло в свет с необыкновенным эффектом.

Гончаров только что вернулся из Японии и привез с собой «Фрегат «Палладу».

Дружинин почти закончил перевод Шекспирова «Лира». Перевод тоже был признан литературным событием.

---

[1] Неизданное письмо к М. А. Ливенцову от 23 июля 1855 г. (в Рукописном отделении ИРЛИ).

[2] Письмо неизданное (ноябрь 1855 г.). Хранится в Рукописном отделении ИРЛИ.

[3] *И. С. Тургенев*. Письма: В 13 т. Т. II. М.—Л., 1961, с. 328.

Тургенев только что вернулся из ссылки и привез с собой «Рудина» — свой первый роман, который вызвал столько нареканий и похвал.

Было похоже, что смерть Николая, которую они встретили с живейшею радостью, как начало светозарной эпохи, придала им новые силы для творчества, и вот теперь, зимою 1855 года, все они съехались в Питере отпраздновать удачное завершение своих новых трудов и теснее сплотиться для дальнейшей столь же плодотворной работы.

И они действительно сплотились. Это время было апогеем их дружбы. Никогда — ни раньше, ни потом — они не питали друг к другу такого братского чувства. К Дружинину они всегда относились прохладно и даже насмешливо, а теперь вдруг обнаружили в нем тысячи удивительных качеств, которых до того не замечали. Писемского они тоже чуждались дотоле, а теперь словно впервые увидели, назвали Ермилом и радушно приняли в свой круг.

Словом, зимою 1855 года все они так тесно сдружились, что не могли и дня провести друг без друга, и, сойдясь поутру у Тургенева, шли всей ватагой обедать к Некрасову, который по приказу врачей сидел тогда в своей квартире безвыездно, а вечером опять-таки все вместе ехали куда-нибудь к цыганам, или к товарищу министра князю Вяземскому, или к графу Кушелеву-Безбородко, или к Андрею Краевскому, или в Михайловский — слушать новую итальянскую диву, Анжелину Бозио, только что прибывшую в Питер.

Никому и в голову не приходило тогда, что скоро этим праздникам конец.

6

Хотя Толстой приехал в Петербург уже известным писателем, он сам еще никогда не бывал в литературном кругу и никаких писателей не видел (разве что Григоровича мимоходом в Москве).

Военный, крестьянский, помещичий быт был для него родной стихией, но литераторский остался до такой степени неведом ему, что он, к великому изумлению Дружинина, не знал даже, что такое Цензурный комитет, тот самый, который причинил ему столько обид.

6 декабря 1855 года Дружинин записал в дневнике*:

«Толстой вел себя милейшим троглодитом, башибузуком и редиором◊. Он не знал, например, что значит Цензурный комитет и какого он ведомства».

◊ Редиор — возможно от redire, твердить *(франц.). Здесь и далее под знаком «◊» перевод составителей.*

Он даже не был никогда в стенах редакции, и, может быть, поэтому весь писательский круг издали казался ему в ореоле.

Почти всех писателей, с которыми он теперь познакомился, он давно уже читал и любил. В перечне книг, имевших на него в юности большое влияние, он отметил позднее дружининскую «Полиньку Сакс», «Антона Горемыку» Григоровича и тургеневские «Записки охотника». Судя по дневнику его молодости, даже тягучий роман Григоровича «Проселочные дороги» показался ему «очень хорошим». А Тургенева в своих мечтах он ставил на такую высоту, что, когда его сестра переслала ему в письме привет от Ивана Сергеевича и несколько ласковых слов, он записал у себя в дневнике: «Получил восхитительное письмо от Маши, в котором она описывает мне свое знакомство с Тургеневым. Милое, славное письмо, возвысившее меня в собственном мнении и побуждающее к деятельности». Эта запись относится к 21 марта, и вот в том же году, в ноябре, он видит своими глазами всех этих заочно любимых людей. В первые дни в Петербурге, среди этих новых людей, которые издали казались ему такими прекрасными, он был и кроток, и доверчив, и любящ и смотрел на них так, «словно гладил»*. На первых порах он даже немного робел в этом незнакомом кругу и записал в дневнике:

«Я в Петербурге у Тургенева. Мне нужнее всего держать себя хорошо здесь. Для этого нужно главное: осторожно и смело обращаться с людьми, могущими мне вредить».

Но таких людей не оказалось. Все они, как утверждал Некрасов, «раскрылись ему со всем добродушием» и ввели в свою касту не только как равного, но сразу же его, молодого, поставили рядом с Тургеневым, а тогда это была величайшая честь, какую они могли оказать ему.

Сейчас у меня в руках дневник Дружинина, еще неизвестный исследователям. Из этого дневника ясно видно, что Толстой, приехав в Петербург, усвоил себе все привычки тогдашних писателей (совпадавшие с его офицерскими навыками).

«Четверг. 8 декабря

Меня начинает сокрушать поведение Саши Жуковой*, но сокрушать пленяя. Это особый вид русской гризетки, о котором стоит подумать. Толстой тоже пленен ею до крайности...»[1]

[1] О Саше Жуковой см. в «Дневнике» Толстого от 15 мая, 6 и 15 декабря 1858 г. (*Л. Н. Толстой.* Полн. собр. соч. Т. 47. М., 1937, с. 72, 104, 105), и в письмах Григоровича к Дружинину («Письма к А. В. Дружинину». М., 1948, с. 86–87).

«Вторник. 6 декабря

Был спор о Саше и Наде*, однако и изящному посвятили несколько времени, читая сцены из комедии Островского».

«Воскресенье. 11 декабря

Башибузук [Толстой] закутил* и дает вечер у цыган на последние свои деньги».

И так дальше — из месяца в месяц. Недаром на старости лет сурово осуждая эти первые годы, проведенные в литературном кругу, Толстой под влиянием своих аскетических предсмертных воззрений говорил, что писатели оказались «люди безнравственные, в большинстве люди плохие, ничтожные по характерам — много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни, но самоуверенные и довольные собой».

Кроме кутежей, они немало времени посвящали «изящному» и спорили об «изящном» по целым часам. В дневнике Дружинина записаны эти ежедневные споры. Уже через две недели по приезде в Питер Толстой принялся за свое излюбленное «уничтожение» Шекспира, объявив, что «удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразою». Это показалось скандалом и вызвало бурю страстей.

В то время слово *фраза* было страшным ругательством — особенно в устах у Льва Толстого, а Шекспир для всего этого круга писателей именно к середине пятидесятых годов засиял новым сиянием. Боткин написал о нем восторженную статью в «Современнике», Фет перевел «Юлия Цезаря», Аполлон Григорьев — «Сон в летнюю ночь». Именно тогда в статьях Дружинина и Аполлона Григорьева была по-новому поставлена проблема стиховых переводов Шекспира. Споры с Толстым о Шекспире сделались чуть не ежедневным обычаем, особенно после того как Дружинин — 31 января 1856 года — прочитал у Некрасова свой перевод «Короля Лира» и вместе с Тургеневым стал вразумлять *Троглодита** насчет красот Шекспировой поэзии.

В споре приняли участие все — даже Михаил Михайлов и Майков.

Почти ежедневно эти люди читали друг другу свои сочинения (они и тогда не переставали напряженно работать) и шумно обсуждали их целым синклитом. Толстой, чуть приехал из Крыма, тотчас же прочитал у Тургенева «очень хорошие главы» своей «Юности», а у Некрасова — «частичку «Севастополя в августе». Огарев прочитал «Зимний путь», Гончаров — отрывки из «Обло-

мова», и таким образом кутежи у них действительно перемежались с *изящным*, и, как впоследствии указывал Толстой, — *изящное* служило для них оправданием их тогдашних веселий.

Главными жрецами «изящного» в этом кружке почитались Дружинин, Анненков, Боткин и Фет. С ними-то и сблизился в то время Толстой. И не только сблизился, а, как мы увидим сейчас, страстно и наивно уверовал в них — особенно в Дружинина и Боткина, и даже вообразил себя их идейным соратником, правда, на очень короткое время.

Впоследствии их-то он и возненавидел сильнее всего, и, когда в своей «Исповеди» он вспоминает, что ему, молодому писателю, его старшие товарищи внушали приятную и выгодную веру, будто художники наделены бессознательной мудростью, благодаря которой они вправе учить человечество, сами ничему не учась, — он разумеет именно Дружинина, Боткина, Фета и Анненкова.

«Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта — обман», — писал он через двадцать лет, но тогда, в пятидесятых годах, он исповедовал их веру с обычной своей «троглодитской» страстью и любил этих людей больше всех. «Боткин, Анненков, я и Толстой составляем зерно союза, к которому примыкают Панаев, Майков, Писемский, Гончаров и т. д.», — записал Дружинин у себя в дневнике 18 декабря 1856 года.

Когда Толстой приехал в Петербург, их *изящная* жизнь была в самом разгаре, и казалось, что ей не будет конца. Дружинин в своем дневнике не раз выражал удовольствие, что «литераторы русские, во-первых, очень хорошие люди, а во-вторых, живут между собою в примерном или, вернее, в беспримерном согласии...».

«Пусть это согласие и благородное настроение продолжаются долго!» — восклицал он на тех же страницах, не подозревая, что во всю их «беспримерно согласную» касту уже брошена бомба, которая возвещала начало кровопролитной войны.

Зачинщиком войны был, как мы знаем теперь, Чернышевский.

7

В то время Чернышевский воспринимался как единственный чужой человек в «Современнике».

Никто не знал, что он является как бы предтечей несметной толпы боевых разночинцев, которые нахлынули в литературу позднее, через три или четыре года.

Естественно, что всей этой группе он поначалу казался монстром, раритетом — и только. Они считали его одиночкой, они не

знали, что он — полководец, за которым незримо идет огромная армия преданных и закаленных солдат, им и в голову не приходило тогда, что через три-четыре года их «Современник» сверху донизу будет набит «семинарами» — Добролюбовым, Елисеевым, Николаем Успенским, Антоновичем, Левитовым и т. д.

Им казалось, что Некрасов привлек этого чужака в свой журнал по какому-то нелепому капризу, что стоит только потребовать у Некрасова, чтобы он вытолкал его прочь из журнала, и литературная жизнь по-прежнему станет безоблачной, по-прежнему плеяда высокородных и просвещенных художников будет создавать свои шедевры, а тонкие ценители-критики будут разъяснять эти шедевры высокородным и просвещенным читателям.

Вся эта группа писателей в разных формах и под разными предлогами требовала у Некрасова в пятьдесят пятом году, чтобы он удалил Чернышевского и поставил во главе журнала его антипода — Дружинина*.

Дружинин был идейное знамя, вокруг которого они надеялись сплотиться для борьбы с «безвкусными и безобразными ересями».

Под это знамя встал и Лев Толстой. Неспособный ни к какой половинчатости, он сделался соратником Дружинина, — словно нарочно не желая заметить, какая между ними непроходимая пропасть.

Один маленький петербургский писатель сообщал Тургеневу в то время:

«Надо вам знать, Иван Сергеевич, что Дружинин теперь звезда первой величины, все вокруг него вертится, а Толстой просто на него чуть не молится. Благоговение, которое он питает к Дружинину как критику, комично в высшей степени»[1].

Прочтя это письмо, Тургенев тотчас же написал Льву Толстому:

«Вы, я вижу, теперь очень сошлись с Дружининым — и находитесь под его влиянием. Дело хорошее — только смотрите, не объешьтесь и его».

Весь пятьдесят шестой год Толстой действительно «объедался» Дружининым. В то время Некрасов при помощи тонкой и сложной политики очень учтиво и даже любовно вытеснил Дружинина из своего «Современника», и Дружинин для борьбы с «чернышевщиной» и другими, как он выражался, «неистовствами», обзавелся «Библиотекой для чтения».

[1] «Тургенев и круг «Современника». М.—Л., 1930, с. 299; письмо Елисея Колбасина.

Некрасов, опасаясь, как бы Дружинин не отнял у него лучших сотрудников, решил прикрепить их к своему «Современнику», предоставив им долю в доходах журнала. Этих «закрепощенных» было четверо: Тургенев, Толстой, Островский и Григорович.

В конце 1856 года они подписали договор с «Современником»*, обязуясь не сотрудничать нигде, кроме журнала Некрасова. Эта мера была направлена главным образом против «Библиотеки для чтения». Но Дружинин сделал попытку использовать враждебный маневр для выгод собственной литературной политики. Он попытался внушить прикрепленным к «Современнику» авторам, что теперь, когда они связаны с этим журналом такими прочными узами, они должны захватить весь журнал в свои руки, чтобы вытравить оттуда «чернышевщину».

«Неужели же вы не возьмете контроля в журнале?.. — спрашивал он Тургенева. — Положа руку на сердце, признайтесь, — неужели вы довольны Чернышевским и видите в нем критика, и не обоняете запаха отжившей мертвечины в его рапсодиях?.. С будущего года ответственность за это безобразие падает на вас...»[1]

Толстого он агитировал более решительно и рекомендовал ему, как человеку неопытному в журнальных боях, исподволь осмотреться в неприятельском лагере, чтобы нечаянной и внезапной атакой свергнуть ненавистного врага.

«Для меня яснее дня, — писал он Толстому 6 октября 1856 года, — что вы трое, то есть Тургенев, Толстой и Островский, должны иметь контроль над журналом... Спешите же... изготовиться к делу и посредством взаимного соглашения и, где можно, уступок приять голос вам подобающий. Не принимайтесь за дело круто и до времени терпите безобразие Чернышевского, хотя теперь вы все некоторым образом за него отвечаете. Зато, высмотревши все и решившись, поднимайте голос и стойте за свои мнения...»

И в конце письма — о Тургеневе:

«Не давайте ему впадать в рабство перед *мертвечиной*», то есть перед проповедью Чернышевского.

Таков был дружининский план: взорвать неприятельскую цитадель изнутри. Боясь неорганизованных боевых выступлений со стороны «Троглодита» — Толстого, который именно в силу своего «троглодитства» мог кинуться в атаку раньше срока и тем погубить все дело, Дружинин, мнивший себя руководителем заговора, советовал Толстому до времени воздержаться от каких бы то

[1] «Тургенев и круг «Современника». М.—Л., 1930, с. 193—194.

ни было воинственных действий против их общего врага, Чернышевского, — с тем, чтобы в решительный миг соединенными силами нанести ему нечаянный удар.

Вся эта тонкая журнальная тактика была Льву Толстому чужда. В ту пору его волновало другое: он только что закончил свою «Юность», которая должна была пойти в «Современнике», — и так как он сомневался в ее литературных достоинствах, он решил послать ее на просмотр Дружинину, выражая полную готовность подчиниться его приговору. В этом тоже сказалась вражда к «Современнику». Вынужденный дать свою повесть именно в этот журнал, Толстой открыто бойкотирует Ивана Панаева, ведающего здесь беллетристикой*, и, нисколько не любопытствуя, как отнесутся к его новой рукописи в редакции самого «Современника», посылает ее на просмотр редактору чужого журнала.

И добро бы только на просмотр. Нет, он просит, чтобы Дружинин был полновластным редактором повести: выбрасывал бы из нее все, что вздумается, исправлял бы ее фразеологию и стиль. Здесь такое доверие к литературному авторитету Дружинина, какого Толстой никогда не оказывал ни одному человеку.

Вообще первые письма Толстого к Дружинину исполнены самой доверчивой и нежной любви — даже, я сказал бы, влюбленности.

Дружинин незадолго до этого обратился к Толстому с просьбой прислать в «Библиотеку для чтения» какой-нибудь новый рассказ, пока Толстой еще не «закабален» «Современником»: «Уделите мне день или два вашего уединения, — писал он Толстому, — и напишите мне хоть самую крошечную статейку... пока Вы еще не связаны условием»[1].

Толстой счастлив исполнить желание друга и пишет ему такое письмо:

27 сентября 1856. Ясная Поляна.

Письмо ваше очень обрадовало меня, милейший Александр Васильевич; особенно потому, что я с каждым днем все собирался писать вам и, без фразы, почти каждый день думал о вас. — Во-первых, я думал о вас потому, что я вас очень люблю и уважаю, тоже без фразы, а во-вторых, потому, что хотел просить вас о помощи. Ваше желание я надеюсь исполнить и исполнил

[1] То есть тем договором, согласно которому Лев Толстой, Тургенев, Островский и Григорович с начала 1857 г. обязывались помещать свои произведения лишь в одном «Современнике». — *К. Чуковский.* Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934, с. 256.

бы его сейчас же, ежели бы меня не связывало обещание, которое я дал Краевскому, дать ему первое, что буду печатать. Ведь к последней книжке — значит к декабрю? а для Краевского у меня уже готовится, для вас же почти готово, был написан для имевшего издаваться Воен[ного] Ж[урнала], правда, крошечный эпизодец кавказский, из кот[орого] я взял кое-что в Руб[ку] леса и к[оторый] поэтому надо переделать. Не для того, чтобы вас задобрить к услуге, которую от вас прошу, но просто мне ужасно приятно сделать вам что-нибудь приятное и, получив ваше письмо, да и прежде, я раскаивался в этом поспешном условии с Современником. Вот в чем моя просьба. Я написал 1-ю половину Юности, кот[орую] обещал в Современник. Я никому ее не читал и писал пристально, так что решительно не могу о ней судить — все у меня в голове перепуталось. Кажется мне, однако, без скромности, что она очень плоха — особенно по небрежности языка, растянутости и т. д. Кажется мне это потому, что когда я пишу один, никому не читая, то мне обыкновенно одинаково думается, что то, что я пишу, превосходно и очень плохо, теперь же гораздо больше думается последнее. Но я совершенно с вами согласен, что раз взявшись за литературу, нельзя этим шутить, а отдать ей всю жизнь, и поэтому я, надеюсь впредь написать еще хорошее, не хочу печатать плохое. Так вот в чем просьба. Я к вам пришлю рукопись, — вы ее прочтите и строго и откровенно скажите свое мнение, лучше она или хуже Детства, и почему и можно ли, переделав, сделать из нее хорошее или бросить ее. Последнее мне кажется лучше всего, потому что, раз начав дурно и проработав над ней три месяца, она мне опротивела донельзя.

Ну да довольно об этом. Адрес мой в Тулу просто. Живу я в деревне, жду денег, чтобы ехать в Петерб[ург] и за границу. Охотился, писал, читал много, ездил кое-куда по деревням, немножко влюбился в одну деревенскую барышню, но теперь сижу дома, потому что болен, и очень серьезно. У меня было воспаление в груди, от кот[орого] я, не вылечившись, простудился снова, и теперь нехорош. Прощайте, любезный Александр Васильевич, я с удовольствием думал со вчерашнего дня, что я напишу вам и было что-то много, но теперь я так устал и так болит грудь, что кончаю. Напишите, пожалуйста, а Юность я с этой почтой вам вышлю, вы ее храните у себя, не показывайте никому и только ежели ваше решение хорошо и я напишу еще вам, тогда отдайте Панаеву.

Истинно любящий вас

Гр[аф] *Л. Толстой.*

Кланяйтесь милому Генералу и всем, кто меня помнит. Ежели бы, против чаяния, в Юн[ости] только нужно бы было вымарать кое-что, то марайте, где вам это покажется нужным[1].

Дружинин, гордясь возложенною на него почетною миссиею, тотчас же прочитал «Юность» и прислал Толстому очень дельный разбор его повести*.

«Порадовали вы меня, дорогой и милейший башибузук, и письмом вашим, и доверием к моему вкусу, и «Юностью», которую я сейчас кончил, — писал он Толстому 6 октября 1856 года. — Я вас очень люблю и вижу перед вами славную дорогу, на которой, однако, будут и Кирюши[2], и напрасные труды, и огорчение, и борьба с литературным безобразием, весь аккомпанемент самой лучшей деятельности...»

В конце письма Дружинин дает Толстому ряд наставлений, как бороться с Чернышевским в недрах самого «Современника».

Толстой тотчас же ответил Дружинину:

Октябрь 1856. Тула

Чрезвычайно благодарен я вам, милейший Александр Васильевич, за ваше славное, искреннее и дружеское письмо и слишком

---

[1] *Л. Н. Толстой.* Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949, с. 86–87.

Деревенская барышня, в которую Толстой тогда «немножко влюбился», — Валерия Владимировна Арсеньева. В то время он намеривался жениться на ней. Тогда, в сентябре, его увлечение было в самом разгаре.

Так как еще до Дружинина к Толстому с просьбой о сотрудничестве обратился Краевский, издатель «Отечественных записок», Толстой решил дать Краевскому «Утро помещика», а Дружинину — очерк «Разжалованный» (впоследствии — «Встреча в отряде»). Из этого толстовского письма мы впервые узнаем, что «Встреча в отряде» была написана Толстым еще осенью — зимою 1854 г. на фронте для того «Военного листка», который он намеревался издавать в Севастополе во время войны. Листок не был разрешен Николаем I, и «Встреча в отряде» осталась в бумагах Толстого. Впоследствии Толстой позаимствовал из этого рассказа кое-какие детали для «Рубки леса» и «Юности».

Ранние биографы Толстого полагали, что мысль о поездке за границу явилась у Льва Николаевича лишь после разрыва с Арсеньевой. Из этого письма видно, что заграничная поездка была задумана раньше.

Болезнь, о которой упоминает Толстой, произошла оттого, что он, делая гимнастику, «свихнул себе поясницу».

«Милый Генерал», которому Толстой передает в конце письма привет, — несомненно Егор Петрович Ковалевский, брат министра народного просвещения, известный путешественник, автор книг: «Путешествие во Внутреннюю Африку», «Путешествие в Китай» и т. д., человек, близкий к Некрасову, Дружинину, Тургеневу, Фету, впоследствии председатель Литературного фонда. Во время войны был вместе с Толстым в Севастополе.

[2] «Кирюша» — заглавие крайне слабой повести Анненкова, которая стала синонимом плохих повестей («Современник». 1847. № 5; *А. Я. Панаева.* Воспоминания. М., 1956, с. 170).

лестный суд, который мне все кажется, что я подкупил хитрым выражением беспомощности и особенной любви к вам, в чем я не лгал, но которую мог бы выразить в другой раз. — Как бы то ни было, мне ужасно хочется, и я почти верю всему, что вы мне говорите, поэтому непременно хочу исправить все, что можно. Уж ежели есть хорошее в ней, то я хочу сделать все, что могу, чтобы это хорошее представить в наилучшем свете. Рукопись не давайте никому, на это, кроме того, что я хочу переправить, есть другие причины, а я недели через две надеюсь быть в Петербурге и надеюсь по вашим указаниям переправить, что можно. — Я пишу из ненавистной мне Тулы, куда приехал на минутку, и тороплюсь. Не знаю, что значит обещание Григоровича печататься у вас в феврале, но по смыслу условия это невозможно[1]. Сестра, которую вы знаете и у которой я получил ваше письмо, после того как мы, прочтя ваше письмо, много говорили о вас, просила меня написать вам, что она гордится тем, что, сказав с вами только несколько слов в Спасском, она раскусила вас и поняла вас именно таким, каким я вас описывал ей[2]. Каким, вы сами знаете. Прощайте, до свиданья, любезнейший друг. Мне ужасно приятно и лестно вас называть так. —

Безобразие Чернышевского, как вы называете, все лето тошнит меня. Ежели бы вы отдали до моего приезда переписать Юность с большими полями, это было бы отлично.

Ваш Гр[аф] Л. Толстой.

8

Вскоре после этого письма Толстой покинул Ясную Поляну. В начале ноября он был уже в Петербурге и, конечно, раньше всего посетил своего любимого друга. Восьмого числа Дружинин записал в дневнике*:

«Приехал Толстой, к великой моей радости, и мы с ним были два дня неразлучны».

Под руководством Дружинина Толстой окончательно отделал свою «Юность», после чего и передал ее в «Современник» Панаеву.

---

[1] Тот самый договор с «Современником», о котором было сказано выше. Григорович с договором не считался, за что Некрасов назвал его «клятвопреступным».

[2] Сестра Толстого, Мария Николаевна Толстая, познакомилась с Дружининым раньше, чем Лев Николаевич, — еще весною 1855 г., когда Дружинин вместе с Боткиным и Григоровичем посетили Тургенева в его имении Спасском.

А с рассказом «Разжалованный», который был привезен для Дружинина, случилась неприятная история. Мы узнали ее лишь из неизданных дружининских писем. В начале декабря цензура предложила Толстому устранить в этом рассказе всякие упоминания о том, что его герой был присужден к заключению в крепости, а также изъять те места, где Толстой выражает сочувствие нападкам разжалованного на грубых и тупых офицеров. Кроме того, у Толстого потребовали, чтобы он дал рассказу другое заглавие, так как заглавие «Разжалованный» могло «привлечь нежелательное внимание читателей к тем карательным мерам, которые высшее правительство принуждено принимать в отношении более закоренелых преступников».

Толстой по совету Дружинина подчинился всем этим требованиям и тем исказил свой рассказ, в котором из-за цензурных урезок слишком затушеваны симпатии автора к ссыльному.

В эту зиму Толстой еще ближе сошелся с Дружининым, и, когда в декабре был напечатан дружининский «Лир», Толстой даже отрекся на время от своей знаменитой ненависти к автору «Лира» и под обаянием Дружинина стал отзываться о Шекспире беззлобно.

Дружинин был рад и горд.

«А Лев Толстой, говоря без всякого пристрастия, — сообщал он Тургеневу, — становится превосходным литератором, умнея и образовываясь с каждым часом. Уже он понимает Лира и пил за здоровье Шекспира»[1].

Ни в чем не сказалось с такой очевидностью дружининское влияние на Льва Толстого, как в этом эпизоде с Шекспиром. В течение шестидесяти лет Лев Толстой неизменно высказывал свою нелюбовь к «неестественным», «пошлым», «дутым», «фальшивым», «ничтожным» произведениям «безнравственного» британского трагика, — и только в этот короткий период своего сближения с Дружининым заглушил в себе привычную ненависть и принудил себя к любви.

Мудрено ли, что Дружинин чувствовал себя триумфатором.

Василий Боткин не замедлил поздравить его с этой великой победой:

«Вот и знаменитая антипатия Толстого к Шекспиру... Не могу не отдать себе справедливости в том, что я убежден был, что эта антипатия исчезнет при первом же случае; но я радуюсь, что случаем этим послужил ваш прекрасный перевод»[2].

---

[1] «Тургенев и круг «Современника». М.—Л., 1930, с. 202.

[2] *П. Бирюков.* Биография Толстого. Т. I. 1923, с. 130—131.

Впрочем, через две-три недели некоторым наблюдателям стало казаться, что Толстой уже «объелся» Дружининым. Об этом с великим злорадством сообщил Тургеневу в Париж один из его петербургских приспешников:

«Кстати о Толстом. Не имея к нему сочувствия, как к личности довольно нелепой и сумасбродной, я вовсе к нему не ходил и нарочно избегал его, несмотря на то что он три раза был у меня и постоянно приглашал к себе. Наконец, дней десять тому назад, я таки пошел. И что же? Перед ним лежат статьи Белин[ского] о Пушкине. По поводу этого завязался между нами разговор и — боже! — какая славная перемена. Самолюбивый и упрямый оригинал растаял, говоря о Белин[ском], торжественно сознался, что он армейский офицер, дикарь, что Вы задели его страшно своею — по его выражению — «непростительною для литератора громадностью сведений» и т. д., и т. д. Поклонник Дружинина сознался, что ему тяжело оставаться с Дружининым с глазу на глаз, хотя он и хороший человек, но он «не может ему прямо смотреть в глаза». Словом, он восхитил меня и порадовал, я подивился этой крепкой натуре, которая ничего не хочет принять на слово и все добывает посредством собственной критики. В добрый час, благословите этого сильного и развивающегося человека. Вы скоро его увидите, он уехал в деревню и скоро отправится за границу. Но позвольте мне, милый Иван Сергеевич, сделать Вам одно маленькое предупреждение: не держитесь прежней методы и не хвалите его в глаза, напротив, показывайте вид, что все это в порядке вещей. Равнодушно-спокойный вид и невнимание к дикостям, которые он говорит, действуют на него самым отличным образом... Анненков по совету деда тоже держится этого метода, и результаты, говорит, блистательные: он вырван наконец из когтей... и кого же? прибавляет он: из когтей чернокнижника (то есть Дружинина.— *К. Ч.*). Чернокнижник-редактор мрачен как гроза»[1].

Это письмо драгоценно. Написано оно Елисеем Колбасиным 15 января 1857 года. Колбасин знал, что Тургенев в то время еще был на стороне «Современника», и поспешил обрадовать Тургенева сенсационным известием, будто Толстой уже отошел от Дружинина и наконец-то всею душою примкнул к тем идеям, которые по заветам Белинского развивал в то время «Современник».

Колбасин не ошибся. Толстой при всей своей любви к «чернокнижнику» действительно тяготился его обществом, о чем не раз упоминал в «Дневнике» — именно в тех самых выражениях, кото-

[1] «Тургенев и круг «Современника». М —Л., 1930, с. 314—315.

рые приводит Колбасин. Так, 7 ноября 1856 года Толстой отметил:

«Вечером Дружинин и Анненков, немного тяжело с первым»[1].

13 ноября того же года:

«В четвертом часу к Друж[инину], там Гонч[аров], Анненк[ов], все мне противны, особ[енно] Дру[жинин]...»[2].

8 января 1857 года:

«Удивительно, что мне с ним [с Дружининым] тяжело с глазу на глаз»[3].

Но напрасно из подобных записей стали бы мы делать вывод, будто Толстой окончательно отвернулся от него с этого времени. Толстому в молодости — да и в более зрелые годы — вообще были свойственны приливы и отливы любви[4]. У нас есть немало свидетельств, что через несколько дней после подобных «отливов», он еще сильнее прилеплялся к Дружинину. Тот факт, что Лев Николаевич стал изучать Белинского, отнюдь не может служить доказательством, что Толстой вышел из-под опеки редактора «Библиотеки для чтения». Напротив.

Как раз когда Толстой проводил с Дружининым почти все свои дни, Дружинин печатал в своем журнале статьи, направленные против Белинского и, главное, против того «фетишизма», с каким Чернышевский относился к этому «устарелому» критику. Дружинин доказывал, что при всех своих великих достоинствах Белинский был заносчив, легкомыслен, невежествен (!) и что статьи Чернышевского суть бледные копии худших писаний Белинского. Дружинин утверждал, что если бы Белинский прожил еще несколько лет, он сделался бы чистым эстетом* и отрекся бы от тех «антипоэтических» влияний, которые завладели им в последний период его литературной работы.

Эти статьи писались и печатались *буквально на глазах у Толстого*, в ноябре и декабре пятьдесят шестого года, в то самое время, когда Толстой был в теснейшем контакте с Дружининым. Лев Николаевич пылко сочувствовал этим статьям и был на стороне Дружинина.

---

[1] *Л. Н. Толстой*. Полн. собр. соч. т. 47, М., 1937, с. 98.

[2] Т а к ж е, с. 99.

[3] Т а м ж е, с. 110.

[4] Н. Н. Гусев в своей последней книге о Толстом объясняет эти частые вспышки враждебного чувства к Дружинину тем, что в ту пору Толстой уже успел охладеть к эстетическим теориям Дружинина, но все еще не заявил ему прямо о своем несогласии с ним (*Н. Н. Гусев*. Л. Н. Толстой. М., 1957, с. 159). Автор справедливо отмечает, что это несогласие проявлялось порой даже в период наиболее тесного сближения Толстого с Дружининым. (Т а м ж е, с. 113, 118, 135, 148.)

Колбасин не знал, что *именно Дружинин* усадил Толстого за книги Белинского, что Толстой и здесь поступает по указке своего старшего друга; Дружинин, как теперь выясняется, неоднократно внушал Толстому, что, подписав договор с «Современником», он, Толстой, обязан взять под свой личный контроль публицистику и критику журнала, чтобы постепенно, путем ряда тактических мер, вытеснить оттуда Чернышевского.

Еще осенью Дружинин писал Толстому:

«Спешите же ознакомиться с ходом журналистики, изучить теории Белинского, потому что в этом пункте будет у вас огромное разногласие с Некрасовым, Чернышевским, Панаевым».

Вот почему Толстой взялся за изучение Белинского, а совсем не потому, чтобы он хотел вырваться «из когтей чернокнижника». Характерно, что из всех статей Белинского он хвалил Колбасину те самые, которые хвалил, хотя и с оговоркой, Дружинин, — то есть статьи о Пушкине. Он тогда же записал в «Дневнике», что статьи эти — «чудо»[1], и под их влиянием с особенной остротой воспринял *эстетическую* прелесть поэзии Пушкина, — но отсюда еще очень далеко до признания *публицистических* критериев Белинского.

Вспомним, что немного позднее Толстой писал из Москвы своему приятелю Василию Боткину:

«Дружининские критики здесь очень нравятся: Аксаковым чрезвычайно. Его вступление в критику Писемского прекрасно»[2].

Это «вступление в критику» заострено именно против Белинского. В этом вступлении Дружинин восхваляет Толстого, а вместе с ним и еще двух писателей за то, что они «смело стали в разлад с критикой гоголевского периода» — то есть с Белинским. Он ставит Толстому в заслугу, что «назло всем недавним авторитетам» (то есть назло Белинскому) Толстой твердо держится за свою самостоятельность (то есть не поддается влиянию идей Чернышевского).

«Когда мы думаем обо всем этом, — писал в своем «вступлении» Дружинин, — нам делается весело, а на сердце нашем чувствуем мы свежесть. Сильна и почтенна должна быть та литература, которой не мог сбить на ложную дорогу даже голос критика, подобного Белинскому!»[3]

Заявив свою солидарность с этой статьей Дружинина, Толстой тем самым признал, наперекор увещаниям Тургенева, что «Современник», ближайшим сотрудником которого он сделался именно с этого года, ему органически чужд.

---

[1] *Л. Н. Толстой.* Полн. собр. соч. Т. 47. М., 1937, с. 108.

[2] «Толстой. Памятники творчества и жизни», редакция В. И. Срезневского. М., 1923. Вып. IV, с. 10.

[3] *А. В. Дружинин.* Собр. соч. Т. VII. СПб., 1865, с. 264.

9

Очень странная сложилась ситуация, какой, кажется, никогда не бывало в истории мировой журналистики.

Четыре замечательных писателя добровольно «прикрепились» к «Современнику», и «Современник» объявил, что с такого-то времени они нигде, кроме «Современника», не станут печататься*. Двое из них и без этого были связаны с «Современником» давними узами и печатались почти исключительно в нем. Григорович и Тургенев здесь и начали свою подлинно литературную деятельность, а Толстой вообще с самой первой написанной им строки нигде в других журналах не печатался.

Это был их собственный журнал, — и вот теперь, когда они примкнули к нему еще ближе, они чувствуют себя в нем, как в неприятельском лагере. Словно их взяли в плен и заставили работать на врага. Их добровольный союз с «Современником» кажется им принудительным, и они входят в соглашение с его тайным врагом, который призывает их к саботажу, к открытому бунту и захвату неприятельских позиций.

Особенно необычно было положение Толстого. Чуть только «Современник» объявил его своим исключительным и ближайшим сотрудником, он окончательно отпал от «Современника», перестал бывать в его редакции и начал высказывать полную свою солидарность с редакцией враждебного органа, где он и права не имел печататься.

«Левушка... — писал о нем Дмитрий Колбасин Тургеневу, — до обожания поддался авторитету Дружинина, который — увы! — в отсутствие Некрасова играет весьма значительную роль — все лучшее не минует его рук... Против Чернышевского озлобление адское, и доверия ему ни на грош... Некрасова нет, Некрасова нет!»[1]

Считалось, что все пошло бы совсем по-другому, если бы в самую горячую пору Некрасов не уехал в Италию. Между тем дело было совсем не в Некрасове: «Современник» именно в эти два года — под влиянием сдвига социальных пластов — превращался в революционно-демократический орган.

Дело было вовсе не в том, что этот журнал «коварно» захватил Чернышевский, а в том, что читатели «Современника» стали другие и потребовали, чтобы журнал стал другой.

Но все это случилось потом. А зимою 1856—1857 года победителем казался Дружинин, ибо все, так сказать, столпы «Современника» сплотились вокруг него.

---

[1] Письмо от 27 ноября 1856 г. — «Тургенев и круг «Современника». 1930, с. 296.

Толстой до такой степени поддался влиянию дружининской проповеди, что, читая его тогдашние письма, мы не можем не прийти к убеждению, что он бессознательно цитирует в них высказывания своего старшего друга.

Даже говоря о наружности Чернышевского, о его лице, о его голосе, он вторит словам Дружинина.

Иные строки Льва Толстого, написанные в 1856 году, кажутся парафразами дружининских журнальных статей:

Дружинин	*Толстой*
«Критика Белинского сделала много для нашей науки и для нашей литературы. Но... все наши инстинкты возмущаются, когда нам по несчастию приходится в наше время... встречать рабские, бледные, сухие, бездарные копии старого оригинала».	«...Белинский был как человек прелестный и как писатель замечательно полезный; но... он породил подражателей, которые отвратительны».

Заветные мысли Дружинина, что в литературе должны высказываться лишь добрые и радостные чувства, а не желчь, не злоба, не протест, что Пушкин благотворнее Гоголя, что Некрасов, утверждающий «поэзию желчи», извращает задачи искусства, — все эти мысли нашли выражение в следующем послании Толстого к Некрасову.

«У нас не только в критике, — пишет Толстой, — но и в литературе утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым — очень мило, а я нахожу, что очень скверно; Гоголя любят больше Пушкина; критика Белинского — верх совершенства; ваши стихи любимы из всех теперешних поэтов. А я нахожу, что скверно, потому что человек желчный, злой — не в нормальном положении... А злоба ужасно у нас нравится. Вас хвалят, говорят: он озлобленный человек, вам даже льстят вашей злобой, и вы поддаетесь на эту штуку»*.

Все эти запальчивые слова буквально пересказывают тогдашние писания Дружинина. Это, так сказать, квинтэссенция дружининских критических очерков, печатавшихся тогда в «Библиотеке для чтения».

Замечательно, что Толстой, повторяя слово в слово эту проповедь, считает ее собственным открытием.

«Я открыл удивительную вещь, — писал он тогда же старику Ковалевскому, — (должно быть, я глуп, потому что, когда мне придет какая-нибудь мысль, я ужасно радуюсь); я открыл, что возму-

щение — склонность обращать внимание преимущественно на то, что возмущает, есть большой порок и именно нашего века... умышленно ищи всего хорошего, доброго, отворачивайся от дурного, а право, не притворяясь, можно ужасно многое любить не только в России, но и у Самоедов»[1].

Эта «удивительная вещь» тоже написана под наваждением Дружинина.

Б. Эйхенбаум уже отметил в своей книге о Льве Толстом сходство литературных суждений Толстого, высказанных в письме к Некрасову, с литературными суждениями Дружинина*. Но, как явствует из приводимых отрывков, влияние Дружинина было сильнее и глубже; оно захватывало философию Толстого, основным пунктом которой было радостное утверждение жизни. Конечно, нельзя сомневаться, что Лев Толстой и помимо Дружинина, своим собственным внутренним опытом дошел до такой философии. Но именно вследствие этого проповедь Дружинина нашла для себя благодарную почву.

10

В начале 1858 года Толстому пришла мысль, что помимо «Библиотеки для чтения» необходимо основать журнал для защиты чистого искусства от «политического грязного потока». Он хотел сплотить в этом журнале всех врагов чернышевско-некрасовского направления в искусстве. Об этой своей затее он написал Василию Боткину большое письмо. Теперь оказывается, что эта затея была тоже внушена ему Дружининым. В апреле того же года Дружинин пишет Толстому письмо, где снова повторяет ему, что «для противодействия всем теперешним неистовствам и безобразиям» надо создать новый журнал, куда должны войти: Тургенев, Гончаров, Писемский, Майков, Авдеев, Островский[2].

К этому Дружинин добавляет, что можно, пожалуй, взять в аренду «Библиотеку для чтения». Лев Толстой отозвался взволнованным, «весенним» письмом (весенние письма были у молодого Толстого особенные), обнаруживающим, как нежно любил он в ту пору Дружинина:

---

[1] *Л. Н. Толстой*. Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949, с. 90.

[2] Это письмо напечатано у Бирюкова с большими неточностями: Бирюков предположил, что оно написано в начале 1856 г., тогда как оно относится к весне 1858 г. В этом письме шуточное прозвание Писемского — «Ермил» — понято как фамилия какого-то автора, который даже фигурирует в именном указателе в качестве «писателя Ермина» (*П. Бирюков*. Биография Л. Н. Толстого. Т. I. М.—Л., 1923, с. 134, 135, 239).

1 мая 1858.

Точно обыкновенная фраза выдет объявление моей радости о вашем выздоровлении, любезный друг Александр Васильевич, а мне бы хотелось вам рассказать, как я обрадовался. Мне смешно стало, и я один, смеясь, ходил по комнате с вашим письмом в руках. Ну да, слава богу, только ради бога берегите себя, особенно насчет женщин, — уезжайте в деревню поскорей. Теперь уж так хорошо. А что, вы не приедете ли в наши края? Я пробуду, должно быть, все лето. Копаюсь за романом и хозяйничаю немножко, и соловьи, и природа, и чтенье, и музыка — дел не оберешься. Ох! коли бы вы приехали пожить у меня... Досадно. Подумайте, любезный друг, почему бы вам не приехать. Как бы мы устроились, как бы все переговорили. Нынче о журнале ничего не пишу, потому что не могу подумать хорошенько об этом; но что сердце и мысли мои лежат к этому делу, что я совершенно свободен и ничем не свяжу себя впредь, это несомненно. Что касается до сотрудничества в «Библиотеке», то хотя ничего не могу обещать, при одинаковых условиях я предпочту «Библиотеку», то есть вас, всем другим редакторам, это тоже несомненно. — Насчет предполагаемого журнала скажу два пункта, в которых я не согласен с вами: 1) Журнал с новым исключительным направлением должен быть новый, без прошедшего, без составившегося в нем мнения. — 2) Ученая часть будет слаба. Все сотрудники дельные разобраны. Конкуренция везде. Полемика. — И в журнале, как и в сочинении, — еще больше — особенно в новом журнале главное достоинство не столько в том, чтобы были в 12 книжках три хорошие статьи ученые, сколько в том, чтобы в целый год не было ни одной вздорной. А с теми средствами по ученому отделу, которые можно предвидеть, это невозможно. — Но дело вот в чем. Место у меня славное — не хуже Кунцова; комната, хоть дом вам будет отдельный, город два шага. В матерьяльном отношении устройтесь как хотите, будьте сами хозяином. Право, пожалуйста приезжайте. — Затем прощайте, от души жму Вам руку и ожидаю благоприятного ответа на мое приглашение.

Ваш Гр. *Л. Толстой*[1].

Здесь сказалась такая влюбленность Толстого в Дружинина, о которой мы не могли бы и догадаться впоследствии. Ведь через несколько лет Толстой так решительно выбросил из души все дружининское, что самая мысль о сближении этих двух столь несхожих людей показалась бы позднейшему поколению чудовищной. Роман, над которым тогда «копался» Толстой, очевидно —

[1] *Л. Н. Толстой.* Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949, с. 267–268.

«Казаки», начатые им еще на Кавказе. Когда Толстой говорит: «ничем не свяжу себя впредь», — это значит, что больше он не станет подписывать договор с издателями об исключительном сотрудничестве в одном журнале. Когда он говорит, что его «Ясная» не хуже Кунцова, — он имеет в виду подмосковную местность Кунцово (ныне город), где жил Дружинин летом пятьдесят шестого года, когда гостил у Василия Боткина.

Дружинин, конечно, ответил, что он готов отдать все свои средства на служение журналу «антидидактическому».

Насколько мы знаем, Толстой в последующие пятьдесят лет своей жизни ни разу не упомянул даже фамилии Дружинина, — ни в разговорах, ни в сочинениях (за исключением записи о влиянии «Полиньки Сакс»). В своих стариковских статьях «Что такое искусство», «О Шекспире и о драме» он разоблачает эстетику, которой был верен Дружинин, как величайший обман, созданный врагами трудового народа для оправдания его эксплуатации. В «Исповеди» он клеймит всю плеяду писателей пятидесятых годов, внушавших ему веру в самоценность искусства, и среди них, конечно, не может не вспомнить Дружинина, хотя опять-таки не называет его имени.

Поэтому такой неожиданностью явилась для нас близость Толстого с Дружининым, которая стала известна лишь теперь, благодаря новооткрытым материалам.

В 1857 году Лев Толстой и Дружинин встретились за границей, в Швейцарии, на берегу Женевского озера — и целые дни проводили вдвоем. Толстой прочитал своему другу «Альберта» и начало романа «Казаки». Дружинину «Казаки» понравились очень, а в «Альберте» он одобрил лишь сюжет[1]. Толстой обещал дать «Казаков» ему в «Библиотеку для чтения», «Альберта» же начал переделывать снова, по советам и указаниям Дружинина. Но потом в их переписке наступает как будто двухлетний перерыв. Следующее письмо Льва Толстого, находящееся в бумагах Дружинина, относится уже к 1859 году и адресовано известному меценату графу Григорию Александровичу Кушелеву-Безбородко. Кушелев в то время был хозяином «Русского слова» и только что издал стихотворения Майкова.

Толстой, первые две книги которого почти не имели успеха, подыскивал в то время издателя для третьей и надумал при содействии Дружинина обратиться к Кушелеву-Безбородко.

Весною 1859 года, проездом через Москву в Петербург, он прислал Дружинину такое письмо с просьбой переслать его Кушелеву:

---

[1] *К. Чуковский.* Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934, с. 262.

«Ваше Сиятельство

Милостивый Государь

Граф.

Из печатанных в журналах моих сочинений есть большая половина не напечатанная отдельным изданием. Сочинения эти:

1) Метель . . . . . (Современник)
2) Два гусара . . . . . —
3) Утро помещика. . . . . (От. Записки)
4) Встреча с Московским знакомым . . (Библиотека)
5) Люцерн . . . . . (Современник)
6) Альберт . . . . . —
7) Юность . . . . . —
8) Три смерти . . . . . (Библиотека)

Предполагая, что перепечатка этих сочинений может мне принести что-нибудь, и зная, что Вы берете на себя издания некоторых русских авторов, я предлагаю Вашему Сиятельству эти вещи, предоставляя Вам назначить время и условия издания.

В ожидании ответа имею честь быть

Вашего сиятельства

покорный слуга Граф *Л. Толстой*».

Строки каллиграфически выведены чужой, очевидно писарской, рукой и только подпись под ними принадлежит Льву Толстому. Вряд ли, подписываясь под этим письмом, Толстой внимательно прочитал его текст. Трудно допустить, чтобы он адресовался к Кушелеву в таком заискивающем тоне. Да и мотивировка его обращения к Кушелеву не вяжется с его тогдашним стилем.

Как видно из других материалов, хранящихся в рукописном отделении ИРЛИ, обратиться к Кушелеву посоветовал Толстому поэт Яков Петрович Полонский, который был своим человеком у Кушелева и состоял одним из редакторов «Русского слова».

Дружинин, получив толстовское письмо, решил не передавать его Кушелеву, а обратился к Полонскому с такой запиской:

«Уведомьте меня хоть по городской почте о том, в каком положении дело Толстого. Он просит скорого ответа, чтобы не упустить случая по изданию своих повестей, который может в Москве представиться. Пусть Кушелев ответит просто да или нет, в случае *да* войдет с Толстым в сношения об условиях.

Душевно преданный Вам

А. Дружинин»[1].

[1] Рукописное отделение ИРЛИ.

Но Кушелев не отвечал ни да ни нет. Кушелев хотел, чтобы Толстой передал ему для издания все три тома своих сочинений — это было едва ли возможно, так как первые два еще находились в продаже. Кушелев это знал и предъявил свое требование лишь для того, чтобы уклониться от издания рассказов Толстого, который в глазах большинства был в 1859 году писателем конченым.

Несмотря на все хлопоты петербургских и московских друзей, Толстому так и не удалось найти издателя для книги своих новых рассказов. В этом, если всмотреться внимательно, было больше всего виновато именно то дружининское направление Толстого, которое с каждым годом становилось все более несозвучно эпохе шестидесятых годов.

Приехав в Питер весною 1859 года, Лев Толстой совместно с Дружининым принял участие в одном талантливом писателе. Писатель был из низов, самоучка и служил писарем в какой-то канцелярии военного ведомства. Он был уже немолодой человек, звали его Петров[1]. Рассказы писал он в обличительном духе, но так как был в сущности «человек сороковых годов», с «нигилистами» сблизиться не мог и оказался в лагере Дружинина. Дружинин, кажется, первый открыл в нем талант и стал печатать его в «Библиотеке для чтения», всячески охраняя его от соблазнов «дидактики» и «новосеминарских влияний». Об этом-то Петрове и говорится в нижеследующем письме Льва Толстого к Дружинину. Это письмо кажется мне наиболее ценным во всей переписке.

16 апреля 1859.

Неужели же вы так и не приедете нынче весной в Ясные Поляны, любезный Александр Васильевич? Я еще не хочу этому верить и надеюсь, что ваша Маша поправится. Во всяком случае напишите что и как? Я так жду вас, да и жалею о вашем горе. Я на Пасху уезжал в деревню и встретил весну и праздники с своими. Уж сирени развернулись, березки подернуты зеленью, соловей посвистывал, была гроза, прибило жаркую пыль, пахло свежестью и пылью, лягушки заливаются. Нынешнее лето тем паче мне бы хотелось быть с вами, что хозяйство уже не так всего меня требует, как прежде, и я намерен наслаждаться просто. Жизнь коротка. Еще что будет хорошо. Вы, верно, сойдетесь и полюбите обоих моих братьев... Что Петров? Возьмите, между прочим, у Давыдова по экземпляру моих книжечек и подарите от меня и дайте

[1] О Петрове см. с. 101—109.

его адрес. A propos de◊ литература. Обломов — капитальнейшая вещь, какой давно-давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от Облом[ова] и перечитываю его еще раз. Но что приятнее ему будет — это, что Обломов имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный в настоящей публике. Это я был même de savoir◊◊ по деревенским толкам, по молодежи и по тамбовским барышням. Я же с тех пор, как стал литератором, не могу не искать недостатков во всех больших и сильных вещах и об Обломове многое желаю поговорить. Кто пишет «деревенские письма» в От[ечественных] Зап[исках]? Это, по-моему, славный талант, и вещи прекрасные и, я боюсь, неоцененные. Во всяком случае поздравьте Краевского с этим приобретеньем. Тургенева я не видал, но брат Н[иколай] все время жил у него. Он, то есть Тург[енев], охотится, ездит по соседям и твердо убежден, что он заводит фермы и делает то, «*что уж надо же наконец покончить*». Что деньги я вам так прислал — это ничего не значит. Новая повесть Кохановской есть г..., по моему мнению; хотя и тут есть размах и смелость редкая и дорогая в наше время, но зато — увы! — нет чувства меры, и не художник. Я свою повесть 3-й раз переделываю, и мне все кажется, что что-то да выходит. Прощайте, ради бога не измените. Кланяйтесь матушке и всем знакомым...[1]

Необычайный для тогдашнего Толстого интерес к литературным и журнальным злобам дня, который выразился в этом письме, объясняется, я думаю, тем, что как раз в этом месяце в «Русском вестнике» только что была напечатана (и еще не дошла до Толстого) его новая повесть «Семейное счастье», на успех которой он возлагал тогда столько надежд.

Благодаря этой повести ощущение связи с литературной средой необычайно усилилось: Толстой не только высказывается в письме о Кохановской, Гончарове, Петрове, но даже о неведомом П. С., который печатал в «Отечественных записках» Краевского непритязательные «Деревенские письма». Толстому понравилось пятое письмо этого автора, где очень бойко изображена захолустная деревня накануне реформы. В этом письме нефальшивый деревенский язык, но, конечно, оно потому главным образом получило столь высокую оценку Толстого, что в те дни, в ожидании успеха «Семейного счастья», он был особенно щедр на похвалы своим собратьям по литературному делу. «Может быть,

---

◊ Кстати о... (*франц.*).

◊◊ В состоянии узнать *(франц.)*.

1 *Л. Н. Толстой*. Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949, с. 290–291.

против моей воли и сознания не я, а сидящая во мне еще не назревшая повесть заставляет меня любить вас», — писал он однажды Фету.

Характерны в этом отношении его восторги перед гончаровским «Обломовым», который был только что закончен печатанием в журнале Краевского. Впоследствии Толстой относился к «Обломову» более сурово.

Дружинин передал Гончарову похвалу Льва Николаевича, и Гончаров отозвался на эту похвалу обширным благодарственным письмом. «Слову вашему о моем романе я тем более придаю цену, что знаю, как вы строги, иногда даже капризно взыскательны в деле литературного вкуса и суда»[1].

Повесть Кохановской «Из провинциальной галереи», в которой Толстой, несмотря ни на что, тоже готов признать кое-какие достоинства, была напечатана в мартовской книге того самого «Русского вестника», где через месяц появилось толстовское «Семейное счастье».

Ощущение такой прочной связи с писательским миром длилось у Толстого недолго.

Когда Толстой увидел свое «Семейное счастье» в печати, ему показалось, что оно катастрофически плохо.

Этой повестью он мечтал воскресить утраченную литературную славу, ему чудилось, что ею он затмит только что прогремевшее «Дворянское гнездо» своего соперника Тургенева, и вот 3 мая 1859 года он увидел, что надежда его не сбылась:

«Василий Петрович, Василий Петрович! — в отчаянии писал он Василию Боткину. — Что я наделал со своим Семейным счастьем! Только теперь здесь, на просторе, опомнившись и прочтя присланные корректуры второй части, я увидел, какое постыдное г...., пятно, не только авторское, но человеческое — это мерзкое сочинение... Вы меня подкузьмили, чтобы отдать это, будьте же за то и вы поверенным моего стыда и раскаяния. Я теперь похоронен и как писатель, и как человек... Конец повести не прислан мне, и не нужно присылать ее. Это мука видеть, читать и вспоминать об этом»[2].

«Семейное счастье» если и не было написано по канонам Дружинина, то, во всяком случае, из всех произведений Толстого оно к этим канонам приближается больше всего.

Чувствуя себя «похороненным», Толстой, чтобы порвать с литературой, весь ушел в яснополянское хозяйство, и когда Дружинин осенью того же 1859 года, то есть через несколько месяцев

[1] «Красная нива». 1928. № 37.

[2] *Л. Н. Толстой.* Собр. соч.: В 20 т. Т. 17. М., 1965, с. 203–204.

после появления «Семейного счастья», обратился к Толстому с обычной редакторской просьбой дать ему для журнала рассказ, Толстой ответил ему следующим письмом:

9 октября 1859. Ясная Поляна.

Верю, любезный друг Александр Васильевич, что вы меня любите как человека, а не как редактор писаку, который будто бы вам может быть на что-нибудь годен. Теперь же как писатель я уже ни на что не годен. Я не пишу и не писал со времени Сем[ейного] Счастья и, кажется, не буду писать. Льщу себя, по крайней мере, этой надеждой. — Почему так? Длинно и трудно рассказать. Главно[е] же — жизнь коротка, и тратить ее в взрослых летах на писанье таких повестей, какие я писал, — совестно. Можно и должно и хочется заниматься делом. Добро бы было содержание такое, которое томило бы, просилось наружу, давало бы дерзость, гордость и силу — тогда бы так. А писать повести очень милые и приятные для чтения в 31 год, ей-богу, руки не поднимаются. Даже смешно, как подумал, что — не сочинить ли мне повесть? — Поэтому-то желания вашего исполнить не могу, как мне ни досадно вам отказать в чем бы то ни было. — Пшеницы продать, распорядиться вашим хозяйством и еще кое-что — это могу. А главное, могу и хочу облобызать вас, приехать в Петербург, полежать с вами, поболтать и поужинать под председательством вашей матушки. И все это непременно сделаю. Писемскому, Гончарову и всем кланяйтесь; я бы желал, чтобы милые мои прежде бывшие собратья не забывали меня. Я же не перестану дорожить ими. Правда ли, что милый, славный Полонский в дурном положении? Фет уехал в Москву, и, бедный, у него большое горе — сестра очень больна[1]. Да-с, Фет gagne à être connu◊, чем больше я его знаю, тем больше люблю и уважаю. Тургенев, напротив, в нынешний его приезд я окончательно убедился, что он и умный и даровитый человек, но один из самых несноснейших в мире. А с тех пор, как я получил эту новую точку зренья на него, мне с ним легко стало. — Перед Петровым я виноват, не отвечав ему, передайте ему приложенное, ежели напишется. Прощайте, обнимаю вас от всего сердца.

Ваш *Л. Толстой*[2].

Чувствуя себя «умершим писателем», Толстой называет Писемского, Гончарова, Полонского «бывшими своими собратья-

◊ Выигрывает от более близкого знакомства (*франц.*).

[1] У Фета сошла с ума сестра. См.: *А. Фет.* Воспоминания. Т. 1. М., 1889, с. 184.

[2] *Л. Н. Толстой.* Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949, с. 308–309.

ми», а Петрову, которым он так восхищался недавно, он даже не ответил на письмо. Должно быть, Петров, польщенный его похвалами, выразил в письме благодарность за доброе к нему отношение, но «умерший для литературы» Толстой порвал всякие связи с ним.

Следующее письмо Льва Толстого относится к зиме того же года.

20 декабря 1859. Ясная Поляна.

Любезный друг Александ[р] Васильевич!

Сделайте дружбу, заезжайте в книжную лавку к Давыдову и спросите у него расчет за мои книги, коих у него по последнему счету оставалось больше чем на 2000 р.[1] Ежели есть выручка, то чтобы он из нее выслал мне на 1860 г.:

1. Revue des deux mondes.
2. Times.
3. Русский Вестник

на мое имя в Тулу и на имя Александра Михайловича Исленьева в г. Одоев Тульской губер[нии][2]

1. Современник и
2. Библиотеку.

Остальные деньги, ежели есть, чтобы прислал. — Так как Давыдов мне не отвечал на одно письмо, то может случиться, что он откажется или вы не захотите с ним иметь дело, то сделайте одолженье, выпишите на свои деньги эти журналы, я тотчас же вам вышлю деньги. — И пожалуйста поскорей, так, чтобы и я и Исленьев получили бы вовремя.

Драма Писемского мне очень и очень понравилась: здорово, сильно и правдиво, невыдуманно. Но и в ней он, как и в других своих отличных вещах, не избег неловкостей ужасных. Как это барин на барьер мужика вытягивать хочет?[3]

Что вы, мой дорогой, как ваше здоровье, не хандрите ли? Как деятельность ваша, приятна ли? Что хорошего нового в литера-

---

[1] Выше было сказано, что первые книги Толстого «Военные рассказы», «Детство и отрочество» в отдельном издании не имели успеха. Как видно из приводимого письма, через три года после их выхода в свет их все еще оставалось у книгопродавца Давыдова «больше чем на 2000 р.».

[2] Александр Михайлович Исленьев — дед жены Толстого Софьи Андреевны. Толстой вывел его в «Детстве и отрочестве» в образе отца Николеньки Иртеньева.

[3] Драма Писемского «Горькая судьбина» только что появилась в журнале Дружинина. Во втором действии этой драмы молодой помещик, любовник крестьянки, говорит ее обманутому мужу, своему крепостному: «Если в тебе оскорблено чувство любви, чувство ревности, вытянем тогда друг друга на барьер и станем стреляться». Это место драмы и отмечает Толстой как «неловкость».

турном мире? Фет прислал мне несколько стихотворений из Гафиза. Напрасно он их писал. Опять на Тургеневе грех. Я нынешний год едва ли вас увижу, т. е. зиму, летом же без отговорок жду вас в Ясную. Я переделывал дом и имел вас в виду при этом. Я не пишу и надеюсь, что не буду; и несмотря на то так занят, что давно хотел и не было времени писать вам. — Чем я занят, расскажу тогда, когда занятия эти принесут плоды. — Однако не бойтесь писать мне, теперь уж я найду время тотчас отвечать вам. Будемте почаще и поаккуратнее переписываться. М атушке передайте мой душевный поклон и прощайте.

Л. Толстой[1].

Заносить меня в список литераторов незачем.

Толстой по-прежнему находится под сильным влиянием неудачи, постигшей его «Семейное счастье». Он опять повторяет Дружинину: «я не пишу и надеюсь, что не буду». Из литературы он ушел в педагогику: занялся устройством яснополянской школы. Об этих занятиях он и упоминает в письме. Его разрыв с литературой ощущался им в то время так остро, что он даже не пожелал войти в число членов Литературного фонда, только что основанного Дружининым, — «заносить меня в список литераторов незачем».

Неприязнь к Тургеневу, сказавшаяся в предыдущем письме, нашла свое отражение и здесь. Тургенев, как известно, подарил Фету немецкое издание стихотворений персидского поэта Гафиза, которые Фет перевел на русский язык. Тургеневу его переводы понравились. «А кстати я вам подарил Гафиза, — писал он Фету в октябре 1859 года. — Добрый гений мне это подшепнул. Переводы ваши хороши». Но Толстой оставался недоволен переводами Фета: «опять на Тургеневе грех».

Дружинин ответил Толстому обширным письмом (от 31 декабря 1859 года), в котором, между прочим, защищает Тургенева:

«Тургенев тут не виноват, и он и я, мы отговаривали Фета от Гафиза, бранили его за сношения с «Русским словом», но он сказал: «Если бы портной Кундель издавал журнал, под названием Х., и давал мне деньги за мои стихи, я, при моей бедности, стал бы работать для Кунделя».

Далее в письме Дружинина следуют интересные сведения о только что основанном Литературном фонде:

«Общество фонда сильно нас занимает и, помимо своего полезного значения, служит нам центром соединения. Из Комитета

[1] *Л. Н. Толстой.* Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949, с. 317–318.

всегда уезжаешь с приятным чувством. Ковалевский кричит. Чернышевский попискивает, Анненков пускает сладостного туману, Тургенев блаженствует как рыба в воде, и сам Андрей [Краевский], хотя предлагает в члены отъявленных стервецов, но с бурчанием своим прекрасен, и я опять его друг. Кстати, что это вы приписываете в письме, что вас незачем вносить в список литераторов. Если это относится до ваших трудов, то это ваше дело, но если вы хотите сказать, чтобы вас вычеркнули из списка членов, — то выполнять такого поручения я не берусь. Да наконец вас не убудет от того, что вы будете стоять в списке и пришлете хоть десять рублей ежегодного взноса»[1].

Но Толстой, все еще чувствуя себя «умершим писателем», ополчился против Литературного фонда и написал Дружинину злое письмо.

Это письмо относилось к началу января 1860 года и не было послано Львом Николаевичем, так что письмо Дружинина осталось без ответа. Толстой в то время был весь поглощен своей школой, а Дружинин — Литературным фондом и журнальной работой, к которой Толстой после неуспеха «Семейного счастья» относился с большой неприязнью. Таким образом, идейная близость Толстого с Дружининым кончилась, продолжалась только инерция дружбы. Лишь через четыре с половиной месяца Толстой возобновил переписку с Дружининым — да и то по случайному поводу: у Толстого заболел чахоткой младший брат Николай, и нужно было везти его за границу лечиться. Толстой обратился к Дружинину с таким письмом:

14 апреля 1860 г. Ясная Поляна.

Любезный друг Александр Васильевич.

На ваше последнее письмо я было тотчас ответил, но не послал это письмо, потому что в нем, неизвестно почему, как это бывает в одиночестве, разгорячился на ваш литературный фонд и рассудил, что такая выходка могла бы вам быть неприятна.

Теперь же пишу вам, откровенно признаюсь, потому что есть дело в Петербурге и больше не к кому обратиться, как к вам. Дело вот в чем. Сестра с детьми и братом Николаем едут за границу, на Штетин, нужно взять места для двух дам и одного господина и трех детей (все ниже 12 лет) в первом классе и для одной девушки в третьем классе. Сестра желает ехать не раньше половины июня и не позже конца навигации. Следовательно, ежели есть места, то берите теперь на июнь. Ежели есть каюты семейные, в которых могут поместиться все, кроме девушки, то берите каюту. Деньги

[1] *К. Чуковский.* Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934, с. 271—272.

посылаю с этой же почтой 300 руб. сер. Ежели вы будете добры сделаете это, или поручите кому-нибудь, то отпишите тотчас же, и счет, ежели мало денег, или остаток, ежели лишние — оставьте у Давыдова, так как, я полагаю, вас не будет в Петербурге в июне месяце. Мне кажется, что вы охотно возьмете на себя эти хлопоты, а ежели я ошибся, то простите. Я бы для вас охотно похлопотал. Что вы летом намерены делать? Что план и обещанье в Ясную? Мне совестно вас звать, как будто при случае порученья. А, право, хорошо бы было, я бы вас угостил многим хорошим, кроме своей особы: 1. Фетом, который, кажется, поживет у меня, 2. прекрасной природой и 3. крестьянской школой, которой могу похвастаться.

Про себя собственно могу сказать, что мне хорошо. Сначала было тяжело разорвать связь с литературой, задавить в себе честолюбивую потребность высказываться, но теперь, напротив, все вокруг меня стало гораздо яснее, проще и ближе ко мне, чем было. Главное ближе. И вы не поверите, как это отрадно. Ногам тяжелее, но прочнее стоишь на земле. Дело не так красиво и свободно, но прочнее и ощутительнее. Кроме того, дела мои идут хорошо, я здоров, весел, вижусь часто с братьями и сестрой, кот[орых] люблю, нашел в Туле супругов Ауербахов, прекрасных людей, а еще притом весна и все бы хорошо, а тут страшное горе сбирается над нашей головой. Вы знаете, что один мой брат умер от чахотки, в нынешнем году у брата Николая все те же симптомы и усиливаются с страшной быстротой. Как и все, он не понимает своего положения и, кроме того, упрям и на наших глазах человек, которого мы любим лучше всех других, сам убивает себя, когда, может быть, еще была бы надежда. Одна моя надежда это поездка за границу хоть в июне. Теперь он ни за что не хочет. Пожалуйста, постарайтесь к половине июня достать места. Может быть, особенно ежели Ник[олаю] будет хуже, я провожу их до Петербурга, но едва ли тогда увижу вас. Право, приезжайте в Ясную. Мне кажется, мы бы славно прожили вместе. —

Прощайте, кланяйтесь матушке и отвечайте мне поскорей, хоть двумя словами.

Л. Толстой[1].

О литературе в этом письме ни слова. Кроме соседа — Фета, Толстой не упоминает ни одного литератора. Супруги Ауербахи, о которых он пишет, — помещики, проживавшие близ Тулы, в своем имении Горячино, где у них был свеклосахарный завод.

[1] *Л. Н. Толстой.* Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949, с. 336–337.

Дружинин тотчас отозвался на это письмо. Он выразил живейшую готовность исполнить поручение Толстого. Но обстоятельства в семье у Толстого изменились. Мария Николаевна отказалась ехать с умирающим братом — и поэтому вместо семи билетов нужно было купить только два. Об этом Толстой и поспешил написать Дружинину в начале мая 1860 года:

Любезный друг Александр Васильевич! Отъезд сестры по случаю [болезни] ее сына еще не решен, а брат Николай с другим братом едут одни, потому пожалуйста возьмите два места 1-го класса для них, ежели можно к (не дописано. — *К. Ч.*). Деньги же остальные оставьте у себя или Давыдова, да брат Николай заедет к вам и переговорит. Очень вам благодарен, что вы так скоро и аккуратно отвечали, пожалуйста, еще возьмите на себя взять места сестре, ежели устроится ее поездка. Она кланяется и благодарит вас. Простите, что не пишу вам, Бог даст, провожу сестру, увижусь с вами и переговорю обо многом. — До свидания, жму вашу руку и прошу не забыть передать почтение матушке.

Ваш Л. Толстой[1].

На обороте: В Хлебном переулке в доме Водова.

Это последнее письмо Льва Толстого к Дружинину разительно непохоже на его первые письма, откровенные, лиричные, нежные, богатые разнообразными литературными откликами. В конце июня Лев Толстой был уже в Петербурге. Можно с уверенностью сказать, что при свидании эти два человека еще сильнее почувствовали, что связь между ними распалась вконец. Из Петербурга Толстой уехал через несколько дней за границу со своим умирающим братом. Брат скончался в сентябре. После его смерти Толстой посетил Италию, Францию, Англию и вернулся в Ясную Поляну еще более, чем прежде, увлеченный своей педагогической деятельностью.

По приезде из-за границы Толстой не возобновил переписки с Дружининым. А через несколько лет, в январе 1864 года, Дружинин скончался от скоротечной чахотки. Похороны прошли незамеченно, на похоронах собрались лишь ближайшие товарищи покойного: Некрасов, Тургенев, Фет, Анненков, Василий Боткин, Гончаров и другие, но напрасно я искал в дружининском архиве письма или телеграммы Толстого, где выражалась бы скорбь об утрате.

Для Толстого Дружинин умер еще раньше — в 1859 году.

1928

---

[1] *Л. Н. Толстой.* Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949, с. 338.

Петров — неизвестный писатель. Мы даже не знаем его имени-отчества. Не знаем, где и когда он родился, где и когда он умер.

Правда, в последние годы мы понемногу стали узнавать кое-какие факты его биографии, но эти факты так туманны и отрывочны, словно они относятся к древнему автору, отделенному от нас тысячелетиями.

Теперь большинство материалов, относящихся к его жизни и творчеству, уже безвозвратно погибло. Мы вынуждены восстанавливать его биографию по тем разрозненным сведениям, которые случайно доходят до нас. Почти все, что нам известно о жизни и работе Петрова, мы узнали самым неожиданным образом из переписки людей, проявлявших крайнюю враждебность к новым антидворянским писателям шестидесятых годов.

К Петрову они отнеслись благосклонно, но так как он не был человеком их круга, они писали о нем редко и мало. До настоящего времени он был совершенно забыт, потому что их переписка о нем лишь теперь стала доступна исследователям.

Пишущему эти строки посчастливилось найти в одном частном архиве неизданное письмо Льва Толстого, где Лев Толстой выражал свою радость, что его братья, Николай и Сергей, разделяют восхищение какой-то непонятной «*Сарг Мог*».

Нетрудно было установить, что «Сарг Мог» — это повесть «Саргина могила», напечатанная в тогдашней «Библиотеке для чтения» за подписью М. Петрова[1]. Но кто такой был этот Петров?

Его биографии не нашлось ни в одном словаре. Между тем его повесть так очаровала молодого Толстого, что Толстой ставил в особую заслугу своим братьям их высокую оценку этой повести. Ему особенно нравилось то, что они поняли ее достоинства сами, без всяких посторонних внушений.

«Как они меня порадовали тем, что оба в восхищенье от «Саргиной могилы» *собственным чувством*».

[1] «Библиотека для чтения». 1859. I.

Письмо Толстого было адресовано к Дружинину, который, очевидно, и открыл талант Петрова, напечатав у себя в журнале его повесть. Вскоре выяснилось, что и другой выдающийся критик, Василий Боткин, также восхищался этим новооткрытым талантом.

«Прочел я наконец и «Саргину могилу», — писал Боткин Дружинину 5 апреля 1859 года. — Скажу вам, что просто поражен талантливостью ее автора... Надо всеми силами постараться сделать все возможное для Петрова и извлечь его из его теперешнего положения. Поощрите его писать непременно»[1].

Так как это письмо было напечатано без всяких комментариев в одном давнишнем издании, из него нельзя было понять, что за человек Петров, каково было то «положение», из которого его хотели извлечь, и почему вообще приходилось стараться «сделать для него все возможное». Ответы на эти вопросы отыскались в другом архиве. У Льва Толстого была в Петербурге влиятельная тетка графиня А. А. Толстая, близкая к царской фамилии, жившая в Зимнем дворце, и вот в одном его письме к этой фрейлине оказались такие строчки, относящиеся к тому же апрелю 1859 года:

«Спросите, пожалуйста, у Бориса Алексеевича [Перовского], что писарь Петров? Что с ним сделали?»[2]

Редактор переписки академик Шахматов не знал, о каком Петрове идет речь, но для нас нет сомнения, что это автор «Саргиной могилы». Таким образом мы получили очень важное сведение, что он был *писарь*, то есть «человек из низов».

В результате дальнейших раскопок в Ленинской библиотеке в Москве отыскались неизданные письма Дружинина ко Льву Толстому, и в одном из них нашлись такие строки:

«Унтер-офицера Петрова прикомандировывают к канцелярии военного министра, он сидел у меня недавно часть вечера, был очень умен и доволен новым назначением».

Из этих строк выяснилось, что Петров был писарь военного ведомства, унтер-офицер (то есть уже не молодой человек) и что хлопоты его покровителей увенчались полным успехом.

После этого становилось понятно такое сообщение графини Толстой в одном из ее писем к племяннику:

«Он [Борис Перовский] принялся разыскивать Петрова, но, узнав, что тот нашел себе покровителя, несравненно более влиятельного, чем Борис, — он скромно ретировался, боясь, что, вмешавшись в это дело, он только повредит ему».

---

[1] «Письма к А. В. Дружинину». М., 1948, с. 57.
[2] «Толстовский музей». Т. I. СПб., 1911, с. 123.

Кто такой был этот покровитель, мы не знаем. «Он назвал мне имя покровителя, но я никак не могу его сейчас вспомнить»[1], — сообщает Толстая.

Вот почти все материалы для биографии Петрова, которыми мы располагаем в настоящее время: несколько беглых строк из старых писем.

И все же судьба Петрова ясна. Это — судьба «плебея», которого так заласкали представители *высшего круга*, что он сбился с пути и погиб.

Дело в том, что высокие его покровители — Боткин, Лев Толстой и Дружинин — составляли в то время тесно сплоченную группу, объединенную неприязнью к «новым людям» — разночинцам шестидесятых годов, и к той низовой, антидворянской культуре, которую несли эти люди с собой. Они — все трое — ненавидели каждый по-своему обличительные романы и повести и ратовали за «искусство для искусства».

Повесть Петрова тем-то и нравилась им, что в ней этот человек из низов не идет по стопам обличителей, но пишет в эстетическом духе, служа «чистому», «высокому» искусству, а не какимнибудь «зловредным» тенденциям.

Это видно хотя бы из того письма Боткина, которое он тогда же написал своему другу Тургеневу. Там Боткин определенно указывает, что в «Саргиной могиле» его очаровала главным образом идиллия из жизни крестьян.

«Любовь крестьянской девушки представлена (в «Саргиной могиле». — *К. Ч.*) с такою правдою и прелестью, как никогда до сих пор не была представлена. Однако ж я подметил подражание твоей манере в описаниях природы, но даже и в подражании видна талантливость. Притом какое мастерство в языке и особенно в эпитетах»[2].

«Описания природы», «правдиво и прелестно» изображенные любовные сцены — вот что главным образом нравилось им в «Саргиной могиле» Петрова.

И действительно, там было много красивостей — довольно банальных. Слог был кудреватый и нарядный, а сюжет по своему построению смахивал на либретто для оперы: даже заглавие звучало по-оперному — «Саргина могила». Видно, что автор весь опутан стародворянской эстетикой, которую именно в то время принялись разрушать молодые разночинцы во главе с Чернышевским. Эта эстетика была в разладе с простонародным сюжетом, и

[1] «Толстовский музей». Т. I. СПб., 1911, с. 130.

[2] *В. П. Боткин и И. С. Тургенев*. Неизданная переписка. М.—Л., 1930, с. 153.

на фоне жестких неприкрашенных писаний Николая Успенского казалась слащавой до приторности.

А между тем стоило Петрову на короткое время вырваться из-под власти этой враждебной ему барской эстетики — и в нем чувствовался подлинный плебейский талант: бытовые детали изображались им без сусальных прикрас, а корявый мужицкий язык начинал звучать нефальшиво.

Вся беда Петрова была в том, что он очутился в чужом лагере, у своих идейных врагов. Ему следовало бы пойти к Чернышевскому и Добролюбову, в некрасовский «Современник», примкнуть к той демократической плеяде писателей, которая именно тогда начала группироваться вокруг этого революционного органа, а он подчинился влиянию Дружинина, больше всего опасавшегося, как бы он не отошел от идиллии и не впал бы в «дидактику», то есть не сделался бы обличителем общественных зол.

Между тем по своей социальной природе он был такой же разночинец, как, например, Помяловский или Воронов. Подобно им, он накопил много желчи против тогдашнего строя. Пройдя тяжелую житейскую школу, он, исковерканный николаевской муштрой, не мог в ту боевую эпоху всецело отдаться любовным идиллиям и вскоре написал новую повесть из народного быта, где, к огорчению дружининской «партии», не столько восхищался красотами сельской природы, сколько разоблачал махинации деревенских кулаков и мироедов.

В этой повести ему удалось сказать *новое слово*. Тогдашняя передовая журналистика еще не вполне осознала, что власть кулака столь же тяжела для крестьян, как и помещичья власть, и, указывая на это, Петров обнаружил тем самым большую чуткость к интересам деревенских низов. Он вместе с Николаем Успенским уже в ту раннюю пору подметил расслоение деревни, которое упорно не хотели признать народники даже позднейшей эпохи. Повесть называется «Выборы»*. Она знаменует собою попытку Петрова вырваться из дружининских пут и заговорить своим собственным голосом. Читаешь эту повесть и видишь, что автор не меньше Якушкина, Решетникова, Николая Успенского скорбел о темноте и бесправии закабаленной деревни; что для него, как и для них, были омерзительны те измывательства над человеческой личностью, каким подвергала крестьян пресловутая деревенская община. И кулаков он ненавидел той же ненавистью.

Самыми черными красками изображает он в повести мироеда-кулака Лексея Трубина, вступившего в тесный союз с исправником и прочею «полицейскою братиею». Захотелось Трубину «посидеть в головах», то есть стать начальником пяти деревень обширной Зареченской волости. Для этого он пожертвовал «па-

рочку золотеньких» волостному писарю Страмиту Иванычу, пропойце, прожженному жулику — и не препятствовал своей красивой жене Катерине вступить с ним в любовную связь.

Катерина охотно воспользовалась попустительством мужа.

— Сделаю тебя головихой, барыней... Полюбишь, все сделаю, — обещал Катерине Страмит.

И выполнил свое обещание. Набил краденными шарами карманы и во время баллотировки сунул эти шары в белый ящик, так что выбранным оказался не тот, кого наметили выбрать крестьяне, а ненавистный им Трубин, забаллотированный ими.

«Община», подкупленная вином и посулами, одобрила эти незаконные выборы. Окружной начальник, получив от Трубина немалую взятку, утвердил их — и Трубин вместе с негодяем Страмитом стали грабить и обижать бедноту подвластных им пяти деревень.

Все это — типичный сюжет обличительного деревенского очерка, который мог бы свободно появиться на страницах некрасовского «Современника», рядом с очерками Николая Успенского. Правда, в конце очерка нежданно-негаданно торжествует справедливость и виновные получают заслуженную кару, но конец этот находится в таком кричащем противоречии со всем содержанием повести и так явно пришит белыми нитками, то ли по настоянию цензуры, то ли по требованию А. В. Дружинина, что обличительный смысл «Выборов» нисколько не ослабляется этим концом. Потому-то в группе покровителей Петрова его новая повесть была воспринята как его *падение*. Лев Толстой так писал о ней Дружинину:

«Она мне положительно не понравилась, хотя видна сила большая. Но его горе (то есть горе Петрова. — *К. Ч.*), противуположное нашему и большое — совершенная бессознательность дарования. Он сам не знает, что в нем велико, и Катерина — намек, тень, когда она должна бы быть все. Если бы он был помоложе — горе это было бы исправимо, а теперь, боюсь, он так и останется не «надежда», а «сожаление»[1].

По мнению Толстого, автору надлежало бы сделать центральной фигурой женщину и таким образом превратить обличительную повесть в любовную, сосредоточив свое внимание главным образом на анализе переживаний деревенской красавицы, которую покинул любовник.

Чтобы отомстить изменнику за эту обиду, Катерина в «Выборах» страстно обличает его и своего нелюбимого мужа в разных неблаговидных поступках. Для Петрова это обличение гораздо важнее, чем любовные переживания Катерины.

---

[1] *Л. Н. Толстой.* Полн. собр. соч. Т. 60. М., 1949, с. 308–309.

Конечно, об этом «грехопадении» Петрова сокрушался не только Толстой. Можно с уверенностью сказать, что и Дружинин, и Боткин читали ему длинные нотации о той измене чистому искусству, которую он совершил в своих «Выборах». Несомненно, они указывали ему, что как раз в то «жестокое» время, когда искусство заменили публицистикой, когда всюду царит «отрицание», когда все повести из деревенской жизни стали буквально кричать о нищете, н евежестве и бесправии крестьян, — он обязан, в противовес всему этому, изображать светлые и радостные стороны простонародного быта, дабы в его творчестве возобладало не гоголевское начало, но пушкинское, «гармоническое», «божественно-благостное».

Известно, что Дружинин в то время требовал от писателей «светлого взгляда на вещи», «веселого, простодушного смеха», «беззаботного отношения к действительности», «симпатического взгляда на людей».

Тогда это были глубоко реакционные требования, так как в них заключался призыв к примирению с действительностью, отказ от политической борьбы.

Неустойчивый Петров поддался этой проповеди и в 1860 году сочинил по рецепту Дружинина новую повесть из крестьянского быта — «Наносная беда»*, где в таком розовом свете изобразил деревенскую жизнь, что, должно быть, его канцелярское начальство осталось им на этот раз вполне довольно. «Начальство его очень полюбило и, я думаю, скоро вытянет в чиновники», — сообщал Дружинин Льву Толстому. В повести выведены богатые кустари-бакалейщики, и автор чуть не стихами описывает их мудрый, благочестивый и празднично-радостный быт. Речь автора вообще так напыщенна, что то и дело сбивается на стихотворный напев, и это придает повести еще более фальшивый характер. Сюжет неправдоподобен: братец и сестрица в богатой крестьянской семье страстно обожали друг друга: братец ушел в бурлаки, чуть только ему показалось, что его сестрица согрешила с каким-то Ивашкой. Но, к счастью, в дело вмешался высокоидеальный священник, охранитель девической чести, и заявил во всеуслышанье, что, несмотря ни на что, Устя осталась девицей. Узнав об этом, ее нежно любящий братец тотчас же бросил бурлачество и снова поспешил к ней в объятия.

Характерно, что эта идиллия особенно пришлась по душе тогдашнему «Журналу для девиц», который вывел из нее назидание, что «нежны, благородны, возвышенны бывают отношения в простонародном семействе», и очень хвалил Петрова за то, что, выйдя, подобно Кольцову, из низшего класса, он продолжает любить свой народ.

Таким образом, было окончательно извращено и погублено дарование злополучного писаря. Его «Саргина могила» и особенно «Выборы» ясно показывают, что, если бы у него были силы преодолеть влияние «эстетов», он мог бы войти как равный в ту плеяду боевых разночинцев, которая начала группироваться тогда вокруг радикальных журналов. Это видно также из его любопытных охотничьих очерков, где описана не барская охота, к которой приучили читателей Аксаков, Тургенев и др., а, так сказать, «бедняцкая», «мелкомещанская» — без чистокровных сеттеров и тысячных ружей. По этой дороге Петрову и надлежало идти, но он был в то время уже немолодой человек, и литературные традиции предыдущей эпохи связывали его на каждом шагу. У него не хватило сил преодолеть тяжеловесные формы старинных повестей из народного быта, и, вместо того чтобы помочь ему отказаться от этой рутины, его всячески вовлекали в нее. Поэтому в его первых рассказах — борьба двух стилей, двух противоположных манер. А в последующих уже нет и борьбы: полная победа отжившей манеры.

Таким образом, его писания интересны для нас главным образом тем, что они отчетливо показывают, как велика была та революция литературного стиля, которую произвели в своих очерках Якушкин, Николай Успенский и Слепцов, освободив форму деревенского очерка от сахаровско-далевских вычур и пряностей.

Дальнейшая судьба Петрова неизвестна. Не было бы ничего удивительного, если бы он спился, подобно Николаю Успенскому, Левитову, Воронову. О том, что ему был известен этот погибельный путь, мы узнаем из одного письма Дружинина к Толстому.

«О Петрове я получил весть, повергшую меня в трепет, — у него голова закружилась, и на Пасхе он загулял. А перед тем он был у меня вечером и явился таким умным, счастливым и приличным, что сердце радовалось. Тут я упустил его из виду, но теперь потребую к себе и попробую высказать ему все, что можно в подобных случаях. Еще один скачок в сторону не есть погибель, да нехорошо, что дорога поганая уже изведана».

Нет оснований думать, что Петров ограничился только этим одним «скачком в сторону».

Впрочем, мы не должны забывать, что все сведения о его биографии, которые нам удалось разыскать в письмах Боткина, Дружинина, Толстого и графини Толстой, относятся к одной-единственной дате: *к апрелю 1859 года.*

Кроме «Наносной беды», он напечатал в 1860 году у того же Дружинина новый рассказ «Богомолка»[1]. Его «Богомолка» — такая

[1] «Библиотека для чтения». 1860. № 2.

же пряничная, сусальная вещь, как и «Наносная беда». И по форме, и по содержанию оба рассказа — в прямой оппозиции к *простонародной* беллетристике «Современника», «Искры» и пр. В обоих — реакционное восхваление рабьих добродетелей «русской души», которая противопоставляет всем беззакониям окружающей жизни христианское воспарение от земного к небесному.

Именно поэтому тогдашняя либеральная пресса сочла нужным провозгласить автора «Богомолки» восходящей звездой. Вот, например, какой восторженный отзыв напечатан в «С.-Петербургских ведомостях» 1860 года* о последнем рассказе Петрова:

«Рассказ этот, замечательный в художественном отношении, важен для нас еще потому, что автор его — г. Петров, простой писарь из кантонистов. Мы надеемся, что он не оскорбится сообщением этой биографической подробности, придающей еще больше цены как этому произведению его, так и двум другим, напечатанным в прошлом году в том же журнале. Здесь считаем долгом оговориться. Мы никогда не питали большого удивления к тем людям из простого звания, которые, получив университетское или другого рода образование, делались потом замечательными писателями или деятелями на других поприщах. Конечно, мы сочувствовали им, с наслаждением читали их, но, повторяем, не удивлялись тому, что это написали *простые люди*; зато удивление наше всегда было велико, когда такими деятелями являлись самоучки, люди, не озаренные светом науки, не просвещенные сообществом с даровитыми и развитыми людьми, сделавшиеся заметными единственно силою своего врожденного дарования. К таким людям принадлежит и г. Петров, звание которого уже ясно показывает, что никакое высшее образование не было ему доступно. И, несмотря на это, г. Петров в своих произведениях является истинным художником. Первое произведение его — «Саргина могила» — сразу обратило на себя всеобщее внимание не потому, что указанная нами биографическая черта усилила впечатление (это обстоятельство было известно очень немногим), а потому, что рассказ сам по себе соединял в себе все условия, необходимые для художественного произведения. Тем, кто не читал этого рассказа, мы советуем непременно прочесть его, и уверены, что никто не обвинит нас в пристрастии. Г. Петров черпает рассказы свои из крестьянского быта; к знанию дела примешивается у него теплая, ненакрахмаленная любовь к этому сословию, а *художественный такт*, поражающий почти на каждой странице этих рассказов, делает из них одно из лучших достояний современной нашей беллетристики» (курсив мой. — *К. Ч.*).

Под «художественным тактом» критик разумеет ту умеренность в изображении беззаконий и тягот крестьянского быта, ко-

торой «выгодно» отличается «истинный художник» Петров от своих литературных собратьев из лагеря «Современника» — «Искры».

Пересказав, при помощи длинных цитат, содержание его «Богомолки» и выразив попутно восхищение точным воспроизведением народного говора (который, кстати сказать, на фоне рассказов Слепцова — Успенского кажется вылощенным и театрально-цветистым), критик с особым умилением останавливается на том эпизоде рассказа, где согрешившая девушка уходит замаливать свой грех в монастырь.

«Не сукротила я своего сердца несовладного (говорит она речитативом, как на сцене. — *К. Ч.*) — сама с собой ужиться не смогла... возроптала на свою долю, недовольная, а доля-то моя была, сказать бы, не какая теперича. Было бы, может, и не без радости на мой век... Спокаялась я — да уж не воротишь! Отпусти ты мне мою вину всесветную, а еще у Бога пойду я свою вину сама замаливать. Когда была там в больнице больна, чуть не при смерти, была у священника на духу, дала зарок, как слободит Бог от беды, идти по святым монастырям, по дальним спасенным пустыням, Богу молиться, праведным угодникам поклониться. И отпусти ты меня на все четыре стороны. Приведет Бог — свидимся; не приведет — ну!»

В заключение критик «С.-Петербургских ведомостей» говорит: «Удивительной выдержанностью, глубочайшею теплотою проникнут весь рассказ г. Петрова. Что еще выйдет из этого самобытного большого дарования, выступившего так ярко, без всякой посторонней помощи, мы, конечно, определить не можем; но несомненным кажется, что ему предстоит блестящая будущность, которой мы и желаем ему от всего сердца».

Не только «блестящей», но вообще никакой будущности не могло предстоять «низовому» писателю, который в шестидесятых годах попытался прославить монашеское умерщвление плоти как единственную панацею от неправд и обид, выпавших на долю деревни. Добро бы он не видел этих неправд и обид, но из его первых рассказов, из «Саргиной могилы» и «Выборов», мы знаем, что они были известны ему не хуже, чем, скажем, Николаю Успенскому; если же он отрекся от обличительных замыслов, это произошло оттого, что его окончательно заполонила враждебная ему писательская группа. Отсюда фальшивость его литературного стиля, в котором он пытался сочетать правдивую передачу народного говора с нарядными красивостями условно-театральной банальщины.

1934

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО НИКОЛАЯ УСПЕНСКОГО

1

Рассказывают, будто на старости лет Николай Успенский дошел до такой безысходной нужды, что сделался уличным нищим. Будто, оборванный и лохматый, он ходил по дворам и просил подаяния, чтобы не погибнуть от голода.

Об этом сообщается почти во всех биографиях писателя, но мне хотелось бы тут же добавить, что его нищенство было особого рода. Меньше всего он был склонен к робкому выпрашиванию милостыни. Это был нищий с темпераментом площадного актера, бравурный и вдохновенный, из породы эксцентриков. Попрошайничая, он чувствовал себя на эстраде и, перед тем как собрать медяки, считал необходимым балаганить. Очевидно, у него был немалый талант для такого эстрадного нищенства. Он играл перед уличной толпой на гармонике, на гитаре, на скрипке, он распевал куплеты и частушки, он разыгрывал целые сцены с маленьким крокодиловым чучелом, которое всюду таскал за собой, и, дергая его за веревку, произносил от его лица монологи.

— Господа честные крокодилы, желаю вам доброго здравия! — кричал он собравшейся публике от имени своего крокодила.

А к концу представления на панели расстилали коврик, и дочь писателя, одетая мальчишкой, начинала танцевать под гармонику, а потом обходила зрителей с изодранным отцовским картузом.

Такие спектакли в середине восьмидесятых годов Николай Успенский устраивал и на пароходных пристанях, и в вагонах железной дороги, и на московских бульварах — всюду, где собирался народ, но чаще всего в трактирах. Один его приятель, Кондратьев, стихотворец с толкучего рынка, изобразил его выступления перед ресторанной толпой в таких четырех строках:

Шутник трактирный, весь в мелу,
Весь превратившийся в заплаты,
Мычит, ломается в углу
За рюмку водки вместо платы.

Многие усматривали в его лицедействах обиду для русской словесности:

«...Мне было стыдно и как-то неловко смотреть на такое шутовство известного писателя», — вспоминал впоследствии один тульский чиновник, происходивший из литературной семьи[1].

А какой-то газетный сотрудник, встретив его на волжском пароходе, принял его за самозванца и отказался поверить, что этот бродячий комедиант есть известный писатель Успенский[2].

К этим представлениям Успенского тянуло всю жизнь. Помимо литературных талантов, у него были таланты сценические. И хотя многие думают, что трактирным эксцентриком он сделался главным образом с голоду, но разве голод был редкостью в писательской среде того времени? Разве литературные сверстники Николая Успенского — Воронов, Левитов, Помяловский, Орфанов — не были такими же нищими? Однако ни один из них не пошел с крокодиловым чучелом собирать медяки по площадям и трактирам. Они голодали застенчиво, каждый в своем углу.

У него был подлинный театральный инстинкт, и хотя мы мало знакомы с подробностями его биографии, но даже из тех случайных и отрывочных фактов, которыми мы располагаем теперь, видно, что и в детстве и в молодости, не побуждаемый ни нуждою, ни голодом, он стремился к таким же выступлениям перед публикой.

Еще девятилетним мальчишкой он сплел себе какие-то необыкновенные лапти, длиною не меньше аршина, и разгуливал в них, как циркач, забавляя деревенскую улицу. А то запряжет в небольшую тележку собак и — тоже по-цирковому — мчится на них, как на тройке. А когда однажды ему в руки попало ружье, он, чтобы позабавить деревенских зевак, стал палить прямо в дверь к кузнецу.

Словом, с самого раннего детства у него была страсть выступать пред толпою в роли ее развлекателя.

Эта страсть сохранилась у него и в зрелые годы, когда он был опять-таки далек от нужды.

---

[1] *П. Юдин.* К биографии Н. В. Успенского. — «Исторический вестник». 1896. № 12. Цитированные слова принадлежат сыну П. И. Мельникова-Печерского. См. также: *Д. Разюмалин.* Воспоминания о Н. В. Успенском. Рукопись. ЦГАЛИ. Ф. 1 178 354/1.

[2] «Волжский вестник». 1889. № 270 (статья П. Юшкова).

В 1864 году, проживая в усадьбе Тургенева, он завел себе диковинную лошадь — розовой масти — и на глазах у крестьян кормил ее не сеном, а мясом.

— Поднесу ей водки, дам колбасы кусок, она и сыта.

А своего работника, босого Кирюшку, заставлял тогда же на потеху деревне щеголять в парижском шапокляке:

— Кирюшка, венезиси![◊]

Поэтому не следует думать, что лишь крайняя бедность вынуждала его к этой шумной публичности. Когда молодым человеком он привез из-за границы в свою тульскую глушь панораму и ворох парижских картинок, ему было мало показывать эти картинки в тесном семейном кругу, он отправился на ближайшую ярмарку и там среди площади стал демонстрировать и лорда Пальмерстона, и королеву Викторию, и модных французских актрис, и виды Греции, и виды Египта, приговаривая по поводу каждой картинки стишки своего сочинения. Вся ярмарка толпилась у его панорамы, привлеченная не столько картинками, сколько балагурством раешника.

Можно ли представить себе в этой роли Решетникова или, скажем, Левитова? Рядом с ним они представляются чуть не отшельниками: тихие и угловатые люди, чуждые всякой публичности.

Даже просто гуляя по улице, он любил привлекать к себе внимание толпы. В конце семидесятых годов, проживая в городишке Ефремове, он в таком эксцентрическом виде появлялся на многолюдных гуляньях, что на него показывали пальцами или разбегались в испуге[1].

Думают, что только на старости лет он сделался бездомным бродягой. Нет, к этому он опять-таки чувствовал расположение с детства. Один из знавших его заметил впоследствии, что если в конце своей жизни он опустился так низко, то «это было для него тем легче, что и прошлое его представляло собою сплошное скитальчество»[2].

И действительно, нельзя себе представить, чтобы в какой-нибудь период его бытия у него был свой собственный письменный стол, свой угол, своя кровать. Не в кабинете писал он свои сочинения, а на бульварных скамейках, в вагонах, на ящиках из-под винных бутылок. Даже когда он женился, он втянул и жену и ребенка в свою бродячую жизнь. Даже когда он поступил на казенную службу и сделался школьным учителем, он ни в одной школе

◊ Поди сюда *(франц.)*.

1 «Приазовский край». 1893. № 119.

2 «Книжки недели». 1893. № 6, с. 223.

не мог удержаться надолго — отовсюду убегал среди занятий. Это причиняло ему много хлопот. Однажды он чуть было не попал за дезертирство под суд, так как московская гимназия, из которой он убежал среди учебного года, была военная, и его побег приравняли к побегу с военной службы. Ему грозила тяжелая судебная кара, но ничто не могло удержать его в городе, когда наступала весна. Зимою он еще крепился кое-как, но стоило ему заслышать журавлей — и «цыганская кровь» гнала его с места на место.

Перед этим довелось ему служить в Оренбурге — учителем Неплюевского кадетского корпуса, — и оттуда он дезертировал таким же манером, предварительно рассорившись с товарищами, потому что был человек неуживчивый и ладить с людьми не умел.

Эта неуживчивость сказалась даже в литературной его биографии. Не было, кажется, такого журнала, из которого он не ушел бы, не было такого писателя, с которым он не рассорился бы: от Тургенева уехал, ругаясь; с Некрасовым, который поначалу отнесся к нему очень сочувственно, тоже порвал через несколько лет. Вскоре после того, как Чернышевский приветствовал его первые рассказы хвалебной статьей, он явился к Чернышевскому с бранью. «Вы сказали мне грубость, — писал ему Чернышевский в январе 1862 года, — грубость, к которой не вызвал я вас ни одним резким словом и на которую я даже не отвечал никаким резким словом»[1]. Льву Толстому Николай Успенский в глаза объявил, что его считают глупцом и пигмеем, и разнес его за «звериную расправу» с Карениной[2]. Таков был стиль его необузданной речи. Даже в гостях, в светском обществе, он словно щеголял неучтивостью.

— Как вы могли выйти за такое страшилище? — спросил он одну малознакомую барыню, указывая на ее некрасивого мужа.

И столь же бесцеремонно заявил Михайловскому:

— Какой ты писатель? Ты — скнипа!

«У него, — вспоминал его двоюродный брат Глеб Успенский, — развилось удовольствие издеваться над человеком... и вообще *удовольствие* ощущать в людях дураков, подлецов и мошенников»[3].

В одном из тургеневских писем читаем: «Здесь проехал человеконенавидец Успенский»[*].

Он словно нарочно старался навлечь на себя ненависть всех своих близких. И это превосходно удавалось ему. Тот же Глеб Ус-

---

[1] «Переписка [Н. Г. Чернышевского] с Н. В. Успенским». — «Звенья». М.—Л., 1934. № 3—4, с. 584.

[2] *Н. В. Успенский.* Из прошлого. М., 1889, с. 94—95.

[3] *Г. И. Успенский.* Собр. соч. Т. 9. М., 1957, с. 598.

пенский не мог говорить о нем, не задыхаясь от злобы, которой не смягчила даже смерть. «Человеконенавидец» еще лежал на соломе в мертвецкой полицейского участка, когда Глеб Успенский с несвойственной ему беспощадностью поминал его как одного из самых «растленных» людей.

Приговор несправедливый, высказанный больным человеком в минуту сильного душевного расстройства, но все же нужны были какие-то особые качества, чтобы довести незлобивого Глеба Успенского до такого необычайного гнева. Этими качествами Николай Успенский обладал в чрезвычайной степени...

Вообще наряду с чертами, типичными для писателя-разночинца шестидесятых годов, в его психике наблюдалось немало особенностей, чуждых этому типу и даже враждебных ему. И покуда мы не дознаемся, каково социальное происхождение этих особенностей, покуда мы не выделим их из комплекса тех черт, которые характерны для всей этой разночинной группы писателей, до той поры наши представления о жизни и творчестве Николая Успенского будут весьма произвольны.

Как писатель он был страшно неустойчив. Начав литературное поприще в «Современнике» времен Чернышевского, где его приняли как демократа, не чуждого революционных идей, он при первых же признаках реакции 1862—1863 годов переходит в лагерь дворян-постепеновцев и начинает сотрудничать в либеральном журнале Дудышкина*, который ставил тогда своей задачей систематическую борьбу с «чернышевщиной».

Здесь он задерживается очень недолго и через несколько лет переходит в пенкоснимательный «Вестник Европы», а еще через несколько лет становится сотрудником боевых монархических органов, таких, как «Гражданин» и «Русский вестник», и охотно печатается в уличном листке «Развлечение», так что в конце концов сам Константин Леонтьев, виднейший идеолог черносотенства, горячо одобряет его в «Гражданине» за то, что он в своих последних рассказах наконец-то встал на истинно православную почву, изображая духовенство, равно как и благочестивых помещиков, такими светлыми красками.

Все это никак не укладывается в тот канонический образ радикала-разночинца шестидесятых годов, который мы до сих пор так охотно навязывали Николаю Успенскому. Исследуем же без всяких предубеждений его биографию и не станем подтасовывать факты в угоду заранее заготовленным схемам. И тогда нам, быть может, удастся осмыслить его подлинный творческий путь и хоть бегло наметить те силы, которые привели его к отщепенству и гибели.

2

Отец его, даром что поп, был человек непутевый и принадлежал к числу тех талантливых русских людей, которые охотно тратят себя на пустяки и ненужности, а от серьезного дела отлынивают: балагур, непоседа, птицелов и лошадник. Главный у него был талант — к рукоделью. Заштопать ли брюки, починить ли часы — это он умел лучше всех. Птичьи клетки сооружал превосходные. А хозяйство забросил, все больше слонялся по ярмаркам да околачивался у соседних помещиков. Помещики были рады ему, — особенно те, которые держали собак, ибо во всех вопросах, касавшихся псарни, он был авторитетный знаток и судья.

Такие люди очень приятны в гостях, но дома они хмуры и сварливы.

В те редкие часы, когда он возвращался в семью, он тотчас же вступал в перебранку со своей вечно беременной женой, и ссоры эти были так горячи, что требовалось вмешательство церковных властей, чтобы утихомирить его.

К детям он был тоже суров и придирчив. А детей у него было множество: Аня, Ваня, Саша, Маша, Лиза, Миша, Серафима и будущий писатель Николка.

Накормить деликатесами такую ораву нельзя, и потому основная еда всей семьи была гречневая каша и картошка. К младшим детям одежда переходила от старших, и пара сапог обычно была на двоих. Из ветхой отцовской шапки Николке скроили жилетку. А единственную клячу кормили в зимнее время так скудно, что ждали ее смерти со дня на день и удивлялись, почему она жива.

Говоря о человеке, что он «из духовных», мы всякий раз должны определять, из какого слоя этой касты он вышел, ибо в духовенстве было много слоев, и все они были разные. Та церковная среда, в которой вырос, например, Добролюбов, была совершенно иная, чем та, которая взрастила Николая Успенского. Отец Добролюбова был соборный иерей большого города, человек многоученый и чтимый. Отец же Николая Успенского был попдеревенщина самого низшего ранга, сливавшийся в бытовом отношении с дьячками, пономарями и другой мелкотой.

Хуже всего было то, что в селе Ступине находилась барская усадьба, а при усадьбе состояла обширная дворня, то есть праздная помещичья челядь, развращенная многолетним холуйством, — и деревенским поповичам приходилось с самого раннего детства якшаться с этой низкопробной толпой.

До нас дошло проникновенное письмо одного из родственников Николая Успенского, где все его пороки и падения объясняются этим растлевающим влиянием дворни.

«Дворня, — говорится в письме, — именно то культурное общество для деревенской аристократии, кулаков, лавочников, кабатчиков и кутейников, — с которым причт был в дружеских связях»[1].

Так что, хотя жизнь поповичей села Ступина мало чем отличалась от жизни крестьянской, с крестьянами они сходились неохотно и льнули к «верхам», или, вернее, подонкам деревенского общества. Конечно, Николка с самого раннего детства наслушался в этой растленной среде тех смердяковских речей, которые потом столь часто воспроизводил в своих книгах, — и не нужно скрывать от себя, что много уродливых черт внесла эта среда в его психику.

«Нельзя, да и не надо говорить, — читаем мы в том же письме, — о растлении его души с детских лет в поповской среде, где он родился и жил и которую, увы, *любил все время*, любил ее безбожество и все то, что известно под наименованием «жеребячья порода»; издевался над свинским житьем этой пьяной, сластолюбивой, жадной до плотских удовольствий поповской толпы, но все-таки любил быть здесь *из удовольствия* издеваться над ней, любоваться распутством»[2].

Это письмо не вполне беспристрастно, так как написано под влиянием непростывшей обиды, но все же нельзя отрицать, что Николай Успенский действительно был на всю жизнь отравлен этой кулацко-поповско-лакейской средой и, как мы ниже увидим, никогда не умел окончательно от нее оторваться. В воспоминаниях, напечатанных перед смертью, он мельком, на двух-трех страничках, вывел своих родных за мирной деревенской беседой, и мы с первых же слов очутились в атмосфере тупого стяжательства, пустомыслия, пустословия и какой-то изнурительной пошлости.

Не мудрено, что в этой «растленной» среде он с самого раннего детства научился пьянствовать не хуже больших.

«Нет ли рюмочки ахнуть?.. Выпьем-ка еще по агафончику!» — к этому жаргону он привык с колыбели, так как все его родные были пьяницы.

Еще мальчишкой он приставал к своей матери: «Мамочка, одолжите *веди!*»

Веди было условным названием водки, и мать охотно исполняла его просьбу. Очевидно, пьяный ребенок был в той среде заурядным явлением[3].

---

[1] *Г. И. Успенский.* Собр. соч. Т. 9. М., 1957, с. 598.

[2] Т а м ж е.

[3] *Д. И. Успенский.* Николай Васильевич Успенский. — «Исторический вестник». 1905. № 11, с. 485.

Единственным просветом в этом затхлом быту было для Николки общение с крестьянством в поле, на гумне, за работой. Из всех своих братьев Николка единственный ведался с этой средой.

«Мы с братом Иваном жили баричами, — сообщает его брат Михаил, — но Николай не то: он косил, пахал, сеял, в ночное с лошадьми ездил».

А сын его брата Ивана указывает, что общению с крестьянами он отдавал почти все свое время[1].

Таким образом, уже в ту раннюю пору в его жизни наметились два разнородных влияния: одно — кулацко-поповско-лакейское, а другое — трудового крестьянства. Между этими двумя социальными полюсами и прошла, в сущности, вся его жизнь. И если в шестидесятых годах ему удалось выступить в литературе борцом за интересы трудового крестьянства, представителем крестьянской демократии, эта роль была вполне подготовлена его детским «хождением в народ».

«Среди мужиков он был весел и добродушен», — читаем в воспоминаниях Ивана Бунина. «Удивительным доверием он пользовался у баб, — вспоминает Тарусин. — С ними он начинал говорить таким мужицким языком, что сразу располагал их в свою пользу».

Его племянник сообщает, что уже в старости он при встрече с крестьянами «снимал перед ними фуражку и приветствовал их низким поклоном».

По десятому году его отдали в тульскую бурсу, и там, словно нарочно, были приняты все меры к тому, чтобы развратить и опошлить этого одаренного мальчика.

Учителя все до одного были взяточники и снисходили только к детям богатых родителей, а такую голытьбу, как Николка, пороли чуть не изо дня в день.

Его отец, очевидно, считал, что семинарских экзекуций сыну мало, и порол его, так сказать, дополнительно. Когда Николку за какую-то провинность не отпустили на святках из семинарии домой, отец приехал к нему в Тулу специально затем, чтобы отодрать его своими руками[2].

В своих воспоминаниях Николай Успенский рассказывает, что экзекуция вообще занимала первое место среди применявшихся к нему педагогических мер. Палачами его были его же товарищи, которые смягчали удары в зависимости от получаемых взяток.

---

[1] *Д. И. Успенский.* Николай Васильевич Успенский. — «Исторический вестник». 1905. № 11, с. 485.

[2] Там же.

Словом, все виды житейских неправд и обид отведал он в этой школе уже с девятилетнего возраста.

Говорят, что в рассказе «Декалов» он изобразил свою собственную жизнь. Если это так, удивительно, что при такой системе воспитания ему вообще удалось сохранить человеческий облик.

Розга, водка, взяточничество, карты, низкопоклонство, наушничество, показная набожность и тайный разврат — таково было его воспитание в течение десяти с лишним лет. И, пожалуй, единственное спасение было для него в тех демонстративных чудачествах, которым он, как мы видели, предавался с самого раннего детства и которые были как бы отдушиной для его блестящих талантов, не находивших здесь иного применения.

Ибо, несмотря ни на что, «веселонравие неистощимым ключом било в его сердце и поминутно подмывало совершить какое-нибудь удальство, озорство или мистификацию». Это был своего рода протест против той угрюмой и поистине каторжной жизни, которую он вынужден был вести в семинарии. До нас дошли смутные воспоминания о том, что одному из преподавателей — некоему Панову — он насыпал в картуз песку и, на потеху товарищей, нахлобучил этот картуз ему на голову[1]. Очевидно, таких подвигов совершил он в ту пору немало, потому что, по одним источникам, в семинарии ему было присвоено наименование «ёрник», а по другим — «балаганщик». В этом «балаганстве» одна из главных особенностей его душевного склада — юмор, который впоследствии так пышно сказался в его сочинениях и который здесь, в семинарии, только и мог проявляться уродливым и грубым шутовством. Когда читаешь такие озорные рассказы Николая Успенского, как «Обоз» или «Змей», где он, увлекаясь необузданным шаржем, заставляет целые толпы крестьян совершать чудовищно-смехотворные действия, которые возможны только в буффонадах и фарсах, легко представляешь семинарское его «балаганство».

Впрочем, «балаганством» далеко не исчерпывались его школьные годы. По словам одного его близкого родственника, в бурсе он окончательно отбился от рук: все больше ходил по трактирам, играл на бильярде и пьянствовал[2].

Там же, в Туле, жил его дядя Иван, видный и зажиточный чиновник. У дяди был собственный выезд, дядя служил в Казенной палате, дядя водился с именитейшими персонами города. Дядя принял Николку под свое покровительство, прикармливал его и

[1] Сообщено А. И. Успенским.

[2] *Д. Васин* (Д. Г. Соколов). Глеб Иванович Успенский. — «Русское богатство». 1894. № 6, с. 55.

при всяком заболевании звал к нему лекаря. Однажды он даже подарил ему старую шинель с своего плеча. Но Николка взял мел, написал на шинели обидное слово и отослал дяде.

У дяди был сын гимназист, по имени Глеб, впоследствии знаменитый писатель. Дядя запрещал Глебу водиться с неумытою бурсою, и Николка уже в те годы возненавидел своего счастливого брата за то, что его никогда не пороли и что он каждое утро ездил в гимназию в собственной бричке.

Эта ненависть к Глебу осталась у Николки на всю жизнь.

«Мы с ним братья, — конечно, двоюродные! — говорил он о Глебе позднее. — Два Лазаря. Только он — Лазарь богатый, а я — Лазарь бедный. Он — горожанин, сын богатого палатского секретаря, а я — сельчанин, сын левита. Он в молодости катался как сыр в масле, а я глодал сухую корку хлеба. Он вышел из школы со всякими дипломами, а я — недоучка»[1].

Глеб со своей стороны платил ему столь же горячею ненавистью.

Учился Николка в семинарии плохо. Еле дотянул до богословского класса и там окончательно отбился от рук. Видевшие его в эту пору изображают его нечесаным лодырем в дырявом картузе и рваной обуви. Науку он забросил совсем, и каждому было ясно, что не сегодня-завтра праздная трактирная жизнь доведет его до неминуемой гибели.

А между тем именно тогда этот «лодырь» горячо пристрастился к писательству и тайно заполнял казенные тетради очерками из быта своей семинарии. Очерки были, конечно, сумбурны и не лишены «балаганства», но в них нередко пробивался протест против удушливых бурсацких порядков. До нас дошли кое-какие фрагменты из его памятной книжки, которую вел он в то время. Книжка эта частично воспроизводится им в его автобиографическом рассказе «Брусилов». Там он не без язвительности перечисляет те драгоценные сведения, которые предлагал бурсакам их учитель всемирной истории:

— Марк Катон Цензор имел рыжие волосы.

— Агезилай на одну ногу хромал.

— У Суллы было красное лицо.

— Самые воинственные полководцы, отличавшиеся силою ума, как то: Антигон, Сарторий, Ганнибал, Филипп — были кривоглазые.

Обо всех без исключения учителях семинарии он записал кратко, но веско:

---

[1] *П. К. Мартьянов.* Дела и люди века. СПб., 1893, с. 238.

«За картами они дойдут до драки, а ученику сделают первую на свете низость».

И тут же такая запись:

«Петербург! Петербург! Сколько ты вдыхаешь в мою душу жизни, святых надежд!.. Без тебя здесь глушат молодость... мысль о тебе озаряет много сердец... Чувствую, что мне предстоит там борьба».

Записи сделаны в 1855 году и носят на себе отпечаток той знаменательной даты. Таких записей было множество в юношеских дневниках того времени. Именно в ту горячую пору, в самый канун шестидесятых годов, тысячи молодых разночинцев — в семинариях, гимназиях, корпусах, институтах — ощутили страстную потребность вырваться из своего мрачного быта и ринулись на север, в столицу, создавать «новую жизнь». Все чувствовали себя тогда в преддверии каких-то небывалых событий. Молодое поколение инстинктивно готовилось к участию в великой баталии с ненавистным ему феодально-бюрократическим строем, хотя лозунги предстоящих боев не успели еще окончательно выработаться...

Подхваченный этой волной, Николай Успенский бросил свою семинарию и в начале пятьдесят шестого года отправился в Питер — обучаться медицинским наукам. Медицинские науки в то время были в величайшем фаворе у молодых разночинцев, жаждавших материалистических знаний. Кроме Николая Успенского, из группы писателей шестидесятых годов и Воронов, и Максимов, и Слепцов, и Левитов были медицинскими студентами. Медико-хирургическая академия в Питере стала в то время одним из сильнейших магнитов для разночинного «плебса».

В эту академию поступил и Успенский. Как добрался он до Питера — неизвестно. Рассказывают, будто тот же благодетельный дядя Иван снабдил его необходимыми для этого средствами. Очевидно, средств было не слишком-то много, так как, согласно другим сообщениям, он от Тулы до Москвы шел пешком. Судя по тому же автобиографическому рассказу «Брусилов», он поселился в Питере в темной каморке, без мебели, с прогнившим, ветхим полом, из-под которого по ночам выбегали стаи крыс и мышей с невероятным визгом, наводившим на юношу ужас. Все это чрезвычайно типично для биографии «новых людей» того времени.

Возможно, впрочем, что краски в «Брусилове» чересчур сгущены, так как, по сообщению Васина, когда, выдержав экзамен в академию, Николай Успенский во время каникул приехал на родину, все были поражены щегольством его студенческой формы, погонами, мундиром и каской.

Как бы то ни было, теперь, когда он выкарабкался из ненавистного быта, он мог без помехи отдаться изучению медицинских наук, но вскоре выяснилось, что эти науки привлекали его только издали. Не прошло и года, как он уже порвал с академией.

Занимаясь анатомией в препараторской, он испортил выданные ему инструменты, разбросал их по палате и ушел. Было созвано экстренное совещание профессоров академии, и, по требованию знаменитого Грубера, святотатец был изгнан из стен академии с позором.

Этот поступок принято называть «непонятным», между тем он органически связан с самыми основными чертами психики Николая Успенского: тут и то «веселонравие», которое всегда соблазняло его к «балаганству», тут и та непоседливость, которая до конца его дней не давала ему надолго приладиться к какому бы то ни было делу, тут и та пресловутая «растленность жеребячьей породы», которая, как мы только что видели, сказывалась у него на каждом шагу.

Об этой растленности, привитой ему с детства низменной средой, где он вырос, мы не должны забывать, изучая его жизнь и творчество. В том-то, повторяю, и заключалось своеобразие его биографии, что наряду с типическими чертами передового разночинца шестидесятых годов в его личности сказывалось нечто другое, идущее от других социальных корней, и нередко это «другое» так сильно заглушало и уродовало основные проявления его психики, что сбивало с толку наиболее зорких исследователей.

Любопытно, что в первой версии «Сельской аптеки» он попытался оправдать свой разрыв с академией рядом глубоко принципиальных причин в духе радикализма шестидесятых годов[1]. Весьма возможно, что в данном случае частично действовали и эти причины, так как парадоксальное скрещение самых разнородных влияний — наиболее выразительная черта его личности.

3

Уйдя из академии, Николай Успенский поступил вольнослушателем в Петербургский университет и продолжал заниматься писательством.

Был в то время в Петербурге бойкий еженедельный журнальчик «Сын отечества», издававшийся при ближайшем участии пре-

[1] «В клиниках академии грязь, фельдшера грубияны, студенты неразвиты, препараты спрятаны в шкафах под замком» и т. д. (См.: *Н. В. Успенский.* Рассказы. СПб., 1861, с. 315–326.)

старелого Барона Брамбеуса, который хоть и пережил свою старую славу, но вдруг перед смертью стяжал себе новую — на столбцах этого самого «Сына отечества». Журнальчик очень удачно подыгрывался к модным либеральным течениям: печатал стихи Беранже в переводе Василия Курочкина, иллюстрации к только что прогремевшим щедринским сатирам, карикатуры Степанова, основателя «Искры», и до поры до времени имел чрезвычайный успех у петербургского середняка обывателя.

Редактором «Сына отечества» был известный Старчевский, небесталанный делец-журналист, прошедший школу того же Брамбеуса. Ему-то Николай Успенский и принес свои рукописи — два рассказа «из простонародного быта». Старчевский отнесся к ним без особых восторгов — напечатал их мелким шрифтом на задворках журнального номера, не указав даже фамилии автора. Зная его систему расплаты с сотрудниками, можно не сомневаться, что за оба рассказа он дал безвестному студенту-новичку самую мизерную малость[1].

Рассказы прошли незамеченными. Публика «Сына отечества», восхищавшаяся пряностями Барона Брамбеуса, не питала, конечно, никакого пристрастия к так называемому «простонародному быту».

Поэтому свою новую рукопись («Хорошее житье») Николай Успенский попытался пристроить в «Отечественных записках» Степана Дудышкина. Но там этот рассказ был забракован, так как язык Николая Успенского показался эстету Дудышкину «слишком народным и непонятным для публики».

Обескураженный автор почти без надежды обратился в журнал «Современник», куда имели доступ лишь избранные, и, к его удивлению, там встретили его с необыкновенной горячностью. Едва Некрасов прочитал его рассказы, он тотчас же послал их в набор*, причем распорядился печатать их самым крупным шрифтом на первых страницах журнального тома. Автору был тут же назначен большой гонорар, а через несколько месяцев с ним заключили условие, чтобы он сотрудничал исключительно в одном «Современнике» и за это, кроме гонорара, ему обязались платить ежемесячно определенную сумму, вполне достаточную для безбедного существования в столице.

В то же время Некрасов обратился к ректору Петербургского университета П. А. Плетневу со следующим письмом*:

[1] См., например: *А. М. Скабичевский.* Литературные воспоминания. Под редакцией Б. Козьмина, М.—Л., 1928, с. 203; а также: *В. Каверин.* Барон Брамбеус. М., 1966, с. 197—199.

«Милостивый государь Петр Александрович.

Податель сего студент Ваш — Успенский, человек очень талантливый (автор «Очерков народного быта», помещенных в «Современнике»); средств никаких не имеет; прокормление себя литературой лишило бы его возможности учиться — итак, он желал бы взять стипендию обязательную (руб. 30 серебром в месяц). Помогите ему в этом деле, если это возможно, — этим Вы сделаете доброе дело человеку, заслуживающему его и обещающему много в будущем, и чрезвычайно обяжете меня.

Примите уверение в совершенном моем уважении и преданности.

Вашего превосходительства п[окорный] с[луга]» (X, 393).

Словом, с первых же дней обнаружилось, что здесь, в «Современнике», считают этого безусого, никому не известного автора одним из самых желанных, насущно необходимых сотрудников. И какие имена, какие люди! Некрасов, Чернышевский, Добролюбов радуются его появлению, хлопочут о его дальнейшем сотрудничестве. Добролюбов тогда же в одной из статей «Современника» предлагает Галахову напечатать в следующем издании его хрестоматии наряду с лучшими вещами Тургенева первые опыты двадцатилетнего Николая Успенского[1].

Понятны причины той высокой оценки, которая была дана в «Современнике» первым произведениям Николая Успенского: эти люди почуяли в нем *своего*.

Уже в течение нескольких лет «Современник» перестраивался в орган разночинцев революционного лагеря.

Публицистика и критика журнала были уже в руках у этих «новых людей», а соответствующей беллетристики не было — такой беллетристики, которая хоть сколько-нибудь гармонировала бы с чернышевско-добролюбовскими идеями. Беллетристику в «Современник» все еще поставляли Тургенев, Толстой, Григорович, которые, не сочувствуя новому направлению журнала, стали откалываться один за другим.

К тому времени они еще не совсем откололись, но было ясно, что это скоро случится, так как в молодом «Современнике» они чувствовали себя чужаками. А «своих» беллетристов не было.

Таким образом, Николай Успенский явился в журнал как один из первых представителей смены. Он начал печататься в «Современнике» в 1858 году, а Помяловский — лишь в 1861 году, а Слепцов — в 1862 году, а Левитов и Решетников — в 1864 году, а Глеб Успенский — в 1865 году. Вот почему в молодом «Современ-

[1] «Современник». 1860. № 4, с. 404.

нике» Николаю Успенскому был сделан такой горячий прием: явившись в этом журнале самым ранним предтечей плеяды «простонародных» писателей, он выполнил очень настойчивый заказ революционной демократии, и то, что он сказал о деревенском народе, прозвучало тогда как новое слово.

До него «Картины русского быта» помещал в «Современнике» Даль, и, естественно, на первых порах Николай Успенский был воспринят читателями как один из его учеников и последователей. И «Сын отечества», и «С.-Петербургские ведомости» так и заявили в своих отзывах о ранних рассказах Николая Успенского — «Грушке», «Поросенке», «Хорошем житье», что тут «очевидное подражание известным рассказам г. Даля»[1].

Но это мнение вскоре совершенно заглохло, так как в том-то и была новизна тогдашних очерков Николая Успенского, что ими в корне пресекалась литературная традиция Даля и что даже самая форма рассказов молодого писателя была диаметрально противоположна той форме, которую культивировал в своей беллетристике Даль.

Даль был разбитной анекдотист, любитель раритетов и курьезов и превыше всего ставил эффектную фабулу. Постылая деревенская жизнь сверкала у него в его россказнях самыми аппетитными красками, речь его была цветиста и узорчата, а сюжеты отличались такой пестрой затейливостью, что серая уездная Русь становилась у него под пером экзотичнее Мексики[2].

После очерков Николая Успенского Даль просто перестал существовать в качестве художника-изобразителя русской деревни, и казалось странным, что еще так недавно «Современник» мог печатать его у себя на страницах.

Еще сокрушительнее был удар, который творчество Николая Успенского наносило элегическим и гуманным «народолюбцам» сороковых и пятидесятых годов.

Этим и объясняется тот радушный прием, который был оказан в молодом «Современнике» первым очеркам Николая Успенского.

Так началась полоса его литературных удач. Полоса блистательная, но очень короткая: четыре года — и только. За эти четыре года он, в сущности, создал виднейшие свои произведения, имевшие в глазах современников высокую социальную значимость.

---

[1] «Сын отечества». 1858. №№ 15 и 44; «СПб. ведомости». 1858. № 140.

[2] См. в «Современнике» его рассказы: «Двухаршинный нос», «Архистратиг», «Удавлюсь, а не скажу».

И хотя он еще тридцать лет продолжал заниматься писательством и порою писал даже лучше, чем прежде, вся его позднейшая продукция надолго выпала из литературной истории.

Для литературной истории он до самого недавнего времени существовал лишь как автор «Змея», «Поросенка», «Обоза», «Хорошего житья», «Сельской аптеки» и пр. Так что имя его сохранилось главным образом благодаря самым ранним вещам, написанным до двадцатипятилетнего возраста.

То было время его наибольшей победы над влияниями «растленной» среды.

Огромную роль здесь сыграло его личное общение с Чернышевским. Руководитель «Современника» многократно беседовал с ним, чтобы направить его шаткий талант в желательное для «Современника» русло.

«Современник» переживал тогда самый бурный период своего бытия (1856—1862). Революционная атмосфера, насыщавшая журнал, не могла, конечно, не сказаться в тогдашнем творчестве молодого писателя. Недаром Чернышевский впоследствии декларировал в особой статье полную свою солидарность с высказываниями Николая Успенского, напечатанными им в «Современнике». Влияние Чернышевского на творчество Николая Успенского было до такой степени явно для современных читателей, что в полемических статьях шестидесятых годов молодого писателя называли «литературным цветочком», выросшим на журнальной почве, «возделанной г. Чернышевским с братией». Разбирая один из рассказов Николая Успенского, реакционная «Северная пчела» восклицала:

— О, «Современник»! О, г. Чернышевский![1]

Рассказы Успенского, написанные в этот четырехлетний период, воспринимались как рассказы программные, воплощавшие в себе идеологию «Современника». Как мы ниже увидим, так оно и было в действительности.

«Современник» до такой степени дорожил его творчеством, что в 1861 году решил отправить его за границу — на долгое время, чтобы он усовершенствовал свое дарование.

Некрасов надеялся, что, побывав за границей, в Италии, Швейцарии, Франции, этот многообещающий писатель расширит свои горизонты и вместо коротких отрывочных очерков напишет наконец для «Современника» большой капитальный роман, который был так нужен тогда «Современнику», — роман, отражающий в себе идеи и верования «новых людей». Читатель требовал тогда именно такого романа, каким впоследствии явил-

[1] «Северная пчела». 1862. № 67, фельетон «Наши журналы».

ся «Что делать?». Некрасов был озабочен удовлетворением этих читательских требований.

«Однажды, — рассказывает Николай Успенский в своих мемуарах, — в трескучий зимний мороз я пришел к Некрасову, чтобы передать ему один из своих очерков.

— Знаете, что я вам посоветую, Успенский, — начал Николай Алексеевич, — поезжайте за границу.

— Да на какие же средства?

— У вас есть прекрасные средства... Средства эти — ваши рассказы... Их в «Современнике» напечатано так много, что из них выйдет довольно солидный томик. Я издам их в свет, а вам дам денег на путешествие, которое для вас будет очень полезно.

Я уехал за границу, где прожил около года»[1].

Но поездка не принесла ожидаемой пользы. Плохо зная французский язык, не интересуясь иностранной политикой, не разбираясь ни в европейском искусстве, ни в европейской общественной жизни, он оказался совершенно недоступен для каких бы то ни было воспитательных влияний Европы.

В то время ему едва исполнилось двадцать четыре года. Высокого роста, красивый и стройный, он, конечно, тотчас же нарядился во все заграничное, завел себе широкополую шляпу и стал беззаботным туристом фланировать по парижским бульварам, словно чувствуя, что это — последний просвет в его жизни.

В Париже его охватила страсть к покупкам, свидетельствующая о полном неумении обращаться с деньгами — своими и чужими. Как бы вознаграждая себя за свое скудное детство, он самым легкомысленным образом накупил себе кучу игрушек — между прочим, и ту панораму, которую впоследствии показывал крестьянам на ярмарках, и ту гармонику, на которой впоследствии играл в московских кабаках и притонах.

То была счастливейшая пора его молодости. Главное: в свой талант он верил тогда очень крепко. Он верил, что все сделанное им до сих пор есть только проба пера и что теперь, вернувшись из Европы, он напишет нечто замечательное — такое, что закрепит навсегда его нынешнюю литературную славу.

«Вы не знаете, — писал он из Парижа, — какой у меня план для романа! Фу! где вам знать! Какой-нибудь Дюма написал бы тридцать частей на этот сюжет. Я боюсь только, или силы мне изменят физические, или леность будет преодолевать»[2].

---

[1] *Н. В. Успенский.* Из прошлого. М., 1889, с. 6–8.

[2] Письмо к К. К. Случевскому (июль 1861 г.). Письма Николая Успенского к этому адресату хранятся в Рукописном отделении Исторического музея.

Некрасов, продолжая верить в его литературное будущее, не скупясь посылал ему деньги, чтобы он со свежими силами принялся наконец за этот долгожданный роман.

В Париже Николай Успенский неоднократно встречался с Тургеневым, который как раз в то время писал «Отцов и детей». Можно себе представить, с какой жадностью набросился Тургенев на приехавшего в Париж «нигилиста». Ведь в Париже Тургеневу приходилось узнавать о нигилистах лишь из русских газет и журналов. Оторванность от той среды, которую он хотел описать, не могла не тормозить его творчества. И вот именно тогда, когда работа над романом была в самом разгаре, судьба послала ему за границу настоящего, живого «нигилиста». Как он использовал эту добычу, мы можем отчасти видеть из его письма к Анненкову:

«На днях здесь проехал человеконенавидец Успенский Николай и обедал у меня. И он счел долгом бранить Пушкина, уверяя, что Пушкин во всех своих стихотворениях только и делал, что кричал: «на бой, на бой, за святую Русь»... Мне почему-то кажется, что он с ума сойдет»[1].

Считая отзыв «человеконенавидца» о Пушкине характерным для «новых людей», Тургенев, как известно, использовал этот отзыв в романе* и вложил его в уста своего нигилиста Базарова.

В Риме Николай Успенский встретился с Василием Боткиным, который в качестве знатока и ценителя античной культуры сделал было попытку заразить его своими восторгами перед сокровищами римского искусства. Попытка оказалась безуспешной: Успенский, как истый плебей, неучтиво ответил, что Рим кажется ему весьма неприятным, так как это город, «задыхающийся от лишений и бедности», и что никакие шедевры искусства не могут заслонить от него ни тощих лиц, ни дырявых сапог.

Боткин, миллионер и эстет, очень обиделся за римские древности[2].

4

Из этого столкновения с Боткиным, равно как и из вышеприведенных слов Тургенева видно, каких крайних воззрений держался в то время Успенский. В то время он противопоставлял

---

[1] *И. С. Тургенев*. Письма: В 13 т. Т. 4, М. –Л., 1962, с. 182.

[2] Через пятнадцать лет после поездки за границу Ник. Успенский опубликовал свои путевые заметки — очень поверхностные, клочковатые, но проникнутые глубокой симпатией к простому народу. («Заграничные письма» в «Ремесленной газете». 1876. №№ 1, 2, 3—4.)

свои взгляды и вкусы ненавистной ему идеологии дворян и, явившись за границу к постепеновцам либерального лагеря, которые еще вчера составляли крепко сплоченное ядро «Современника», всячески эпатировал их своим «нигилизмом». «Нигилизм» его выражался не только в отрицательном отношении к эстетике. Существует драгоценный документ, почему-то пренебреженный исследователями, — письмо Николая Успенского к молодому поэту Константину Случевскому от 24 июня 1861 года, где он описывает свою полемику с Василием Боткиным по поводу только что провозглашенного «освобождения крестьян».

В то время как всякий либерал шестидесятых годов «захлебывался, — по выражению Ленина, — либерализмом правительства и восторгался эрой прогресса»[1], Николай Успенский с самого начала отнесся к ней с величайшим презрением, ибо, вслед за Чернышевским, уже тогда понимал, что этот хваленый «прогресс» ведет к новому разорению и закабалению крестьян.

Когда Герцен, разочаровавшись в Александре II, заявил на страницах «Колокола», что «народ правительством обманут», Успенский написал своему другу:

«Я давно предчувствовал это, поэтому и не интересовался манифестом и не читал новых положений. — Но находятся же такие пакостные люди, как, например, Боткин, которые стоят за (царя. — *К. Ч.*) Александра Николаевича. Боткин, когда я сказал... что манифест русский — вероятно вздор и что я не верю в освобождение, он меня принялся ругать заскорузлым невежей (я у него спросил, не болит ли у него желудок, — он сказал, что точно, пищеварение трудно совершается), потом сказал: «Новые положения, недавно объявленные правительством, превосходны, и пусть ваш мужик околеет — если не воспользуется этими положениями»; наконец он заключил: «Я недавно говорил Герцену про (царя. — *К. Ч.*) А[лександра] Никол[аевича]: не ругай ты его, пожалуйста!» — Да, как Герцену, так и Боткину пора-пора прочитать отходную, а то просто спеть вечную память! Знаете, что теперь Герцен пишет: «Мозг разлагается, кровь стынет в жилах при рассказах о ужасах, совершаемых в России!» — Это говорит тот, кто до сей поры все изливал свою веру и надежду на Александра Н[иколаевича]. Да! По всей вероятности — у этих людей — мозг уже разлагается... а у Боткина — первого, это я знаю верно»[2].

Таким образом Николай Успенский демонстрировал свою близость к основным идеям Чернышевского.

---

[1] *В. И. Ленин.* Полн. собр. соч. 1946. Т. 5, с. 30.

[2] Цитирую по подлиннику. Копия, воспроизведенная в «Щукинском сборнике», значительно расходится с ним.

Эта близость сказалась и во многих тогдашних писаниях Николая Успенского.

Его «Сельская аптека» каждым своим эпизодом посрамляла гуманные попытки либеральных помещиков облегчить тяготы крестьянского быта, при сохранении в незыблемом виде крепостнических устоев деревни. А в его «Деревенском театре» было дано очень злое разоблачение тех потаенных пружин, которые движут гуманными барами, вносящими в деревню просвещение.

Вообще Николаю Успенскому не раз приходилось высказываться против гуманных реформ, вводимых в деревню либеральным правительством.

Когда впоследствии, по рекомендации Андрея Краевского, министр народного просвещения А. В. Головнин, красовавшийся своим либерализмом, поручил ему, как знатоку деревенского быта, объехать несколько уездов Московской, Тульской и Орловской губерний и дать ему отчет о состоянии школьного дела с указанием тех мероприятий, которые могли бы способствовать поднятию просвещения в вышеперечисленных местностях, он представил министру такую записку, что тот счел ее за личное себе оскорбление.

— Кого вы мне рекомендовали! — кричал он Андрею Краевскому.

В этой записке без обиняков говорилось, что крестьяне, разоренные реформами Александра II, так убоги и голодны, что надо раньше всего в корне перестроить их быт, а уж потом хлопотать о каких бы то ни было школах.

«Напрасно полагают, что можно просвещать мужиков, у которых желудок набит лебедой и мякиной. Сперва надо накормить человека, а уж потом ему и книжку подкладывать»[1].

Не мудрено, что министр был крайне уязвлен такой дерзостью.

— Помилуйте, этот человек говорит, что я совсем не нужен для России!

Но в то время как у *новых людей* людей, идеологию которых воплощал «Современник», неприятие крестьянскими массами «великих реформ» было предпосылкой для революционной работы, — у Николая Успенского это неприятие было самоцельным. Нигде в его тогдашних писаниях нет и в намеке тех затаенных на-

[1] Тезисы того отчета, который был представлен Николаем Успенским министру народного просвещения А. В. Головнину, легли в основу «Записок сельского хозяина», напечатанных во втором томе его сочинений (1883). См. также 9-ю главу повести «Издалека и вблизи». Об этом отчете см. «Исторический вестник». 1905. № 12, с. 492—493.

дежд на близость и возможность революции, которые у публицистов «Современника» сочетались с ненавистью к либеральным реформам шестидесятых годов.

Это создавало непроходимую пропасть между Николаем Успенским и его вдохновителями. Чернышевскому были ненавистны филантропические фиоритуры правительства, так как они отдаляли тот крах тогдашней государственной системы, в котором он видел единственное подлинное «раскрепощение России». Ненависть же Николая Успенского была слепая, стихийная, без всяких перспектив и надежд. Уровень его общественного сознания был до такой степени низок, что он ни разу даже не сделал попытки хоть отчасти осмыслить политическую программу журнала, сотрудником которого он состоял в такой ответственный и грозный период.

Оттого-то, как мы ниже увидим, он так легко оторвался впоследствии от революционных демократов и сразу перешел к либералам.

Когда Чернышевский воспользовался его ранними очерками для определения готовности русских крестьян к революции*, он внес в их истолкование свою собственную концепцию роли крестьянства на ближайшем этапе революционной истории. К подобным концепциям Успенский, по всей видимости, был вполне равнодушен, иначе он не ушел бы тотчас после этой статьи в лагерь политических врагов Чернышевского.

Таким образом, у нас нет никаких оснований видеть в нем последовательного революционного демократа шестидесятых годов. Он был попутчик революционных демократов — и только. Нельзя характеризовать человека двумя-тремя отрывками из его переписки, а если взять, например, всю совокупность тогдашних писем Николая Успенского из Женевы, Парижа и Рима, станет ясно, что наряду с его плебейскою ненавистью к либералам-реформистам и барам-эстетам, сближавшей его с Чернышевским, ему в то время были свойственны и другие эмоции, чрезвычайно далекие от этой демократической линии. В них явно сказалось наследие «растленного» быта, от которого даже теперь он был бессилен отречься вполне.

Вот несколько типичных отрывков из его тогдашней переписки с поэтом Случевским:

«...Париж великолепен!.. Я влюблен в Париж!.. Цирк здесь отличный, — гризетки все в свеженьких юпочках...» «...В Париже вам одна снежной белизны юпочка швейки много скажет...» «...В Париже надо непременно обзавестись девочкой... да хорошенькой, а это здесь так легко... нигде в свете вы не найдете ничего подобного...» «...Гризетки ходят как мокрые куры... я иногда

примусь бегать за какой-нибудь, да и брошу, — черт возьми совсем...» «...На днях я здесь видел одну!.. невероятно хороша!.. и я попробую счастья...»

И так далее, и так далее, и так далее.

5

Зато в своем творчестве, относящемся к тому же периоду, он преодолел свою «растленность» почти до конца. Революционная ситуация шестидесятых годов парализовала в его тогдашней писательской деятельности низменное влияние той обстановки, где он родился и вырос, и дала широкий простор влияниям другого порядка, идущим от крестьянской демократии, с которой, как мы только что видели, он был связан еще с самого детства.

В первом же своем произведении, которое было помещено в «Современнике», он заявил себя идеологом крестьянских низов. Классовое расслоение деревни, еле намечавшееся в пятидесятых годах, было для него очевиднейшим фактом, и он уже тогда указал, что всерастущая власть кулака обрекает «на поток и разорение» трудовое крестьянство («Хорошее житье»).

Именно поэтому он даже в самый разгар «эпохи великих реформ» не дал себя затуманить гуманистическими лозунгами либерального лагеря и решительно отверг то «культурничество», которое во многих оппозиционных кругах считалось тогда панацеей от всех крепостнических зол. Его издевательский рассказ о деревенской аптеке, устроенной филантропом-помещиком для блага своих крестьян, вполне определяет его отношение к культурничеству. Здесь он показывает на конкретном примере, что в условиях рабьего быта всякие филантропические меры, направленные на поднятие благосостояния крестьян, не только не дают желанных результатов, но неминуемо ложатся на этих крестьян новым бременем обид и унижений («Сельская аптека»).

Ненависть к либеральным попыткам улучшить положение крестьян, столь тесно связанная с чернышевско-добролюбовской линией, — проходит через все писания Николая Успенского, относящиеся к этому периоду. В очерке «На пути» он показывает, какова подлинная сущность того «просвещения», которым, при полном сочувствии либеральных радетелей, командующие классы питают крестьян. Один приводимый им перечень книг, составляющих школьную библиотеку деревенских ребят, обнаруживает подлинную цель этих сеятелей «разумного, доброго, вечного».

Вот какое чтение предлагалось учащимся:

«О том, как горек плод непослушания». — «Наказанное ослушание». — «Сила повиновения». — «Коль велик есть подвиг — послушание».

И для вящего внедрения христианской покорности — псалтыри, катехизисы, часословы, октоихи.

Вот почему для Николая Успенского, как потом для Слепцова, слово *школа* звучало *шкура*. Он ясно видел шкурную заинтересованность всех этих апостолов знания и, таким образом, в области либеральных идей не обольщал себя никакими надеждами.

Точно так же он не обольщался иллюзией, созданной позднее народниками. Те, как известно, верили в чудотворную крестьянскую общину. Верили, что общинный уклад, издавна существующий в русской деревне, выработал в общинном крестьянине особый коммунистический дух, который с течением времени приведет его к социализму. Николай Успенский еще в пятидесятых годах, еще в самых ранних своих рассказах обнаружил всю беспочвенность этой иллюзии. Надеяться на общину безумно,— доказывал он в своем «Хорошем житье», — потому что община не только не спасает беднейших крестьян от окончательного разорения и гибели, но, напротив, способствует их обнищанию.

В «Хорошем житье» община отнимает у крестьянина последнюю соху только за то, что в день, назначенный ею для поголовного пьянства, он выехал в поле и попытался пахать. В том же очерке Николай Успенский показывает, как община, подкупленная водкой, избавляет от рекрутчины вора и сдает в солдаты одного из лучших крестьян, разрушая тем его семью.

В другом, более позднем рассказе он изображает в качестве самого заурядного случая, как целая деревня — тоже «миром» — убивает тринадцатилетнего мальчишку за то, что тот нечаянно поджег село и тем нанес общинному хозяйству ущерб («Так на роду написано»).

Словом, во всем, что касается общины, крестьянская жизнь в рассказах Успенского могла показаться вполне безнадежной. Всякая мысль о каком бы то ни было улучшении этого быта воспринималась его персонажами как сумасшедшая утопия. В этом быту можно мечтать лишь о кладбище:

«То-то придет время, все помрем! — утешает себя изображаемая им беднота. — Вот уж где будет свобода-то! Никаких забот! Лежи себе, ровно барин!»

Сравняться с барином здесь, на земле, — об этом они не смеют и думать, раньше всего потому, что, по ощущению Николая Ус-

пенского, мыслительная способность у них почти совершенно отсутствует.

Ни у какого другого писателя взлелеянное рабством «простофильство» крестьян не выведено так рельефно и ярко. Скудоумием у него охвачены целые деревни и села. Оно до такой степени поражает писателя своей грандиозностью, что, пытаясь воспроизвести его, он теряет всякое чувство пропорций, и свойственный ему реализм покидает его. Тут-то и начинается то «балаганство», которое, — мы видели, — было с детства присуще ему.

Отсюда его прославленный «Змей», где в течение целого месяца целая деревня все ночи караулит придурковатую девку Апроську, опасаясь, как бы ее не похитил дракон-огородник, который тайно пробирается к ней и по-водевильному дурачит их всех, выдавая себя за кровожадного змея.

«— А что, касатка, говорят, змей-то шестиглавый?

— Шестиглавый.

— Вот небось примется сосать ее... всеми глава́ми?»

Такое же стадо глупцов в рассказе «Деревенская газета» и такое же — в рассказе «Обоз», где человек десять бьются три часа и не могут, по крайнему своему слабоумию, сосчитать, сколько они должны за ночлег.

«Примерно, ты будешь двугривенный, а я четвертак...

— Пять да восемь... восемь... восемь... с одного конца счел, с другого забыл».

Любопытно, что такой отрыв от реальной действительности сказывается у Николая Успенского только в этих нескольких очерках, демонстрирующих убожество крестьянского разума.

Своим «Обозом» и «Змеем» он явственно обнаружил перед тогдашним читателем, что не питает ни малейших надежд на то, что крестьяне уразумеют причины своей погибельной жизни и додумаются до их устранения. Такое неверие в разум народа влекло за собой самые мрачные выводы.

В своей «Юрской формации» он весьма пренебрежительно отзывался о тех публицистах, которые пророчили народу какую-то «великую будущность» и напыщенно заявляли в газетах, будто «атлетический облик будущего богатыря рисуется бойким эскизом на темном грунте тысячелетней подмалевки». Все это для Николая Успенского было фальшь и бессмыслица.

«От теперешних крестьян, — пишет он в одной из позднейших статей, — ждать нечего: не воскреснуть им: больной умрет, это ясно»[1].

[1] «Записки сельского хозяина».

6

В 1861 году «Рассказы» Николая Успенского вышли отдельным изданием в виде двух маленьких томиков. Тогдашние журналы и газеты хором ополчились на них, обвиняя молодого писателя в циническом отношении к народу, в оплевывании народных идеалов и верований. Именно с этого времени и начались нападки на мнимое равнодушие Николая Успенского к тем уродствам и тяготам крестьянского быта, которые так часто изображаются им.

«У него много той бесцельной наблюдательности, которая безразлично направляется на каждый подвернувшийся под руку предмет», — говорил в «Отечественных записках» С. С. Дудышкин[1].

«Он цепляется за все ненужности и даже не заботится хоть сколько-нибудь связать эти ненужности с делом», — говорил Ф. М. Достоевский во «Времени»[2].

«Безразличие юмора... составляет принадлежность таланта у г. Успенского», — говорил несколько позже П. В. Анненков в газете «С.-Петербургские ведомости» и указывал, что во всем его творчестве «нет серьезной мысли в основании»[3].

«Равнодушие, индифферентизм мысли, умственная лень», — так характеризовал главные особенности его дарования Эдельсон в «Библиотеке для чтения»[4].

Радикальные критики придерживались того же взгляда. Всеволод Крестовский, бывший в то время одним из эпигонов Д. И. Писарева, отмечал ту же безыдейность его творчества:

«Он весьма хороший фотографщик; он страдает холодным и бесстрастным отношением к тому миру, который фотографирует в своих очерках; он не всегда отделяет сознательное страдание от пассивно-пошлой забитости, он не умеет отличить глубоко раздирающего крика бедняка от уличного крика пьяницы»[5].

Словом, и либералы, и радикалы, и славянофилы, и «почвенники» с редким единодушием отметили в нем эту черту.

Я нарочно привожу здесь отзывы, относящиеся к разным периодам шестидесятых годов, чтобы показать, как устойчиво было в тогдашней печати общее мнение об индифферентизме и безыдейности Николая Успенского. Даже в наиболее хвалебных рецензиях его изображали «бездушным талантом», умеющим только смеяться над забитостью и нуждою крестьян.

---

[1] «Отечественные записки». 1861. № 11.
[2] «Время». 1861. № 12.
[3] «С.-Петербургские ведомости». 1863. № 11.
[4] «Библиотека для чтения». 1864. № 3.
[5] «Русское слово». 1862. № 1.

Единственный критик, не разделявший этого общего мнения, был Чернышевский.

Едва только появились рассказы Николая Успенского, Чернышевский написал о них большую статью «Не начало ли перемены?», в которой — наперекор всем критикам из враждебного стана — приветствовал произведения этого якобы «индифферентного», «безыдейного», «бездушного» автора как живое свидетельство близости революционного взрыва в деревне, причем это свидетельство Чернышевский усматривал даже в тех очерках Николая Успенского, где, казалось бы, неверие в революционную боеспособность крестьянства выразилось сильнее всего.

Эти очерки — «Обоз» и «Проезжий». Казалось бы, какая уж тут революция, если, судя по «Проезжему», русские деревенские люди даже рады побоям, которые наносятся им ни с того ни с сего, — лишь бы в награду за эти побои им выдали денег на водку. Ни обиды, ни ропота. Рабы, навсегда закосневшие в рабстве. И — судя по «Обозу» — не способные ни к какому мышлению. Эти мрачные рассказы Николая Успенского, которые всякого другого привели бы в отчаяние, Чернышевским были использованы для самых оптимистических выводов. Надо было так пламенно верить в неизбежность надвигавшейся на страну революции, как верил Чернышевский в 1861 году, чтобы увидеть в этих печальных рассказах предвестие великого будущего.

Впрочем, Чернышевский и сам соглашается, что «Проезжий» не дает материала для революционных надежд, и потому вносит в этот рассказ от себя целый ряд таких черт, которые в рассказе отсутствуют. «Неужели вы думаете, — спрашивает он в своей статье, как бы *возражая* Николаю Успенскому, — что побитые ямщики в самом деле не чувствуют ни боли, ни озлобления?[1]» И доказывает, что под видимой покорностью масс таится протест и бунтарская ненависть. Но в самом-то рассказе на эту бунтарскую ненависть нет и намека, там нет ни единой строки, которая свидетельствовала бы о малейшем протесте хотя бы одного из побитых.

Что касается «Обоза», то и в него Чернышевский внес свой собственный революционный порыв. Ни одного такого слова не сказано в этом «Обозе», которое хоть отдаленно намекало бы, что умственная темнота изображаемых в нем деревенских людей может быть преодолена в самом непродолжительном времени и что, чуть только удастся ее побороть, они немедленно вступят на путь революции. Но недаром Чернышевский был, по выражению Ленина, полон «настоящей любви к родине, любви, тоскующей

[1] *Н. Г. Чернышевский.* Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1950, с. 865.

вследствие отсутствия революционности в массах...»[1]. Из того, что Успенский в рассказе-гротеске вывел целую ораву невежественных и скудоумных людей, Чернышевский сделал вывод, что Успенский обличает народную тьму, дабы читателю стало понятно, отчего крестьянин не готов к революции и каков тот единственный путь, которым передовые разночинцы должны привести к революции косные и невежественные народные массы.

Все темные стороны тогдашнего крестьянского быта объяснялись для Чернышевского именно тем, что народ, по своему «простофильству», до сих пор еще не поднял восстания. Для того чтобы провозгласить эту мысль в легальном подцензурном журнале, Чернышевский с тончайшим искусством воспользовался эзоповой речью. В эту статью необходимо вчитаться возможно внимательнее, так как во всей обширной литературе о Николае Успенском она и до настоящего времени занимает центральное место. Она была величайшим событием во всей литературной биографии Николая Успенского. Он с гордостью вспоминал о ней до конца своей жизни.

Пресловутый «индифферентизм» молодого писателя не оттолкнул Чернышевского от его деревенских рассказов. Напротив: именно то обстоятельство, что Николай Успенский не питает к угнетенным крестьянам гуманно-снисходительной жалости, которой все время щеголяли дворянские авторы, Чернышевский воспринял как верный симптом возросшего *уважения* к народу. Значит, народ уже не раб, осужденный на бессрочную каторгу, если писатели перестают сентиментально сокрушаться о нем и оплакивать его горькую участь. Значит, дело его не так безнадежно, если, говоря о нем, передовая литература начинает «выставлять на всенародные очи» все его пороки и слабости и даже высмеивать их. Над рабами не смеются, их жалеют. Уже то, что Николай Успенский беспощадно обличает крестьян, является самым верным свидетельством той исторической *перемены*, которая происходит в крестьянстве. Об этом-то новом этапе народной жизни и говорит Чернышевский в самом заглавии статьи «Не начало ли перемены?»[2].

До сих пор, напоминает Чернышевский, «писали о народе точно так, как написал Гоголь об Акакии Акакиевиче. Ни одного слова жесткого или порицающего. Все недостатки прячутся, затушевываются, замазываются. Налегается только на то, что он не-

[1] *В. И. Ленин.* Полн. собр. соч. М.: Политиздат, 1949. Т. 26, с. 107.

[2] Первоначальное заглавие статьи, частично сохранившейся в рукописи — «Чего ждать?». ЦГАЛИ. Рукой М. А. Воронова с авторской правкой. Ф. 1, оп. 1, ед. хр. 205.

счастен, несчастен, несчастен... Какие ничтожные пособия (то есть умеренно-либеральные реформы. — *К. Ч.*) были бы достаточны, чтобы удовлетворить и осчастливить это забитое существо... Читайте повести из народного быта г. Григоровича и г. Тургенева со всеми их подражателями — все это насквозь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича»[1].

Таким образом, из рассказов Тургенева и Григоровича можно было, по словам Чернышевского, сделать тот вывод, что нужно лишь «гуманизировать» существующий строй, слегка облагородить его добросердечной жалостью к Антонам Горемыкам и с помощью таких «ничтожных пособий» обеспечить самодержавной России благоденствие и мирный прогресс.

Николай Успенский, говорится в статье, совершенно порвал с этой либеральной традицией. «Мы заметили радикальную разницу между характером рассказов о простонародном быте у г. Успенского и у его предшественников. Те идеализировали мужицкий быт, изображали нам простолюдинов такими благородными, возвышенными, добродетельными, кроткими и умными, терпеливыми и энергическими, что оставалось только умиляться над описаниями их интересных достоинств и проливать нежные слезы о неприятностях, которым подвергались иногда такие милые существа, и подвергались всегда без всякой вины или даже причины в самих себе»[2].

Поэтому Чернышевский считает, что «очерки г. Успенского — очень хороший признак... решимость г. Успенского описывать народ в столь мало лестном для народа духе свидетельствует о значительной перемене в обстоятельствах, о большой разности нынешних времен от недавней поры, когда ни у кого не поднялась бы рука изобличать народ»[3].

Не забудем, что Чернышевский писал свою статью о Николае Успенском в период наивысшего подъема революционной волны шестидесятых годов, когда народ заявил о себе большим количеством стихийных восстаний против «благодетельной» крестьянской реформы и когда многим, даже самым трезвым умам казалось, что революционная ситуация силой вещей неминуемо перерастает в революцию. Потому-то Чернышевского так радовало то обстоятельство, что вопрос о сострадании к народу отодвинут историей в прошлое и выдвинут новый вопрос: каковы же те особенности крестьянского быта, которые мешают народу восстать против своих угнетателей? Пусть в очерках Николая Успенского

[1] *Н. Г. Чернышевский.* Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1950, с. 859.
[2] Там же, с. 883–884.
[3] Там же, с. 884.

народ чудовищно забит и невежествен, одурманен пьянством и безысходной нуждой, пусть на каждом шагу в его жизни «вздор, грязь, мелочность и тупость» — это, по словам Чернышевского, не может обескуражить революционных борцов, ибо все названные пороки народа вполне устранимы, нужно только «умело взяться» за их устранение. Народ болен, но вылечить его значительно легче теперь, когда поставлен правильный диагноз болезни и указано целебное лекарство. Это лекарство наверняка приведет к излечению. Оно чудодейственно поможет больному преодолеть свою косность, освободит его от суеверий, пьянства, нищеты и невежества, которое изображает в своих деревенских рассказах и очерках безбоязненно правдивый писатель...

Что же касается «простофильства», которое так часто демонстрируется в рассказах Николая Успенского, оно не кажется Чернышевскому непреодолимым препятствием на пути к революционному освобождению народа. В решительные мгновения своей исторической жизни народ сбрасывает с себя всякую «апатию», «тупость и вялость» — и безоглядно бросается в бой за свободу. На своем эзоповском наречии Чернышевский выражает эту мысль такими словами: «Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого народа»[1].

В статье разбросаны внятные намеки на то, что зарубежные крестьянские массы, успешно совершившие ряд революций, — тоже не отличались «быстротой понимания». Чернышевский вполне соглашается с Николаем Успенским, что «его ум (русского мужика. — *К. Ч.*) слишком неповоротлив, рутина засела в его мысль так крепко, что не дает никуда двинуться, — это так; но какой же мужик превосходит нашего быстротою понимания?»[2].

Чернышевский в своей статье несколько раз предостерегает читателя против «гуртового», «оптового» суждения о русском крестьянстве, намекая, что, кроме тех «дюжинных», «бесцветных», «безличных» «лишенных инициативы» крестьян, которых изображает в своих рассказах молодой беллетрист, — есть в крестьянской массе и другие люди, противоположного душевного склада — с сильной волей, с ярко выраженной индивидуальностью, готовые внести в народную жизнь «инициативу» (то есть на подцензурном языке: повести за собой этих серых и косных людей на борьбу с ненавистным строем).

[1] *Н. Г. Чернышевский*. Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1950, с. 877.
[2] Там же, с. 875.

Главная задача статьи Чернышевского: внушить читателю оптимистическую мысль, что «забитость» выведенных Николаем Успенским крестьян нисколько не помешает тому, чтобы в ближайший же срок русская деревня вступила на путь революции и пришла бы к победе.

Эту светлую надежду Чернышевский подкрепляет историческими ссылками на опыт других революций:

«Французские поселяне, — пишет он, — могут быть характеризованы почти теми же чертами, как наши или всякие другие; а разве не было во французской истории эпох, когда они действовали очень энергически? То же случилось и с немецкими поселянами» (намек на французскую революцию конца XVIII века и на немецкую революцию 1848—1849 гг.)[1].

Для того чтобы такая эзопова речь стала для читателей еще более ясной, Чернышевский сравнивает русский народ, изображенный Николаем Успенским, со смирной и кроткой лошадью:

«Ездит, ездит лошадь смирно и благоразумно — и вдруг встанет на дыбы или заржет и понесет... Будет ли какой-нибудь прок из такой выходки, или принесет она только вред, это зависит от того, даст ли ей направление искусная и сильная рука»[2].

То есть иными словами: пусть народ действительно так забит и смиренно-покорен, как это изображено у Николая Успенского, отсюда отнюдь не следует, что революция в ближайшее время немыслима. Ее успех, как мы видим, Чернышевский ставил в прямую зависимость от того, «даст ли ей направление искусная и сильная рука» вставшего во главе этой массы вождя.

Подобных мыслей никогда не могла бы внушить дворянская литература о народе. Чернышевский прозорливо поставил в заглавии статьи слово «начало». Действительно, рассказами Николая Успенского в русской литературе наметился новый, чрезвычайно важный период. В лице молодого автора Чернышевский приветствовал предтечу и родоначальника будущей демократической плеяды писателей, по-новому освещающих крестьянскую жизнь. Плеяда эта не замедлила вскоре возникнуть: Глеб Успенский, Якушкин, Решетников, Левитов, Помяловский, Слепцов и др. были как бы предсказаны статьей Чернышевского. Все они, при всех своих индивидуальных различиях, ощущались тогдашним читателем как единая литературная группа.

Николай Успенский оказался и здесь самым ранним представителем своего поколения.

---

[1] *Н. Г. Чернышевский.* Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1950, с. 877.

[2] Там же, с. 881—882.

7

В самом деле, контраст между Тургеневым и Николаем Успенским разительный. Хотя оба они — земляки и наблюдали крестьянство в одних и тех же тульско-орловских местах, их наблюдения были так несхожи, словно они описывали совершенно различные страны, разделенные между собой океанами. Недаром критика на первых порах заявила, что Николай Успенский явился Колумбом новой, неизвестной Америки.

Раньше всего у Тургенева, в сельских местностях, изображаемых «Записками охотника», нет и в помине той лютой нужды, которая свирепствует в книгах Николая Успенского. Тут она, как воздух, заполняет собою все щели. Ее даже не замечают, с ней не борются, потому что она — естественный фон, на котором происходят все события. Это — безнадежная, изматывающая душу, тягучая бедность, которую по-настоящему мог описать лишь испытавший ее на собственной шкуре. Вздорожание селедки на две копейки — для его героев катастрофа, а объеденные тараканами крендели — самое пышное лакомство. Шесть с половиной целковых годового дохода — в их быту самая обыкновенная норма, а если их школьники не являются в школу, то потому, что собирают под окнами милостыню.

Люди в этих очерках постоянно стремятся к еде. Кажется, до Николая Успенского ни у какого самого гуманного автора еда не являлась таким могучим рычагом человеческих жизней. Только для его персонажей голод — не исключение, а правило, только у него целые сословия людей характеризуются потребляемой ими едой.

«— Ведь подумаешь, братец мой, праздник-то; оттого-то он дорог, что еда прекрасная... А уж как у этих попов жрут сладко!

— Ну, у приказчиков лучше. У тех еда царская... в десять раз лучше поповской... Одно слово, трескотня здоровая!

— Что им? Народ пшеничный!»

В рассказах и романах из народного быта, написанных до Николая Успенского, крестьяне если и пьянствовали, то истово и даже картинно, либо на радостях, либо от горя, а у него сосчитайте, сколько ведер сивухи выпито просто так, беспричинно в одном только рассказе «Хорошее житье», где все население деревни «как пойдет пьянствовать — держись, шапка! оттыкай бочки! Жену готов пропить со всею утварью!»

Этого сивушного моря, заливавшего Антонов Горемык, не видели томные господские очи, жаждавшие сладких иллюзий о кротком и благообразном народе. Только тот, кто заодно с мужи-

ками и сам утопал в этом море, мог выдвинуть в своих очерках на такое видное место кабак.

Самая литературная манера Николая Успенского была во многих отношениях антитургеневской.

Читатель шестидесятых годов не мог не почувствовать в «Записках охотника» некоего отпечатка изысканности. Недаром в одном из своих очерков этот охотник советует не выезжать на охоту без фрака! Фрак действительно ощущается у него на многих страницах. Читателей-разночинцев не могли не коробить такие, например, обороты тургеневской речи:

«Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей».

«Позвольте, любезный читатель, познакомить вас с этим господином».

Иногда в своих «Записках охотника» Тургенев доходил чуть не до стихотворного ритма:

Дайте мне руку, любезный читатель,
И поедемте со мной.
Погода прекрасная, кротко сияет
Майское небо...

Это не могло не отчуждать от Тургенева демократическую молодежь шестидесятых годов. Один из типичных представителей той молодежи, Илья Ефимович Репин, повествует в своих мемуарах о тех временах, когда он писал «Бурлаков» и жил со своими сверстниками на Волге.

«Нашелся Тургенев. Вот, думали, где душу отведем, — увы! От книги пошел приторный флердоранж... Романтизм совсем не в нашем духе. Нам показалось всё это сентиментальностью, и претила эта праздная помещичья среда»[1].

Нынешние читатели не согласятся с таким приговором. Для нас Тургенев один из великих основоположников реалистического романа в России, но суждение Репина вполне объяснимо в обстановке шестидесятых годов. Именно отсутствие «флердоранжа», дворянских «сантиментов» и ужимок привлекло к первым рассказам Николая Успенского сочувствие тогдашней демократии. Юный писатель в своих рассказах совершенно отрекся от длинных и затейливых «приступов» к основному сюжету, которые культивировались беллетристами сороковых — пятидесятых годов. Он прямо начинал свои рассказы так:

«Жив еще старичок-то — мой тятенька».

Или:

«Был сентябрь в исходе; вечерело; шел дождик».

[1] *И. Е. Репин.* Далекое близкое. М., 1964, с. 276.

И уже одно это отсутствие всяких ужимок делало его своим человеком для той новой породы читателей, которая возникла в шестидесятых годах.

Другая типичная особенность его «Очерков народного быта» заключалась в том, что он нигде никогда не выставлял напоказ своих чувств. Он до такой степени изгонял из своих произведений всякое подобие лирики, что, когда однажды, описывая грустные события, вставил в очерк два слова о своей гнетущей тоске, — в следующем издании очерка он поспешил вычеркнуть эти два слова, как бы совестясь автопризнаний[1].

Тургенев и здесь был антиподом Успенского: постоянно сообщал он читателям свои личные мысли и чувства по поводу изображаемых событий.

«Сладко стеснилась грудь», — говорил он в одном рассказе.

«Жалость несказанная стиснула мне сердце», — говорил он в другом.

И в третьем:

«Образ бедной Акулины долго не выходил из моей головы, а васильки ее, давно увядшие, до сих пор хранятся у меня».

Вся эта лирика в рассказах Успенского была упразднена.

И, конечно, Николай Успенский не был бы писателем шестидесятых годов, если бы в его очерках появилась хоть одна «красивая» строка, относящаяся к описаниям природы, которыми так щеголяли беллетристы тургеневской школы. Успенский, в полном согласии с разночинной эстетикой, изгнал из своих очерков всю пейзажную живопись, и в них ни слова не найдешь ни о «невинной небесной лазури», ни о «спокойной сияющей бездне», ни о «лучистых алмазах росы», ибо и здесь Николай Успенский проявил то пренебрежение ко всякой красивости, которое было свойственно всей плеяде беллетристов шестидесятых годов.

Не забудем, что он был предтечею этих писателей, что все они пришли после него, и что, значит, те «антитургеневские» формы, которые он установил в литературе в конце пятидесятых годов, не навязаны ему со стороны, а органически спаяны с его биографией.

8

Поздним летом 1861 года Николай Успенский вернулся из Парижа в свою тульскую глушь.

Земляки смотрели на него как на чудо и приходили в его избу издалека послушать о парижских диковинах. Вначале он хотел

[1] Сравните его «Сельскую аптеку» в издании 1861 и 1864 гг.

было остаться в деревне на целую зиму, — должно быть для того, чтобы засесть наконец за свой многотомный роман, но не усидел и через месяц был в Питере. Там только что вышла его первая книга, журналы много шумели о ней. «Неожиданный успех в литературном мире, к сожалению, очевидно кружил ему голову», — вспоминал впоследствии Яков Полонский[1]. Та звериная среда, где он вырос, ценила личную удачу превыше всего и, кроме карьерных стремлений, не воспитывала никаких других... Мудрено ли, что он возгордился и потерял равновесие. «Благодаря Бога талантом я не обижен! — говорил он Мартьянову через несколько лет. — Что будет дальше, не знаю, а теперь пока всем этим моим антагонистам я стану костью в горле. Никому ни в чем не уступлю. Ни на столько!» Антагонистами называл он своих же собратьев, разночинных писателей. У него до такой степени не было чувства коллегиальности, что даже в своих ближайших товарищах он видел только соперников, которых ему надобно одолеть. «Он, — продолжает Мартьянов, — относился к своим литературным коллегам свысока и пренебрежительно. Сашка Левитов, Васька Слепцов, Николашка Помяловский. Все это, по его словам, была мелочь, мошка, мразь»[2].

«Мой рассказ «Обоз» стяжал мне великую славу знатока народного быта», — заявлял он впоследствии в книжке своих мемуаров и тут же без стеснения сообщал, кому из великих писателей его очерки казались «прелестными», кому «чудесными», а кому «бесподобными»[3].

Опьяненный этими хвалами, он так высоко возомнил о себе, что стал требовать невероятных гонораров и, придя однажды в «Современник», предъявил Некрасову претензии на какие-то тысячи, которых тот будто бы не додал ему, издавая его первые рассказы. «Он дорого ценил свои летучие произведения», — говорит по этому поводу Яков Полонский.

В те времена — и даже несколько позже — издатели платили разночинцу-писателю от 50 до 100 рублей за всю книжку. Решетников и через несколько лет продал «Подлиповцев» Звонареву за 61 рубль 25 копеек[4]. Между тем Некрасов, как мне уже случалось доказывать (на основании новооткрытых документов), дал Николаю Успенскому никак не меньше двух с половиною тысяч. На деньги Некрасова Николай Успенский прожил за границей восемь месяцев, не стесняя себя никакими расходами, и, покуда не

---

[1] «Исторический вестник». 1898. № 4, с. 148.

[2] *П. Мартьянов.* Дела и люди века. СПб., 1893, с. 237.

[3] *Н. В. Успенский.* Из прошлого. М., 1889.

[4] «Из литературного наследия Ф. М. Решетникова». Под ред. И. И. Векслера. Л., 1932, с. 259.

вернулся в Россию, чувствовал себя в долгу у Некрасова и все обещал расквитаться с ним своим новым романом, но теперь, взбудораженный журнальной шумихой, поднявшейся вокруг его «Рассказов», стал утверждать, вопреки очевидности, что Некрасов присвоил немалую долю того барыша, который дала эта книжка[1*].

«Помню однажды, — вспоминает Полонский, — он зашел ко мне сильно взволнованный и тотчас же стал рассказывать, что он прибежал ко мне от Некрасова.

— Что с вами? — спросил я. — Пожалуйста, успокойтесь и расскажите.

— Вообразите, — начал он, — что со мной сделал Некрасов. Я считал его у себя в долгу, так как он не заплатил мне всего, что мне следует, и я уже несколько раз заходил к нему за деньгами... заходил неудачно, так как лакей его мне отказывал постоянно: то говорил, что барина дома нет, то уверял, что он вернулся поздно из клуба и спит. Наконец сегодня я его застал... говорю ему: так и так, подавайте деньги. «Я, говорит, ничего вам не должен, не приставайте». Я стал горячиться — и что вы думаете! Некрасов взял заряженное охотничье ружье и поставил его около себя в уголке. Я тотчас же понял, чем это пахнет, и, разумеется, ради самосохранения ушел.

Все это было рассказано мне с величайшим негодованием, — Успенский бледнел и краснел, и задыхался от волнения, точно и в самом деле жизнь его была в опасности и, не уйди он вовремя, Некрасов бы застрелил его. Тогда с Некрасовым мы были в самых приятельских отношениях, и я настолько его знал, что, понятно, в его намерение подстрелить Успенского не поверил. Мне было только одно очевидно, что Некрасову Успенский так надоел, что ему захотелось напугать его: дескать, берегитесь, иначе я, чего доброго, выстрелю. Знал я и то, что сотрудники «Современника» довольно аккуратно получали свой гонорар, и в данном случае Некрасов, без торгу взявшись напечатать что-то из сочинений Н. Успенского, заплатил ему по расчету столько, сколько, по его мнению, следовало заплатить. Успенский этого не ожидал, ибо ценил себя втрое дороже других беллетристов, печатавшихся в то время в журнале Некрасова. Явилось крупное недоразумение, и настойчивость Успенского получить за труды свои несравненно больше того, что было ему уплачено, наткнулась на человека тоже настойчивого, переломить которого ему было не по силам»[2].

---

[1] См. статью «Некрасов и Николай Успенский» в моей книге «Люди и книги 60-х годов». Л., 1934, с. 151—162.

[2] «Исторический вестник». 1898. № 4, с. 148.

Полонский не знал в то время, что Некрасов дал Успенскому гораздо больше, чем ему полагалось, и что вообще в 1860—1861 годах издатель «Современника» проявил величайшую щедрость по отношению к своим главным сотрудникам: Добролюбову дал шесть с половиною тысяч, Чернышевскому — больше тринадцати[1], и что, в сущности, его столкновение с Успенским произошло совсем не из-за денег.

После этого эпизода Николай Успенский порвал с «Современником». «Покорнейше прошу Вас, — писал он Чернышевскому 26 января 1862 года, — устроить третейский суд, наше публичное объяснение с Некрасовым... Я желаю, чтобы при публичном моем объяснении с Некрасовым были не одни депутаты, но и общие знакомые литераторы...»[2].

Этот суд, конечно, не состоялся. Чернышевский указал Николаю Успенскому, что едва ли резолюция суда будет для него благоприятна и что на суде он, Чернышевский, выскажется против Успенского[3].

В начале шестьдесят второго года в «Современнике» был напечатан последний рассказ Николая Успенского* — и этим заключился первый, наиболее блистательный период его литературной работы. Он так и не начал писать тот роман, на который в «Современнике» возлагали столько надежд и которому должен был позавидовать сам Александр Дюма.

Разрыв с «Современником» был для Николая Успенского очень тяжелым ударом. «Он приехал из Петербурга на родину совершенно больным, затосковал», — вспоминает его племянник. Родные опасались, что он сойдет с ума.

Знаменательно, что вскоре после этой истории в нем приняли самое живое участие и Лев Толстой, и Тургенев. Их не могло не обрадовать, что тот, кого они считали одним из самых надежных и верных приверженцев «чернышевско-некрасовской партии», ушел сейчас же вслед за ними из враждебного им «Современника».

И можно ли сомневаться, что Тургенев, который в то время распространял самые невероятные слухи о денежной нечистоплотности Некрасова, с большой симпатией выслушивал жалобы Николая Успенского на его новые каверзы.

Толстой тогда же, в шестьдесят втором году, пригласил Николая Успенского учителем в свою любимую яснополянскую школу

---

[1] *В. Е. Евгеньев-Максимов.* Некрасов как человек, журналист и поэт. М.—Л., 1928, с. 188.

[2] «Звенья». М.—Л., 1934. № 3—4, с. 583.

[3] Там же, с. 584—586.

и напечатал у себя в журнале его рассказ «Хорошее житье». Один из полицейских шпионов, наблюдавших тогда за Толстым, вообразил даже спьяну, будто Николай Успенский есть тайный агент Льва Толстого, распространяющий среди крестьян сочинения Герцена[1]. Конечно, все это сплошная фантастика, которая свидетельствовала только о том, что Николай Успенский в то время был частым посетителем Ясной Поляны и что Толстой нередко беседовал с ним. Впоследствии Толстой говорил одному из своих посетителей:

«Я ставлю Николая Успенского много выше превознесенного другого Успенского, Глеба, у которого нет ни той правды, ни той художественности»[2].

Тургенев, наоборот, утверждал через несколько лет, что «у Глеба в десять раз больше таланта»[3], но все же отнесся в то время к Николаю Успенскому с горячей сердечностью и предоставил ему в своем имении Спасском небольшой участок земли, чтобы он жил, не нуждаясь, и спокойно занимался писательством.

«Отечественные записки» — умеренно либеральный журнал, к которому примкнул тогда Успенский, — тоже были преисполнены враждой к Чернышевскому, и таким образом через несколько месяцев после того, как Чернышевский провозгласил Николая Успенского одним из носителей революционных идей «Современника», Успенский оказался в рядах его непримиримых врагов.

В «Отечественных записках» встретили его очень приветливо и заявили в одной из рецензий, что в своих новых рассказах он понемногу становится *чистым художником,* что идея уже не берет у него перевеса над формой, то есть иными словами, что он совершенно отошел от позиций, которые занимал в «Современнике»[4].

«Современник», с своей стороны, поспешил указать*, что именно вследствие этого его новые писания так «бездарны»[5].

Тогда «Отечественные записки» разразились громовой статьей, полной восклицательных знаков, о том, что «Современник» — лицемер и отъявленный циник, так как, покуда Николай Успенский печатался у него на страницах, он устами Чернышевского расхваливал своего сотрудника самым неумеренным образом, а теперь, когда рассказы этого автора явились в другом журнале,

---

[1] «Звенья». 1932. № 1, с. 378.
[2] *И. Н. Захарьин* (Якунин). Встречи и воспоминания. СПб., 1903, с. 214.
[3] «Первое издание писем И. С. Тургенева». СПб., 1844, с. 249.
[4] «Отечественные записки». 1863. № 11–12, с. 117.
[5] «Современник». 1864. № 5, с. 27–29.

«Современник» без зазрения совести объявляет его бездарностью[1].

Нужно сказать, что действительно в новом журнале произведения Николая Успенского стали до странности бледны и мелки.

Очевидно, Некрасов потому и не удерживал его у себя в «Современнике», что подметил эту убыль его дарования.

А главная беда была в том, что «очерк из народного быта» (в юмористической манере Николая Успенского) ко второй половине шестидесятых годов сделался очень дешевым литературным продуктом и, понемногу утратив свою боевую революционную функцию, стремительно покатился по направлению к лейкинщине.

Впрочем, и прежние произведения Николая Успенского тогда же подверглись суровой переоценке со стороны «Современника» — те самые произведения, которые во времена Чернышевского «Современник» охотно печатал как свои программные вещи.

Теперь именно за эти прежние рассказы и очерки «Современник» обозвал его бесталанным писакой «с крошечным куриным миросозерцанием и крошечной куриной наблюдательностью», начисто аннулируя таким пренебрежительным отзывом знаменитую статью Чернышевского, напечатанную на тех же страницах около года назад.

Против статьи Чернышевского выступил теперь не кто иной, как Салтыков-Щедрин. Для демонстрации «куриных качеств» Николая Успенского сатирик в анонимной статье пропародировал один из его последних рассказов, недавно напечатанных в том же журнале.

Этот рассказ — «Летний день»[2].

Таким образом уже в марте 1863 года «Современник» отрекся от своей былой солидарности с Николаем Успенским и от той высокой оценки, которую за год до этого дал бывший руководитель журнала социально-политическим тенденциям его «Очерков народного быта».

Характерно заглавие щедринского шаржа: «Полуобразованность и жадность — родные сестры». Это заглавие — отнюдь не пародия, так как у Николая Успенского подобных заглавий нет. Вернее всего, что эта сентенция вызвана недавним поведением Успенского во время разрыва с Некрасовым, когда своими требованиями фантастических денег Успенский обнаружил ту «жад-

[1] «Отечественные записки». 1866. № 5, с. 168–172.

[2] «Наша общественная жизнь». — «Современник». 1863. № 3, с. 183. Кроме «Летнего дня», в пародии частично использована концовка рассказа «Вечер».

ность», которая, по мысли Щедрина, свойственна полуобразованным людям.

На земле Тургенева Николай Успенский прожил очень недолго. «Увлекаясь в то время идеей улучшения сельского хозяйства, Николай Васильевич, — по словам одного родственника, — начал здесь рьяно применять новую культуру земли: стал удобрять ее солью, паренными костями животных... Все эти затеи, понятно, не принесли желаемого результата... И Николай Васильевич, не имевший никакого понятия о хозяйстве, с досады покинул Спасское»[1]. В течение нескольких лет он мыкался по разным уездным училищам в качестве преподавателя русской грамматики, а потом — должно быть, под давлением безденежья — внезапно вернулся в Спасское, чтобы продать предоставленный ему Тургеневым участок земли.

Тургенев тотчас же написал своему управляющему (6/18 августа 1868 г.):

«Обратитесь к нему (к Николаю Успенскому. — *К. Ч.*)... и попытайтесь воздействовать на его совесть: вот скоро 5 лет, как мои 1000 рублей за ним пропадают, — неужели же он будет столь мало честен, что продаст эту самую землю в другие руки?»[2]

Мирные переговоры не привели ни к чему. «Человеконенавидец» стоял на своем. Тургеневу пришлось заплатить ему за свою собственную землю, и лишь тогда он выехал из Спасского, «осыпая Ивана Сергеевича бранью, говоря, что Тургенев его надул, что он отнял у него то, что было подарено ему» и т. д.[3]

Через несколько лет Тургенев в письме к Полонскому написал о нем следующее:

«Николай Успенский давным-давно конченый человек. На него можно махнуть рукой».

Таково тогда было общее мнение. Петр Ткачев тогда же или даже несколько раньше отозвался о нем как о бывшем писателе:

«Когда-то знаменитый, а нынче почти всеми позабытый г. Николай Успенский»[4].

С тех пор прозвище «забытый писатель» прочно пристало к нему, как позднее к Слепцову. Его как будто для того и вспоминали в журналах, чтобы, вспомнив, назвать забытым. Если какой-нибудь критик и отмечал его произведения в печати, то тут же не-

---

[1] *С. А. Богоявленский.* Воспоминания о писателе Н. В. Успенском. Рукопись УГЛА. Ф. 1178, оп. 1, № 3.

[2] *И. С. Тургенев.* Письма: В 13 т. Т. VII. М.—Л., 1964, с. 205.

[3] *Н. Гутьяр.* И. С. Тургенев и Николай Успенский. — «Литературный вестник». 1904. № 1.

[4] «Дело». 1872. № 1, с. 7.

пременно указывал, что теперь их уже никто не читает. Н. К. Михайловский так и начал статейку о нем:

«Г[осподин] Николай Успенский пишет давно уже и пользовался когда-то большою известностью и особенным вниманием как публики, так и критики, но ныне почти забыт»[1].

Он и сам именовал себя забытым. А когда он умер, во всех некрологах слово «забытый» стало его постоянным эпитетом. Газеты в один голос признавались, что не помнят ни одного заглавия его сочинений. «Забытый человек» — таково заглавие одной мемориальной заметки о нем[2].

9

Чем объяснить это внезапное забвенье? Упадком его таланта? Нисколько. Ибо именно тогда, к началу семидесятых годов, когда он впервые очутился под бойкотом читательских масс, его талант после нескольких лет увядания расцвел самым неожиданным цветом, и этот «конченый человек», на которого все так охотно махнули рукой, именно тогда принялся создавать одну за другою самые зрелые и полновесные вещи — уже не клочки, не наброски, а большие сюжетные повести с широким социальным охватом — «Федора Петровича», «Сашу», «Егорку-пастуха», «Старое и новое», «Издалека и вблизи», но повести эти прошли незамеченными. Ими он не только не отвоевал себе своей прежней головокружительной славы, но не привлек самого ничтожного внимания какой-нибудь захудалой газетки.

Это бесславие было для него, как удар кулака.

Избалованный вчерашними успехами, он не умел с достоинством стушеваться в толпе третьестепенных писателей, куда его внезапно оттеснили, а все еще цеплялся за прежнее, громко заявляя свое право на утраченное им первородство.

Тяжелее всего было то, что слава не составляла для него какого-то второстепенного придатка ко всей сумме жизненных благ, как это бывало с писателями, принадлежавшими к дворянскому роду; для него, бедняка разночинца, в славе было все: и свобода, и общественное положение, и деньги. Нет славы, и нет ничего — возвращайся в свое захолустье, а провинция жестока к неудачникам и не прощает успехов, которые окончились крахом...

Почему же произошло с ним такое несчастье? Почему те самые круги, которые встретили его как одного из лучших своих

[1] «Отечественные записки». 1877. № 2, с. 212.
[2] Статья Ив[ана] Б[уни]на в «Русской жизни». 1892. № 333.

представителей, теперь отвернулись от него как от докучной ненужности?

Причина этого заключалась не в нем, а в эпохе.

Именно в ту пору, когда он порвал с «Современником», кончился праздничный период «бури и натиска» шестидесятых годов и началось тяжелое похмелье. Знаменитые пожары в Петербурге, свирепое усмирение польских повстанцев, муравьевские виселицы, разгром революционных и радикальных кружков, арест Михайлова, Чернышевского, Серно-Соловьевича* и, главное, та кабала, в которой оказались крестьяне после «великой реформы» Александра II, — все это не могло не произвести самых крутых перемен во взглядах молодой демократии.

Тот самый год, когда Николай Успенский ушел из революционного лагеря, был годом перелома всей эпохи. В русском обществе именно с этого времени стала медленно, но верно слагаться доктрина крестьянского социализма семидесятых годов. Разночинцы именно тогда стали создавать себе новую веру — народничество, — основанную на сладчайшей иллюзии о каком-то непогрешимом крестьянстве, в недрах которого будто бы тайно сокрыта мощная революционная воля и который в созданной им общине имеет будто бы все предпосылки грядущего социалистического строя, причем, конечно, всякое нелестное слово об этом боготворимом «народе» воспринималось как оскорбление святыни.

Вера народников в общину была, по выражению Ленина, «детской», а практическая сторона их доктрины — «чистой утопией»[1].

Но именно поэтому, как и большинство утопистов, они были нетерпимы ко всякому, кто не разделял их иллюзий. От писателей, изображавших крестьянскую жизнь, они стали деспотически требовать славословий по адресу «деревенских устоев», которые будто бы сами по себе идеальны и нуждаются только в освобождении от чужеродных полицейско-государственных пут, чтобы стать фундаментом всеобщего счастья. Благоговение перед скрытой мудростью «спасенного в рабстве» народа вменялось тогдашним бытописателям в прямую обязанность.

Вся разночинная культурная масса свято уверовала, что хотя русский народ и после крестьянской реформы пребывает во всяческом рабстве, но в глубине-то глубин он сохранил неистраченной всю свою боевую энергию для неизбежного революционного взрыва. И мудрено ли, что в эту эпоху автор «Хорошего житья» и «Обоза»*, обличитель всеисцеляющей общины, увидевший в де-

[1] *В. И. Ленин.* Полн. собр. соч. М.: Гополитиздат, Т. 1, с. 413, 414.

ревенском быту только «лютую бессодержательность жизни», «окаменелое безобразие», «грязь», «летаргическую спячку» и звериное «всеобщее глотание», стал для народников семидесятых годов одним из самых ненавистных писателей[1].

Как известно, народнические настроения возникли еще в шестидесятых годах, и по мере их возрастания росла неприязнь молодой демократии к «циничным и клеветническим» писаниям Николая Успенского. Уже в 1865 году «Современник» напечатал статью молодого экономиста Жуковского «Как измерить примерно долг народу цивилизованных классов», — и там уже можно найти основные «веяния» народничества.

Чем больше росло и укреплялось народничество, тем враждебнее относилась передовая молодежь к Николаю Успенскому, который не только не примкнул к дружному хору Златовратского, Засодимского, Юзова и других апологетов общинных «устоев», но, напротив, постоянно указывал, что община дает полную волю хищническим, кулацким инстинктам, разрушающим ее изнутри.

Критика семидесятых годов запрещала тогдашним писателям даже малейшие сомнения в «устоях». Когда брат Николая Успенского, Глеб, высказал было в «Отечественных записках» несколько еретических мыслей о том, что община, пожалуй, не препятствует нарождению кулачества, правоверный народник Юзов написал свирепую статью, где уподобил Глеба Успенского полицейскому приставу, утверждающему, что «наш народец — подлец». А другой журналист, Леонид Оболенский, в еще более грозной статье назвал Глеба Успенского — «шалопаем», «болтуном», «ретроградом»[2].

Если за малейшие сомнения в крестьянских «устоях» критика платила такой жестокой расправой, можно себе представить, с какой яростью обрушилась она на того отщепенца, который вообще не верит ни в какие «устои».

Для народнической критики имя Николая Успенского стало синонимом клеветы на крестьянство. Она либо замалчивала его «очерки народного быта», либо отзывалась о них как о постыдном литературном явлении.

Один из видных представителей народнической критики, А. М. Скабичевский, прямо обвинял Николая Успенского в специальном желании насмеяться над русским народом.

«В его рассказах, — писал Скабичевский, — народ представляется в невообразимо безобразном виде: каждый мужик непремен-

[1] *Н. В. Успенский.* Рассказы. Т. II. М., 1876, с. 160–185.
[2] *В. Чешихин-Ветринский.* Г. И. Успенский. М., 1929, с. 221 и 227.

но или вор, или пьяница, или такой дурак, каких и свет не производил; каждая баба такая идиотка, что ума помрачение... Что удавалось Н. Успенскому мельком увидеть или услышать, он передавал в сыром и конкретном (!) виде, с единственной целью показать, как русский мужик невежествен, дик, смешон, загнан и забит, как тонет он в грязи невежества, суеверий, пошлости. Забитость, тупоумие, отсутствие всякого человеческого образа и подобия в героях Николая Успенского одуряют вас, когда вы читаете его очерки»[1].

Эти суждения о Николае Успенском принадлежали тогда не одному Скабичевскому. Их высказывали решительно все.

А так как народничество было живо и в восьмидесятых годах, ненависть преследовала Николая Успенского до самой могилы, причем позднейшие обвинители осуждали его по преданию, даже не читая его книг. О нем раз навсегда установился готовый критический штамп, которым каждое новое поколение критиков клеймило его снова и снова.

Один только Плеханов в конце девяностых годов, в разгаре баталий с народниками, несколько раз вспоминал его имя и доказывал, что народники были неправы, черня и унижая его. Но, к сожалению, Плеханов говорил о Николае Успенском всегда мимоходом, вскользь, по случайному поводу и не успел посвятить ему отдельной статьи — вроде тех, какие он посвятил Каронину, Наумову, Глебу Успенскому. Может быть, поэтому его отзыв о Николае Успенском не имел никакого резонанса и автор «Обоза» по-прежнему остался отверженным.

А между тем, повторяю, повести, которые писались Николаем Успенским в ту пору, когда он находился под литературным бойкотом, свидетельствовали о новом расцвете его дарования. Первая из этих повестей «Федор Петрович»* относится еще к 1866 году. Она прошла незаметно в убогой книжке полумертвого журнала, но ее тема была нова и огромна: о нарождении новой буржуазии в деревне на развалинах гибнущей дворянской усадьбы. За тринадцать лет до знаменитых сатир Щедрина, посвященных появлению «чумазого», за восемь лет до того, как Щедрин впервые бегло набросал Дерунова*, «чумазый» был введен в литературу Николаем Успенским.

Та оценка, которую в этой тщательно написанной повести дал Николай Успенский «чумазому», предвосхищает щедринскую характеристику даже в деталях, но, конечно, у Щедрина этот об-

[1] *А. М. Скабичевский.* История новейшей русской литературы. СПб., 1909, с. 219. Эти обвинения против Николая Успенского повторялись Скабичевским из года в год около тридцати лет.

раз (как более поздний) гораздо законченнее. Щедрин, например, уже вполне осознал, что Дерунов есть опора самодержавного строя, для Успенского же эта особенность «чумазого» как бы в тумане. Но кое-какие черты, свидетельствующие об этой особенности, ему все же удалось разглядеть. Его «чумазый» — кандидат в черносотенцы; он почетный церковный староста, помогает полиции ловить дезертиров и призывает уважать царев кабак как учреждение высокой государственной важности, украшенное двуглавым орлом. Здесь все предпосылки для той политической роли «чумазого», которую позднее отметил Щедрин.

Русская публицистика позднейшей эпохи вполне подтвердила диагноз Николая Успенского, но тогда эта повесть, возвещавшая о классовых боях в деревенской среде, которую народники представляли себе монолитной, до такой степени противоречила их воззрениям на крестьянскую массу, что даже не была замечена ими, словно написанная на чужом языке.

Такому же замалчиванию подверглась и следующая повесть Николая Успенского на такую же горячую тему — о земстве. Повесть была напечатана в «Вестнике Европы» 1870 года и называлась «Старое по-старому». В ней Николай Успенский снова восстал против своих давнишних врагов — либералов, для которых земство к тому времени сделалось одним из фетишей, и разоблачил классовую сущность так называемой земской работы, показав на ряде конкретных примеров, что под прикрытием демократических лозунгов эта работа идет на потребу барину, купцу, кулаку. Но и эта повесть Николая Успенского, насколько я мог установить, не встретила в журналистике отклика.

Тогда он сделал новую попытку завоевать себе сочувствие читателей и, чтобы покончить с кривотолками, будто он «ненавидит крестьян», написал для того же «Вестника Европы» «Егоркупастуха», романтическую идиллию об идеальной любви двух безупречных крестьянских сердец[1]. Герои этой повести — простосердечные и обаятельно милые Егорка-пастух и его возлюбленная Паранька — чуть ли не единственные из всех персонажей Н. Успенского — энергичные, волевые, бесстрашные люди, готовые бороться за свое право на счастье. Уже не робким, не придурковатым, не забитым и жалким выступает герой этой повести. Это не тот «мужик», который никак не может сообразить, сколько медных копеек он должен заплатить за ночлег, не тот Петруша, который безропотно уступает красавицу жену своему властелину приказчику.

[1] «Вестник Европы». 1871. № 2.

«Вот что, православные! — заявляет Егорка. — Шумите, не шумите, весь на весь заложусь, а девки не отдам!.. За правду в острог сяду!»

Так же смела и готова к борьбе невеста Егорки — Паранька. Она восстает против власти родителей, которые жаждут продать ее богатому недорослю. «Не буду, не хочу, не заставите!» — упорно повторяет она на протяжении всей повести.

Но что же сделала с этими чудесными молодыми людьми хваленая деревенская община, которую так сентиментально воспевают народники? Она загубила обоих, насмеялась над их лучшими чувствами, ожесточила и озлобила их, превратила их идиллию в трагедию.

И так как эта повесть написана с той убедительностью, которую придает ее образам строго реалистическое искусство писателя, не позволяющее ему впасть в слащаво-фальшивый, мелодраматический тон, его ответ на враждебную критику прозвучал сокрушительной правдой.

Но именно поэтому повесть не вернула ему прежних симпатий. Приговор о нем был произнесен, репутация его была установлена твердо, и поколебать ее уже ничто не могло.

А между тем это была его последняя ставка. Проиграв ее, он сразу сорвался и полетел словно в яму.

Самое ужасное было вовсе не то, что он запьянствовал и «пошел нищебродом». Хуже всего было то, что растленная среда, от которой он когда-то оторвался, снова поглотила его. Он уехал к себе в захолустье и, погрузившись в нечистую тину «мелких помыслов, мелких страстей», отказался от всех своих прежних литературных задач и стал писать микроскопические очерки на самые микроскопические темы. Даже его язык, еще недавно такой полнокровный, сразу стал каким-то худосочным, трафаретно-напыщенным: «стройная белокурая девушка с голубыми глазами», «под кустами блестела, как бриллиант, утренняя роса», «в свежем воздухе раздавались несмолкаемые трели жаворонка» и т. д., и т. д.[1].

Вскоре, когда он окончательно ослабел и осунулся, «очерк народного быта» выродился у него под пером в пустопорожнюю *сценку*, освобожденную от всякой идейной нагрузки: как горничная целуется с кучером; как старая барыня передвигает в своей комнате шкаф; как одного мещанина выгнали из дамской купальни; как тульские охотники ловят уток на самку-крякву; как в вагоне конно-железной дороги один пассажир разглагольствует о преимуществе говядины перед куриными яйцами, — и название всем

[1] *Н. В. Успенский.* Сочинения. Т. 4. М., 1883, с. 133.

этим сценкам одно: *обывательщина*, и в эту обывательщину он ушел с головой, уже не обличая ее, а как бы солидаризируясь с нею в качестве одного из ее представителей.

Даже крестьянский говор в его позднейших рассказах становится обывательски-фальшив и аляповат. Появляются всевозможные «йефто», «прикрасно», «ужасти», «щикатулка», «фуртупьяны» и пр. Чувствуется, что теперь он адресует свои рассказы другому — самому низменному — слою читателей, вполне равнодушный и к их литературной оценке, и к своей теме, и к себе самому. Ему даже как будто стало в тягость измышлять какой-нибудь сюжет, и он начал писать «ни о чем», чаще всего воспроизводя со стенографической точностью никчемные разговоры никчемных людей, культивируя то самое «перекабыльство», над которым издевался когда-то.

10

В конце семидесятых годов его, неудачника, полюбила шестнадцатилетняя девушка Елизавета Успенская и, наперекор отчаянному сопротивлению родителей, вышла за него замуж — на верную гибель. Ее отец был деревенский священник, сколотивший себе состояние при помощи всевозможных афер. Узнав, что его дочь хочет выйти за этого сорокадвухлетнего Каина, он запер ее в чулане, но Каин, разобрав дощатую крышу чулана, стал посещать свою милую тайно[1]. Отец вознаградил себя тем, что не дал за дочерью никакого приданого. Должно быть, это сильно возмутило Николая Успенского, так как он тогда же напечатал рассказ о богатом и жестоком попе, который довел свою дочь до скоротечной чахотки, отказавшись наделить ее имуществом[2].

Впрочем, до скоротечной чахотки довел ее он сам, так как нельзя себе представить человека, менее способного к семейному быту. Говорят, он замучил больную жену, заставляя ее кочевать из деревни в деревню, когда же однажды ему поручили нянчить двухнедельную дочь, он оставил ее в запертой комнате, а сам ушел часа на три в лес, и ее чуть не загрызли крысы. «Жизнь с таким человеком хуже всякой смерти, хуже всякой каторги и могилы», — писал ее разгневанный отец и снова называл его Каином[3]. Впрочем, порою на Каина находили припадки самой пламенной нежности, и когда его жена заболела чахоткой, он посадил ее в

[1] *С. Миловидов.* Из воспоминаний о Н. В. Успенском. — «Приазовский край». 1893. № 119.

[2] *Н. В. Успенский.* Письмоводитель. — Сочинения. Т. 2. М., 1883, с. 133–150.

[3] «Исторический вестник». 1905. № 12, с. 439.

ручную тележку и стал катать в ясные дни по селу, возбуждая насмешки соседей, которые, должно быть, видели и в этом катании свойственное ему «балаганство».

Свою дочь он тоже любил по-особенному: кинет ее, голую, с берега в воду, она кричит и барахтается, посинеет от крика, а он «стоит себе спокойно» на берегу и глядит, уверенный, что такое купанье укрепляет ее организм[1].

Его тесть был выжига, стяжатель, кулак, сочетавший церковную службу с аферами, и, конечно, сейчас же после свадьбы Успенский объявил ему войну, которую и вел в течение нескольких лет с неистовым напряжением всех сил, то жалуясь на него архиерею, то грозно обличая его перед паствой, то громя его в сокрушительных письмах.

Со стороны было больно смотреть, что столько таланта и пафоса тратится на мелкие дрязги, но в том-то, повторяю, и было несчастье Николая Успенского, что, вырвавшись на несколько лет из провинциальной среды, он к старости снова погрузился в нее. Другие писатели той же «семинарской породы» — Чернышевский, Добролюбов, Елисеев, Помяловский, Левитов, оторвавшись от «духовного» быта и возненавидев его, никогда не возвращались к нему, а Успенский, чуть только литература отвергла его, вернулся в родную топь и завяз в ней по самое горло. Податься ему было некуда. Схоронив жену, он взял гармонику, взял крокодила, взял двухлетнюю дочь и, распухший, пьяный, лохматый, с седой бородой, в арестантской овчинной бекеше, пошел шататься по ночлежным домам и трактирам, и у него появились друзья с воровскими кличками — Мазепа, Левша, Костоправ, Фармазон, Шептун, и он сделался настоящим босяком; одна нога в калоше, борода нечесаная, коленки трясутся, — ходит и выпрашивает рюмочку в долг, но ему не верят и гонят, а порою и бьют.

— Закатил ему в шею, ажно закувыркался! — вспоминал впоследствии один заводской[2].

Единственное близкое ему существо была маленькая Оля, его дочь. Когда она чуть-чуть подросла, он одел ее мальчишкой и потащил по притонам, заставляя петь и плясать перед публикой и собирать медяки. Всякого, кто порывался спасти ее от такой развращающей жизни, он считал своим заклятым врагом. Отсюда его беспрестанные стычки с родными, которые то и дело похищали ее. Он врывался к ним в дом со скандалом и требовал, чтобы они немедленно отдали девочку, а та, услыхав его голос, начинала дрожать и плакать и в ужасе забивалась за шкаф. Тогда он

[1] «Русская жизнь». 1892. № 333.
[2] Там же. 1902. № 11, с. 105.

предпринимал многодневную осаду их дома, садился в ближайшей канаве и ждал, они же, глядя на него из окна, и ругали его и жалели.

«Слез-то, слез-то сколько пролила я в ту пору, — вспоминала его сестра Елизавета Васильевна. — Ведь какой он в молодости был красивый, добрый, умный... А тут сядет и сидит в канаве против нашего дома. Помню, пекла я лепешки, выслала ему. Гляжу, взял он, ест, а сам старый, седой, страшный»[1].

Когда девочке пошел десятый год, ее окончательно поселили у деда.

Изумительны письма, которые в то время Успенский адресовал сыновьям ее тетки, якобы способствовавшей ее похищению:

«...Во имя святого чудотворца и угодника Сергия вразумите вашу мать, что красть и продавать чужих малолетних детей... и внушать им: «не чти отца твоего» — есть великий грех...»

«...Младенец Христос, которого мы в эти дни прославляем, не замедлит ниспослать свой праведный гнев на ваших родителей».

«...Вообще не держитесь ни политеизма, ни деизма, ни дарвинизма, а держитесь правды, за которую пострадал Господь наш Иисус Христос...»

«...Да разразится же небесная кара и Божий гнев над вашими беззаконными и нечестивыми родителями...»

В этих письмах выразилось ярче всего полное поглощение его психики той растленной средой, от которой он когда-то оторвался. Их клерикальный жаргон не был, как можно подумать, стилизацией под привычную фразеологию врагов, пущенной в ход ради полемических надобностей. Нет, это был подлинный стиль его тогдашних речей. Своим знакомым он тогда же заявил, что идет на богомолье — поклониться чудотворным мощам калужского святителя Тихона, куда его трижды звал некий таинственный голос.

От прежнего «нигилиста» уже почти ничего не осталось. Правда, рассказывая по трактирам о знаменитых писателях, он все еще взимал со своих слушателей самую высокую плату за биографии тех, которые либо сидели в тюрьме, либо побывали на каторге, а самую дешевую плату брал за биографию Пушкина, которого, по традиции шестидесятых годов, считал великосветским шалопаем, но только в этом, пожалуй, и сказывался весь его былой радикализм. Хуже всего было то, что теперь он подпал под влияние московского пропойцы Кондратьева, который немало способствовал его отпадению от прежних позиций.

---

[1] «Исторический вестник». 1905. № 12, с. 498.

Про его дружбу с Кондратьевым мы узнали из одной маленькой книжки, вышедшей уже в советское время[1]. Там этот Кондратьев обрисован в виде самой безобидной литературной богемы, между тем, покопавшись в старых московских журналах, можно без труда убедиться, что то был раньше всего — боевой черносотенец, бравировавший своей необузданной преданностью «белому» царю, чудотворным иконам, православным церквам и т. д. В пору своей дружбы с Успенским он сочинял вот такие стихи:

Слава Богу, храмам божиим,
Слава всем святым местам,
Слава нашим православным
Позолоченным крестам.
И еще на годы долгие
В ночь и ясную зарю
Слава белому могучему
Православному царю.

Был он человек, бойко владевший пером, — романист, водевилист, переводчик. Состоял в то время ближайшим сотрудником еженедельного журнала «Развлечение», который, стремясь завоевать популярность среди духовенства и купеческой черни, усердно демонстрировал свою преданность алтарю и престолу. В это-то «Развлечение» Кондратьев и втянул Николая Успенского. Дико было видеть, как ветеран «Современника» подвизается в погромном листке, промышляющем антисемитизмом и набожностью. «Иуда Пейзенсон», «Иуда Шельманзон», «Гешефтмахер из Шклова» — таков был стиль этой замоскворецкой клоаки. И тут же ратоборство за православную веру, сбор пожертвований на черниговский Спасо-Преображенский собор и посрамление какой-то «язычницы», которая имела несчастье родиться «от австрийских не верующих в Бога родителей». И рядом с карикатурами — иконы лубочного жанра: «Святой преподобный Сергий благословляет Димитрия Донского», «Владимир Красное Солнышко совершает крещение Руси» и т. д. И яростная травля Льва Толстого за его измену православию[2].

Словом, нужно было начисто отречься от всякого касательства к заветам шестидесятых годов, чтобы сделаться сотрудником этого трактирного органа. Николай Успенский и отрекся, насколько у него хватило уменья. Теперь в его новых очерках из народного быта помещики сделались благодушны и милостивы, а

[1] *Иван Белоусов.* Литературная Москва. Воспоминания. 1880–1925. М., 1928, с. 29.

[2] «Развлечение». 1889. №№ 5, 9, 11, 15, 24, 36.

крестьяне — воры и пройдохи, не стоящие их благодеяний. В очерке «Отрадное явление» им выведен евангельски праведный барин, исполнявший прихоти обнаглевших крестьян, которые в конце концов насмеялись над ним и увели у него тройку самых лучших коней[1].

И тут же заодно, среди икон, карикатур, анекдотов и урапатриотических виршей, Успенский начинает печатать, по совету того же Кондратьева, серию обличительных мемуарных набросков — о Некрасове, Льве Толстом, Глебе Успенском, словно мстя им за то, что они знамениты и окружены ореолом, а он — в канаве, с разбухшими почками, презираемый даже трактирною сволочью, и, конечно, на страницах рептильного органа его выпады против писателей, наиболее чтимых в радикальной среде, были восприняты как политическое выступление врага. Даже правые — и те возмутились.

«Как это пошло, мерзко и позорно!» — восклицали московские «Новости дня» по поводу его нападок на Некрасова[2]. Даже Буренин объявил в «Новом времени», что его мемуары — циничная ложь[3]. А Глеб Успенский прислал в редакцию «Развлечения» письмо, где требовал немедленно прекратить публикацию этих клеветнических «выдумок»[4].

Зато Кондратьев был очень доволен.

— Жарь их хорошенько! — приговаривал он.

Успенский и «жарил» их, что называется, в четыре кнута, но в конце концов «Развлечение», испуганное поднявшимся шумом, внезапно прекратило всю серию воспоминаний Николая Успенского, тем более что по поводу его недобрых страниц о Некрасове тогда же были напечатаны документальные данные, начисто опровергавшие их*.

Так что ренегатство у него тоже не вытанцевалось.

Ведь даже в этих мемуарах, где он как будто солидаризируется с самыми реакционными группами, он по существу продолжает свою прежнюю линию, ибо все его нападки на Некрасова, Григоровича, Толстого, Тургенева имели демократическую видимость: он обличал этих людей за их барственность, за их оторванность от народных низов, отлично понимая в то же время, что весь этот левофланговый обстрел будет использован правыми.

Правые вменили ему в большую заслугу написание этих мемуаров: он получил приглашение сотрудничать в «Русском вест-

---

[1] «Развлечение». 1889. № 15, с. 7.
[2] «Новости дня». 1888. № 1869.
[3] «Новое время». 1889. № 4831.
[4] «Развлечение». 1889. № 14, с. 7.

нике» Берга, наиболее респектабельном из победоносцевских органов. Он воспользовался этим приглашением и напечатал там «Очерки усадебной жизни», которые вызвали одобрение «самого» Константина Леонтьева за их верность православным началам[1]. Тут же рядом, на соседних страницах, была дана апология шефа жандармов Шувалова, был ошельмован герценовский «Колокол» и были расхвалены церковноприходские школы в качестве одного из оплотов самодержавного строя.

Дальше Николаю Успенскому было уже некуда падать. Видевшие его в эту пору были поражены его внешностью: «он был полураздет, худ и страшно грустен». Очевидно, сознание своего ренегатства тяжело угнетало его.

Он отправился было в деревню за дочерью, но та, увидав его, испугалась и спряталась. Он постоял, подождал, а потом заплакал и ушел. А через несколько дней в газетах появилась заметка:

«21 октября [1889 года] около одного из домов Смоленского рынка, где ютится бездомный московский люд, был найден труп какого-то старика. Горло оказалось перерезанным в двух местах. Около трупа были две большие лужи крови, и тут же лежал тупой перочинный ножик. Труп был одет в рубище. При обыске в карманах не оказалось ничего, кроме паспорта на имя бывшего учителя Николая Васильевича Успенского».

Как выяснилось потом, этот ножик он купил за четвертак на базаре. Просил у Кондратьева бритву, но тот сказал:

— Зарежешься и ножиком!

В кармане у него нашли восемь копеек и передали их его наследнице — дочери.

11

Никто из сколько-нибудь заметных писателей не пришел на его погребение: ни Златовратский, ни Короленко, ни Чехов, ни Боборыкин, ни Эртель. Даже Глеб Успенский отсутствовал. Не было даже представителя от Литературного фонда. Зато почтить его, как «отставного учителя», явился во всей своей славе статский советник Карл Карлович Кноблох, инспектор московских народных училищ, и тем только сильнее подчеркнул его отрыв от литературной среды.

Профессорские «Русские ведомости» напечатали первое известие о трагической смерти Николая Успенского рядом с заметкой о пятирогом баране и о черноносых гусях, поступивших в

[1] «Русский вестник». 1889. № 5.

Московский зоологический сад, — и, третируя его, как «отставного учителя», не привели в некрологе ни единого заголовка его сочинений[1].

Для либеральных петербургских «Новостей» он был безвестный писатель.

«Многие ли из современной публики, — вопрошала газета, — не говорим уже — читали, но хотя бы слышали об этом писателе?»[2]

Зато трактирно-купеческий «Московский листок», в котором Успенский в последние годы сотрудничал, объявил его всемирной знаменитостью. Так и напечатал в его некрологе «известный всему миру (!) Николай Васильевич Успенский»[3]. Правда, и эта газета не могла привести ни одного заголовка его сочинений, но взамен этого она тут же указала на его близкое родство с Глебом Успенским, очевидно полагая, что такой литературной заслуги вполне достаточно для всемирной известности.

Это было подхвачено другими газетами, и «двоюродный брат Глеба Успенского» вскоре сделалось как бы чином покойного.

Через несколько дней в печати выступили профессиональные плакальщики, и каждый из них плакал неспроста, но с определенною партийною целью.

«Страшным, ничем неизгладимым укором да ляжет смерть Николая Васильевича Успенского на совесть факиров либеральной кружковщины!» — заливался один из них. «Пусть этот холодный, безжизненный труп страшным призраком смущает покой многодовольных собою фигляров», и т. д., и т. д., и т. д.[4].

Другой, порыдав сколько надо, заявил, что умерший был сам виноват в своей гибели, ибо в качестве бесшабашной богемы отвергал буржуазный уют[5].

Третий откровенно признавался:

«Мы как будто даже радуемся такому трагическому исходу жизни нашего талантливого собрата: слава богу, наконец-то человек зарезался!» — и как бы для того, чтобы оправдать эту радость, тут же в некрологе стал доказывать, что покойный клеветал на крестьян, что талант у него был зловредный и дрянненький, так что, в сущности, жалеть его нечего[6].

---

[1] «Русские ведомости». 1889. № 295. Возможно, что на такое отношение этой газеты к Николаю Успенскому влияла ее близость к Глебу Успенскому (см. *Г. И. Успенский*. Сочинения и письма. Под редакцией В. В. Буша, Н. К. Пиксанова и Б. Г. Успенского. М.—Л., 1929, с. 55, 622–624.

[2] «Новости». 1889. № 295.

[3] «Московский листок». 1889. № 295.

[4] Там же. № 297.

[5] «День». 1889. № 514.

[6] «Новости». 1889. № 302.

В иллюстрированных журналах того времени, во «Всемирной иллюстрации», «Севере», в тех самых номерах, где сообщалось о его трагической смерти, были даны отличные портреты только что умершего Трепова, какой-то мадам Чикуановой, генерал-майора Бранденбурга, генерал-адъютанта Софьяно, но портрет Николая Успенского так и не нашел себе места.

Толстые журналы не напечатали о его смерти ни слова.

Вся беда была в том, что он умер ничей, равно чужой и для правого и для левого лагеря. Левые считали его ренегатом, а для правых он все же был «нигилист шестидесятых годов», автор антидворянских рассказов, соратник Чернышевского, Некрасова. Один только князь Мещерский, для того чтобы ущемить «прогрессистов», причислил его в «Гражданине» к своим и тем окончательно запятнал его память.

«Умерший писатель, — говорил князь Мещерский, — принадлежавший, как известно, к консервативному лагерю... не был служителем либеральной музы, не был писателем, изливающим либерально-народнические ламентации, — поэтому он умер нищим, голодным и холодным в стране, где существует Литературный фонд, в громадном городе, где издается несколько газет и журналов. Двери последних были закрыты для покойного. Еще бы! Он не принадлежал к той либеральной клике, которая не прочь проводить до кладбища гроб человека, ею же уморенного голодом»[1].

Рассвирепевшая «либеральная клика» так и накинулась на князя Мещерского. «Если Николай Успенский действительно ваш, почему же вы дали ему умереть на панели?» — запальчиво спрашивала одна из провинциальных газет[2]. А другая напечатала письмо председателя Литературного фонда, который в ответ на инсинуацию Мещерского доводил до всеобщего сведения, что Успенский в течение двадцати пяти лет получал из Литературного фонда... около сорока рублей в год[3]. После этого третья газета, уже совершенно забыв о покойном, выступила и против Мещерского, и против Литературного фонда, обвиняя обоих в скаредности.

А четвертая газета, «Неделя», придравшись к этой полемике, напечатала ряд диссертаций о проживающих в нищете литераторах и о той благодетельной помощи, которую они получают от великодушного Литературного фонда[4].

---

[1] «Гражданин». 1889. № 300, от 29 октября.
[2] «Волжский вестник». 1889. № 272.
[3] «Новости». 1889. № 308.
[4] «Неделя». 1889. №№ 45, 47, 48.

В пылу этой газетной перепалки «известный всему миру писатель» был окончательно и бесповоротно забыт. Вскоре для него начался новый бойкот, еще более суровый, чем прежде.

Обычно, когда умирает писатель, да еще такой потрясающей смертью, в широких читательских массах повышается интерес к его творчеству. Здесь не случилось и этого. Правда, одна из малозаметных газет заикнулась было, что недурно бы Литературному фонду издать собрание его сочинений, под редакцией Глеба Успенского, но это предложение сейчас же заглохло, и книги покойного остались под спудом; в течение сорока с чем-то лет для них не нашлось издателя.

И лишь в советские годы мы получили возможность вернуть литературе этого большого писателя*, одного из первых разночинцев, грудью пробившего дорогу оппозиционным беллетристам-народникам, ибо, каковы бы ни были его позднейшие падения и немощи, об этой великой заслуге наша литература забывать не должна.

От души ненавидя слащавые жизнеописания знаменитых людей, одно время процветавшие в нашей словесности, я попытался рассказать без утайки, без «хрестоматийного глянца», *подлинную* жизнь Николая Успенского, какой она рисуется нам на основании достоверных документальных свидетельств.

Мною руководила уверенность, что живой человеческий образ, со всеми его противоречиями, во всей его сложности, вызовет в читателях гораздо больше живого сочувствия, чем та благовидная «мумия», которую во всякое время были готовы смастерить, на потребу ханжей, фальсификаторы нашего литературного прошлого.

Полностью учитывая социальный момент биографии Николая Успенского, я пытался привести читателей к тому убеждению, что, если его жизнь была такой уродливой и страшной, это произошло раньше всего потому, что уродлив и страшен был быт, воздействовавший на нее с первых же дней. Для меня в его биографии важно не то, что порою, в периоды душевного распада и слабости, он поддавался влияниям своей растленной среды, а то, что ему столько раз удавалось преодолевать эти злые влияния и противопоставлять им великую моральную силу, которая сводила на нет все дрянное и пошлое, чем был загроможден его жизненный путь. Сила эта — боевые идеи шестидесятых годов, проникнутые пафосом борьбы за народное счастье.

Эти идеи продиктовали ему не только его лучшие рассказы — такие, как «Хорошее житье», «Сельская аптека», «Старое и новое», «Федор Петрович», «Издалека и вблизи», но часто «выпрям-

ляли» его самого, давая оправдание и смысл его скитальческой, нищенской, неприкаянной жизни. Тяготы эти он, в сущности, влачил добровольно: даже в тех редкостных случаях (как это бывало в семидесятых — восьмидесятых годах), когда ему удавалось обзавестись кое-какими деньгами и он мог бы на время передохнуть от нужды, он и тогда не делал ни малейших попыток обеспечить себе хотя бы самый скромный уют, — продолжал оставаться таким же бездомным скитальцем, ибо не только из нужды, но и по принципу отрекся от услад и приманок сытого благополучия мещан.

Всей своей погибельной жизнью, всем своим истерзанным трагическим обликом он сознательно слал вызов «ликующим, праздно болтающим, обагряющим руки в крови», и самую его смерть нельзя не воспринять как проклятие этим ненавистным ему хозяевам жизни.

Так и была она воспринята многими «простыми людьми», представителями низовой демократии, о чем свидетельствует следующий искренний, хотя и очень наивный, литературно-беспомощный отклик на самоубийство Успенского, несомненно выражающий чувства этих «низовых» демократов:

В Москве, на площади, вокруг которой тесно
Ютился мелкий люд в грязи и нищете,
Лежал холодный труп того, кто прежде честно
Стремился к истине, добру и красоте.

Кто им служил пером в родной литературе,
Оставил по себе в ней видные следы,
Любил, страдал, терпел, изведал жизни бури.
И ослабел в когтях безжалостной судьбы.

Со скрипкой, в рубище, средь отческого края,
С малюткой дочерью, любимой от души,
Скитался он потом, едва-едва сбирая
Игрой и пением на хлеб себе гроши.

Но, наконец, своим скитаньем по отчизне
Измученный, кляня свой низкий, жалкий труд, —
В отчаянье разбил свою он чашу жизни,
Разбил лишь горечью наполненный сосуд...
и т. д.[1]

1929

[1] Стихотворение принадлежит жителю Новгорода П. И. Можайскому. Найдено в бумагах Глеба Успенского.

1

Все авторы воспоминаний о Слепцове, словно сговорившись друг с другом, в один голос сообщают читателям, какой это был необыкновенный красавец и сколько изящества было в его красоте.

«Наружность у Слепцова была очень эффектная и отличалась изяществом, — пишет, например, Авдотья Панаева, — у него были великолепные черные волосы, небольшая борода, тонкие и правильные черты лица; когда он улыбался, то видны были необыкновенной белизны зубы... Он был высок, строен»[1].

«Все оставшиеся после него портреты, — говорит Скабичевский, — не передают и в сотой доле его красоты, замечательной всем ансамблем стройно-изящной, гибкой фигуры, непередаваемою игрою души в тонких чертах его лица»[2].

«Его успеху много содействовала его наружность, — пишет его современник В. И. Танеев. — Умное, бледное, изящное, окаймленное прекрасными черными волосами и черной бородой лицо. Он производил поразительный эффект»[3].

Петр Быков вспоминает, что, когда, во время пребывания в Москве, Слепцов явился однажды в судебную камеру, чтобы послушать какое-то дело, отовсюду сбежались дамы полюбоваться его красотой[4].

Таким же изяществом, по единодушному свидетельству его современников, отличалась и та обстановка, которая окружала его.

«Квартира была очень хорошо отделана. Каждая вещь была изящна. Артистическая натура сказывалась во всем.

---

[1] *А. Я. Панаева.* Воспоминания. М., 1956, с. 329.

[2] *А. М. Скабичевский.* История новейшей русской литературы. 4-е изд. СПб., 1900, с. 211.

[3] *В. И. Танеев.* Слепцов. — «Литературное наследство». Т. 71. М., 1963, с. 522.

[4] *П. В. Быков.* Силуэты далекого прошлого. М.—Л., 1930, с. 181—182.

Особенно все любовались парой высоких деревянных подсвечников, сделанных, кажется, самим Слепцовым, который «всегда умел отлично точить из дерева»[1].

«Я, — вспоминает Водовозова, — принялась разглядывать его комнату, убранную с большим вкусом. Все письменные принадлежности были чрезвычайно изящны: чернильница, пресс-папье, портфель, подсвечники, всевозможные ножички, ваза с красивым букетом; столики и этажерки были уставлены красивыми безделушками и портретами в рамках».

— Уверяю вас, мне это необходимо, — говорил ей Слепцов[2].

Обыкновенно такие привычки и вкусы свойственны богатым эстетам, тратящим немалые деньги на убранство своих жилищ. Слепцов же, до конца жизни не выходивший из тяжкой нужды, никогда не имевший ни гроша на завтрашний день, все свои пресс-папье и портфели изготовлял сам, так как руки у него были талантливые и с удивительной легкостью создавали всевозможные изящные вещи. «Он мог сделать все что угодно, — сообщает Авдотья Панаева, — и так хорошо, точно несколько лет обучался этому мастерству»[3].

По словам Панаевой, он с таким искусством обшил новой тесьмой свой старый пиджак, что какой-то столичный портной, восхищенный его дарованием, стал приглашать его к себе в подмастерья.

Когда в период тяжелой нужды Слепцов был вынужден искать заработка в провинции, он написал приятельнице Вере Ворониной, чтобы та нашла ему работу в Тамбове по любой специальности: «Вы можете припомнить хоть некоторые из моих многосторонних способностей и разнообразных занятий, напр.: слесарь, столяр, портной, механик, лепщик, рисовальщик, резчик, маляр...» (1866)[4].

В другом письме к ней же он пишет: «По случаю обносившейся обуви я принялся чинить сапоги и очень успешно с помощью старых дамских башмаков реставрировал свои ботинки» (1867).

Таким образом, безденежье нисколько не мешало Слепцову культивировать изящные вкусы. «До чего ни дотрагивалась его художественная рука, — говорит Скабичевский, — всему он умел придавать изящный вид и был способен при случае укра-

[1] *В. И. Танеев.* Слепцов. — «Литературное наследство». Т. 71. М., 1963, с. 523.

[2] *Е. Н. Водовозова.* Василий Алексеевич Слепцов. — «Голос минувшего». 1915. № 12, с. 107—120.

[3] *А. Я. Панаева.* Воспоминания. М., 1956, с. 340.

[4] *К. Чуковский.* Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934, с. 208.

сить комнату такими пустяками, вроде каких-нибудь еловых шишек»[1].

«Случалось, — сообщает тот же писатель, — что, идя мимо Милютиных лавок, он (Слепцов. — *К. Ч.*) увлекался каким-нибудь необыкновенным яблочком и покупал его, но не для того, чтобы тотчас же съесть, а положить на письменный стол и любоваться его красотою».

Тяготение Слепцова к изяществу сказалось не только в его подсвечниках и рамочках, но почти во всех его произведениях, которые по стройности своей композиции, по тонкой обработке деталей стоят особняком в беллетристике шестидесятых годов.

Такие очерки, как «Спевка», «Питомка», «Ночлег», обточены у него словно на токарном станке. Соразмерность частей, отсутствие ненужных подробностей, предельная лаконичность образов, исполненное безупречного вкуса воспроизведение простонародного говора — все это делает слепцовские очерки наиболее изящными из всех «коротких рассказов» предчеховского периода. Свою «Владимирку и Клязьму» он писал буквально на ходу, во время пешего хождения из Москвы во Владимир, а между тем, несмотря на кажущуюся ее хаотичность, она так же стройна, лаконична, художественна, как и другие наиболее зрелые произведения Слепцова. Конечно, изящество его внешнего облика, его манер и привычек не бросилось бы в глаза никому, если бы он был, например, адъютантом в каком-нибудь кавалерийском полку. Но в том-то и дело, что смолоду он добровольно отверг всякие соблазны доступной ему блестящей военной карьеры и стал литературным пролетарием, сблизился с деревенской и городской беднотой и всем своим творчеством, всей своей полуголодной, неприкаянной жизнью доказал искренность своего перехода в лагерь боевой демократии шестидесятых годов.

2

Нам и до сих пор неизвестен тот путь, который привел Слепцова в демократический лагерь. Его детские годы были совсем не такие, как у других писателей-демократов той великой эпохи.

Отец его был не пономарь, не дьячок, а полковник, столбовой дворянин, состоятельный саратовский помещик. Его мать была родом шляхтянка, очень гордившаяся своими именитыми предками. Его деды были генералы, его бабка была баронесса.

[1] *А. М. Скабичевский.* Литературные воспоминания. М.—Л., 1928, с. 230—231.

В то самое время, когда Помяловского, Николая Успенского, Воронова нещадно драли их учителя и наставники, его никто и пальцем не тронул, когда он учился в привилегированной московской гимназии. Французским и немецким языками он с детства владел, как родными. Всем он казался в ту пору благонравным ребенком, и его мать, Жозефина Адамовна, урожденная Вельбутович-Паплонская, в своих честолюбивых мечтах видела его блестящим офицером драгунского или уланского полка. В семье были сильны военные традиции. Отец писателя, Алексей Васильевич Слепцов, участвовал в турецкой и польской кампаниях, а потом перешел в один из драгунских полков, стоявший тогда в Воронеже. Там-то и родился писатель — 17 июля 1836 года. Через год его семья поселилась в Москве, где он провел свое детство, потом три-четыре года он прожил в саратовской деревне отца, а на пятнадцатом году его отдали в Пензенский дворянский институт, откуда была прямая дорога на военную службу — к чинам и отличиям[1].

Вначале мальчик зарекомендовал себя примерным воспитанником, но, очевидно, уже тогда у него зародились какие-то «опасные» мысли, совершенно несвойственные той социальной среде, которая взрастила его.

Во время обедни в переполненной церкви он внезапно распахнул царские врата, вошел в алтарь и прошептал про себя:

— А я не верую!

И, громко застонав, лишился чувств.

Только священнослужители имели право входить в царские врата алтаря. Можно себе представить, как были ошеломлены таким кощунством дерзкого студента директор института, педагоги, студенты, молящиеся.

Его схватили, увели, наказали и, в виде особой милости, исключили из института, не предавая суду[2].

Своему начальству Слепцов объяснил, что ему хотелось проверить на опыте, существует ли Бог, и что он считает свой опыт удавшимся, так как Бог непременно убил бы его, если бы существовал в самом деле[3].

---

[1] См. *Жозефина Слепцова.* Василий Алексеевич Слепцов в воспоминаниях его матери. — «Русская старина». 1890. Т. 65. Кн. 1, с. 233–235.

[2] Лидия Филипповна Маклакова, жена Слепцова, беллетристка, печатавшаяся под псевдонимом Л. Нелидова, написала повесть из его жизни «На малой земле» и там приводит этот эпизод, едва ли вполне достоверный (см. об этой повести сообщение Л. А. Евстигнеевой в «Литературном наследстве». Т. 71. М., 1963, с. 495–511).

[3] Брат писателя тоже говорит о каком-то церковном скандале: будто мальчик Слепцов, желая уйти из института, стал симулировать тихое помешательство и нарочно перепутал в алтаре одежды попа и диакона (*В. С. Марков.* Биография Слепцова. — «Исторический вестник». 1903. № 3, с. 966).

Родные захотели определить его в действующую армию. Поначалу он как будто и сам был не прочь, но вскоре раздумал, переехал в Москву и поступил на медицинский факультет, наиболее ценимый тогдашней недворянской молодежью.

Через год он охладел к медицине, страстно увлекся театром и, опять-таки к великому огорчению матери, поступил на сцену в Ярославский театр в качестве первого комика, но почему-то не прослужил и сезона, бросил сцену, вернулся в Москву.

Частая перемена профессий и мест — тоже характерная особенность его биографии. «Слепцов, при всех своих способностях, был чрезвычайно непостоянен в своих увлечениях и постоянно менял своя занятия и свой образ жизни, — вспоминает о нем его брат. — Эта неустойчивость и постоянное искание чего-нибудь нового рельефно выразились в его вечных скитаниях с одного места на другое, от одного занятия к другому»[1].

Впрочем, не следует думать, что это было его личной особенностью: такими же скитальцами были все его литературные сверстники, разночинцы шестидесятых годов: Николай Успенский, Левитов, Решетников.

В 1856 году он женился на дочери одного тверского помещика, но брак был несчастлив, и они разошлись. Мы не знаем, с какого времени он начал усваивать ту идеологию боевых разночинцев, которая впоследствии сказалась в его сочинениях, но в 1860 году мы уже видим его в «якобинском» салоне писательницы Евгении Тур (графини Е. В. Салиас де Турнемир). Он близко сходится с ее сыном Евгением, оппозиционно настроенным юношей, который через год, как известно, принял участие в московском студенческом «бунте». Товарищи Салиаса были горячие головы (Кельсиев, Покровский, Аргиропуло), и в их кругу двадцатичетырехлетний Слепцов скоро забыл свои недавние увлечения, всецело отдавшись новым идеям и чувствам.

Конечно, «якобинство» московской графини было наносное, фальшивое. Впоследствии, сделавшись писателем, Слепцов показал, как ненавистен ему этот фразистый либерализм дворянской формации. Сам он к тому времени уже безоглядно «ушел в разночинцы». В этом не было ничего необычного. После Крымской войны, обнаружившей всю гнилость феодального строя, лучшие представители передового дворянства вступали на путь революционной борьбы.

Осенью 1860 года Слепцов, по поручению этнографического отдела Географического общества, отправился пешком в дере-

[1] *В. С. Марков.* Биография Слепцова. — «Исторический вестник». 1903. № 3, с. 967.

венскую глушь собирать народные пословицы, песни и сказки, чтобы потом напечатать их в специальном издании. К этому побуждал его В. И. Даль, знаменитый исследователь великорусского живого языка. Слепцов был знатоком в этой области и сам любил исполнять (особенно в кругу молодежи) веселые и заунывные народные песни. Но после первых же дорожных впечатлений он и думать забыл о пословицах, песнях и сказках и принялся изучать мучительно тяжелую жизнь тамошних крестьян и рабочих.

С зонтиком в руке, весь увешанный самодельными мешками и сумочками, чрезвычайно изящными, но, как вскоре оказалось, ненужными, он вышел за Рогожскую заставу и зашагал по знаменитой «проторенной цепями» Владимирке. В лицо ему дул беспощадный октябрьский ветер, сбивая с ног и обдавая пылью. В первой же подмосковной деревне он направился прямо к попу, разбудил его и скороговоркой спросил, как живется рабочему люду на соседних Ивановских фабриках. Тот долго спросонья безмолвствовал, а когда заговорил, то лишь затем, чтобы выпроводить незваного гостя за дверь.

Гость не обиделся и, вежливо поклонившись попу, отправился на ближайшую фабрику, где с такой же прелестной учтивостью спросил у ее хозяина, как велика прибавочная стоимость, которую тот выжимает из подвластных ему рабочих. Хозяин фабрики, по примеру попа, немедленно выставил молодого человека за дверь, но молодой человек не обиделся, а пошел к другим фабрикантам и всюду задавал один и тот же вопрос. Ответ, конечно, получался везде одинаковый.

— Ты мне, голубчик, легарии-то эти не читай! — кричала ему, например, одна владелица текстильной фабрики. — Что ты дурочку-то строишь из меня, я и так не умна. Не на такую напал. Мы, голубчик, всяких видали. Нас на бобах не проведешь.

Он поклонился ей с преувеличенной вежливостью, взвалил на себя все свои изящные сумки и зашагал по дороге, размышляя о том, что, должно быть, деятельность этих достопочтенных господ не отличается кристальной чистотой, если они предпочитают вести свои дела бесконтрольно и на пушечный выстрел не подпускают посторонних людей к изучению их коммерческих тайн.

Пробираясь пешком от деревни к деревне, он наконец дошел до тех мест, где производилась постройка Московско-Нижегородской железной дороги.

Как въедливый следователь, Слепцов принялся собирать материалы для обвинительного акта против руководителей этой постройки, разоблачая ту систему узаконенных подлостей, при помощи которой инженеры, подрядчики и прочие хищники экс-

плуатируют крестьян и рабочих, и установил очень четко, что дело здесь не в отдельных грабителях, а во всем государственном строе.

Так создались его очерки «Владимирка и Клязьма», которые он напечатал в 1861 году в малоизвестном либеральном журнальчике «Русская речь», издававшемся той же Евгенией Тур.

Уже здесь, в его первом произведении, сказался тот художественный метод, которому он был верен всю жизнь: он нигде не морализует, нигде не высказывает своих гневных или горестных чувств, он будто только о том и заботится, чтобы без всякой тенденции зарисовать для читателя все, что ни встретится ему на дороге, но из этих зарисовок, казалось бы, таких случайных и мелких, словно сама собою, словно помимо его авторской воли, слагается картина чудовищного разорения, голода, холода, рабства, болезней, насилий, обид. А сам автор при этом как будто стоит в стороне, как будто и не догадывается, что все изображенное им побуждает к борьбе и протесту.

В этих путевых заметках Слепцов показал себя одним из больших мастеров того трудного жанра, который называется очерком. Слепцов-очеркист и до сих пор не оценен по достоинству. Его очерки и посейчас остаются зачастую неведомыми даже для историков этого литературного жанра.

«Русская речь» ратовала за воскресные школы, за эмансипацию женщин, за улучшение быта ремесленников, но все же слепцовские очерки шли вразрез с ее умеренно либеральной программой. Даже странно читать на ее столбцах его язвительный очерк «На выставке», где он с таким плебейским сарказмом обличает пустоголовость и праздность так называемого высшего общества.

Стало ясно, что «Русская речь» для него неподходящая трибуна. Порвав с этим журналом, Слепцов осенью 1861 года поспешил в Петербург и там среди революционно настроенной молодежи шестидесятых годов почувствовал себя в своей атмосфере.

Он познакомился с Некрасовым, Салтыковым-Щедриным, Чернышевским и был принят ими как желанный сотрудник. Думается, что Некрасов особенно высоко оценил его очерки, посвященные постройке Московско-Нижегородской железной дороги: когда читаешь эти очерки, трудно отрешиться от мысли, что через несколько лет они в какой-то мере нашли отражение в некрасовской «Железной дороге», — особенно та насыщенная сдержанным гневом глава, где изображаются грабительские махинации подрядчиков.

Было решено, что Слепцов даст «Современнику» такую же серию очерков, где будет нанесен еще один сильный удар по основному догмату дворянского либерализма: будто в условиях само-

державного строя возможно хоть какое-нибудь мирное улучшение народного быта.

Темой этих обличительных очерков был намечен рекламируемый либералами город Осташков.

Газеты в то время кричали о его высокой культурности, о его банке, библиотеке, театре, детских яслях и женской гимназии. Считалось, что своей несравненной культурностью Осташков обязан благодетельному усердию местного купца-фабриканта, которого хором прославляла вся либеральная пресса.

Слепцов побывал в Осташкове, досконально изучил «достижения» его хваленой «культуры» и в ряде блистательно написанных очерков выяснил, что эта культура есть, в сущности, дешевая и никуда не годная ширма, за которой несколько ловких дельцов скрывают свою кровососную деятельность.

«Письма об Осташкове» появились в «Современнике» 1862—1863 годов и вызвали большое сочувствие в читательских массах. Слепцов сразу выдвинулся в первые ряды литераторов как лучший очеркист своего времени: в этих «Письмах» глубокий анализ социальных явлений сочетается с изящною живописью и мягким обаятельным юмором.

Салтыков-Щедрин тогда же раскрыл в «Современнике» подлинный смысл этих якобы непритязательных «Писем». «По-видимому, — писал он, — там нет ни таблиц, наполненных цифрами, ни особых поползновений на статистику... Люди закусывают, пьют ужаснейшую мадеру, несут всякий вздор о старинных монетах и жетонах; однако за всей этой непроходимой ахинеей читателю *воочию сказывается живая жизнь целого города с его официальною приглаженностью и внутренней неумытостью, с его официальным благосостоянием и внутреннею нищетою и придавленностью*»[1]. (Курсив мой. — *К. Ч.*)

Еще до того, как в «Современнике» закончилось печатание осташковских писем, Слепцов выступил в обновленной «Северной пчеле» с тремя небольшими рассказами («На железной дороге», «Уличные сцены» и «Вечер»), где впервые могло проявиться замечательное его мастерство в воспроизведении всевозможных оттенков простонародного говора. В рассказах был легко уловимый оппозиционный подтекст. В той же газете он поместил и статьи (см., например, его корреспонденцию из Новгорода — об открытии памятника «Тысячелетию России»)[2].

---

[1] «Несколько полемических предположений». — «Современник». 1863. № 3, с. 1—2.

[2] «Северная пчела». 1862. №№ 243—244. Корреспонденция воспроизведена в «Литературном наследстве». Т. 71. М., 1963, с. 296 и след.

Но «Северная пчела», одно время заигрывавшая с передовой молодежью, вскоре сильно шарахнулась вправо, и Слепцов счел необходимым порвать с нею раз навсегда. По приглашению Некрасова он тогда же окончательно перешел в «Современник» и с 1862 года сделался его ближайшим и постоянным сотрудником. Но в 1862 году «Современник» был приостановлен, — и лишь весною следующего года стал выходить опять при ближайшем участии Слепцова. Работа плечом к плечу с Салтыковым-Щедриным и Некрасовым так окрылила молодого писателя, что он с удесятеренными силами отдался литературной работе. Никогда — ни раньше, ни потом — он не был так плодовит и активен. Редкая книга журнала в 1863 году выходила без его рассказа или статьи. Кроме того, он тогда же стал деятельным сотрудником радикальной газеты «Очерки».

Вообще этот год — 1863 — был, так сказать, кульминацией его жизни и творчества, самой кипучей порой его деятельности. В этом году он написал и поместил в «Современнике» лучшие из всех своих рассказов — «Питомку», «Сцены в больнице», «Ночлег».

Наиболее яркие из всех его журнальных статей тоже написаны в 1863 году. Замечательно, что большинство воспоминаний о нем — и Скабичевского, и Екатерины Жуковской, и Авдотьи Панаевой, и Николая Успенского, и многих других — тоже относятся к этому году, так как именно тогда, в тот короткий период — или, вернее, сезон, — он сделался одной из самых заметных фигур Петербурга, особенно среди передовой молодежи.

«На него смотрели, — пишет в своих воспоминаниях В. И. Танеев, — как на основательного, глубокомысленного молодого человека, решительного радикала, глубоко убежденного и в высшей степени способного направлять других»[1].

Студенты наперерыв приглашали его на свои вечеринки, где он великолепно играл на гармонике, пел народные и революционные песни, читал свою «Питомку» и «Спевку» — в сущности, не читал, а разыгрывал в лицах, так как обладал незаурядным актерским талантом. Но, конечно, не в этом был пафос его тогдашней хлопотливой и лихорадочной деятельности: с обычной своей энергией он включился в борьбу за эмансипацию женщин и отдал этой борьбе много сил.

Женский вопрос был в то время вопрос боевой и жгучий. Среди разночинной молодежи шестидесятых годов было небывалое множество женщин, вырвавшихся из плена ветхозаветной семьи.

[1] *В. И. Танеев.* Слепцов. — «Литературное наследство». Т. 71. М., 1963, с. 522.

Ими был наполнен тогда Петербург. Они приезжали из дальних захолустий с неопределенным стремлением — «работать, учиться», но у них не было ни опыта, ни знаний, ни привычки к труду. Ненавидевшие их охранители старорусских устоев издевались над их неумелостью, а революционные демократы, считая, что борьба за раскрепощение женщин тесно связана с борьбой за раскрепощение народа, пытались оказать им посильную организационную помощь.

Во главе «женского движения» в ту пору стояли замечательные русские женщины — Надежда Васильевна Стасова, сестра знаменитого критика, Мария Васильевна Трубникова, дочь декабриста Ивашева, и Анна Николаевна Энгельгардт, переводчица, жена известного публициста и химика, и другие. Вокруг них сплотились десятки таких же энтузиасток-общественниц. Они основали и «Общество переводчиц», и «Артель издательниц», и многие другие «предприятия» для оказания помощи интеллигентным трудящимся женщинам. С ними-то и сблизился в ту пору Слепцов. В том же 1863 году он стал с увлечением участвовать во всех их делах и затеях: обучал женщин переплетному делу, читал им научные лекции, помогал им в их литературных начинаниях, устраивал в пользу их артелей и обществ концерты, вечера и спектакли и т. д. Мудрено ли, что в самое короткое время он стал в этих петербургских кругах одним из популярнейших поборников «женского дела».

«Он не искал популярности, — вспоминает Е. Водовозова, — она сама пришла к нему и была результатом той неутомимой деятельности, с какою он проводил в жизнь идеи шестидесятых годов и особенно идею женской эмансипации. Он находил, что женщина в русском обществе самое обездоленное существо, и отдавал все силы своих богатых способностей, чтобы помочь ей выйти на самостоятельную дорогу»[1].

Каждый день у него были новые планы: основать бюро приискания работы для женщин, открыть для них контору переписки бумаг, наладить артель типографских наборщиц и пр.

Осенью того же года он, под влиянием романа «Что делать?», который только что появился в печати, устроил в Петербурге на Знаменской улице общежитие для кружка молодежи, вскоре получившее известность под именем Знаменской, или Слепцовской, коммуны. Таких коммун было много в то время, особенно в Москве и в Петербурге.

[1] *Е. Н. Водовозова.* Василий Алексеевич Слепцов. — «Голос минувшего». 1915. № 12, с. 110.

На первых порах он придавал своей коммуне большое значение и, выполняя завет Чернышевского, намеревался ввести в нее производственный труд, чтобы таким образом мало-помалу превратить ее в нечто вроде социалистического фаланстера Фурье.

Но коммуна не удалась, как вообще не могли удаться никакие коммуны при самодержавно-полицейском режиме. Ее жильцы принадлежали к различным социальным слоям: наряду с подлинными «нигилистами» там поселились «нигилисты» поддельные, либералы из зажиточных помещичьих гнезд, между ними начались нелады, и к концу сезона коммуна распалась. Главная причина — беспощадная полицейская травля.

3

Устройство Знаменской коммуны считается чуть ли не главным событием во всей биографии Слепцова. Нет, кажется, таких мемуаров о нем, где не упоминалось бы об этой коммуне. Ее не раз изображали в беллетристике — и Лесков, и Всеволод Крестовский, и граф Салиас и др. Столько же чрезмерного внимания уделялось в мемуарной литературе его участию в так называемом «женском движении».

Но если бы мы захотели на основании подобных источников узнать, что за человек был Слепцов и какие мотивы руководили тогда его неутомимою и разнообразною деятельностью, — мы получили бы очень неверное представление о нем и о его роли в революционной борьбе шестидесятых годов.

Если судить по воспоминаниям Панаевой, можно подумать, что он был гуманистом либерального толка, мягкосердечным и жалостливым, склонным к самой пылкой филантропии[1].

А Скабичевский рисует его чуть ли не циником, холодным и черствым, неспособным ни к каким увлечениям, надменно глумящимся над человеческим горем.

Между тем в нашем распоряжении есть ряд документов, достоверно освещающих его тогдашнюю деятельность, и нельзя не пожалеть, что долгое время эти документы никем не учитывались. Если бы мы раньше ознакомились с ними, они положили бы конец кривотолкам о политической физиономии Слепцова и помогли бы понять самую суть его убеждений и взглядов, которая и в настоящее время все еще остается недостаточно выясненной.

Я говорю о его статьях в «Современнике», написанных в том же 1863 году и ныне совершенно забытых.

---

[1] См.: *А. Я. Панаева.* Воспоминания. М., 1956, с. 327—349.

Статьи эти на поверхностный взгляд гораздо слабее его беллетристики и часто кажутся какими-то вымученными. Поэтому никто из писавших о его литературном наследии не обратил на них серьезного внимания. Их никогда не перепечатывали из старых журналов. Считалось, что они справедливо обречены на забвение, так как представляют собою самый заурядный журнальный балласт.

Но вот, просматривая одну из этих забытых статей, я, к немалому своему удивлению, обнаружил в ней такие черты, каких не замечал до сих пор. Черты эти оказались так ярки и жизненны, что вся статья зазвучала по-новому. Стало очевидно, что она вся зашифрована, что, кроме явного смысла, в ней имеется тайный, и что, значит, для нас важен не ее текст, но подтекст. Текст может казаться и сумбурным и скучным, а подтекст волнует и сейчас, потому что он посвящен самым острым вопросам той великой исторической эпохи.

Оказалось, что передо мною шедевр эзоповой речи, и едва только я попытался расшифровать эту речь, я не мог не прийти к заключению, что эта небольшая статья есть один из самых смелых революционных памфлетов, какие когда-либо появлялись в легальной печати шестидесятых годов.

Так как по самому своему существу эта погребенная в старом журнале статья является наилучшим ключом к раскрытию идейных позиций Слепцова, необходимо вникнуть в нее возможно внимательнее.

У статьи безобидный заголовок: «Петербургские заметки», — и всякому, кто бегло перелистает ее, в самом деле может показаться, что вся она с начала до конца посвящена столичным увеселениям и празднествам. Чтобы окончательно уверить цензуру в ее невинном характере, первая и единственная ее глава называется: «Весенняя прогулка с детьми по санкт-петербургским улицам», — словно речь идет о какой-то беззаботной экскурсии.

Маскировка оказалась удачной: цензура попала впросак, и статья Слепцова без всяких препон была напечатана в «Современнике» 1863 года — в знаменитой апрельской книжке, той самой, где «Что делать?» Чернышевского.

У книжки печальная дата: она появилась в то время, когда разгул реакции успел превратиться в террор. Уже который месяц продолжался поход, предпринятый правительством Александра II против бурных общественных сил, вызванных к жизни революционной ситуацией только что миновавшей эпохи. Еще весною предыдущего года полицейские агенты-провокаторы использовали петербургские пожары, чтобы объявить поджигателями студентов, «нигилистов», приверженцев Герцена — и натравить

на них темные массы. Чернышевский и Михайлов уже были заключены в казематы, и им предстояла гражданская смерть. Польское восстание было подавлено, Муравьев Вешатель широко развернул свою кровавую деятельность. В деревнях свирепствовали розги. Вся передовая печать была приведена к гробовому молчанию: власти сперва приостановили на восемь месяцев «Современник» и «Русское слово», а потом подвергли их суровой цензуре.

И вот в это страшное время, в самый разгар террора, «Современник» Некрасова ставит перед собою задачу, почти невозможную: хотя бы с помощью эзоповой речи довести до читателей гневные чувства и мысли, вызванные мрачной победой правительства. За осуществление этой бесстрашной попытки берется двадцатисемилетний Слепцов, недавний, но уже близкий сотрудник журнала. Искусно пользуясь целой системой недомолвок, иносказаний, намеков, он умудряется — так сказать, в когтях у цензуры — заклеймить антинародную политику Александра II.

Подтекст всей статьи выражает глубочайшее презрение к либеральным реформам правительства — к тем пресловутым «великим реформам», о которых казенная пресса назойливо и громко продолжала трубить как о гуманнейших деяниях царя.

Если расшифровать эти «Петербургские заметки», окажется, что, говоря, например, об увеселительных заведениях столицы, Слепцов разумеет под ними весь аппарат государственной власти, а под канатными и балаганными клоунами — тогдашних либеральных министров Валуева, Головнина и др. И что вообще эти заметки при всей своей непритязательной внешности на самом-то деле стремятся пробудить в русском обществе, только что пережившем правительственный террор 1862 года, волю к дальнейшей борьбе.

Таков подспудный смысл и других публицистических очерков, написанных Слепцовым для некрасовского «Современника» в 1863 году.

Пристально изучив эти очерки, я счел себя вправе настаивать на полном пересмотре укоренившихся суждений о Слепцове как о равнодушном и насмешливом скептике, наблюдавшем в качестве постороннего зрителя трагические перипетии неравной борьбы «народных заступников» с осатанелой реакцией.

Никто из той литературной группы, к которой мы обычно причисляем Слепцова, — ни Решетников, ни Помяловский, ни Николай Успенский, ни Левитов, — не мог бы написать от лица «Современника» подобную редакционную статью, где была бы так четко изложена боевая программа журнала и заключался бы такой явный призыв к революционному действию.

Заявить через голову цензуры о том, что «Современник», несмотря на террор, все же не поставлен на колени и остается попрежнему верен своим революционно-демократическим принципам, было в ту пору актом величайшего гражданского мужества, для которого требовалось — помимо всего — виртуозное владение эзоповой речью. Таким образом, уже в своей ранней статье Слепцов обнаружил и зрелость политической мысли, и незаурядное умение владеть гибкой тактикой революционной борьбы, которую выработал в «Современнике» за несколько лет до того Чернышевский.

Повторяю: здесь первое отличие Слепцова от других молодых беллетристов шестидесятых годов: у него у единственного был талант публициста, и он — единственный — теоретически осмыслил программу вождей революционно-демократической «партии».

Смелый поступок Слепцова не вызвал репрессий, так как в том и заключалось драгоценное качество эзоповой речи, выработанной «Современником» в шестидесятых годах, что, понятная массе читателей, она почти всегда оставалась недоступной чиновникам цензурного ведомства.

Вскоре Слепцов вознамерился выступить с новой статьей, имеющей такой же двупланный характер. На этот раз он попытался совсем иначе замаскировать ее политический смысл: придал ей видимость невиннейшей театральной рецензии, благо незадолго до этого в Петербурге было впервые поставлено «Доходное место» Островского. Эта псевдорецензия Слепцова давно уже считалась утерянной и обнаружена лишь в самое последнее время* и, если не знать о ее скрытом подтексте, она, пожалуй, покажется еще более нескладной, чем прежняя. Но ее подтекст чрезвычайно значителен, ибо Слепцов воспользовался пьесой Островского, чтобы снова протащить сквозь цензуру тайное воззвание «Современника» от имени революционно-демократической «партии» к молодежи шестидесятых годов — и снова укрепить ее в уверенности, что, кроме революции, не существует иного пути к достижению народного счастья.

Казалось бы, не было ни малейшей возможности заявить такую крамольную мысль под гнетом тогдашней цензуры, усилившей свою трусливую бдительность в условиях разбушевавшейся реакции.

Но Слепцов и здесь показал себя мастером эзоповой речи. Исподволь, с помощью целой системы намеков он привел своего читателя к мысли, что при полицейском режиме, охраняемом тюрьмами, штыками, жандармами и бесчисленной ордой цензоров, общественное мнение есть фикция, которой могут тешиться

лишь враждебные народу болтуны либералы, умиляющиеся «благодетельной гласностью». Эта мнимая гласность так же чужда интересам народа, как чужды им «гуманные» реформы царизма, и поэтому для трудящихся масс остается единственный путь — революция.

К этому пути и призывает Слепцов иносказаниями эзоповой речи. «В том-то вся штука, — что для наших героев все дело в словах... Бедные!.. Красивые фразы... были для вас всегда дороже дела. Вы не знали, что делать[1], но тем хуже для вас, друзья мои, тем хуже для вас. Что же вы за герои после этого, если вы не знаете, что вам делать, не знаете, куда деваться с вашим героизмом?»

Уже из этих забытых статеек молодого Слепцова, изложенных тайнописью, которую удалось расшифровать лишь теперь, видно, как велик был революционный накал его мыслей в том самом 1863 году, который, как мы только что видели, находился, так сказать, в центре его биографии. Несмотря на то что в «Современнике» Слепцов был новичком, он сразу же усвоил всю тактику боевой пропаганды журнала и оказался одним из самых верных приверженцев политической программы Чернышевского, к осуществлению которой он, как мы видим, даже в условиях террора безбоязненно призывал молодежь.

Оказывается, что мы, литературоведы и критики, до сих пор не вполне понимали его, ибо в наших статьях о его жизни и творчестве нигде не отмечено, что в деле революционного осмысления тогдашней действительности он на целую голову выше каждого из тех беллетристов, к которым мы до настоящего времени безоговорочно причисляли его[2].

Лучшие его рассказы и очерки (не говоря уже о повести «Трудное время») проникнуты ненавистью ко всему социальному укладу тогдашней России. Если бы нужно было определить в двух словах общую тенденцию его сочинений, я сказал бы, что она заключалась в протесте против того надругательства над человеческой личностью, которое свирепствовало в русском быту. Ежечасное, ежеминутное втаптывание человеческого достоинства в грязь — эта тема всю жизнь волновала Слепцова. Люди в его рассказах давно уже не верят, что есть на земле справедливость, правосудие, бескорыстное участие, добро, — и даже удивились бы, ес-

---

[1] Напоминаю, что в том же году «Современник» только что напечатал «Что делать?».

[2] Через несколько лет после опубликования настоящей статьи ленинградская исследовательница М. Л. Семанова отыскала и детально прокомментировала еще несколько публицистических фельетонов Слепцова (см. ее работы в 71 томе «Литературного наследства». М., 1963, и в «Историко-литературном сборнике». Л., 1966, с. 148–184 и 373–377).

ли бы вдруг оказалось, что кто-нибудь из «сильных и сытых» поступил с ними по правде и совести. Крестьяне, например, так привыкли к грубому своеволию властей, что, прослышав, будто их будут запрягать, как скотов, тотчас же поверили этому слуху: так глубоко укоренилось в них сознание, что начальство лишь затем и существует, чтобы грабить, разорять и обижать. И если, например, старшина начинает слишком умильно говорить им о Пресвятой Богородице, это значит: подавай ему деньги. Едва только голова залопотал о «Престоле Всевышнего», слушатели перебили его:

«Да уж сказывай, что ли, помногу ли с души-то... По гривне, что ли?» («Свиньи»).

Мало того что хозяин в слепцовском рассказе бьет ученика по голове чем попало. Мало того что ученик от ежедневных побоев тяжко заболел и слег в постель. Самое поразительное заключается в том, что хозяин вычитает с побитого ученика за лечение, хотя сам же и причинил ему хворь! («Спевка».)

А еще поразительнее то, что это никого не поражает, что все это считается в порядке вещей.

Казалось бы, бесплатная больница для бедных — воплощение самой нежной заботы о людях. Но Слепцов целой грудой тонко отобранных фактов наглядно показывает, что на бездушно-бюрократической почве даже гуманнейшие учреждения словно нарочно устроены так, чтобы душить и ущемлять человека.

Лечение в этих больницах — одно издевательство. «Нешто долго человека испортить! Это им ничего не значит», — говорят о тамошних лекарях пациенты. «Больница!.. Тоже больницей называется! Да я бы туда паршивой собачонки не положил... Свежему человеку взойти нельзя... как дверь ту отворил, так его назад и качнуло: смрад, духота, стон» («Владимирка и Клязьма»).

Генерал от медицины обходит больных. Но когда больной заявляет ему:

«— У меня было воспаление в кишках.

— Вас не спрашивают! — кричит на него генерал, и обращается к ординатору:

— Это кто такой?

— Больной-с...

— Я вижу, что больной. Кто он такой?

— Мещанин-с.

— Как же ты смеешь надевать колпак? а?»

И т. д.

Даже умирающий не защищен от обид и насилий. У женщины тифозная горячка. Видя, что ей не дожить до утра, ее хватают под

мышки, вытаскивают из-под нее тюфячок и бросают ее на голые доски.

«Ну вот и чудесное дело. Теперь умирай с Богом!» («Сцены в больнице»).

Характерно, что тогдашняя критика готова была объявить безыдейными даже такие рассказы Слепцова. И журнал «Книжник», сочувствующий его направлению, писал:

«Что можно выжать из сцены «В больнице»? Кроме наблюдательности и смешных случайностей, ничего. Эти лохмотья (?) только увеличивают объем книги, не прибавляя никакого (!) достоинства»[1].

4

Но мало того, что мы, как теперь выясняется, не вполне понимали убеждения Слепцова, мы вряд ли в достаточной мере оценили его как художника.

Между тем, если бы от всего литературного наследия Слепцова не осталось ничего, кроме одного-единственного рассказа «Питомка», мы и тогда знали бы, что это был первоклассный художник, очень тонкого и строгого вкуса.

Критики и рецензенты обычно сводят фабулу «Питомки» к изображению тех надругательств, каким подвергалась бесправная женщина в зверином быту старорусской деревни.

Но есть в рассказе и нечто другое, внушавшее тогдашнему читателю надежду и радость, ибо наперекор этому звериному быту с первых же строк возникал светлый образ деревенского праведника, который всем своим нравственным обликом противостоял бесчеловечной жестокости окружающей жизни.

В беглом и кратком наброске Слепцова перед читателем вставал во весь рост замечательный русский характер — щедрый, веселый, открытый, чуждый ханжества, дружески расположенный к людям и притом не только не щеголявший своим благородством, но даже не подозревавший о нем. И что всего драгоценнее — образ этого праведника дан без малейших прикрас. В нем ни одной крупицы сахарина. Им восхищаешься и в то же время веришь в него — потому что это самый обыкновенный мужик того времени, неотесанный, темный, грубый; и, рисуя духовную его красоту, Слепцов не только не скрывает его отрицательных качеств, но всячески подчеркивает их, отчего образ становится правдивым и жизненным. Тем-то и замечательна тонкость изобразительной

[1] «Книжник». 1866. № 2, с. 117–119.

манеры Слепцова, что именно сквозь грубость крестьянина он дает нам почувствовать его деликатность. Отношения этого крестьянина к женщине, которой он оказывает братскую помощь, деликатны, целомудренны, вполне бескорыстны.

В избе, куда крестьянин и его спутница пришли ночевать, их приняли за мужа и жену. Хозяйка избы простодушно сказала:

«— Ну коли ложиться, ложитесь... Ты небось, молодка, с хозяином своим?

— Кто? мы-то, что ли? — отозвался мужик. — Нет, мать, мы врозь. Мы ноне с ней, я тебе скажу, вот как: чтобы ни отнюдь. Мы с ней говеем.

— Что ж так?

— А так; потому спасаться хотим. Вот что... Анисья, ты в сенях?

— Я в сенях.

— Ну, а я пойду на двор».

Это и есть грубость из деликатности: выдавая спутницу свою за жену, он тем самым ограждает ее от обидных подозрений и расспросов.

Образ этого крестьянина имел для читателей шестидесятых годов особый политический смысл, ибо он внушал им уверенность, что (как говорил в своей поэме Некрасов) —

...ни работою,
Ни вечною заботою,
Ни игом рабства долгого,
Ни кабаком самим
Еще народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь.
(III, 362)

Эпиграфом к «Питомке» могли бы служить строки из той же поэмы, которыми вдохновлялись тогда целые поколения бойцов:

Золото, золото
Сердце народное!
(III, 390)

Рассказ Слепцова был высоко оценен в «Современнике». В том же 1863 году Щедрин написал для декабрьской книжки журнала статью, где отзывался с большой теплотой о новом произведении молодого писателя, хваля его главным образом за высказанную им смелую правду.

«В этом смысле, — писал Щедрин, — какой-нибудь коротенький рассказ вроде «Питомки» г. Слепцова гораздо драгоценнее,

нежели целое литературное наводнение, выданное г. Писемским под названием «Взбаламученного моря».

Статья Щедрина по цензурным условиям не могла появиться в печати и была опубликована значительно позже. Примечательно, что суровый сатирик на протяжении года трижды заявлял в «Современнике» о своем сочувствии слепцовским писаниям и о солидарности с его убеждениями[1].

В ту пору оптимизм «Питомки» отвечал насущной социальной потребности, потому что многие наиболее шаткие элементы революционного лагеря, как это постоянно случается в эпохи реакций, растерялись, приуныли и впали в отчаяние. Нужно было снова и снова напоминать этим людям, что народ, которому они отдают столько сил, достоин их жертв и подвигов. Не забудем, что в том же 1863 году была написана знаменитая поэма Некрасова «Мороз, Красный нос», посвященная такому же прославлению «сердца народного».

Этим возвеличением нравственной силы народа (а стало быть, и его революционной потенции) Слепцов наиболее близок Чернышевскому, Щедрину и Некрасову.

Поэтому с таким недоумением встречаешь широко распространенную ложь, будто все слепцовские очерки из народного быта написаны в «смехотворно-отрицательном» духе и глумятся над русским народом. По безапелляционному утверждению народнического критика А. Скабичевского, Слепцов в своих рассказах ограничивается «одною (!) комическою стороною» крестьянской жизни и потому, «кроме смеха, ничего из этих рассказов вы не выносите...». «Факты, выставляемые Слепцовым,— продолжает с таким же пренебрежением критик, — слишком мелочны и случайны, чтобы заставить вас серьезно задуматься над ними, тем более что, гоняясь на комизмом, Слепцов впадает на каждом шагу в утрировку и шарж»[2]. Это дикое суждение о произведениях Слепцова Скабичевский высказывал множество раз. В одной из своих статей он хвалит других писателей за то, что вы не встретите у них «такого высокомерно-легкомысленного глумления над мужиком, какое поражает нас в очерках Николая Успенского и Слепцова»[3].

---

[1] См.: *М. Е. Салтыков-Щедрин.* Полн. собр. соч. Т. 5. М., 1941, с. 233, «Несколько полемических предположений»; «Наша общественная жизнь». Там же. Т. 6, с. 538—539; «Петербургские театры». Там же. Т. 5, с. 175.

[2] *А. М. Скабичевский.* История новейшей русской литературы. Изд. 4-е. СПб., 1900, с. 213—214.

[3] *А. М. Скабичевский.* Мужик в русской беллетристике. — «Русская мысль». 1899. № 4, с. 19. Резкую отповедь Скабичевскому дал Плеханов (см. *Г. В. Плеханов.* Сочинения. Т. X. М.—Л., 1929, с. 312).

Итак, одного из самых упорных и деятельных «народных заступников», создавшего привлекательный образ деревенского праведника, из года в год рисовали читателю зубоскалом, издевавшимся над народною жизнью! Чтобы представить Слепцова в таком чудовищно искаженном виде, критик выбросил за борт, утаил от читателя и «Владимирку и Клязьму», и «Письма об Осташкове», и слепцовские статьи в «Современнике», и даже «Питомку», в которой сказалось благоговейное отношение Слепцова к народу.

Я не приводил бы этих суждений ныне забытого критика, если бы они не были чрезвычайно типичны для многих и многих критических отзывов, посвященных творчеству Слепцова. Черствое, холодное, глумливое равнодушие к людям вменялось Слепцову в вину многими его литературными судьями. Они так и твердили один за другим, будто от его рассказов «веет каким-то холодом, который заставляет подозревать (!) в авторе недостаток чувств»[1].

Это обвинение тяготело над Слепцовым всю жизнь.

И после его смерти нашлись литературные критики, которые объявили его беспринципным скептиком, безыдейным гаером, смеявшимся с бесцельной иронией — «иногда насмешливым, иногда холодным, редко грустным скептиком, для которого в жизни не сохранилось никаких упований»[2]. Но виноваты были его судьи, а не он. Они никак не умели привыкнуть к его своеобразному стилю: к нарочитому спокойствию авторской речи, лишенному интонаций протеста и гнева, к полному отсутствию внешнего пафоса. «Черствость» и «холодность» Слепцова они видели в том, что, описывая «свинцовые мерзости» русского быта, он нигде не проклинает, не жалуется, не кричит от негодования и боли. Голос у него при всех обстоятельствах ровный, эпически сдержанный. Он протокольно констатирует факты, нигде не высказывая своего отношения к ним. Какая бы ни клокотала в нем ненависть к «сильным и сытым», как бы ни возмущался он эксплуататорским угнетением масс, он предпочитает выражать свои чувства исключительно при помощи образов.

Он хочет, чтобы изображенные им картины произвола, невежества, нищеты и бесчеловечной жестокости говорили сами за себя и сами побуждали читателя к протесту и гневу.

Всю свою ставку он делает на убедительность, правдивость и жизненность образов, уверенный, что они не нуждаются ни в каких комментариях.

---

[1] *Е. И. Утин.* Из литературы и жизни. Т. I. СПб., 1896, с. 36–37.

[2] См., например, «Русские ведомости». 1903. № 81.

Но эта эстетика была чужда тогдашнему рядовому читателю, мнимое невмешательство автора в изображаемую им «уродскую» жизнь было для них непривычно и чуждо. Они не могли освоиться с литературной манерой Слепцова, которая нашла свое оправдание лишь гораздо позднее в гениальных творениях Чехова. Впрочем, Чехов и сам до конца своей жизни был таким же непонятым автором — и по той же причине: не умея осмыслить его сложную и тонкую живопись, критики, глухие к языку его образов, с тупым постоянством твердили о нем, будто он «индифферентист», у которого «холодная кровь» и который совершенно лишен какого бы то ни было «морального стержня»!

Теперь, после того как пять или шесть поколений наконец-то научились разбираться в сложных художественных концепциях Чехова, очерки и рассказы Слепцова стали для нас гораздо понятнее. Но в то далекое время читателю, не освоившемуся с его якобы «объективистской» литературной манерой, и вправду могло показаться, будто он, как посторонний прохожий, безучастно наблюдает страдания людей и с полнейшим равнодушием регистрирует эти страдания на страницах своих рассказов и очерков.

Возьмем хотя бы его первый рассказ «На железной дороге». Там в числе других пассажиров вагона изображен мимоходом деревенский мальчишка, который едет в город поступать на завод. Слепцов не только ни словом не высказывает своих симпатий к нему, но тут же дважды сообщает читателю, что мальчишка и сам, по всей видимости, равнодушен к своей судьбе. Он, — говорит Слепцов, — «*равнодушно* болтает ногами» и «*равнодушно*» отвечает на расспросы едущей с ним — и тоже равнодушной — старухи. Та спрашивает его от нечего делать:

«— Что это у тебя на лбу-то? аль родинка?

— Тятька хворостиной, — равнодушно отвечает мальчик, потрогав это место пальцем.

— Как же это он тебя?

— Я в лес убег.

— Зачем же ты убег?

— От фабрики.

— Ну, а он тебя пымал?

— И пымал.

— Ах, голубчик ты мой! Ну что ж? Тут он тебя хворостиной-то и попужал?

— Вперед хворостиной, а после домой привез, лошадь отпряг и зачал вожжами пужать: все пужал, все пужал; мать отняла — он матери дугой глаз вышиб.

— Ах, ах, ах! Что ж он у вас такой? Аль горяч?

— Нет, не горяч, — он купцу должен».

Крохотный диалог — полстранички! — произнесенный с наружным спокойствием, но в нем отчаянный вопль о страшной беде, разразившейся над пореформенной крестьянской семьей: тут и ребенок, с малых лет обреченный на фабричную каторгу; и мать ребенка, бессильная спасти его не только от фабрики, но и от побоев тирана-отца; и отец, который, оказывается, совсем не тиран, а просто замученный нуждой человек, срывающий на близких свою душевную боль. Боль эта вызвана тем, что, не успев вырваться из-под гнета помещика, он очутился в более лютых тисках кулака. И все трое чувствуют, что их беда имеет стихийный характер, что тут действует непреложный социальный закон, и даже мальчик вполне сознает, что отец не виноват в своем буйстве. Отсюда та краткая, но веская формула, которой он заканчивает весь разговор:

«Нет, не горяч, — он купцу должен».

Вот каким огромным содержанием насыщены эти беглые строки, лишенные всякого внешнего пафоса.

Если бы о той же крестьянской семье стал писать, например, единомышленник и сверстник Слепцова Александр Левитов, он тут же поведал бы в красноречивых и многословных периодах, какую щемящую жалость вызывает в нем ее нищета, он продекламировал бы (со множеством восклицательных знаков!) о том, как ужасен для крестьянина капиталистический гнет, сменивший помещичьи крепи; он заставил бы и мальчика, и мать, и отца произносить по этому поводу пылкие речи, совершенно немыслимые в крестьянском быту, — и эта, по выражению Горького, «хмельная и многословная лирика» пришлась бы по вкусу очень многим простодушным читателям, неспособным оценить и понять многозначительность художественных зарисовок Слепцова[1]. Писатель, все красноречие которого не в словах, а исключительно в образах, не мог не казаться Скабичевским и Утиным бесстрастным регистратором мимолетных явлений.

5

Особенно охотно Слепцов регистрировал мельчайшие телодвижения и жесты своих персонажей. Жестам он вообще придавал очень большое значение: они часто открывали его зоркому глазу душевную жизнь людей. Но отмечал он эти жесты очень скупо, предоставляя читателю самому догадаться, какое содержание скрывается в его коротких и отрывистых ремарках.

[1] См.: *М. Горький.* Сочинения. Т. 25. М., 1953, с. 347.

Поучительно всмотреться в эти ремарки Слепцова, сделанные им хотя бы в той же «Питомке». Здесь с первых же страниц мы читаем:

«...*Баба* свернула с дороги...», «*баба* поклонилась...», «*баба* все шла и молчала...», «*баба* подумала, подумала, села...», «*баба* посмотрела на свои тощие, загорелые ноги...», «*баба* полезла было к себе за пазуху, однако ничего оттуда не достала», — и так до последней страницы: «*баба* между тем встала, оправилась и повязала платок...»

Целая цепь однообразных словесных конструкций, совершенно одинаковых по своей синтаксической форме с упрямым повторением слова «баба»:

...«баба взяла крендели...»

...«баба вошла в избу...»

...«баба вскочила ни свет ни заря...»

...«баба молча пристально глядела вперед...»

Читателям, не освоившимся с манерой Слепцова, может и впрямь показаться, будто какой-то механический аппарат отмечает малейшее движение героини рассказа. Но в итоге всех этих якобы равнодушных, однообразных ремарок вскрывается потрясающая трагедия матери, у которой грабительски отнят ребенок. И, вдумавшись, начинаешь понимать, что всякая другая манера никогда не вызвала бы такого горячего чувства. Слепцовские ремарки в сумме своей означают, что эта женщина живет как сомнамбула; что для нее в окружающем мире уже не существует ничего, кроме ее любимого «детища». Она глуха и слепа ко всему остальному. Она одержимая. Порваны все ее связи с людьми и природой. Она не замечает ни ласковой помощи, которую оказывает ей добродушный попутчик, ни насмешек, которыми язвят ее злобные бабы и пьяницы. Для нее уже не существует ни зла, ни добра. Вся она охвачена вопросом: «где моя детища?» — других вопросов у нее нет никаких. Именно этот лунатизм, эту маниакальность, одержимость, отрешенность от всего человеческого Слепцов великолепно выражает своими отрывистыми, эпически-бесстрастными фразами, которые по контрасту с волнующим содержанием рассказа ударяют по сердцу больнее всего.

Вот сколько внутреннего смысла находил наблюдательный автор даже в малозаметной жестикуляции своих персонажей. Даже самые мелкие их телодвижения обладали для него такой выразительностью, что их невозможно забыть:

«...дьячок искал в передней свои галоши, но долго не мог их найти. Наконец попал ногой в чей-то валявшийся на полу картуз и ушел домой».

Или:

«...хозяйка вошла в избу и, доставая из рукава блоху, спросила...»

В большинстве случаев Слепцов отмечает лишь те из человеческих жестов, которые дают представление о психических переживаниях людей. Когда, например, Щетинин в повести «Трудное время» узнал, что его молодая жена стала для него чужим человеком, он «схватил щетку и начал чесать себе голову. Чесал, чесал долго, *кстати и комод почесал»,* — бессмысленный жест, но такой характерный для того, кто ошалел, растерялся и переживает душевную тревогу.

Так же многозначительны, хотя и еле заметны, жесты того мальчугана, которому по дороге из деревни на фабрику вдруг напомнили о покинутой матери:

«Мальчик вместо ответа проводит себе под носом рукою и очень усердно начинает отвертывать угол платка, лежащего у него на коленях.

— Что ж ты, глупенький, платок-то рвешь?»

Вместо подробного рассказа о переживаниях ребенка Слепцов и здесь попытался раскрыть его внутренний мир лишь при помощи его телодвижений.

Этим он предъявлял к читателю нелегкие требования, ибо далеко не всякий читатель способен понять, что, если едущий в поезде мальчик «очень усердно начинает отвертывать угол платка, лежащего у него на коленях», и дергает его так, словно хочет порвать, это значит, что молчаливое горе, растравленное неуместным вопросом, нахлынуло на него с удвоенной силой и не может найти для себя никакого другого исхода, кроме бесцельной расправы с платком.

Требовался высококвалифицированный, изощренный читатель, чтобы по-настоящему расшифровать такие мелкие, еле заметные жесты, упомянутые словно мимоходом.

Это и приводило к тому, что до самого последнего времени Слепцов оставался непонятым.

Причина непонимания заключалась, я думаю, также и в том, что Слепцов писал в нескольких жанрах, и каждому жанру у него соответствовал особенный стиль, о чем никак не могли догадаться его литературные судьи, которые ко всем его вещам применяли один и тот же убогий аршин.

Между тем наряду с такими вещами, как «Вечер», «Питомка», «Спевка», «Трудное время», «Ночлег», которые вполне отвечали требованиям реалистической правды, Слепцов тяготел иногда к другому, прямо противоположному жанру — к необузданной и откровенной буффонаде, к гротескным преувеличениям, к шаржу.

Если, например, рядом с «Питомкой» поставить такие бурлески Слепцова, как «Мертвое тело» и «Свиньи», покажется, что они написаны другим человеком: другой «почерк», другая манера письма.

Вместо свойственной ему щепетильной правдивости — здесь разгул самой буйной фантастики.

Вместо чувства художественной меры — чрезмерно сгущенные краски, гиперболическая утрировка событий и образов.

В одном рассказе крестьяне хлопочут о том, чтобы живой человек разыграл из себя мертвеца, и очень огорчаются, когда становится ясно, что этот мертвец — живой. В другом рассказе крестьяне охвачены паникой и совершают ряд анекдотически несуразных поступков, едва только им сообщили, что путешествующий граф Остолопов (а на самом деле наследник престола) заедет по пути в их село.

Эти-то два рассказа — «Мертвое тело» и «Свиньи», — которые стоят особняком во всем литературном наследии Слепцова, которые составляют чуть не двадцатую часть всего, что было написано им, почему-то долго заслоняли от критиков все прочие его произведения и создали ему репутацию «комика», бессердечно насмехавшегося над русскою жизнью. Этими рассказами упорно характеризовали *всё* слепцовское творчество, хотя именно они наименее показательны для автора «Трудного времени», ибо, написанные под сильным влиянием Горбунова и Николая Успенского, они не отличаются большой самобытностью и не в них отражена писательская личность Слепцова.

Конечно, подобные бурлески имеют законное право на существование в искусстве, и те критики, которые порицали их автора за пристрастие к этому жанру, должны были бы забраковать заодно и гоголевский «Нос», и щедринскую «Историю одного города», и «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина, и «Баню» и «Клопа» Маяковского.

Даже того не захотели принять во внимание, что идейная направленность этих бурлесков Слепцова совершенно та же, что в остальных его рассказах и очерках, и причисляли их к никуда не годным «лохмотьям». Между тем эти-то очерки и казались большинству его критиков характерными не только для всей его литературной манеры, но и для его духовного облика.

6

Но я до сих пор не отметил сильнейшей стороны его искусства. Эта сильнейшая сторона заключалась в артистически тонком и глубоко правдивом воспроизведении речи изображаемых им

персонажей. Повышенная чуткость к звучанию слова — один из наиболее богатых ресурсов слепцовского творчества. Мало знает наша литература писателей, у которых был бы такой изощренный и внимательный слух.

Если какой-нибудь из его персонажей произнесет слово черт, как *чхерт*, а другой вместо миленький скажет — *миленькяй*, а третий скажет — *машионально*, чуткое ухо Слепцова тотчас же отметит эти отклонения от фонетической нормы.

Слово «жизнь» русские люди произносят по-разному. Один говорит: «*жистъ*», другой — «*жись*», третий — «*жызь*», и все эти разновидности тщательно фиксируются в слепцовских рассказах.

Изредка он вводит такие явные уродства языка, как «*гулстук*», «*оргинатор*», «*кетрадка*», «*пирюли*», — и, конечно, у другого писателя, наделенного менее взыскательным вкусом, такие слова-калеки произвели бы впечатление утрировки и фальши, но Слепцов распоряжается своим языковым материалом с замечательным чувством меры, никогда не щеголяет «словечками», не выпячивает их, не делает их самоцелью. Те или иные словесные формы почти всегда призваны у него обрисовать человека. Оттого-то в лексику его персонажей веришь. Она художественно оправданна. И когда мать говорит у него о своей маленькой дочери:

«Девочка вутэдакинькая!»

Или регент, управляя хором, командует:

«Баса́, взять верха́! Тенора́, капни и уничтожься!»

Или когда вор объясняет:

«Сняли меня с чердака и зачали и зачали лудить!» — вы словно слышите их голоса, вы верите, что именно так они и говорили в действительности, потому что за каждой этой причудливой фразой виден живой человек.

Во «Владимирке и Клязьме» изображен у Слепцова нищий-пропойца, бывший интеллигент, то и дело стреляющий в своего собеседника такими торопливыми словами: «Блродный человек», «рблепный двор», «мтериалист», — и это конвульсивное произношение слов является одной из наиболее выразительных черт его личности.

С первых же страниц слепцовских рассказов и очерков становится ясно, что они были рассчитаны автором на чтение вслух и что, создавая их, он *слышал* в них каждое слово. Недаром он любил исполнять их, как профессиональный чтец, на разных вечерах и вечеринках. Подобно Лескову, он был мастером сказа, и потому зрительные образы нередко бывали у него отодвинуты на второй и на третий план.

Но у Лескова причудливые слова и словечки играли в большинстве случаев орнаментальную роль: то были для него само-

цветы, которыми он с чрезмерною щедростью украшал хитросплетенную ткань своих повестей и рассказов.

Слепцов же обращался с подобными причудами речи в высшей степени бережно, скупо — лишь в тех случаях, когда они характеризовали собою либо какого-нибудь одного человека, либо целую категорию людей.

Так, в его рассказе «Спевка», написанном почти с чеховской силой, регент церковного хора поет, например, «верую во единого Бога отца», переиначивая каждое слово таким противоестественным образом: «Вюрую ву юдюного буга утца».

Эти словесные вычуры, действительно свойственные многим певцам, приведены для того, чтобы показать, что церковники не испытывают никакого благоговения к молитвам, которыми они промышляют изо дня в день, как товаром. Молитвы выродились для них в тарабарщину, и стало даже особенным шиком произносить их без малейшего смысла, — так, чтобы «верую» звучало как «вюрую».

С этим «вюрую» спаяны все прочие образы «Спевки», и, когда, например, мы читаем в рассказе, что «божественные» песнопения неотделимы у певчих от денежных расчетов, побоев, плевков и бесчисленных рюмок спиртного, мы понимаем, что «вюрую» здесь не случайность, а закономерная художественная деталь, вполне соответствующая всей идее рассказа.

Обладая такой изумительной чуткостью к звучанию каждого слова, Слепцов ненавидел те мертвые закостенелые конструкции слов, которые обычно свойственны плохой беллетристике. Худосочные романы и повести, где все слова расположены так педантически правильно, как это никогда не бывает в живой человеческой речи, казались ему грубым нарушением подлинной реалистической правды.

Живая человеческая речь была так дорога для Слепцова, что он охотно вводил в свои рассказы и очерки даже чуждые всякой грамматике сочетания слов: «А редькой-то я сам был свидетелем»,— фраза, казалось бы, предельно нескладная, но вполне естественная в живом разговоре; в связи с контекстом она означает, что рассказчик сам видел своими глазами, как некто успешно лечил страдающих от каменной болезни, прописывая им в качестве целебного снадобья редьку.

И вот какими словами господский садовник рассказывает о действии заграничной — тоже целебной — воды:

«Замутит, замутит, и вон. И то из тебя пойдет, что ах».

Это короткое «ах», нарушающее все нормы грамматики, замещает собою, по крайней мере, целую дюжину слов.

Восставая против шаблонных речевых оборотов, гнездившихся в рядовой беллетристике, Слепцов упорно стремился возможно дальше уйти от этих чуждых живому искусству шаблонов. Показательно, что в первом варианте его рассказа «Свиньи» сельский голова говорил о своих роящихся пчелах:

«Матка *как* бык ревет».

Эта конструкция не удовлетворила Слепцова, и во втором варианте рассказа он гораздо более приблизился к подлинной речи:

«Матка *настоящий* бык ревет».

Словом, простонародный язык персонажей Слепцова был по заслугам так высоко оценен Щедриным. Где ни раскрыть слепцовские книги, всюду найдешь колоритную, меткую и бойкую речь «простолюдина», полную выразительных живых интонаций:

«По окаянной шее да святым кулаком...»

«Он у меня одних волос может две головы натаскает...»

«Девка убедительная...», «Шмони вы этакие!..», «Вот лежи так, вверхбрюшкой...», «Вьюга вьюжжит...», «Только и слов у них для меня, что лети да разлети...», «Место потное...»

«— Хороша ли дорога?

— Дорога, брат, Сибирь...»

Как для всякого писателя, который черпает свою главную силу в воспроизведении простонародных живых разговоров, для Слепцова очень важную роль играли ударения на словах. Поэтому он так заботливо отмечал в своих книгах акценты: ни на́ что, не токмо́, должо́н, оро́бел, о́бодрало и т. д. В самом начале своего «Трудного времени» он счел необходимым указать, что когда проезжающий спросил ямщика: «далеко́ ли?», тот ответил: «недале́ко» — то есть изменил ударение, которое было в вопросе, и это придало диалогу ту жизненность, которая для Слепцова была важнее всего. Поэтому же для него имеет такое значение даже то мелкое само по себе обстоятельство, что лавочник (тоже из «Трудного времени») говорит не «ещё», а «еще».

К изучению всевозможных оттенков простонародного говора он был подготовлен с самого раннего детства, которое сначала провел под Воронежем, а после в пензенской деревне и в Москве. Уже в первом своем путевом дневнике он отмечает с большим интересом, что во Владимирской губернии слово *разве* произносится *райе*, слово *тебе* — *тее*, а вопрос *чего*? — произносится *чаво́э*. «Почти под самым Владимиром, — пишет он, — стала попадаться частица *ся* и притом в большем употреблении, нежели где-нибудь в других губерниях». В Московской губернии, по его словам, эта частица «следует обыкновенно за *ка*; например, *на-кася, ну-кася*»...

«а здесь ее приставляют к чему ни попало: *мне-ся, а-ся* (вопрос) и даже *шей-ся*» и т. д.[1]

В «Письмах об Осташкове» такое же скрупулезное внимание к говору тамошних жителей. Вместо «из Москвы», «из воды» они, оказывается, говорят: «*из Москве*», «*из воде*»; от наречия *гораздо* производят сравнительную степень *горажже* и говорят, например:

«Горажже пригляднее стало»[2].

В Пушкинском доме Академии наук СССР сохранились следующие записи Слепцова, сделанные, очевидно, во время его скитаний по России и свидетельствующие о его пристальном внимании к фольклору:

«— Голодухиной волости села Обнищухина.

— Доели хлеб до голых рук.

— Ни кола, ни двора, ни пригороды.

— Ни задавиться, ни зарезаться нечем (такая бедность. — *К. Ч.*).

— Когда деньги говорят, тогда правда молчит.

— Ей щенка, вишь, да чтоб не сукин сын.

— Кто авосьничает, тот и постничает»

и т. д.

То был всего лишь сырой материал, и если бы Слепцов не собирал его с юности в таком изобильном количестве, если бы он не изучил самым тщательным образом этот сырой материал как профессиональный филолог, он никогда не достиг бы таких вершин мастерства, как «Питомка», «Ночлег» и народные сцены из повести «Трудное время».

Мало сказать, что в произведениях Слепцова зрительные образы играют второстепенную роль, — бывают случаи, когда они совершенно отсутствуют. Без них превосходно обходятся и «Сцены в мировом суде», и «Сцены в больнице», и «Сцены в полиции», и «Сцены на железной дороге». Такое преобладание слуховых впечатлений над зрительными отнюдь не является индивидуальной особенностью слепцовской литературной манеры: оно было свойственно почти всей беллетристике шестидесятых годов. Вспомним Павла Якушкина, Помяловского, обоих Успенских.

Обширные — на многих страницах — описания летней и зимней природы, ее красот, закатов, лугов и полей, равно как и опи-

[1] См.: *В. А. Слепцов*. Сочинения. «Владимирка и Клязьма». Т. I. М.–Л., 1937, с. 293.

[2] См.: *В. А. Слепцов*. Сочинения. «Письма об Осташкове». Т. II. М.–Л., 1937, с. 194.

сания наружности каждого из действующих лиц: их физиономий, причесок, походок, одежд, считались тогда принадлежностью дворянской эстетики. Авторы-плебеи, равно как и та демократическая масса читателей, к которой они обращались, считали такое многословное описательство совершенно излишним, ибо им не терпелось раскрыть социальную неправду в отношениях «сильных и сытых» к порабощенному люду, а эта неправда лучше всего обнаруживалась в живых речах, разговорах и спорах, какие слышались тогда в крестьянских избах, больницах, полицейских участках, судах. Слепцов, как и большинство шестидесятников, сводил всякое описательство к минимуму и отдавал больше внимания речам и разговорам своих персонажей.

Среди этих разговоров звучит у него не только простонародная, но и интеллигентская речь — например, идейные словопрения Рязанова с помещиками Щетиниными, женою и мужем, где блестяще переданы интонации и вообще речевые приемы типичного революционного демократа шестидесятых годов.

Редко-редко, словно чего-то стыдясь, словно нарушая какой-то запрет, он давал волю своему тяготению к прекрасным поэтическим образам, и тогда мы встречаем в его путевых дневниках такие необычные записи:

«По всему озеру разлился тот великолепный фиолетовый цвет, который можно видеть только на взморье...» («Владимирка и Клязьма»).

Или:

«Тонкие, прямые стволы, обросшие сероватым мхом и сухими, ползучими травками, — на солнце кажутся металлическими, а красноватые листья мелкого кустарника, точно золотые блестки, рассыпаны по всему лесу... И как хорошо в это время свернуть в сторону, зайти шагов на пятьдесят в самую гущу, в потемки, и смотреть оттуда на песчаную дорогу, освещенную заходящим солнцем». (Там же.)

Но все это — редчайшие случаи, чуть ли не уникумы. Суровой беллетристике шестидесятых годов было не до любования красотами. Только однажды, в одном-единственном месте своих сочинений он позволяет себе обнаружить, как близко принимает он к сердцу изобразительное искусство — живопись, скульптуру и зодчество.

«У этого человека *бездна вкуса*», — говорит он в «Письмах об Осташкове» про некоего иконостасного мастера и любуется его произведениями, «необыкновенно художественными».

И тут же с негодованием бранит уродливую архитектуру осташковской церкви:

«Все это очень грубо, аляповато и *без всякого вкуса*... Иконостас в одном стиле, а стенная резьба в другом... Вообще заметно желание налепить как можно больше всяких украшений, не разбирая, идет одно к другому или нет. Живопись тоже плохая».

Невозможно встретить подобные строки, например, в каком-нибудь романе или рассказе Решетникова. Да и у Слепцова они пробиваются как будто против его воли, нечаянно. Он до того поглощен изображением зол и неправд, уродовавших русскую жизнь, что у него не было ни охоты, ни времени демонстрировать свои эстетические тяготения и вкусы. Но они против его воли сказались в самой форме его лучших вещей.

7

После того как в печати появились почти все его короткие рассказы и очерки, он решил испытать свои силы в работе над созданием романа или повести.

Опыт оказался удачным: в повести «Трудное время», которую он закончил в 1865 году и тогда же поместил в «Современнике», проявились лучшие стороны его дарования: и зрелость политической мысли, и власть над живою, колоритною простонародною речью, и четкий, уверенный, энергичный рисунок при изображении многочисленных сцен из крестьянского быта, которые так изобильно представлены в повести. Кроме ее центральных фигур, очень хороши в ней второстепенные лица: поп, мировой посредник, конторщик, — особенно конторщик, беспросветный пошляк с законченным мировоззрением негодяя — один из родоначальников тех пошляков, которые впоследствии появились в столь разнообразных личинах у Чехова.

В этой повести Слепцов сталкивает типичного нигилиста шестидесятых годов, петербургского писателя Рязанова, с либеральнейшим помещиком Щетининым и, изображая в целом ряде картин хозяйственную деятельность этого «доброго барина», посрамляет его на каждой странице.

Даже такие, казалось бы, благодетельные начинания, как деревенская школа и устройство лечебной помощи крестьянам, подвергаются в повести самым жестоким насмешкам, так как максималиста Рязанова не удовлетворишь этой грошовой филантропией: он жаждет революционного взрыва, который приведет к переустройству всей жизни на совершенно иных основаниях, а микроскопические щедроты помещика, по его мнению, отвратительны тем, что затемняют истинную сущность кровавой войны, которая ведется между двумя сторонами.

Так как, по цензурным условиям, Слепцов не мог высказать эту мысль со всею отчетливостью и часто прибегал к недомолвкам эзоповой речи, его максималистский роман был многими понят превратно. Им почудилось, будто он — мракобес, восстающий против школ для крестьянских детей и врачебной помощи деревенскому люду. Особенно возмущались Слепцовым журналы либерального лагеря. В «Отечественных записках», которые были в ту пору органом дворян-постепеновцев, объявили Щетинина евангельским праведником, а Рязанова — циником, смеющимся над гуманнейшими стремлениями благородного высокопросвещенного деятеля.

Но передовая молодежь без труда разглядела скрытый смысл повести Слепцова. Писарев увидел в ней апофеоз разночинца, «мыслящего реалиста», представителя «новых людей»[1].

Вскоре после напечатания «Трудного времени» Каракозов совершил покушение на Александра II (1866), и полицейским диктатором стал Муравьев Вешатель, кровавый усмиритель польского восстания. Слепцов был арестован Муравьевым в числе других литераторов, участвовавших в прогрессивной печати, причем ему вменялось в вину главным образом основание коммуны. Полиция вообще считала его опасным крамольником. До нас дошел отзыв о нем канцелярии петербургского обер-полицмейстера, относящийся к этому времени:

«Крайний социалист. Сочувствует всему антиправительственному. Нигилизм во всех формах».

Арестованного продержали семь недель в полицейской части, в заплеванной грязной камере, которая кишела клопами; кормили его скудной и отвратительной пищей, он заболел, исхудал, у него опухли ноги, началось кровохарканье, и после настойчивых хлопот матери его отдали ей на поруки[2].

Выйдя из-под ареста и немного оправившись, Слепцов принял участие в организации журнала «Женский вестник», но через пять-шесть месяцев прекратил связи с журналом и вскоре почти охладел к так называемому женскому вопросу.

Шестидесятые годы кончились, началась новая полоса русской общественной жизни; в ней Слепцов уже не нашел себе места. Некрасов, который очень любил его, предоставил ему должность секретаря «Отечественных записок». Слепцов читал чужие рукописи, вел переговоры с сотрудниками, но своего почти ничего не печатал. Все основные его произведения созданы им в са-

[1] См. следующую статью, а также мой комментарий к «Трудному времени» во втором томе собр. соч. В. А. Слепцова. М., 1957, с. 395—406.

[2] См.: *К. Чуковский.* Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934, с. 309.

мое короткое время, в какие-нибудь три-четыре года (1861—1865), а то, что написано им после этого времени, носит отпечаток усталости и никогда не поднимается до уровня его прежних писаний.

Как и в молодости, ему не сиделось на месте. В 1870 году он не раз посещает село Лялино (Тверской губернии), что чрезвычайно тревожит местные власти. 10 июля петербургский обер-полицмейстер сообщил тверскому губернатору, что проживавший в столице «под негласно-бдительным надзором» Слепцов отметился выбывшим в Тверь. Губернатор дал соответствующий приказ полицмейстеру, тот — исправнику, и выяснилось, что, наезжая в Лялино, Слепцов всякий раз останавливался в одной «неблагонадежной» семье, где часто бывали студенты и вообще молодежь. По донесению исправника, «жизнь они ведут весьма свободную, развратную (?!), едят пищу из одного общего горшка, прямо ложками, и вообще во всем замечается коммунизм»[1].

Возможно, что здесь, в этой заброшенной деревенской усадьбе, Слепцов мечтал возродить свою Знаменскую коммуну 1863 года.

Нужда преследовала его еще сильнее, чем прежде. В его тогдашних письмах к Некрасову* то и дело повторяются просьбы: «Пришлите мне рублей сто...», «Мне очень нужны 25 рублей. Пожалуйста, дайте мне эти деньги...», «Дайте мне некоторую незначительную сумму, в настоящее время особенно нелишнюю» и т. д.

Еще в конце шестидесятых годов он задумал обширный роман «Хороший человек», в котором намеревался изобразить так называемое «хождение в народ», типичное для передовой молодежи семидесятых годов. В центре романа Слепцов, очевидно, предполагал поставить молодого дворянина Теребенева, который одно время был близок к революционным кругам Петербурга, а после 1863 года уехал за границу, пытаясь сблизиться там с эмиграцией. Теребенев постепенно приходит к мысли, что подлинное «дело» русского революционера — на родине, в крестьянской среде.

Этот роман Слепцов писал много лет и возлагал на него большие надежды, но написал только первые главы, которые были напечатаны в «Отечественных записках» 1871 года и не имели успеха.

Да они и не могли быть удачными. Вместо бойких зарисовок с натуры и воспроизведения крестьянских речей, которые так удавались Слепцову, он ушел в чуждую ему область мелочного психо-

[1] *Я. Суханов.* Разоблачение царства Савиных. — Сб. «Писатели в Тверской губернии». Калинин. 1941, с. 95—100.

логического анализа. В нем появилась новая черта — склонность к резонерству, к многословным и тягучим рассуждениям, в которых не было и проблеска его прежнего стиля.

Теперь опубликованы по рукописям разрозненные куски этого романа, не вошедшие в напечатанный текст, и можно с уверенностью сказать, что если бы даже роман был закончен, он все равно не имел бы успеха, так как «цензурные опасения» принудили Слепцова выражать свои мысли слишком уже неясными обиняками, намеками, тусклыми и вялыми фразами[1].

И все же эти ненапечатанные отрывки романа гораздо ярче тех, что напечатаны.

Впрочем, вскоре Слепцову пришлось уйти из журнала, потому что он тяжело заболел и уехал на Кавказ лечиться. Болезнь то отпускала его, то возобновлялась опять. Он не находил себе места, побывал и в Таганроге, и в Тифлисе, и в Саратове, и в Киеве, и в Москве, беспрестанно меняя врачей и лекарства.

Самые разнообразные литературные планы не покидали его и во время болезни. То задумает писать большую пьесу в духе Островского, то примется работать над романом «Остров Утопия» — «нечто вроде «Дон-Кихота». «В наблюдениях, в интереснейшем материале не было недостатка, — вспоминает его современница, — планы комедий, рассказов и романов рождались один блестящее и прекраснее другого»[2].

Но у него уже не было сил осуществить эти планы. Многие наброски Слепцова, относящиеся к этому периоду, очевидно, утеряны. Лишь в самое последнее время удалось обнаружить ряд незаконченных рукописей, свидетельствующих, что и в семидесятых годах Слепцов, несмотря на болезнь, не прекращал интенсивной творческой работы. Среди его рукописей наиболее заметное место занимает беспощадно резкая статья об антинародной политике самодержавия на Кавказе. Для этой статьи Слепцов, по его собственным словам, тщательно и долго работал.

В 1875 году он стал сотрудничать в московской «Ремесленной газете», где попыталась сплотиться группа писателей-демократов: Николай Успенский, Минаев, Левитов, Златовратский, Засодимский, Нефедов, Трефолев, — но вскоре ему стало хуже, и он потерял всякую возможность работать.

«У меня ничего нет, — говорил он в то время Танееву, — потому что я не пишу. А не пишу я потому, что у меня ничего нет»[3].

---

[1] См. интересную публикацию Л. А. Евстигнеевой «Хороший человек» в «Литературном наследстве». Т. 70. М., 1963, с. 17–56.

[2] ЦГАЛИ. Ф. 331. Т. I, ед. хр. 4, лл. 3–4; ед. хр. 271.

[3] *В. И. Танеев.* Слепцов. — «Литературное наследство». Т. 71. М., 1963, с. 525.

За ним самозабвенно ухаживала Лидия Филипповна Ломовская, дочь директора Петровско-Разумовской академии, молодая писательница, которой он внушил такое глубокое чувство, что она порвала с семьей и вся отдалась заботам о нем. Никто не знал, в чем его болезнь, мнения врачей разошлись, предполагали рак. Все его денежные средства поглотило лечение, он жил в бедности на пособия Литературного фонда и, переехав к матери в Сердобск, скончался 23 марта 1878 года. За несколько часов до смерти он, по словам его близких, много говорил о Добролюбове[1].

Смерть его прошла незамеченной, и так как у его близких не хватило денег, чтобы выкупить из ломбарда принадлежавшие ему вещи, — в том числе сундук с его рукописями, его литературное наследство почти все погибло.

8

Едва только он скончался, «Отечественные записки» посвятили ему краткий некролог, в котором между прочим сообщали: «Слепцов умер в одном из наших захолустьев, беспомощный, почти забытый»[2].

Вскоре из «почти забытого» он превратился в просто забытого, и, например, в журнале «Колосья» через десять лет после его смерти посвященная ему статья так и была озаглавлена — «Забытый писатель»[3].

В середине девяностых годов Лев Толстой, с похвалою отозвавшись о даровании Слепцова, назвал его опять-таки несправедливо забытым писателем[4].

Под таким же заглавием — «Забытый писатель» — появилась статейка о нем в «Новом времени» в 1903 году к двадцатипятилетию со дня его смерти[5].

В 1915 году историк литературы В. Евгеньев-Максимов, печатая в одном из тогдашних журналов статью о слепцовском романе, — а также о романе другого писателя, — дал ей такое заглавие: «О двух забытых романах»[6].

«Почти забытый», «забытый», «несправедливо забытый», «совершенно забытый», «автор забытого романа» — таким около

---

[1] ЦГАЛИ. Ф. 331. Т. I, ед. хр. 4, лл. 3–4; ед. хр. 272.
[2] «Отечественные записки». 1878. № 4, с. 348.
[3] *А. Кузин.* Забытый писатель. — «Колосья». 1888. № 5.
[4] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». Т. II. М., 1955, с. 35.
[5] *В. Греков.* Забытый писатель. — «Новое время». 1903. № 9715.
[6] «Жизнь для всех». 1915. № 89, с. 1205.

полувека оставался Слепцов после смерти. Газетно-журнальные рецензенты и критики либо третировали его, как третьестепенного автора, либо совершенно замалчивали, и это было чаще всего. Даже его место в литературе шестидесятых годов не установлено с достаточной ясностью. Некоторые и посейчас причисляют его к правоверным народникам, хотя, судя по его повести и по тем материалам, которые впервые приводятся в настоящей статье, было бы нетрудно заключить, что, принадлежа к левому крылу революционно-демократической «партии», он не мог сочувствовать сектантам народничества.

Пренебрежение критики к таланту Слепцова отмечал в свое время Толстой.

— Вот наша критика! — с негодованием говорил он своему собеседнику в 1894 году, возмущаясь ее неумением дать правильную оценку слепцовского творчества[1].

Как известно, великий писатель считал Слепцова и Чехова лучшими представителями юмора в нашей литературе[2]. Он даже утверждал, что Слепцов первый русский юморист после Гоголя[3]. Вообще он всегда отзывался о произведениях Слепцова с любовью, часто читал их вслух своим гостям и домашним — причем, по словам его слушателей, либо «покатывался со смеху», либо «буквально обливался слезами»[4].

Судя по разным мемуарным свидетельствам, Толстой «открыл» для себя Слепцова лишь в восьмидесятых годах. Гораздо раньше, еще в 1863 году, дарование автора «Питомки» было в полной мере оценено Щедриным. Мы уже вскользь упоминали о том, что, едва только Слепцов вступил на литературное поприще, едва только в печати появились его первые рассказы и очерки, великий сатирик прославил молодого беллетриста, отозвавшись с горячим сочувствием об идейной направленности его сочинений и об их замечательной форме. «Язык русского простого человека, — утверждал Щедрин в одной из статей «Современника», — воспроизводится в рассказах Слепцова с той же силой, меткостью, поэзией, с тем же юмором, что и в комедиях Островского и в рассказах Тургенева»[5].

---

[1] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». Т. II. М., 1955, с. 35.

[2] «Русская мысль». 1903. № 4, с. 155.

[3] «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников». Т. I. М., 1955, с. 346.

[4] Т а м ж е, с. 382.

[5] *Н. Щедрин*. Петербургские театры. — «Современник». 1863. № 11; *Н. Щедрин* (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. Т. V. М., 1937, с. 175. Правда, позже, в 70-х годах, когда талант Слепцова утратил свою первоначальную яркость, Щедрин отозвался о его последних вещах отрицательно (т а м ж е. Т. XVIII, с. 339). Но отзыв этот относился не к рассказам, а к журнальным статьям, написанным уже во время болезни.

Из писателей последующей эпохи так же сочувственно отнеслись к таланту Слепцова Чехов и Горький. Чехов говорил Горькому, что Слепцов «лучше многих научил его понимать русского интеллигента, — да и себя самого»[1]. Подобно Толстому, он «смеялся до колик», слушая чтение слепцовских рассказов «Спевка» и «На железной дороге»[2].

Горький нередко выражал свое восхищение Слепцовым в печати. Он называл его рассказы «образцовыми», хлопотал о том, чтобы они были изданы для широких читательских масс, написал предисловие к «Трудному времени» и часто советовал молодым авторам учиться у него мастерству. «Крупный, оригинальный талант Слепцова, — говорил Горький, — некоторыми чертами сроден чудесному таланту А. П. Чехова»[3].

Поучительна эта парадоксальность посмертной судьбы Слепцова: в то время как лучшие наши писатели единодушно восхищались его дарованием, присяжные оценщики литературных явлений даже не приметили, что перед ними сильный художник, взыскательный мастер, правдивым и смелым искусством которого литература шестидесятых годов по праву могла бы гордиться.

«Воскрешению» Слепцова уже в советское время в значительной мере содействовал Горький. Изданное в 1932 году по его инициативе двухтомное собрание сочинений Слепцова (в издательстве «Academia») послужило основой для ряда работ над литературным наследием автора «Трудного времени»[4].

Но главная работа еще впереди: ведь до сих пор не существует сколько-нибудь обстоятельного научного исследования его жизни и творчества. Художественная форма его сочинений остается до сих пор неизученной. Уже то, что некоторые приводимые в настоящей статье материалы стали предметом изучения лишь недавно (хотя они имеют почти столетнюю давность), показывает, что интерес к Слепцову и к его писательской личности все еще не соответствует его литературным заслугам.

---

[1] «М. Горький. Материалы и исследования». Т. III. 1946, с. 146.

[2] «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М., 1954, с. 585.

[3] *М. Горький.* О Василии Слепцове. — Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 24. М., 1955, с. 219.

[4] См., например, *П. М. Михайлов.* Жизнь и творчество В. А. Слепцова. — «Известия Крымского пединститута». Т. 8. Симферополь, 1940; *Я. Суханов.* Разоблачение царства Савиных. — Сб. «Писатели в Тверской губернии». Калинин, 1941; *В. Базанов.* Из литературной полемики шестидесятых годов. Петрозаводск, 1941; *А. Красноусов.* Василий Алексеевич Слепцов. Вступительная статья к изданию избранных сочинений Слепцова, изданных Пензенским областным издательством под заглавием «Избранное». Пенза, 1949; *Б. Мейлах.* Русская повесть шестидесятых годов XIX века. Предисловие к сборнику «Русские повести XIX века». М., 1956, с. XV—XX и др.

Конечно, было бы несправедливо обвинять огулом всю нашу литературную критику в недооценке таланта Слепцова. Исключения были; но их было мало и почти все они сводились к одним декларациям.

Так, в 1903 году, когда газеты и журналы в равнодушных, а порою и враждебных заметках отмечали 25-летие со дня смерти Слепцова, в «Русской мысли» появилась статья, полная глубокой симпатии к забытому автору и кончавшаяся таким предсказанием:

«Как высокоталантливый бытописатель русской жизни на ее переломе, как бесподобный юморист, Слепцов в конце концов «попадет на свою полочку» и займет подобающее ему место и в истории русской литературы, и в сознании русского общества... Вышедшее недавно Полное собрание сочинений Слепцова само скажет за себя и пробьет дорогу к душам читателей, которые от чисто внешнего интереса к имени Слепцова по поводу юбилея, перейдут к увлечению его сочинениями, если только хоть раз возьмут их в руки»[1].

Предсказания автора статьи не сбылись: сочинения Слепцова так и не «пробили дороги к душам» тогдашних читателей. Но можно ли сомневаться, что оценка, данная слепцовскому творчеству Львом Толстым, Салтыковым-Щедриным, Чеховым, Горьким и другими большими художниками, в конце концов восторжествует над той, которую в течение полувека давали ему либеральные народники всевозможных мастей и оттенков. Подлинное искусство — рано или поздно — всегда побеждает предрассудки сектантов, подходящих к нему со своими убогими мерками.

1930–1957

[1] *К.*, В. А. Слепцов. — «Русская мысль». 1903. № 4, с. 157. Возможно, что статья, подписанная буквой К., принадлежит В. В. Каллашу.

Захватило вас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе.

Некрасов

1

В слепцовской повести «Трудное время» есть много таких эпизодов, которые иному читателю, пожалуй, покажутся лишними, не имеющими никакого отношения к сюжету.

Сидит, например, человек на террасе за чаем и рассматривает сургуч на конверте письма:

«Скверный какой нынче сургуч стали делать».

А при чем здесь сургуч, неизвестно. Тема повести как будто ни в каких сургучах не нуждалась.

На другой странице уездный учитель, обедая в клубе с помещиками, спрашивает столь же внезапно:

«Телеграмму посылать будете?»

Какую телеграмму, кому и о чем? И речи не было ни о какой телеграмме.

А на дальнейших страницах — тоже ни с того ни с сего — в повести воспроизводится большой разговор о современных методах дрессировки собак!

И вдруг героиня, тоже без всякого повода, начинает рассказывать о каком-то портрете какого-то смешного старика, которого она видела в детстве.

Какое отношение к сюжету имеет этот смехотворный старик? И что за охота автору загромождать свою повесть ненужностями? Мало ли каких пустяков ни болтают люди от скуки — особенно летом, на даче, — стоит ли автору, взявшемуся за изображение *трудного времени*, воспроизводить эти случайные пустяки в своей повести?

Читатель, незнакомый с литературной манерой беллетристов шестидесятых годов, может, пожалуй, подумать, что эти эпизоды

и в самом деле являются лишними, нарушающими художественную цельность всей повести.

Но в том и заключается особенность литературного стиля Слепцова, что, хотя он организует свое повествование так, будто подобные мелочи находятся вне его темы, на самом деле все они в высшей степени необходимы ему именно для характеристики того *трудного времени*, которому посвящена его повесть.

Возьмем хотя бы разговор о сургуче. Легко установить по косвенным указаниям автора, что этот разговор происходит в июле 1863 года, в разгар польского восстания, то есть в то самое время, когда правительство Александра II принимало энергичные полицейские меры для борьбы с угрожавшей ему революцией. В числе этих мер, как мы знаем, был пресловутый черный кабинет, где производилась перлюстрация писем. Конечно, перлюстрация производилась и раньше, но в то *трудное время*, летом 1863 года, она дошла до небывалых размеров.

В одном из писем, относящихся к этой поре, Слепцов предупреждал свою знакомую, жившую тогда за границей:

«Когда будете писать, не называйте, пожалуйста, фамилий, потому что ваши письма читаются на почте: люди, ни в чем не виноватые, могут пострадать оттого, что их имена попадаются в письмах... да и подпись ваша — вещь совершенно лишняя...»[1]

Это письмо Слепцова помечено июлем 1863 года, то есть той самой датой, когда герой его повести, рассматривая чье-то письмо, заговорил о скверном сургуче:

«— Скверный какой нынче сургуч стали делать.

— А что?

— Да не держится».

Не держится потому, что жандармы, исследуя письма, перехваченные ими на почте, сдирают сургучные печати с конвертов.

Таким образом, то, что на первых порах казалось нам случайным пустяком, оказывается, в сущности, очень важным намеком на тогдашнюю злобу дня.

В связи с этим становится ясен для нас и такой — казалось бы, тоже случайный — разговор двух приятелей, воспроизведенный Слепцовым на одной из первых страниц:

«— Ты мне вот что скажи: отчего ты не писал? И не стыдно тебе это? а?

— Нет, брат, не стыдно. Да что толку писать? Нынче эту манеру бросают совсем».

[1] Письмо к украинской писательнице Марии Александровне Маркович (Марко Вовчок). — Твори Марка Вовчка. Т. IV. Київ, 1928, с. 171.

То есть именно в 1863 году многие были вынуждены в условиях террора совершенно прекратить переписку, чтобы жандармерия не воспользовалась ею для новых обысков, арестов и ссылок. «Нынче эту манеру бросают совсем».

И такова вся повесть Слепцова. Самая, казалось бы, невинная фраза сплошь и рядом оказывается замаскированным выпадом против тогдашней действительности.

Ведь и разговор о телеграмме далеко не так оторван от основного сюжета, как кажется с первого взгляда. Именно тогда, в 1863 году, во время польского восстания, в обывательских кругах установилась трактирная мода посылать после всякой попойки телеграммы усмирителю «польской крамолы» Муравьеву Вешателю с выражением восторга перед его полицейскими подвигами. Изображая ту эпоху, Слепцов, естественно, не мог не отметить и этого характернейшего ее проявления. Потому-то, когда в повести пьяные помещики заговорили за обедом на модную тему — о поимке мнимых бунтовщиков-поджигателей, — тотчас же раздались голоса о верноподданнической телеграмме палачу Муравьеву, ибо в сознании тогдашних обывателей оба эти явления были в теснейшей связи: Муравьев Вешатель стал всесильным диктатором именно после того, как правительство Александра II использовало петербургские пожары для борьбы с революционным движением.

Как мы ниже увидим, даже то обстоятельство, что об этой телеграмме хлопочет уездный учитель, крепко связано с основным содержанием повести.

Иные из ее страниц удалось расшифровать лишь в советское время, когда были обнаружены тексты, в некоторой своей части свободные от царской цензуры.

Так, во всех изданиях до 1932 года печатался следующий рассказ героини:

«У моей няньки картинка была, на которой был нарисован старик. Нянька моя, бывало, пугает им, а я ничего не боюсь. Как посмотрю на него, так и засмеюсь».

При всей своей кажущейся случайности этот отрывок — один из важнейших, так как в нем изображается тот разрыв с традиционными религиозными верованиями, который характеризовал передовую женщину шестидесятых годов. Нужно только вместо слова «картинка» поставить «иконка», и вместо слова «старик» — «Господь Бог».

Таких еле уловимых намеков в повести Слепцова немало. В ней нередко попадаются строки, которые приходится разгадывать, как ребусы. Таков, например, разговор о современной дрессировке собак, который на первый взгляд представляется совер-

шенно лишенным какого бы то ни было смысла. При более пристальном чтении оказывается, что, в сущности, дело идет о новых методах эксплуатации крестьян. Крепостное право тогда только что пало, одни цепи сменились другими, ограбленные реформой крестьяне оказались в новом — экономическом — рабстве у тех же привилегированных классов, которые стали бить их не дубьем, но рублем. Высказать в то время эту истину было, конечно, немыслимо, и вот персонажи Слепцова говорят о собаках:

«— Нынче новая мода пошла — собак не бить...

— Да это вы про собачье гуманство-то? Знаю. Это все пустяки. Ежели ее не бить, то она, дьявол, и поноски подавать не будет.

— Будет.

— Да это вы, должно быть, аглицкого видели понтера. Они, черти, так уже и родятся с поноской: хвост у него сейчас вот! Природная стойка. Мать сосет, а сам стойку делает.

— Какая природная! Дворняжка простая: знаете, бывают мохнатые такие... И пляшет, и поноску подает, и умирает. Что угодно.

— И умирает? Ах, пес ее возьми! Это занимательно. Как же так это? Расскажите.

— Самая простая штука: есть не дают; и до тех пор не дают, пока не сделает. Проморят ее голодом, потом возьмут вот так палку, а здесь кусочек положат — соте![1] Вот она глядит, глядит... делать нечего, перепрыгнет, а тут ей и дадут кусочек».

Притча о собачьем «гуманстве» излагает в аллегорической форме основную идею повести. Внутренне она связана со многими эпизодами «Трудного времени», но цензура этой связи не заметила. Вообще вся повесть зашифрована так, что для многих осталась темна даже ее основная тенденция. Эту тенденцию Слепцов спрятал глубоко под спуд, а на поверхность, для обхода цензуры, выдвинул вполне безобидную фабулу, и таким образом в повести оказались два разных сюжета — один показной, другой настоящий.

2

Показной сюжет банален. Молодой «нигилист», освобождающий женщину из семейного плена, уничтожая в ее душе предрассудки, стал к тому времени трафаретной фигурой журнальных повестей и романов.

[1] Прыгай (*франц.*).

Некий критик либерального лагеря отметил не без злорадства в статейке, претендующей на большую язвительность, что в одном только журнале, в «Русском слове», появились одна за другой три точно такие же повести, имеющие точно такой же сюжет. Он обвинял произведение Слепцова в шаблонности и указал, что во всех четырех повестях один и тот же герой: разночинец из духовного звания. Статья была озаглавлена так: «Четыре повести и один пономарь»[1].

Критик предпочел не заметить, что наряду с этим рутинным сюжетом в повести Слепцова есть другой — самобытный и новый, придающий ей высокую идейную ценность.

Вообще трудно найти в русской литературе другое такое произведение, которое было бы так неверно истолковано критиками. Слепцовской повести нередко приписывались даже такие тенденции, которые диаметрально противоположны подлинным убеждениям автора.

Особенно был искажен в интерпретации критиков образ главного героя этой повести Якова Васильевича Рязанова.

Многие критики не только не могли уловить подлинный революционный пафос Рязанова, но, напротив, заподозрили его в ретроградстве!

— Откуда в повести, — говорили они, — такие нападки на деревенскую школу, на лечебную помощь беднейшим крестьянам и вообще на те заботы о благе народном, которыми волнуются в настоящее время передовые люди русского общества? Почему, изображая радикального писателя Рязанова, Слепцов заставляет этого лучшего представителя передовой молодежи издеваться над всеми бескорыстными попытками гуманных и культурных людей облегчить тяжелую долю бесправной деревни?

И в самом деле, поведение этого героя было для многих загадочно. Подходит он, например, к благороднейшей женщине, которая лечит крестьян, и вместо того, чтобы сочувствовать ей, начинает подтрунивать над ее пациентами.

— Вам это смешно? — удивляется она.

— Нет, не смешно, — отвечает он, а сам еще пуще глумится над ними, а заодно и над нею, так что в конце концов она бросает лечить, и крестьяне остаются без помощи.

Если бы все это печаталось в каком-нибудь реакционном романе, у одного из тех твердолобых писателей, которые сделали своим лозунгом: «бей нигилистов», — это было бы в порядке вещей. Но в «Современнике», в журнале Некрасова, в органе бое-

[1] *Incognito* (Е. Ф. Зарин). См.: «Отечественные записки». 1865. № 12.

вых разночинцев, на тех самых страницах, где недавно печаталось «Что делать?»!

Либеральные критики называли Рязанова циником: издевается над добрыми и любящими, а сам хоть бы раз попытался активно выступить против какого-нибудь социального зла. При нем посредник в кровь избивает крестьянина, а он берет фуражку и уходит. При нем наказывают розгами мужиков-неплательщиков, а он спокойно созерцает экзекуцию и не пытается протестовать против нее.

Но вот еще возмутительнее: либеральный помещик, жестоко объегоренный своими крестьянами, был до такой степени добр, что не захотел на них жаловаться, а Рязанов, к негодованию либеральных читателей, издевается над его добротой и внушает ему, что он должен обратиться к начальству, чтобы крестьян оштрафовали, разорили и посадили в тюрьму.

«Ты думаешь, не взыщут? Нет, брат, теперь уж не те порядки пошли. Все до последней копейки взыщут!»

— Это какой-то держиморда! — возмущались либеральные критики.

Когда же та самая барыня, которая лечила крестьян, задумывает устроить школу для деревенских детей, он встречает ее затею такой неприязнью, что она охладевает к своей школе, и дети остаются неграмотными.

Либералы-постепеновцы горячо возмущались его явным равнодушием к народному благу. Тот же Зарин видел в нем бессердечного циника и писал о нем с полным презрением:

«Его дело стороннее, его практика вольная, его время вакационное, ни к чему он не причастен, ничему не родня. Ему все представляется смешным или вызывает его дрянную иронию: и мужик с больною ногой, и побитая мужиком беременная баба... и сельская школа, и мировые съезды, и все остальное... Человек этот до бесконечности равнодушен ко всему, что только может поглощать в настоящую пору всякого не совсем пустого человека»[1].

Почему же в таком случае основная масса передовой интеллигенции шестидесятых годов отнеслась к Рязанову с горячей симпатией? Почему она не только не заявила протестов против той фигуры «нигилиста», которую вывел Слепцов, но поспешила признать, что образ Рязанова безошибочно воплощает в себе ее подлинные чувства и мысли? Один из тогдашних органов революционно-демократической молодежи отозвался о Рязанове так:

«Это не карикатура на молодежь... сделанная со злостной целью скомпрометировать все лучшие стремления последних го-

[1] *Incognito* (Е. Ф. Зарин). «Отечественные записки». 1865. № 12.

дов... Рязанов... верно воспроизводит тип людей, создавшихся под влиянием последних событий»[1].

Не странно ли, что та наиболее требовательная часть передовой молодежи, которая даже Базарова считала карикатурой на «новых людей», вполне примирилась с Рязановым, выдвигаемым в качестве ее представителя.

И почему Д. И. Писарев, столь близкий к революционным демократам, не задумался причислить этого «узколобого филистера и пустозвона» к авангарду человечества? Почему в статье о «Трудном времени» он не только заявил свою полную солидарность с Рязановым, но и сам в конце концов заговорил по-рязановски, — так сказать, перевоплотился в Рязанова и стал развивать его мысли в воображаемом споре с одним из персонажей этой повести?[2]

Упорствуя в нежелании понять эзопову речь Слепцова и не желая считаться с увечьями, нанесенными его повести царской цензурой, либералы с торжеством объявили, что все поведение Рязанова свидетельствует... о крахе его революционных надежд.

Эта ложь утвердилась прочно и держалась десятки лет. Либеральный беллетрист М. В. Авдеев, принадлежавший к поколению «отцов» и относившийся с дворянской враждебностью к людям шестидесятых годов, услышал в слепцовской повести «глухой и мучительный стон безвыходного отчаяния (?), стон, который может издать только человек, окончательно обессиленный в борьбе...». Рязанов показался ему выбывшим из строя революционным бойцом, потерпевшим страшное крушение, так как никакая революция в России невозможна. Эта-то мысль была Авдееву дороже всего — мысль о бесплодности всех революционных порывов, и для доказательства этой своей излюбленной мысли он воспользовался повестью Слепцова. Он уверял, будто Рязанов разочаровался в революционной борьбе, будто он понял, что его дело проиграно, «потому что оно было выше возможности, потому что под основанием его не было твердой земли»[3].

Вот какова была эта слепцовская повесть. Даже реакционеры могли при желании находить в ней подтверждение своим излюбленным взглядам. Образ Рязанова, по мнению Авдеева, ясно свидетельствовал, что мечты передовой молодежи шестидесятых годов «вырваны с корнем», «разбиты дотла».

Эта либеральная легенда о пессимистичности «Трудного времени» на тысячу ладов повторялась критиками позднейшей эпохи. Типична в этом отношении статья московской профессор-

[1] «Книжный вестник». 1866. № 5.

[2] *Д. Писарев.* Подрастающая гуманность. — «Русское слово». 1865. № 12.

[3] *М. Авдеев.* Наше общество в героях и героинях литературы. СПб., 1874.

ской либеральной газеты, утверждавшей, что Рязанов (а заодно с ним и Слепцов!) есть будто бы «изъеденный иронией скептик», который «отрицает все, не верит ни во что: ни в народные силы, ни в уменье интеллигенции, ни в ее добрые намерения, ни в общественные начинания», ибо «скептицизм уничтожил в нем веру»[1], — словно речь идет не о боевом разночинце, а о байроническом демоне!

Увечья, нанесенные слепцовскому произведению цензурой, до того искажали его, что порою даже критиками радикального лагеря образ Рязанова воспринимался неверно. Так, «русский бланкист» Ткачев с обычной своей полемической резкостью объявил Рязанова «паразитом», «пустозвоном», «филистером»[2].

Это мнение прозвучало одиноко в тех литературных кругах, к которым принадлежал Ткачев, и мы упоминаем о нем лишь затем, чтобы читатель мог видеть, как различны были истолкования этого слепцовского образа, — причем немалую роль здесь сыграла та система намеков, недомолвок, иносказаний, метафор, к которой из-за цензурного пугала был вынужден прибегнуть Слепцов.

3

Еще больше ошибочных мнений было высказано о другом персонаже этой повести — о «гуманном» помещике Александре Щетинине.

Автор относится к этому помещику с несокрушимым презрением и устами Рязанова посрамляет его буквально на каждой странице, вскрывая всю неприглядность его плантаторской деятельности, — но почему же, спрашивается, он изображает Щетинина таким гуманным и прекраснодушным человеком? Почему, печатая свою антидворянскую повесть в антидворянском журнале, он как бы против воли наделяет дворянина Щетинина таким благородством?

Неужели он не понимает, какой козырь дает он в руки своим партийным врагам?

Либералы дворянского лагеря, конечно, не преминули пустить этот козырь в ход и попытались использовать повесть Слепцова для прославления барской гуманности.

«Ведь это евангельский праведник, о котором сказано: «блаженни милосердии»! — восхищался, например, Щетининым тот

[1] «Русские ведомости». 1903. № 81.

[2] *П. Ткачев*. Подрастающие силы. — «Дело». 1868. № 9—10.

же Зарин и горячо славословил «отлично благородного барина» «с симпатическим и женственным характером».

Много было высказано подобных похвал «отлично благородному» Щетинину критиками позднейшего времени, и спрашивается, во имя чего один из самых боевых беллетристов шестидесятых годов наделил такой неестественной святостью того, кого он должен изобличать и клеймить.

С первых же страниц мы узнаем, что этот любвеобильный помещик способен не только на благородные фразы, но и на благородные поступки. Получив после смерти матери большое имение, он отдал крестьянам всю землю, которой они владели, и не взял за нее ни гроша. Он даже хотел было на первых порах сплотить их в трудовую коммуну, но они, по своему «неразумию», воспротивились этой великодушной затее. Соседи-помещики, конечно, сочли его красным и возненавидели как предателя.

«Сколько ночей я не спал, неприятностей, врагов сколько нажил между соседями, — вспоминал он через несколько лет. — Сплетни, крик по всему уезду!»

Крестьяне, которых он хотел осчастливить, не только не прониклись к нему благодарностью, но тоже возненавидели его, как врага. Обижали его без зазрения совести. Он хоть и сердился на них, но в качестве праведника охотно прощал им обиды, не жаловался на них ни становым, ни мировым посредникам, а неустанно проповедовал им, как полезна для них же самих элементарная честность.

Вообще у Слепцова он большой филантроп. Он просит, например, свою молодую жену, чтобы она лечила больных мужиков. Приютив у себя больного товарища, он заботится о нем, как о родном, и когда неблагодарный товарищ издевается над ним изо дня в день, он терпеливо выслушивает его обидные речи и даже не указывает этому человеку на дверь, когда обнаруживается, что тот разрушил его семейное счастье.

Зачем же понадобился Слепцову в его *обличительной* повести этот «евангельски кроткий» помещик?

Характерно, что через двадцать лет после напечатания «Трудного времени», уже в восьмидесятых годах, в период самой свирепой реакции, когда в интеллигентской среде даже так называемые передовые круги чурались наследия отцов, революционных верований недавнего прошлого, и проповедовали «малые дела», публицисты той унылой поры вспомнили о Щетинине и представили его своим современникам как лучший образец для подражания.

«Велика и плодотворна роль таких людей, как Щетинин, — поучал, например, критик М. А. Протопопов, новообращенный апо-

логет «*малых дел*». — Не Щетинины творят, но они исполняют. Не они ставят идеалы, но только благодаря им наши храмы не пусты и голос лучших между нами людей не в безотрадной пустоте раздается без отзвука, без отклика... Добрые намерения Щетининых переходят в добрые дела, и эти в отдельности ничтожные, незаметные, но чистые струи в совокупности своей производят то, что мутная река нашей жизни не покрывается тиной и не превращается окончательно в клоаку. Надо это понимать и пора это ценить»[1].

Словом, бросьте бунтовские попытки переменить самое русло «мутной реки нашей жизни», довольно с нас и того, что в этой зловонной реке будут «ничтожные и незаметные струйки», вроде «доброго» помещика Щетинина.

Такие реакционные выводы из повести «Трудное время» были, конечно, в кричащем противоречии с подлинными задачами автора.

4

Здесь мы подходим вплотную к тому второму — тайному — сюжету, ради которого, в сущности, Слепцов и написал свою повесть.

Этот тайный сюжет обнаруживается лучше всего в одном рискованном разговоре, происходившем у Рязанова с Марьей Николаевной, женою Щетинина. Великий мастер эзоповой речи, Слепцов придал этому разговору самую невинную форму, так что для непривычного уха он может показаться почти пустяковым, а между тем, если вникнуть внимательно, — в нем скрывается большой политический смысл.

Разговор происходит в усадьбе Щетинина. Марья Николаевна роется в старых журналах, ищет какую-то статью и не может найти. Рязанов, желая помочь ей, говорит наставительно, что напрасно она ищет статью по заглавиям, так как заглавия в большинстве случаев нисколько не выражают содержания статей.

«— Мало ли я какое заглавие придумаю. Это ничего не значит.

— Как ничего не значит?»

Рязанов настаивает, что заглавия — вообще надувательство. Это все равно что кабацкие вывески. Один кабак называется «Русская правда», другой — «Белый лебедь».

[1] *М. Протопопов*. По поводу одной повести. — «Северный вестник». 1888. № 5.

«Ну, вы и пойдете белого лебедя искать? а там кабак... На свежую голову, ежели взять ее в руки, так и в самом деле белые лебеди представятся: и школы, и суды... и черт знает что... а как приглядишься к этому делу, — ну и видишь, что все это... продажа навынос».

Так напечатано в изданиях 1888 и 1903 годов. В издании 1866 года, вышедшем при жизни Слепцова, было напечатано так:

«И школы, и суды, и конституции, и проституции...»

А первоначальная, бесцензурная редакция, судя по собственноручной поправке Слепцова, внесенной им в напечатанный текст, была такова:

«И школы, и суды, и конституции, и проституции, и великая хартия вольностей...»

О каких статьях говорит здесь Рязанов? Почему в заглавиях этих статей поставлены такие слова, которые связаны с реформами Александра II, — в том числе с «освобождением» крестьян (именуемым у Рязанова «хартией вольностей»)? Рязанов не забыл даже той конституции, которой требовало тогда дворянство и которая, по убеждению Рязанова, весьма недалека от проституции.

Ясно, что дело идет не о журнальных статьях (статьи— только эзоповский заслон для цензуры!) — дело идет о реформах Александра II и именно эти реформы кажутся Рязанову вывеской, за которою скрывается кабак.

Вывеска великолепная, в ней каждое слово кричит о гуманности, но тем гнуснее то, что прикрывается ею.

Вся повесть посвящена углублению и развитию этого тезиса. Ее задача — опровергнуть либеральную ложь об «эпохе великих реформ» и разоблачить до конца тот буржуазно-помещичий строй, на фундаменте которого эти реформы возникли.

Для того автор и вывел Щетинина таким добродетельным «праведником», чтобы показать, что даже внешне беззлобные представители помещичьей касты, сколько бы они ни «гуманничали», являются превосходно вооруженными хищниками, эксплуатирующими тех самых крестьян, о которых они якобы так нежно заботятся.

Щетининых тогда было множество. Просвещенные дворяне с высокогуманными лозунгами, — они-то и осуществляли на деле столь необходимые им и их классу либеральные реформы шестидесятых годов, — народолюбцы-помещики, «благодетельствовавшие» русский народ школами, земством, судами и, главное, — долгожданной «свободой». Их деятельность изображалась либеральной печатью в виде бескорыстного гражданского подвига, но для Слепцова все они были Щетиниными, ибо, оставляя нетронутым буржуазно-помещичий строй, пытались внести в него ряд коррек-

тивов при помощи разных «гуманств». На языке Рязанова это и значило оставить кабак кабаком, прибив над его воротами вывеску «Белый лебедь» или «Русская правда».

«И школы, и суды, и конституции, и проституции, и великая хартия вольностей, и черт знает что... а как приглядеться ко всему этому делу, ну и видишь, что все это продажа навынос».

Вот какую опасную по тому времени мысль протащил сквозь цензуру Слепцов, — мысль, прямо направленную против Александра II и всех его «благих начинаний». Стоит только вспомнить, какими восторгами были еще так недавно встречены в либеральных кругах «благодетельные» преобразования нового царствования, — и вот про эту обновленную Россию, хоть и шепотом, но отчетливо сказано, что это — прежний николаевский кабак, только прикрытый новейшею вывескою.

Рязанов очень хорошо понимает, что те, кому и в самом деле желательна «Русская правда», должны раньше всего разрушить до основания кабак. Реформами здесь делу не поможешь. Стремясь возможно рельефнее выразить эту крамольную мысль, Слепцов опять-таки прибегает к иносказаниям эзоповой речи: он говорит об усадьбе Щетинина, что в ней «заметны были свежие следы недавней реформы: новые двери, новые обои и перегородки... кое-где новая мебель... Но, несмотря на это, несмотря на всю несомненность произведенных улучшений... *дома такого рода сжечь можно, но переделать нельзя...»* (Курсив мой. — *К. Ч.*)[1].

Такова тайная идея Слепцова, которую он с необыкновенною дерзостью ввел в свой подцензурный роман.

Отсюда — широкий охват его сатиры: он обличает не какие-нибудь отдельные грехи и пороки, а весь политический строй современной ему России, всю совокупность общественных зол, и при этом постоянно доискивается до того основного, первопричинного зла, которым они обусловлены.

В этом сказалась незаурядная зрелость его политической мысли, — зрелость, которую он, как уже сказано в предыдущей главе, обнаружил еще в 1863 году в своих публицистических статьях, где впервые проявилось блестящее его мастерство в области эзоповой речи. Если правильно расшифровать «Трудное время», окажется, что, пожалуй, во всей беллетристике шестидесятых годов не было более меткого и строго продуманного диагноза тогдашних социальных болезней. Отсутствие внешнего пафоса заменено здесь неотразимой логичностью. В даровании Слепцова вообще сочетались артистизм с темпераментом ученого. Систематически, бесстрастно на ряде умело подобранных фактов доказыва-

[1] См. главу «Эзопова речь» в 10-м томе наст. собр. соч.

ет он в своей повести (словно теорему из алгебры!) необходимость социальной революции. Его повесть, в сущности, есть диссертация «О бесплодности либерального реформизма и неизбежности революционного взрыва». Он ведет свое повествование так, что под прикрытием шаблоннейшей фабулы дает всесторонний обзор тех явлений пореформенной России, которые яснее всего обнаруживают антинародный характер так называемых великих реформ. Классовая борьба для него есть единственное мерило всех исторических ценностей.

Как последовательно и четко проводит он классовый принцип при оценке социальных явлений того *трудного времени*, видно хотя бы из его еретических мыслей о «зловредности» школ для деревни, — тех самых мыслей, которые, как мы только что видели, вызвали столько негодующих воплей среди либеральных ревнителей народного блага.

Конечно, в интересах конспирации, Слепцову и здесь пришлось до такой степени затемнить свои мысли, что многие сочли их мракобесными, но тому, кто расшифрует его тайнопись, станет совершенно ясна их революционная логика.

Чтобы не навлечь на свою повесть подозрения цензуры, Слепцов изображает дело так, будто Рязанов говорит не о современной ему России, но о каком-то старинном журнале, где будто бы напечатаны какие-то статейки о школах, но мы, привыкнув к его иносказательной речи, понимаем, что речь идет об одном из самых волнующих вопросов эпохи.

«Какие там школы? — восклицает Рязанов.— Школа! Это опечатка. Везде, где написано «школа», следует читать *шкура*. Вон там один пишет: трудно, говорит, очень нам обезопасить наши школы; он хотел сказать: наши шкуры, а другой говорит: хорошо бы выделать их на манер заграничных, чтобы они не портились от разных влияний. Видите?»

В последующих изданиях здесь пропуск. Цензура выбросила очень важное место:

«А третий говорит: ладаном, говорит, почаще окуривать, ладаном. На себе, говорит, испытал — первое средство. Это все о шкурах».

То есть покуда школа в руках у духовенства и помещиков, она служит интересам угнетателей. Такова тайная мысль Рязанова, которую он пытается выразить в таком афоризме:

«Ежели ты хочешь строить храм, то прими заранее меры, дабы неприятельская кавалерия не сделала из него конюшни».

То есть никакое подлинное просвещение народа немыслимо, покуда оно во власти народных врагов. Мысль очень отчетливая, построенная на ясном сознании того, что никакой гармонии ин-

тересов, никакого мирного сотрудничества не может быть у крестьян и помещиков, что это две воюющие «армии», которые будут воевать до тех пор, пока одна не уничтожит другую.

Эта мысль кажется нынче банальной, но в то время всякое «просвещение» крестьян, само по себе, независимо от его содержания, считалось прогрессивным явлением. Недаром во многих тогдашних повестях и романах устройство любвеобильными барынями школы для деревенских ребят изображалось как высший идеал благородства.

Чтобы показать, что Рязанов был прав, Слепцов, при помощи всевозможных намеков, разбросанных как будто невзначай по всей повести, внушает читателю, что сами крестьяне угадывают своим темным, но безошибочным классовым чувством, как враждебны их интересам затеваемые барами школы:

«Мужики из того опасаются, что которых грамотных, слышь, всех угнать в кантонисты хотят».

И неспроста испугалась деревенская баба, когда узнала, что добрая барыня хочет учить ее дочку грамоте:

«Одна она у меня, девочка-то. Коли так, уже легче же я курочку вам принесу за лечение... что с нее взять? малый ребенок».

Конечно, не только о народном невежестве свидетельствует этот бабий испуг, но и о том выстраданном убеждении народа, что за всяким благодеянием помещика непременно скрывается злая корысть.

Теперь нам становится ясно, почему Слепцову понадобилось, чтобы о приветственной телеграмме Муравьеву Вешателю заговорил не кто другой, как учитель, пьянствующий вместе с дворянами. Этим вполне обрисовывалась реакционная идеология тех, кому было вверено правительством просвещение масс. Храм действительно оказывался во власти неприятельской конницы.

Наряду с этим учителем Слепцов изобразил в своей повести и других помещичьих прихвостней, обслуживающих сельскую школу, и этим с обычною своею внешне спокойною четкостью утвердил излюбленную мысль Рязанова, что войною, и только войною, определяются взаимные отношения господ и крестьян и что никакими школами не смягчишь, не изменишь этих боевых отношений, так как школы — тоже одно из орудий войны.

Здесь Слепцов не признает никаких компромиссов. Соглашательство в его глазах равносильно измене. К сожалению, цензура чрезвычайно исказила тот отрывок, где Рязанов с наибольшей убедительностью утверждает историческую закономерность, неизбежность крестьянских «сражений».

«— Так, стало быть, по-твоему, это война, что у меня Федька Скворцов три целковых пропил? (восклицает с негодованием Щетинин).

— Война! (отвечает Рязанов).

— Хм! хороша война, нечего сказать!

— Партизанская, брат, партизанская! Больше всего наскоком действуют, врассыпную, кто во что горазд: тут и Федька Скворцов, тут и баба Василиса кочергой воюет, и крюковские мужики...

— Это все партизаны?

— Партизаны.

— И по-твоему выходит так, что везде, где только есть мошенники, там и война? Так, что ли?

— Не совсем так.

— Как же?

— А вот как: везде, где есть сильный и слабый, богатый и бедный, хозяин и работник — там и война...» (гл. VIII).

Вместо этого в посмертных изданиях (до 1932 года) печатались нелепые строки, имеющие прямо противоположный смысл: «Стало быть, везде, где есть мошенники, там и война? — Там и война».

Подлинная мысль Рязанова, как мы видим, совершенно иная. Нужно помнить, что разговор происходит вскоре после крестьянских волнений, которыми был встречен манифест Александра II о «даровании воли». Волнения были всюду подавлены при помощи штыков и нагаек, злоба «побежденной» деревни еще более усилилась и сказывалась в повседневном быту тысячами стычек и «партизанских боев». Помещики либеральной формации, чувствовавшие себя, подобно Щетинину, благодетелями «раскрепощенных» крестьян и ждавшие от них благодарной беззаветной любви и покорности, были уязвлены их непримиримою ненавистью и считали ее временным недоразумением, ошибкой, которая скоро рассеется, — и тогда-то наступит блаженная эра взаимной любви на основе такого же рабства, но Рязанов хорошо понимал, что начавшаяся «партизанская война» скоро перейдет в «регулярную», и заранее приветствовал эту войну, так как знал, что победителями из нее выйдут отнюдь не Щетинины.

Поэтому повесть Слепцова есть (как сказал бы Рязанов) «военная» повесть. Все происходящее в только что раскрепощенной деревне рассматривается Слепцовым как цепь боевых эпизодов, и сам он чувствует себя корреспондентом с поля военных действий. Поэтому в повести так много батальных слов: «неприятельская кавалерия», «неприятельский лагерь», «временное перемирие», «подкопы», «полководцы», «адъютанты», «стук мечей», «стон умирающих», — будто речь идет не о мирном деревенском

житье, а, по крайней мере, о взятии вражеской крепости. Слова «классовая борьба» в повести нигде не упоминаются. Рязанов заменяет эти слова чисто стратегическими терминами и издевательски внушает Щетинину:

— Воюй в открытую! Не притворяйся отцом-благодетелем эксплуатируемых тобою крестьян. Ты вооружен до зубов. Целые отряды приказчиков, урядников, становых и посредников сражаются для защиты твоих интересов. «Зачем же тут церемониться-то уж очень, нюни-то разводить зачем... Штука эта самая простая, и весь вопрос в том, кто кого; стало быть, главная вещь, не конфузься».

Но Щетинин конфузится и так лицемерно прикрывает филантропическими делами и фразами свои «военные действия», что и в самом деле может показаться на первых порах воплощением гуманности.

Чтобы стало яснее, что за этой гуманностью скрываются насилие и грабеж, Слепцов выводит перед нами многочисленные отряды «воителей», которые, сражаясь под щетининским знаменем, грудью защищают его. Таким образом, читателю становится ясен самый механизм эксплуатации «раскрепощенных» крестьян, но, конечно, из опасения цензуры Слепцов изображает дело так, будто в его повести эти «воители» — случайные, эпизодические лица, не имеющие отношения к сюжету. Маневр удался: многие так и поверили, что эти лица не связаны с фабулой и могут быть изъяты из повести без ущерба для ее содержания. В критике часто бранили Слепцова за то, что он загромождает свою повесть лишними, не идущими к делу фигурами. Между тем, если всмотреться внимательнее, вся тяжесть сюжета лежит на этих «лишних» фигурах. Они затем и введены Слепцовым, чтобы всеми своими поступками подтвердить его тайную мысль. Без них обвинительные речи Рязанова, направленные против дворянских «гуманств», могли бы показаться голословными.

Вот, например, Иван Степаныч, управляющий имением Щетинина, написанный такой сильной, уверенной кистью. Вначале он кажется просто несуразным субъектом, который сам ощущает свою несуразность и относится к себе с иронией:

«— Вы играете на скрипке?

— Черта я играю. Ничего я не умею».

О своей должности он отзывается так же презрительно:

«Да что — письмоводитель? Черта ли тут?.. Помилуйте! Дела?.. Какие дела? Чепуха!»

Чепухою кажется ему вообще все деревенское.

Весь он в пустяках и нелепостях. Составил почему-то из деревенских детей роту для избиения собак, и сам сделался ее коман-

диром. Сшил себе шапку из шкуры убитого бешеного пса, но боится надеть ее, — вдруг и шапка окажется бешеной.

Слепцов великолепно передает его идиотическую речь, составленную из коротких восклицаний, где каждая фраза внезапна, как выстрел, и нужно долго вслушиваться в этот сумбур, чтобы заметить, что он вовсе не так безобиден: в нем постоянно звучит один и тот же определенный рефрен — отголосок статей черносотенного публициста Каткова. Именно конторщику Ивану Степанычу, этому отъявленному пошляку и глупцу, Слепцов то и дело влагает в уста обрывки из газетных писаний Каткова, который как раз тогда, в 1863 году, в своей газете «Московские ведомости» окончательно сбросил с себя либеральную маску и выступил как воинствующий пособник реакции, вдохновитель правительственного террора.

Все речи Ивана Степаныча переполнены цитатами из катковской газеты. Вот, например, — об учащихся женщинах:

«Насчет стриженых девок. Читали, как их ловко отделывают? Это одна мать. Она прямо о себе говорит: я, говорит, мать. Очень чудесная статья. Вы прочитайте».

А вот цитата о польском восстании:

«Там этот жонд весь ихний — к чертям!.. А эти самые гимны ихние, что ли, — черт их знает... говорят: вот, говорят, теперь свет увидали. А? Нет, ведь хитрые, анафемы. Да... хлоп из ружья... вот оглашенные-то! Ха-ха-ха! Чем занимаются, а?»

Стоит развернуть любой номер «Московских ведомостей» 1863 года, чтобы убедиться, что подобные речи — квинтэссенция тех сообщений, которые печатались в этой газете.

И еще такие же цитаты о польском восстании, и снова — о борьбе с революционной «заразой», и все это, конечно, неспроста: мракобесие органически связано с практикой Ивана Степаныча в качестве управляющего щетининской вотчиной. А эта практика определяется такою программою:

«Ах, подлый народишко... Так набалованы, дьяволы... Я говорю: палкой их... пес их возьми... То есть я вам скажу: тут какую нужно дубину...»

Единственное чувство, которое вызывают в нем крестьяне, — гадливость:

«Ишь тараканов что развели... вы их жрете, анафемы...», «Прачка! а? сволочь... мразь несчастная».

Для этой «сволочи» он знает только плети да штрафы, и здесь у него большие заслуги:

«Я у исправника жил... Так вот пороли-то мы их... Уж можно сказать, что пороли».

А так как власть ему предоставлена Щетининым очень большая, ясно, что в войне с мужиками он — не простой рядовой. Щетинин может либеральничать сколько угодно, покуда за него сражается этот опытный и бравый вояка.

Таким же доблестным защитником щетининской собственности является, по тайно выраженной мысли Слепцова, священник.

Нет, кажется, другой русской повести, где роль священника как боевого охранителя «сильных и сытых» была бы показана с такой рельефностью. Не случайно он именует себя царским полковником:

«Он так считает, что, мол, полковник я».

Конечно, он не мордобойствует, подобно Ивану Степанычу, но роль у них обоих одинаковая. Так как цензура сильнее всего искромсала страницу, где изображаются «военные действия» священника, образ его сделался до такой степени смутным, что лишь теперь, когда в значительной степени заполнены цензурные бреши, сатирическая актуальность этого «батального» образа вскрылась во всей полноте.

Замечательно, что раньше всего священник выступает у Слепцова как набожный почитатель богатства. Слепцов очень тонко показывает, что все мысли этого человека — о рублях и хозяйственных выгодах и что у него есть единственное мерило людей — их имущество.

«— В Питере-то дом свой имеете? — вкрадчиво спрашивает он, например, у Рязанова при первом знакомстве.

— Нет не имею.

. . . . . .

— Капиталы у себя имеете?

— Нет, не имею.

. . . . . .

— Лошадок не держите?

— Нет, не держу».

И в зависимости от «нет, не имею» уважение священника к Рязанову падает.

Даже когда в доме Щетинина он любуется какими-то подсвечниками, он выражает свое любование так:

«Дорого дали?»

А желая занять разговором своего собеседника, спрашивает: «...почем... у вас в Санкт-Петербурге мука?»

Естественно, что этот апостол имущества презирает свою убогую паству, и у Слепцова наглядно показано, как он потворствует порабощению и ограблению крестьян. Когда, например, ему предлагают вступиться за бабу, зверски избиваемую мужем, он

спешит перевести разговор на какой-нибудь собственный гешефт:

«— Я хотел вас побеспокоить насчет того дельца, — говорит он помещику.

— Какого дельца?

— А то есть насчет сена».

В повести есть еле заметный намек, что в последнее время в связи с поджогами и польским восстанием церковные власти возложили на священников полицейские функции:

«Строгости эти пошли. Сами знаете, какое ныне время».

В пьяном виде он сам проговорился, что местный архиерей сделал духовенству внушение, чтобы оно энергичнее помогало правительству бороться с крамолой, и таким образом читателю становится окончательно ясно, на чьей стороне царские «полковники» в рясах.

Задавшись целью изобразить наиболее ретивых воителей, отличавшихся в сражениях против «раскрепощенных» крестьян, автор, конечно, не мог обойти только что выдвинувшегося тогда кулака. В повести кулак очерчен лишь несколькими беглыми чертами, но в них — вся основа его бытия. Он в ту пору еще не созрел, его разуваевская карьера еще впереди, покуда он всего только маленький лавочник, но сражается он не хуже других.

«— Денис Иваныч!.. Отпустите! — умоляет его один из его должников.

— Дугу оставь!

— Как же я без дуги поеду? — помилуйте!

— А мне что! Вас, чертей, жалеть нечего. Ну, да ладно: бери дугу, скидавай зипун... Скидавай, скидавай! Нечего. Нынче, брат, не зима, не озябнешь».

И, конечно, объегорив мужика, тут же (не хуже Щетинина) изображает себя его благодетелем:

«Эти мужичонки подлыи... Теперича, как вы полагаете, сколько у меня за ними денег пропадает?»

Даже явное ограбление крестьян проходит здесь под вывеской благодеяний и жертв.

Четвертому «благодетелю» трудового крестьянства, «господину мировому посреднику», Слепцов посвящает целую главу своей повести. В то время в либеральной печати мировые посредники пользовались славой народных заступников, и нужно было при помощи детального описания их деятельности уничтожить эту ложную славу.

Если послушать посредника, которого изображает Слепцов, он только и хлопочет о пользе крестьян, но пользу эту понимает по-щетинински.

«Ты что же не кланяешься, а? — кричит он, например, крестьянину. — Отвалятся у тебя руки шапку снять, а? Мне твой поклон не нужен. Вас, дураков, вежливости учат для вашей же пользы, понимаешь?»

Даже когда он отдает молодую женщину постылому мужу на вечную каторгу, он прикрывает жестокость своего приговора такими елейными фразами, словно счастье этих людей ему дороже всего.

Слепцов подробно описывает весь «рабочий день» этого либерального деятеля «эпохи великих реформ», и мы видим, что буквально каждая минута его рабочего дня направлена к притеснению крестьян.

Журнал Некрасова «Современник», в меру цензурных возможностей, разоблачал эти либеральные россказни о гуманстве и народолюбии посредников. В очерках П. И. Якушкина «Велик Бог земли русской», напечатанных в «Современнике» в 1863 году, вскрывается неприглядная роль, которую играли мировые посредники при проведении крестьянской реформы[1]. Но даже рядом с этими талантливыми очерками десятая глава слепцовской повести, посвященная той же теме, является самым сильным обвинительным актом против враждебных народу чиновников, которых восхвалители «великих реформ» сплошь и рядом изображали борцами за интересы крестьян.

Как безошибочно отражала эти интересы слепцовская повесть, можно видеть хотя бы при сопоставлении указанной мною главы с тогдашними народными песнями:

Как наедет мировой когда посредничек,
Как заглянет во избу да он во земскую...
Да он так же над крестьянством надрыгается...
Он затопае ногами во дубовый пол.
Он захлопае руками во кленовый стол,
Он в походню по покоям запохаживае,
Точно вихорь во чистом поле полетывае,
Быдто зверь да во темном лесу порыскивае,
Как у этих мировых да у посредников
Нету душеньки у их да во белых грудях,
Нету совести у их да во ясных очах[2].

Словом, хотя некоторым нарочито непонятливым критикам почудилось, будто посредник и другие «воители» попали в повесть Слепцова случайно, не может быть никакого сомнения, что

[1] См.: *П. И. Якушкин*. Сочинения. СПб., 1884.

[2] «Причитания Северного края», собранные Е. В. Барсовым. М., 1872, с. 282–283.

они — ее основное ядро. Слепцову необходимо было показать на живых людях, на конкретных примерах, что, несмотря ни на какие реформы, самодержавное государство осталось по-прежнему аппаратом для угнетения масс и что этот аппарат составляют не только становые да чиновники прошлого царствования (как утверждали «обличители» из либерального лагеря), но и такие «гуманные» деятели новой эпохи», как, например, мировые посредники. Отсюда был единственный вывод: не разрушив этого аппарата всего целиком, невозможно добиться никаких подлинных благ для народа.

5

Слепцов наглядно показывает, как все это сплоченное «воинство»: и уездные учителя, и мировые посредники, и газетные публицисты, и волостные старшины, и священники, и писаря, и приказчики, — как все они сомкнутым строем, плечо к плечу, с оружием в руках, громят своего врага. Враг у них у всех один: только что «раскрепощенный» крестьянин, — и, чтобы подчеркнуть их сплоченность, Слепцов заставляет их одного за другим в одной и той же форме декларировать свою вражду к «мужикам»:

Лавочник у него говорит:
«Эти мужичонки подлыи!»
И управляющий:
«Экой народишко подлый!»
И священник:
«Плуты, лжецы, эфиопы!»
И посредник:
«Ракалии! Разбойники!»
И либеральный помещик:
«Свиньи, скоты, мошенники!»

Хор получается в высшей степени дружный, и, видя спаянность этой армии хищников, чувствуя всю силу ее бешеного натиска на беззащитных крестьян, Рязанов издевается над теми гуманностями, которыми тешат свою душу Щетинины.

— Нельзя в одно и то же время, — проповедует он, — грабить мужика и ласкать его. Если вы действительно хотите крестьянам добра, у вас для этого единственный путь: откажитесь от своей монополии на землю, от поддержки государственного строя, охраняющего интересы имущих, а покуда этого нет, не миндальничайте, благо на вашей стороне все законы и все правительственные учреждения страны.

Призыв «Грабь открыто или уходи в революцию» — был из-за цензуры так затушеван Слепцовым, что вторая половина этой фразы до читателей почти не дошла, и либералы завопили о том, будто Рязанов благословляет помещиков эксплуатировать бесправных крестьян. Особенно сбивало читателей с толку то место в предпоследней главе, где Рязанов объясняет «кающейся дворянке» Щетининой, что вообще эксплуатация трудящихся имущими классами — дело естественное, в порядке вещей. Петр Ткачев, например, увидел здесь оправдание феодально-буржуазного строя и главным образом за эти якобы ретроградные речи обозвал Рязанова узколобым филистером.

Между тем речи Рязанова были прямо противоположного свойства: желая возможно рельефнее высказать, что в недрах этого ненавистного строя никак невозможно уничтожить эксплуатацию масс, Рязанов прибегает к таким обинякам и метафорам:

«Жизнь как жизнь: все совершается в строгой зависимости и надлежащем порядке, случайностей никаких нет и быть не может... Медведь душит волка, волк режет овцу, овца ест траву, трава из земли получает сок; а лев... и медведя, и волка, и овцу, и всех побеждает. Вот это порядок. Теперь какие же тут могут быть случайности? Разве что резал волк овцу, да не дорезал, потому что его самого в это время медведь задушил, или что лев мимо медведя прошел и не тронул его потому, что был сыт?.. Такие случайности бывают — это точно; но удивляться этому я, право, надобности никакой не вижу».

Иначе говоря: если какой-нибудь хищник (наподобие Щетинина) и проявит случайно жалостливые, гуманные чувства, эти чувства отнюдь не изменят самой системы хищничества. Систему возможно разрушить только революционным путем. Не постигая этой затаенной морали, Ткачев сосредоточил все свое внимание на тех отрывках рязановской речи, где говорится о полной естественности грабительского социального строя, и не заметил тех реплик Рязанова, которые, в сущности, являются центром всего диалога:

«— Я никогда не говорил, — заявляет Рязанов, — что так надо и что иначе быть не может.

— Что же, — спрашивает Марья Николаевна, — остается делать человеку, который потерял возможность жить так, как все живут?

— Остается выдумать, создать новую жизнь...»

Кажется, яснее и сказать нельзя, между тем именно в этих словах либеральные критики почему-то услышали «стоны безнадежности» и «вопли отчаяния».

Человек прямо говорит: «Не надо хныкать и жаловаться, давайте создадим новую жизнь», — а его называют банкротом, живым мертвецом.

Слепцов верил, что эту новую жизнь даст России только крестьянский мятеж. Вокруг усадьбы Щетинина скопилось столько народного гнева, что даже странно, как ее не подожгут. Если судить по тем фактам, которые приводятся в повести, народная месть неизбежна, — до такой степени весь воздух изображаемой Слепцовым деревни насыщен предреволюционною ненавистью.

Эту ненависть Слепцову тоже приходилось изображать экивоками, так как две тысячи крестьянских волнений, которые произошли в тот период, были, так сказать, государственной тайной.

В печати полагалось лжесвидетельствовать, будто манифест Александра II был принят крестьянами с благоговейною радостью. Между тем крестьяне отлично поняли, что их обманули, и их ненависть к помещикам после реформы стала еще более жгучей. Весной 1863 года произошла новая вспышка крестьянских волнений, охвативших шестнадцать губерний. Волнения подавлялись розгами, штыками и пулями[1].

Обо всем этом Слепцову было, конечно, невозможно писать. Он только слегка намекнул на такое отношение крестьян к царской «милости» — в той главе, где Щетинин жалуется, что крестьяне три года отказывались принять от него в дар его землю. И Рязанов спрашивает:

«Ну, а воинские чины тут не убеждали их принять твой подарок?»

Этот вопрос — отголосок тех кровавых событий, которые разыгрывались тогда в деревнях на почве непринятия крестьянами манифеста о даровании «воли».

Слепцов на протяжении всей повести делает, так сказать, ревизию пореформенной деревне и на каждой странице показывает, что

> В жизни крестьянина, ныне свободного,
> Бедность, невежество, мрак.
>
> *(II, 396)*

«Изба была ветхая, — пишет Слепцов, — с одним окном, подпертая с двух сторон подпорками, в отворенные ворота глядела слепая кобыла... Рядом с этой избой стояла другая, такая же, и дальше все то же: гнилые крыши, черные окна с запахом гари и

[1] См.: *М. Найденов.* Классовая борьба в пореформенной деревне. М., 1955, с. 307–313.

ребячьим писком, кривые ворота и дырявые покачнувшиеся плетни с висящими на них посконными рубахами».

Такова вся деревня. Эпоха «великих реформ» не внесла в ее черные избы никакого просвета. Мудрено ли, что изображенные Слепцовым крестьяне находятся в состоянии скрытого бунта: то нарочно испакостят Щетинину лес, то растратят деньги Щетинина, то пригрозят ему искалечить его скотину, и, не будь они связаны по рукам и ногам, они хорошо отблагодарили бы своего «гуманного» барина.

«На пруду дворовая женщина полоскала белье. Заметив Рязанова, она подоткнула себе подол и, не оборачиваясь, поклонилась ему задом».

Это ничтожная мелочь, но из таких мелочей слагается у Слепцова вся жизнь изображаемой им русской деревни.

Уж на что, кажется, Мария Николаевна была добра к деревенскому люду, но и ей вся деревня объявила бойкот. Она проходит, например, по улице и видит поющих девушек. Ей хочется послушать их пение, но они, увидев ее, умолкают.

«Что же вы не поете? — говорит она ласково. — Мы бы вас послушали».

Но они молчат и прячутся одна за другую, а когда она, опечаленная, удаляется прочь, дерзко хохочут ей вслед.

Она подходит к играющим детям и заискивающе зовет их к себе:

«Приходите ко мне ужо, я вам гостинцев дам».

Но и гостинцами не может приманить их к себе.

Исход этой злобы один, и Рязанов предвидит его. Он прямо говорит про отношения крестьян и помещиков:

«Вот и хороводимся мы таким манером, и долго еще будем хороводиться, доколе мера наших беззаконий не исполнится» (то есть доколе крестьянское долготерпение не лопнет).

По ощущению Слепцова, это время не так уж далеко, ибо, как видно из повести, крестьяне начинают кое-где сознавать, что «мера беззаконий» уже переполняется и что дольше терпеть невозможно. При помощи разных стилистических ухищрений Слепцову удалось протащить через цензуру такой многозначительный разговор с мужиками:

«Век свой будете платить, а все-таки земля будет помещичья.

— Вот что! — восклицают мужики. — Значит, его же царствию не будет конца?

— Не будет. Что же делать? Сами вы глупы.

— Это справедливо, что мы глупы. Дураки. Да еще какие дураки».

То есть крестьяне сами заявляют о том, что только по своему неразумию они терпят эти беззакония.

А для того, чтобы не осталось сомнения, что, несмотря ни на что, Рязанов верит в революцию по-прежнему, автор заставляет его в самом конце произнести такую декларацию:

«Как не верить (в успех этого дела. — *К. Ч.*). Нельзя не верить. Успех-то будет, несомненно...»

Слова опять-таки весьма недвусмысленные, и не дико ли, что именно в этом романе, где так четко отмечены не только тяготы, выпавшие на долю народа, но и пути к освобождению от них, реакционные критики не без злорадства услышали проповедь индифферентизма и непротивления злу! Не дико ли, что Рязанов, доказывающий неотвратимость победы порабощенного класса, был воспринят теми же реакционными критиками как политический Гамлет, утративший всякую веру в революционное освобождение России!

В своем нежелании понять подлинный смысл повести критики дошли до того, что объявили самого Слепцова «холодным насмешником», «скептиком», «циником», который «отрицает все, не верит ни во что, ни в народные силы... ни в общественные начинания» и т. д.[1]

Если бы нужно было опровергнуть этот домысел, достаточно привести собственные строки Слепцова, написанные им в 1865 году — тотчас же после напечатания «Трудного времени». Строки эти оставались до сих пор не замеченными, так как они находятся в одной из забытых слепцовских статей, никогда не привлекавших внимания исследователей. Между тем в них заключается прямое опровержение всех кривотолков о мнимом неверии Слепцова в революционные силы народа. Пользуясь эзоповой речью, Слепцов высказывает здесь глубочайшее свое убеждение в неотвратимой гибели старого мира и в близкой победе «свежих, еще не изведанных сил» над «фальшивой, изуродованной жизнью» Щетининых. Об этих представителях враждебного лагеря он говорит на последних страницах статьи:

«В предсмертной тоске они хватаются за что-то, хотят делать какое-то дело; но все их усилия остаются тщетными и ни к чему не ведут... Судьба их решена и приговор давно подписан... Все, что может сделать для них жизнь, — так это предоставить им выбор смерти... А на развалинах этой погибающей жизни, среди безумного смеха и ярых проклятий уже слышатся торопливые, но еще робкие шаги новой, давно ожидаемой жизни, с новыми, непонятными для них желаниями и новым запасом свежих, еще не

[1] См., например, статью о Слепцове в «Русских ведомостях». 1903. № 81.

изведанных сил. Смело вступает она в свои права, озаряя бледные лица умирающих, искаженные предсмертной мукой, и поражая их ужасом и удивлением»[1].

Эти горячие строки раскрывают перед читателями оптимистические убеждения Слепцова, воплощенные им в повести «Трудное время», — его веру в торжество «неизведанных сил» революции над отживающим миром Щетининых.

Статья служит надежным комментарием к «Трудному времени», так как в ней Слепцову удалось наиболее отчетливо высказать то, что из-за цензурного гнета осталось в повести недостаточно ясным.

6

Но, конечно, нельзя отрицать, что, проповедуя революцию как единственный путь к подлинному раскрепощению масс и глубоко веруя в окончательное ее торжество, Рязанов все же является в изображении Слепцова человеком великой тоски и усталости.

Из всех революционных бойцов, какие когда-либо появлялись в русских повестях и романах, он наиболее понурый и скорбный. Похоже, что с ним только что произошла катастрофа, временно надорвавшая все его силы.

Даже физически он так ослабел и осунулся, что Щетинин не узнал его на первых порах и все повторял при свидании с ним:

«Худ-то как, худ!.. Худ-то ты как, э! брат!»

Слепцов подчеркивает, что спина у Рязанова «болезненно согнута», «лицо исхудалое», «взгляд неподвижен» и что вообще он полный контраст со свежим и румяным Щетининым:

Вишь ты лядащий какой....
Словно тебя там сквозь строй
В зиму-то трижды прогнали.

(II, 99)

Критики не раз удивлялись, что же такое случилось с Рязановым, отчего он так печален и озлоблен. Между тем все объясняется датой, к которой Слепцов приурочил свое «Трудное время»: лето 1863 года.

Указаний на эту дату в повести имеется множество.

Этот год для передовых разночинцев действительно был годом испытаний. Зима, которую Рязанов только что пережил в Пи-

[1] *В. С[лепцов]*. Скромные упражнения. — «Современник». 1865. № 9.

тере, перед тем как приехать к Щетинину, явилась позорнейшей вехой в царствовании Александра II. Воспользовавшись паникой, вызванной знаменитыми пожарами в Петербурге, Симбирске, Саратове и других городах, правительство обвинило в поджогах ненавистных ему «нигилистов», натравило на них темные массы мещанства, после чего и приступило к расправе с «крамольниками».

Начались массовые аресты среди молодежи. «Современник» Некрасова и писаревское «Русское слово» были приостановлены. Чернышевского арестовали и после длительной инсценировки суда сослали на четырнадцать лет в Сибирь на каторжные работы. Писарева заточили в крепость. К Михайлову, сосланному несколько раньше, были применены — уже на каторге — такие суровые меры, которые равнялись убийству. Начавшееся польское восстание вызвало в обывательской среде демонстрацию шовинистических чувств. Муравьев Вешатель стал центральной фигурой реакции. В разнузданной газете мракобеса Каткова началась систематическая травля восставших поляков, а вместе с ними и других «инородцев». Именно в эту проклятую зиму стало окончательно ясно, что разрозненные вспышки народного гнева так и не удалось превратить в единое широко организованное восстание крестьян, хотя еще в 1861 году это восстание казалось реальной возможностью. Революционная ситуация так и не переросла в революцию и быстро пошла на убыль. Польское восстание, не поддержанное «народной войной», было подавлено.

Вот что такое была эта зима для Рязанова. В той редакции «Трудного времени», которая меньше всего пострадала от цензурного гнета, Рязанов, при помощи обычных своих недомолвок, указывал, какие колоссальные потери понесла революция, лишившаяся своих учителей и вождей.

«— Да, хорошие, хорошие люди. Да, были люди. Это правда.

— А теперь?

— И теперь, пожалуй, еще с пяток наберется».

И дальше — прямой намек на трагическую судьбу Чернышевского, Михайлова, Серно-Соловьевича:

«— Одни умирают, а другие не умирают...

— Так что же?

— Так просто погибают.

— Как погибают?

— Да так ведь, пропадет, и кончено. Вот как в балете: все танцует, все танцует, найдет на такое место — вдруг хлоп! пропал».

Цензурные строгости к этому времени так возросли, что пропагандировать революционно-демократические взгляды в печати стало уже невозможно. В повести очень бегло и, по обыкнове-

нию, одними намеками указывается, что, получив свежую книжку журнала и увидя в ней свою статью, Рязанов с горечью отметил внесенные в нее цензурой искажения, «швырнул книжку на окно и задумался».

Сам Слепцов мучительно пережил этот разгром революционных надежд. 28 июня 1863 года он писал за границу в одном из своих неопубликованных писем:

«Кто это так бесчеловечно посмеялся надо мною, сказав вам, что я *жизнью тешусь*.? Я не могу придумать для этого человека лучшего мщения за насмешку, как пожелать ему тешиться жизнью точно так, как я ею тешусь, особенно теперь в России, когда можно различать людей только по тому, как они себя чувствуют в настоящую минуту»[1].

Этой болью проникнута вся его повесть. Рязанов — выразитель этой боли. Боль мучительная, но ни о какой капитуляции перед реакционными силами в этой повести не могло быть и речи: самое ее заглавие, связанное в представлении тогдашних читателей со стихами Некрасова:

Захватило вас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе, —

(II, 97)

самое это заглавие внушало надежду и бодрость. Пусть на первом этапе борьбы люди революционного лагеря оказались неготовыми к ней, это вовсе не значит, что они не одержат победу в одном из дальнейших боев. Для этих-то дальнейших боев и вербует Рязанов новых рекрутов в революционную армию — Марью Николаевну Щетинину и безыменного дьячкова сына, которого увозит с собою. Конечно, он не стал бы готовить этих новых бойцов, если бы не верил в возможность победы. Не забудем, что повесть Слепцова была напечатана в том самом журнале, который среди бешеного разгула реакции поместил на своих страницах знаменитые строки, призывающие молодое поколение к оптимизму и бодрости:

Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ...

Вынесет все и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.

(II, 204–205)

[1] Письмо к М. А. Маркович. Пушкинский дом. Рукописное отделение. 9526. LVI, б. 45.

Эти строки «Железной дороги» появились в «Современнике» *в том же году*[*], что и произведение Слепцова.

Не забудем также, что именно в то трудное время, которое изображается в повести, — в 1863 году, — Некрасову каким-то чудом удалось, благодаря ряду случайностей, напечатать в своем «Современнике» одну из самых смелых и пламенных прокламаций шестидесятых годов — роман Чернышевского «Что делать?». Чернышевский написал его в крепости. Роман был как бы завещанием великого узника оставшимся на воле бойцам: в нем заключался призыв не складывать оружия перед наступавшей реакцией, а исподволь мало-помалу, планомерно и организованно вводить в современную русскую жизнь желанный социалистический быт. Призыв этот, раздавшийся в такую мрачную пору, прозвучал для молодежи как боевая труба. И, конечно, «Современник» в качестве руководящего центра революционной борьбы ни в каком случае не стал бы печатать через несколько месяцев после опубликования романа «Что делать?» эту слепцовскую повесть, если бы в ней действительно чувствовалась та «скорбь безнадежности», которую облыжно приписывали ей либеральные критики.

На самого Слепцова роман Чернышевского оказал могучее влияние: писатель основал в том же 1863 году в Петербурге на Знаменской улице свою известную Слепцовскую коммуну, нашумевшую в летописях той эпохи. Коммуна просуществовала всего несколько месяцев, до ближайшей весны, и распалась.

Нет сомнения, что Марья Николаевна, как и все передовые женщины 1863 года, тоже была под влиянием идей, высказанных в романе «Что делать?», и, разрывая навсегда с ненавистной ей дворянской средой, стремилась в Петербург для того, чтобы сделаться участницей одной из коммун.

Рязанов прямо говорит о коммуне при прощании с Марьей Николаевной:

«Она, мелкота-то эта, все дела справит и все эти артели заведет... на законном основании, они вас там приютят и все порядки вам расскажут, как и что».

Конечно, «мелкота» — глубоко несправедливое слово, но эта несправедливость естественна в устах человека, только что пережившего гибель таких гигантов, как Добролюбов и Чернышевский.

Рязанов, как уже было сказано выше, носитель идей Чернышевского. Его борьба с либеральным «гуманством», его презрение к реформам Александра II, его убеждение в том, что тогдашний государственный строй есть диктатура паразитических классов, его вера в спасительную роль революции — все получено им по наследству от «Современника» 1858—1861 годов.

Даже тоном голоса, даже манерой излагать свои мысли, даже внешними приемами речи он напоминает Чернышевского. Любопытна догадка одного из позднейших исследователей, А. А. Дивильковского, что черты Рязанова заимствованы автором из черт самого Чернышевского, как они рисуются из всех современных свидетельств о нем[1]. В известной мере эта догадка верна, ибо автору «Что делать?» была в высшей степени свойственна присущая Рязанову уверенная, уклончиво-насмешливая, иносказательная, шутливая речь, приводящая к абсурду всякую мысль противника.

В одной недавней работе, посвященной Н. Г. Чернышевскому, собраны свидетельства его современников об этой характерной особенности его разговорного стиля, ибо даже в беседе с приятелями Чернышевский нередко придерживался приемов эзоповой речи.

«Большею частью все его разговоры носили иронический характер; он отделывался шутками или аллегориями... или давал такие ответы, которые можно понять и так и этак, а иной раз и вовсе понять нельзя»,— вспоминал часто бывавший у Чернышевского Н. Я. Николадзе.

«Даже люди, хорошо знавшие Николая Гавриловича, пользовавшиеся его доверием, не всегда могли отличить, когда он шутил, когда говорил серьезно», — вспоминал Л. Ф. Пантелеев.

Близкий к Чернышевскому Н. В. Шелгунов отмечал, что «Чернышевский... говорил как бы с усмешкой».

О манере Чернышевского говорить с иронией «и о пустяковых предметах, и о важных» писали П. Д. Баллод, С. Г. Стахевич, Н. Ф. Скориков, Н. В. Рейнгардт, А. А. Токарский.

Короленко вспоминал, как в письме к нему Герман Александрович Лопатин говорил, что «об этой привычке Чернышевского мистифицировать собеседника и защищать вначале совсем *не свое* мнение» ему рассказывал в Сибири А. П. Щапов. И сам Короленко при свидании с Чернышевским уже в Саратове убедился в этом: «...другая черта..., которую я узнал в нем при личном знакомстве: это какое-то особое добродушное лукавство, с которым он порой любил мистифицировать собеседника. Разговаривая с ним, никогда не мешало держать ухо востро, чтобы не принять всерьез какую-либо шутку».

Хорошо знавший об этой черте Чернышевского Добролюбов писал ему, направляя к нему своего знакомого А. Ф. Фриккена:

[1] *А. А. Дивильковский.* В. А. Слепцов. — В сб.: «История русской литературы XIX века». Т. III. М., 1910, с. 347—356.

«Не очень сбивайте его с толку своей иронией: он такого характера, что способен принимать ее за чистую монету»[1].

Именно такой — иронической, «сбивающей с толку» манерой отличались, как мы видели, речи Рязанова. Все, что сказано в цитируемых воспоминаниях о разговорном стиле Чернышевского, вполне применимо к Рязанову: все его разговоры с Марьей Николаевной и Щетининым полны таких же аллегорий, обиняков и намеков. Это дает нам некоторое основание думать, что Чернышевский и в самом деле послужил для Слепцова одним из прототипов Рязанова — главным образом во всем, что относится к стилю его разговоров о своих убеждениях и принципах.

Мудрено ли, что либеральные публицисты и критики с ненавистью обрушились на «Трудное время», вполне правильно учитывая силу удара, нанесенного этой повестью по самым основным их позициям. Вот в каком тоне говорили, например, о Слепцове «Отечественные записки» Краевского через несколько месяцев после появления повести: «Этот *литератор*, возводящий цинизм в перл создания, у которого в бестолковой повести инвалидный капитан кричит на солдат...». Дальше приводится брань капитана, о которой критик выражается так: «Немеют уста, и рука останавливается, выписывая цитаты из изящных произведений таких художников» (как Слепцов и Глеб Успенский. — *К. Ч.*)[2]. Слово «художники» сказано здесь иронически.

7

Незадолго до опубликования «Трудного времени» Слепцов напечатал два крупных исследования о хозяйственной жизни в России. Эти исследования даны им в беллетристической форме, в виде случайных отрывков из блокнота досужего путешественника, но, как всегда у Слепцова, за внешней небрежностью скрывается глубоко продуманный план. Эти путевые наброски изображают главным образом крестьян и рабочих. Озаглавлены деловито и сухо: «Владимирка и Клязьма» и «Письма об Осташкове». Автор, очевидно, не придавал им особой цены, так как даже не включил их в собрание своих сочинений. Между тем в них чудесная живопись, и на каждой странице в них чувствуется талантливый и сильный художник. Их содержание значительно шире той темы, которая определена их заглавиями. В них Слепцов, по сво-

[1] *Б. И. Лазерсон.* Ирония в публицистике Н. Г. Чернышевского. — В сб.: «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы». Саратов. 1958, с. 293—294.

[2] «Отечественные записки». 1866. № 3, с. 134.

ему обыкновению, обличает не какое-нибудь отдельное зло, а всю совокупность насилий, лицемерий, обманов, жестокостей, на которых зиждется хозяйственная деятельность «сытых и сильных». При помощи «экономики» он выводит на свежую воду всевозможные «гуманства» «имущих и просвещенных представителей нации».

Уж на что был прославлен своими «гуманствами» город Осташков. Либеральная пресса изображала его «благодатным островком в океане всероссийской некультурности» и в один голос восхваляла именитых осташковцев, которые на собственные средства устроили для беднейших слоев населения и богадельню, и библиотеку, и школу, и банк, — явление невиданное в тогдашней захолустной России. Газеты особенно славили тамошних фабрикантов Савиных, которые из рода в род, в течение полувека, состояли городскими головами Осташкова и тратили немалые суммы на «культурно-просветительные» учреждения города. Но Слепцов при помощи пристального анализа их хозяйственной деятельности доказал, что они — те же Щетинины: по видимости филантропы, а по существу угнетатели.

Таким образом, в «Письмах об Осташкове» та же тема, что и в повести «Трудное время»: срываются одна за другою великолепные вывески, на которых начертаны благородные лозунги, и оказывается, что под ними — «кабак».

И там и здесь Слепцов доказывает это путем изучения экономической основы изображаемого быта. В «Письмах об Осташкове» он при помощи фактов, относящихся к хозяйственной жизни городской бедноты, разрушает декоративную, парадную ложь о невиданном благосостоянии города. В «Трудном времени» он точно так же проверяет выспренние речи Щетинина при помощи фактов, относящихся к его хозяйственной деятельности. Оказалось, что Щетинин хоть и маскируется чуть ли не борцом за свободу, на самом-то деле есть типичный аграрий, представитель «прогрессивного», капиталистического, рационально поставленного хозяйства, по-новому эксплуатирующий «раскрепощенных» крестьян, как фабрикант своих вольнонаемных рабочих. Тогда, в 1863 году, тотчас же после крестьянской реформы, такие аграрные буржуа были внове, и Слепцов один из первых уловил этот тип. Он показал его новые приемы хозяйничания: бухгалтерский учет продукции крестьянского труда, земледельческие машины, систему тонко разработанных штрафов, широко налаженную спекуляцию хлебом и пр.

Основная тенденция повести находится в русле идей Чернышевского, который считал одной из своих главнейших задач борьбу с дворянским либеральным реформизмом. Эпиграфом к

«Трудному времени» можно было бы сделать знаменитые слова Чернышевского:

«Эх, наши господа эмансипаторы... Вот хвастуны-то, вот болтуны-то, вот дурачье-то!»

Хотя события, изображенные в повести, относятся к 1863 году, когда земство было еще в проекте, Слепцов предупреждает читателя, что и эта реформа окажется пуфом, ибо при диктатуре дворянства никакое местное самоуправление на всесословных началах немыслимо. В пятой главе своей повести он ясно показывает всем поборникам земской реформы, во что превратится «всесословное земство», когда там начнут верховодить помещики.

8

Читателю, не освоившемуся с литературной манерой Слепцова, его повесть может показаться клочковатой и пестрой, наскоро сшитой из разных литературных лоскутьев.

Такою и считали ее многие критики. В рецензии «Голоса», например, говорилось:

«...сюжет обставлен у г. Слепцова множеством вводных сценок, анекдотов, лиц, разговоров, подмеченных и подслушанных, очевидно, в разное время и в разных местностях и нанизанных теперь в один рассказ...»[1]

Такое же мнение высказали и «С.-Петербургские ведомости»:

«Повесть представляет ряд фотографических сцен, связанных между собою только внешним образом»[2].

Бессмысленность подобных суждений ясна, ибо все эти якобы разрозненные, случайные сцены в сумме своей составляют главное содержание повести, которое заключается вовсе не в том, как один столичный литератор распропагандировал молодую помещицу, а в окончательной дискредитации всяких надежд на реформистские пути развития русской общественности.

Именно для того, чтобы показать всю несбыточность этих надежд, Слепцов и ввел в свою повесть такие якобы случайные зарисовки с натуры, которые должны были в своей совокупности составить неотразимый обвинительный акт против мирной реформаторской деятельности либеральнейших гуманистов эпохи Александра II.

Только из-за цензурного пугала этим сценам был придан бессвязный и якобы случайный характер, а на самом деле все они

[1] «Голос». 1866. № 67.

[2] «СПб. ведомости». 1866. № 26.

бьют в одну точку, все кричат об одном и том же. При помощи этих будто бы разрозненных сцен Слепцову удалось произвести систематический и планомерный обзор всех наиболее заметных явлений тогдашней общественной жизни и каждое из этих явлений измерить единственной мерой: полезно ли оно для трудового крестьянства. Иной меры у Слепцова не было.

Этой мерой он измерил в своей повести и школу, и земство, и крестьянскую реформу, и представителей церкви, и мировых посредников, и купцов, и либеральных дворян.

Повесть, структура которой классически стройна и строга, из которой нельзя выбросить ни одного эпизода, так как в ней каждая мелочь подчинена основному сюжету, все еще воспринимается иными читателями как беспорядочное нагромождение ненужностей, талантливых и милых, но бесцельных.

Пора переоценить эту повесть и предоставить ей одно из почетнейших мест в истории литературы шестидесятых годов. Нельзя допустить, чтобы тайнопись, предназначенная для обмана цензоров, обманывала также и нас.

Много раз слепцовскую повесть сдавали в архив, но она упорно не старела, и уже та запальчивость, с которой новые и новые поколения критиков относились к выведенным в ней персонажам, ясно говорила о том, что ее тема все еще не теряет своей актуальности. Цензура и в восьмидесятых годах считала нужным запрещать ее для библиотек и читален. Букинисты за большие деньги продавали из-под полы ее прижизненное первое издание[1], — наряду с теми томами «Современника», где печаталось «Что делать?» Чернышевского.

Таким образом, повесть, причисленная на первых порах к разряду журнальных однодневок, которым не суждено пережить изображаемую ими эпоху, прожила дольше ста лет, благодаря яркой талантливости этого лучшего произведения Слепцова.

9

Замечательно, что и в этой злободневной публицистической повести Слепцов неизменно остается художником чистейшей воды, и все свои идеи утверждает при помощи образов.

Вначале даже не замечаешь, что его живопись подчинена публицистическим целям, — так она динамична, свежа и ярка. Если даже не знать того идейного стержня, на который нанизываются все образы «Трудного времени», нельзя не восхищаться этими

[1] См.: «Пантеон литературы». 1881. № 1, с. 19.

живыми и горячими образами, нарисованными с таким артистическим блеском такой уверенной и умелой рукой. Даже читатель, не разбирающийся в сокровенных тенденциях повести, будет обрадован ею как произведением большого искусства.

Даже беглые зарисовки второстепенных, эпизодических ее персонажей отличаются такой экспрессивностью, что стоит этим людям лишь промелькнуть на странице, — и кажется, что ты знаешь о них гораздо больше, чем написано там. Угадываешь всю их биографию, видишь их походку и жесты, и то, что в первую минуту показалось эскизным наброском, начинаешь воспринимать как монументальный портрет.

Такова одна из главнейших особенностей слепцовского творчества: предельная меткость и сжатость рисунка, энергия и лаконичность штриха. Там, где другой беллетрист, даже не лишенный таланта, истратил бы несколько страниц для изображения того или иного характера, Слепцов обходится всего лишь десятками строк, и оттого от читателей «Трудного времени» требуется сугубая зоркость, внимательность, чуткость. Эту повесть невозможно читать второпях, кое-как, ибо даже те ее образы, которые находятся на периферии сюжета, насыщены гораздо большим содержанием, чем покажется небрежному читателю, обманутому мнимою легкостью литературной манеры Слепцова.

Всмотритесь, например, в образ «письмоводителя» Ивана Степаныча, о котором было сказано выше. Человек этот ни разу не появляется в центре рассказа, а всегда на заднем плане, в стороне. Выйдет на минуту, произнесет своим отрывистым, лающим голосом несколько скоропалительных фраз и снова уйдет за кулисы, скроется на такое долгое время, что мы даже забываем о нем — до следующего его появления. Но попробуйте собрать воедино все отдельные черточки, так или иначе связанные с Иваном Степанычем и разбросанные на разных страницах, суммируйте его разрозненные слова и словечки, и перед вами возникнет законченный, многозначительный, широко обобщенный портрет. Из беглых и, казалось бы, несвязных зарисовок, из мимолетных деталей, очерченных как будто шутя, мало-помалу создастся одна из самых зловещих фигур того «трудного времени», без которых оно, пожалуй, не стало бы трудным. Иван Степаныч, конечно, микроскопически мелкая сошка, но как могла бы реакция, при всех своих штыках и застенках, справиться с нараставшим революционным движением, если бы она не находила опоры в тысячах тысяч вот этаких Иванов Степанычей, потенциальных погромщиков, которые служат абсолютизму не за страх, а за совесть.

Он — одна из важнейших фигур этой повести, так как без него было бы неясно, какие социальные силы стоят за спиною Щетининых в их исторической схватке с Рязановыми. Между тем большинство рецензентов и критиков даже не приметили Ивана Степаныча, — слишком уж скупо и бегло обрисован этот персонаж. Его сочли эпизодическим лицом, которого, пожалуй, могло и не быть, ибо, повторяю, художественный метод Слепцова не допускает авторского вмешательства в оценку изображаемых лиц, авторских комментариев к тем или иным персонажам. Он стремится к тому, чтобы самый беглый и незначительный образ был, так сказать, концентратом основной идеи его повести. И это им достигнуто вполне. Напомню хотя бы такой эпизод, который критика либерального лагеря объявила «анекдотом», «смешным пустяком», совершенно не связанным с основным содержанием повести. Крестьянка привела в усадьбу свою малолетнюю девочку. Горничная встречает ее издевательским смехом.

«— Что ж ты смеешься?» — (спросила у нее удивленная барыня).

— Очень уж смешно. У девочки в ухе...

Горничная опять засмеялась.

— Что ж у ней в ухе?

— Горох вырос.

— Как горох вырос?

— Да извольте сами посмотреть. Обыкновенно, ребятенки баловались, засунули ей в ухо горошину; он у ней там и вырос. Видно, извольте поглядеть, из уха росток торчит.

Оказалось, у девочки действительно из уха виднелся росток».

Как много сказано в одном немногословном отрывке: и то, в каком чудовищном пренебрежении, по горло в грязи, жили в ту пору крестьянские дети; и то, как темна и забита была тогда деревенская женщина-мать; и то, с какой лакейской надменностью относилась сытая барская челядь к «дикости» коренного крестьянства. И все это спрессовано в несколько строк и является, как я уже говорил, воплощением коренной идеи всего «Трудного времени».

Дальнейшее развитие темы ведется с таким же изощренным искусством, причем к арсеналу изобразительных средств здесь присоединяется и великолепно воспроизведенная народная речь. Нельзя более осязательно, кратко и сжато изобразить ту бездну взаимного непонимания и тысячелетней вражды, какая существовала тогда между народом и барами, — чем это сделал Слепцов на тех двух небольших страничках, где приводится дальнейший разговор «дикой» крестьянки и «доброй» помещицы.

«Баба вытащила из-за пазухи четыре яйца и подала их Марье Николавне.

— Зачем это? Мне не надо.

— Ну! — сказала баба, все-таки отдавая яйца.

— Нет, право, мне не надо.

— Ну! Ничаво.

Баба старалась поймать ее руку.

— Ах, какая ты! Ведь я тебе сказала, что не возьму...

— Да ведь у нас денег нету. Какие у нас деньги?» — и т. д.

Этот разговор знаменует собою полную неосуществимость, немыслимость того мирного «слияния сословий», на которое либералы шестидесятых годов возлагали так много напрасных надежд. Здесь опять-таки обнаруживается сила Слепцова как мастера «спрессованных» образов: общественную ситуацию, сложившуюся в течение многих веков, он отчетливо и метко отражает при помощи маленькой жанровой сценки, исполненной с артистическим блеском, который невольно заставляет нас вспомнить ранние произведения Чехова.

Вот этот-то артистизм, эта колоритная и сильная живопись, насыщенная большим содержанием, и обеспечили «Трудному времени» такую долгую жизнь в потомстве. Большинство тогдашних повестей и романов ныне имеют лишь музейную ценность — ценность исторических памятников, а «Трудное время» живет и сейчас как произведение большого искусства, привлекательное для современных читателей не только фабулой, где так правдиво отразилось былое, но и высоким качеством художественной формы.

1931

1

Принято почему-то считать, что Знаменская коммуна Слепцова — явление единичное и редкостное.

В разных мемуарах печатают, будто она была «совершенною новостью», «небывалой диковиной, поразившею всех современников»[1].

А между тем таких коммун устраивалось тогда в Питере множество и до Слепцова и после него. Слепцовская коммуна тем-то и любопытна для нас, что в шестидесятых годах она была заурядным явлением. Правда, о прочих коммунах известно в нашей литературе не много — несколько случайных записей, чаще всего злых и насмешливых, но даже из этих записей видно, как притягательна была для молодых разночинцев идея коммунального быта.

Н. Свешников, например, в «Воспоминаниях пропащего человека» пишет:

«Вася ввел меня в коммуну, помещавшуюся в Эртелевом переулке в доме Хрущова. Коммуна эта занимала маленькую комнатку, и членами ее состояли Воскресенский, Сергиевский, Соболев, князь Черкезов и Волков, и тут же проживали две нигилистки, Коведяева-Воронцова и Тимофеева, и все они спали вповалку. Четверо первых были люди модные, потому что отбыли срок заключения в крепости по прикосновенности к делу Каракозова. Впоследствии коммуна эта разрослась. В нее вступили покойный Орфанов, Щербатов и другие, и они сняли себе квартиру в Средней Мещанской улице»[2].

---

[1] «Русская старина». 1890, Т. 65. Кн. 1, с. 236—238; «Голос минувшего». 1915. № 12, с. 113. (В «Русской старине» абзац о коммуне был вырезан цензурой. Я видел у Л. Нелидовой доцензурный экземпляр. — *К Ч.*)

[2] *Н. И. Свешников.* Воспоминания пропащего человека. М.—Л., 1930, с. 160.

Эта коммуна — беднейшая и потому наиболее характерная для тогдашних бездомных и безработных демократов. Семь человек в одной комнате! Врозь они, пожалуй, не выжили бы, потому что какие же заработки у вышедших из тюрьмы политических! Вряд ли, живя в одиночку, они могли бы обладать такой роскошью, как, например, тот грязный самовар, который так не понравился Свешникову.

Но не только для совместного житья, а и для общей работы соединялись тогдашние «новые люди» в коммуну. Всем, например, памятна та трудовая коммуна, из которой впоследствии выросла знаменитая артель «передвижников». И. Е. Репин в своих воспоминаниях подробно рассказывает, как тринадцать художников, вышедших из Академии художеств в 1863 году, решили устроить сообща мастерскую, сняли на окраине большую квартиру и переехали туда жить и работать.

«Тут они сразу ожили, повеселели... — вспоминает Репин. — Теперь у них уже не скучные конурки, где не с кем слова сказать и от скуки, неудобства и холода не знаешь, куда уйти. Теперь они чувствовали себя еще свободней, чем в академических мастерских, крепче ощущали свою связь и бескорыстно влияли друг на друга... Дела их шли все лучше и лучше. Появились некоторые средства и довольство»[1].

То была коммуна производственная. Таких было в ту пору немало — равно как и всевозможных артелей. «Все вообще начинания русских людей того времени, — свидетельствует В. В. Стасов, — стремились к этой форме (то есть к форме артелей. — *К. Ч.*). Она всем казалась самою справедливою, самою настоящею, самою естественною и простою. «Давайте работать не в одиночку, а вместе, — говорили все. — Так лучше, прочнее и выгоднее. Чего *один* не может, то могут *многие*. Один другому будет помогать, будет побуждать, торопить. А потом, что добудем, то будем делить поровну». Оттого у нас тогда возникло вдруг повсюду бесконечное множество «артелей» всякого рода, ремесленных, технических, художественных, и все были счастливы и рады, и на всех пунктах заводились поминутно все новые. «Товарищество» и «равноправие» были на устах у каждого»[2].

Враги демократического движения шестидесятых годов были, конечно, не склонны отмечать достоинства коммун и артелей, этих «нигилистических гнезд», и выпячивали их темные стороны.

---

[1] *И. Е. Репин.* Далекое близкое. М., 1964, с. 163 и 176.

[2] *В. В. Стасов.* Воспоминания о моей сестре. — «Книжки недели». 1896. № 5, с. 181.

Вот, например, какими чертами наделяет Лесков «гречевскую» коммуну Артура Бенни:

«Один не окончивший курса студент, один вышедший в отставку кавалерийский офицер, один лекарь из малороссиян, один чиновник и один впоследствии убитый в польской банде студент из поляков устремились овладеть священнейшею простотою Бенни, чтобы жить поспокойнее на его счет... Достопочтенные люди эти решили скрепя сердца свои владеть Артуром Бенни сообща, в компании, на коммунистических началах... Коммунисты поселились у него разом. Условием этой однополой коммуны было, чтобы никому между собой ничем не считаться. Наглости артельщиков Бенни не было и не может быть ничего равного и подобного. Это ничего почти не выразит, если мы по сущей справедливости скажем, что сожители его обирали, объедали, опивали, брали его последнее белье и платье, делали на его имя долги, закладывали и продавали его заветные материнские вещи, — они лишали его возможности работать и выгоняли его из его же собственной квартиры»[1].

Если верить Лескову, то был капитализм наизнанку: одного труженика эксплуатировало пять тунеядцев. Но верить Лескову никак невозможно, ибо Бенни, при его скудных литературных заработках, не был настолько богат, чтобы содержать на свой счет такую ораву нахлебников. Лесков тенденциозно отклонился от истины. Впрочем, несомненно и то, что подобные лжекоммуны возникали тогда очень часто и что всякие темные личности пытались использовать их.

Гораздо примечательнее то обстоятельство, что передовые дворяне, офицеры, чиновники — и те охотно перенимали у «нигилистов» эту модную форму коллективного быта и тоже селились коммунами.

Об одной такой коммуне мы знаем из биографии композитора Мусоргского.

«Осенью 1863 года, — читаем у Стасова, — воротясь из деревни, он (Мусоргский. — *К. Ч.*) поселился вместе с несколькими молодыми товарищами на общей квартире, которую они для шутки назвали коммуной, быть может, из подражания той теории совместного житья, которую указывал знаменитый в то время роман «Что делать?». У каждого из товарищей было по отдельной своей комнате, куда никто из прочих товарищей не смел вступать без специального всякий раз дозволения, и тут же была одна общая большая комната, куда все сходились по вечерам, когда бывали свободны от своих занятий, читать, слушать чтение, беседо-

[1] *И. С. Лесков*. Полн. собр. соч. Т. VIII. СПб., 1897, с. 96.

вать, спорить, наконец просто разговаривать или же слушать Мусоргского, играющего на фортепьяно или поющего отрывки и романсы из опер. Таких маленьких товарищеских «сожитий» было тогда немало в Петербурге и, может быть, в остальной России»[1].

Юноши служили в гвардии, в сенате, и, не в пример «нигилистам», предавались искусству. Их кумиром был не Фейербах, но Флобер. Тем характернее, что даже такая коммуна — дворянская — вела свое происхождение от романа «Что делать?». Другие коммуны еще теснее были связаны с этим романом. Недаром большинство из них возникло в 1863 году, то есть тотчас же после появления романа в печати. В самом деле: и коммуна Артура Бенни, и коммуна передвижников, и коммуна Мусоргского, и коммуна Слепцова — все относятся к осени 1863 года. Впрочем, еще раньше, еще летом, то есть едва только до читательской массы дошли последние главы «Что делать?», молодежь стала стремиться к тому, чтобы немедленно построить свою жизнь по тем идеям и принципам, какие проповедуются в этом романе. Хроникер московского листка «Развлечение» отмечал уже в августе 1863 года: «Знаете ли вы, читатель, что в Мазилове колония «новых людей»? Не тех новых людей... которых описал г. Чернышевский в своем романе, а вот тех, которые образовались и появились непосредственно после второй части этого романа. Пародии на ту жизнь и лица, которые он (Чернышевский.— *К. Ч.*) провел в своем романе... появились и разводятся быстро, как мухи в жаркий день... В самой Москве их, конечно, много, но они не могут быть слишком заметны, так как Москва «велика и обильна»... но в Мазилове они сосредоточились, в Мазилове их главное депо»[2].

Молодежь того времени и до Чернышевского смутно стремилась к коммунальному быту, но Чернышевский в своем романе придал ее стремлениям такую конкретную форму, что его по справедливости можно считать родоначальником и вдохновителем этих коммун.

Правда, Скабичевский в воспоминаниях указывает, будто не только Чернышевский, но и Пфейфер толкнул Слепцова на создание коммуны[3]. По словам Скабичевского, в конце 1865 года вышла брошюра Пфейфера об устройстве ассоциаций в Европе, и вот под влиянием этой брошюры Слепцов будто бы и устроил свое общежитие.

---

[1] «Вестник Европы». 1881. № 3, с. 301.

[2] «Общественные и литературные заметки». — «Развлечение». 1863. № 34, с. 139.

[3] *А. М. Скабичевский.* Литературные воспоминания. М.—Л., 1928, с. 226.

Это утверждение основано на самых нелепых ошибках. Во-первых, брошюра Пфейфера вышла не в 1865 году, а в 1866, то есть через два с половиною года после возникновения Слепцовской коммуны, а во-вторых, книга была не такая, чтобы ею мог увлечься Слепцов, ибо ее главной задачей являлось уничтожение социализма в Европе.

Если Пфейфер призывал к организации коммун, то именно потому, что в них ему мерещилось вернейшее средство предотвратить революционный пожар. Вся его книга написана в интересах «богатых и сильных», к которым автор обращался с такими призывами:

«Если вы не хотите, чтобы в рабочей среде завелись агитаторы, ведущие толпу к революции, вы должны всемерно способствовать развитию кооперативного дела! Этого требует ваша же выгода»[1].

Как мы ниже увидим, у Слепцова при основании коммуны были прямо противоположные замыслы. Да и трудно предположить, чтобы такая реакционная книжка могла иметь большое влияние на разночинную молодежь шестидесятых годов.

Другое дело роман Чернышевского.

В романе всех очаровала Вера Павловна — не героиня, а самая обыкновенная женщина, которая, не страшась полицейского пугала, мирно и бесшумно устроила тут, в Петербурге, швейную мастерскую для женщин на коммунальных началах, — и как счастливы стали бедные швеи, освобожденные ею от власти хозяев! Как счастлива стала она сама, Вера Павловна! Как уютна в романе эта коммунальная швейная — просторная, светлая, с веселыми окнами! Как изящно меблированы комнаты девушек, а сами девушки одеты точно барышни! Как хорош у них обед из трех блюд: рыба, телятина, рисовый суп! А коллективные прогулки с четырьмя самоварами! А совместные чтения! А ложи в театре! А катанья в лодках! А ясли и очаги для детей!

Мудрено ли, что — тотчас же после появления романа «Что делать?» — коммуны стали расти ежедневно и в том же 1863 году выросли в несметном количестве.

Но совсем не такие, о каких мечтал Чернышевский. Ибо, прославляя коммуну, Чернышевский мечтал не о меблированных комнатах с общим столом, а о «деле прогресса», о «деле всего человечества». В швейной мастерской Веры Павловны чудилось ему начало той всемирной коммуны коммун, которая навеки осчастливит людей. Не в сокращении расходов был для него смысл

[1] *Э. Пфейфер.* Ассоциации: Настоящее положение рабочего сословия и чем оно должно быть. СПб., 1866, с. 36, 218.

коммуны и не в мелких удобствах, которые даст она маленькой, сплотившейся кучке, а в том широком социалистическом строе, который будет создан в ближайшее время сотнями и тысячами подобных коммун, в том хрустальном дворце с алюминиевыми колоннами, куда все эти коммуны сольются впоследствии. Для Чернышевского они были не целью, но средством. Они должны были пропагандировать социалистический строй и показать самому незрячему люду все преимущества этого строя.

Между тем даже артель передвижников была чужда той идее, которою Чернышевский был охвачен, как пламенем, — идее о преобразовании всего человечества. В письме к своему другу основатель артели Крамской откровенно указывает, что он далек от каких бы то ни было утопических замыслов:

«Имея три общих больших мастерских, — писал Крамской, — нам каждому жизнь, по самому точному и нескупому расчету, будет стоить ежемесячно 25 рублей серебром. Следовательно, соединяясь, мы не только не теряем, а положительно выигрываем...»[1]

Конечно, не этот «выигрыш» был для передвижников главным: их больше всего соблазняла возможность сплоченно бороться за демократизацию живописи, но отсюда еще далеко до забот о будущей судьбе человечества.

Другим коммунам, которые я сейчас перечислил, эти заботы были еще менее свойственны. Денежные соображения и приобретение максимальных удобств — вот, в сущности, и вся их задача. Но не такова была коммуна Слепцова. Верный ученик Чернышевского, он затем и устроил ее, чтобы положить основание социалистической организации труда.

Совершенно не соответствует истине утверждение какого-то анонимного автора, напечатавшего в «Вестнике Европы», будто Слепцовская коммуна была простым общежитием, «невинной (и не весьма практичной) затеей устроить нечто вроде меблированных комнат в кружке знакомых и одиноких людей»[2]. Сам Слепцов смотрел на это дело иначе. «Предполагаемое мною общежитие... — говорил он Екатерине Цениной (впоследствии Жуковской), — будет вначале иметь вид просто меблированных комнат. Удастся нам ужиться и расширить это дело — сейчас же явятся подражатели. Такие коммуны распространятся, укоренятся, и тогда мы ли, последующие ли поколения будем развивать дело далее до настоящего фаланстера»[3].

---

[1] «И. Н. Крамской, его жизнь и переписка». СПб., 1888, с. 51.

[2] «Вестник Европы». 1904. № 7, с. 382. (Похоже, что эту заметку писал либо А. Пыпин, либо Ю. Жуковский. — *К. Ч.*)

[3] *Екатерина Жуковская*. Записки. Л., 1930, с. 160.

«Он задумал осуществить фаланстер Фурье, — поясняет Жуковская, — но, поняв, что сразу рубить прежние формы общежития невозможно, он решил вести дело постепенно, с лицами, которых ему удастся убедить в удобстве коммунистических принципов. Он решил начать с простого городского общежития и потом постепенно превращать его в настоящий фаланстер»[1].

Таким образом, для Слепцова коммуна была только первоначальным этапом на пути к великому будущему. Да и не мог автор «Трудного времени», выразивший в этой повести такую ненависть к мирному и мелочному реформизму, к обывательским гуманным полумерам, не мог он в самый разгар революционной борьбы устраивать «простые общежития».

Даже Лесков, враг Слепцова, изобразивший его в язвительном пасквиле, и тот принужден был отметить социалистические тенденции Слепцовской коммуны.

«Несколько мужчин и несколько женщин, — иронически повествует Лесков, — решились сойтись жить вместе, распределив между собою обязанности хозяйственные и соединивши усилия на добывание работ и составление общественной кассы, при которой станет возможно достижение высшей цели братства: ограждение работающего пролетариата от произвола, обид и насилий тучнеющего капитала и разубеждение слепотствующего общества живым примером в возможности правильной организации труда без антрепренеров-капиталистов»[2].

Словом, никакой обывательщины не примешивалось к этой задаче: с самого начала Слепцовым были приняты меры, чтобы его коммуна не сделалась просто «меблированными комнатами с общим столом». Он организовал в ней бюро для добывания работы и даже сделал несколько попыток ввести в нее производственный труд.

Разбирая в архиве Нелидовой бумаги Слепцова, относящиеся (как я полагаю) к тому же периоду, я нашел там одну тетрадку, содержащую выписки из сочинений Фурье «Новый индустриальный порядок» и «Теория четырех движений». Особенно много выписок относится к практическому устройству «гармонии» (так Слепцов именовал фаланстер) и к положению женщины в этой «гармонии».

«Это дедушка осмысленного русского быта, — говорится о его коммуне в лесковском романе. — Это дом, какими должны быть и непременно будут все дома в мире!»

Итак, по своей идее коммуна Слепцова явилась одним из самых передовых начинаний эпохи шестидесятых годов.

---

[1] *Екатерина Жуковская*. Записки. Л., 1930, с. 156.

[2] *Н. С. Лесков*. Полн. собр. соч. Т. IV. СПб., 1897, с. 629.

2

Но выполнена эта задача была неумело. Практика Слепцова оказалась в разладе с его великолепной теорией: на таком шатком фундаменте построил он эту коммуну, что она не могла не разладиться в самое короткое время. С первых же шагов им было допущено столько непоправимых ошибок, что даже близкие его единомышленники в конце концов осудили его.

Коммуна была устроена на Знаменской улице, в доме Бекмана, близ Невского проспекта.

«Нигилистов», ненавидящих богатство и роскошь, возмущала уже самая обстановка коммуны, которая казалась им пышной и оскорбительно барственной. Николай Успенский ощущал, например, эту пышность как личную себе обиду и с озлоблением вспоминал в своих записках:

«Ярко освещенный подъезд громадного дома, напоминавшего своей внушительной наружностью совершенный дворец... Солидный швейцар с булавой... Лестница украшена статуями греческих богов и экзотическими растениями... Роскошная квартира с необозримой анфиладой комнат, освещенных люстрами, лампами и затейливыми абажурами и бра на стенах»[1].

Скажут, что Николаю Успенскому, привычному обитателю низкопробных трущоб, могла показаться чрезмерно роскошной самая простая квартира, но вот воспоминания Скабичевского:

«Мы вошли по парадной лестнице в тысячную квартиру, в бельэтаже, с очень приличной обстановкой. Обширное зало было полно народу. Мы нашли здесь все сливки литературного, артистического, художественного миров. Человек было далеко за сто»[2].

На лестницу со швейцаром указывает и Авдотья Панаева. Правда, из ее слов выходит, что квартира была не в бельэтаже, а на самом верху, и это, пожалуй, вернее, ибо Скабический в соответствии с духом эпохи величал бельэтажем решительно все, что не подвал и не чердак. Та же Авдотья Панаева свидетельствует, что мебель в коммуне была небогатая, но, конечно, нам важно не то, какою эта мебель казалась Авдотье Панаевой, привыкшей жить в роскошной обстановке, а то, как воспринимали ее типические демократы шестидесятых годов. К тому же Екатерина Жуковская, сама бывшая членом коммуны, сообщает, что в особо парадные дни зал действительно украшали богатою мебелью, взятой из апартаментов жильцов, и даже, как это ни странно, цвета-

[1] *Н. В. Успенский.* Из прошлого. М., 1889, с. 120.
[2] *А. М. Скабичевский.* Литературные воспоминания. М., 1928, с. 227.

ми. Об этих цветах вспоминает и Коптева. Очевидно, они больно задели беднейшую часть коммуны.

«Он (Слепцов. — *К. Ч.*), — сообщает Жуковская, — возмутил Маркелову с княжной, накупив огромное количество цветов для зала, объясняя, что это необходимо для того, чтобы придать комнате менее казарменный вид»[1].

Таким образом, Лесков, писавший о коммуне со слов Коптевой, в данном случае лишь отчасти погрешил против истины, когда рассказывал, как Слепцов «один раз возвратился домой в сопровождении десяти человек, принесших за ним более двадцати вазонов разных экзотических растений».

«— Сколько стоят эти цветы? — спросила у него одна из проживавших в коммуне.

— Что-то около шестнадцати рублей.

— Как же вы смели опять позволить себе такое своеволие! Зачем вы купили эти цветы?

— Господи боже мой!..»[2]

Из воспоминаний Жуковской мы видим, что эта сцена списана с натуры, хотя и порядком шаржирована, ибо «*двадцать* вазонов» и «*десять* человек», естественно, внушают недоверие.

В то суровое время неподходящая роскошь Слепцовской коммуны казалась беднякам разночинцам почти преступлением.

А члены коммуны? Годятся ли они для той высокой исторической миссии, ради осуществления которой и создавалась коммуна? Кто они такие, эти люди, взявшиеся осуществить социалистический быт в обстановке тогдашней России?

В том-то и дело, что никакой такой особенной миссии эти люди на себя не возлагали. Двое или трое из них с самого начала заявили Слепцову, что фаланстеров им и даром не надо, а нужны им самые обыкновенные комнаты с общим столом, — и он лишь по неопытности ввел их в коммуну, лишь потому, что простодушно надеялся на благотворное влияние коммуны и верил, будто жизнь в коммуне способна переродить их в кратчайшие сроки.

Если бы у него был в этой области хоть какой-нибудь опыт, он знал бы, что ввести их в коммуну — это значит обречь ее на неизбежный провал.

Что же это были за люди? Вот сведения, собранные мною о них по клочкам из разных мемуарных свидетельств:

1. Раньше всего — *Маша Коптева*, избалованная, изящная московская барышня, дочь богатых родителей, ленивая, насмешливая, очень неглупая, только что из института благородных девиц,

[1] *Екатерина Жуковская*. Записки. Л., 1930, с. 173.
[2] *Н. С. Лесков*. Полн. собр. соч. Т. IV. СПб., 1897, с. 665—668.

приставшая к нигилизму случайно. Она, так сказать, демократка салонная, очень «хорошего тона», с нескрываемым презрением к «черни», то есть к подлинным демократам, именуемым ею «бурыми». Замечательна тем, что Лесков, сильно приукрасив ее, изобразил ее в своем романе «Некуда» под именем Лизы Бахаревой.

2. Ее подруга *Е. И. Ценина* (Жуковская), тоже институтка из так называемой «хорошей семьи», ушедшая в «нигилизм» случайно, спасаясь от семейных передряг. Ни в какие слепцовские фаланстеры не верит и вообще относится к Слепцову насмешливо. Бойкая, недурная собой, самодовольная, недалекая, злая. Подобно большинству туповатых людей, считает себя очень проницательной и, даже разговаривая со Слепцовым, Щедриным или Боковым, уверена в умственном своем превосходстве.

3. Адвокат *Языков 2-й*, либеральный тверской дворянин, родственник Слепцова по жене. Поселился в коммуне именно в качестве родственника, к коммунистическим идеям вполне равнодушен: когда слышит о фаланстере, хихикает и машет рукой.

4. *Аполлон Филиппович Головачев*, тоже либеральный тверской дворянин, тоже близкий родственник Слепцова. Сотрудник и секретарь «Современника», друг Салтыкова-Щедрина, человек благородный, но ленивый и рыхлый. Проиграл состояние в карты. Всей душой верует в коммуну, но не воплощает своей веры в поступки.

5. *Александра Григорьевна Маркелова* (Каррик), подлинная демократка, работящая, смелая, деятельная, из так называемых «бурых». Поселилась в коммуне по идейным мотивам и представляет в ней крайнюю левую. Добывает пропитание корректурой и мелкой литературной работой. Переводчица. Детская писательница. Автор рассказа «В рабочем углу». По совету Слепцова перевела несколько сказок Андерсена. Известен ее перевод книги «Сборник рассказов из путешествий и быта народов» (1868). В. В. Стасов в «Воспоминаниях о моей сестре» называет ее одним из главнейших и лучших членов издательской артели[1].

6. Княжна *Екатерина Александровна Макулова*, тоже крайняя демократка, «бурая». Идея коммуны ей кровно близка. Ее княжеский титул не давал ей никаких привилегий, ибо родители у нее были нищие. В. В. Стасов характеризовал ее как «очень сердечную женщину, очень много помогавшую общему делу»[2]. В. М. Гаршин писал о ней (в 1871 году): «Про нее говорят, что с нею спорить страшно, ибо она легко может привести в действие когти и зубы»[3].

---

[1] «Книжки недели». 1896. № 6, с. 160.

[2] Там же. № 5, с. 184.

[3] *В. М. Гаршин*. Полн. собр. соч. Т. III. М.—Л., 1934, с. 419.

Большинство только что перечисленных обитателей Слепцовской коммуны можно назвать «постепеновцами». К «нетерпеливцам» (то есть к таким, которым не терпится, чтобы революция наступила скорее) принадлежали, за исключением Слепцова, всего только две «коммунарки». Применяя терминологию той эпохи, нигилистов салонных было там вдвое больше, чем «бурых». Можно было с самого начала предвидеть, что эти две группы — «аристократы» и «чернь» — неизбежно столкнутся, что жить им под одной кровлей немыслимо, ибо, как ни скрыта до времени их партийная рознь, она скажется при первом же столкновении их интересов.

3

У нас до сих пор представляют себе интеллигентскую молодежь шестидесятых годов сплошной однородной массой. Между тем эта масса всегда слагалась из двух бурно враждующих между собой групп, ибо в нее входили и генеральские дети, и голытьба мелко-мещанских низов[1].

В начале первого периода эпохи шестидесятых годов, от пятьдесят шестого до шестьдесят первого года, их взаимная ненависть была незаметна, но в позднейшую эпоху она обнаружилась с кричащей яркостью и в быту, и в литературе, и в журнальной полемике.

В тот год, когда Слепцов устраивал коммуну, вражда была в полном разгаре: «салонные» нигилисты уже окончательно откололись от «бурых», и нужна была сильная вера в воспитательное значение коммуны, чтобы не отказаться от мысли сплотить этих разных людей воедино для общего дела.

Едва Слепцов заикнется, бывало, про «общее дело», «салонные» так и вскинутся на него, как на фразера и выдумщика.

— Нельзя ли попроще? — восклицает Коптева с презрительной миной, — нельзя ли меблированные комнаты называть меблированными комнатами, а не «нашим делом»?

— Для вас с Екатериной Ивановной, — отвечает Слепцов, — это точно меблированные комнаты, к нашему общему прискорбию, но для нас это «дело», за которое мы стоим и значение которого мы желаем поддержать!

[1] Характеристику обеих групп см.: *В. Серова.* Серовы Александр Николаевич и Валентин Александрович. СПб., 1914, с. 104–105. В отличие от нигилистов «салонных», подлинные нигилисты условно именуются здесь пролетариями.

Здесь, в этом стремлении связать несвязуемое, был органический порок его затеи.

Одна из нигилисток «салонных», представлявшая в коммуне крайнюю правую, Екатерина Ивановна Ценина (Жуковская), о которой мы сейчас говорили, оставила подробные записки об этой коммуне и, конечно, попыталась, по мере возможности, возвеличить свою дворянскую, «салонную», группу и унизить противоположную — «бурую».

Дворянский нигилизм, по ее утверждению, «совмещался большей частью с умом, образованием и талантом», а также с некоторым «щегольством и комфортом», «бурые» же были «неряшливы», «лохматы», «нетерпимы» и по большей части невежественны. Макулова даже не знала по-французски!

Ко всем достоинствам нигилистов-дворян Ценина присовокупляет еще одно — едва ли не самое главное: их нелюбовь к революции. Это ей нравится больше всего. Они были сторонниками мирных реформ, и «благие преобразования» Александра II были им вполне по душе. Дальше мирного прогресса их вожделения не шли. Соглашательство с дворянскими литературными партиями составляло основу их партийной программы. А «бурые» были непримиримые враги всего самодержавного строя, и через несколько лет, в конце шестидесятых годов, из их среды стали вербоваться агитаторы, бунтовщики и подпольщики. Тотчас же после каракозовских дней раскол сказался на их биографиях: правые нигилисты один за другим стали уходить на казенную службу, а левые — в подполье, в эмиграцию, на сибирскую каторгу[1].

Вообще большинство эпизодов из жизни Слепцовской коммуны мы узнаем главным образом из записок Жуковской, которая, должно быть, и сама не заметила, какой богатый материал против себя и своей «аристократической» группы она дает в этой книге. Из ее записок ясно видно, что разложение в коммуну Слепцова внесли именно она и близкие ей люди.

Для того чтобы обеспечить своей коммуне успех, Слепцову надлежало пожертвовать либо «бурыми», либо «салонными», а принуждать к сожительству тех и других было воистину делом безумным. Не удивительно, что когда под конец он пригласил в свою коммуну работниц, работницы не пожелали войти в нее.

— Какие же это коммунисты! — говорили они про членов Слепцовской коммуны, — это просто аристократы.

И те должны были сами признать:

— Действительно, невозможно набирать к нам, аристократам труда, пролетариев-тружеников.

---

[1] См.: *Екатерина Жуковская*. Записки. Л., 1930, с. 208.

Ни наборщицы, ни переплетчицы не пожелали и слышать о вхождении в коммуну, и для «бурых» это было тяжелым ударом.

— Не будь у вас аристократических замашек, — говорила «бурая» «салонной», — все так легко могло бы уладиться.

Еще бы! Но аристократические замашки оказались непреодолимым препятствием: ведь наборщицы и переплетчицы зарабатывали тогда самое большее 15—20 рублей в месяц, а жизнь в коммуне обходилась каждому ее члену втрое, вчетверо больше, то есть чуть не втрое дороже, чем, например, в артели «передвижников», возникшей в том же городе, в то же самое время, при тех же ценах на стол и квартиру. Ясно, что такая коммуна была доступна лишь зажиточным людям, а люди безденежные не смели и думать о ней.

Весь modus vivendi◊ в Слепцовской коммуне был до такой степени далек от полуголодного быта интеллигентных пролетариев шестидесятых годов, что те чувствовали себя в ней, как в барских хоромах, и в шутку просили Слепцова, чтобы он позволил им поселиться на кухне, так как комнаты слишком роскошны для них.

Левитов рассказывал Николаю Успенскому:

«Я раз говорил ему (Слепцову. — *К. Ч.*): дескать, нельзя ли мне в качестве хоть пария какого-нибудь приютиться у вас, хоть, примером будем говорить, в кухне? — Ну, нет, — сказал Слепцов, — ты нашу кухню заплюешь, загадишь, а кроме того, как напьешься, ворвешься в комнату и будешь бушевать... А главное, все вы, народные писатели, страдаете безденежьем, а у нас живут люди более или менее обеспеченные, тут есть и дочка графа, и сынок Тита Титыча. Нет, Левитов, ты эту кухню выбрось из головы. Я лучше буду по временам оказывать тебе пособие в форме какого-нибудь пиджака, трех рублей, стеариновых свечей и т. д.»[1].

Верить этим россказням нельзя, ибо воспоминания Николая Успенского знамениты своими злостными отклонениями от подлинных фактов, но эти измышления показывают, как относились «бурые» к коммуне Слепцова[2].

Николай Успенский в то время был «бурый из бурых» и потому коммуна представлялась ему постыдною барскою прихотью.

◊ Образ жизни (*лат.*).

[1] *Н. В. Успенский.* Из прошлого. М., 1889, с. 119—120.

[2] До чего недостоверны воспоминания Николая Успенского, видно даже из приводимых им дат. Он рассказывает, что коммуну Слепцова он посетил во время писания очерка «Змей», между тем как этот очерк был написан им за пять лет до возникновения коммуны. Кроме того, он утверждает, что роман Слепцова «Трудное время» был тогда уже давно написан, хотя на самом-то деле этот роман появился лишь через семь лет после «Змея».

Даже то возмущало его, что вместо дешевой сивухи в коммуне, как он утверждает, предлагали гостям шартрез, шато-икем, шато-марго, лафит — аристократические марки вин. Авдотья Панаева, возражая ему, говорит, что вообще никаких крепких напитков она не видала в коммуне, что там, «кроме чаю, никаких других угощений не подавалось гостям» и что рассказ Николая Успенского «можно приписать лишь галлюцинации автора, видевшего описанное им во сне»[1].

Если же, как сообщает Жуковская, Слепцову и случалось порою покупать несколько бутылок вина для коммуны[2], — это бывало лишь в экстренных, особо торжественных случаях, когда в коммуну приглашались посторонние гости и Слепцов считал необходимым для пропаганды коммунального быта выставлять напоказ мнимое процветание общины. Это было непрактично, наивно, но никакого криминала здесь не было, тем более что на подобные (очень редкие) пиршества он тратил главным образом свои личные средства.

Словом, пребывание в коммуне не только не вело ее членов к сокращению расходов, но, напротив, обременяло их лишними тратами, а это не могло не дискредитировать в глазах маловеров самую идею коммуны. Боясь этого, Слепцов с самыми лучшими целями, — для того чтобы поддержать престиж коммуны, — скрывал и от публики, и от самих «коммунистов» цифру истинных расходов своего предприятия и часто покрывал дефициты из собственных заработков, но так как заработки эти были весьма невелики, вскоре наделал долгов, и престиж коммуны упал окончательно[3].

В довершение ко всему возникли пошлейшие слухи, будто в коммуне процветает разврат. Тот же Николай Успенский изображает коммуну «магометовым раем», а Слепцова — султаном, окруженным прелестными гуриями, которые все поголовно пылают к нему «неукротимою страстью». Лесков, со своей стороны, утверждает, будто Коптева именно потому и ушла из коммуны, что Слепцов вознамерился завербовать и ее в свой гарем[4]. Все это, конечно, клевета его партийных врагов, воспользовавшихся его репутацией покорителя женских сердец, чтобы набросить тень на

---

[1] *А. Я. Панаева.* Воспоминания. М., 1956, с. 335.

[2] *Екатерина Жуковская.* Записки. Л., 1930, с. 173.

[3] О денежных неурядицах Слепцовской коммуны было известно даже в посторонних кругах; и Лесков, и Всеволод Крестовский воспроизводят ходившие тогда по Петербургу слухи о финансовых махинациях Слепцова. Конечно, эти слухи были чистейшая ложь, и объясняются они полным неумением Слепцова вести хозяйство на коммунальных началах.

[4] *И. С. Лесков.* Полн. собр. соч. Т. VIII. СПб., 1897, с. 94.

основанный им фаланстер. Эта репутация принесла ему много вреда, и даже расположенная к нему Авдотья Панаева была принуждена согласиться, «что ему много мешали его отношения к женщинам». О том же говорит и Скабичевский.

Но нельзя сомневаться, что коммуна была скорее монастырь, чем гарем, и что дело было вовсе не в «донжуанстве» Слепцова, а в его трагически безнадежной попытке сблизить для совместной работы революционных демократов с враждебными им элементами.

Это превратило коммуну в арену для идейных побоищ. Всякая мелочь вызывала баталии. Особенно горячи были бои из-за хлеба: «бурые» довольствовались ситником, «аристократы» требовали булок.

— Я не извозчик, чтобы есть эту сухую кислятину! — восклицала «салонная» Ценина.

— Тысячи людей были бы счастливы иметь к чаю такой хлеб! — возражала «бурая» Маркелова.

— Ну, так и счастливьте эти тысячи, а я не хочу![1]

От ситника перешли к нарядам. «Бурые» клеймили «салонных» за их франтовство и, доказывая им всю «безнравственность» роскоши, щеголяли убожеством своего одеяния. «Аристократки», в пику «бурым», наряжались в шелковые платья с великолепными шлейфами и демонстрировали их в зале коммуны.

А потом — война из-за прислуги. В коммуне было слишком много работниц: две няньки, две горничные, прачка, кухарка, словно это не коммуна, а усадьба. «Бурые» потребовали, чтобы вся эта челядь была удалена из коммуны и чтобы «коммунисты» своими руками делали домашнюю работу, не прибегая к услугам наемниц. «Аристократки» вначале подчинились их требованию, но потом сорвали его путем саботажа.

— Принцип уничтожения прислуги будет нарушен! — жаловалась «бурая» Маркелова.

— Разумеется! — злорадствовала «салонная» Ценина[2].

Дальше — больше, и вскоре «аристократы» до такой степени охладели к тем принципам, во имя которых возникла коммуна, что стали вовлекать в нее совершенно чуждые ей элементы. Ценина даже сделала попытку ввести в коммуну в качестве полноправного члена коммуны одного богатого барина, живущего своим капиталом.

«Бурые» единодушно восстали.

---

[1] *Екатерина Жуковская*. Записки. Л., 1930, с. 187–188.
[2] Там же, с. 194.

— Я окончательно против допущения к нам тунеядцев-капиталистов! — запротестовала Макулова. И Маркелова провозгласила вслед за ней:

— Принцип капитализма не может вязаться с принципом коммунизма[1].

Но тут обнаружилось, что в коммуне принцип «капитализма» процветает давно. Обнаружилось, что Коптева, ушедшая из богатой семьи именно для того, чтобы жить своим личным трудом, живет, в сущности, на тот капитал, который ей достался по наследству от бабушки. А Ценина состоит на иждивении брата. Основным же капиталом коммуны служат те довольно крупные деньги, которые внес в нее некий помещик.

4

Таким образом, все заветы романа «Что делать?» были в этой коммуне искажены и нарушены. Не осталось и следа от социалистических принципов, которые легли в основание трудовой артели Веры Павловны.

Главное, в романе Чернышевского, в его идеальной коммуне не было того засилия дворянских привычек и прихотей, которое, в сущности, и расшатало коммуну Слепцова. Поразительно, как в шестидесятых годах, уже после «падения» крепостничества, все еще были сильны эти дворянские привычки и прихоти — даже среди либералов, искренне ушедших в демократию! Эти люди, мнившие себя передовыми бойцами, верными делу «прогресса», — как по-дворянски они были изнежены, как развратил их рабий крепостнический быт, который они отвергали в теории! Как были они ленивы, безвольны, беспутны! Как были они не готовы к той роли, которую взвалили на себя добровольно. Они нагрянули в коммуну, как в родовую усадьбу, с няньками, кухарками, горничными — с дворянским щегольством, мотовством, безалаберностью, не умея отказаться ни от раутов, ни от долгого лежания на диванах, ни от холеных ногтей, ни от сдобных булок, ни от шелковых платьев, ни от якшанья со всякою «салонною сволочью».

Как бы ни льнули они к разночинцам, рано или поздно их неестественный союз должен был кончиться крахом. Это и произошло весною 1864 года, когда, окончательно убедившись, что дальнейшая совместная жизнь немыслима, они разъехались в разные стороны — кто к себе в деревню, в Тверскую губернию, кто в конуру на Васильевском острове. Конечно, помогла и полиция.

[1] *Екатерина Жуковская*. Записки. Л., 1930, с. 209 и след.

Мать Слепцова вспоминала впоследствии: «Общий труд не привился, он был еще не современен, да и полиция небывалую диковину стала преследовать, так дело и кончилось». «Городовые бессменно торчали у подъезда квартиры коммуны», — свидетельствует Авдотья Панаева[1].

Из материалов, публикуемых ныне в «Литературном наследстве», мы знаем, что за Слепцовской коммуной одновременно была установлена слежка Третьего отделения и петербургского обер-полицмейстера и что членов коммуны непременно сослали бы в «дальние губернии» (то есть в Сибирь), если бы Слепцов не поспешил по собственной инициативе расформировать коммуну[2].

Неуспех коммуны оказался до такой степени на руку врагам нигилизма, что вскоре два писателя воспользовались — каждый по-своему — историей этой коммуны, чтобы опозорить эпоху шестидесятых годов. Я говорю о романе «Панургово стадо» Всеволода Крестовского и о романе Лескова «Некуда». Останавливаться на них мы не будем, отметив лишь, что в «Некуда» Слепцову предъявлено обвинение в ярко выраженных *дворянских* наклонностях, то есть в том самом, в чем его обвинили «бурые», вроде Маркеловой и Николая Успенского. Лесков не может простить Слепцову ни его щегольских пиджачков, ни его изящной прически. Кажется, если бы Слепцов превратился в одного из тех лохматых уродов, какими принято было в реакционной печати изображать нигилистов, Лесков охотно примирился бы с ним. Но «барские» привычки Слепцова до такой степени возмущают его, что ими он готов объяснить даже безвременную гибель коммуны.

«Вместо чистых начал демократизма и всепрощения вы ввели в коммуну самый чопорный аристократизм», — вот его приговор над Слепцовым и над общественной работой Слепцова. Этот приговор он подкрепляет десятками фактов на всем протяжении романа.

Но можем ли мы полагаться на показания таких пристрастных свидетелей? Все они, в том числе и Жуковская, были врагами высокой и благородной идеи, воодушевлявшей Слепцова, когда он приступал к созданию своей — пусть и неосуществимой — коммуны. Вследствие этого они не только дают неверную окраску всем событиям, связанным с коммунальною жизнью, но и прибегают порой к сознательному извращению фактов. Жуковская, например, в своих бойких «Записках» упорно изображает Слепцова

[1] *А. Я. Панаева.* Воспоминания. М., 1956, с. 335.

[2] См. Агентурно-полицейские донесения о «Знаменской коммуне». — «Литературное наследство». Т. 71. М., 1963, с. 447—455.

каким-то белоручкой и лодырем. С первых же строк она пишет о нем: «ленивый, но все-таки (!) очень неглупый», — и рассказывает, что в то время как все другие члены Слепцовской коммуны усердно занимались своими работами, «один Слепцов по целым дням был занят прибиранием своей комнаты и собственной особы или перечитыванием раздушенных записочек с приглашением от светских дам». И дальше: «Желая как-нибудь сгладить свое вечное безделье (!), он приносил всегда целый запас смешных рассказов», и т. д. По словам Жуковской, за все время существования коммуны Слепцов лишь однажды взялся за перо, да и то потому, что его пристыдили («полно вам шататься по салонам!»), и сочинил небольшую статейку о драматургии Островского, после чего, как выражается та же мемуаристка, «надолго опять принялся за безделье»[1].

Когда Жуковская писала эти колкие строки, ей и в голову не приходило, что существуют неопровержимые факты, от соприкосновения с которыми вся ее злая клевета на Слепцова мгновенно рассыплется в пыль. Факты эти очень простые: ведь тот самый 1863 год, к которому относится повествование Жуковской, был годом наибольшей литературной активности Слепцова, полного расцвета его творческих сил. Достаточно сказать, что в *одиннадцати* книгах «Современника», вышедших в течение этого года, Слепцов поместил *девять* произведений, среди которых были такие капитальные вещи, как «Питомка», «Сцены в больнице», «Ночлег», «Письма об Осташкове» и целый ряд публицистических статей. Если же к этому прибавить статью об Островском, запрещенную цензором в октябре 1863 года, станет ясно, что он писал для «Современника» из месяца в месяц весь год, в обязательном порядке, как постоянный сотрудник. А если взять в соображение, что рассказы, написанные им в этом году, принадлежат к числу его лучших вещей, наиболее тщательно отделанных в мельчайших деталях и, значит, потребовавших от него долгих усилий, нельзя не прийти к заключению, что из всех обитателей коммуны Слепцов был чуть ли не самым упорным, настойчивым тружеником, работавшим без передышки весь год — плечом к плечу с Салтыковым-Щедриным и Некрасовым. Кто же после этого поверит Жуковской, будто он, запершись в своей комнате, только и делал, что «по целым дням» читал и перечитывал раздушенные записочки великосветских дам. А когда вчитаешься в те публицистические статьи и заметки, которые в течение этого года помещены Слепцовым в «Современнике», увидишь, как мужественно он отстаивал в них идеи только что заключенного в тюрь-

[1] *Екатерина Жуковская*. Записки. Л., 1930, с. 156, 169 и 186.

му Чернышевского, доказывая с помощью искусно выработанной эзоповой речи, что либеральные реформы правительства ведут к ограблению трудящихся, окончательно убедишься: тот образ Слепцова как праздного гуляки и лодыря, который навязывает нам в своих «Записках» Жуковская, является плодом ее раздраженной фантазии. Для того чтобы понять, в чем корень этой клеветнической лжи, достаточно прочитать следующие строки «Записок» Жуковской: «Нигилисты-аристократы были прямыми преемниками идеалистов сороковых годов (то есть либеральных дворян. — *К. Ч.*). Все они были чужды всяких насильственных переворотов и пытались проводить новые начала самым миролюбивым путем... Бурых, непримиримых нигилистов, можно считать прямыми родоначальниками агитаторов новейшей формации (то есть революционеров. — *К. Ч.*)»[1].

В этом все дело. Ценина-Жуковская была либералка, постепеновка, любительница «миролюбивых путей». А Слепцов был принципиальным сторонником «насильственного переворота», революционной перестройки ненавистного строя, что и доказал всей своей боевой публицистикой в том же 1863 году. Ненависть Жуковской к Слепцову — ненависть либералки к бунтарю-«агитатору». Эта ненависть и продиктовала ей тот клеветнический навет на Слепцова, который оказалось так легко опровергнуть с помощью фактических данных[2].

Так же неверно и то, что сообщается ею о швырянии денег коммуны, в котором будто бы повинен Слепцов. Если он и позволял себе какие-нибудь излишние траты, он делал их всегда за свой счет. Сохранилось его письмо к В. З. Ворониной от сентября 1864 года, в котором он жалуется, что «ухлопал» на коммуну «около двух с половиною тысяч» заработанных денег, — то есть огромную по тому времени сумму. Главная же ложь «Записок» Жуковской заключается в том, что она, воображая, будто убеждения людей характеризуются их костюмом и внешностью, представляет автора «Трудного времени» каким-то противником «бурых», якобы сделавших его постоянной мишенью своих ядовитых насмешек. Эта выдумка опровергается рассказами, очерками и статьями Слепцова, написанными в 1863 году и трактующими тогдашнюю русскую жизнь с тех самых позиций, на которых стояли наиболее левые обитатели Слепцовской коммуны. Он полностью вы-

---

[1] *Екатерина Жуковская*. Записки. Л., 1930, с. 208.

[2] Пользуюсь случаем, чтобы исправить одну очень большую ошибку, допущенную мною в предисловии к «Запискам» Жуковской*. Так как биография Слепцова была в ту пору совсем не изучена, я, доверившись лжесвидетельству его современников, причислил его к «аристократам» коммуны. Собранные в настоящем очерке факты полностью опровергают это скороспелое мнение.

ражал их революционные взгляды, и у них не было никаких оснований относиться к нему с той неприязнью, какую приписывает им в своих мемуарах Жуковская. Под заглавием опубликованного тогда же рассказа «Питомка» в «Современнике» были слова: «Посвящено А. Г. М — вой», то есть той самой Александре Григорьевне Маркеловой, которую Жуковская изображает вечной антагонисткой Слепцова. Стал бы Слепцов посвящать враждующему с ним человеку лучшее свое произведение!

Вообще, читая «Записки» Жуковской, все время жалеешь о том, что такому большому писателю, искренне преданному высоким идеям эпохи, приходилось ежедневно общаться с такими мелочными и бездушными личностями, как сочинительница этих самых «Записок».

И вообще не дико ли, что все писавшие о Слепцовской коммуне — и ретроград Лесков, и народник Скабичевский, и «бурый» нигилист Николай Успенский, и «салонная» нигилистка Екатерина Жуковская, — все как будто нарочно забыли, что Слепцов был не только автор этой неудачной коммуны, но один из самых замечательных писателей шестидесятых годов, в творчестве которого с необыкновенной рельефностью сказались самые боевые тенденции этой эпохи. Тот Слепцов, который выведен в «Некуда» и в воспоминаниях Жуковской, не мог бы, конечно, создать ни «Питомку», ни «Трудное время», не говоря уже о замечательных осташковских и владимирских письмах.

Даже туповатая Жуковская, совершенно игнорируя его сочинения, смотрит на него сверху вниз и с большим самодовольством отмечает после всякого столкновения с ним, что она умнее, находчивее, честнее его, а он якобы пасует перед нею на каждом шагу, подавляемый ее нравственной мощью и сокрушительной логикой. В этом отношении ее мемуары кажутся мне любопытнейшим человеческим документом: заурядной и мелкосуетной женщине выпало счастье беседовать с такими замечательными людьми, как Салтыков, Некрасов, Слепцов, — а она лишь затем воспроизводит свои разговоры с ними, чтобы показать, как она смущала и конфузила этих людей, посрамляя их своим необыкновенным умом. Ей и через полвека приятно и лестно поведать читателям, какими обидными дерзостями она то и дело осыпала Слепцова. По ее словам, у нее с ним происходил, например, вот такой разговор:

— Ну, если вы ничего умнее не можете придумать, как изображать шута, то уходите вон... вы сделались мне противны...

— Но это для меня нож острый и есть, — будто бы ответил ей он, — я к вам всей душой, а вы меня не терпите!

— Не могу я терпеть человека, в котором живой нитки нет: только одно ломанье, фальшь, шутовство и лганье...[1]

Скабичевский, опять-таки забывая о Слепцове как о крупном писателе, тоже толкует о нем свысока, а между тем стоит только раскрыть книги Слепцова — где придется, на любой странице, чтобы все написанное о нем в мемуарах сразу оказалось неправдой. Из этих мемуаров никогда не поймешь, как же могло случиться, что такой «балованный щеголь», «бездельник» и «шут» вдруг отрекся от всяких комфортов и с котомкой за плечами пошел на заводы и фабрики, на постройку железной дороги обличать кулаков и подрядчиков в эксплуатации рабочего люда — и обличать не либеральными фразами, а цифрами и подлинными фактами. Чтобы добыть эти цифры и факты, он, «денди», ночевал в клоповниках и курных избах, замерзал, как нищий, в морозные ночи под чужими окошками, мыкался по больницам, по рабочим баракам, и фабриканты гнали его чуть не метлой, а мужики кричали ему: «алырник, шувалик», «куда тебя черти носят!» — и нередко он так изнемогал в дороге, что должен был делать усилия, чтобы не упасть лицом в снег. Об *этом* Слепцове все мемуаристы почему-то молчат. *Этого* Слепцова как будто никогда не бывало, а существовал только холеный фат, баловень светских женщин. «Он и женским вопросом, — говорят вспоминатели, — занимался специально для амуров: помогал только хорошеньким, а старухи и некрасивые хоть и не подходите к нему».

Николай Успенский так и напечатал в своих мемуарах, будто от чрезмерного занятия *женским вопросом* Слепцов заболел чуть ли не спинною сухоткою, от которой и скончался в цвете лет.

Все это можно высказывать опять-таки при полном забвении статей и рассказов Слепцова, где столько тревоги о женщине-работнице, женщине-матери. Как относился Слепцов к феминизму, можно видеть не только из его знаменитой «Питомки», не только из повести «Трудное время», но также из одной его статьи, не вошедшей в полное собрание его сочинений и напечатанной в журнале «Женский вестник»*. В статье указывается, что никакого женского вопроса самого по себе нет и не может быть, ибо раскрепощение женщины тесно связано с раскрепощением трудящихся. Конечно, все это выражено очень туманно, так как статья появилась вскоре после террора каракозовских дней, но всякий, кто умеет разбираться в иносказаниях публицистики шестидесятых годов, увидит, как широко и серьезно понимал этот оклеветанный автор так называемый женский вопрос и каковы были те побуждения, которые заставили его в 1863 году основать нечто

[1] *Екатерина Жуковская*. Записки. Л., 1930, с. 205—206.

вроде ассоциации для женщин, учить их переплетному и типографскому делу, читать им популярно-научные лекции и вовлекать их в коммуну.

Коммуна не удалась, как мы видели, но тот, кто знаком с его книгами, знает, что коммуна была для него не случайная прихоть, а серьезнейшее дело его жизни. Правда, дело оказалось ему не под силу (да и кто в ту пору мог бы справиться с таким предприятием при тогдашних социальных условиях!), но можно ли сомневаться, что все его тогдашние наблюдения над русской действительностью привели его к искренней вере в необходимость и желательность коммунального быта. Ведь перед тем как устроить коммуну, он только что вернулся из скитаний по захолустьям России и напечатал в журналах два замечательных цикла дорожных заметок и очерков. Эти очерки превосходны, ибо в каждом из них он, не довольствуясь декоративною стороною явления, добирается до подлинной сути и не успокаивается, пока не найдет тех глубоко сокрытых пружин, которые там, за кулисами, управляют человеческими жизнями.

Эта редкостная способность к анализу общественных явлений, эта зоркость к экономической подоплеке человеческих действий и дала ему впоследствии возможность написать до сих пор недостаточно оцененное «Трудное время», где пышным декларациям либеральных фразеров противопоставляются подлинные факты их хозяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность — всякая — была в центре его тогдашних писаний, и он отдал весь свой изящный, я бы даже сказал, грациозный талант, чтобы разоблачить ее истинный смысл. Без воплей и патетических жестов, но с сокрушительной силой затаенного гнева он изображал те бесчисленные методы отлично налаженного высасывания человеческой крови, которыми изобиловала тогдашняя Русь. Можно представить себе, как пылко взялся он, по приезде в столицу, тотчас же после своих осташковских писем, создавать такую организацию быта, которая была бы построена на других — более справедливых — началах.

Вот что вспоминал его брат о той полосе его жизни: «Примкнув к кружку Н. Г. Чернышевского, Василий Алексеевич всецело был охвачен господствующими тогда среди молодежи идеями коммунизма и эмансипации женщин»[1], — и мы только что видели, что теми впечатлениями, которые он вынес в ту пору из своих блужданий по России, он был вполне подготовлен и восприятию этих идей. Недаром из «Северной пчелы» и «Русской речи» он

[1] *В. Марков*. Биография В. А. Слепцова. — «Исторический вестник». 1908. № 3, с. 969.

именно тогда перешел в «Современник», где все было полно Чернышевским, только что заключенным в тюрьму. И «Трудное время», задуманное им в тот же период — в эпоху коммуны, является лучшим документальным свидетельством, как велико было влияние Чернышевского на его тогдашние верования. Отмечу кстати, что в последней главе своей повести Слепцов первоначально поместил еле заметный намек на трагическую судьбу Чернышевского, уничтоженный впоследствии цензурой.

Так что те очень многие авторы, которые считают коммуну Слепцова легкомысленной, беспринципной затеей, обнаруживают полное незнание его идейной позиции. Сам он не был обескуражен неудачей коммуны и продолжал считать ее прогрессивным явлением, «полезным общественным делом». По словам А. Я. Панаевой, он говорил ей в 1864 году — тотчас же после того, как коммуна прекратила свое существование:

«Не стоит смущаться неудачей в полезных общественных делах, потому что большинство общества податливо на усвоение пустых рутинных обычаев в общественной жизни, и чуть возникает новизна, хоть и полезная, она вызывает рутинеров на глумление. Не следует робеть перед этим, иначе в общественной жизни не было бы никакого прогресса. Прогресс только и может быть тогда, когда люди действуют наперекор рутине. Посмотрите, как большинство восстает теперь против высшего образования женщин, а через несколько лет это же большинство будет пользоваться плодами высшего образования женщин»[1].

Конечно, слова Слепцова переданы здесь не буквально, но мысли его были именно те. Л. Ф. Нелидова, познакомившаяся с ним гораздо позднее, утверждала (в беседе со мною), что, вспоминая коммуну, он высказывал точно такое же мнение.

После того как настоящая статья появилась в печати, мне попались еще кое-какие материалы, имеющие отношение к Слепцовской коммуне.

Это раньше всего — рассказ графа Е. А. Салиаса «Двенадцать часов — воскресенье». Салиас, как известно, еще студентом, еще в начале шестидесятых годов, встречался со Слепцовым в Москве, в салоне своей матери Евгении Тур, и на всю жизнь сохранил пиетет к художественному дарованию Слепцова; «русский Мопассан», — говорил он о Слепцове впоследствии[2]. Слепцов на глазах у Салиаса начинал свою литературную деятельность и принимал

[1] *А. Я. Панаева.* Воспоминания. М., 1956, с. 336.
[2] «Исторический вестник». 1898. № 3, с. 218.

ближайшее участие в тех студенческих волнениях в Москве, зачинщиком которых был молодой Салиас. В рассказе Салиаса он фигурирует под фамилией Глебцова, и вот какими благодушными чертами изображает Салиас его коммуну:

«На набережной Мойки, между великолепным домом, почти дворцом, русского князя-богача и небольшим двухэтажным домом, где помещалась редакция очень известной газеты, были большие ворота в узкий и грязный двор. На этом дворе, в низеньком доме, очень неопрятно содержимом, помещалась типография газеты, а над ней отдавалась внаймы квартира.

Весной 1862 года эту квартиру нанял на свое имя молодой человек лет двадцати шести, только что начавший подвизаться на литературном поприще. Квартира комнат в десять была ему не по средствам, но он и не предполагал жить в ней один.

Еще до найма он условился с несколькими хорошими знакомыми и, между прочим, с двумя друзьями поселиться вместе.

— Давайте устроим нечто вроде общежития, — объяснил он. — Будем жить вместе. Каждый будет вносить условленную плату, смотря по тому, сколько займет горниц: одну, две или три. Найдем кухарку и лакея и распределим занятия... Один будет хозяйничать, заказывать обеды, другой — смотреть за опрятностью в доме, третий еще что-нибудь.

Таким образом, однажды из разных мест: кто из гостиницы, кто из меблированных комнат, съехались и поселились в квартире шесть человек, из которых старшему было менее тридцати лет.

Сожители в шутку называли квартиру фаланстером. Распорядителем всего, под именем президента, был выбран тот, кто придумал такого рода сожительство. Он же взял на себя все хозяйство.

Этот шутя именуемый президент, по имени Глебцов, был высокого роста, статный и чрезвычайно красивый человек. С черными как смоль вьющимися волосами, правильными чертами лица и матово-бледный, он производил сразу на всех крайне приятное впечатление.

Он был уже известен в Петербурге мелкими рассказами из народного быта, чрезвычайно остроумными, которые печатались в фельетонах именно той газеты, возле которой теперь он нанял квартиру.

Глебцов был в то же время известен и в Москве, где недавно жил, и в Петербурге, куда теперь переехал, своими победами над прекрасным полом. Повсюду, куда Глебцов являлся, начинался роман».

В этом отрывке Салиас, на правах беллетриста, смешал воедино две разные коммуны — Слепцовскую и Гречевскую, то есть ту, которая еще до Слепцовской коммуны возникла в доме действительного статского советника Греча на Мойке, близ Почтамтского моста. Там помещалась редакция обновленной «Северной пчелы», и там случайно занимал квартиру сотрудник этой газеты, «загадочный человек» Бенни, революционный деятель, приятель Слепцова. В его-то квартире сама собой сложилась коммуна, в которой жил одно время молодой Салиас. Эту коммуну, как мы видели, изобразил Лесков в своей брошюре, посвященной Артуру Бенни. Слепцов бывал в этой коммуне, но эпизодически, в качестве гостя, и никакого участия в ее хозяйственных делах не принимал. Так что, говоря о «фаланстере», где Слепцов состоял «президентом», Салиас имеет в виду не Гречевскую коммуну, а Знаменскую, ту, которая возникла позднее, в 1863 году, и возглавлялась Слепцовым[1].

Преемственность обеих коммун несомненна. Знаменская возникла, так сказать, на развалинах Гречевской.

Не нужно забывать, что рассказ «Двенадцать часов — воскресенье» был написан в девяностых годах, когда из Салиаса давно уж выветрился его студенческий пыл. Якобинец превратился в охранителя, и это не могло не отразиться на его воспоминаниях о Слепцовской коммуне. Он придал ей обывательски-богемный характер и отнял у нее то боевое значение, какое придавал ей Слепцов.

Вообще рассказ у Салиаса вышел хоть и бойкий, но мелкий. Его персонажи — картонные, и все совершается в пустопорожнем пространстве. Эпохой шестидесятых годов и не пахнет. Но фигура Бенни зарисована как будто с натуры. Слепцов тоже представлен в полном соответствии с фактами: даже его манера говорить передана хоть и аляповато, но похоже. Тот, кто изучал его письма и мемуары о нем, услышит здесь в иные минуты подлинный голос Слепцова, узнает кое-какие его интонации. Даже словечки Слепцова («чаечерпий», «ледлетрист» и др.) Салиас запомнил точно. Впоследствии они дошли до нас и другими путями, так что биографу Слепцова, несомненно, придется, хотя бы ради нескольких деталей, использовать этот забытый рассказ.

Второе не замеченное мною свидетельство о Слепцовской коммуне имеется в фельетоне нововременца Буренина, который

[1] Но прочие персонажи рассказа взяты не из Слепцовской коммуны, а из коммуны Артура Бенни: в Штале нетрудно угадать самого Салиаса, в Ранышкине — Нарышкина и пр. Так что к нашей теме они не относятся.

в начале шестидесятых годов был в близких отношениях со Слепцовым и часто посещал «фаланстер».

Воспоминания Буренина написаны в 1889 году в целях опровержения только что вышедших мемуаров Николая Успенского. Приводим их целиком, благо они очень кратки: два столбца в газетном фельетоне.

«В какой мере правдивы воспоминания г. Успенского,— пишет Буренин, — это можно видеть из его сообщений о Слепцове и Слепцовской коммуне. Эту пресловутую Слепцовскую коммуну многие из литераторов помнят до сих пор, и многие бывали в ней... Собственно говоря, никакой там коммуны не было, а было нечто вроде меблированных комнат, которые оплачивались несколькими знакомыми между собой жильцами сообща. Велось также общее хозяйство. Особенными, тем более безобразными нравами коммуна не отличалась: жили в ней тихо и скромно человек пять мужчин, принадлежавших к цеху литераторов, и три-четыре женщины из цеха переводчиц. Некоторые из жильцов и жилиц состояли в так называемом тогда «гражданском браке»; но были и такие жилицы, которые никакими узами не были связаны в коммуне. Организаторами этой коммуны, очень правильно называвшейся «общею квартирою», были покойные Слепцов и Головачев. Коммуна просуществовала очень недолго и прекратилась вследствие разных неудобств экономического свойства. Вот ее настоящая неподкрашенная история. Но из истории коммуны, очень простой и ничего особенного не представлявшей, сделали легенду, приправленную самыми затейливыми и глупыми сплетнями. Про Слепцова говорили, что он играет в коммуне роль вроде Иоанна Лейденского, живет со всеми обитательницами коммуны, присвоил себе какие-то неограниченные права и т. п. Но даже и в дни существования коммуны подобным сплетням верили только те, кому хотелось верить. В наши же дни печатать подобные сплетни и верить им можно разве только в шутку. Между тем г. Успенский не только серьезно поддерживает эти сплетни, но в качестве «достоверного лжесвидетеля» и очевидца рисует коммуну и Слепцова в самом фантастическом свете. Скромный дом Бекмана он описывает громадным, напоминающим своею внушительною наружностью дворец. На лестнице, ведущей в коммуну, он ставит швейцара с булавой, экзотические растения и статуи греческих богов. Квартиру коммуны, в которой, помнится, была одна гостиная в три окна и затем комнат семь-восемь очень скромных размеров, он называет «роскошной, с необозримой анфиладой комнат, освещенных люстрами, лампами с затейливыми абажурами и бра на стенах». Слепцов пьет шартрез, шато-икем, шато-марго, лафит, является с утра до ночи окруженным барыш-

нями, которые без всякого милосердия осаждают его вопросами: «что им делать? какую стезю жизни избрать?» А он надуется какого-нибудь шартрезу и возвещает: «надо идти в народ»[1].

Изложенные здесь нейтральные факты заслуживают полного доверия. У Буренина не было никакого резона уклоняться от истины, сообщая, сколько комнат было в «фаланстере» и сколько окон имела гостиная. Но когда, подобно Салиасу, он пишет, что это была затея невинная, аполитичная, вполне обывательская, будто «никакой там коммуны и не было», мы объясняем его лжесвидетельство тем, что он, подобно Салиасу, в то время был уже в числе ренегатов и оценивал эпоху шестидесятых годов не так, как воспринимал ее в молодости. Личные симпатии к Слепцову остались у него неизменны, но их мотивировка теперь изменилась. Незадолго до той статейки, которую я сейчас процитировал, он напечатал в «Новом времени» очень сочувственный фельетон о Слепцове, где с сокрушением указывал, что Слепцов нередко губил свой блестящий талант «праздной игрой в агитацию»[2]. Несомненно, что в шестидесятых годах эта «игра в агитацию» не казалась Буренину праздной, так как он и сам в своих тогдашних писаниях весьма ретиво занимался такой же игрой, участвуя в «Современнике», в «Искре», в «Свистке». Теперь, возненавидев «агитацию», он, естественно, старается оградить от какого бы то ни было касательства к ней милую ему по воспоминаниям коммуну. В лучшем случае это — самообман, ибо, как мы только что видели, Слепцов старался создать «фаланстер» именно с «агитационными» целями, наподобие того, который был изображен Чернышевским, и если в недрах тогдашнего общества этот «фаланстер» оказался неосуществимой утопией и выродился в самые ординарные «комнаты с мебелью» — отсюда отнюдь не следует, что именно к этому Слепцов и стремился. Цели у него были, как мы знаем, иные.

Стремясь доказать, что коммуна была совершенно невинной затеей, Буренин ссылается на то обстоятельство, что она закрылась без всякого нажима со стороны полицейских властей. Но он умалчивает, что она была под строгим полицейским надзором и что, если бы она не закрылась сама, ее непременно закрыли бы, так как недаром муравьевская комиссия, арестовавшая Слепцова в связи с каракозовским выстрелом, поставила ему в вину главным образом основание этой коммуны.

---

[1] *В. Буренин.* Критические очерки. — «Новое время». 1889. № 4831 (11 августа).

[2] «Новое время». 1888. № 4288 (февраль).

Кроме того, нельзя же не учитывать правильного указания Панаевой:

«...получены были достоверные сведения, что на него обращено особенное внимание (полицейских властей. — *К Ч.*) за устройство коммуны и за ним зорко следят, как за организатором разных сборищ»[1].

В заключение приведу еще один документ, относящийся к истории коммуны. Это письмо Слепцова к знаменитому рассказчику И. Ф. Горбунову:

«Вы мне сказали, что на 2-й день праздника, то есть в четверг, вы свободны вечером, по этому случаю я, рассчитывая на вашу доброту, назначил на этот день чтение. Если вы не приедете, то погубите нас. Чтение будет у нас. Читать будут: Салтыков, С. В. Максимов, Курочкин, вы и я. Кроме того, играть будут Серов с женой».

Письмо напечатано в роскошном, но несуразном издании «Сочинений И. Ф. Горбунова», которое вышло «под наблюдением Комиссии при Комитете, состоящего под высочайшим государя императора покровительством императорского общества любителей древней (?!) письменности»[2].

Никаких пояснений к письму не дано. «Любители древней письменности» не попытались даже установить его дату. Между тем несомненно, что праздник, который упоминается здесь, — Рождество того самого 1863 года, когда была основана коммуна. Второй день этого праздника приходился в том году как раз в четверг. Слова Слепцова «чтение будет у нас» означают, что литературно-музыкальный вечер должен был происходить в коммуне. Коммуна была кровно заинтересована в том, чтобы этот вечер удался: «если вы не приедете, то погубите нас», — обращается Слепцов к Горбунову от лица своего «фаланстера». Вообще это не обычный вечер, а торжественный — с участием самых больших знаменитостей. Слепцов, Горбунов и Максимов были лучшие в России исполнители так называемых «сцен из народного быта» — модного в то время литературного жанра.

Нет сомнения, что это — тот самый вечер, о котором впоследствии вспоминал Скабичевский: «Не простой вечер, а литературно-музыкальный концерт с благотворительной целью».

«Концерт продолжался не менее трех часов, — читаем в мемуарах Скабичевского, — но из всего содержания его у меня только и осталось в памяти исполнение Серовым в четыре руки, вместе со своей супругой, увертюры из оперы «Робеспьер» да изобра-

[1] *А. Я. Панаева*. Воспоминания. М., 1956, с. 338.
[2] *И. Ф. Горбунов*. Сочинения. СПб., 1907, с. 73.

жение генерала Дитятина И. Ф. Горбуновым, которого я в первый раз тогда услышал не на сцене, а в частном кружке»[1].

Наиболее ценным материалом о Слепцовской коммуне, появившемся в последнее время, после напечатания настоящей статьи, несомненно, являются воспоминания одной из участниц коммуны — А. Г. Маркеловой.

«В ту пору литературный мир, — пишет Маркелова, — да и вообще вся интеллигенция резко распадались на партии, и между некоторыми из этих партий не могло быть примирения. Я не сомневаюсь, что эта исключительность и породила те грязные и вздорные клеветы, которые ушатами выливались на наше несчастное общежитие и даже дали темы для бульварных романов. В них Знаменская коммуна рисовалась то каким-то дворцом, то какой-то трущобой, в которой «жильцы запираются друг от друга, чтобы украдкой съесть селедку».

По всем вероятиям, наше общежитие прошло бы совершенно незаметным, если б в числе нашей братии не находился В. А. Слепцов, в то время очень популярный писатель и талантливый рассказчик, вообще обаятельная личность. Его знакомством дорожили, но он был брезглив и разошелся со многими из своих бывших приятелей за их нечистоплотность в литературном отношении или за измену той партии, к которой он принадлежал.

Само собою разумеется, что такие люди не приглашались в общую залу, если случалось, что они приходили к кому-нибудь из жильцов. Это многих озлобляло, тем более что мы назначили у себя *фиксы*, на которые собиралось довольно много гостей. Многих, конечно, привлекало любопытство, так как о нашем общежитии уже заговорили, приплетая были и небылицы. Каждому хотелось узнать, что за птица в самом деле эта «Знаменская коммуна»; иные являлись с предубеждением, но находили очень приличное общество, радушных хозяев, всегда живую беседу, душой которой был Слепцов, угощение чаем со скромной закуской, иногда и музыку»[2].

1931

---

[1] *А. М. Скабичевский.* Литературные воспоминания. М.–Л., 1928, с. 228.

[2] «Литературное наследство». Т. 71. М., 1963, с. 443. Тех читателей, которые пожелают ближе ознакомиться с коммуной Слепцова, отсылаю к этому «слепцовскому тому», вышедшему через тридцать два года после настоящей статьи.

1

Феофил Матвеевич Толстой смолоду вращался в великосветских салонах. Там высоко ценили его как блестящего музыканта, актера, композитора, певца и рассказчика[1]. В мемуарах и письмах, относящихся к годам его юности, мы нередко читаем о нем.

«У него очень приятный дар! — столько души в пении, отличный музыкант», — пишет о нем Анна Шереметева своим именитым родителям[2]. «У него замечательный талант, и он сочинил очень хорошие вещи!» — сообщает о нем своей дочери известный почт-директор А. Я. Булгаков. «Славный музыкант». «Прекрасно сочиняет»[3].

«Пение мое составляло тогда неизбежную модную принадлежность», — вспоминал впоследствии он сам в одной из мемуарных заметок[4].

Он принадлежал тогда к небольшому кружку светских знакомых Глинки. Глинка, вспоминая те годы, благосклонно писал о Феофиле Толстом, что голос у него был «симпатичный» и что он «чрезвычайно мило пел тенором»[5].

Композитором Феофил Толстой оказался весьма плодовитым. С 1827 года по 1838 им написано, по его подсчету, до 280 разных романсов[6].

---

[1] См.: «Русские достопамятные люди. Заметки и воспоминания». — «Русская старина». 1892. Т. 75. Кн. 7, с. 30.

[2] Письмо А. С. Шереметевой к родителям. — Архив села Михайловского. Т. II. Вып. I, с. 39.

[3] Письмо А. Я. Булгакова к его дочери кн. О. А. Долгорукой от 25 сентября 1833 г. — «Русский архив». 1906. № 2, с. 76—77.

[4] *Ф. М. Толстой.* По поводу записок М. И. Глинки. — «Русская старина». 1871. Кн. 4—6, с. 421—456.

[5] *М. И. Глинка.* Записки. М.—Л., 1930, с. 80 и 89.

[6] «Знакомые. Альбом М. И. Семевского». СПб., 1888, с. 29 и 103.

В самых замкнутых аристократических домах Петербурга он был тогда буквально нарасхват. Там он считался своим человеком, ибо происходил из старинной, родовитой семьи, близкой к придворным кругам.

«Это внук Михаила Ларионовича Кутузова, — пишет о нем тот же Булгаков. — Сестра его у великой княгини Елены Павловны фрейлиной»[1]. «Брат его, Иван Матвеевич, — вспоминает композитор Ю. Арнольд, — был одним из любимцев государя императора». А он сам, по словам Арнольда, «оказался одним из немногих, которые удостаивались счастья быть приглашенными на вечеринки государыни императрицы Александры Федоровны»[2].

Словом, знатность, талант и придворные связи — все было к услугам Феофила Толстого. Перед молодым человеком были раскрыты все двери. Едва ли можно было в те времена сомневаться, что он без особых усилий сделает большую карьеру, — тем более что жгучая жажда успехов и почестей была одной из его главных страстей.

Недаром он выбрал себе псевдоним «Ростислав», то есть, как он сам объяснял: «рости, слава!» Недаром позднее, в пятидесятых годах, его литературные недруги даже в печати называли его «искатель известности»[3]. Кроме романсов, опер, кантат, ораторий, он писал и повести, и романы, и драмы, и фельетоны, и критические статьи, и комедии, — и, если судить по журналистике пятидесятых и шестидесятых годов, в конце концов ему удалось добиться кое-какой популярности. Его имя постоянно мелькает в тогдашних газетно-журнальных статьях. Если же обратиться к переписке его современников, можно найти его имя и в письмах Глинки, и в письмах Некрасова, и в письмах Гончарова, Лескова, Анненкова, Алексея Толстого, Балакирева, Мусоргского, Бородина, Цезаря Кюи, Даргомыжского.

Некрасов в своей сатире «Газетная» (1865) называет его имя как общеизвестное в ряду других популярных имен:

...Даже избранный круг
Увлекали талантом недавно
Граф Толстой, Фет и просто Толстой.

(II, 219)

---

[1] «Письма А. Я. Булгакова к его брату». — «Русский архив». 1892. № 1, с. 608—609 (письмо от 25 октября 1833г.). Мать Феофила Толстого была дочерью Кутузова.

[2] *Юрий Арнольд.* Воспоминания. — «Русский архив». 1884. № 3, с. 87.

[3] *А. Серов.* Несколько слов о брошюре Ростислава. «Подробный разбор оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». — «Москвитянин». 1854. № 23, с. 139—146.

В то время не требовалось никаких комментариев, объясняющих читателю, что это за «просто Толстой». Все знали, что это — «Ростислав Феофилыч», как назвал его в одном из своих фельетонов престарелый Барон Брамбеус.

В. В. Стасов писал о нем в позднейшей статье: «ныне совершенно забытый, а в сороковых — пятидесятых годах очень известный музыкальный критик»[1].

Но мы торопимся тут же прибавить, что известность была у него незавидная.

Изучая письма и мемуары его современников, мы вскоре наталкиваемся на одно обстоятельство, которое кажется нам удивительным, — по крайней мере, на первых порах: почему-то все эти люди, которых мы сейчас перечислили, трактуют о нем в добродушно-презрительном, издевательском тоне как о ничтожном, пустом человеке. Самое имя его — Феофил — почему-то каждый из них превращает в фамильярно обидную кличку, и, как бы ни были разнообразны эти клички, они единодушно свидетельствовали о всеобщем неуважении к нему.

Так, Владимир Стасов называет его в своей переписке Фифия[2].

Мусоргский называет его то Фифила, то Фиф[3].

Бородин дает ему такие же прозвища[4].

Барон Розен называет его — Филька[5].

Серов, по примеру Сенковского, зовет его в своем журнале Феофилыч и даже для пущей обиды делает его имя нарицательным, указывая, что и в иностранных музыкальных кругах тоже имеются свои Феофилычи. «Недобросовестность и пустозвонство Феофилычей» — так и напечатал Серов в одной из тогдашних статей[6].

В близкой Некрасову литературной среде его принято называть Феофилкой.

Кажется, даже Фаддея Булгарина не награждали во всю его жизнь таким количеством презрительных кличек.

---

[1] *В. В. Стасов.* Собр. соч. Т. I. СПб., 1894, с. 799–800.

[2] Письмо В. В. Стасова к М. А. Балакиреву от 12 декабря 1868 г. — См.: «Переписка Балакирева со Стасовым». М.–Л., 1935, с. 260.

[3] Письмо М. П. Мусоргского к М. А. Балакиреву от 26 января 1867 г. — См.: «Мусоргский. Письма и документы». М.–Л., 1935, с. 539–540.

[4] Письмо П. А. Бородина к Е. С. Бородиной от 5 октября 1873 г. — См.: «Бородин. Письма». Т. II. М., 1936, с. 50–51.

[5] *П. Усов.* Из моих воспоминаний. — «Исторический вестник». 1882. № 1, с. 121–123.

[6] *А. Серов.* Парижские Феофилычи. — «Театральный и музыкальный вестник». 1860. № 9.

Даже громкий и высокопарный его псевдоним *Ростислав* был переиначен самым оскорбительным образом. По словам Н. С. Лескова, некий князь Б., повстречав Ростислава, обратился к нему с дружеским упреком, без всякого желания обидеть:

— Что тебе, скажи, за охота подписывать свои статьи *Брандахлыст*![1]

Нужно сильно не уважать человека, чтобы предположить, что он может присвоить себе такое шутовское прозвание.

Над ним издевались не только в статьях, разговорах и письмах. Мусоргский заклеймил его в музыке, выведя его в своем знаменитом «Райке». «Это до того уморительно, — писал В. В. Стасов о шарже великого мастера, — что всякий раз мы просто за животы держались, катаясь со смеху... Всего смешнее Фиф-Ростислав, который поет неимоверные глупости на тему пошлейшего вальсика... Выходит карикатура великолепная»[2].

Эта карикатура высмеивает его главным образом как музыкального критика, ибо как певец, как создатель романсов и опер он успел потерпеть полное фиаско гораздо раньше.

Глинка в письме к Булгакову уже в 1855 году называл его произведения «канителью». Его опера «Birichino di Parigi»[◊] провалилась после первой же постановки на сцене, а его романсы, которые в тридцатых годах так высоко ценились и в Зимнем дворце, и в аристократических салонах обеих столиц, уже через несколько лет были всеми пренебрежены и забыты.

Граф М. Д. Бутурлин в своих «Записках» сообщает о «меломане» Феофиле Толстом, что он уже к 1845 году «покинул сколачивание прежних своих романсиков (правду сказать, не особенно даровитых»)[3]. Оказалось, что музыка его очень хорошо приспособлена для интимных вечеров у княгини Голицыной, у графини Клейнмихель, у императрицы Александры Федоровны, но вне этого круга не имеет никакого значения, ибо подражательна, легковесна, банальна и звучит раздребезженной «итальянщиной».

Приближаясь к пятому десятку, он сам элегически писал о себе: «Я человек, которому мало или вовсе ничего не удается. Несколько лет я был музыкантом, написал и напечатал более полутораста романсов, из которых не более дюжины приняты под по-

---

[1] *Н. Лесков.* Геральдический туман. Заметки о родовых прозвищах. — «Исторический вестник». 1886. № 6, с. 600 (*примеч.*).

[2] Письмо В. В. Стасова к Е. Н. Пургольд. — «Русская мысль». 1910. № 6, с. 176. Текст «Райка» напечатан в книге: «Мусоргский. Письма и документы». М.—Л., 1932, с. 164—165.

[◊] «Парижский плут» *(итал.).*

[3] «Записки гр. М. Д. Бутурлина». — «Русский архив». 1897. № 3, с. 526.

кровительство почтеннейшей публики... Остальные... преданы вечному забвению... Что было делать? Куда деваться?»

Тогда-то он и решил посвятить себя писательской деятельности: сделался беллетристом, публицистом и критиком.

На этом поприще он усердно работал без малого сорок лет, но и здесь не добился того уважения, какое, казалось бы, подобало ему как литературному труженику: так и остался до конца своих дней Феофилкой.

Благодаря своим связям он исхлопотал себе (уже будучи в звании гофмейстера) высокое назначение по цензурному ведомству: сделался членом Совета главного управления по делам печати и проявил в этой должности столь же неутомимую деятельность; однако и здесь, как мы ниже увидим, потерпел решительный крах и был не без позора уволен в отставку.

В одном из своих писем И. А. Гончаров, заговорив о бесталанных дилетантах, прибавил, что все они «погибают в пучине», «если только не лезут напролом, как *Феофил Толстой*; он и композитор, и романист, задорный самолюбец, а в сущности ничтожество, умеющий протекцией своей добиться только печальной известности образцового *неудачника*»[1].

Гончаров был давним знакомым и сослуживцем Феофила Толстого, и его отзыв вполне выражает то мнение, которое прочно сложилось о Феофиле Толстом в тогдашних литературных, музыкальных и административных кругах.

Это суровое мнение кажется нам не вполне объективным.

Нельзя объяснять неудачи Феофила Толстого бездарностью. Всякий, кто прочтет хотя бы два томика его «Сочинений», вышедших в середине шестидесятых годов, должен будет прийти к заключению, что это был профессиональный писатель, достаточно умело владевший пером. Таланта в нем почти не заметно, но и бездарностью его назвать никак нельзя. Беллетрист он был, во всяком случае, довольно способный, не хуже других середняков-беллетристов. И то презрительное отношение к нему, о котором мы сейчас говорили, объясняется отнюдь не убожеством его дарований, а одной особенностью его душевного склада. Эта особенность была присуща не ему одному, но многим его современникам, принадлежавшим к той же социальной формации. Только у него она выражена наиболее рельефно и является, так сказать, первоосновой его поведения. Необходимо познакомиться с этой типической чертой его личности, так как без нее не понятны ни его своеобразные отношения с Некрасовым, являющиеся темой

[1] Письмо И. А. Гончарова к Д. Н. Цертелеву от 16 сентября 1885 г. — См.: *И. А. Гончаров*. Литературно-критические статьи и письма. Л., 1938, с. 332.

настоящей статьи, ни та роль, которую сыграл он в цензурной истории русской передовой журналистики шестидесятых — семидесятых годов.

Наиболее наглядно это свойство Феофила Толстого сказалось в его необыкновенном поступке со своим однофамильцем поэтом Алексеем Толстым. В 1868 году Алексей Толстой закончил известную трагедию «Царь Федор Иоаннович». Феофилу Толстому трагедия пришлась по душе. Он прочитал ее в рукописи и выразил автору свое восхищение. Вообще к его драматургии он относился восторженно, что явствует хотя бы из следующих стихов Алексея Толстого:

В твоем письме, о Феофил
(Мне даже стыдно перед миром),
Меня, проказник, ты сравнил
Чуть-чуть не с царственным Шекспиром[1].

Алексею Толстому, естественно, хотелось увидеть свою пьесу на сцене. Он представил «Царя Федора Иоанновича» в цензуру. Казалось бы, пьесе посчастливилось: на том заседании, где происходило ее обсуждение, председательствовал ее горячий поклонник — Феофил Матвеевич Толстой. Как у председателя, у него было два голоса, но, к великому изумлению автора, оба голоса он подал *против* пьесы и горячо настаивал на ее запрещении, утверждая, что она подрывает престиж монархической власти! Пьесу запретили. Разгневанный автор высмеял Феофила Толстого в ядовитых стихах, из которых мы знаем лишь несколько строк:

О будь ты мене голосист,
Но боле сам с собой согласен.

Здесь высказана самая суть психологического склада Феофила Толстого: он действительно почти никогда не был согласен с собою, со своим собственным мнением. В свое оправдание он написал драматургу большое письмо, где объяснял ему, что в качестве литератора он, Феофил Толстой, в восторге от его замечательной пьесы, но в качестве чиновника счел себя вынужденным наложить на нее запрет. Алексей Толстой ответил ему с добродушным презрением:

Как государственный орел,
Ты был двуглав, но не двуличен[2].

[1] *А. К. Толстой.* Собр. соч. Т. 1. М., 1963, с. 409.
[2] Там же, с. 408.

Такая двойственность мнений и чувств была присуща Феофилу Толстому на всем протяжении его литературной работы.

С одной стороны, он был реакционер, обскурант, охранитель крепостнического строя. Ввел его в литературу Фаддей Булгарин, и он в течение долгого времени был сотрудником булгаринской «Северной пчелы»[1]. В этой полуофициозной газете он поместил, между прочим, свой патетический плач над гробом Николая I, где в самый разгар севастопольской катастрофы писал, что сей «чадолюбивый монарх возвел Россию на высшую ступень славы и благоденствия», что он — «достославный преемник Петра» и что, «если, взывая к России, спросить: любил ли почивший государь своих подданных? — вся Россия сольется в один восторженный, благодарственный, утвердительный клик»[2].

В качестве булгаринского публициста и критика он в свое время преследовал произведения писателей «натуральной школы» — Некрасова, Тургенева, Писемского за их простонародную тематику. Разбирая оперу Глинки об Иване Сусанине, он особенно хвалил ее за то, что в ней Сусанин не говорит по-крестьянски. «К счастью, в то время, когда М. И. Глинка писал дивную свою оперу, учение реалистов не было еще в большом ходу, а то, чего доброго, и его уговорили бы заставить Сусанина выражаться по-мужицки и говорить: «таперича», «энтого», «мужик он ражий»[3].

Встречая в повестях и стихах деревенскую речь, Феофил Толстой в своих статейках называл ее «мужицкой», «кучерской» и «кабацкой» и требовал, чтобы современная ему беллетристика изображала только «высшее общество», — или, как он выражался, общество «порядочных людей».

Вскоре после того как Александра Осиповна Смирнова (Россет) ввела в свою гостиную Писемского, и Писемский, артистически воспроизводивший крестьянскую речь, стал читать у нее свои народные очерки, к ней, по рассказу Анненкова, явился возмущенный Ростислав и стал выговаривать ей, что она ввела Писемского в «хорошее общество». «И что она потворствует разврату в литературе, по которому уже Писемскому дают 120 рублей серебром за лист. Это ужасно! И что смотрит начальство!»

Наступили шестидесятые годы, и он в той же самой «Северной пчеле» принялся сражаться с «нигилистами». В 1863 году, когда Чернышевский был узником Петропавловской крепости, Ростислав выступил против его только что напечатанного романа

---

[1] *Ф. Т[олстой]*. Коптитель неба. — «Русский мир». 1874. № 273.

[2] *Ростислав* [Ф. Толстой]. Ночь у гроба в бозе почившего блаженныя и вечныя памяти государя императора Николая I. — «Северная пчела». 1855. № 11.

[3] *Ростислав*. Музыкальные беседы. — «Северная пчела». 1854. № 185.

«Что делать?», заявляя, что это произведение безнравственное, «безобразное и по мысли, и по исполнению» и что нет такой «порядочной женщины», которая решилась бы прочесть этот роман, ибо его автор, по словам Ростислава, «вводит читательниц в среду пьяных женщин, уличных потаскушек и всякого отребья рода человеческого» и «с видимым наслаждением» «погружается в отвратительную грязь»[1].

Судя по вступительным строкам фельетона, Феофил Толстой был отлично осведомлен, что Чернышевский в тюрьме. Эта мракобесная инсинуация заканчивалась в истинно булгаринском стиле — подсчетом того гонорара, который был уплачен Некрасовым автору романа «Что делать?».

Одновременно с этим Феофил Толстой написал и попытался поставить на сцене язвительную пьесу «Нигилисты в домашнем быту» (из романа г. Чернышевского «Что делать?»). В этом памфлете он изобразил нигилистов такими чудовищами, что даже царская цензура (очевидно, испугавшись скандала) запретила ее постановку[2].

Конечно, «Современник» Некрасова не мог не дать сурового отпора многочисленным антинигилистическим выходкам Феофила Толстого.

В начале того же 1863 года в первой книге журнала появилась статья Щедрина (за подписью Н. Гурин), где выведен некий «любезный старик», в котором нетрудно узнать «Феофилку», ибо, по словам Щедрина, этот «любезный старик» когда-то пописывал в «Северной пчеле» и недавно послал в другую газету (такого же направления, что и булгаринский орган) статейку под названием «Нечто о нигилистах, или Новая проделка наших агитаторов».

Статья Щедрина называлась «Московские письма». Она представляла собою рецензию на одну пьесу Феофила Толстого, шедшую в Малом театре. Комментаторы Щедрина не отметили, что и в предисловии к этой рецензии, где как будто говорится о другом человеке, Щедрин с откровенной гадливостью бичует того же Феофила Толстого как ничтожного канцеляриста-бюрократа, не имеющего ни малейшего права называться писателем[3].

---

[1] *Ростислав.* Лжемудрость героев Чернышевского. — «Северная пчела». 1863. № 138.

[2] См. рукопись в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина (36/151) «Нигилисты в домашнем быту». Соч. N. N. (из романа г. Чернышевского «Что делать?»). На рукописи примечание Лескова, свидетельствующее, что ее автором является Ф. Толстой.

[3] См. *Щедрин* (М. Е. Салтыков). Полн. Собр. Соч. Т. V. М., 1937, с. 121—132.

Некрасов напечатал статью Щедрина в «Современнике»* без всяких оговорок и смягчений. Можно не сомневаться, что он был с нею вполне солидарен. Что общего могло быть у Некрасова с этим публицистом булгаринской школы?

2

Но тут-то и обнаружилась величайшая странность. Оказалось, что Феофила Толстого всю жизнь тянуло к этому враждебному лагерю, что он всячески стремился подладиться и к Салтыкову-Щедрину и к Некрасову — писал им длиннейшие письма, где нередко высказывал чувства бескорыстной любви и привязанности.

В тот же день, когда в некрасовском «Современнике» появилась убийственная для Феофила Толстого статья Щедрина, он написал Некрасову большое письмо, где среди горьких упреков и жалоб не преминул сообщить, что, хотя в некрасовском журнале и ругают его, он все же, несмотря ни на что, любит поэзию Некрасова, что ему «прискорбно видеть упорное недоброжелательство» со стороны человека, к произведениям которого он, Феофил Толстой, «*чувствует непреодолимое влечение*».

«Драгоценнейший для русского сердца из современных поэтов» — таково было его обращение к Некрасову в одном из писем 1869 года. И тут же выражал он восторг перед «чудными картинами» природы в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

К Щедрину у него были столь же нежные чувства: по крайней мере, уже после того, как Щедрин отозвался о нем в «Современнике» с таким уничтожающим презрением, Феофил Толстой писал Некрасову о великом сатирике: «знаменитый родоначальник изобличительной литературы — остроумнейший публицист: слово его прорезывает покровы общественной жизни, как алмаз режет стекло. Выводимые им типы схвачены верно и выставлены беспощадно на позор во всей наготе и во всем безобразии».

И тут же сравнивал Щедрина с Микеланджело.

Конечно, Щедрин и Некрасов нимало не обольщались его дифирамбами.

Для Щедрина он так и остался до конца своих дней Феофилкой, а Некрасов далеко не всегда отвечал ему на его назойливые письма и редко допускал его к себе.

«Три раза был я у Вас, — читаем в одном из посланий Феофила Толстого к Некрасову, — и каждый раз просил сказать Вам, что

очень желательно с Вами повидаться. Но увы! *Ни ответа, ни привета* от Вас».

Этот влиятельный цензурный чиновник, гофмейстер двора его величества хорошо понимал, что Некрасов — его политический враг.

«Вы, — писал он Некрасову, — полный властелин демократического царства, именующегося «Отечественными записками».

Он знал, что в этом «демократическом царстве» ему нет и не может быть места. И все же готов был вынести любые обиды, лишь бы удостоиться чести напечататься в некрасовском журнале. Ради этой чести он не брезг[ов]ал ничем и сам, не стесняясь, рассказывал о тех неблаговидных путях, при помощи которых ему удавалось протаскивать свои произведения в журналы Некрасова. Одну его повесть еще в начале пятидесятых годов принял в «Современник» слабовольный Иван Панаев*. Но повесть была до такой степени чужда направлению журнала, что редакция (очевидно, в лице Некрасова) отказалась печатать ее окончание. Тогда Феофил Толстой обратился с жалобой к начальству, к возглавлявшему цензуру попечителю учебного округа Мусину-Пушкину, и тот, по словам Феофила Толстого, сделал Панаеву такое внушение:

«В кои-то веки в вашем журнале появилась повесть, написанная *порядочным человеком*, в которой нет ни мужиков, ни кабаков. Все *порядочные люди*, и даже дамы (!) читают ее с удовольствием, а вы прекращаете ее на самом интересном месте. Чтобы в следующей книжке было бы напечатано продолжение!»[1]

После такого «разноса» — как выражается Ф. М. Толстой — Панаеву, конечно, пришлось покориться начальству. «Белоперчаточная повесть из великосветского быта» была напечатана при помощи административных воздействий на страницах передового журнала, в противовес «мужицким» стихотворениям Некрасова, тургеневским «Запискам охотника», рассказам и повестям Григоровича.

И прочие свои произведения «Феофилка», как мы ниже увидим, навязывал журналам Некрасова таким же административным порядком, используя для этого и служебное свое положение, и свои бюрократические связи.

Но, спрашивается, отчего же ему, этому заядлому врагу «нигилистов», литературному крестнику Фаддея Булгарина, считавшему «порядочными людьми» главным образом «безличную сволочь

[1] *Ф. Т[олстой]*. Коптитель неба. — «Русский мир». 1874. № 276.

салонов», отчего же ему так страстно хотелось участвовать в тех революционно-демократических органах, где к нему относились с откровенным презрением? Почему он так раболепно заискивал перед Щедриным и Некрасовым?

3

Все это и многое другое очень легко объясняется зыбкостью его социальной позиции.

Он до конца своей жизни так и не нашел себе места ни в одной из тех общественных групп, где ему приходилось вращаться. Не нужно забывать, что при всей своей знатности он принадлежал к числу обнищалых дворян, которых в тогдашней Российской империи с каждым годом становилось все больше. Кроме казенного жалованья и скудной платы за газетные статьи, он, в сущности, не имел ничего. Поместье было у него захудалое, не дававшее никакого дохода.

Если бы в молодости он пошел по стопам своего удачливого брата Ивана и избрал дворцовую карьеру, жизнь его сложилась бы совсем по-другому. Иван Матвеевич, усердный служака, не брезгавший крупными взятками, в конце концов получил от расположенных к нему императоров и звание графа, и должность министра и умер в безмятежном довольстве[1]. А Феофила Матвеевича рано соблазнила другая карьера, та, которая обычно привлекает к себе разночинцев: громкое литературное имя, популярность влиятельного представителя прессы. Он сделал ставку не столько на благосклонность своих салонных друзей, сколько на покровительство «почтеннейшей публики», как любил он выражаться в своих мемуарных заметках. А так как «почтеннейшая публика» оценила его не слишком высоко, он должен был поддерживать свое существование мелкой литературной поденщиной, что, конечно, не могло не унизить его в глазах феодального круга, к которому он принадлежал по рождению. Пусть его статьи зачастую отражали в себе вкусы и воззрения этого круга, но уже то обстоятельство, что он писал их, как цеховой журналист, делало его отщепенцем среди высокопоставленной знати.

Благодушный князь Б., приписавший Феофилу Толстому смехотворный псевдоним Брандахлыст, отчетливо выразил то

[1] *В. Р. Зотов.* Петербург в сороковых годах. — «Исторический вестник». 1890. № 3, с. 557–558; *А. И. Дельвиг.* Полвека русской жизни. Т. II. М.–Л., 1930, с. 134, 311; Гр. *С. Ю. Витте.* Воспоминания. Т. III. Л., 1924, с. 97.

высокомерие, с которым должны были отнестись к его «свободной профессии» твердолобые представители сановного барства.

В глазах передовых литераторов он был царский чиновник, охранитель ненавистного строя, а в глазах царедворцев и вообще людей великосветского круга — мелкая газетная сошка, чужак. Отсюда неустойчивость и противоречивая двойственность социального его поведения. Отсюда его частые измены себе самому. Оттого-то и могло произойти, что в качестве цензора запрещал он те самые книги, которые приводили его в восторг как писателя. Оттого-то в его сочинениях можно найти столько противоречивых высказываний об одном и том же предмете. Недаром А. С. Суворин в фельетонной статье предложил заменить общепринятое изречение «непостоянен, как ветер» фразою «непостоянен, как Ростислав».

Хуже всего было то, что Феофил Толстой никак не хотел примириться со своей неприкаянностью, с шаткостью своей социальной позиции.

Он метался между обоими лагерями, стараясь угодить то одному, то другому, и, так как не находил признания ни в одном, ни в другом, пытался поправить дело жалкими и явно безнадежными способами: чуть не во всякой своей статейке, по всякому случайному поводу, он, громко рекламируя себя, трубил о своих необыкновенных заслугах.

Получив, например, частное письмо от одного из видных ценителей музыки, полное любезных комплиментов, купленных ценою самой неумеренной лести, он не задумался напечатать это частное письмо целиком в брошюре, посвященной творчеству М. И. Глинки[1]. Да и вся брошюра наполнена таким самохвальством, что, — как указал композитор Серов в одной из своих тогдашних рецензий, — автор пользуется именем Глинки лишь для того, чтобы заставить толковать о себе, придать себе имя.

«Заметьте, — продолжает Серов, — что Ростислав несколько раз извиняется, что он будто бы против воли принужден занимать публику своею личностью, но [...] это не больше, как маска скромности. Из-под этой личины слишком ясно высказывается желание именно о себе-то и поговорить, вместе с именем М. И. Глинки выставить свой псевдоним...»[2]

Как и всякий неудачник, он видел повсюду злобные козни врагов, которые будто бы нарочно замалчивают все его заслуги и дос-

[1] *Ростислав.* Музыкальные беседы. — «Северная пчела». 1854. № 134.

[2] *А. Серов.* Несколько строк о брошюре Ростислава. — «Москвитянин». 1854. № 23, с. 139—146.

тоинства. Именно в противовес этим козням он и возвеличивал себя самого в собственных газетно-журнальных статьях[1], и хотя неустанные заботы о славе приводили его к пущему бесславию, он даже не считал для себя унизительным выпрашивать у рецензентов хвалебные отзывы. Когда, например, в Малом театре шла его драма «Пасынок», он не постеснялся обратиться к А. В. Дружинину с просьбой сказать о ней доброе слово в одной из газетных статей.

«Больно, — говорил он в письме, — что труды остаются не замеченными теми людьми, которые могли бы их оценить. А между тем здешние господа (то есть петербургские критики. — *К. Ч.*) ни гугу — как будто не их дело»[2].

Все это выходило у него мелочно, суетливо, бестактно, назойливо, и от этого еще больше росло всеобщее неуважение к нему. Даже в тоне его писем к одному и тому же лицу отражалась неустойчивость его душевного склада. Так, в своих письмах к Некрасову он то подобострастен, то дерзок, то игрив и развязен, то официален и чопорен.

4

Шаткость его мнений была так велика, что в 1859 году он, поддавшись могучему веянию шестидесятых годов, круто метнулся влево и даже написал оппозиционный роман («Болезни воли»)*, где как бы отрекся от своего вчерашнего дня.

Читателям романа было трудно поверить, что он написан тем самым пером, которое столько лет находилось на службе у реакционного лагеря.

Тогда же Феофилом Толстым была написана повесть «Ольга», где он подверг уничтожающей критике нравы того «высшего света», которому служил столько лет.

Когда эти обличительные произведения вышли отдельным изданием (уже в конце 1866 года), их сочувственно приветствовал Д. И. Писарев. В двух книжках журнала «Дело» Писарев напечатал большую статью, где без обиняков заявил, что в произведениях Феофила Толстого сказались и «честная, сознательная любовь к людям», и «верный взгляд на отношения людей». С особым сочувствием Писарев отнесся к повести «Ольга» — за то, что в

[1] См., например: *Ф. Толстой.* Воспоминания по поводу «Записок М. И. Глинки». — «Русская старина». 1871. Кн. 4—6, с. 421—456.

[2] Письмо Ф. Толстого к Дружинину от 6 января 1863 г. — «Письма к А. В. Дружинину». М., 1948, с. 313—314.

ней наглядно показаны развращенность, скудоумие, пошлость так называемой золотой молодежи.

Еще более высокое мнение высказал критик о романе Феофила Толстого «Болезни воли». Такой роман, по убеждению Писарева, мог написать только «даровитый и мыслящий автор», ибо роман ударяет не по каким-нибудь случайным и легко устранимым частностям тогдашнего строя, а по самым главным его основаниям, выставляя на общий позор ту неискоренимую лживость, которой проникнуты все отношения людей в буржуазно-крепостническом обществе.

«Ложь губит Россию! Ложь опутала, как паутиной, все сословия!»—восклицает герой романа, великий правдолюбец Григорий Пронский, фанатичный враг лицемерия, убедившийся на собственном опыте, что в тогдашних социальных условиях невозможно прожить ни единого дня, не прибегая к самой бессовестной лжи. Люди упрятывают смелого поборника правды в сумасшедший дом за решетку, ибо ни одному правдолюбцу нет и не может быть места в их лицемерном быту. Хотя автор из цензурных соображений пытался выдать эту вариацию герценовского «Доктора Крупова» за невинный психиатрический очерк, не имеющий отношения к политике, Писарев дает очерку свое толкование и, для того чтобы сильнее подчеркнуть политическую направленность романа, прибегает к такому намеку:

«Если бы, — говорит он, — сам Добролюбов прочитал «Болезни воли», то легко может быть, что он по поводу этого романа написал бы одну из лучших своих критических статей».

А так как Добролюбов, анализируя произведения того или иного писателя, пользовался ими для пропаганды своих революционных идей о необходимости уничтожения современного строя, указание Писарева нельзя не понять в том смысле, что роман Феофила Толстого дал бы Добролюбову богатый материал для такой пропаганды. И когда Писарев, подводя итоги своей обширной статье, заключает, что этот роман есть «умное и добросовестно обдуманное произведение», это значит на его языке, что в нем слышится достаточно сильный протест против тогдашней действительности[1].

В «Болезнях воли» увидел социальный протест не только Д. И. Писарев. Много лет спустя Вера Фигнер в своей автобиографии отметила, что этот роман сыграл немаловажную роль в ее революционном развитии[2].

---

[1] См. *К. Путилов* (Д. Писарев). Образованная толпа. — «Дело». 1867. №№ 3 и 4; Д. И. Писарев. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Гослитиздат, 1956.

[2] См.: *В. Фигнер.* Запечатленный труд. Т. I. М., 1929, с. 42.

Конечно, и Вера Фигнер, и Писарев истолковали это произведение по-своему, внеся в него немало таких чувств и мыслей, которые ему не присущи. Все же в литературной летописи шестидесятых годов навсегда останется тот многозначительный факт, что даже цензор, даже охранитель основ крепостнической самодержавной империи под могучим воздействием революционной ситуации тех лет — пусть на самое короткое время — отстранился от того, чему так упорно служил, и заявил себя приверженцем тех самых идей, которые преследовал в течение всей своей жизни.

Характерно, что статья Писарева не встретила в тогдашней журналистике отклика. Слишком уж неприглядная была у Феофила Толстого репутация в литературных кругах. Только что выпущенный из каземата Петропавловской крепости, Писарев мог и не знать всех подробностей его литературной и служебной карьеры. Но в глазах рецензентов и критиков, более близко знакомых с общественной физиономией Феофила Толстого, эта деятельность была так одиозна, что даже те произведения, которые были столь сочувственно отмечены Писаревым, не изменили в передовой журналистике враждебного отношения к ней. По более позднему свидетельству Феофила Толстого, «пресса обошла повесть («Болезни воли». — *К. Ч.*) презрительным молчанием, и когда один из молодых критиков (то есть Писарев. — *К. Ч.*) вздумал отозваться о ней благоприятно... его обзывали и подлецом, и изменником, и подкупленным предателем»[1].

Это последнее заявление, конечно, представляет собою сплошную фантастику. Хотя литературное влияние Писарева в ту пору было уже на ущербе, его нравственный авторитет по-прежнему стоял на такой высоте, что ему не могла повредить даже хвалебная статья о Феофиле Толстом. Но несомненно и то, что с этой статьею никак не могли согласиться читатели, которые хоть отдаленно представляли себе подлинную биографию Феофила Толстого. И вряд ли во время писания статьи Писареву могло прийти в голову, что в качестве цензора за год до этого автор «Болезней воли» в официальной бумаге объявил Писарева крайне опасным писателем, в произведениях которого нельзя не увидеть зловредных «социалистических и коммунистических тенденций». Отзыв относится к первому тому собрания сочинений Д. И. Писарева. В этом отзыве гофмейстер Ф. М. Толстой предупреждает цензуру, что если в последующих частях своего собрания сочинений «автор (то есть Писарев. — *К. Ч.*) продолжать будет проводить зловредные учения, то в совокупности это соста-

[1] *Ф. Т[олстой]*. Коптитель неба. — «Русский мир». 1874. № 276.

вит достаточный материал для арестования книги и для предания автора суду»[1].

Одной из характернейших черт шестидесятых годов кажется мне то обстоятельство, что в качестве охранителей престижа государственной власти возникли в большом изобилии такие двойственные, зыбкие, шаткие люди. Их можно было встретить во всех областях государственного управления той эпохи. С каждым годом полицейско-самодержавный режим все меньше привлекал к себе нелицеприятных и преданных слуг.

Возникла особая порода чиновников, ретиво исполнявших свои служебные функции и в то же время вполне сознававших всю постыдность и бессмысленность своего поведения. В одной из тогдашних сатир Некрасов отметил, что даже те жандармы и гвардейцы, которые врывались с обыском в чужие квартиры для ареста «государственных преступников», и те в своих откровенных беседах высказывали резко оппозиционные взгляды. Некрасов изобразил молодого «администратора» (то есть жандарма), который, явившись ночью в квартиру к писателю, стал тут же щеголять перед ним своими либеральными идеями:

Тогда беседа началась
О том, как многое у нас
Несовершенно; как далек
Тот вожделенный идеал,
Какого всякий бы желал
Родному краю: нет дорог,
В торговле плутни и застой,
С финансами хоть волком вой, —
и т. д.

Это было массовым явлением в то время. По словам Некрасова, даже посадив человека в тюрьму, тюремщик охотно заводил с заключенным такие оппозиционные речи. Тот же литератор, уже очутившись в тюрьме, говорит в некрасовских стихах:

В мой скромный угол иногда
Являлся гость: дебош ночной[2]
Свершив, гвардейский офицер,
Любезный, статный, молодой
И либеральный свыше мер,
День-два беседовал со мной...
Уйдет один, другой придет
И те же басенки плетет...
(II, 305)

[1] *В. Евгеньев-Максимов.* Д. И. Писарев и охранители. — «Голос минувшего». 1919. №№ 1—4, с. 145—146.

[2] То есть обыск, так как в 1866 г. М. Н. Муравьев стал привлекать к этой жандармской работе гвардейских офицеров.

У каждого из подобных людей их сознание находилось в полном противоречии с их действиями. Пускай их либерализм сводился к пустой болтовне, к бессмысленному «плетению басенок», — прежней цельности у них уже не было, так как не было твердой уверенности, что они служат правому делу.

Одно мнение существовало у них для начальства, другое для самих себя.

Это двоедушие — или, как теперь говорится, двурушничество, — проникло даже в цензурное ведомство и, как мы ниже увидим, сильно помешало правительству в его борьбе с прогрессивной печатью.

Цензурные деятели предыдущего царствования, Бутурлины, Бирюковы, Фрейганги, отнюдь не страдали подобной раздвоенностью: они люто ненавидели то, с чем боролись.

А при Александре II появился целый полк цензоров, которые, говоря фигурально, «поклонялись тому, что сжигали», так как многих из них отравляло сознание, что, в сущности, они защищают шаткий и растленный режим. Это очень точно сформулировано в одном из новейших исследований, где по поводу самодержавия пятидесятых и шестидесятых годов говорится: «Его государственный аппарат не являлся в эту пору идейно и организационно целостным орудием власти, не был вполне верной и надежной опорой трону, которому служил. Элементы недовольства, критики и скептицизма, а наряду с этим беспринципность, льстивость перед начальством, склонность к коррупции всех видов и форм, существовали во всех звеньях и прослойках царской бюрократии, свидетельствуя, уже для этой эпохи, о далеко зашедшем разложении исторически умиравшего русского абсолютизма»[1].

Словом, многие из царских чиновников в государственном аппарате Александра II были в большей или меньшей степени «не согласны с собою» и в своих докладах и рапортах говорили одно, а в частных беседах — другое.

Их ближайшим предком был цензор А. В. Никитенко, который, по словам одного современника, постоянно повторял в разговорах «все те же жалобы на свое положение, на раздвоенность этого положения», на «ненормальность существующего порядка вещей и обязанность служить этому порядку». Об известном дневнике Никитенко тот же мемуарист замечает, что там было много таких дерзких высказываний, которые в качест-

[1] *Б. Папковский и С. Макашин.* Некрасов и литературная политика самодержавия. — «Литературное наследство». М., 1946. Т. 49—50, с. 476.

ве цензора сам Никитенко «никогда не пропустил бы ни в какой книге»[1].

В царствование Александра II количество таких «раздвоенных» цензоров увеличилось. Иные из них, как, например, цензор В. Н. Бекетов, были всецело на стороне радикальных писателей, произведения которых им приходилось черкать и кромсать.

Другие, как, например, В. М. Лазаревский, нравственный неряха, циничный службист, презирали свое ремесло, называли его подлым и гнусным и все же дослуживались благодаря ему до высоких чинов и делались большими сановниками, хихикая и над собой, и над своими хозяевами.

Третьи, как Феофил Толстой, жаждали услужить и одной, и другой стороне — и «Отечественным запискам» Некрасова, и министру внутренних дел Тимашеву.

Четвертые, как, например, Федор Еленев (Скалдин), совмещали писание правдивых и неприкрашенных очерков о бедственном положении народа после крестьянской реформы с должностью члена Совета главного управления по делам печати.

Но как бы ни были различны эти люди, их объединяло одно: служа самодержавно-полицейскому строю, они наряду с этим по разным причинам, вольно или невольно, служили тем сокрушительным силам, которые исподволь разрушали его.

Их двойственность была блестяще использована великим стратегом журнального дела Некрасовым в интересах революционно-демократического лагеря. Только теперь, когда опубликованы наконец материалы, осветившие его деловые отношения с некоторыми из руководителей царской цензуры, перед нами вскрывается, да и то далеко не вполне, его сложная и гибкая тактика по использованию агентов государственной власти для защиты созданных им демократических органов. Тактика эта в достаточной степени выяснена в той статье «Литературного наследства», которую я сейчас процитировал.

Передо мною подлинные письма Феофила Толстого к Некрасову, полученные мною от покойного академика А. Ф. Кони, в архиве которого они хранились лет сорок. Очевидно, их было значительно больше, но многие до нас не дошли. Однако и теми, что находятся в наших руках, устанавливается с достаточной ясностью, каков был характер услуг, оказывавшихся Феофилом Толстым журналистике левого лагеря, и какова была плата за эти услуги. Чтобы сделать Феофила Толстого своим тайным помощни-

[1] См. *В. Зотов.* Петербург в сороковых годах. — «Исторический вестник». 1890. № 4, с. 97—98.

ком, который служил бы интересам революционной печати, Некрасов умело использовал и его жажду литературной известности, и неустойчивость его убеждений, и отсутствие у него денежных средств, и его неутоленное тщеславие.

5

Одно из первых писем Феофила Толстого к Некрасову посвящено катастрофе, разразившейся над «Современником» в 1866 году, во время диктатуры Муравьева Вешателя. Чтобы спасти свой журнал, Некрасов, как известно, решился на отчаянный шаг* когда аристократический Английский клуб чествовал временщика за его административные подвиги, поэт выступил на торжественном обеде с приветственным словом, надеясь, что этот тактический ход может смягчить разъяренного деспота.

Одновременно с этим он обратился к ряду влиятельных лиц, в том числе и к Феофилу Толстому, — за помощью. Тот сейчас же взялся за дело, ибо хорошо сознавал, что услуга подобного рода будет щедро оплачена — так или иначе.

Чтобы показать свою ретивость, он написал о некрасовском «Современнике» большое письмо министру внутренних дел П. А. Валуеву (от которого, кстати сказать, судьба «Современника» уже не зависела). В письме он говорил, что он «почитает священным долгом формально заявить» его превосходительству, что «вредное и предосудительное направление этого издания... в настоящее время изменилось совершенно», что «прекращение «Современника» вконец разоряет ни в чем не повинное семейство Панаева» и «что статьи и набор каждого № стоят около 20 000 рублей»*, — то есть открыто выступил адвокатом Некрасова.

Как и следовало ожидать, его усилия не привели ни к чему. Об этом он и сообщает поэту в печатаемом ниже письме:

3 июня 1866 г.

Все, что было возможно сделать для отвращения постигшего Вас несчастья, — было сделано. Готовность Ваша покориться требованиям Совета — формально заявлена, на безупречное содержание 4 и 5-го №№ указано и даже заявлено, что «Современник» не составляет исключительную Вашу собственность — и что прекращение издания повлечет за собою разорение наследников Панаева. Но, к сожалению, — ничего нельзя было сделать!

Высочайшее повеление положительно прекращает издание, и даже нельзя было отстоять 5-ю книгу, в которой нет ни задорин-

ки. Удар нанесен клубным Вашим приятелем, в честь которого написаны стихи[1].

По моему мнению, Вы могли бы подать прошение на Высочайшее имя, изложив Вашу готовность и пр. и пр. — но послужит ли это делу? — не знаю.

Ф. Т.

От души скорблю.

Хотя хлопоты Ф. М. Толстого не увенчались (да и не могли увенчаться) успехом, все же он проявил в этом деле немалую готовность услужить. Некрасов, конечно, не остался в долгу. Это мы заключаем из того, что на обложке и титуле тех двух томиков Сочинений Ф. М. Толстого, о которых было сказано выше, имеется такая помета:

ИЗДАНИЕ С. В. ЗВОНАРЕВА. СПб. 1866
Типография К. Вульфа
Литейный проспект, № 60.

Заведовавший одно время конторой журнала «Современник» книгопродавец С. В. Звонарев занимался издательской деятельностью под непосредственным руководством Некрасова и с его финансовой поддержкой. Без санкции поэта Звонарев вообще не издавал ничего. Это видно даже из публикуемых писем Феофила Толстого. По поводу одного романа протежируемого им автора он пишет Некрасову: «Если Вы не желаете <...>, чтобы роман печатался у Звонарева, то и это можно уладить иначе»[2].

Словом, за все свои хлопоты Ф. М. Толстой вскоре получил воздаяние: Некрасов дал ему большую моральную и материальную взятку.

6

К концу 1867 года поэту удалось путем необычайных усилий осуществить почти невозможное в тогдашних условиях дело: воссоздать через год после закрытия «Современника» новую трибуну для революционно-демократической «партии» — взять в свои руки «Отечественные записки» Краевского.

В интересах этого дела Некрасову понадобилось возобновить и закрепить все свои цензурные связи — между прочим, и с Фео-

[1] Ф. Толстой имеет в виду М. Н. Муравьева.

[2] С. В. Звонарев был в то время служащим Некрасова. В 1864 и 1869 гг. Некрасов издавал свои стихотворения под фирмой «Книгопродавца С. В. Звонарева». Книжный магазин Звонарева находился при конторе «Современника».

филом Толстым. 23 декабря 1867 года, то есть за несколько дней до выхода первой книжки своего нового журнала, он написал Ф. М. Толстому такое письмо:

«Вы совершенно правы, многоуважаемый Феофил Матвеевич, меня бы стоило обругать. Мне *должно*, и *желательно*, и *нужно* побывать у Вас, что наконец и исполню завтра же часу в 1-м» и т. д. (XI, 98).

Письмо дружелюбное; в нем Некрасов выражает сожаление по поводу болезни Феофила Толстого, уверяет его, что смотрит на их отношения более как на товарищеские, чем официальные, и т. д. Иная тактика была в те времена невозможна, и едва ли хоть одна книжка «Отечественных записок» могла бы появиться в печати, если бы Некрасов не заводил с ненавистными ему цензорами подобных отношений и связей. Но, конечно, Феофилу Толстому, жаждавшему писательской деятельности, было недостаточно одних изъявлений приязни. Ему требовалась более высокая плата: он хотел сотрудничать в журнале Некрасова. Некрасов был вынужден пригласить его в «Отечественные записки» в качестве музыкально-театрального критика. Толстой обязался за это всячески охранять новый журнал в Совете главного управления по делам печати, а также ежемесячно подвергать его внутренней домашней цензуре, еще до напечатания книжки.

Возможно, что Некрасов посоветовал Феофилу Толстому принять на себя обязанности официально наблюдающего за «Отечественными записками» члена Совета (каждый журнал был прикреплен к определенному члену Совета), что должно было придавать его мнениям о журнале, заявленным на заседании, бóльшую авторитетность.

Однако, если судить по выступлениям Толстого в Совете по делам печати, относящимся к 1868 году, создается впечатление, что защищать «Отечественные записки» он стал не сразу, а лишь с конца года, что, однако, могло быть конспиративным приемом для прикрытия установленной им неофициальной связи с редакцией некрасовского журнала.

К своим обязанностям в качестве домашнего цензора Ф. М. Толстой приступил тотчас же, что явствует из следующей его записки к Некрасову по поводу некрасовского стихотворения «Суд»:

Декабрь 1867 г.

Но тот блаженней, у кого
Родных нет ровно никого.

Два эти стиха, конечно, не противоцензурны, но они отзываются принципами того учения, за которое «Современники» был

запрещен; мне кажется, что следует, и в особенности на первых порах, не возбуждать подобного сближения.

[*Без подписи*]

Ф. М. Толстой не угадал тогдашних установок начальства, ибо противоцензурными оказались не только две строки, приведенные в этом письме, но и все прочие стихи поэмы «Суд». Поэтому пришлось всю поэму вырезать из 1-й книги «Отечественных записок» за 1868 год*.

Нет сомнения, что печатаемая нами записка Феофила Толстого — одна из очень многих такого же рода. Очевидно, он просматривал весь материал, предназначенный для первой и второй книг «Отечественных записок» за 1868 год. То была большая работа, и вскоре он потребовал за нее добавочной «платы»: предложил напечатать в «Отечественных записках» роман из великосветского быта «Недоразумение», сочиненный близким ему человеком. Некрасов, очевидно, ответил ему (в не дошедшем до нас письме), что роман не соответствует программе журнала, но что он все же условно принимает его и платит автору аванс в счет гонорара и, сверх того, готов уплатить неустойку в случае ненапечатания романа в течение года, что, конечно, было замаскированной взяткой.

Ф. М. Толстой ответил Некрасову обширным письмом (от 28 февраля 1868 года), которое кончалось такими словами*:

«Прилагаю при сем расписку автора «Недоразумения», присовокупив, что он соглашается на предлагаемую Вами неустойку в случае ненапечатания романа его в течение сего года.

Весь Ваш *Ф. Т.*»

Платить автору неустойку за ненапечатание его произведения в журнале — такого обычая в тогдашней журналистике не было и быть не могло. То была, повторяю, благовидная взятка, и, как мы видим, Ростислав без колебания принял ее.

Повесть, о которой говорится в письме, была подписана псевдонимом Данкевич. В «Опыте словаря псевдонимов русских писателей» В. Карцева и М. Мазаева (СПб., 1891) указано, что Данкевич — это псевдоним Е. Толстого* (одного из родичей Феофила Матвеевича). В позднейшей рецензии на повесть Данкевича М. Е. Салтыков-Щедрин указал, что ее автор «впервые выступает на литературное поприще», и отрицательно отнесся к ее содержанию[1]. Очевидно, Некрасов в письме к Ф. М. Толстому продол-

[1] *М. Е. Салтыков* (Н. Щедрин). Полн. собр. соч. Т. VIII. М., 1937, с. 383.

жал утверждать, что она не соответствует программе «Отечественных записок».

Это вызвало в высшей степени наглую отповедь Феофила Толстого. В письме, которое мы печатаем ниже, он без всяких обиняков объявил, что «Отечественные записки» Некрасова — «вместилище грязных вод» и что «благовонная» великосветская повесть может хоть отчасти спасти их от грязи. В качестве одного из особенно «зловонных потоков» он указал на прекрасный рассказ Г. И. Успенского «Остановка»[1].

6 июля 1868 г. Царское Село.

...Вообразите себе, какое неприятное зрелище и зловонное вместе представит бассейн, в который беспрестанно будут вливаться грязные потоки из подземных клоаков!

Прочитывая произведения гг. Решетникова и Глеба Успенского, меня обуял страх! Я опасаюсь, чтобы и Ваш журнальный бассейн не сделался бы вместилищем подземных, грязных вод. Возьмем, например, очерк, озаглавленный «Остановка». Неужели это можно назвать «изящной словесностью»? Что хотел воспроизвести талантливый автор? Грязь, неурядицу, тупоумие — и всякого рода мерзости русского общества...

...Про Гоголя Вы сказали весьма поэтично: «*...и как любил он, ненавидя*». Но Успенский ни до любви, ни до ненависти не дорос. Гоголь бичевал любя, с улыбкой на устах; Успенский со злости *плюется*.

Поверьте, почтеннейший Николай Алексеевич, что пора освежить бассейн изящной словесности Вашего журнала чистою струею — иначе он загниет и будет издавать зловредный запах. Оставьте для других отделов этнографические и другого рода изыскания, будьте строги к неурядицам, карайте пороки и больших и малых, но в отделе изящной словесности дайте вздохнуть, дайте душе и воображению хоть несколько окрылиться. Человек хоть и млекопитающее животное, но ведь он не пресмыкающееся. Считать *вшей* на голове — право, дело не беллетриста, а физиолога или, пожалуй, этнографа.

Вот Вам искренний совет человека с развитым изящным вкусом (Вы сами неоднократно признавали за мною это качество). Поверьте, что полезнее послушать совета подобного человека, чем людей, хоть и умных и, может быть, практичных, но лишенных художественного гвоздя в голове.

Ф. Т.

---

[1] «Отечественные записки». 1868. № 7, с. 63—92.

Вот какие уроки «эстетики» приходилось выслушивать гениальному поэту, стоявшему во главе революционно-демократического отряда русской литературы, от мелкого писаки «Феофилки» лишь потому, что тот был чиновником цензурного ведомства!

Через месяц Феофилу Толстому стало известно, что М. Е. Салтыков-Щедрин намерен сильно сократить навязываемую «Отечественным запискам» повесть, — и он поспешил заявить свой протест, возвеличивая при этом свой эстетический вкус и с потрясающей развязностью ставя свою «эстетику» выше щедринской.

7 августа 1868 г.

Неужели Вы полагаете, что достаточно быть весьма умным человеком, для того чтобы иметь вполне развитый художественный инстинкт, то есть иметь, как говаривал Соллогуб, «художественный гвоздь» в голове»?

Знаменитый родоначальник изобличительной литературы — остроумнейший публицист, слово его прорезывает покровы общественной жизни, как алмаз режет стекло. Выводимые им типы схвачены верно и выставлены беспощадно на позор во всей своей наготе и во всем их безобразии. Но на палитре Щедрина находятся только одни яркие краски, но нет тех нежных оттенков, которые необходимы для изображения женских типов. Микеланджело никогда не писал *мадонн*, а Карло Дольче почти исключительно упражнялся в этом жанре. От типов Щедрина разит или водкой, или пачули, что, конечно, должно заглушать нежный запах Violette de Parme или Mousseline[1]. Вот почему я полагаю, что почтеннейший Ваш сотрудник, несмотря на проницательнейший его ум и громадный талант *публициста*, не может безапелляционно резать, кромсать и кольми паче изменять произведение, написанное в чисто художественном духе, без малейшей примеси какой-либо политической или социальной тенденциозности.

«*Недоразумение*» (а не «Недоумение», как Вы пишете) по кисти принадлежит к разряду a la Карло Дольче, а не Микеланджело...

Естественно, Некрасов не был расположен печатать этот враждебный направлению «Отечественных записок» роман и продолжал с величайшим терпением выдерживать атаки Феофила Толстого, которые становились все яростнее. Очевидно, 8 или

[1] Названия французских духов.

9 августа 1868 года поэт уведомил его, что он окончательно отклоняет «Недоразумение» Данкевича.

Феофил Толстой ответил ему беспардонным письмом, снова возвеличивая повестушку своего фатоватого родственника за счет произведений Решетникова и Глеба Успенского:

«Сожалею, что Вы отклоняете произведение, которое несравненно поэтичнее и обдуманнее, чем большинство печатаемых Вами Решетниковых и Успенских. Впрочем, о вкусах не спорят, и если «Недоразумение» (ныне совершенно оконченное и, могу сказать, *блистательно* оконченное) Вам в тягость, то я пошлю его г. Каткову,

Ф. Т.»

К тому времени, очевидно, обнаружилось, что начало «Недоразумения» было уже напечатано в другом журнале*, которому оно было навязано Феофилом Толстым при помощи такого же маневра, какой он применял и по отношению к Некрасову. Очевидно, Некрасов в своем письме от 8 или 9 августа намекнул на эти неблагоприятные слухи, причем сослался на мнение своих ближайших товарищей — Щедрина и Елисеева.

Тогда Феофил Толстой, — как это всегда бывало с ним в таких случаях, — принял вид оскорбленной невинности и обратился с сердитым письмом — на этот раз не к Некрасову, а к владельцу «Отечественных записок» А. А. Краевскому*, обвиняя Некрасова в нарушении редакторской этики, а М. Е. Салтыкова и Г. З. Елисеева — в нежелании пустить в свою среду чужака конкурента (!), прозрачно намекая при этом, что ими якобы руководил в данном случае корыстный (!) расчет.

Одно из следующих писем Ф. Толстого связано с очередной, девятой, книгой «Отечественных записок» за 1868 год. Имея в виду предстоящее рассмотрение книги на заседании Совета главного управления по делам печати и желая заранее узнать возможные результаты этого рассмотрения, Некрасов обратился к Феофилу Толстому* с просьбой «высказать откровенно» его впечатление от книги. Опасения Некрасова имели достаточно оснований и, как мы увидим, в значительной мере оправдались.

Мстительный Ф. Толстой признал эту книгу «вредной». Особенно опасными были объявлены щедринские вещи: очерк «Легковесные» (из цикла «Признаки времени» — без подписи) и два фельетона из цикла «Письма о провинции» (четвертое и пятое — за подписью: Н. Гурин). В этих трех статьях наступившая послекаракозовская эпоха характеризовалась как торжество «легковесных шалопаев», занявших все командные посты государственно-

го управления в атмосфере усилившейся крепостнической реакции.

Зловредные традиции «Современника» воскресли, по мнению Феофила Толстого, также и в статье Скабичевского «Русское недомыслие», где тургеневскому роману «Отцы и дети» было дано такое же толкование, какое на страницах «Современника» в 1862 году дал ему критик Антонович.

Феофил Толстой очень верно выражает в своем письме отношение цензурных властей к Антоновичу*, называя его *страшнопамятным*: теперь нам известно, что, когда Некрасов хлопотал о реорганизации «Отечественных записок», ему было предъявлено требование не допускать в редакцию Антоновича и даже не печатать его статей. Но на смену «страшнопамятному» Антоновичу пришел Скабичевский, повторивший в своей статье те же упреки Тургеневу, с какими обращался к нему Антонович в своем печально-знаменитом памфлете «Асмодей нашего времени»*.

Словом, в девятой книге Ф. М. Толстой, обиженный тем, что Некрасов так-таки и не дал ему обещанной взятки, нашел достаточно материала для злобной характеристики «политической неблагонадежности» редакции «Отечественных записок». Прочитав эту девятую книгу, он решил на ближайшем же заседании Совета по делам печати выступить с заявлением, что редакция «Отечественных записок» продолжает *преступную* деятельность «Современника», закрытого по распоряжению царя.

Об этом своем выступлении он и предупреждает Некрасова:

8–10 сентября 1868 г.

Пусть грозный наш сатирик причислит и меня к категории *легковесных* или, пожалуй, даже к категории *фофанов*, но я все-таки по данному мною Вам обещанию обязан высказать откровенно впечатление, произведенное на меня 9 № «От[ечественных] зап[исок]».

Получив только вчера вечером новую книжку, я еще не успел прочитать ее от доски до доски, но уже вкусил достаточное количество *сочной* этой пищи, дабы не сомневаться, что она изготовлена наилучшими *Вателями*[1] бывшего «Современника».

Достопочтеннейший сатирик Щедрин выступает в этом № во всеоружии прежней иносказательной и ядовитой своей речи, а Скабичевский сильно отзывается *страшнопамятным* Антоновичем.

Статьи под заглавием «Легковесные» и «Письма из провинции» (очевидно, одного и того же пера) напоминают бывшую ме-

[1] Ватéль — знаменитый французский повар XVIII в.

ждустрочную подцензурную литературу, когда под именем Смакгольмского барона и некоего Карла Ивановича подразумевались совсем другие личности...

Я не предлагаю Вам сделать какое-либо изменение в статьях Щедрина-Гурина — это ни к чему не поведет — и не предлагаю Вам исключить их вовсе — так как это будет чувствительно издательскому Вашему сердцу; но я по долгу совести должен Вас предупредить, что статьи эти будут заявлены Совету и внесутся в *послужной список* Вашего журнала. Сколько я понимаю дело, это еще не подаст повода к каким-либо карательным мероприятиям, но, вероятно, отсрочит на долгое время разрешение единоличной самостоятельной Вашей редакции.

Относительно статей Скабичевского скажу Вам, что эти статьи дельные, но преждевременны. Вы слишком поторопились. Вам следовало бы упрочить гражданское Ваше положение и доказать на деле, что основные принципы «Современника» были превратно истолкованы, и тогда уж приняться за *реабилитацию* новейших деятелей. Статья же «Русское недомыслие» сразу высоко поднимает прежнее знамя «Современника», *спущенное по высочайшему повелению*, и гордо и с презрением отзывается о всех людях, не разделяющих воззрения людей, заподозренных в неблагонамеренности. Повторяю, что это преждевременно и — в настоящем положении дела — блистательная диалектика возмужалого Антоновича, то есть Скабичевского, поведет только к неблагоприятным для Вашего журнала заключениям. Я высказал Вам свое воззрение, а там как угодно — и что Бог даст!

[Без подписи]

В письме чувствуются следы озлобления, вызванного отказом Некрасова напечатать роман Данкевича. Отметим раньше всего указание Ф. Толстого на то, что, напечатав в своем журнале такое количество «ядовитых» статей, Некрасов уже не может рассчитывать на поддержку Феофила Толстого в деле освобождения «Отечественных записок» от обременительной опеки Краевского. Зная, как упорно добивался Некрасов, чтобы ему разрешили единолично редактировать этот журнал, Феофил Толстой предупреждает его, что все хлопоты по этому делу будут теперь безуспешны.

«Феофилка» не ограничился одними угрозами. На очередном заседании Совета (17 сентября 1868 года) он сделал официальное заявление по поводу девятой книги, обвиняя журнал в тесном сродстве с прекращенным по высочайшему повелению «Современником», то есть раскрыл революционное направление нового некрасовского издания.

Должно быть, именно о таких поступках Феофила Толстого Щедрин говорил: «Феофилка гадит!» — а Елисеев не без брезгливости повторял поговорку: «Бог не выдаст, Феофилка не съест!».

Следующее письмо Феофила Толстого целиком посвящено такому же мстительно-злобному разбору «Старой помпадурши» Щедрина, предназначенной для напечатания в ноябрьской книге «Отечественных записок» за 1868 год.

<8 ноября 1868>

«Старая помпадурша» погрешает тем, *во-первых*, что это есть не что иное, как памфлет, написанный с целью осмеять, уязвить и опозорить личности, весьма хорошо известные в той местности, которую хотел описать автор (чуть ли не Рязанскую губер[нию]).

Во-вторых, юмористический рассказ этот тем более неудобен, что из числа лиц, опозоренных в нем, выставлены напоказ два начальника губернии под смешным названием *помпадуров* и для того, чтобы было ясно как день, что это *губернаторы*, а не какие-либо другие высокопоставленные и влиятельные губернские личности, — автор окружил их всеми губернаторскими атрибутами, как-то: полицмейстером, чиновниками особых поручений и пр., и пр., и даже назвал *Губернским* правлением место их служения.

Это заставляет меня предполагать, что ответственный редактор «Отечес[твенных] записок» de jure, то есть по закону, не сообщил Вам сущность недавно сделанного по в[ысочайшему] п[овелению] внушения всем редакторам периодических изданий.

Сущность этого внушения заключалась в приглашении гг. редакторов соблюдать в отзывах о высших административных лицах, поставленных во главе управления доверием Г[осударя] И[мператора], крайнюю осмотрительность. Нет сомнения, что к категории означенных лиц принадлежат губернаторы, так как они назначаются именными указами и большей частью (в особенности из военных) личною инициативою Е[го] В[еличества]...

Вследствие всего вышеуказанного я считаю долгом предупредить Вас, что если рассказ «Старая помпад[урша]» появится в настоящем виде (а как можно его изменить — не мое дело указывать), то статья эта будет представлена на обсуждение Совета, а что решит Совет — я не знаю.

[Без подписи]

Щедрин принял к сведению некоторые указания Феофила Толстого. Сверяя рукопись «Старой помпадурши» с текстом «Отечественных записок», мы видим, что на всем протяжении рассказа сатириком тщательно убраны *прямые* намеки на то, что помпадур — губернатор и что дело происходило в Рязани.

Так, «Олег рязанский» заменен «князем Олегом» и все должности окружающих помпадура чиновников снижены до уездных масштабов: становой заменен приказным, исправник — квартальным, а кое-где и подьячим, полицмейстер — частным приставом и проч. Вместо «глаза целого *края*» — «глаза целого *города*». Там, где в рукописи было сказано: «в губернии», — в журнале напечатано: «в командировке» и т. д.

Однако Щедрин далеко не во всем последовал советам Феофила Толстого. На стр. 115 он оставил те слова, которые цензор предлагал ему устранить: «Помпадурша» догадалась про старого «помпадура» и про нового, что «они оба — глупышки...»[1].

Следующие три письма Феофила Толстого посвящены его заметкам о музыке, которые Некрасов был вынужден помещать время от времени в «Отечественных записках». Они печатались без подписи автора: в ноябре 1868 года — «Русская опера», в декабре — «Музыкальное обозрение», в январе 1869 года — «Петербургские театры». Нельзя сказать, чтобы редакция журнала относилась с большим уважением к этим принудительным статьям. Она сокращала и правила их, стараясь хоть немного вытравить из них тот специфический дух, который был присущ фельетонным статьям Ростислава. Но, несмотря на все ее усилия, статьи эти плохо вязались с общим тоном «Отечественных записок». Так, например, в статье «Русская опера» Ф. М. Толстой по своей старой привычке рекламирует себя, сообщая читателям, что в газете «Голос» «господин Ростислав» дал совершенно верную оценку оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», а в «Музыкальном обозрении», рассуждая о трех артистках, исполнявших заглавную роль в оперетте «Прекрасная Елена», отмечает с меланхолическим вздохом, что «тип русской кокотки еще не выработался, чему причиной сильная конкуренция на этом поприще иностранок — главным образом француженок и немок»[2].

Все это было в таком вопиющем противоречии с традициями обоих журналов Некрасова, что только крайней необходимостью поддержания деловых связей с влиятельным цензором можно

[1] Ср. текст «Старой помпадурши» в «Отечественных записках» (1868. № 11) с текстом этого рассказа в Полн. собр. соч. М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина). Т. 9. Л., 1934.

[2] «Отечественные записки». 1868. № 12, с. 343.

объяснить появление столь неподходящих статей на страницах «Отечественных записок». Некрасов переделывал и урезывал эти статьи, пытаясь придать им хотя бы нейтральный характер, что всякий раз вызывало бурные протесты со стороны Феофила Толстого, на которые, как явствует из публикуемых писем, Некрасов не обращал никакого внимания.

Но долго выдерживать один и тот же стиль в отношениях к людям Феофил Толстой никогда не мог, именно в силу шаткости своего положения, и в следующем же письме его укоризненный и жалобный тон сменяется развязно-игривым.

Начало лета 1869 г.

Я не понимаю, какая кошка пробежала между нами, любезнейший и драгоценнейший Николай Алексеевич!

Три раза был я у Вас — и каждый раз просил сказать Вам, что очень желательно с Вами повидаться. Но увы! Ни ответа, ни привета нет от Вас!

Чем тебя я огорчила,
Ты скажи мне, ангел мой!

Я уже собрался положить эти стихи на новую музыку и препроводить к Вам вместо послания, но сообразил, что, вероятно, никто из Ваших сотрудников не занимается презренною музыкою и не сумеет пропеть гениального моего сочинения.

Вот зачем я так настойчиво посещал Вас. Помимо удовольствия повидаться с Вами и перекинуться словечком-другим, я хотел узнать, что такое приключилось с известной Вам рукописью.

Птенец мой беспокоится. Авторское его самолюбие жестоко страдает. Первый труд дорог авторскому сердцу, и жаль видеть огорчение (притом совершенно напрасное) молодого человека.

Куда же в самом деле могла деваться рукопись?..

Ваш *Ф. Толстой*

Очевидно, после вторичного и окончательного отказа Некрасова напечатать повесть «Недоразумение» в «Отечественных записках» Ф. Толстой, вопреки своему заявлению, что он считает это дело «поконченным», вновь обратился к Некрасову, прося его посодействовать напечатанию рукописи хотя бы у С. В. Звонарева. Не здесь ли объяснение развязного тона, которым проникнуто это письмо?

1869 год оказался периодом наиболее близких деловых отношений Феофила Толстого с Некрасовым, когда он действительно

мог притязать на некоторое благорасположение поэта, так как именно с этого времени окончательно сделался его послушным агентом по охране «Отечественных записок» от всяких цензурных напастей. Из месяца в месяц на всех заседаниях Совета он выступает защитником каждой книги журнала, в качестве официально приставленного к нему наблюдателя.

Когда, например, цензор Лебедев возбудил вопрос о судебном преследовании октябрьской книги журнала, где Г. З. Елисеев в обширной статье требовал хотя бы частичного освобождения печати от цензурного гнета, Феофил Толстой заявил в своем отзыве:

«...Непоследовательные разглагольствования автора означенной статьи никакого вреда принести не могут»[1].

В 1869 году он не только не повторяет своих прошлогодних указаний на преемственную связь обновленных «Отечественных записок» со *страшнопамятым* «Современником», но, напротив, указывает, вопреки очевидности, что связь эта уже порвалась: «В отзывах моих за прошлый год <...> я находил, что в «Отечественных записках» начинало в то время проглядывать тесное их родство с бывшим «Современником». В текущем году сатирический тон <...> уступил место более сдержанному направлению»[2].

Это было сознательным искажением истины, так как именно в 1869 году «Отечественные записки» стали гораздо смелее в пропаганде революционных идей, — и можно не сомневаться, что это показание в пользу журнала было дано Феофилом Толстым по внушению Некрасова и Щедрина.

С тем же неослабным усердием исполнял он в 1869 году и обязанности домашнего цензора «Отечественных записок», просматривая корректуры каждой книги и заранее предупреждая редакцию о необходимости изъять или ослабить наиболее опасные места печатавшихся там произведений.

Иногда для прикрытия своей двойной игры Ф. Толстой выступал в Совете с выпадами против той или иной слишком «задорной» статьи, напечатанной в «Отечественных записках», но тут же сообщал по секрету тем, против кого выступал: «Есть повод надеяться, что заявление мое не поведет к каким-либо карательным мерам».

При этом он старался услужить не только Некрасову и Щедрину, но и владельцу «Отечественных записок» Краевскому, который, отдав свой журнал в аренду революционно-демократиче-

[1] «Литературное наследство». 1946. Т. 49–50, с. 482.
[2] Т а м ж е, с. 483.

ской «партии», старался, по мере возможности, обезопасить его при помощи неофициальных сношений с влиятельными представителями цензуры, в том числе и с Феофилом Толстым.

За все эти немаловажные услуги Феофил Толстой получил возможность печатать свои заметки о музыке в двух наиболее влиятельных органах: в «Отечественных записках» и в газете Краевского «Голос».

Но настал 1870 год, и отношения опять изменились.

В феврале этого года Феофил Толстой писал Некрасову:

«...Ваш сотрудник по части общественных дел человек умный, но уж больно задорный. На странице 371 он провозглашает, например: за то, что дашь оплеуху, всегда можно рассчитывать на *повышение*, и что, получив затрещину по лысине, можно занимать какую хочешь должность, хоть *предводительскую*.

Советую Вам перечитать внимательно статью о Герцене. Тут столько *скрежета зубовного* и такое *прозрачное преклонение* перед авторитетом *великого человека*, что навряд ли это пройдет даром «От[ечественным] зап[искам]»...

Ф. Т.»

В этом письме Толстой привлекает внимание Некрасова к двум местам ежемесячной хроники Демерта «Наши общественные дела», где под рубрикой «Судьи — драчуны и самодуры» было, между прочим, напечатано следующее: «...оставаться на службе неудобно лишь тому из дерущихся, который получил пощечину, а тот, кто сам задает другим оплеухи, всегда может рассчитывать на повышение».

Против этой-то фразы и ополчился Ф. Толстой. Но Некрасов не принял во внимание его указаний: она полностью сохранилась в журнале[1].

Второе указание было более серьезно,— и редакция «Отечественных записок» не могла не считаться с ним. В той же общественной хронике Демерт попытался отметить недавнюю кончину Герцена. Либеральная и реакционно-охранительная печать откликнулась на это событие рядом статей, пытавшихся опорочить и снизить политическое значение великого революционера. Газеты изобразили его неплохим беллетристом, зря истратившим свое дарование на бесплодные революционные «бредни». Против этих пошлых некрологов и выступил в своем февральском обозрении Демерт. Очевидно, вначале его выступление было гораздо более резким, о чем свидетельствует типографская внеш-

[1] Отечественные записки». 1870. № 2, с. 371.

ность статьи: страницы 375 и 376 напечатаны разгонистее, чем все остальные, — в них сделаны какие-то купюры, должно быть, те самые, на которые указывал Ф. Толстой в вышеприведенном письме. «Преклонение перед авторитетом великого человека» было очень густо затушевано; осталась лишь такая концовка: «Каждый мыслящий и не боящийся высказать правду человек очень хорошо знает, что покойный Герцен представляет собой не только замечательного беллетриста, но просто исторический факт, которого впоследствии обойти будет невозможно».

Особенно много усилий пришлось потратить Феофилу Толстому для спасения октябрьской книги журнала за 1870 год, так как сам начальник Главного управления по делам печати свиты е[го] в[еличества] генерал-майор М. Р. Шидловский нашел в этой книге несколько «вредных» статей и вознамерился объявить «Отечественным запискам» предостережение. По этому поводу Феофил Толстой писал Некрасову:

<23 октября 1870 г.>

Сегодня по представлению Ц[ензурного] комитета, сделанному на основании *грозного требования* известного Вам лица, будет решена участь 10 № «Отечественных записок».

Вчера я проработал весь день, стараясь логически доказать несправедливость нареканий. Что-то Бог даст!

Заезжайте ко мне завтра — но как *честного человека прошу Вас* никому не говорить о настоящем извещении — ни Краевскому, ни Елисееву, на Салтыкову.

Вы можете испортить все дело...

[Без подписи]

Цензурный комитет счел особенно вредными четыре произведения, напечатанные в октябрьской книге: 1) «Очерки умственного развития нашего общества 1825—1860» А. М. Скабичевского, где в подзаголовке было указано, что в одной из дальнейших глав будет дана характеристика Герцена; 2) статью Н. К. Михайловского — «Вольтер-человек и Вольтер-мыслитель»; 3) «Соловьи», стихотворение Н. А. Некрасова и 4) «Наши общественные дела» Н. А. Демерта.

Этим-то четырем произведениям и посвятил Ф. Толстой свое выступление в Совете. По поводу некрасовских «Соловьев» он сказал, что «не находит решительно ничего предосудительного» в них и что «ставить в вину поэту, что он приурочивает привольные рощицы, в которых нет для птиц ни сетей, ни силков, к таким идеальным местностям, в которых не было бы ни податей,

ни рекрутчины, — значило бы налагать тяжелую руку на поэзию вообще»[1].

Про статью Михайловского выразился, что она «неуловима для судебного преследования», про статью Скабичевского — что она «не может служить поводом для предостережения» и т. д., и в заключение указал (опять-таки в интересах Некрасова), что направление журнала было бы гораздо умереннее (!), если бы поэт был утвержден правительством в качестве ответственного редактора.

Как известно, Некрасов уже два с половиною года добивался именно этого утверждения.

В конце концов книга журнала была спасена.

Следующее письмо Феофила Толстого мы датируем 1871 годом, так как оно написано по поводу стихотворения Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы», напечатанного в январской книге 1871 года.

[Январь 1871 г.]

Зайчики твои, Некрасов,
Лучше лакомых бекасов;
Читая их, я умилился —
И даже — ужас! — прослезился!

Это, может быть, глупо, — но — увы! — несмотря на *постыдные мои старческие* лета — я впечатлителен, как ребенок.

Малейшее проявление таланта, малейший запах поэзии подмывают меня, как одного из Ваших зайчиков, в водополье.

Может, и невозможно то, что Вы рассказываете, но оторопелые Ваши зайчики так картинны, и добродушие дедушки Мазая — так трогательно, что я ощущаю непреодолимую потребность поблагодарить Вас от души.

Христос с Вами и да избавит он Вас от предостережений и других напастей.

[*Без подписи*]

Человек, который, любуясь собою, именует себя «впечатлительным, как ребенок», тем самым свидетельствует, как он далек от ребячества. Характерно, что Лев Толстой при одной из первых встреч с Ростиславом тоже приписал ему детскость. «Он милая, детски мелкопоэтическая натура», — записал Лев Николаевич о нем в дневнике. Впрочем, он уже через неделю переменил свое мнение:

[1] «Литературное наследство». 1946. Т. 49–50, с. 4.

«Приехал Ф. Толстой, сукин сын!»[1]

Прошло несколько месяцев после слащавого послания о зайчиках, и Ф. Толстой стал снова навязывать «Отечественным запискам» чуждый им литературный материал: на этот раз — повесть «Светские люди» молодого автора Бутенева.

Как видно из печатаемого ниже письма, он начал с того, что заставил поэта выслушать несколько отрывков этой повести. Вскоре Некрасов уехал в Карабиху (писать первую часть «Русских женщин») и там получил от Феофила Толстого такое письмо:

<21 июля 1871 г.>

Неделю тому назад я писал Вам, что *известная Вам повесть* окончена, и просил Вас изыскать способ препроводить тысячу руб., так как молодой автор намерен в начале августа предпринять весьма интересное путешествие в *голодающую Персию*, при условиях и обстановке, которые в другой раз и не встретятся, возможно...

Вы неоднократно убеждались на деле, что художественный *чух* и литературный такт развиты у меня как нельзя больше. Вы это говорили мне неоднократно. Так поверьте мне и на этот раз. Повесть, которую Вы приняли «buona fida»◊, только на веру, вышла действительно весьма удачна. В ней мастерски очертаны такие личности, которые еще не появлялись в современной печати.

Это не те *светские люди*, которых выставлял Соллогуб, Панаев и tutti quanti◊◊. Нет! — это люди нашего времени, то есть люди, которые *волею-неволею* окрасились демократической краснотою, как окрашивается кусок белой материи, полежавший долго в одном сундуке бок о бок с куском красной материи...

Вследствие всего вышесказанного, я смело скажу, что Вы будете раскаиваться, если эта повесть не попадет в «Отечественные записки».

Ф. Толстой

Некрасов ничего не ответил.

Через несколько дней Ф. Толстой обратился к нему с новым письмом, где, в качестве нового довода в пользу печатания «Светских людей», указал на... необходимость вырвать их автора из

---

[1] *Л. Н. Толстой.* Полн. собр. соч. Т. 47. М., 1937, с. 108 и 110; Дневник за 1857 г. от 3 и 9 января.

◊ Добросердечно *(итал.)*.

◊◊ Все подобные (*итал.*).

«холодных объятий пустозвонного бомонда», — как будто «Отечественные записки» издавались Некрасовым для такой благотворительной цели!

Свидание с Некрасовым, которого добивался в этом письме Ф. Толстой, не могло состояться, так как поэт все еще находился в деревне, где усиленно работал над «Русскими женщинами».

За две недели до того, как было написано это письмо, с Феофилом Толстым приключилось одно пренеприятное событие, которое сыграло печальную роль в его служебной и литературной карьере.

6

Началось это событие с того, что тогдашний начальник Главного управления по делам печати Шидловский уехал за границу в отпуск и, пока он не вернулся из отпуска, Ф. Толстой был поставлен во главе управления и, по его собственным словам, оказался «калифом на час». Конечно, издатель газеты «Голос» Краевский поспешил воспользоваться этой временной властью своего ближайшего сотрудника и выхлопотал у него одну немаловажную льготу, которая в журнальных кругах вызвала всеобщую зависть: благодаря Феофилу Толстому газета «Голос» получила возможность печатать отчеты о происходившем тогда «нечаевском деле» на целые сутки раньше, чем некоторые другие газеты, что, конечно, принесло Краевскому немалую прибыль. Эта привилегия до такой степени возмутила редактора «Биржевых ведомостей» Трубникова, что он напечатал в своей газете передовую статью, открыто обличавшую Феофила Толстого в корыстном покровительстве «Голосу».

«Пост г. Шидловского, — писал в этой статье Трубников, — заняла временно личность, в мире литературном довольно хорошо известная в качестве сотрудника одной из петербургских ежедневных газет и еще более имевшая случаев приобрести известность в мире музыкальном под псевдонимом Ростислава...»

Дальше, прикрываясь вопросительной формой, автор выступает против Ф. Толстого с таким обвинением: «Не перейдет ли желаемая общая близость известного лица к литературе а *одностороннее* покровительство которому-нибудь одному из ее органов (то есть «Голосу». — *К. Ч.*), и удобно ли вообще в одно и то же время занимать пост управляющего делами печати и считаться со-

трудником какой-либо газеты, то есть пользоваться от нее известными материальными благами?»[1]

Главное управление по делам печати тотчас же заставило редакцию «Биржевых ведомостей» напечатать официальное опровержение этой статьи Трубникова[2]. Но тот не угомонился и на другой день выступил с новой передовицей (столь же обширных размеров), где полностью поддерживал свое обвинение «в кумовстве канцелярии Главного управления по делам печати с редактором известной газеты»[3].

Таким образом, вокруг имени Феофила Толстого разыгрался громкий скандал, и в скандал этот по его же вине оказалось втянутым и то учреждение, которое было временно доверено его руководству. Можно себе представить, как велика была ярость Шидловского, когда до него дошли сведения, что возглавлявшееся им учреждение в его отсутствие было скомпрометировано Ф. Толстым.

И, как нарочно, эта шумиха возникла в то самое время, когда Ф. Толстой, пользуясь служебным своим положением, собирался опять совершить точно такой же поступок — навязать Некрасову «Светских людей»: в самый разгар скандала он, как явствует из печатаемого ниже письма, настаивал на скорейшем напечатании «принудительной» повести. Но, конечно, разоблачения Трубникова побудили его к сугубой осторожности. Все письмо проникнуто боязнью, как бы кто не проведал о том, что он, Феофил Толстой, имеет касательство к напечатанию повести Бутенева.

<14 августа 1871 г.>

Для соблюдения строгого *инкогнито* — деньги у Звонарева получены под расписку приятеля г. Бутенева...

Корректур отнюдь ко мне не присылать, иначе в типографии тотчас протрубят об этом...

Ф. Толстой.

Конечно, «Феофилка» и прежде старался сохранять втайне литературные взятки, которые он вымогал у редакции «Отечественных записок». Даже расписываясь в получении гонорара за свои собственные статейки о музыке, он отмечал, что гонорар предназначен для какого-то другого лица. Одна из подобных расписок находится сейчас предо мною:

---

[1] «Биржевые ведомости». 1871. № 192.
[2] «Биржевые ведомости». 1871. № 194.
[3] Там же, № 195.

«Девяносто четыре рубля за статью, помещенную в ноябр[ьской] книжке О[течественных] з[аписок] под названием «Русская опера», приняты мною для доставления автору.

Ф. Толстой. 17-го октября».

Но теперь, после разоблачительных статей Трубникова, он удвоил свою осторожность и принял меры, чтобы даже типография не заподозрила его особой заинтересованности в напечатании повести «Светские люди».

Характерно, что, вымогая у Некрасова и Краевского литературные взятки, навязывая им свои и чужие писания, которые они печатали лишь потому, что он был представителем власти, он, двурушник, пытался убедить и себя и других, при помощи всевозможных софизмов, что он — человек неподкупный, бескорыстно и даже самоотверженно служащий интересам «родного слова».

«Должен признаться, что в литературном деле я разыгрываю роль Дон-Кихота», — писал он Краевскому в 1869 году[1].

Теперь это «донкихотство» было выведено Трубниковым на чистую воду. Правда, Краевский сделал было слабую попытку, защищая свою газету от нападок «Биржевых ведомостей», выгородить и Феофила Толстого: в ближайшем же номере «Голоса» в отделе столичной хроники один из фельетонистов газеты высмеял неудачника Трубникова, — причем, неизвестно, на каком основании сравнил его с нимфой Калипсо, державшей в плену Одиссея, — и в заключение прибавил двусмысленную и очень невнятную фразу: «Быть может, именно тому обстоятельству, что ныне <...> пост начальника управления по делам печати временно занимает лицо, само потрудившееся на литературном поприще, русская печать обязана заботливостью об интересах газетных редакций»[2].

Это возражение не отвечало на главный вопрос: почему же «заботливость» Феофила Толстого простиралась только на те из газетных редакций, где он получал гонорар?

Под влиянием неудач и обид, связанных с разоблачениями Трубникова, Ф. Толстой написал Некрасову большое письмо, полное упреков и жалоб. Этот продажный чиновник цензурного ведомства и в самом деле ощущал себя праведником, страдавшим за свои добродетели.

Из следующего письма, написанного неделю спустя, мы убеждаемся, что поэт, в силу неизвестных нам причин, согласился на-

[1] «Литературное наследство». 1946. Т. 49–50, с. 480.
[2] «Голос». 1871. №№ 197 и 199.

печатать в своем журнале навязанное ему Ф. Толстым произведение.

Статья Скабичевского, о которой идет речь в письме, в свое время так и не увидела света. Статья эта представляла собой главу обширного труда, печатавшегося под заглавием «Очерки умственного развития нашего общества» во многих книжках «Отечественных записок». Глава была посвящена Герцену. Несмотря на то, что Феофил Толстой считал возможным напечатать эту главу, она была вырезана цензурой; впоследствии из-за этой главы погибло отдельное издание названного труда Скабичевского.

1 сентября 1871 г.

...Шид[ловский] уверяет, что он *никому никаких указаний* насчет статьи (Скабичевского о Герцене. — *К. Ч.*) не делал и что во всяком случае *арестует книжку*, если в ней будет хоть одна строка, лично принадлежащая перу *государственного преступника*.

Вот его слова. Что касается до меня, то я нахожу возможным напечатать статью с исключением в 5 форме выписки из Герцена и с исключением окончания, где упоминается о Герцене как о политическом деятеле.

Это прискорбно, но необходимо.

При соблюдении мною указанного, книжку нельзя будет арестовать, потому что отдача под суд немыслима, а если Ш[идловский] потребует предостережения, то это докажет только справедливость поговорки: «Ндраву моему не препятствуй...».

Если вы решаетесь печатать «Светские люди», не ознакомившись с повестью основательно, пусть будет так. По крайнему моему убеждению, повесть эта не может повредить «От[ечественным] зап[искам]».

Ф. Т.

Перед тем как напечатать повесть «Светские люди», Некрасов прочитал ее в гранках и вычеркнул кое-какие места. Это вызвало следующие возражения со стороны Ф. Толстого:

Сентябрь – октябрь 1871 г.

...Я, конечно, доверяю Вашему вкусу в поэтических произведениях, но доверяю также и собственному своему *чутью*, так как исписал сотни страниц прозы и перечитал в подлиннике всю фран[цузскую], английскую, немецк[ую] и итальянскую беллетристику.

Повторяю — делайте что угодно.

P. S. Ничего еще не знаю насчет нашего дела, но отрешение мое от наблюдения уже послал.

Постскриптум к этому письму означает, что, во избежание дальнейших кривотолков, связанных с разоблачением Трубникова, Феофил Толстой (быть может, по совету Некрасова) обратился к начальнику цензурного ведомства с просьбой освободить его от официального наблюдения за «Отечественными записками». И все было бы хорошо, но тут над Феофилом Толстым стали сгущаться тучи.

Началось с того, что 11 октября 1871 года в министерстве внутренних дел было получено секретное письмо шефа жандармов и начальника Третьего отделения Н. В. Мезенцева о восьмой (то есть августовской) книге «Отечественных записок», где была напечатана статья эмигранта Варфоломея Зайцева «Очерки французской журналистики», восхваляющая «известных французских деятелей Демулена, Робеспьера и Дантона, а также Французскую революцию 1789 г.». Узнав об этом секретном письме (по всей вероятности, от В. М. Лазаревского), Некрасов обратился за помощью к Феофилу Толстому, причем, видимо, подсказал ему и те аргументы, которые он мог бы привести в защиту «злонамеренной» статьи.

Толстой выполнил инструкции Некрасова.

Октябрь 1871 г.

Я написал м[инистру][1] подробное обстоятельное письмо, в котором изложены все обстоятельства почти в том же смысле, как они изложены Вами, даже присоединил к моему письму *Ваше письмо, объяснив*, что секретов в нашем ведомстве быть не может, так как всякое слово и каждая мысль, выражаемые *по делам печати*, затрагивают интересы *интеллигенции* всей России...

В заключение прошу *как особую для меня милость* отменить постановление большинства. Ответа еще не имею.

Во второй половине письма речь снова идет о повести «Светские люди». Алексей Колосович, главный герой этой повести, влюблен в благородную красивую девушку и хочет жениться на ней, но из-за козней своей бывшей любовницы гибнет от скоротечной чахотки. Повесть печаталась в октябрьской и ноябрьской книгах «Отечественных записок». Подписана она была псевдонимом: А. Чернолесов, за которым укрылся упомянутый выше «протеже» Ф. Толстого, молодой аристократ Бутенев (воз-

[1] Министру внутренних дел Тимашеву.

можно, сын известного дипломата А. П. Бутенева). Характерно, что, видимо, в угоду направлению «Отечественных записок» Колосович изображен небогатым помещиком, «сочувствующим» идеалам шестидесятых годов. Он увлекается делом народного образования и борется за демократический, независимый суд. Вместе с тем вся повесть написана в бульварно-романтическом духе: «Глаза ее сверкнули, ноздри раздулись, и по лицу разлилось выражение ядовитой радости и злорадного торжества. Она впилась своим взглядом в Колосовича. Она пожирала его глазами, она обдавала его с ног до головы леденящею струею смертельной ненависти». Стиль этот казался особенно диким в «Отечественных записках» на фоне повестей и рассказов Салтыкова-Щедрина, Глеба Успенского, Решетникова. Нетрудно представить себе, с какой неохотой печатала редакция журнала эту «принудительную» повесть.

Впрочем, зависимость «Отечественных записок» от Феофила Толстого уже приходила к концу. Можно было не сомневаться, что после разоблачений, сделанных Трубниковым, министерство внутренних дел воспользуется первым предлогом, чтобы избавиться от скомпрометированного чиновника.

Предлог этот очень скоро нашелся.

В той же октябрьской книге «Отечественных записок», где печатались «Светские люди» Чернолесова (Бутенева), появилась сатира Некрасова «Недавнее время». В сатире были следующие «дерзкие» строки:

Впрочем, быть генерал-адъютантом,
Украшенья носить на груди —
С меньшим знанием, с меньшим талантом
Можно... Светел твой путь впереди.

(II, 334)

Этими строками был весьма уязвлен тогдашний министр внутренних дел А. Е. Тимашев, ибо он состоял генерал-адъютантом, и вся его грудь была испещрена «украшениями». На свою беду Ф. Толстой принялся слишком рьяно защищать это стихотворение в Совете, не соображая, что тем самым наносит кровную обиду министру. В своей обширной речи он указал, между прочим, что слово генерал-адъютант вставлено сюда «для стиха» (!) и «для соблюдения местного колорита» (?) и что в политическом отношении сатира Некрасова является «совершенно невинной»(?!).

Это явно инспирированное выступление Феофила Толстого, так сказать, переполнило чашу.

24 октября 1871 года министр внутренних дел написал на тех самых листах, на которых было изложено мнение «члена Совета Толстого» о «Недавнем времени» Некрасова:

«Прошу г. заведующего Главным управлением по делам печати объяснить господам членам Совета о совершенном неудобстве того способа наблюдения, которому были подвергаемы «Отечественные записки», редакция которых, как мне известно, считает себя вполне огражденной от законной ответственности, так как статьи, ею помещаемые, были предварительно одобрены членом Совета»[1].

После такой резолюции Феофилу Толстому оставалось одно — подать в отставку. И таким образом из влиятельного чиновника цензурного ведомства он сразу превратился в литературную сошку, лишенную каких бы то ни было перспектив и надежд. Ниже мы приводим письмо, в котором он извещает Некрасова о своем увольнении.

20 ноября 1871 г.

Милостивый государь
Николай Алексеевич!

Позвольте поблагодарить Вас за лестное Ваше ко мне внимание. Ноябрьский № «О[течественных] з[аписок]» вышел несколько дней тому назад, а нумера этого я еще не получил и, вероятно, не получу...

От службы по Г[лавному] у[правлению] я уволен, о чем не сожалею, так как я не мог быть при настоящих обстоятельствах полезен русскому слову.

Но глубоко сожалею о том горестном невнимании, которое оказывают мне те, для которых я наиболее трудился.

Примите уверения в сов[ершенном] почтении и преданности.

Ф. Т.

Вскоре после того, как цензурное ведомство уволило Феофила Толстого в отставку, редакция газеты «Голос», где он очень усердно сотрудничал, сообщила ему, что отныне не нуждается в его фельетонах и что вообще весь музыкально-театральный отдел передается в ведение другого лица. Этим она подчеркнула, что печатала его статьи поневоле.

Освободился от него и Некрасов. Последняя статья Феофила Толстого о музыке появилась в декабрьской книге «Отечествен-

[1] «Литературное наследство». М., 1946. Т. 49—50, с. 473.

ных записок» (в сильно исправленном виде), и с той поры сотрудничество в этом журнале стало для него недоступно.

Такова обычная судьба человека, ведущего двойную игру. Чуть только его обличат как двурушника, оба лагеря изгоняют его — и тот, которому он изменял, и тот, которому он тайно служил. Это в порядке вещей, но характерно, что Ф. Толстой, продолжая настаивать на своем бескорыстии, изобразил себя невинною жертвою людской неблагодарности и злобы. Не желая признать, что печатание его статей в «Отечественных записках» было замаскированной взяткой, он обратился к Некрасову с новым письмом.

22 декабря 1871 г.

...Насильно мил не будешь — след[овательно] если мои статьи Вам не по душе, то навязывать их не стану; но согласитесь, что при известных Вам обстоятельствах — это более чем прискорбно.

Решайте как угодно, но для меня *время дорого*, — и я прошу Вас объявить мне положительным образом: желаете ли Вы или нет моего сотрудничества на прежних основаниях, то есть с непременным условием не изменять в моих статьях то, что *не предосудительно* в цензурном отношении.

Таковых уклонений у меня нет и быть не может.

А. А. Краевский также желает отпустить меня, по-видимому. Что ж! Я так и ожидал. Лимон выжимают, а корку бросают.

Все это совершенно в духе нашего времени, но дело в том, что мне литературный труд необходим теперь, и если ни Вам, ни «Голосу» я не пригоден, то мне нужно поскорее искать, где приютиться.

Примите уверения в соверш[енном] почтении и пр[еданности].

Ф. Т.

На это письмо Некрасов ничего не ответил. Через несколько дней Ф. Толстой горько жаловался Краевскому:

«Некрасов не обратил ни малейшего внимания на покорнейшую мою просьбу уведомить меня, что от меня требуется? Что мне дозволяется и что запрещается? Покорнейшая моя просьба была передана барином (Некрасовым. — *К. Ч.*) на обсуждение г. Салтыкова, и великий Щедрин, в воздаяние трудов, понесенных мною при злосчастном моем *наблюдении* за желчными его измышлениями, которые я выносил, можно сказать, на своих плечах, — оставил просьбу мою без ответа. Он достиг своей цели, потому что, не получая ответа и не удостоившись свидания ни с

ним, ни с Щедриным, я должен считать себя отставленным от сотрудничества».

Обе отставки совпали, как причина и следствие. Только притворяясь бесконечно наивным, этот давний соратник Булгарина, враг Чернышевского, хулитель Решетникова и Глеба Успенского мог изображать дело так, будто он и вправду не догадывается, по какой причине ему давали «приют» в журнале Щедрина и Некрасова...

Публикуемые письма по-новому освещают для нас кое-какие особенности той сложной и гибкой тактики, при помощи которой Некрасов проводил в подцензурную прессу идеи своей революционно-демократической «партии» и долгие годы сохранял ее печатные органы.

С необычайной полнотой и наглядностью они открывают нам в образе Феофила Толстого, каковы были те представители цензурного ведомства, с которыми Некрасову приходилось поневоле общаться в интересах своего великого дела.

1946

1

Едва только Некрасов скончался, одна из одесских газет опубликовала в качестве его неизданного произведения большой стихотворный отрывок, который начинался такими словами:

Горы (?) да поляны — бедная природа!
Сторона — могила мертвого народа[1].

Другие газеты перепечатали новонайденный текст, и через год он был без всяких оговорок введен в посмертное издание стихотворений Некрасова[2].

Между тем Некрасов никогда не писал этих клеветнических стихов о России. Их написал Михаил Розенгейм, бесталанный сочинитель убогих либеральных сатир, высмеянных в свое время Добролюбовым. В газетах тогда же появились разоблачения этой фальшивки, причем обнаружилось, что редактор ошибся вдвойне, ибо у Розенгейма не «горы», а «боры»:

Боры да поляны — скудная природа![3]

Так неудачно начались разыскания в области неопубликованных некрасовских текстов.

Продолжались они столь же неудачно. В восьмидесятых годах на страницах такого, казалось бы, авторитетного органа, как «Русский архив», появилось другое новонайденное стихотворение Некрасова. Оно начиналось словами:

Заздравный кубок поднимая, —

и было безапелляционно объявлено тем застольным экспромтом, с которым Некрасов якобы обратился к М. Н. Муравьеву[4]. Эта

[1] «Правда». 1878. № 2.
[2] «Стихотворения Н. А. Некрасова». Т. IV. СПб., 1879, с. 118.
[3] «Голос». 1879. № 55.
[4] «Русский архив». 1885. № 6, с. 202—203.

публикация долго пользовалась полным доверием исследователей[1]. Лишь в наше время Б. Я. Бухштабу удалось обнаружить, что автор этих стихов не Некрасов, а один из приближенных к Муравьеву чиновников[2].

Позже, в девяностых годах, тот же «Русский архив» опубликовал в качестве «неизвестного» текста такое стихотворение Некрасова, которое было известно в печати с 1854 года, причем публикатор (Валерий Брюсов) приписал это стихотворение Ф. И. Тютчеву[3].

Словно не желая отстать от «Русского архива», другой исторический журнал того времени — «Русская старина» — опубликовал самодельные вирши некоего генерала Вениамина Асташева и выдал их за неизданное стихотворение Некрасова[4*].

Третий исторический журнал, «Голос минувшего», как будто соревнуясь со своими коллегами, напечатал стихотворение Добролюбова «Дума при гробе Оленина» и объявил, что его автор — Некрасов и что оно называется «На смерть Николая I»[5].

Ошибки эти чрезвычайно характерны для исторических журналов той эпохи. Редакторы не несли ни малейшей ответственности за достоверность своих публикаций, и потому доверяться этим публикациям было опасно. Правда, иные тексты воспроизводились с безукоризненной точностью, но то была счастливая случайность, ибо ничто не мешало им оказаться фантастикой.

Вообще не было организовано никакого контроля над тем самотеком, который печатался в этих изданиях. В разное время по разным поводам «Русская старина» сообщила семь разнородных фактов, относившихся к биографии Некрасова: из них два были подлинной правдой, а пять оказались ложью. Редактору было бы очень легко эту ложь обнаружить, если бы он дал себе труд проверить свои публикации по материалам, опубликованным ранее. Но у него не было ни склонности к такому труду, ни научных навыков, ни достаточного уважения к читателю. Он был публикатор — и только. Собиратель всякой всячины, а какой безразлично, хотя бы то была самая никчемная рухлядь. Такое равнодушие к сообщаемым текстам — одна из наиболее заметных особенно-

---

[1] См., например: *Ч. Ветринский* (В. Е. Чешихин). Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников и проч. Под редакцией А. Е. Грузинского. М., 1911, с. 280—281.

[2] «Каторга и ссылка». 1933. № 12.

[3] «Русский архив». 1899. № 12, с. 603. Новооткрытым стихотворением Тютчева оказалось стихотворение Некрасова «Четырнадцатое июня 1854 г.» («Великих зрелищ, мировых судеб...»).

[4] «Русская старина». 1912. Кн. 2, с. 464.

[5] «Голос минувшего». 1917. № 5—6, с. 60.

стей тогдашних редакторов. Публикуются, например, два стихотворных послания, одно из которых есть явный ответ на другое. Стоило хотя бы бегло прочитать оба текста, чтобы убедиться, что это переписка двух лиц. Но публикатор не считал себя обязанным вдумываться в их содержание и печатал оба как «стихотворения Некрасова», хотя, конечно, невозможно представить себе, чтобы Некрасов состоял в переписке с собою: сам отвечал себе на свои же послания[1].

Напрасно мы вместе с покойным А. А. Измайловым доказывали редактору*, напечатавшему эти стихи, что не мог же Некрасов писать письма себе самому! Редактор даже как будто обиделся, что мы приглашаем его размышлять.

Такая система не раз приводила к самым скандальным ошибкам. В журнале «Минувшие годы» беллетрист Боборыкин, вспоминая свою молодость, поведал читателям, будто он видел своими глазами в «Современнике» Некрасова похабные кабацкие вирши, которые тут же и воспроизвел слово в слово[2]. Реакционная печать завопила: «вот до каких безобразий доходили журнальные нравы в эпоху пресловутых шестидесятых годов!» А через несколько дней обнаружилось, что, конечно же, в «Современнике» не было этих пакостных виршей и что Боборыкин, говоря деликатно, ошибся. Замечательно, что редакция «Минувших годов» даже не слишком сконфузилась, когда ее вывели на чистую воду, ибо, повторяю, все это было в порядке вещей.

Так обстояло дело в наиболее серьезных журналах, руководимых такими историками, как Михаил Семевский, Петр Бартенев, проф. А. А. Кизеветтер.

А если взять, например, «Щукинские сборники», там дело обстояло еще хуже. Составители этих сборников даже как будто щеголяли отсутствием всяких попыток проанализировать публикуемый текст, удостовериться в его неподдельности и дать читателю ключ для его понимания.

Поскольку дело идет о литературных явлениях прошлого, названным дореволюционным изданиям нынче соответствует «Литературное наследство», издаваемое Академией наук СССР. Стоит развернуть любой из его монументальных томов (а их вышло уже больше семидесяти) — о Гете, о Пушкине, о Лермонтове, о Белинском, о Грибоедове, Герцене или о том же Некрасове,— чтобы убедиться нагляднейшим образом, какие огромные здесь произошли перемены. То, что было дилетантщиной, стало наукой. Редакторам этих замечательных сборников (И. Зильберштейну и

[1] «Русская старина». 1912. Кн. 2, с. 464; «Речь». 1913, от 16 февраля.
[2] «Минувшие годы». 1908. № 11, с. 148—149.

С. Макашину) нисколько не свойственна роль архивариусов, слепо, без всякой проверки регистрирующих всякий документ.

Прежде чем предложить читателю какой-нибудь новонайденный текст, они, при содействии крепко слаженного коллектива ученых, подвергают этот текст самой скрупулезной проверке по всем параллельным мемуарно-архивным источникам, и таким образом читателю обеспечена максимальная гарантия точности каждого из публикуемых текстов.

Я не говорю, что эта точность всегда абсолютна. И здесь встречаются порою погрешности, но, во-первых, их в тысячу раз меньше, чем в тех изданиях, о которых я сейчас говорил, а во-вторых, среди них уже не встречаешь таких чудовищных ошибок и промахов, какие, как мы только что видели, были заурядным явлением в литературной практике старого времени.

Умственная лень, полузнайство, кустарщина, безответственность, равнодушие, халатность, в той или иной степени присущие прежним изданиям подобного рода, сменились здесь научным анализом текста, пытливым стремлением вникнуть в его содержание, выяснить все обстоятельства, при которых этот текст создавался, и дать его воспроизведение в том варианте, который наиболее соответствует авторской воле.

Нынче ни одному литературоведу уже нельзя обойтись без этих замечательных книг. Они представляются мне образцом для всех нас, работающих над текстами классиков, высочайшим достижением советской историко-литературной науки.

Ни одна серьезная работа о творчестве и жизни Некрасова уже немыслима без изучения трех тысяч страниц, посвященных ему «Литнаследством» (тома 49—51). То же нужно сказать о Рылееве, Раевском, Кюхельбекере, братьях Бестужевых, многие произведения которых впервые стали достоянием науки в трех «декабристских» томах той же серии (том 59-й и двойной 60-й). О творческом подвиге Николая Бестужева, декабриста-художника, написавшего целую галерею портретов своих товарищей по каторге и ссылке, мы вряд ли знали десятую долю того, что поведал нам в одном из этих «декабристских» томов основатель «Литнаследства» И. С. Зильберштейн.

В каждом из этих томов такая атмосфера научной пытливости, доскональ ного знания, о какой и мечтать не могли прежние публикации этого рода.

Три тома (61-й, 62-й, 63-й), посвященные Герцену и Огареву, опровергли столько неверных суждений о них, уточнили столько фактов и дат, исправили столько ошибок, накопившихся в прежних исследованиях, что теперь, после выхода этих томов, многие прежние работы об Огареве и Герцене (и раньше всего 22-том-

ное издание сочинений Герцена под редакцией Лемке) сразу стали казаться хаотическими, недостоверными, шаткими.

Научное мировоззрение, проникшее во все области нашей культуры, не могло не отразиться и на этом участке литературной работы.

Напомню об издании классиков, осуществленном в последние годы Гослитиздатом и Академией наук. Сомнительны, невнятны и сбивчивы были прежде изданные тексты Тургенева, Гончарова, того же Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Слепцова, Глеба и Николая Успенских, не говоря уже о Пушкине, Грибоедове, Гоголе, Лермонтове. Не мудрено, что советский читатель начисто отверг эти издания, — все до единого, — отказался изучать по ним своих любимых писателей и потребовал новых, научно установленных, научно проверенных текстов. Отсюда такие великие памятники советской текстологии, как 90-томное Полное собрание сочинений Толстого, 20-томное Полное собрание сочинений и писем Чехова, академическое издание Пушкина и т. д.

Даже количественно прежние издания классиков были убоги: три четверти (целых три четверти!) литературного наследия Некрасова лежали под спудом, не доходя до читателей. Из сочинений Салтыкова-Щедрина до читателей доходило только две трети.

Достаточно прочитать любой том основанной Горьким «Библиотеки поэта», будут ли то стихи Кюхельбекера, Огарева, Минаева, Курочкина или Тютчева, Фета, Полонского, Константина Случевского, Александра Блока, Бориса Пастернака, чтобы понять, в чем состоит та система работы над литературным наследием, которая по праву может назваться советской.

Редактор каждого из этих томов лишь в силу инерции именуется здесь его «составителем», «подготовителем текстов» — термины глубоко неверные, предполагающие механичность, ремесленность работы, между тем как на самом-то деле редактор в нашем литературном быту есть творческий работник, изыскатель, исследователь, посвятивший себя многолетнему, комплексному изучению писателя, которого он редактирует. Он знает и социальную и личную биографию этого автора, ему всесторонне известна эпоха, когда тот жил и творил, он с самою щепетильною тщательностью воспроизводит, а иногда и воссоздает его канонический текст, для чего — как, например, в случае с Фетом и Тютчевым — потребовались изощренные лабораторные методы, так как эти тексты дошли до нас в недостоверной редакции, искаженной посторонним вмешательством. Работу над текстами Фета и

Тютчева очень тонко, с большим литературным чутьем произвел талантливый ленинградский ученый Б. Бухштаб.

Наиболее показательна в этом смысле судьба стихотворений Некрасова. Истерзанные царской цензурой, они вскоре после смерти поэта попали в руки каких-то барышников, которые сорок лет, вплоть до советской эпохи, печатали их с отвратительной, я сказал бы — преступной неряшливостью. Такому посмертному поруганию не подвергался еще ни один из наших великих писателей. Не было в России поэта — большого или малого, — книги которого в течение столь долгого времени печатались бы в таком исковерканном виде. Дело дошло до того, что, например, в одиннадцатом издании некрасовских книг* стихотворение «Сеятелям» было озаглавлено «Деятелям», вместо «стон» напечатано — «сон», вместо «грозы» — «грезы», вместо «кусточек» — «кусочек», вместо «селение» — «соление», вместо «поженки» — «ноженки», вместо «обграют» — «обгреют» и т. д., и т. д., и т. д.

У Некрасова, например, было сказано о покончившем с собою извозчике:

Над санями под навесом
На вожжах *висел*.

А в тринадцатом издании* читаем:

Над санями под навесом
На вожжах *сидел*[1].

Кощунственное глумление над великим поэтом происходило у всех на глазах. Но ни у кого из нас не было ни малейшей возможности положить этому глумлению конец. В самом деле, что же мы могли предпринять? Обличать издателей? Печатать протесты? Апеллировать к общественному мнению? Все это было бесплодным занятием. В 1907 году «Известия Академии наук» указали на недопустимость таких цинически неряшливых изданий. В том же году выступил с таким же протестом стихотворец П. Я. (Л. Мельшин) в брошюре, посвященной Некрасову. Но это ни к чему не привело. Издатели стали еще бесшабашнее. Не обуздала их и моя статья на эту же тему «Искалеченный Некрасов», напечатанная в одной из тогдашних газет[2]. Пренебрежительно отнеслись они к требованию освободить хоть некоторые тексты поэта от тех ис-

[1] См. мое предисловие к однотомнику «Стихотворения Н. А. Некрасова». Пг., 1920.

[2] Известия II отделения Академии наук. Т. XII. 1907. Кн. 4, с. 256–257; *Л. Мельшин* (П. Я.). Н. А. Некрасов. СПб., 1907, с. 95 и след.; *К. И. Чуковский*. Искалеченный Некрасов. — «Речь». 1913. № 34, от 4 февраля.

кажений, которые внесла в них цензура. К тому времени многие стихотворения уже стали цензурными, но издатели, ради угождения властям, сохраняли давно забытые запреты цензуры семидесятых годов и на основании этих старинных запретов не включали в его книги такие произведения, как, например, поэма «В. Г. Белинский», «Вчерашний день, часу в шестом», «На смерть Шевченко», «Смолкли честные, доблестно павшие», «Что нового?», «Путешественник» и многие другие.

Когда Октябрьская революция освободила Некрасова от произвола черносотенных издателей, в 1918 году Наркомпрос постановил издать новое, раскрепощенное издание стихотворений поэта, где были бы заполнены цензурные бреши и дан строго проверенный текст. Редактировать новое издание было поручено мне, и я, в меру своих сил и умений, попытался выполнить эту задачу. Но сил и умений у меня было тогда очень мало, ибо в ту пору я не успел еще выработать те строго научные принципы, которые необходимы для подобных трудов. Приходилось идти ощупью, наугад, без всякой сколько-нибудь точной и определенной системы. Правда, в проредактированный мною однотомник, вышедший в 1920 году*, было внесено около трех тысяч стихов, не входивших в прежние издания; равным образом здесь было заполнено изрядное количество цензурных пробелов. Но из-за отсутствия принципиальных установок многие текстологические проблемы были решены здесь неправильно, и мне потребовалось тридцать четыре года дальнейших трудов в той же области, чтобы полностью осознать те непреложные принципы, которыми надлежит руководствоваться при воссоздании подлинных текстов Некрасова. Эти-то принципы мне и хотелось бы сформулировать возможно точнее, так как они кажутся мне обязательными для всех, кому придется работать в дальнейшем над текстами великого поэта.

2

Раньше всего необходимо с самого начала отметить, что не существует единого универсального метода, при помощи которого мы могли бы огулом решить все связанные с этой работой проблемы.

Некоторые из них приходится решать в индивидуальном порядке, всякий раз соображаясь с обстоятельствами, присущими данному конкретному случаю. Иногда, как мы ниже увидим, от текстолога требуется применение тонких и сложных приемов.

Но об этих случаях будет речь впереди. А теперь нам, в первую очередь, конечно, удобнее всего рассмотреть самые легкие,

простые, элементарные случаи, не вызывающие ни сомнений, ни споров, — и лишь потом, постепенно, в порядке возрастающей трудности, перейти к более запутанным.

Таких элементарных случаев было немало. Очень часто задача сводилась к тому, чтобы, найдя в каком-нибудь частном архиве неизвестную некрасовскую рукопись, выделить в ней запрещенные цензором строки и заполнить этими строками пробелы, зияющие в текстах дореволюционной эпохи.

Закономерность подобных поправок была в большинстве случаев вполне очевидна и не подлежала сомнению. Все здесь сводилось к самой незамысловатой, бесхитростной реставрации стихов, уничтоженных царской цензурой.

Если, например, во всех дореволюционных изданиях стихотворение «Молебен» печаталось в таком искалеченном виде:

Внемли моление наше сердечное
О послуживших ему... —

после чего следовали цензурные точки, обозначавшие пропуск:

. . . . . .
. . . . . —

было ясно, что на основе новонайденных некрасовских текстов эта строфа должна быть напечатана так:

Внемли моление наше сердечное
О послуживших ему,
Об осужденных в изгнание вечное,
О заточенных в тюрьму.

(II, 402)

Иначе эту строфу и невозможно печатать. Здесь единственно правильный ее вариант.

Таковы же новые, долго остававшиеся в неизвестности строки, внесенные в сатиру Некрасова «Отрывки из путевых записок графа Гаранского». Больше полувека эти отрывки печатались так:

Вот памятное место,
Тут славно мужички расправились с одним.
«А что?» . . . . . .

Ответ на этот вопрос не дошел до читателей, так как дальше опять-таки следовали цензурные точки.

Теперь мы получили возможность заменить эти точки стихами:

«А что?» — Да сделали из барина-то тесто. —
«Как тесто!» — Да в куски живого изрубил
Один мужик...
и т. д.

(I, 96)

Восстановление этих запрещенных цензурой стихов но встретило никаких возражений.

Иногда в борьбе за канонические тексты Некрасова приходилось опираться не на рукопись, а на достоверные, вполне авторитетные копии. Здесь тоже не было материала для разногласий и распрей. Н. Ф. Анненский предоставил мне когда-то возможность ознакомиться с хранившейся у него тетрадью поэта-революционера М. Л. Михайлова. Среди других стихотворений Некрасова, списанных Михайловым в эту тетрадь, оказалась поэма «Саша» с такими неизвестными дотоле строками:

В ком не воспитано чувство свободы,
Тот не займет его; нужны не годы —
Нужны столетья, и кровь, и борьба,
Чтоб человека создать из раба.

(I, 127)

Хотя в то время эти четыре стиха еще не нашли подтверждения в автографе, который был найден позднее, я счел себя вправе ввести их в поэму и перепечатывать в дальнейших изданиях.

И еще один пример из очень многих: такая же бесспорная поправка в стихотворении «Отъезжающему», где о попытке революционных борцов отдать свои силы народу во всех досоветских изданиях Некрасова было напечатано так:

Сунься-ко! Сделаешь шаг,
А на втором . . . . . .

И снова точки, отмечающие цензурный пробел. После того как на основании надежных источников этот пробел был заполнен, получилось такое двустишие:

Сунься-ко! Сделаешь шаг,
А на втором перервут тебе глотку!

(II, 380)

Эта поправка тоже никем не оспаривалась, и после того, как она была введена в полное собрание стихотворений Некрасова, утвердилась там раз навсегда. Таких самоочевидных случаев великое множество, и они не требуют никаких комментариев.

Когда-то, при изучении некрасовской рукописи «Пьяная ночь», мне довелось обнаружить один неизвестный стих в монологе Якима Нагого. В этом монологе всем были памятны такие стихи:

Работаешь один,
А чуть работа кончена,
Гляди, стоят три дольщика...

Так печаталось лет пятьдесят. Что за дольщики, читатели не знали. Найденная мною строка отвечала на этот вопрос и таким образом раскрывала политический смысл всего предыдущего текста:

Гляди, стоят три дольщика:
Бог, царь и господин!

«Бог» — церковь. «Царь» — государство. «Господин» — дворянское сословие. Таковы были эти жадные дольщики, отнимавшие у Якима Нагого почти все плоды его труда.

Новая строка была тотчас же введена в обиход, и теперь этот обновленный вариант фигурирует даже в хрестоматиях и школьных учебниках. Его без всяких оговорок цитируют в брошюрах и книгах, посвященных поэзии Некрасова. Стало быть, законность поправки была очевидна для всех. Иначе, в сущности, и быть не могло: в данном случае моя задача только и сводилась к тому, чтобы, найдя подлинный некрасовский текст или воспользовавшись чужими находками, определить, какие в нем имеются строки, изъятые царской цензурой, и заполнить этими строками цензурный пробел. Если бы вся наша работа над наследием Некрасова заключалась в подобных поправках, текстология была бы очень нетрудным занятием.

3

Но дело шло не только о заполнении цензурных пробелов новонайденными стихами поэта.

Столь же существенно важной при воссоздании подлинных некрасовских текстов представлялась мне и вторая задача: заменить одни варианты другими, более свободными от цензурного гнета.

Ведь цензура не ограничивалась выбрасыванием отдельных кусков из того или иного стихотворения Некрасова: она требовала, чтобы автор сам смягчил, «обезвредил» какое-нибудь резкое слово или какую-нибудь резкую фразу. Цензор Бекетов так и писал Некрасову в 1855 году о его стихотворении «Маша»: «следует

изменить слово *казенный»*... «заменить слово *либерал* другим»[1]. И поэт был вынужден своею же рукою делать эти требуемые цензурой замены, заведомо ухудшая тем самым свой стих.

Такие «смягчения» ему приходилось производить очень часто. Когда, например, в одном из его ранних стихотворений цензура запретила ему сказать о каком-то важном сановнике: «Ты — лоб, как говорится, медный», — он вынужден был напечатать: «ты... — лоб не медный» (I, 17 и 439).

Когда же цензура усмотрела кощунство в его иронической фразе:

А доблестей — как милостей у Бога...
(I, 201)

он напечатал (даже отказавшись от рифмы!):

А доблестей — как в поле муравы...
(I, 495)

Эта система «смягчений» язвительно осмеяна самим же Некрасовым в знаменитых признаниях цензора (в сатире «Газетная»):

Если ты написал: «равнодушно
Губернатора встретил народ», —
Исключу я три буквы: «ра — душно»
Выйдет... что же? три буквы не счет!
(II, 226)

Так что задача текстолога и в этом случае была, ясна: делай, так сказать, обратную замену: зачеркивай цензурное «радушно» и восстанавливай некрасовское «равнодушно».

В стихотворении «Я за то глубоко презираю себя» девяносто три года подряд во всех изданиях Некрасова печатался невразумительный стих:

А до дела дойдет — замирает рука.

Но после того как был найден такой вариант:

А хватаюсь за нож — замирает рука! —
(I, 22)

кто же мог сомневаться, что именно этот вариант и было необходимо ввести в окончательный текст?

[1] «Архив села Карабихи». М., 1916, с. 78.

Замены в огромном большинстве так бесспорны, что и не требуют никаких пояснений. Достаточно продемонстрировать их, и закономерность таких замен будет очевидна для каждого.

Например, в «Песне Еремушке» во всех досоветских изданиях было:

Братством, Истиной, Свободою.

Теперь мы печатаем (на основании добролюбовской копии):

Братством, Равенством, Свободою.
(II, 57)

Прежде печаталось (в «Знахарке»):

Много потерпишь, дойдешь до запою.

Теперь:

Высечен будешь, дойдешь до запою.
(II, 82)

Прежде печаталось (в поэме «Несчастные»):

Аптека, два-три кабака.

Теперь:

Собор, четыре кабака.
(II, 22)

(Близкое соседство — в одной строке! — «кабаков» и «собора» считалось в ту пору кощунством.)

Прежде в сатире «Газетная» изувер-мракобес, негодуя па «разнузданность» радикальной печати, произносил такую расплывчатую, невнятную фразу:

К украшенью империи (?) смеют
Прикасаться нечистой рукой!

Теперь эта невнятная фраза наполнилась конкретным содержанием:

К государственной росписи смеют
Прикасаться нечистой рукой! —
(II, 223)

и так дальше, и так дальше, и так дальше.

Иногда эти замены очень мелки, ограничиваются одним-единственным словом (например, в «Притче о Киселе» слова «хан» и «визирь» заменены словом «царь»), но как бы ни были они незначительны, они в своей совокупности чрезвычайно усилили политическое звучание поэзии Некрасова.

Все мы, например, с детства привыкли читать в стихотворении «Поэт и гражданин» такое изображение мрачной николаевской эпохи:

В ночи, которую теперь
Мы доживаем боязливо,
Когда свободно *рыскал* зверь,
А человек *бродил* пугливо.

Но несколько лет назад в так называемой «солдатенковской рукописи» (ныне хранящейся в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина) мною был обнаружен такой вариант этих строк:

В ночи, которую теперь
Мы доживаем боязливо,
Когда свободно *рыщет* зверь,
А человек *бредет* пугливо.

(II, 9)

Казалось бы, разница между обоими текстами незначительна, еле заметна, а между тем смысловое отличие одного варианта от другого огромно. Так как стихотворение написано вскоре после воцарения Александра II, в эпоху либеральных надежд и восторгов, первый вариант внушал читателю неверную мысль, будто, по мнению Некрасова, николаевские порядки уже позади, тогда как во втором варианте выражалось подлинное убеждение поэта, что царствование Александра II не принесло никакого существенного облегчения народу. По-прежнему — как и в былую эпоху —

...свободно рыщет зверь,
А человек бредет пугливо.

Впервые этот вариант был введен мною в полное собрание сочинений и писем Н. А. Некрасова в 1948 году и не встретил ничьих возражений. Очевидно, он будет воспроизводиться и в дальнейших изданиях. Это новшество уже прочно вошло в литературный обиход, равно как и те другие, о которых мы сейчас говорили.

То же можно сказать и о стихотворениях Некрасова, найденных В. Е. Евгеньевым-Максимовым, мной и другими в государст-

венных и частных архивах Саратова, Ленинграда, Петергофа, Москвы: о стихотворениях «Смолкли честные», «Есть и Руси чем гордиться», «Н. Ф. Крузе», «Мы вышли вместе», никогда не включавшихся в дореволюционные издания по тем же цензурным причинам.

Здесь будет уместно отметить, что инициатором «некрасовских раскопок» был Горький, который еще в 1898 году напечатал в журнале «Жизнь» по новонайденной рукописи неизвестное стихотворение Некрасова «Как празднуют трусу» («Время-то есть, да писать нет возможности»), где поэт с тоскливым негодованием указывал, что так называемое «освобождение» крестьян не принесло им желанной свободы[1].

Почин Горького был подхвачен другими, и теперь в полное собрание сочинений и писем Н. А. Некрасова входят тысячи и тысячи стихов, которых не было в дореволюционных изданиях.

4

Но текстологические проблемы далеко не всегда допускают те элементарные, простые решения, примеры которых мы сейчас приводили.

Поэтому я считаю совершенно излишним дальнейшее рассмотрение многочисленных бесспорных поправок, внесенных советской литературной наукой в новые издания Некрасова.

Гораздо плодотворнее кажется мне изучение той обширной категории поправок, которая потребовала более трудных приемов исследования. Поправки эти нередко служили предметом самой ожесточенной полемики, так как они не раз вызывали сомнение, а порою и резкий протест со стороны читателей, рецензентов и критиков. Было немало случаев, когда редактору приходилось упорно бороться за предложенный им вариант, с бою отстаивать ту или иную поправку, которую он считал наиболее верной. Здесь-то и пришлось применять те руководящие принципы, о которых было сказано выше. Принципов этих не много, но если бы мы не следовали им, тексты наших великих писателей остались бы раз навсегда жертвой произвола редакторов.

Первый из этих принципов — фундаментальный, незыблемый — вполне совпадает с теми общими установками, которые приняты нашей литературной наукой для всех без исключения классических текстов. Принцип этот заключается в том, что в основу редактируемых нами изданий должен быть непременно по-

[1] «Жизнь». 1898. № 1, с. 3–4.

ложен последний прижизненный текст, выражающий окончательную волю поэта. Некрасов, например, с 1846 года во всех сборниках своих стихотворений тридцать лет печатал такое двустишие:

Мне луч божественный участья
Весь темный путь твой осветил.
(I, 439)

Но незадолго до смерти, готовя новое издание стихов, он зачеркнул эти строки и вместо них написал:

Верь: я внимал не без участья,
Я жадно каждый звук ловил...
(I, 18)

И, конечно, эта авторская поправка для нас обязательна, сохранять предыдущий вариант мы не вправе. Даже если нам почему-либо кажется, что прежний текст был более удачен, даже если мы жалеем о том, что автор заменил его новым, наше субъективное суждение должно оставаться при нас, а воля автора должна быть беспрекословно исполнена.

Мне, как читателю, кажется, например, что стихотворение «Затворница», написанное Некрасовым на смертном одре, превосходно. Но Некрасова оно но удовлетворило — и он через несколько дней написал на ту же тему другое стихотворение «Из поэмы: «Мать», которым и заменил «Затворницу». Предположим, что я не согласен с поэтом, что первый вариант мне нравится больше второго, — было бы дико, если бы я, редактируя эти стихи, вздумал руководиться своим читательским мнением. Последняя авторская воля для каждого текстолога священна, и редактор лишь тогда имеет право изменить в окончательном тексте хоть единое слово, если будет доказано, что этот текст пострадал от цензуры. В таких случаях редактор, конечно, обязан освободить страницы воспроизводимого текста от увечий, нанесенных рукою врага.

В стихотворении Некрасова, посвященном Белинскому, долгое время (в четырех изданиях, следующих одно за другим) держался такой вариант:

И о тебе не скажет ничего
Своим потомкам *ветреное* племя.
(I, 449)

Прошло восемнадцать лет, и поэт, перепечатывая стихотворение, внес в последнюю строку такую поправку:

Своим потомкам *сдавленное* племя.
(I, 449)

Но не удовлетворился и этим эпитетом и через несколько лет напечатал:

Своим потомкам *сдержанное* племя.
(I, 89)

В первом варианте поэт обвинял поколение сороковых годов в том, что оно забыло Белинского по своей непростительной *ветренности*.

Во втором варианте вина с этого поколения как бы снималась и сильнее подчеркивалось, что виноват тот жестокий режим, который душил в нем все живое и доброе. Поколение было названо *сдавленным*. Несомненно, этот эпитет более отвечал исторической правде, так как имя великого критика замалчивалось по распоряжению властей.

Но впоследствии Некрасов вполне осознал, что все же правительственный гнет не снимает вины с поколения Дружининых, Галаховых, Кавелиных, Боткиных, все более забывавших заветы Белинского.

Отсюда третий эпитет: «сдержанное [племя]».

И хотя мне эпитет «сдавленное [племя]» кажется более метким, мое мнение не имеет здесь ни малейшей цены, и я обязан послушно исполнить отчетливо выраженную волю поэта.

Но тут-то и встает перед нами главная трудность, чрезвычайно усложняющая нашу работу и требующая от нас особенно тонких приемов исследования, без применения которых мы неизбежно рискуем вступить на зыбкую почву случайных и произвольных решений. Трудность эта заключается в одной своеобразной специфике некрасовских рукописей, из-за которой исследователям зачастую бывает не так-то легко уяснить себе, в каком же из двух или нескольких текстов воплощена последняя воля Некрасова.

Дело в том, что многих «окончательных» текстов Некрасова у нас нет и не может быть. Мы не имеем нрава считать окончательными его беловые автографы, хотя они действительно завершают собою всю его длительную работу над текстами и тщательно отделаны им для печати. Это — наиболее обдуманные, наиболее совершенные в художественном отношении тексты, и все же они не во всех своих частях одинаково авторитетны для нас, потому что именно на последнем этапе работы, перед тем как отдавать их в печать, Некрасов вынужден был всячески приспособлять их

к цензуре. Они были наименее достоверны в политическом отношении. Поэтому те места, в которых сказалось политическое кредо Некрасова, мы порою должны восстанавливать отнюдь не по беловым рукописям, а по каким-то другим, более надежным источникам.

Чтобы выполнить окончательную волю поэта, мы часто бывали вынуждены применять комбинированный метод репродукции текста.

Впервые с этим комбинированным методом я столкнулся в 1911 году, когда мне случайно привелось обнаружить полустертый карандашный автограф Некрасова: три страницы «Недавнего времени». На одной из этих страниц я с трудом прочитал такие — никому в то время не известные — строки:

Помню я Петрашевского дело,
Нас оно поразило как гром,
Даже старцы ходили несмело,
Говорили негромко о нем.
Молодежь оно сильно пугнуло,
Поседели иные с тех пор,
И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.
Вряд ли были тогда демагоги,
Но сказать я обязан, что все ж
Приговоры казались нам строги,
Мы жалели тогда молодежь.

Иные строки приходилось угадывать, так как они были написаны лишь первыми буквами, которые к тому же еле поддавались прочтению. Например, строка:

И декабрьским террором пахнуло, —

была написана так:

И дек. т. пах.

Имею ли я право ввести найденный отрывок в «Недавнее время»? — спрашивал я себя и не знал, что ответить. Правда, по своим литературным достоинствам отрывок этот нисколько не ниже всего прочего текста; правда, его стиховая фактура отличается той добротностью интонаций и слов, какая не свойственна черновому наброску, но все же это не окончательная наборная рукопись. Беглые карандашные строки, записанные кое-как: неразборчивым почерком, с незаконченными словами, без знаков препинания, без учета корректорских требований, — явно не предназначались поэтом для сдачи в набор. Они, как выяснилось после

детального ознакомления с ними, представляли собой тот промежуточный текст, который непосредственно предшествовал беловой окончательной рукописи. Авторитетен ли для нас этот текст? Вправе ли мы пользоваться им при выработке канонических текстов? Выразилась ли в нем последняя воля автора?

После долгих колебаний я в конце концов пришел к убеждению, что, поскольку дело касается цензурных искажений, смягчений и вымарок, такие «преднаборные», еще не перебеленные рукописи авторитетнее всяких других. В то время — да и гораздо позднее — это казалось ересью. Текстологи формалистского толка требовали педантической (и я бы сказал, фанатической) верности беловому, «окончательному» тексту — *даже при наличии явных увечий, нанесенных ему автоцензурой.*

Помню, какие ожесточенные споры были вызваны следующими строками поэмы «Кому на Руси жить хорошо», отсутствующими в «окончательном» тексте:

Как ни темна вахлачина,
Как ни забита барщиной
И рабством — и она,
Благословясь, поставила
В Григорье Добросклонове
Такого посланца.
Ему судьба готовила
Путь славный, имя громкое
Народного заступника,
Чахотку и Сибирь.

Особенно горячо возражал против включения этих строк в канонический текст один из лучших наших некрасоведов покойный А. Я. Максимович, имеющий, как известно, большие заслуги в деле научного исследования некрасовских рукописей, но так и не освободившийся от ошибочных принципов, внушенных ему господствовавшей тогда текстологической школой.

Свои возражения он мотивировал тем, что в беловом тексте, который самим Некрасовым был подготовлен к печати, эти строки представлены в другом варианте. По мнению Максимовича, их-то и надлежало ввести в канонический текст, ибо они выражали окончательную волю поэта.

С его мотивировкой я не мог согласиться. Он был бы прав в своей апелляции к беловому варианту, если бы дело шло об установлении текстов, скажем, Батюшкова, Баратынского, Жуковского, Тютчева. Но нельзя же забывать, что Некрасов был революционный поэт, вынужденный всю жизнь работать в подцензурной печати, и что его беловые автографы часто являют собой

варианты, наиболее приспособленные к требованиям цензурного ведомства, то есть с нашей точки зрения наиболее испорченные.

Некрасов и сам говорил об одной из своих поэм: «Кончивши, начну ее портить; может, и пройдет, если вставить несколько верноподданнических стихов» (II, 631). И о другой: «Думаю, что в таком испакощенном виде (какой он придал законченному тексту поэмы, чтобы сделать его наиболее «легальным». — *К. Ч.*) цензура к ней придраться не могла бы» (III, 582), то есть сам указывал, что беловые рукописи этих поэм, искаженных им под давлением цензуры, не выражают его авторской воли и что, значит, те рукописи, которые непосредственно предшествуют им, выражают эту волю гораздо полнее, точнее и правильнее — поскольку дело касается политического их содержания.

Конечно, во всем остальном для нас авторитетны, важны, обязательны лишь последние прижизненные тексты Некрасова, наиболее обработанные великим художником слова, но в отношении отдельных фрагментов, имеющих политический смысл, мы непременно должны обращаться к тем рукописям, которые непосредственно предшествуют беловому автографу, ибо в них-то и выражена подлинная воля поэта.

Мой оппонент утверждал, что стихи о Добросклонове, взятые из более ранней некрасовской рукописи, представляют собой черновик. Но можно ли согласиться с его утверждением? Эти строки стоят на самом высоком уровне некрасовского мастерства. Их словесная фактура превосходна. Я уж не говорю о том, что они несут огромную смысловую нагрузку, так как именно в них заключается вся биография одного из главных персонажей поэмы. Ясно, что Некрасов отказался от них скрепя сердце и что, вводя их в канонический текст, мы только выполняем его волю.

Разве не чувствуется давление цензуры в том варианте этих замечательных строк, который был предназначен Некрасовым для напечатания в тексте поэмы и входил во все дореволюционные издания:

И юноша, отмеченный
Печатью дара Божьего,
Стал пылким и восторженным
Певцом освобождения
Униженных, обиженных
На всей святой Руси.

Здесь, в этом печатном варианте, нет и намека на то, что Добросклонов — агитатор, бунтарь, будущий организатор народных

восстаний. «Печать дара Божьего» воспринимается здесь как литературный талант — талант слагателя восторженных гимнов, прославляющих какое-то невнятное «освобождение обиженных», то есть чуть ли не «раскрепощение» крестьян, учиненное по манифесту Александра II. Можно ли предпочесть эти явно приспособленные к цензуре стихи тому варианту, где прямо говорится о революционной подпольной работе? Не ясно ли, что здесь, как и во множестве подобных же случаев, наиболее выражающим авторскую волю Некрасова является не самый последний из всех вариантов, «испакощенный» им ради приспособления к цензуре, а *предпоследний, находящийся в рукописи, непосредственно предшествующей беловому наборному тексту.*

Повторяю: заслуги Максимовича в области некрасоведения неоспоримо велики. Но даже для первоклассных текстологов были величайшей помехой те топорные прямолинейные методы, какие господствовали в текстологии тех лет — и до сих пор не изжиты до конца.

В 1877 году, стремясь провести через цензуру «Пир — на весь мир», Некрасов попытался смягчить гениальную солдатскую песню, входящую в эту поэму. В доцензурной рукописи было:

Ну-т-ка, с «Георгием», по миру, по миру! —

то есть указывалось, что при царском режиме герой, получивший за храбрость «Георгия», был вынужден, как нищий, просить подаяния. Приноравливая эту строчку к цензуре, Некрасов написал в беловом варианте:

Ну-т-ка, *служивенький*, по миру, по миру!

Максимович требовал, чтоб я воспроизвел в каноническом тексте этот беловой вариант единственно на том основании, что он — беловой. Между тем для меня не было и тени сомнения, что вариант со «служивеньким» есть результат автоцензуры, так как изобразить бесприютным и нищим отверженцем георгиевского кавалера было, говоря на языке цензоров, более «дерзко», чем просто «служивеньким».

Из того же пиетета к беловому, последнему тексту, Максимович горячо возражал против такого варианта известного четверостишия «Русских женщин»:

Явился сам митрополит
С хоругвями, с крестом,
Покайтесь, братия, гласит,
Падите пред царем!

В обширном примечании к этому месту поэмы Максимович требовал, чтобы последнюю строку мы печатали так:

Падите ниц челом!

С этой поправкой я тоже не мог согласиться. Ведь дело шло об отношениях восставших солдат к царю, и слово «царь» здесь было очень существенным словом. Кроме того, имеются документальные данные, свидетельствующие о том, что оно было выброшено исключительно в силу цензурных причин. Строка же «Падите ниц челом», помимо своей несовершенной фонетики (сочетание *ц* и *ч* создает какофонию), нехороша и в смысловом отношении, ибо, если человек падает перед кем-нибудь *ниц*, то уж непременно *челом*.

Далее. У Некрасова в окончательном тексте сказано про одного генерала, выступающего перед бунтарями на площади:

Другой приблизился к рядам:
Прощенье обещаем вам.

Максимович требовал, чтобы я утвердил этот текст лишь на том основании, что он — окончательный. Но для меня не было сомнения, что на самом-то деле последнюю строку необходимо печатать:

Прощенье царь дарует вам, —

потому что устранение «царя» было опять-таки вынужденной уступкой цензуре.

Подобных расхождений с Максимовичем у меня было много, ибо, признавая все громадное значение последних прижизненных текстов Некрасова, я все же не мог не видеть, что в них встречаются такие варианты, которые должны быть отвергнуты. Это — варианты, смягчающие политический смысл слишком «дерзких» стихов. В советском издании Некрасова этим смягчениям нет и не может быть места, потому что, готовя ту или иную рукопись для сдачи в набор, — как указано выше, — Некрасов всегда бывал вынужден приспособлять эти тексты к цензуре, устранять из них наиболее революционные строки. В тех случаях, когда наличие искажений вполне очевидно, мы считаем своей обязанностью предпочесть окончательным вариантам такие, которые относятся к более ранним этапам работы. Если, например, в последней беловой рукописи «Пира — на весь мир» мы читаем:

В рекруты — мальчишек,
В дворню — дочерей, —

а в предпоследней рукописи данному двустишию соответствуют строки:

Царь возьмет мальчишек,
Барин — дочерей. —
(III, 348)

то именно эти строки и необходимо ввести в канонический текст, ибо ясно, что их окончательная беловая редакция является уступкой цензуре.

Итак, вот второе важнейшее правило текстологической работы над стихами Некрасова: уверенно опираясь на окончательный прижизненный текст, мы, поскольку дело идет о стихах, имеющих политический смысл, должны вносить в этот текст коррективы по непосредственно предшествующим рукописям, которые можно условно назвать «преднаборными». Если предположить, что какое-нибудь стихотворение Некрасова дошло до нас в четырех вариантах, отражающих все стадии его работы над рукописями, не может быть сомнения, что наибольшую ценность для нас (в отношении стихов политического характера) имеет не четвертый, а третий, в редких случаях — второй, так как авторская воля воплощается именно в нем. Во всем же остальном мы должны непременно придерживаться четвертого, то есть самого последнего текста.

5

За исключением очень немногочисленных случаев, Некрасов печатал каждое свое стихотворение дважды: сначала на страницах журнала, а потом в одной из своих книг, озаглавленных «Стихотворения Н. А. Некрасова».

В последнее время некоторые рецензенты и критики стали всячески отстаивать тексты, которые публиковались в журналах. Это ошибка, грозящая большими опасностями. Для меня даже не существует вопроса, какому же из двух вариантов — журнальному или книжному — мы должны отдавать предпочтение.

Я давно уже убедился на опыте, что ко всем без исключения стихам, которые Некрасов печатал в журналах, цензура относилась с удвоенной строгостью и предъявляла к ним такие суровые требования, каких не смела предъявлять к тем же текстам, когда они, после появления в журнале, печатались в какой-нибудь из некрасовских книг.

Такова была обычная цензурная практика, ибо журналы печатались для сравнительно широкого круга читателей, а книги — не-

большим тиражом. Практика эта была неизменна. О ней свидетельствуют десятки примеров, из которых я приведу только пять или шесть.

Напомню, например, цензурную судьбу одного четверостишия Некрасова, которое в «Современнике» (1863, № 9) было напечатано так:

Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
. . . . . .

Четвертая строка, придававшая стихотворению главную силу, была в журнале вычеркнута и заменена многоточием, а в книге «Стихотворений Н. Некрасова» (1869) она беспрепятственно напечатана полностью:

Барабанов, цепей, топора.

То же произошло и со стихотворением «Поэту». В «Отечественных записках» (1874, № 9) оно начиналось такими строками:

Где вы — певцы любви, свободы, мира
И доблести?.. Век «крови и меча»!
На трон земли ты посадил банкира
. . . . . .

Четвертая строка в журнальном тексте опять-таки не дошла до читателя: ее заменили точки. Но при перепечатке стихотворения в книге «Последние песни» (1877) Некрасов уничтожил эти цензурные точки и восстановил отсутствовавшую в журнале строку:

Провозгласил героем палача...

То же самое случилось позднее и с «Русскими женщинами». При появлении этой поэмы в журнале Некрасов под гнетом цензуры был вынужден заменить многоточиями строки о сосланных в Сибирь декабристах:

(Мне новостью были оковы на них,
Что их закуют — я не знала)...

Но когда через несколько месяцев поэма была перепечатана в пятой части «Стихотворений Н. Некрасова» (2-е изд.) — эти же строки появились там без всяких купюр.

Как различно было отношение цензуры к журнальным и книжным текстам, показывает история стихотворения «Суд». Ко-

гда Некрасов попытался напечатать его в «Отечественных записках», оно было вырезано из книжки журнала. Но не прошло и года, как поэт включил тот же «Суд» в собрание своих стихотворений (1869), — и там эта сатира прошла без малейших изъятий. Мало того: в ней появилось двенадцать стихов, которых не было в журнальном варианте «Суда».

Спрашивается: какую же ценность могут представить для текстолога эти журнальные, то есть наиболее искаженные цензурою тексты? Они, конечно, чрезвычайно важны для характеристики цензурных условий, в которых приходилось работать Некрасову. Изучающий художественное мастерство поэта точно так же найдет здесь большой материал для наблюдений над стилистической правкой, которую поэт производил при перепечатке стихов, но опираться на эти ранние варианты для выработки канонических текстов было бы, конечно, бессмысленно.

До каких нелепостей привело бы текстолога доверие к первопечатным вариантам стихов, можно видеть из следующей, очень типичной истории двух известных сатир «Филантроп» и «Княгиня», впервые напечатанных в 1856 году в «Современнике». В журнале «Княгиня» начиналась такими стихами:

> В век Екатерины — и никак не ближе —
> Началась в России, кончилась в Париже
> Вот какая притча: старое преданье
> Мы теперь расскажем внукам в назиданье.
>
> *(I, 492–493)*

Эти строки были, так сказать, принудительными. Здесь — обычный некрасовский заслон от цензуры. Ибо на самом-то деле в «старом предании», относившемся якобы к минувшему веку, поэт откликался на свежую великосветскую новость, которая в ту пору была злободневной.

Изуродованная под давлением цензуры «Княгиня» появилась в «Современнике» в апреле. А 14 мая, то есть по прошествии двух-трех недель, та же цензура разрешила к печати ту же сатиру Некрасова — уже без этих злостных искажений, так как на этот раз сатира предназначалась для напечатания в книге «Стихотворений Н. Некрасова» (1856). В книге поэт зачеркнул вынужденные стихи о «веке Екатерины» и о «старом преданье» — и, конечно, мы поступили бы весьма опрометчиво, если бы вздумали реставрировать эти стихи.

Еще показательнее те искажения, которые претерпел «Филантроп» при своем первом появлении в журнале. Это стихотворение направлено против барской показной филантропии. Именно тогда, в середине сороковых годов, в Питере существова-

ло пресловутое «Общество посещения бедных», возникшее в придворных кругах. Наиболее деятельные члены этого общества, чиновные и сановные либералы, проповедовали беднякам благочестивое терпение и смиренную покорность воле божьей. Жертвой своей сатиры Некрасов избрал известного в то время писателя Владимира Одоевского. Но для того, чтобы провести стихотворение в журнал, Некрасову под нажимом цензуры пришлось приурочить его к далекому прошлому, чуть ли не к тому же «веку Екатерины», и, главное, придать ему форму хвалы: то есть прославить то самое, что он хотел обличить. В журнале «Филантроп» начинался такими словами:

Бедных петербургских жителей,
Стариков, сирот и вдов
Общество благотворителей
Приняло под свой покров.
С той поры я благоденствую
Без печалей и тревог
И от скуки совершенствую,
Сочиняючи, мой слог.
Слава Богу! между знатными
Нынче в моде, так сказать,
Не советами печатными,
Самым делом помогать.
Вот обычай утешительный,
А то в прежние года
Был со мною удивительный,
Странный случай, господа!

Эти строки в значительной степени искажали смысл всего «Филантропа». В этих стихах изображаемый Некрасовым бедняк высказывает забавную уверенность, что «общество благотворителей», то есть несомненно «Общество посещения бедных», дает каждому нуждающемуся такие баснословные суммы, что тот начинает жить «без печалей и тревог», уже не нуждаясь в заработке и не заботясь о хлебе! Изнывая от праздности, этот баловень «благотворителей», чтобы хоть чем-нибудь заполнить свой досуг, начинает записывать разные случаи из собственной жизни, причем у него хватает свободного времени, чтобы художественно отшлифовывать свои сочинения, доведя их слог до совершенства.

И замечательно, что, едва только «Филантроп» из журнала перешел на страницы некрасовской книги, цензура отнеслась к нему куда снисходительнее, и поэт получил возможность уничтожить все шестнадцать стихов, написанных им, так сказать, из-под палки.

В один и тот же год один и тот же цензор относился к одному и тому же стихотворению то более, то менее строго, в зависимости от того, где это стихотворение печаталось. Если в журнале — поэту приходилось своей же рукой затушевывать смысл стихов, если в книге — стихи печатались почти в подлинном виде, без этих «принудительных» строк[1].

Формы правительственного угнетения прогрессивной печати неоднократно менялись при жизни Некрасова: в 1865 году, например, предварительная цензура была уничтожена, и правительство вместо нее учредило цензуру карательную. Но как бы ни менялось цензурное ведомство, вышеуказанный принцип в его отношениях к журналам и книгам всегда оставался неизменным.

Нельзя назвать ни единого случая, когда какое-нибудь стихотворение Некрасова пользовалось бы большей цензурной «свободой» (хотя бы в кавычках) при печатании на страницах журнала, чем оно пользовалось ею при печатании в книге.

В «Отечественных записках», например, напечатано:

О Т—ой и В—ой
Дедушка пел и вздыхал, —

а в пятой части «Стихотворений Н. Некрасова»:

О Трубецкой и Волконской
Дедушка пел и вздыхал.

Перепечатывая поэму «Дедушка» в книге, Некрасов впервые добился возможности (какой не имел в журнале) назвать в подцензурном стихотворении имена «декабристок» (а значит и их мужей, декабристов) и громко выразить свое преклонение перед ними. Покуда дело шло о каких-то неведомых Т—ой и В—ой, вся глава «Дедушки», посвященная им, звучала совершенно иначе, чем она прозвучала тогда, когда В—ая оказалась Волконской, а Т—ая Трубецкой.

Словом, это твердо установленный факт: журнальные тексты стихотворений Некрасова больше пострадали от цензурного гнета, чем те же тексты, перепечатанные в его прижизненных сборниках.

---

[1] Такое различие в отношениях цензуры к журнальным и книжным текстам стихотворений Некрасова наблюдается на протяжении всех тридцати лет его литературной работы. Существует лишь одно исключение: двухтомник 1861 г., составлявшийся под впечатлением репрессий, которым подвергались стихотворения Некрасова, воспроизведенные Чернышевским на страницах журнала. (См.: *Н. Г. Чернышевский.* Полн. собр. соч. Т. I. М., 1939, с. 752.) Поэтому двухтомник 1861 г. и не принимается мною в расчет.

6

Все это азбука, и я не стал бы распространяться о ней, если бы, повторяю, не обнаружил, к своему огорчению, что ее игнорируют даже наиболее серьезные из наших рецензентов и критиков.

Лет двадцать тому назад, например, в журнале «Советская книга» появилась рецензия* о полном собрании сочинений и писем Н. А. Некрасова, вышедшем в двенадцати томах в Гослитиздате. Рецензия дельная и во многих отношениях правильная. Тем прискорбнее, что ее автор по какой-то непонятной причине проявил упорное пристрастие именно к первопечатным журнальным некрасовским текстам, то есть к таким, которые меньше всего выражают авторскую волю.

С большим удивлением я прочитал в этой рецензии такую похвалу моей работе над текстами «Русских женщин»:

«Говоря о других декабристских поэмах Некрасова («Княгиня Трубецкая» и «Княгиня М. Н. Волконская».— *К. Ч.*), хочется подчеркнуть, что редактор совершенно правильно поступил, избрав вариант первопечатного (?!), а не рукописного и корректурного текста».

Такая похвала хуже всякой хулы. Ибо первопечатные тексты обеих частей «Русских женщин» (то есть те, что появились в «Отечественных записках» в 1872 и 1873 годах) получили столько увечий от царской цензуры, что было бы с моей стороны преступлением воспроизводить этот наиболее «испакощенный», по выражению самого Некрасова, текст.

Дело обстояло совершенно иначе. Найдя в одном частном архиве подлинную рукопись «Княгини М. Н. Волконской», я получил счастливую возможность избавить поэму от тех искажений, которые безобразили ее чуть не полвека. Наиболее искажены были, конечно, первопечатные журнальные тексты, те самые, которые кажутся критику наиболее правильными, и я начисто отказался принимать их в расчет. За несколько лет до того В. Е. Евгеньев-Максимов нашел доцензурную рукопись «Княгини Трубецкой» — и, конечно, я счел своим редакторским долгом именно эти две драгоценные рукописи положить в основу канонического текста поэмы Некрасова, отчего вся поэма зазвучала по-новому.

И в журнальном, и во всех досоветских изданиях поэмы печатались, например, такие стихи о декабристах, подготовлявших восстание:

...стояли они настороже,
Готовя несчастье отчизне своей.

Прежний читатель был вправе подумать, будто устами своей героини Некрасов высказывал осуждение революционным бойцам, готовившим *несчастье* своей родине.

Но, как обнаружилось в найденных рукописях, у Некрасова на самом деле было сказано так:

...стояли они настороже,
Готовя войска к низверженью властей.

И, конечно, я поспешил заменить этим новым стихом ту лживую подцензурную строчку, где декабристы трактовались как враги своей родины.

Так же недостоверна была, например, та первопечатная строка «Трубецкой», где героиня обращалась к Петербургу с такими словами:

Гнездо *всех бед*, прощай! –

из чего прежние читатели могли заключить, что к *бедам* причисляется восстание декабристов.

Между тем на самом деле в некрасовской рукописи было сказано так:

Гнездо *царей*, прощай!

Подобными вариантами первопечатного текста политический смысл поэмы был так извращен, что один из писателей радикального лагеря А. Г. Горнфельд счел возможным на основании этого извращенного текста упрекнуть Некрасова в слишком мягком и даже доброжелательном (!) отношении к царю Николаю I[1].

Откуда же было этому критику знать, что в подлинной некрасовской рукописи есть, например, такие стихи о царе:

Да, цепи! Палач не забыл ничего
(О мстительный трус и мучитель!).

А также такие четыре строки о том же царе и его приближенных:

Нет, нет, я видеть не хочу
Продажных и тупых,
Не покажусь я палачу
Свободных и святых.

[1] *А. Г. Горнфельд.* «Русские женщины» Некрасова в новом освещении (в книге «О русских писателях»). СПб., 1912, с. 195.

Нынче эти строки знает наизусть каждый школьник, их декламируют на каждой эстраде, и, конечно, вводя их впервые (с десятками подобных же строк) в один из однотомников стихотворений Некрасова, я тем самым очень далеко отошел от первопечатного текста.

Здесь-то, в работе над «Русскими женщинами», и обнаружилась особенно рельефно вся сложность и трудность текстологических проблем, связанных с литературным наследием Некрасова. Ибо в рукописях этой поэмы текст был далеко не всегда полноценный. Там было много сомнительных мест, так что мне приходилось производить самый строгий отбор среди имеющихся там вариантов, — одни принять, а другие отвергнуть. В разное время два ленинградских исследователя, С. Рейсер и А. Максимович, предлагали различные планы реставрации этой поэмы[1]. В каждом плане были свои хорошие стороны, но ни с одним из них в целом я не мог согласиться и предложил издательству другой вариант, который в окончательном виде вошел в третий том полного собрания сочинений и писем Н. А. Некрасова.

Можно ли считать этот вариант доброкачественным? Является ли он наиболее правильным из всех возможных вариантов поэмы? Вопрос этот очень важен, ибо касается дальнейших изданий поэмы Некрасова. В ответе на этот вопрос живо заинтересованы миллионы советских читателей.

Но именно на этот вопрос критика и не дает им ответа. Долгая и сложная история реконструкции поэмы остается до сих пор не изученной*. И мне даже высказывают одобрение за то, что я, не производя будто бы никакой реконструкции, просто придерживаюсь первопечатного (то есть наиболее ложного!) текста.

7

Отыскивать новые, никому не известные тексты Некрасова, чтобы возможно скорее сообщить их читателям, было увлекательным делом.

Каждую такую находку я воспринимал как событие.

Хотя находок становилось все больше, никак невозможно было привыкнуть к этой «нечаянной радости» держать в руках некрасовскую рукопись, еще никому не известную, никем не прочитанную, как бы выкопанную тобой из земли, где она, словно клад, пролежала под спудом лет восемьдесят, а пожалуй, и больше.

[1] См.: «Звенья». Т. VI, с. 730 и 734; неопубликованные текстологические заметки Максимовича хранятся у меня.

Такое кладоискательство начал еще до меня покойный В. Е. Евгеньев-Максимов, и теперь всякий раз, когда, например, мне случается перечитывать «Княгиню Трубецкую», я с благодарностью вспоминаю, что именно этим исследователем весь ее текст был впервые очищен от цензурной коросты в одном из «Некрасовских сборников» в 1921 году[1]. Мне кажется, сам Некрасов испытал бы живейшую радость, узнав, что благодаря изысканиям того же ученого до читателей еще в 1913 году дошли наконец такие свободные от старой цензуры стихи, как «Путешественник», «Есть и Руси чем гордиться», «Что нового?», «Приметы» и т. д.

Включившись вслед за Евгеньевым-Максимовым в ту же работу, я, со своей стороны, отыскал и прокомментировал многие тысячи некрасовских строк[2] и до того, как ввести их в собрание его сочинений, спешил обнародовать иные из них в «Правде», «Известиях», «Красной газете» и проч.[3].

Советский читатель с самым горячим сочувствием встречал те из новонайденных рукописей Некрасова, в которых наиболее явственно слышался революционный протест: нелегальные строки «Уныния», «Саши», «Княгини М. Н. Волконской», «Современников», «Кому на Руси жить хорошо», — и потому можно себе представить мое удивление, когда в 1929 году меня публично обвинили в том, будто я с какими-то злостными целями *скрываю* (!) наиболее революционные тексты Некрасова.

Возникло это обвинение так.

В конце двадцатых годов появилась в Москве фальшивка под заглавием «Светочи» Н. А. Некрасова». Фальшивка представляла собой низкопробную версию «Дедушки», состряпанную каким-то неизвестным писакой. Группа обманутых им литераторов во главе с Демьяном Бедным потребовала, чтобы я включил «новонайденный текст» в собрание стихотворений Н. А. Некрасова, так как в рукописи на каждой странице нагромождено было множество псевдореволюционных, левацких фраз. Когда я отказался ввести этот жульнически состряпанный опус на страницы Некрасова*, меня обвинили (цитирую дословно!) в «неприкрытом старании (!) отмежеваться (!) от революционных стихов Некрасова», хотя, казалось бы, моя многолетняя работа над восстановлением некрасовских текстов, исковерканных царской цензурой, могла бы вполне оградить мое имя от подобных непристойных нападок.

---

[1] «Некрасовский сборник». Пг., 1922, с. 61—71.

[2] См. мою книгу: «Н. Некрасов. «Тонкий человек» и другие неизданные произведения». М., 1928.

[3] «Известия». 1925. № 197; «Красная газета». 1926. № 50; «Известия». 1926. № 276; «Правда». 1928. № 7, и др.

В том же был обвинен и С. А. Рейсер, дерзнувший выступить в одном из московских журналов с разоблачением этой фальшивки[1].

К счастью, рукопись была подвергнута экспертизе специалиста-графолога, который и установил, что эта мнимонекрасовская «поэма» написана не в 1870 году, как утверждали подделыватели, а через сорок два года после смерти Некрасова — в 1929 году — чернилами, изготовленными советской фабрикой в советское время.

А через несколько месяцев один из подделывателей явился ко мне с повинной и не без хвастовства рассказал все подробности изготовления этой фальшивки. Миф о «Светочах» был полностью рассеян*.

Отсюда следует еще одно правило — *четвертое*, — которое должно быть соблюдаемо с особою строгостью при выработке канонических текстов Некрасова. Не боясь никаких демагогических окриков, мы обязаны свято оберегать подлинный некрасовский текст от вторжения художественно неполноценных (а порою и поддельных) стихов.

Опасность такого вторжения угрожала и «Русским женщинам», и «Современникам», и «Рыцарю на час», и поэме «Кому на Руси жить хорошо». Стоило только обнаружиться какой-нибудь некрасовской рукописи, включавшей неотделанные, *забракованные* автором строки, можно было наверняка предсказать, что редактору «Стихотворений» Некрасова будет предъявлено требование ввести эти забракованные строки в канонический текст.

8

В рукописи «Княгини Трубецкой», как известно, был обнаружен «Эпилог» к этой поэме, цель которого ясна для исследователя: этот «Эпилог» должен был дезориентировать цензуру и заслонить от нее подлинное содержание поэмы. Стремясь повести цензуру по ложному следу, Некрасов утверждал в «Эпилоге», будто сюжет его поэмы не зависит от положительной или отрицательной оценки восстания («Как ни смотри на драму тех времен»), будто не декабристы интересуют его, а только их самоотверженные жены, и что, стало быть, поэма далека от политики. Ввиду того что вскоре он изложил те же ложные доводы в подстрочном примечании к поэме, надобность в этих строках «Эпи-

[1] *С. Рейсер.* Новооткрытые строки Некрасова. — «Литература и марксизм». 1929. № 6.

лога» отпала. Дальнейшие строки тоже оказались излишними: в них поэт уведомляет читателя, что Трубецкая не является единственной героиней поэмы:

Быть может, мы, рассказ свой продолжая,
Когда-нибудь коснемся и других.

Надобность в этом предуведомлении исчезла, едва только появилась «Княгиня М. Н. Волконская». Нельзя было говорить «быть может» и «когда-нибудь» о том, что уже осуществилось на деле.

Дальше в «Эпилоге» было сказано, будто подвиг Трубецкой выше подвига остальных «декабристок»:

Но чьей судьбы теперь коснулись мы,
Та всех светлей сиять меж ними будет.

И эти строки тоже не могли сохраниться в окончательном тексте после того, как Некрасову стали более ясны образы других «русских женщин»: через год он уже называл «самым лучшим перлом» из всех «декабристок» А. Г. Муравьеву.

Таковы те причины, по которым, как я полагаю, «Эпилог» был изъят Некрасовым из окончательного текста «Трубецкой». На этом основании я печатаю «Эпилог» в приложении, исправляя в нем 5-й стих, до сих пор читавшийся неверно:

Высок и светл (?!) их подвиг незабвенный!

(Нужно: Высок и свят...)

Должны ли мы вводить «Эпилог» в окончательный текст «Русских женщин»? Ни в коем случае, ибо «охранная грамота» этой поэме уже не нужна. С точки зрения тогдашней цензуры этот эпилог был не только приемлем, но желателен. Так что Некрасов устранил его отнюдь не по цензурным причинам. Между тем в одной из специальных работ, посвященных текстам «Русских женщин», читаем: «Эпилогу» надлежит фигурировать в основном тексте поэмы, как *исключенному помимо воли поэта*»[1].

Я не мог согласиться с этим категорическим «надлежит» и счел наиболее правильным печатать «Эпилог» за пределами текста поэмы, хотя, конечно, из «Приложений» его можно, пожалуй, ввести в корпус «Собрания стихотворений Некрасова».

[1] *С. Рейсер.* Некрасов в работе над «Русскими женщинами».— Сб. «Звенья». Т. 6. М.—Л., 1936, с. 730. Статья эта содержит ряд ценных критических замечаний, которых я не мог не учесть при новой публикации «Русских женщин». Но вышеприведенные поправки невозможно принять.

Точно так же я оставил вне текста некоторые из найденных мною стихов, входящих в рукопись «Княгини М. Н. Волконской» — например, описание родов княгини.

«Я не вижу никаких оснований, — говорит только что процитированный исследователь, — исключать эту сцену из поэмы»[1].

При всем моем уважении к нему, я и с этим не могу согласиться. Сцена родов изъята главным образом оттого, что своими подробностями она отвлекала читателей от одухотворенного образа героини* и вносила в характеристику генерала Раевского черты крутого семейного деспота, разрушающие тот романтический образ величавого воина, который был воссоздан в поэме (III, 590).

Показать читателю Волконскую во время родов, изобразить перед ним ее родовые потуги — это значило отвлечь его мысль от ее великого гражданского подвига, и нельзя удивляться тому, что вся эта сцена в конце концов показалась Некрасову лишней, ибо, не возвеличивая его героини, она, подобно другим стихам, устраненным поэтом из текста, переводила поэму в план натуралистической повести, лишая ее того величаво-монументального стиля, который был организующей основой всех изображаемых в ней эпизодов.

При чтении подобных набросков, исключенных Некрасовым, нельзя не вспомнить известного замечания Энгельса об одном романе английской писательницы Маргарет Гаркнесс: «Ваши характеры достаточно типичны... но нельзя сказать того же о тех обстоятельствах, которые их окружают и заставляют действовать».

Если бы в поэме «Княгиня М. Н. Волконская» Некрасов сохранил все эти рассказы о родах, о покупке кибитки, об увезенных в Сибирь клавикордах, он тоже заставил бы «типичные характеры» действовать в нетипичных для них обстоятельствах[2].

9

Из сказанного следует, что текстолог не может быть простым автоматом, машинально воспроизводящим последний прижизненный, даже заведомо испорченный текст. Напротив, мы только что видели, что критический анализ публикуемых текстов есть его прямая обязанность. Если вам достоверно известны те неблагоприятные причины, которые, даже помимо цензурных воздействий, способствовали ухудшению текста и нанесли тем какой-ни-

[1] *С. Рейсер.* Некрасов в работе над «Русскими женщинами».— Сб. «Звенья». Т. 6. М.—Л., 1936, с. 734.

[2] См. *Корней Чуковский.* Мастерство Некрасова. Собр. соч. Т. 10 наст. изд., гл. II «Стиль отвечающий теме». 2.

будь ущерб его смыслу, мы обязаны во что бы то ни стало устранить этот явный ущерб.

Таково *пятое* правило нашей текстологической практики.

К некрасовским текстам приходилось применять его сравнительно редко, в самых исключительных случаях. Приведу один из них, наиболее наглядный. В сатире «Современники» есть во второй части такое двустишие:

...Выступил новый оратор,
Меняла, — *писклива была его речь*!

В этой части излагался чудовищно пошлый проект — об устройстве Центрального дома терпимости в грандиозном государственном масштабе:

Лишь бы нам разрешили концессию,
Учредим капитал на паях
И, убив мелочную профессию,
Двинем дело на всех парусах!

В ту пору менялами были скопцы, и Некрасов намекает на это, говоря о пискливости речи, которую произносит меняла. То был очень выразительный штрих: во главе гигантского дворца проституции ставилась акционерная компания евнухов.

Но, очевидно, опасаясь, что цензура не разрешит тех стихов, где приводится эта бесстыжая речь, Некрасов для данного случая заготовил такой вариант:

...Выступил новый оратор,
Меняла, — *но я прозевал его речь*[1].

Ясно, что этот вариант предполагалось использовать лишь в том случае, если бы речь менялы не могла появиться в печати.

Но цензура не изъяла этой речи, и заготовленный вариант оказался не нужен. Речь беспрепятственно появилась в последнем из прижизненных изданий Некрасова («Последние песни», 1877, с. 77–78).

Однако, работая над «Последними песнями» во время мучительной смертельной болезни, Некрасов не мог уже с прежней внимательностью править свои корректуры. Вследствие его недосмотра в это издание проник вариант:

...Выступил новый оратор,
Меняла, — *но я прозевал его речь*, —

хотя из ближайших же строк можно видеть, что автор совсем не *прозевал* этой речи, так как она полностью приводилась на той же

[1] В рукописи: «Но я не слыхал его — я задремал» (III, 462).

странице. Выходило, что он и слышал речь, и не слышал ее. Должны ли мы воспроизводить этот явный недосмотр Некрасова? По убеждению текстологов-формалистов — должны. Между тем всякому ясно, что это бессмыслица, которую сам автор, к сожалению, не мог устранить, так как правил корректуру буквально на смертном одре. По этой трагической причине «Последние песни» изобилуют такими опечатками, каких не было и быть не могло ни в одном из предыдущих изданий Некрасова[1]. Нужно было нечеловеческое усилие воли, чтобы работать над книгой среди ужасных страданий, которые причиняла умирающему поэту болезнь. Поэтому в канонический текст «Современников» я, не считаясь в данном случае с окончательным текстом, ввожу следующий заимствованный из ранней редакции стих:

Меняла — писклива была его речь!

Нельзя же не учитывать тех обстоятельств, при которых воплощалась в данном произведении искусства последняя воля автора. Эти обстоятельства нужно знать досконально, до мельчайших подробностей. Ничего не знает о текстах Некрасова тот, кто одни только тексты и знает. Их нельзя изучать в изолированном виде, вне связи со всеми обстоятельствами личной и общественной жизни писателя, ибо текстолог не имеет права быть только текстологом. Он должен быть историком, социологом, литературоведом — и, кроме того, ему должна быть детально известна подлинная биография автора, произведения которого он редактирует.

Иначе он на каждом шагу рискует попасть впросак.

Возьмем хотя бы тот вариант одного отрывка из поэмы «В. Г. Белинский», который на поверхностный взгляд является для нас обязательным, так как он представляет собою последний прижизненный текст. В этом отрывке есть такие стихи о секретном комитете, который был основан Николаем I для удушения прогрессивной печати. Стихи не имеют рифмы из-за очевидной описки поэта.

По счастью, в нем сидели люди
Честней, чем был один *из низ*,
Фанатик ярый *Бутурлин*,
Который, не жалея груди,
Беснуясь, повторял одно...
и т. д.

(XII, 28)

[1] Вместо «вдохновенный» — «вздохновенный» (с. 3), вместо «кто» — «что» (71), вместо «выдали» — «вы выдали» (95), вместо «комиссиями» — «комиссиям» (117), вместо «там свой девиз» —«там своей девиз» (158) и т. д., и т. д., и т. д.

Если не знать обстоятельств, при которых были написаны эти стихи, нужно было бы ввести их в окончательный текст, так как они, по всей видимости, отражают последнюю творческую волю поэта. Правда, они значительно хуже предшествующих вариантов, но субъективные оценки — не дело текстолога: за свои стихи отвечает Некрасов. Правда, во втором и третьем стихе утрачена рифма, которая в предыдущем варианте звучала так четко и звонко:

Честней, чем был из них *один*
Палач науки *Бутурлин.*

Но и это не служило бы помехой, если б мы не знали, что приведенные строки Некрасов восстанавливал по памяти в августе 1877 года — то есть в тяжелый период своей предсмертной болезни, когда из-за приступов невыносимой физической боли он вынужден был прибегать к сильно действующим наркотическим средствам, главным образом к опию, а это — он сам признавал! — ослабляло его контроль над своими писаниями.

Хаос! мечусь в беспамятстве, в бреду! —
(II, 421)

характеризовал он этот предсмертный период.

«Из страха и нерешительности и за потерею памяти, — писал он тогда, — я перед операцией испортил в поэме «Мать» много мест, заменив точками иные строки» (XII, 26).

Эта-то «потеря памяти» и сказалась в вышеприведенной описке, уничтожившей рифму.

Здесь нужно принять во внимание и еще одно обстоятельство, связанное с последними месяцами жизни Некрасова. Зная, что смерть близка, поэт с судорожным напряжением угасающих сил стал готовить будущее посмертное издание своих сочинений. Он мечтал, что это издание будет сильно расширенным, что туда войдут образцы его прозы, а также такие стихи, которые в прежнее время были под цензурным запретом. К этим стихам относилась и поэма «В. Г. Белинский». Тот отрывок из нее, который процитирован выше, и являет собою попытку сделать этот текст наиболее приемлемым для царской цензуры. Иначе Некрасов не заменил бы своей меткой и беспощадной строки:

Палач науки Бутурлин, —

следующим бледным вариантом:

Фанатик ярый Бутурлин.

Первый вариант был злее и резче и, главное, более соответствовал истине: бездушный карьерист Бутурлин меньше всего походил на фанатика, это был ловкий приспособленец-придворный, раболепно (и отнюдь не бескорыстно) творивший волю своего повелителя.

Кроме того, в дальнейших стихах поэт напоминает о том, что мракобес Бутурлин жаждал уничтожить в России науки и предъявлял к властям изуверское требование:

Закройте университеты!

А это окончательно убеждает нас в том, что «палач науки» есть для него наиболее верный эпитет, наиболее соответствующий представлениям Некрасова об этом николаевском опричнике[1].

Процитированный выше отрывок из поэмы «В. Г. Белинский» входит в дневниковую запись Некрасова — от 28 августа 1877 года, но, если всмотреться внимательнее, перед нами не столько дневник, сколько руководство для будущего редактора посмертного издания его сочинений: поэт подсказывал этому редактору те аргументы, при помощи которых ему надлежит добиваться цензурного разрешения поэмы.

В этом нас больше всего убеждает некрасовская сноска к тем строкам его записи, где говорится о секретном комитете 1848—1855 годов: «Комитет для разбора литературных злоупотреблений».

Можно сказать с полной уверенностью, что сноска эта не только не выражает подлинной мысли Некрасова, но и находится в кричащем противоречии с ней, ибо в свое время поэт имел множество случаев убедиться на собственном опыте, что у названного комитета была другая задача: беспощадный разгром прогрессивной печати и в первую голову расправа с его «Современником». Написать об этом цензурном застенке, будто он ставил перед собою такую невинную и даже благородную цель, как «разбор литературных злоупотреблений», Некрасов мог лишь для того, чтобы облегчить будущему редактору борьбу за напечатание запрещенной поэмы.

Та же задача, по моему убеждению, заставила его написать в дневнике, будто поэма «В. Г. Белинский» случайно попала в какое-то из герценовских заграничных изданий «по милости одного приятеля» и что, стало быть, сам-то он здесь ни при чем.

---

[1] Теперь обнаружилось, что и раньше в нескольких вариантах поэмы «В. Г. Белинский» Некрасов называл Бутурлина «ярым фанатиком». Это и заставляет меня теперь принять скрепя сердце отвергнутый мной вариант. (Позднейшее примечание.)

Это опять-таки нарочитое отклонение от истины, ибо поэма «В. Г. Белинский» была в свое время послана Некрасовым Тургеневу* специально затем, чтобы тот переслал ее Герцену в Лондон.

Значит, и этой записью Некрасов преследует определенную цель: оградить свою поэму от неизбежного обвинения в том, что она по его инициативе была напечатана в нелегальном издании.

Так что, хотя, казалось бы, здесь не было никакого вмешательства цензурных инстанций, нельзя сомневаться, что весь этот фрагмент создавался в предвидении их вмешательства и, так сказать, с учетом их будущих требований. Следовательно, у нас нет оснований считать этот текст каноническим, выражающим окончательную волю поэта. Изучение всех обстоятельств, при которых возник этот текст, заставляет нас отвергнуть его, невзирая на то, что это действительно самый последний из прижизненных текстов, заслуживший, казалось бы, санкцию автора.

Но, повторяю, таких случаев очень мало, и если я упоминаю о них, то исключительно ради того, чтобы продемонстрировать на конкретном примере, до какой степени неприменим в текстологии слепой, автоматический подход к материалу.

10

Знание всех обстоятельств, при которых создано то или иное произведение редактируемого нами писателя, может иногда привести к неожиданному обнаружению ценнейшего текста, имеющего большой политический смысл. Так и случилось недавно со стихотворением Некрасова, которое в полном собрании его сочинений носит заглавие «Тургеневу» и начинается такими строками:

Мы вышли вместе... Наобум
Я шел во мраке ночи...

(II, 121)

Стихотворение это известно нам в трех вариантах, и, работая над ними, мы всегда забывали, что два из них относятся опять-таки к периоду смертельной болезни Некрасова, когда, готовя посмертное собрание сочинений, умирающий был озабочен приспособлением своих старых нелегальных стихов к требованиям цензурного ведомства.

Первый вариант, находящийся в «грешневской» тетради поэта, был опубликован В. Е. Евгеньевым-Максимовым. Тетрадь относится к 1861 году. Посвящения «Тургеневу» в ней не было; вместо посвящения — три звездочки. Исследователь тогда же выска-

зал очень меткую мысль, что, по всем вероятиям, под тремя звездочками скрывается фамилия Герцен. Его догадка была убедительна: ни к кому другому нельзя отнести те стихи, которые встречаются в первой строфе:

В глаза ты правду говорил
Могучему деспóту.
(II, 556)

Но вскоре после опубликования этих стихов академик А. Ф. Кони предоставил мне другой вариант того же стихотворения — тоже автограф, — на котором имеются две собственноручные пометы Некрасова.

Первая:

«Тургеневу (писано в 1861 году, когда разнесся слух, что Тургенев написал «Отцов и детей» и вывел там Добролюбова»).

Вторая:

«Т—ву (писано, собственно, в 1861 году, к которому и относится. Теперь я только поправил начало)».

Публикуя этот новонайденный текст, я в то время еще не мог догадаться, что в нем, как и в поздней редакции отрывка из поэмы «В. Г. Белинский», выразилось желание Некрасова, так сказать, легализировать свои нелегальные рукописи.

Впервые это желание стало для меня очевидным, когда я редактировал 12-й том полного собрания сочинений и писем Н. А. Некрасова. Лишь тогда, после детального изучения дневниковых записей поэта, я впервые сообразил, что двустишие:

В великом сердце ты носил
Великую заботу, —

которым Некрасов заменил первоначальные строки:

В глаза ты правду говорил
Могучему деспóту, —

вызвано желанием поэта дать всему стихотворению возможность пройти сквозь рогатки цензуры. На основе этих новых соображений и сведений я по-новому переоценил оба некрасовских текста и пришел к уверенности, что второй вариант нисколько не зачеркивает первого, как считалось до настоящего времени. Оба текста совершенно равноправны, причем первый (то есть, казалось бы, наименее авторитетный для нас) в данном случае ценнее второго, так как во втором иные строки явно приспособлены к цензуре. Но игнорировать второй текст мы тоже не имеем оснований, ибо Некрасов, переадресовав свое стихотворение Тургене-

ву, ввел туда целые строфы, которые придали всему тексту новый самостоятельный смысл. В то же самое время и точно к такому же выводу пришла М. Я. Блинчевская, но только другим путем.

Тут только я вспомнил, что, вручая мне листки, где записан этот второй вариант, академик А. Ф. Кони сказал, что они находились в той кипе некрасовских рукописей, которая относится к периоду предсмертной болезни поэта.

А если это так, то первый текст отнюдь не может рассматриваться как черновой вариант для второго. Это совершенно законченный текст, имеющий все права на самостоятельную литературную жизнь. Мы обязаны печатать это стихотворение под 1861 годом, без заголовка, и при этом указать в комментариях, что вероятнее всего оно обращено к А. И. Герцену, а стихотворение «Тургеневу» убрать из числа стихотворений 1861 года и отнести к 1877 году[1*].

Вот к каким коренным перестройкам основного корпуса стихотворений Некрасова приводит текстолога более или менее подробное и точное знание тех обстоятельств, при которых данный текст создавался. Нечего и говорить, что, следуя тем принципам, которые изложены выше, я считаю необходимым ввести в текст первого стихотворения все стилистические (но только стилистические!) поправки, которые сделал Некрасов при окончательной обработке первоначального текста.

11

Но, конечно, излишняя осторожность, переходящая в робость, здесь, как и всюду, вредна.

Мне и сейчас больно вспомнить ту ошибку, которую я допустил — именно из-за отсутствия смелости — при печатании некрасовского «Дедушки». Дело в том, что еще в 1926 году мною было впервые опубликовано (по новонайденной рукописи) следующее четверостишие из этой поэмы:

Взрослые люди — не дети!
Трус, кто сторицей не мстит.
Помни, что нету на свете
Неотразимых обид[2].

Четверостишие представляет собою вполне законченный в художественном отношении текст. Его идейное значение огром-

[1] Так и сделано в новом трехтомнике Н. А. Некрасова, вышедшем под моей редакцией в издательстве «Правдам» (приложение к журналу «Огонек». М., 1954).

[2] «Подлинный «Дедушка». — «Известия». 1926. № 276 (2907).

но. В нем выступает с наибольшей отчетливостью основное содержание поэмы, которое заключается именно в том, что возвращенный из Сибири старик декабрист завещает молодому поколению — своим внукам и правнукам — ненависть к самодержавному строю и страстную волю к революционной борьбе.

Найдя и опубликовав вышеприведенный отрывок, я должен был тотчас же включить его в канонический текст, но я долго не решался на этот единственно правильный шаг. Меня смущали первые строфы поэмы, которые, как думалось мне, находились в резком противоречии с содержанием нового отрывка. Мстить сторицей за вековые обиды, нанесенные народу его угнетателями, — к этому мог призывать лишь непримиримый боец, между тем как в начале поэмы «дедушка» сам говорит о себе:

Днесь я со всем примирился,
Что потерпел на веку.

Вообще при первом своем появлении в поэме возвращенный декабрист представлен слишком уж смиренным и благостным, слишком отрешившимся от какого бы то ни было «противления злу»:

Благословил он, рыдая,
Дом, и семейство, и слуг,
Пыль отряхнул у порога,
С шеи торжественно снял
Образ распятого Бога
И, покрестившись, сказал... —
(III, 8–9)

сказал о своем евангельском примирении с мучителями, — после чего —

Сын пред отцом преклонился,
Ноги омыл старику.
(III, 9)

Все эти строки смущали меня. Я считал невозможным приписывать такому евангельски кроткому старцу зажигательные речи о беспощадной расправе с врагами.

Ошибка моя произошла оттого, что в ту пору я еще не в достаточной мере изучил так называемый эзопов язык шестидесятых — семидесятых годов. Из-за этого я оказался не способен понять, что атмосфера евангельской святости, которой поэт окружает старика декабриста на первых страницах «Дедушки», представляет собою обычный у Некрасова заслон от цензуры. Вспом-

ним хотя бы «Пир — на весь мир», где революционная притча о расправе с тираном изложена в духе церковных легенд:

Господу Богу помолимся,
Древнюю быль возвестим,
Мне в Соловках ее сказывал
Инок, отец Питирим.

(III, 363)

Кроме того, в печати оставалось тогда неизвестным письмо Некрасова к В. М. Лазаревскому (от 9—10 апреля 1872 года), где поэт утверждает, что старик декабрист выведен в поэме «нераскаявшимся», то есть «таким же, как был» (XI, 208). Лишь после того, как письмо появилось в печати, я счел себя вправе, не считаясь с первыми страницами «Дедушки», усилить найденным четверостишием ту часть, где поэт раскрывает подлинную роль старика декабриста как непримиримого борца с «самовластием», продолжающего эту борьбу и по возвращении из ссылки.

Печатание полного собрания сочинений и писем Н. А. Некрасова еще не пришло к концу, как я осознал свою ошибку и в XII томе исправил ее (с. 521).

Но поправка чересчур запоздала. Текст «Дедушки» напечатан неточно. Причина этой крупной ошибки — излишняя робость редактора, объясняемая неверным истолкованием первых страниц поэмы, которые были направлены на дезориентацию цензуры.

Таким же недопустимым проявлением робости необходимо считать безграничное доверие редактора к авторитету своих предшественников. Девиз текстолога — ничего не принимать на веру, ни в чем не полагаться на чужие слова, верить только собственным глазам.

Нарушение этого девиза не раз приводило к самым тяжелым последствиям. В 1918 году вышел «Некрасовский сборник» под редакцией В. Е. Евгеньева-Максимова и Н. К. Пиксанова. На странице 227-й в этом сборнике было указано, будто Некрасов является автором стихотворения «М. Н. Муравьеву-Виленскому», напечатанного в «Русском архиве» 1885 года (№ 6). По неопытности я не дерзнул в двадцатых годах усомниться в свидетельстве таких специалистов и напечатал эту мнимую муравьевскую оду в редактируемом мной однотомнике «Стихотворения Н. Некрасова» (1920), хотя и сомневался в ее подлинности. Свои сомнения я выразил в статье «Поэт и палач» (1921) и в книге «Некрасов» (1926)[1], но у меня

[1] «У нас, — писал я, — есть основания думать, что это не те стихи, которые читал Некрасов Муравьеву» (*К. Чуковский.* Некрасов. Л., 1926, с. 15. См. также Т. 8, с. 312 наст. изд.).

на первых порах не хватило мужества вполне довериться соображениям и фактам, противоречащим авторитетному указанию ученых.

Между тем, повторяю, одна из главных особенностей работы текстолога заключается именно в том, что он не оставляет без проверки ни единого факта, добытого другими исследователями. Заслуги В. Е. Евгеньева-Максимова в опубликовании новых некрасовских текстов бесспорны, но это не освобождало меня от обязанности тщательно анализировать новые тексты, вводимые им в обиход.

Вот и сейчас я, к великому своему сожалению, считаю невозможным принять ту поправку, которую он в одной из своих последних работ предложил ввести в «Размышления у парадного подъезда». Об этих стихах Чернышевский, как известно, писал: «В конце пьесы есть стих, напечатанный Некрасовым в таком виде:

Иль, судеб повинуясь закону...

Этот напечатанный стих — лишь замена другому»[1] .

Это значило, что указанный стих написан под давлением цензуры и что в подлиннике существует другая строка, которую мы, текстологи, должны отыскать.

В. Е. Евгеньев-Максимов был убежден, что эта строка уже давно им отыскана. «Мне удалось, — сообщал он, — разыскать старую, безусловно относящуюся к шестидесятым годам, рукописную копию «Размышлений...», в которой имелась строка: «Сокрушишь палача и корону». Для меня сразу же стало ясно, что именно о ней говорит Чернышевский»[2].

Но для нас это неясно и теперь. Ибо, если мы примем вышеназванный стих, нам придется заканчивать сатиру Некрасова такими непонятными словами:

Ты проснешься ль, исполненный сил,
Сокрушишь палача и корону,
Все что мог, ты уже совершил,
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил...

Не нужно слишком внимательно вчитываться в эти предложенные маститым ученым стихи, чтобы заметить, что они совершенно бессмысленны. В первых двух строках говорится, что рус-

[1] *Н. Г. Чернышевский*. Полн. собр. соч. Т. I. М., 1939, с. 754.

[2] *В. Евгеньев-Максимов*. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. Т. III. М., 1952, с. 143—144.

ский народ проснется и свергнет тирана, а в трех последних — что он заснул навсегда, неспособный к революционной борьбе. Конец пятистишия резко противоречит началу.

В том варианте, который мы знали до настоящего времени, такого противоречия не было, несмотря на то что его смысл был, как мы знаем со слов Чернышевского очень ослаблен цензурой. Между двумя диаметрально противоположными перспективами русской истории, намеченными в этих стихах, было поставлено: *или*. То есть утверждалась альтернатива: или русский народ сбросит с себя ненавистное иго, или захиреет и сгинет, причем читатель хорошо понимал, что Некрасов верует в первую из этих возможностей.

В новом варианте никакого «или» нет. Альтернатива исчезла, и получилась нескладица, которую, конечно, невозможно ввести в состав гениального текста. Разрушен синтаксис. Утратился смысл. Я не говорю уже о том, что самое словосочетание «палач и корона» не может внушать доверия. У Некрасова такой неуклюжей фразеологии никогда не бывало. Ведь «сокрушить палача» в данном случае значит уничтожить царизм, а вместе с ним все атрибуты царизма, в том числе, конечно, и корону.

Главное же обстоятельство, которое лишает текстологов права пользоваться предложенным текстом, заключается в следующем. Когда-то в давние времена, в 1918 году, этот текст был уже обнародован тем же исследователем, но тогда он читал этот текст совершенно иначе. Согласно тогдашнему его сообщению, найденный им текст был таков:

Ты проснешься ль, исполненный сил,
Сокрушив палача и корону,
Иль, судеб повинуясь закону,
Все, что мог, ты уже совершил...
и т. д.[1]

Этот вариант был осмысленнее, но и его было невозможно принять, так как в нем сохранялась строка:

Иль, судеб повинуясь закону, —

то есть та самая строка, которая, по словам Чернышевского, представляла собой *замену* другого стиха. Здесь же эта строка сохраняется в полной неприкосновенности. Другая строка не заменяет ее, а ставится с нею рядом. Так что исследователь едва ли имел основание утверждать с такой категоричностью, что «именно о ней и говорил Чернышевский». Чернышевский говорил не о

[1] «Некрасовский сборник». II. Пг., 1918, с. 9.

новой, дополнительной строке, а о варианте старой*, уже известной читателям.

В конце концов мы остаемся в неведении: который из двух текстов был обнаружен исследователем. В двух разных изданиях он воспроизвел свою находку по-разному, и оба раза она оказалась не отвечающей текстологическим требованиям. В одном случае нам предлагали эту строку как замену, в другом — как дополнение к тексту.

Пусть же не смущаются молодые текстологи никакими авторитетами, именами, заслугами. Пусть сызнова обратятся к некрасовским рукописям, сызнова изучают в них каждое слово и подвергают самой строгой проверке все, что было сделано нами.

12

У нас, некрасоведов, уже выросла крепкая смена, и дело в надежных руках. Еще за несколько лет до войны начал свою плодотворную работу молодой, пытливый, энергичный текстолог А. Я. Максимович, имя которого упоминалось на предыдущих страницах. Он изумительно быстрыми темпами проверил по рукописям всю проделанную мною работу и внес в нее ряд поправок, которые я принял с большой благодарностью. Он, например, гораздо вернее меня прочитал шестую строфу чернового наброска «Затворницы». Я (доверившись Пономареву) печатал:

Как ты была подавлена!.. Как гром
Гремел рояль, и голос твой печальный
Звучал как вопль души многострадальной,
Твой первенец наследовал потом, —

то есть воспроизводил этот текст в таком виде, в каком он печатался шестьдесят с чем-то лет во всех изданиях «Стихотворений» Некрасова.

Максимович установил правильный вариант всей строфы:

Я помню ночь... Казалось, грянул гром...
Играла ты и пела гимн печальный;
Ту песню, вопль души многострадальной,
Твой первенец наследовал потом.

И это не единственная поправка, внесенная в мою работу Максимовичем. Мною было прочитано «горячие слезы». Максимович поправил по рукописи: «горючие слезы». Я прочитал: «подмерзлой», он доказал, что необходимо «подмерзшей». У меня было «погибнет», он установил, что необходимо: «покинет».

Я вслед за Евгеньевым-Максимовым читал «плутократия», Максимович прочитал «плутосократия».

Выше я отметил свое несогласие с некоторыми текстологическими принципами А. Я. Максимовича. Но, конечно, нельзя было не принять с величайшей признательностью все перечисленные поправки молодого ученого — результат тщательной и кропотливой работы.

Утешительнее же всего было то, что уже через несколько лет другой молодой исследователь — Александр Гаркави — продолжил текстологический труд Максимовича и внес несколько важнейших коррективов в работу своих предшественников — в том числе и в работу А. Я. Максимовича.

Один из этих коррективов относится к некрасовскому стихотворению «Родина», которое в первом издании называлось «Старые хоромы». На раннем черновике этих «Старых хором» сохранились какие-то буквы, которые мы до сих пор не могли прочитать, так как они были густо зачеркнуты — очевидно, самим поэтом. При всей своей зоркости Максимович прочитал эти буквы неверно:

«В. П. Б —ну»,—

то есть «Василию Петровичу Боткину» — из чего следовало, будто Некрасов посвятил одно из самых боевых стихотворений такому эстету и эпикурейцу, как Боткин, с которым в то время (1846) был мало знаком и состоял лишь в деловых отношениях.

Но вот недавно в ту же зачеркнутую строчку всмотрелся Александр Гаркави и обнаружил, что она читается так:

«В. Г. Б — му», —

то есть «Виссариону Григорьевичу Белинскому», и, конечно, эта строчка приобрела для нас величайшую ценность. Отныне все биографы Некрасова, говоря о его отношениях к Белинскому, непременно упомянут многозначительный факт, который был обнаружен Александром Гаркави. Этому молодому исследователю некрасовская текстология обязана целым рядом подобных поправок. Особенно много было сделано им на основе изучения недавно найденной «солдатенковской рукописи», позволившей ему уточнить несколько неверных датировок, установленных еще Пономаревым в конце семидесятых годов. Он же установил более правильный текст некрасовского стихотворения «Старушка»[1].

Существует письмо Тургенева к Некрасову (от 25 мая 1856 года), где говорится, что некрасовское стихотворение «Муза» «произвело глубокое впечатление» в Москве. Прочтя это письмо, я ре-

[1] См. «Некрасовский сборник». I. М.—Л., 1951, с. 150—168.

шил, что в данном случае Тургенев имеет в виду стихотворение, которое так и озаглавлено — «Муза». Гаркави высказал мысль, и я с ним совершенно согласен, что речь идет о другом стихотворении Некрасова — «Замолкни, муза мести и печали».

В подцензурных изданиях Некрасова концовка стихотворения «Душно! без счастья и воли» неизменно печаталась так:

Чашу вселенского горя
Всю расплещи!

Гаркави доказал — и я с ним совершенно согласен, — что эту концовку на самом-то деле нужно печатать так:

Чашу народного горя
Всю расплещи![1]

К Александру Гаркави, работающему в Калининградском педвузе, примкнул молодой петрозаводский (впоследствии сахалинский) ученый М. В. Теплинский. Хотя его кандидатская диссертация о некрасовских «Современниках» не свободна от существенных промахов, в ней есть несколько отличных наблюдений, обновляющих текст сатиры. Текст этот, как известно, впервые появился в «Отечественных записках» 1875 года — и там был выведен какой-то юбиляр, которого чествовали за плодотворную административную деятельность:

Путь, отечеству полезный,
Ты геройски довершил,
Ты не дрогнул перед бездной.
(III, 401)

Перед какой бездной, никто не догадывался. Стихотворение казалось неясным и бледным, и мы полагали, что именно по этой причине Некрасов изъял его из текста сатиры. Но Теплинский, проанализировав вышеприведенный отрывок, пришел к убеждению, что «бездна» здесь отнюдь не метафора, как это казалось текстологам вот уже семьдесят лет, а название села, находящегося в Спасском уезде Казанской губернии, того самого села Бездна, где в апреле 1861 года поднялось крестьянское восстание, зверски усмиренное казанским губернатором графом Апраксиным. Очевидно, его-то и чествуют в сатире Некрасова — за то, что он «не дрогнул» перед убийством безоружных крестьян села Бездна.

[1] *А. М. Гаркави.* Произведения Н. А. Некрасова в вольной русской поэзии XIX века. — Ученые записки Калининградского государственного педагогического института. Вып. III. Калининград, 1957, с. 214, 219, 220.

Это новое осмысление отрывка обязывает нас перенести его в канонический текст.

Достаточно познакомиться с кандидатскими диссертациями о некрасовском творчестве, защищенными в эти последние годы юными филологами Москвы, Ленинграда, Вологды, Петрозаводска, Ярославля и других городов, чтобы прийти к самым оптимистическим выводам о будущих судьбах литературного наследия Некрасова.

В работе молодых некрасоведов замечательна ее коллективность. Они работают дружной артелью. Это обеспечивает им верный успех. Кроме того, для них уже существуют традиции. Им есть у кого учиться. Те вопросы, которые мне, например, приходилось решать в одиночку, учась на собственных ошибках и промахах, теперь легко и свободно решаются ими благодаря известным трудам С. М. Бонди, Б. Я. Бухштаба, А. С. Долинина, С. А. Макашина, Ю. Г. Оксмана, В. Н. Орлова, С. А. Рейсера, А. П. Скафтымова, Б. В. Томашевского, М. А. Цявловского, Б. М. Эйхенбаума, И. Г. Ямпольского и др., коллективными усилиями которых создан и утвержден подлинно научный — изощренный и гибкий — советский метод редактирования классических текстов. По своим темпераментам, интересам и вкусам эти ученые нисколько не похожи один на другого. Но как текстологи они образуют единую школу. В три-четыре года их питомцы проходят теперь (в университетах, институтах, педвузах) тот путь от дилетантизма к науке, для которого мне, самоучке, понадобилось чуть не полвека. Им, этим новым кадрам, смолоду вооружившимся подлинно научными методами, предстоит проверить этап за этапом все, что было сделано до них, внося в наши достижения свои коррективы, осуществить наконец свежими силами долгожданное академическое издание Некрасова.

Как всякий работник, уходящий в отставку и сдающий дела молодым, я считаю своим долгом представить им (а также новому поколению читателей) этот по необходимости краткий отчет о проделанной мною работе, не всегда умелой и безукоризненно правильной, но всегда одушевленной любовью к Некрасову и его гениальной поэзии.

1954–1960

ПРИЛОЖЕНИЕ

Татьяна Петровна Пассек и ее «Воспоминания»

Аскетический талант

[Екатерина Жуковская и ее «Воспоминания»]

Поэт-духовидец (Алексей Толстой)

Шевченко (1909)

Излишнее рвение

Шевченко (1914)

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ПАССЕК И ЕЕ «ВОСПОМИНАНИЯ»

1

Исторические события — все эти войны, победы, общественные движения — не отличаются особым разнообразием. История повторяется, — это стало общим местом. Именно теперь чаще всего приходится убеждаться, что каждое событие — только новая версия старого, давно уже слышанного повествования, что

Все это уж было когда-то*,
Да только не помню когда...

Порою даже как-то обидно, что у истории так мало изобретательности, что у нее такие старые мехи для новых, вечно новых вин:

Увы, на жизненных браздах*
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле Провиденья,
Восходят, зреют и падут, —
Другие им вослед идут...

Но есть нечто такое, что неотъемлемо принадлежит каждой эпохе — и только ей, — нечто индивидуальное, неповторяемое, характерное, — это «стиль эпохи», ее «колорит», ее «запах». Запах эпохи. Он не повторяется, — у каждого поколения свое лицо, выражение лица свое, раз навсегда, — и это лицо для всякого, изучающего историю, дороже всех войн, всех событий, всех перетасовок, ежедневно вершащихся на исторической сцене.

Изучить стиль эпохи — это значит пережить ее вновь.

Изучить ее события — это значит не узнать о ней ровно ничего.

Вот почему нам так дорог каждый клочок исчезнувшего быта, каждый осколок былых нравов, обычаев, привычек, вкусов, — вот

почему мы находим в них порою больше, чем во многих фолиантах, посвященных тщательнейшим историческим исследованиям.

Мемуары Татьяны Пассек тем то и драгоценны для нас, что за всю свою долгую жизнь (1810—1889) она бережно сохраняла все эти клочки и осколки и, через три четверти века, сумела донести, не расплескав, каждую каплю далекого прошлого, воссоздавая по мельчайшим черточкам стиль и колорит отдаленных поколений.

Говорит она, например, о первых годах прошлого столетия. Ни о Тильзитском мире, ни о Священном Союзе*, ни о Тугендбунде у нее ни слова, но зато со страниц ее книги так и встает то умилительное, незабываемое время, когда из Москвы в Петербург тянулись восемь суток и везли за собою

Кастрюльки, стулья, сундуки*,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы et cetera;

когда девиц называли Пленирами и Темирами* и помещали в пансионе эмигранток Данкар и Фальбала*; когда любовные записки сочинялись по письмовнику Курганова, а вирши князя Шаликова вызывали слезы, — так и встает, так и воскресает из могилы это легкомысленное время париков, котильонов, валдайских колокольчиков и муромских сальных свеч, — и мы вновь живем среди этих призраков, они для нас живы, несомненны, действительны, мы «*вздыхаем*» «*у ног*» Темиры или Плениры, мы шепчем ей, что она «*авантажна*», с этой коротенькой тальей и широчайшими рукавами, мы пишем ей в альбом, что

Ручей два древа разделяет,
Судьба два сердца съединяет, —

а она сидит за клавесином и краснеет, жеманно опускает глаза, и, видимо, отдает полный «*преферанс*» улану Пыхтину, или Буянову, или Ивану Петушкову* и скоро, вкусив «блаженство Гименея» (непременно блаженство и непременно Гименея*!) навсегда погружается в область пасьянсов, приживалок, французских романов, вязаний, лампадок и крестин, ежегодных крестин.

Все это снова живет, снова движется, — и живет и движется по-своему, своим собственным ритмом, — и подслушать этот ритм, отдаться ему, покориться ему дала нам возможность простая безыскусственная книга дочери отставного пехотного поручика Татьяны Петровны Пассек.

2

Снова перед нами звенит и сверкает, и расстилается веселый праздник родовитого русского барства во всех этих наследственных Наквасиных, Карповках, Пассековках...

Но записки Пассек не были бы таким ценным историческим памятником, если бы с первых страниц они не указали на основу всего этого пышного уклада — на крепостное право и на всю сеть унижений, обид, пороков, преступлений, которая так тесно была связана с этой основой.

То там, то здесь упомянет она двумя-тремя словами либо про камердинера, который только потому не женился на любимой девушке, что барин его не держал женатой прислуги, либо про рекрутский набор, отрывающий дворового человека от семьи и на двадцать пять лет отдающий его во власть зуботычин и шпицрутенов, либо про обмен девки Акульки на девку Парашку — но все это без всяких подчеркиваний и восклицательных знаков, — как об одной только черточке, одном только добавочном штрихе к котильону, Карамзину и пансиону m-lle Danquart:

«Когда ребенку, сидевшему на руках своей рябой няньки Аксиньи, приходило желание поцарапать ей лицо, и он ревел, если та ему не давалась, то барыня выходила из себя и, гневаясь, кричала: «Велика беда, что ребенок подерет твою рябую харю». Ребенок драл харю, а нянька, не смея ни жаловаться, ни сопротивляться, говорила в угоду госпоже: «Подерите, батюшка, подерите на здоровье».

Для того, чтобы окончательно иллюстрировать свою мысль, я позволю себе сопоставить две цитаты: одну из исторического сочинения о начале прошлого столетия, а другую из мемуаров Пассек, о той же самой эпохе, и предоставлю читателю судить самому, что выразительнее, рельефнее, ярче.

Историк говорит: «От возвышенных представлений о человеке и государстве в умах тогдашней интеллигенции не было прямого перехода к будничной действительности. Мир самых лучших понятий и идей существовал сам по себе, а традиционные отношения к русской жизни сами по себе. Исповедуя самые передовые учения в теории, русские люди почти не замечали, что их собственное поведение совершенно не согласовано с этими учениями. Это проистекало не из сознательного лицемерия, а из естественного разлада между привитыми путем образования понятиями и вековыми привычками под влиянием всей совокупности отечественных условий...» (*Е. Звягинцев*. Общественное движение в России).

А Пассек расскажет вам о том же самом совершенно иначе. Артиллерийский офицер, — скажет она, — имеющий два-три знака отличия, приехал в имение отца на взмыленных лошадях. Отец наломал березовый веник и сказал сыну:

«— Я много раз просил тебя беречь моих лошадей, но ты не счел нужным обратить на это внимание, ну, так я, как отец, считаю нужным научить тебя уважать слова родителей. Снимай кресты и мундир.

Изумленный сын стал извиняться и просил объяснить странное требование. Когда же отец без объяснений повторил свое требование, он снял кресты и мундир; тогда старик сказал:

— Пока на тебе жалованные царем кресты и мундир, я уважаю в тебе слугу царского, когда же ты их снял, то вижу только своего сына и долгом нахожу проучить розгами за неуважение к словам отца. Теперь как знаешь: или я тебя высеку, или мы навсегда чужие друг другу.

Александр Иванович знал настойчивый нрав отца, туда, сюда повертелся, ни на что нейдет старик, — разделся да и лег на пол...»

Как хотите, а этот березовый веник, вплетенный в одну гирлянду со Сперанским, французскими романами, клавесинами и котильонами, — стоит всех рассуждений о «разладе между привитыми понятиями и вековыми привычками».

3

И в этом хаосе, средь варварского пира,
Средь безобразием кишащей полутьмы, —

у всех этих Буяновых и Петушковых, — росли-подрастали балованные, капризные, испорченные дети и, просто чудом каким-то, становились Тургеневыми, Станкевичами, Огаревыми, Герценами, Грановскими, Киреевскими, Аксаковыми, Хомяковыми...

Наступала упоительная, пышная и бесплодная пора сороковых годов.

Для истории этого времени мемуары Пассек просто незаменимы. Двоюродная сестра Герцена, выросшая с ним под одной кровлей, она долгое время являлась чуть ли не единственным биографом этого гениального поэта-публициста. В первый раз она увидала его, когда ему не было и году, а в последний, — когда он был полновластным редактором «Колокола», громко и тревожно звонившим на всю Россию. За много десятков лет она бережно вносила в свой дневник все его изречения, мнения, пись-

ма, поступки и сделала свою книгу неизбежной для всякого, кто хоть сколько-нибудь хочет приблизить к себе образ этого доныне загадочного русского гения. Недаром все, так или иначе писавшие о Герцене, не могут обойтись без этих воспоминаний. Ни проф. Милюков, ни С. А. Венгеров, ни М. К. Лемке, ни В. Д. Смирнов, — никто. Герценом переполнены все три тома этих воспоминаний, начиная его каракулями о том, что мимо него в лесу бегают волки, и кончая несколькими десятками бесценнейших писем к Огареву за три последних года его жизни.

Сама она имела на Герцена большое влияние. Только в нынешнем году появилось в печати одно из писем знаменитого писателя, где между прочим говорится:

«Друг Огарев!.. Ты занимаешь огромное место в моей психологии. Ты и Татьяна Петровна (Пассек) были два первые существа, которые дали себе труд понять меня еще ребенком, первые, заметившие тогда, что я не сольюсь с толпой, а буду нечто самобытное...»

И далее:

...«Шесть часов провожу у Пассеков, и это время есть самое приятное, время какого-то тихого наслаждения. Там отдыхаю я от бурных порывов своей фантазии и дикой, и вольной, там не гроза, а небо чистое и голубое. *Сколько я обязан этому семейству!*» (*М. Лемке.* Очерки жизни и деятельности Герцена. «Мир Божий». 1906.)

И Герцен был прав.

Т. П. Пассек первая разглядела в шалостях и капризах балованного барчонка светлые задатки свободолюбия, гуманности, ратоборчества за благо униженных и оскорбленных людей. Разглядеть это было тем труднее, что в той уродливой среде, праздной и невежественной, все эти задатки принимали порою крайне извращенную форму.

То он назовет «дворянскую книгу» с гербами и родословными — зоологией, то отдаст все свое имущество дворовому, которому за пьянство забрили лоб, то уйдет из детской в переднюю или в девичью, где «близкое соприкосновение с прислугой усиливает в нем ненависть к рабству и произволу», то дойдет «до обморока», узнав о незаконных поборах приказчиков, управляющих и конторщиков, то наслушается рассказов садовницы Прово о французской революции и начинает разглагольствовать пред кузиной, лежа ночью под приметанной к матрацу простынею:

— Была во Франции революция, все шумели, кричали, а кто не шумел и не кричал, тем рубили головы, народ бегал по улицам, все бил, ломал, потом прибежали во дворец и там все перебили,

переломали, да надели себе на головы красные колпаки и пошли вешать людей на фонарях, хотели повесить на фонаре m-eur Прово, — насилу спасла его Лизавета Ивановна.

Насколько трудно было разузнать подо всем этим будущего идеалиста, гегельянца и великого деятеля освободительной эпохи, видно хотя бы из того, что родной его брат, Егор Иванович, слушая подобные рассказы о французской революции, всегда отзывался таким образом:

— Вот бы тебе тогда туда, то-то бы ты обрадовался, помог бы ломать, швырять, исковеркал бы все почище ихнего.

А маленькая Таня уже тогда чуяла в нем великую духовную и моральную силу. И за это он питал к ней горячую признательность и через много-много лет вспоминал о ней такими благодарными словами:

«Она со мной, тринадцатилетним мальчиком, стала обходиться как с большим. Я полюбил ее от всей души за это и теперь готов снова протянуть ей руку, а сколько обстоятельств, людей, верст протеснилось между нами...»

«...Ей-то передал я первые мечты свои, пестрые, как райские птицы, чистые, как детский лепет. Ей писал я раз двадцать в альбом по-русски, по-французски, по-немецки и даже по-латыни»[1].

Много нужно было ума, проницательности, чутья, чтобы учуять большую силу в тех уродливых, унизительных, коверкающих все и вся условиях, которые тяготели тогда над крепостнической Русью. И не знай мы ничего больше о Т. П. Пассек, будь нам известен один только этот факт, — одного его было бы вполне достаточно, чтобы признать в ней натуру недюжинную, выдающуюся русскую женщину. Свидетельства всех знавших ее подкрепляют это убеждение.

«Русская, широкая, даровитая натура, — пишет о ней близкий друг Герцена, жена поэта Огарева: — Татьяна Петровна Пассек редкое явление в русской журналистике: уже весьма пожилая, она стала писать, талант ее развивался, она стала энергично трудиться, мучимая страшной болезнью. Она не только трудилась, но умела заставлять трудиться и других, в ней была подталкивающая сила, вызывающая энергию других» («Русская старина». 1889, июль).

Известный историк В. И. Семевский говорит о ней:

«Татьяна Пассек была средоточием кружка, окружавшего ее мужа в Москве, в конце 30-х и 40-х годов, кружка мыслящих рус-

[1] Искандер. Из записок одного молодого человека. (*А. И. Герцен.* Записки одного молодого человека // Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. I. М.: Изд-во АН СССР, 1954, с. 257–316. — *Примеч. сост.*).

ских людей, пламенно любивших дорогое отечество, желавших ему преуспевания и посильно для него работавших. В этом кружке яркою звездою горело имя проф. Грановского...»

А вот мнение редактора «Русской старины» о самом ее труде:

«Исполнив священный долг матери-руководительницы, воспитав в своих сыновьях честных, усердных и способных слуг отечеству, Т. П. имела ужас лишиться обоих сыновей и именно тогда, когда ей оставалось лишь наслаждаться плодами своих забот о них. Она пережила и этот удар... Мало того, не чем другим, как трудом, исполненным ума и дарования, она спешила заглушить свое ужасное горе. Т. П. взялась за перо, и вот на страницах «Русской старины» с 1872 г. стали появляться ее обширные записки. Они обратили на себя общее внимание живостью очерков русского общества двадцатых и пятидесятых годов и талантливостью характеристик длинного ряда русских людей, подвижников преуспевания русского народа»[1].

Вот далеко не полный перечень этих «сподвижников» (и просто замечательных людей), с которыми Татьяна Пассек была коротко знакома: Аксаков, Бакунин, Вельтман, Сенковский, Огарев, Герцен, Загоскин, Алябьев, Витберг, Грановский, Шевченко, Даль, Погодин, Катков, Лажечников, Щербина, Мей, гр. Толстой...

4

В настоящее время личность и деятельность Герцена освещены довольно всесторонне, и заниматься ими здесь было бы излишне. Но есть в его жизни один уголок, на котором почему-то останавливались очень мало, а между тем для его исследования воспоминания Пассек дают такую массу материала, что поневоле хочется заняться им подольше.

Речь идет об отношении Герцена к эпохе русского Sturm und Drang-Periode.

В Герцене, как и во всяком человеке сороковых годов, было много мечтательного, непрактического, барственного. В конце-то концов, если поскоблить Герцена, в нем непременно окажется Степан Трофимович из «Бесов» Достоевского — эстетик, фантазер, citoyen du monde◊, поклонник искусства. Разве вы не чувст-

[1] Желающих ближе ознакомиться с обаятельной личностью Татьяны Пассек — отсылаем к воспоминаниям о ней С. Лаврентьевой в «Русской старине». 1890. II.

◊ гражданин мира (*франц.*).

вуете, что и у него над всеми его статистическими, политическими, экономическими и всякими другими устремлениями парит «царица из цариц», «идеал человечества» — Мадонна Сикстинская. Разве там, в тайнике этой души, души политического трибуна и агитатора, не слышится вам тихий шепот, тот же шепот «du pauvre»◊ Степана Трофимовича:

«Без англичанина еще можно прожить человечеству, без Германии можно, без русского человека слишком возможно, без науки можно, без хлеба можно, — *без одной только красоты невозможно,* ибо совсем нечего будет делать на свете! Вся тайна тут, вся история тут!»

Правда, Герцен не ставил красоты выше свободы, истины, братства, но это потому, что свобода, истина, братство и были для него красотой. Он был «Гамлетом Щигровского уезда»*, он был «лишним человеком» — этот страшный Герцен, которого столь многие представляли себе Маратом, людоедом, поджигателем. «Умная ненужность» — так полунасмешливо, полугорделиво окрестил он самого себя. Он был поэтом, «словесником», книжником, — и как бы он ни старался отдать себя «делу», и только «делу», — «слово» попрежнему имело над ним какое-то обаяние.

Но все же всю душу свою он отдал «делу», — и отдал бы ему жизнь, правда, с эффектным жестом, с красивым восклицанием, но отдал бы непременно.

Да и вынести на собственных плечах всю дореформенную эпоху, — разве это не было величайшим подвигом в ту пору, когда —

Даже сам Гомер
Не смел Омиром называться!

Но 60-е годы знать не хотели таких «подвигов». В лучшем случае они относились к своим предшественникам снисходительно и чертили над ними сочувственные эпитафии:

Для действительности скованный*,
Верхоглядом жил ты, зря,
И бродил разочарованный,
Красоту боготворя.

Созерцающий, читающий,
С неотступною хандрой
По Европе разъезжающий
Здесь и там — всему чужой.

◊ бедняги *(франц.).*

Хоть реального усилия
Ты не сделал никогда, —
Чувству горького бессилия
Подчинившись навсегда,

Все же чту тебя и ныне я...

Смысл всех этих похвал был один: ты барин, ты белоручка, ты лишний, ты бесполезный. В самый разгар шестидесятых годов Герцену приходилось выслушивать и более резкие отзывы: его звали и «гастрономом освободительных идей», и «дилетантом революции», и «ископаемым остовом мамонта» и т. д., и т. д.

А молодой повелитель тогдашних умов, Писарев, обращался к поколению Герцена и того задорнее:

«Об чем вы поете, — спрашивал он, — чего вы ищите, чего просите от жизни? Вам, небось, счастья хочется? Да ведь мало ли что! Счастье надо завоевать. Есть силы, — берите его. *Нет сил – молчите, а то и без вас тошно*».

Больнее всего было то, что все это исходило от тех, кого Герцен привык считать своими единственными союзниками и продолжателями. Непонятый, оскорбленный, отвергнутый теми, ради кого он пожертвовал родиной, талантом, свободой — он чувствовал, что пришел кто-то широковыйный и грубый и «с сапожищами» забрался в святая-святых его души. И его отношение к этим «сапожищам» очень выпукло выступает из воспоминаний Т. П. Пассек.

Отсылая читателя к этим воспоминаниям, я ограничусь здесь двумя-тремя наиболее характерными выписками.

«В Женеве появились из России молодые эмигранты. С их появлением горизонт жизни Герцена не расширился, а сузился, беседы сделались однообразны и скучны до того, что иной раз и сказать было нечего друг другу. За границей этих молодых людей ничто не интересовало; наукой, делами они не занимались; за газетами почти не следили. Герцену и Огареву они отравляли жизнь. Разлад повторялся в разных формах каждодневно, от различия образования и взглядов.

На Герцена и Огарева они смотрели, как на отсталых инвалидов, как на прошедшее, и наивно дивились, что те не очень отстали от них. Мало-помалу они приняли покровительственный тон и стали поучать стариков, потом обвинять в барстве, наконец в присвоении чужих денег».

Но как относился к ним Герцен? Пробегите его письма к Огареву в III томе «Воспоминаний» Пассек.

«Во вчерашнем письме я именно писал тебе — о бастовании[1], жернов останавливается все больше и больше, мы вяло толчем воду, окруженные смехом и подлой завистью. Россия глуха. Посев сделан, она прикрыта *навозом*, — до осени делать нечего».

«Навоз», «шайка русских негодяев», «милые щенята псевдонигилизма», «бездарная пена», «гниль на корню», «Каины нашей золотой юности» — так и мелькают все эти клички на страницах его писем.

«Насчет Базарова*, — пишет он в одном письме к Огареву, — позабудь ты существование Тургенева и отрешись от наших популярничаний, тогда ты поймешь слабую и нагую верность типа. Базаров нравственно выше последующих Базароидов. Он у Тургенева храбр, умен, *не вор, не доносчик, не вонючий клоп*... Он слаб, поверхностен, дурно задуман, но *он Бог перед этими свиньями*». (На эту же тему смотри статью Герцена: «Лишние люди и желчевики»).

Огарев не соглашался с такими отзывами, всячески защищал молодое поколение, отыскивал в нем хорошие стороны, но и для Огарева появление разночинца-нигилиста означало полнейшее банкротство — крах всех его идеалов, всего, чему он служил, поклонялся, молился. Даже творчество не увлекало его.

«— Едва ли буду в состоянии писать, — говорил он Татьяне Петровне в последние годы своей жизни, — да и кого что интересует в настоящее время? Даже и юношей не увлекают, не волнуют высокие подвиги, благородные чувства, надежды, упования, поэзия. Юноши есть — юности не вижу... Ты говоришь: пиши, — для кого? Наше время, сороковых годов, называют временем романтизма, фантазии, — пусть так, а это действительность? Правда, мы воспитывались художественно; да разве изящество и благородство не есть высшее проявление действительности?.. Эгоизм и грубое наслаждение нас возмущали.

— И в наше время этого было довольно.

— Так, но скрывали, совестились. Теперь хвалятся».

Такими художественными образами, штрихами, красками, пятнами написала Т. П. Пассек широкую пеструю картину русского общественного развития от эпохи торжественных иллюминаций, масонских лож и высоких талий до российского нигилизма, со всеми его наивными «сапогами, превышающими Шекспира», с естественными науками, с бесшабашной веселой «свистопляской», с нечесанными Решетниковыми и рябоватыми Якушкиными. Она, как никто, изобразила в своих записках встречу этих

[1] Речь идет о прекращении «Колокола».

двух миров, их роковое столкновение и роковой, неизбежный исход этой борьбы.

А разве ныне, в переживаемую минуту, не повторяется — и в каких размерах! — то же столкновение тех же двух миров, и память о прежних стычках разве уж так бесполезна для нас? Напротив, мне сдается, что всякий, кто пытается постигнуть современность, пытается уяснить себе, каким образом возникла и сложилась нынешняя общественная жизнь наша, со всеми ее загадочными непонятными, неожиданными событиями и тревогами, должен неминуемо обратиться к истории недавних общественных деятелей, присоединив к благодарности Герцена и свою благодарность Т. П. Пассек за ее любовные, тихие воспоминания «о дальних летах».

1906

ОМУЛЕВСКИЙ И ЕГО ТВОРЧЕСТВО

1

Омулевский был русский писатель, — и в этом вся его биография.

Этим уже сказано, что он голодал, и что работал до изнеможения; что на высоте своей славы, — автор прогремевшего на всю Россию творения, — он ночевал под забором; что он кашлял кровью, сидел в тюрьме, воевал с цензурой; что он, «упорствуя, волнуясь и спеша»*, отстаивал свои убеждения, умер в нищенских лохмотьях и был похоронен на общественный счет.

Омулевский был писатель шестидесятых годов.

И этим вполне определяется содержание его произведений.

Шестидесятые годы требовали от романиста, чтобы герои его разделялись на «людей с принципами» и «людей без принципов»; чтобы принципы эти высказывались даже в любовных записках, даже на смертном одре; чтобы «положительные типы» устраивали народные школы, а «отрицательные» доносили на «положительных» по начальству.

У них был свой ритуал, свой строгий устав — у этих шестидесятых годов, — и горе тому, кто смел им не подчиняться. Омулевский вначале покорно следовал этому ритуалу. Его знаменитый роман «Шаг за шагом» написан в полном соответствии с тогдашними требованиями.

Но скоро у него появилось одно свойство, которое было вовсе не обязательно для литераторов того времени, которое было даже как будто излишне для них и которое заставило Омулевского все дальше и дальше уйти от сурового устава. Никто и не заметил этого свойства в ту горячую и шумную пору.

А между тем оно-то и обеспечило ему долговечность, оно-то и выделило его из толпы других служителей ритуала.

Это «излишнее» свойство — талант, свежий, правдивый, сверкающий...

2

В ту пору, когда создавались произведения Омулевского, художественный талант только мешал его обладателю. Он связывал его по рукам и по ногам и не позволял ему изображать живую жизнь в стеснительных рамках тех излюбленных массой направлений, в которые она насильно втискивала живую действительность. Шестидесятые годы — годы радикальной ломки русского крепостнического строя — требовали от художника только черной и белой краски. Все, так или иначе, связаное с дореформенной Россией, нужно было клеймить во что бы то ни стало, все, — будь это пушкинская поэзия или полотняные сорочки. Все, так или иначе, связанное с новой, недворянской, разночинной Россией, — будь это даже нечесаные волосы или презрение к французскому языку, — нужно было превозносить, нужно было воспевать. Черная и белая — две только краски вошли тогда в литературный обиход. Но что было делать тому, у кого на палитре не две, а тысячи красок, оттенков, полутонов? Что было делать настоящему художнику? Гении, как Толстые, Тургеневы, Достоевские, — могли совсем уйти от велений массы и занять собою всю периферию тогдашней культуры — от «Современника» вплоть до «Русского вестника». Но таланты, как Лесков, Авсеенко, Станюкович, как Михайлов-Шеллер, как Омулевский, должны были укрощать свои порывы в угоду требованиям «направленства», сдавливать, сжимать, урезывать себя ради тех или других «принципов», «идеалов», «убеждений».

С их стороны это было отречением, схимничеством, жертвой на алтарь создавшего их общественного класса, — отречением добровольным и радостным, — но недаром один из таких аскетических талантов, стоя у самого края могилы и оглядываясь на славное свое прошлое, тихо и скорбно жаловался на тяжесть этой жертвы:

Мне борьба мешала быть поэтом*,
Песни мне мешали быть бойцом.

Омулевский тоже безропотно и даже радостно нес крест своего отречения.

Все требовали от него принципов, а таланта так и не успели заметить. Не до талантов было тогда.

3

Теперь не то.

Если в эпоху Омулевского русская литература была по необходимости и школой, и парламентом, и революционной баррика-

дой, то теперь, когда баррикады появились на улицах, школы начинают служить всеобщему обучению, а для парламента отведен Таврический дворец, — русская литература наконец-то может стать литературой — и поставить во главе угла своего не «направление», не «принципы», не «благородство мыслей», а художественный дар, талант, вдохновение...

Что же останется от творений Омулевского, если приложить к нему эту новую мерку освобожденной от оков свободолюбия русской литературы? Если отбросить от них, как ненужный балласт, все то, чем так восторгались наши отцы, и выдвинуть на первый план то, чем они пренебрегали?

Останется гораздо больше, чем было в нем до того. В них проступят такие черты истинной талантливости, столько очаровательного юмора и какой-то особой сибирской[1] лукавой простоватости и простоватого лукавства, что вы досадливо начнете отмахиваться от всех либеральных тирад, попадающихся в них, как от чего-то мешающего, лишнего, заслоняющего от вас автора.

Выберем наугад любое место романа «Шаг за шагом»*. Всюду мы увидим, что автор *сам не ценит своего дарования и всячески его прячет,* точно чего-то стыдясь. Вот хотя бы это место, где описывается разговор идеального героя Светлова с его братом Владимиркой. Светлов только что приехал из Петербурга в губернский сибирский городишко. Брат его Владимирко долго дичится и молча созерцает петербургского гостя. Наконец у них завязывается такая беседа:

— А у нас сегодня макароны будут, — сказал Владимирко для храбрости.

— Значит, мое любимое кушанье, — отлично!

— А вы любите красную икру? — спросил Владимирко, который был страшный охотник до всякой икры.

— Красную и черную, всякую люблю, — засмеялся Александр Васильевич к полному удовольствию брата. Последний, по поводу такого очевидного сочувствия его вкусам, решился даже присесть на кончик кровати.

— А вот Ванька, так прямо у рыбы из брюха ест.

— Неужели?

— Ей-Богу-ну, ест; он ее оттуда выдавливает. Мама ему не дает икры, так он, как с базару рыбу несет, и выдавит.

— Вот какой хитрец! — рассмеялся Александр Васильевич. — Только зачем ты его называешь «Ванькой»? — спросил он серьезно через минуту, — разве тебя кто-нибудь зовет «Володькой»?

— Нет. Да его мама так зовет, и все так зовут...

[1] Омулевский был родом из Сибири.

— Значит, мама нехорошо делает.

Завязывается разговор, в котором — как это знаменательно! — вопреки желанию автора, все симпатии на стороне невежественного и суеверного Владимирки, то есть на стороне того начала, которое автор всячески силится очернить, охаять, выставить в непривлекательном освещении. А Светлов, с которым Омулевский связывает все, что только кажется ему благородным, разумным, возвышенным, для нас, современных читателей, отдает чем-то пресным, пошловатым и банальным:

— У нашей Милашки тоже мать была, а отца не было, — сказал Владимирко, как бы желая уяснить себе новую жизнь.

— У какой это Милашки? Ах да! у собаки... И у ней непременно отец был, только ты, видно, не видал, как он к милашкиной матери бегал.

— А к Милашке отчего же он не прибегал?

— Да он, может быть, и к ней прибегал, а ты не заметил.

— У воробья тоже отец и мать есть, — сказал Владимирко, на этот раз уже не с вопросом, а совершенно утвердительно.

— И у воробья есть, — подтвердил, в свою очередь, Александр Васильевич.

— Смешно воробей скачет. Он — вор.

— Это отчего?

— А как же? Они все овес из конюшни у лошадей воруют.

— Отчего же непременно «воруют»? Просто знают, что там овес есть, и прилетают клевать.

— Нет, воробей — вор, — сказал Владимирко с убеждением.

— Значит, по-твоему, и голубь — тоже вор?

— Голубя убивать нельзя, — схитрил Владимирко.

— Да и воробья не следует убивать.

— А клопа?

— И клопа не следует убивать.

— Какой вы смешной! — сказал Владимирко. — А я умею по-вороньи каркать, — прибавил он вдруг.

Просто не верится, чтобы эта беседа приводилась как образец ума, благородства и находчивости главного героя. Для того, чтобы восхвалять его, автору пришлось урезать свой художественный талант, умалить свое чутье истинной действительности. Но «природу в дверь гони, она войдет в окно»: талант в чем-нибудь да скажется, как его ни угнетай. Этот очаровательный Владимирко, с капризными переходами мысли, с особой детской логикой, — в нем чувствуется «натура», он — живой, настоящий, он с избытком окупает все художественные изъяны в фигуре своего брата.

И этот небольшой отрывок отражает в миниатюре все достоинства и недостатки романа: все, что автор его ставит себе в плюс, оказывается минусом, и наоборот. Он все старается, например, рассеять в своем романе побольше тирад о школе, о полиции, о женском воспитании; но, гоняясь за ними, и сам не замечает, сколько он создает по дороге жизненных образов, художественно законченных фигур. Он наскоро отделывается от них, как от чего-то ненужного, торопясь поскорее перейти к новым и новым тирадам, но они, как алмазы в оловянной оправе, сверкают оттуда и доныне, тогда как оправа — где она? — Стерлась, согнулась, почернела...

Этот дядя Соснин, который когда-то водил знакомство с поэтом Мицкевичем и требовал от любимых женщин взаимности — с револьвером в руках, а теперь живет с деревенской бабой и без конца разыгрывает на скрипке полонез Огинского; этот доктор Любимов, толстый весельчак, баловень дам, с огромной практикой, который зовет Светлова «чучелом», «чучелейшим», «чучелизмусом» и громко при этом хохочет; эта Хлебалкина, которая всю жизнь с шестнадцати лет проводит с мужем на море, нередко командует за него судном, постоянно курит трубку, отплевываясь как-то боком, сквозь зубы, и подчас умеет выругаться, как истый, поседевший в бурях, моряк; эта Ирина Васильевна, выданная замуж против воли, а потом сочиняющая мужу такие стихи:

Вот тебе, милый дружок,
Собственной моей стряпни пирожок —
Сама и муку месила;
Не знаю только, угодила-ль:
Будто горьковато попалось масло коровье...
А впрочем, кушай на здоровье! —

Наконец, вся эта детвора, — этот солидный Гриша, кокетливая Калерия, этот добродушный и лукавый Владимирко, — все эти шумные, смеющиеся, ярко освещенные фигуры, совсем ненужные обличительным целям автора (и даже вредящие им!) — пробиваются сквозь каждую щель, порою сами пробивают брешь в безжизненном остове романа, громко свидетельствуя о свежем, молодом и широком таланте того, кто против воли вызвал их к жизни и свету...

4

То же самое и в стихотворениях Омулевского.

Описания природы, картины, образы, краски, несомненно — самое ценное, что есть в них. Но поэт целомудренно воздержива-

ется от угождения своему таланту и почти всецело посвящает себя риторическим гражданским мотивам — слабейшей стороне своего дарования. Стоит ему только уйти от связывающего его «направленства», и из-под пера его вырываются мастерские, истинно поэтические создания:

Мне не в первый раз, не в последний раз
Бить жену свою во похмельный час;
А и то сказать, бью не с радости, —
Приучен к тому, значит, с младости...
На моей спине сам родитель мой
Горе горькое вымещал хмельной,
Да и матушка не скупа была, —
Чуть не каждый день молодца драла...
У меня жена — баба знатная,
Не гулящая, не развратная;
А придешь хмельной — руки чешутся:
Подвернись она — распотешутся.

Он в совершенстве владеет простонародной речью, и всюду, где у него, — в романе ли, в стихах ли, — появляются мужики, они говорят не тем условным, книжным, искусственно простым языком, который вошел в русскую литературу вместе с писаниями гг. Засодимского, Златовратского и др., а подлинной, меткой и образной мужицкой речью. Прекрасны в этом отношении его «Деревенские песни», справедливо отмеченные критикой:

Не на то гляди, что дугою бровь:
Не в бровях кипит молодая кровь;
Не на то гляди, что коса до пят:
Не косой тебе одевать ребят.
А на то гляди, чтоб твоя жена
Молода была да была сильна;
Чтоб в руках у ней дело спорилось,
Чтоб вовек тебе с ней не ссорилось.

Вообще в этих «Песнях» чувствуется переход от прямолинейных идей 60-х годов к более утонченным и менее самоуверенным годам семидесятым — когда задорный писаревский рационализм значительно смягчился «идеалами и нуждами» народа.

Так же могуч становится Омулевский, когда, уйдя от стихов на журнальные темы, прикасается к родной сибирской почве. Нет таких красок, которых бы он пожалел для своего родного народа:

Еще краше, чем эти живые цветы,
Что растут на долинах родных,
Затаил он ума и души красоты
В неизведанных думах своих.

«*Неизведанные* думы» народа — это тоже отблеск семидесятых годов, когда Тургенев называл мужика сфинксом, Некрасов жаловался, что «не внемлет он и не дает ответа», а Глебу Успенскому чудилось в его речах грозное: *«Не суйся»*. Омулевский не остался чужд новым веяниям, и в романе «Попытка не шутка»* — тоже обратился к родному, «неизведанному» сфинксу. Здесь в общих чертах намечены чуть не все «проклятые вопросы» того времени: здесь и женский вопрос, и опрощение, и хождение в народ. Но народ Омулевского не отворачивается от него, как от Некрасова, не требует у него жертв и покаянных молитв, как у «кающихся дворян» того времени, — он является ему в образе мудрого, свободолюбивого, широкого душой сибиряка.

Народничество Омулевского весьма своеобразно.

Он не бьет себя в перси, не кричит мужику: «Федька, великодушный, прости меня», как это было с Новодворским, Левитовым и др. Он не приглядывается к мужику, словно к какому-то загадочному обитателю другой планеты, — как это делал Успенский, Каронин, Слепцов, Златовратский. Он чувствовал мужика плотью от плоти своей и костью от кости. В его рассказах мужиков обкрадывают («Медные образки»), мужиков секут («Сибирячка»), мужиков гноят в тюрьмах («Острожный художник»), но *у мужика есть свой мир, и там он свободен, умен, самобытен*. Омулевский близко подошел к этому «своему» миру мужика, потому что этот мир и для Омулевского был «своим». Он словно говорил в сибирском своем здравомыслии всем «журнальным» народникам:

Я ведь тоже народ,
Так зачем для меня исключенье.

Отношение народа к «неплательщику» во всех его рассказах гордое, насмешливое и даже снисходительное. Нечто вроде того, что в «Плодах просвещения»* у трех мужиков к господам, или в «Смерти Ивана Ильича»* у мужика Константина к умирающему барину.

Для барина — пусть и «кающегося», пусть и воспевающего народ, но все же барина — этот последний всегда являлся в образе того, —

Кто бредет по житейской дороге*
В непроглядной и темной ночи
Без понятья о праве, о Боге,
Как в подземной тюрьме без свечи.

Для Омулевского — этой нравственной «подземной тюрьмы» в жизни мужика не существует. Мужик у него или певец («Колесо

генеральского тарантаса»), или поэт («Острожный художник»), или философ («Попытка не шутка»). «Понятие о праве», в котором отказывал народу поэт, у Омулевского выражено тоже чрезвычайно сильно.

Достаточно вспомнить хотя бы разговор ямщиков с буйным проезжающим в великолепном очерке «Сутки на станции», или реплики, которые подавал староста Семен Ларионыч фабричному смотрителю, ворвавшемуся к нему на пирушку в романе: «Шаг за шагом», или, наконец, отношение «дворника» Микиты к доктору Марову в романе «Попытка не шутка», чтобы убедиться в чрезвычайно повышенном правосознании тех, у кого самые благожелательные друзья не могли заметить ничего, кроме терпения:

> Лица крестьян, их *терпенье* безмерное*
> Только досаду родит, —

жаловались порою сверстники Омулевского, а он не уставал рисовать такие сцены, ничего общего не имеющие с «терпением»:

— Что у тебя за гам такой? — начальническим тоном обратился смотритель к хозяину.

— Ты прежде-то шапку скинь, — с степенным достоинством остановил его староста, — не нехристь, чай! Тут почище тебя есть люди..

— Я спрашиваю, что у тебя за гам тут? Меня директор послал узнать.

— Скажи дилехтору, что никакого, мол, у старосты Семена гама нету, окромя того, который я сам же, мол, у его ворот и настроил, — без улыбки сострил Семен Ларионыч.

— Да ты мне отвечай, как следует, когда я у тебя спрашиваю. Вечорка у тебя, что ли?

— Покойников со скрыпками не хоронят, — невозмутимо пояснил староста.

Можно сказать, что все рассказы Омулевского из народной жизни зиждутся на этой основе правового сознания. Он любит постигать в народе элементы чести, а не совести, и в этом его отличие от других беллетристов-народников его времени.

5

Но с течением времени чуткий художник еще дальше ушел от своего первоначального аскетизма. В русской жизни произошел перелом: из сельской — Русь постепенно обратилась в городскую. Город — каменный, неприветливый, коверкающий тела и души людские — полновластно занял русскую литературу. До той поры

в русской литературе был великий изобразитель «городской», «петербургской» души — Достоевский, но после него этот мелкий забитый мир промозглых трактиров, крошечных квартирок, чиновничьих салонов, «обстановочки», «селедочки с уксусом» както совершенно заглох. И Омулевский был один из тех, кому было суждено снова открыть этот мир и из рук Достоевского передать его Альбову, Баранцевичу. К сожалению, Омулевский оставил очень мало произведений этого рода. Здесь, несомненно, ярче всего сказывался истинный характер его творчества. Здесь он точно не в силах сдержать широкий размах своего вдохновения. Здесь, словно сорвавшись с цепи, талант его рушил все искусственные преграды «убеждений», «принципов», «направлений», и сверкает, и переливается, и безумствует на свободе.

Особенно блестящ его очерк «Без крова, хлеба и красок». Этот художник Толстопяткин, который в страшный мороз подходит к трактирному посетителю и говорит: «Ассигнуйте мне пятачок в металлических фондах: при сегодняшней температуре любоваться красотами природы «неублаготворительно», — который хвастается, что он имел квартиру «в прошлом году» и «ел вчера утром»; эта барышня Аннушка — «дочь чиновника, по всем прочим статьям ничем не отличающаяся от любой деревенской бабищи»; эта девушка, избиваемая пьяным и голодным портным, — все это город, жестокий каменный город, в котором только любовный и нежный талант Омулевского может найти столько чистого, светлого и человечного.

Но этот же город не дал Омулевскому долго упиваться творчеством, освобожденным от аскетизма. 26-го декабря 1883 года Омулевского не стало.

1906

[ЕКАТЕРИНА ЖУКОВСКАЯ И ЕЕ «ВОСПОМИНАНИЯ»]

1

Скверному литературному критику не следует доживать до старости. Если бы, например, Антонович умер в шестидесятых годах, он так и не узнал бы о том, что все его критические отзывы были бессмысленный вздор. Но судьба словно нарочно довела его до преклоннейших лет, чтобы воочию обнаружить пред ним постыдную дикость его приговоров.

Некрасова обзывал он в шестидесятых годах «ренегатом», «мазуриком», «дубовым» поэтом. Каково же ему было на старости лет убедиться, что для миллионов читателей, для целых восьми поколений Некрасов — благороднейший певец бедноты и борьбы.

С легким сердцем доказывал он в шестидесятых годах, что Лев Толстой — идиот и пошляк, а Достоевский — «ракалия», «издыхающая тварь», «литературная шваль»; и каково же ему было увидеть впоследствии, что этим «тварям» воздвигаются памятники, что на языках всего мира о них пишутся тысячи книг, что весь мир признает их проникновенными гениями.

С Тургеневым — та же беда, Антонович карьеру себе сделал на том, что третировал Тургенева как «черкеса», «клеветника» и «изменника», а Тургенев оказался общепризнанным классиком.

«Где же были мои глаза? — ужасался, должно быть, старик. — И зачем только я брался за литературную критику, если я ничего, ничего в этом деле не смыслил, если перед лицом всякого произведения поэзии я был —

Как дурак, как не рожденный, как мертвый.

Ведь чем славнее становятся имена оплеванных мною людей, тем больше позора мне!»

Впрочем, Антонович был не такой человек, чтобы мучиться угрызениями совести. Не забуду, как я был удивлен, увидев его на

каком-то юбилее Некрасова. Мне казалось, что он должен сгореть со стыда, вспоминая в этот некрасовский день, сколько крови он испортил в свое время поэту, сколько он доставил ему слез и бессонниц, а между тем он держал себя так, будто это отчасти и его юбилей, будто он и сам в некотором роде Некрасов — он, который так свирепо преследовал поэта своей клеветой.

И преследовал не только в печати. Здесь, в этой книжке (т. е. в «Записках» Екатерины Жуковской — *ред.*), читатель найдет чудовищные сведения о том, как Антонович шпионил за Некрасовым в жизни. Узнав, что поэт приехал к своей будущей жене, Антонович взял бинокль и стал следить за ласками влюбленных: воспользовался тем, что они забыли завесить окно! Поступок свидригайловский, и поразительнее всего то, что Антонович не только не стыдился своего подвига, но громко трубил о нем в литературных кругах, и там не нашлось никого, кто указал бы ему, что сообщаемый им эпизод позорит не поэта, а его.

Ненависть его к поэту была не идейной, но личной, хотя ничего, кроме добра, он не видал от Некрасова. Поэт вытащил его из нищеты, ввел в свой журнал, в «Современник», предоставил ему в этом журнале одно из почетнейших мест, и никто не виноват, что Антонович по своей неспособности не оправдал оказанного ему поэтом доверия. Покуда в «Современнике» на первых ролях были Добролюбов и Чернышевский, естественно, Антонович оставался в тени, но когда Добролюбов умер, а Чернышевского заточили в тюрьму, он стал руководителем журнала и тотчас же пустился во все тяжкие, словно специально принимая все меры, чтобы скомпрометировать журнал, который его предшественники подняли на такую высоту. После первых же статей Антоновича обнаружилось с полною ясностью, что его единственным ресурсом является беспардонная брань. Да и этот ресурс был использован им неумело, и хотя каждая ругательная его статья била на громкий скандал, скандал выходил у него скучноватый, так как писал он тягуче и нудно, вялыми, тусклыми, многословными фразами, без того радостного убеждения в своей правоте, которое придавало столько неотразимой силы и — я бы сказал — красоты самым опрометчивым суждениям его замечательного противника — Писарева.

Кроме того, как и все скучные люди, он считал себя большим остряком и непрестанно откалывал в своих статьях такие семинарские остроты, что было неловко читать. Своих идей он никаких не имел и беспрестанно пережевывал чужие. Мудрено ли, что его появление в том самом отделе журнала, в котором дотоле печатались Белинский, Добролюбов, Чернышевский, вызвало пламенное негодование в литературной среде.

«Каким образом, — возмущалось «Русское Слово», — редакция журнала, всегда отличавшегося тактом, позволила открыть у себя какой-то балаган, наполненный кривляньем и буффонством?..» «А вам, г. Некрасов, не стыдно помещать такую мерзость на страницах вашего журнала? Или вы на все махнули рукой?»

Не нужно думать, что Некрасов охотно пошел на это унижение «Современника». Нам известны документы, показывающие, что уже в 1864 году он весьма нелестно отзывался о личности своего *первого критика*. Но беда в том, что другого критика взять было неоткуда; Антонович же хоть тем был хорош, что смолоду сам Добролюбов и сам Чернышевский наставляли его в своей вере и на первых порах он являлся как бы хранителем их великих преданий. Но когда обнаружилось, что он всего только их обезьяна, что он окарикатурил их мысли, что их задор у него превратился в развязность, а их сокрушительный натиск — в мелкие придирки к пустякам, Некрасов стал искать случая, чтобы избавить свой журнал от Антоновича.

Едва ли это удалось бы ему, если бы не помогло несчастье: в апреле шестьдесят шестого года его журнал был закрыт. Через год, затевая новый журнал («Отечественные записки» в новой редакции), поэт не только не пригласил Антоновича, но, напротив, добился того, чтобы туда вошел враг Антоновича, Писарев. Для Антоновича это был страшный удар. По обычаю всех бесталанных людей он не допускал и мысли, что его отстранили за его неспособность, стал искать каких-то посторонних причин, и нашел их — в адском коварстве Некрасова. Ему померещилось, что, отстранив его от нового журнала, Некрасов тем самым изгнал оттуда все честное, идейно-благородное, что без него, Антоновича, журнал неминуемо должен загрязниться и пасть. Отсюда его скандальная брошюра «Литературное объяснение с господином Некрасовым»*, где он с обычной своей докучливой яростью доказывает, что Некрасов — мошенник, а журнал Некрасова — грязный литературный трактир.

Конечно, это был бред оскорбленной бездарности. Журнал Некрасова оказался одним из самых могучих рычагов революции, и если порвал с нигилизмом, то лишь для новой, более революционной идеи — «народнической», так как Некрасов своим гениальным журналистским чутьем угадал, что песня нигилизма уже спета, что революционной молодежи семидесятых годов необходимо новое знамя, которое он и воздвиг в возрожденных «Записках» — вместе с Елисеевым, Щедриным, Михайловским и Глебом Успенским. Порывая с Антоновичем, Некрасов тем самым порывал с нигилизмом, и в этом скрывался глубокий общественный смысл. Разрыв с Антоновичем в начале семидесятых го-

дов был так же исторически необходим, как в конце пятидесятых годов разрыв Некрасова с Тургеневым, Фетом, Львом Толстым и другими «дворянами». Время показало, что Некрасов был прав. Напрасно Антонович пытался в семидесятых годах возобновить свою журнальную деятельность: новый читатель отвернулся от него, так как новые птицы пели уже новые песни, а он по-прежнему с постылым упорством повторял зады, которым его научил Добролюбов.

Вскоре окончательно пренебреженный читателями, он поступил на казенную службу и здесь преуспел гораздо больше, чем в критике: дослужился до генеральского чина.

Соратник Добролюбова, ученик Чернышевского сделался «его превосходительством».

2

Нисколько не похож на Антоновича был его товарищ Жуковский. Нельзя себе представить двух более разных людей. Но судьба у них сложилась почти одинаково. Смолоду этот Жуковский был тоже большой радикал. Смолоду он прогремел как бестрепетный сокрушитель дворянства.

«Дворяне — дармоеды и воры, — восклицал он в журнале Некрасова. — Они обокрали крестьян! Украденная ими сумма равняется шести миллиардам!» Жуковский настойчиво требовал, чтобы они вернули награбленное.

При этом Жуковский злорадно предсказывал, что скоро дворяне разорятся вконец, а их дети сделаются «салонною сволочью» и пойдут в лакеи к кулакам, готовые во всякую минуту продать народ за бутылку шампанского.

Статьи произвели переполох. Некрасов подчеркнул их значение, обращаясь к Жуковскому якобы от лица разоренных дворян:

Нынче журналы читая*,
Просто не веришь глазам.
Слышали — новость какая:
Мы же должны мужикам.
Экой герой-сочинитель!
Экой вещун-богатырь!
Верно ли только, учитель,
Вывел ты эту цыфирь?..
Если ее ты докажешь,
Дай уж нам кстати совет:
Чем расплатиться прикажешь?
Суммы такой у нас нет.

Нет ничего, кроме модных,
Но пустоватых голов,
Кроме желудков голодных
И неоплатных долгов,
Кроме усов, бакенбардов,
Да «как-нибудь» да «авось»...
Шутка ли! шесть миллиардов!
Смилуйся, что-нибудь сбрось!

Статьи эти, как мы видим теперь, оказались пророческими. Написаны они задорно и страстно. Для нас они замечательны тем, что в них, едва ли не впервые, появились слова: «долг народу», ставшие впоследствии лозунгом всего поколения. Наряду с этими статьями Жуковский печатал столь же пылкие передовые в крайне левой газете «Народная летопись»*, близкой к революционным кругам. Он негласно редактировал эту газету.

Конечно, за статьи в «Современнике» его привлекли к суду — вместе с Пыпиным, ответственным редактором. Процесс оказался громкий; радикальная молодежь зашумела. Дворянская «Весть»* предавала его анафеме.

Суд щегольнул либерализмом и оправдал подсудимых, но по жалобе прокурора дело было рассмотрено вновь, и их, конечно, признали виновными. Впрочем, наказали не строго: гауптвахта и мелкий штраф.

Некрасов откликнулся на этот процесс длинным стихотворением «Суд»*.

Благодаря этому процессу Жуковский приобрел репутацию потрясателя основ и борца за свободу. Но, конечно, это была только иллюзия. Грозный обличитель дворян был и сам типичный дворянин. В его биографии прямо указано, что даже свои антидворянские статьи он писал будто бы в интересах дворян, дабы предостеречь их об опасности. То же доказывал на суде его адвокат. Мы думаем, что это неверно, что в то время Жуковский искренно примкнул к разночинцам, так как вообще был человек очень искренний. Но, конечно, дворянская закваска в нем осталась. Уже самое разнообразие его талантов, интересов и вкусов показывало, что он был скорее Райский, чем Волохов*. Он вечно увлекался, разбрасывался, отдавая душу то виолончели, то живописи, то математике, то беллетристике, то скульптуре, то политэкономии, причем ему мерещилось, что в политэкономии он совершил великие открытия, сблизив ее с физикой и математикой. В этом дворянском разбрасывании была какая-то душевная прелесть, тем более, что был он человек непрактичный, нуждающийся, обремененный семьей. Больше всего его тянуло к кабинетной

работе, а если он стал публицистом, то просто потому, что его захватило горячее время, и он очутился среди горячих людей.

Вскоре, впрочем, жизнь остепенила его и перевела на новые рельсы. Огромную роль в этом деле сыграла та же злополучная тяжба с Некрасовым, которая сгубила Антоновича. Жуковский (как и Пыпин) из рыцарских чувств не пожелал войти в некрасовский журнал, если туда не войдет Антонович. Так как Некрасов уклонился от этого, то Жуковский примкнул к Антоновичу в составлении брошюры против злодея-Некрасова. В этой брошюре он поместил несколько поистине безумных страниц, доказывающих, что Некрасов уже двадцать лет ежегодно крадет у своих сотрудников по двадцати тысяч рублей!

Эти страницы не прошли ему даром.

После выхода брошюры имя Жуковского надолго связалось в уме у читателей с именем Антоновича. «Антонович и Жуковский» стало как бы названием фирмы, тем более что в том же 1869 году ими было предпринято совместное издание научно-популярного журнала «Космос», где, конечно, они не могли удержаться, чтобы не выругать того же злодея — Некрасова.

«Космос», конечно, не имел никакого успеха и скоро зачах, а Жуковский после нескольких лет нищеты в конце концов поступил на казенную службу, где, подобно Антоновичу, дослужился до высокого чина.

Министр финансов Бунге сделал его одним из своих ближайших сотрудников и вскоре назначил управляющим Государственным банком, а когда при министре Витте ему пришлось покинуть эту должность, он сделался членом Совета министра финансов, а потом и сенатором.

В качестве управляющего банком он оказался, конечно, величайшим бессребренником, человеком щепетильнейшей честности, но, конечно, от революционных идей у него осталось очень мало. Еще в семидесятых годах он нашел себе тихую пристань в «Вестнике Европы» Стасюлевича, где писал бесшумно и умеренно. В последние годы жизни он, как и подобает сенатору, затеял большую ученую книгу, посвященную всеобъемлющей теме: «девятнадцатый век и его нравственная культура»*. В этой сенаторской книге он, конечно, доказывает, что социализм на земле вообще невозможен, что марксизм, как система, перестал давно существовать, что надеяться на какие-нибудь социальные катастрофы бессмысленно, а надо возложить все надежды на капиталистов-промышленников, которые сами, ради собственных выгод, скоро начнут улучшать положение рабочих. Покуда же эти золотые времена не пришли, улучшение быта рабочих возможно

лишь со стороны государственной власти при помощи постепенных реформ!

Поистине сенаторские мысли! От пламенных лозунгов, которыми юный Жуковский волновал молодежь шестидесятых годов, не осталось у него ни единого слова.

Такова — в самых коротких словах — история двух якобинцев, которые стали сановниками.

Самое доброе, что можно сказать о них, сказано их великим врагом:

Не предали они — они устали
Свой крест нести:
Покинул их дух гнева и печали
На полпути.

3

Этой роковой перемены, происшедшей с Жуковским, мы не должны забывать, читая записки его жены, Екатерины Ивановны.

Конечно, Екатерина Ивановна, вслед за своим мужем совершила такой же постепенный (и для нее незаметный) отход от идей и людей шестидесятых годов.

Весь боевой радикализм, которым отличалась она в молодости и во имя которого она принесла столько жертв, выветрился у нее к зрелому возрасту.

Хотя и в старости она по инерции считала себя прогрессисткой, все же она не могла не усвоить хоть отчасти психологию супруги директора банка, сенатора, большого чиновника. Не то чтобы она «раскаялась в заблуждениях юности» — нет: она просто вошла в другой быт.

После 1869 года, после появления знаменитой брошюры, направленной против Некрасова, она вместе с мужем вступила в среду постепеновцев, умеренных либералов, которые отнюдь не сочувствовали «крайностям» шестидесятых годов.

Из этой-то среды и вышли ее «Записки», и вот почему читатели не должны удивляться, что она, «шестидесятница», относится с такой нескрываемой злобой к лучшим представителям этой эпохи: к Слепцову, Сеченову, Щедрину и Некрасову.

Впрочем, если осмотреться, окажется, что она была шестидесятницей только отчасти. Она сама говорит в своей книге, что нигилисты в то время распадались на *аристократов* и *бурых* и что с *бурыми* она была во вражде. *Бурые* шли к революции, аристократы же веровали в мирный прогресс, так что политический радика-

лизм шестидесятых годов остался ей чужд совершенно. Весь свой пафос она отдала одной только сфере: семейной. Здесь она действительно бунтарка, достойная представительница шестидесятых годов. Здесь — но и только здесь — сказался ее нигилизм. Борьба за раскрепощение женщины, бунт против азиатского семейного рабства — этому она отдалась всей душой. По крайней мере в ее книге шестидесятые годы отразились почти исключительно этим.

Вообще ко всяким семейным неурядицам, неудачам и дрязгам она была чрезвычайно чутка, особенно если в них вскрывался деспотизм патриархальной семьи. Но необходимо отметить, что и *сами по себе* ее весьма занимали все явления этого рода: недаром в ее записках и уделено столько места любовным похождениям Коптевой, Слепцова, Плещеева, Некрасова и многих других. О собственной супружеской жизни она написала полкниги.

Писала она не то чтобы очень талантливо, но бойко, горячо и живописно. Хорошо владела диалогом и не боялась воспроизводить разговоры, происходившие лет сорок назад. Характерно для боевого ее темперамента, что почти всякий разговор в ее книге изображался ею как спор или ссора. Всякая беседа у нее превращалась в полемику. Это сильно драматизирует ее изложение и придает ее книге характер «увлекательной» повести.

И еще типичная черта: лишь об одном человеке говорит она в своей книге тепло. Это — Жуковский, ее муж. К остальным, почти ко всем, она безжалостна: Сеченов, Некрасов, Плещеев, Слепцов, Кусков, Салтыков-Щедрин — ни для кого не нашлось у нее доброго слова.

4

Особенно сурово она отнеслась к Некрасову, и мы считаем долгом указать, что ее обвинения основаны на ошибочных данных. Заблуждалась она вполне добросовестно, так как биография Некрасова была тогда совсем не разработана, но в настоящее время ее ошибки нетрудно исправить.

Когда ее воспоминания о Некрасове появились в печати, В. Е. Евгеньев-Максимов с чрезвычайной убедительностью противопоставил им фактические данные*, и все то злое, что она говорит о Некрасове, буквально рассыпалось в пыль.

Она говорит, например, что после закрытия «Современника» Некрасов не расплатился с подписчиками, присвоив себе всю подписную плату. Между тем *он выдал подписчикам* взамен *«Современника» дорогостоящее «Собрание сочинений Шекспира»**.

Она говорит, что подписка на «Современник» в 1866 г. приняла очень большие размеры и обогатила Некрасова. Между тем эта подписка *уменьшилась вдвое* против предыдущего года.

Она говорит, что Некрасов уклонялся от уплаты Жуковскому обещанных денег. Между тем сохранилось письмо Некрасова к Жуковскому, где поэт в полной мере признает этот долг* и только просит, ввиду отсутствия свободной наличности, дать ему отсрочку на несколько месяцев.

Она говорит, что Некрасов, напечатав резкие статьи ее мужа, трусливо уклонился от судебной ответственности, взвалив эту ответственность на ни в чем не повинного Пыпина. Между тем ей полагалось бы знать, что Некрасов сам выразил Пыпину готовность предстать пред судом*, но Пыпин не согласился, ибо, по смыслу заключенного между ними условия, Некрасов нес ответственность лишь за беллетристический отдел «Современника», а публицистикой журнала ведал Пыпин.

Но, повторяю, эти воспоминания ценны для нас не своею объективною правдою (таких вообще не бывает), а как человеческий документ, ярко характеризующий ту революционную ломку патриархального семейного быта, которая была начата молодежью шестидесятых годов.

Путь молодой Жуковской был мучительно труден, но личного подвига никакого здесь не было, потому что в ту пору таким же путем шли тысячи других русских девушек. Это было явление массовое. Тем-то и любопытны «Записки» Жуковской, что в них *типическая биография* всех нигилисток, вышедших из дворянской семьи.

5

Центральное место в «Записках» Жуковской занимает пресловутая Знаменская коммуна Слепцова. Эта коммуна весьма популярна в летописях шестидесятых годов: Лесков изобразил ее в «Некуда», Крестовский — в «Панургово стаде»; о ней читаем в мемуарах Николая Успенского, Скабичевского, Авдотьи Панаевой. Почти во всех этих книгах (за исключением последней) Слепцов выведен как самохвал, тунеядец и фат, превративший коммуну в гарем.

Жуковская опровергает всякие вздорные сплетни о разврате, будто бы царившем в коммуне. Оказывается, что коммуна была скорее монастырь, чем гарем. Но как неприспособлены были тогдашние люди — даже самые передовые из них — к сотрудничеству на коммунальных началах! Как мешали им пережитки дворянско-

го быта: мотовство, безделье, щегольство, безалаберность! Коммуна распалась именно потому, что «бурые» задумали наладить кооперативную жизнь совместно с «аристократами», к числу которых, кроме Жуковской и Головачева, принадлежал сам Слепцов*. Ясно, что между ними должен был рано или поздно начаться открытый бой, который в несколько месяцев превратил коммуну в развалины. Когда читаешь о тех раутах, с вином и цветами, которые еженедельно устраивали у себя «коммунары», о их связях со всякою «салонною сволочью», становится ясна вся трагическая несостоятельность этой попытки слияния «аристократов» и «бурых». Жуковская отчетливо вскрывает внутренние причины распада «коммуны», и в этом немалая заслуга ее мемуаров.

1930

ПОЭТ-ДУХОВИДЕЦ (ГР. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ)

1

Жизнь Алексея Толстого — это светлая легенда русской литературы, это волшебная сказка, в которую как-то даже трудно поверить, так она прекрасна. А сам он, словно сказочный царевич, совмещает в себе все, что только есть прекрасного и счастливого на земле.

Знатность, богатство, красота, радостный светлый талант, глубокая образованность — все это каким-то чудом слилось в одном человеке, и, кажется, не было в мире ничего, в чем отказала бы ему природа. Даже память — и та была у него такая, что он мог повторять наизусть целые страницы прозы; о богатырской силе его рассказывают чудеса. Его остроумие, разбрызганное в тысяче шуток, эпиграмм и пародий, доныне остается непревзойденным.

Детство поэта — праздник: сады и степи Малороссии; искусство Флоренции, Рима, Милана; влюбленность в Рафаэля, в Микель-анджело, в да-Винчи. Старец Гёте ласкает его на коленях*, Брюллов пишет его девически-прекрасные черты*, Жуковский заботится о его воспитании*.

Юность поэта — праздник. Светские победы, пиры, балы, увлечения. Гоголь, Аксаков, Тургенев, Гончаров — его друзья. Александр II с ним сердечен и прост. Императрица рада каждой его строчке. При дворе он свой. Все его хвалят, все его ласкают, все его любят.

Юность прошла — снова праздник, мирный, светлый, ничем не омраченный. Толстой либо за границей, либо в Петербурге, либо в великолепной своей «Пустыньке», либо в черниговском «Красном роге». Медведи, охота, леса и луга «в золоте и пурпуре», такие «торжественные, что слезы навертываются на глаза»[1].

[1] Из письма гр. А. К. Толстого к Я. П. Полонскому*.

Как ни вглядывайся в эти слезы, в них нет ни одной печали, ни одного осязательного горя. Даже семейное счастье было у этого царевича из волшебной сказки как-то слишком чрезмерно.

Незадолго до кончины он, как юноша, пишет жене любовные признания:

«... Не могу не сказать тебе то, что говорю тебе уже двадцать лет, что я не могу жить без тебя, что ты мое единственное сокровище на земле, и я плачу над этим письмом, как плакал двадцать лет назад... Думая о тебе, я в твоем образе не вижу ни одной тени, — *ни одной*, — все лишь свет и счастье»*.

Счастье, счастье, беззаботное счастье — в этом вся внешняя жизнь Алексея Толстого.

Но как суровы, как непреклонны и требовательны творения этого беззаботного счастливца. Его поэзия — поэзия долга. Его душа вечно светится высочайшим моральным идеалом и аскетически требует неустанного к нему приближения. Он, — этот смеющийся богатырь с девичьим лицом, — он проповедник правдоискательства, он пророк. Он шутит, улыбается, поет о женской любви, о «свежем духе березы», о неуклюжих и наивных героях упоительного киевского эпоса, — но всюду, во всем чуется строгая величавая дума о правде, об истине, о Боге. Даже плотская любовь — для него вся в этой думе. Даже ревнующей женщине умудряется он говорить о вечности:

Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре. —
О, не грусти, ты все мне дорога!
Но я любить могу лишь на просторе —
Мою любовь, широкую, как море,
Вместить не могут жизни берега.

Когда Глагола творческая сила
Толпы миров воззвала из ночи,
Любовь их все, как солнце, озарила,
И лишь на землю к нам ее светила
Нисходят порознь редкие лучи.

Изо всех его любовных поэм возникает тихая, светлая женщина — «сестра его души», обаятельная своей утонченной проникновенностью в душу любящего, страдающего, падающего:

Зачем твой ласковый всегда так робок взор
И очи грустные так молят о прощеньи,
Как будто солнца свет и вешние цветы,
И тень в полдневный зной, и шепот по дубравам,
И даже воздух тот, которым дышишь ты,
Все кажется тебе стяжанием неправым.

И любовь у него — не радость, не восторг, а какое-то подвижничество, возвышение души, приближение к нравственному идеалу. Даже Дон Жуан и тот у него мудрец*, искатель вселенской любви, Фауст; и в изменчивой страсти Дон Жуана неустанное, бессознательное служение Богу. Ибо — верит поэт —

Любовь — есть сердца покаянье,
Любовь — есть веры ключ живой.

Алексею Толстому, единственному из всех русских поэтов, было доступно в такой мере это ощущение духовных мук, борений и тревог.

Были поэты громче его, поэты сильнее его, но не было никого, кто так ощутительно, с таким могучим искусством умел бы приближать к нам высоты человеческого духа, ту «вселенскую», «предвечную» правду, красоту, истину, где все мы бываем только мгновениями, где мы — чужие, где нам тягостно и непривычно.

Скорее вниз, к удобным и маленьким мыслям, к маленькому душевному уюту! — говорим мы; а для него, для Алексея Толстого, там, на высотах духа, легко и свободно. Там он свой и о чем бы он ни пел, он неминуемо вернется к этим родным высотам и поможет нам приобщиться к ним. В наших низинах, в уродливой нашей среде могут быть и уродливые идеалы, — но поэт говорит нам: *каков бы ни был твой идеал*, слава тебе, если ты умеешь пожертвовать собой во имя его. У *Василия Шибанова* были рабские, холопские идеалы*, и поэт все же преклоняется перед Шибановым за то, что он послужил им, что умер за них, что в тюрьме, в застенке, под пытками

...слово его все едино —
Он славит свово господина,

то есть служит абсолютному для него началу преданности и рабьей покорности.

У князя же *Михайлы Репнина** — прямо противоположные идеалы: идеалы чести и боярского достоинства. Но Толстой преклоняется и перед ним, ибо и он послужил своим — пусть противоположным — идеалам, когда

...все подняли кубки, — не поднял лишь один,
Один не поднял кубка, Михайло князь Репнин —

и умер за верность велениям своего духа. Самый идеал — ничто. Служение ему — все. Идеал освящается жертвой — как бы мелок и хрупок он ни был сам по себе. У *Шуйского* и у *Годунова* — проти-

воположные идеалы. Оба они не могут быть правы. Прав кто-нибудь один из них. Но Толстой в гениальной своей трагедии «Царь Федор Иоаннович» преклоняется пред ними пред обоими, славит их обоих, равно влечет к ним наше сочувствие, так как оба они служат тому высшему, что есть в них, так как абсолютное благо — все равно какое, в их глазах выше, больше их самих; не оно для них, а они для него, — и Толстому этого довольно. У *Дон Жуана* идеал — сластолюбие, у *Иоанна Дамаскина*, напротив, идеал — отречение, и Толстой создает две вдохновенные поэмы, равно благословляющие этих двух столь враждебных друг другу героев. Они для него равно святы. И сладко нашему поэту настигать в человеке именно этот момент его духовной жизни — момент отречения от себя во имя того, что он считает выше себя.

«Слепой» отрекается у него от славы, от сочувствия, от княжеской ласки, во имя требований «чуждого ему духа», поэтического творчества; «Грешница» тоже ощущает этот «чуждый дух», идет за ним и отрекается от себя; князь *Владимир* в его знаменитой «Песне о походе Владимира на Корсунь», почуяв веления этого «духа», отрекается от былого веселья, от насилья, от язычества:

Что смутно в душе мне сказалось моей,
То ясно вы ныне познайте:
Дни правды дороже воинственных дней!
Гребите же, други, гребите сильней,
На весла дружней налегайте.

«Илья Муромец» в великолепной народной былине, где при строгом и выдержанном стиле столько свободного движения, столько поэтической непринужденности, тоже настигнут в момент отречения, отказа от земных благ во имя велений идеала:

Твой мне, княже, двор не диво,
Не пиров держусь;
Я мужик неприхотливый,
Был бы хлеба кус.

Правду молвить, для княжого
Не гожусь двора,
Погулять по свету снова
Без того пора.

Не терплю богатых сеней,
Мраморных тех плит;
От царьградских от курений
Голова болит.

Душно в Киеве, что в скрине, —
Только киснет кровь;
Государыне-пустыне
Поклонюся вновь.

Даже изменчивость *Дон Жуана* и та для Алексея Толстого является в основе своей отречением от прежнего идеала и от самого себя во имя идеала наивысшего:

Что мне до инквизиции, до смерти,
Когда, быть может, вправду я люблю!

Вот что освящает Дон Жуана в глазах его творца.

Большинство лирических творений Алексея Толстого посвящено опять-таки трагедиям *духа*, *духовной* борьбе, призывам к *духовной* силе, *духовной* красоте. Для живописи духа у него есть тысячи красок, тысячи образов; в области духа он — у себя дома, и самые неуловимые, еле доступные слову настроения умеет он выразить с изумительной легкостью и пластичностью. И так велика его мощь, что, пользуясь порою незатейливыми, простыми словами народной речи, он обращает их в сокровищницу тончайших, неуследимых духовных томлений и тревог:

Вырастает дума, словно дерево,
Вроет в сердце корни глубокие,
По поднебесью ветвями раскинется,
Задрожит, зашумит тучей листьев,

начинает он широким, уверенным, размашистым жестом пластическое изображение духовного переживания, и какие чеканные слова, какие осязательные образы служат ему для живописания самых туманных, неясных, смутных болений души человеческой:

А какая та другая думушка,
Что ни высказать, ни вымерить,
Ни обнять умом, ни окинути?
Промелькнет она без образа,
Вспыхнет дальнею зарницею,
Озарит на миг душу темную,
Много вспомнится забытого,
Много смутного, непонятного
В миг тот ясно сердцу скажется,
А рванешься за ней, погонишься —
Только очи ее и видели,
Только сердце ее и чуяло!
Не поймать на лету ветру буйного,
Тень от облака летучего
Не прибить гвоздем ко сырой земле!

2

Идеал освящается жертвой, — говорил в каждом своем творении гр. Алексей Толстой и, как мы видели, неустанно воспевал эти жертвоприношения пред алтарями многообразных идеалов.

Но в чем же был его-то собственный идеал? и какими жертвами служил этому идеалу сам проповедник?

С изумительной легкостью, в грациозных незатейливых образах открывает он эту святая святых своей души:

Темнота и туман застилают мне путь,
Ночь на землю все гуще ложится,
Но я верю, я знаю, живет где-нибудь,
Где-нибудь да живет Царь-Девица!

Как достичь до нее — не ищи, не гадай,
Тут расчет никакой не поможет.
Не догадка, не ум, но безумье в тот край,
Но удача привесть тебя может!

Я не ждал, не гадал, в темноте поскакал
В ту страну, куда нету дороги;
Я коня разнуздал, наудачу погнал,
И в бока ему втиснул остроги...

Алексей Толстой безумно влюблен в эту Царь-Девицу. Он и знает, что к ней «нету дороги», он и знает, что в пути его туман и мрак, но он всюду ищет ее, всюду осязает ее присутствие. Он когда-то ее видел, эту Царь-Девицу, она когда-то ласкала его, и теперь всю его жизнь — это только *воспоминание* о ней. Весь мир для него — только отражение ее красоты:

...все сокровища природы:
Степей безбережный простор,
Туманный очерк дальних гор,
И моря пенистые воды,
Земля и солнце, и луна,
И всех созвездий хороводы,
И синей тверди глубина, —
То все одно лишь отраженье,
Лишь тень таинственных красот,
Которых вечное виденье
В душе избранника живет.

(«Иоанн Дамаскин», I).

И можно ли, ощущая тревожащую близость этого «вечного видения», этой Царь-Девицы, не рваться к ее «таинственной кра-

соте», не звать ее, не тосковать о ней, не молиться ей в «густой» ночи бытия? Нет, если

— в каждом шорохе растенья
И в каждом трепете листа
Иное слышится значенье,
Видна иная красота, —

то поэт прав, отрекаясь от мира повседневных тревог:

Я в них иному гласу внемлю,
И, жизнью смертною дыша,
Гляжу с любовию на землю,
Но выше просится душа.

И, главное, повторяю, душа уже была там, «выше», она уже созерцала когда-то Царь-Девицу. Она только забывает надолго, навсегда свои былые видения. Кто же напомнит ей о них, кто возродит в ней угаснувший образ далекой, прекрасной *отчизны,* которую мы покинули, изгнанники, и куда нам давно уже «нету дороги»?

На этот вопрос у Алексея Толстого был знаменательный ответ, который непременно нужно приметить, чтобы хоть отчасти понять загадочную душу великого поэта.

Касание к «иным мирам», к прекрасному царству «Царь-Девицы», к вечным идеалам добра, истины, красоты, может дать душе одно только искусство, только оно одно, — вот этот ответ в грубых и упрощенных чертах.

Гениально изображает А. Толстой влияние искусства на человеческую душу. В звуках скрипки ему слышится, как

— рассказ убедительно лживый
Развивал невозможную повесть,
И змеиного цвета отливы
Волновали и мучили совесть.
И в туманных волнах рисовались
Берега позабытой отчизны.
Неземные слова раздавались
И манили назад с укоризной.
И так билося сердце тревожно,
Что ему становилось понятно
Все блаженство, что было возможно
И потеряно так невозвратно.

(«Он водил по струнам...»)

Не мудрость, не познание, не наука вернут нас назад, к берегам этой покинутой и «позабытой отчизны». Поэт твердо знает, что

Тут *расчет никакой не поможет*, —
Не догадка, не ум, но *безумье* в тот край,
Но удача привесть тебя может.

Познать истину, постичь блаженство, которое «было возможно и потеряно так невозвратно», можно только чрез «безумное» начало души человеческой — чрез искусство. В чем величие гения? В том, что он прислушался к этим «неземным словам», что заприметил в «темноте и тумане» эту «отчизну» и в волнующих, «мучающих совесть» словах поведал нам, забывшимся, в «убедительно лживых рассказах» высшую правду своего видения:

О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем,
Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен,
Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье,
И, как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки
Вдруг выступают, — так выступят вдруг пред тобою картины,
Выйдут из мрака все ярче цвета, осязательней формы,
Стройные слов сочетания в ясном сплетутся значеньи —
Ты ж в этот миг и внимай и гляди, притаивши дыханье
И, созидая, потом мимолетное помни виденье.

(«Тщетно, художник, ты мнишь...»)

А если это так, если познание истинного мира доступно только в искусстве и только чрез искусство, то что может быть выше, священней, величавее миссии художника на земле. Нет тех почестей, того поклонения, которых был бы недостоин истинный поэт, и Толстой всю душу свою положил, чтобы возвеличить, чтобы прославить, чтобы осенить неувядаемым венком образ певца, художника, псалмотворца.

3

Сколько у него этих певцов и художников во многообразных его творениях. «Иоанн Дамаскин» – порабощенный певец, «Слепой» – певец отвергнутый, «Алеша Попович» – певец очарованный и чарующий, «Змей-Тугарин» — певец пророчествующий, «Гаральд Свенгольм» – певец, сраженный своим вдохновением, — так и проходят они многоликой вереницей, а за ними еще и еще певцы, пророки, гусляры.

«Поет и на гуслях играет Садко», поет посол Магнуса пред Канутом («Канут»), поет гусляр в «в Феодоре Иоанновиче», поет Коршун в «Князе Серебряном».

И никто из первоклассных русских поэтов не умел передать такими сверкающими образами художественные переживания песенных звуков:

Звуки льются, звуки тают:
То не ветер ли во ржи?
Не крылами ль задевают
Медный колокол стрижи?
Пламя ль блещет? Дождь ли льется?
Буря ль встала, пыль крутя?
Конь ли по полю несется?
Мать ли пестует дитя?
Или то воспоминанье,
Отголосок давних лет?
Или счастья обещанье?
Или смерти то привет?

А та, что внимала его песне, —

Что внезапно в ней свершилось?
Тоскованье ль улеглось?
Сокровенное ль открылось?
Невозможное ль сбылось?

(«Алеша Попович»)

Вот смысл, вот назначение поэзии: открывать нам то, что было сокрыто, приближать нас к «невозможному», к светлому царству Царь-Девицы; слепой, заброшенный поэт одиноко творит песнопение и в нем —

Проснулось — что в сердце дремало давно,
Что было от лет и от скорбей темно —
Воскресло, прекрасно и чисто.

(«Слепой»)

Нет выше назначения, нет выше счастия.

И вдруг наступило время, пришли темные, Богом обиженные люди и сказали поэту: твое искусство не может дать абсолютного блаженства, приблизить к абсолютному совершенству. Ибо ничего этого на самом деле нет. Твоя Царь-Девица — обман. И незачем тратить силы, не зачем искать ее всюду: в «шелесте травы», в «гуслярном звоне», в песне Алеши Поповича. Поищем-ка лучше какого-нибудь другого, маленького, удобного, доступного людям счастья.

Так говорили 60-е годы — и немудрено, что гр. Алексей Толстой почувствовал в этом оскорбление своей святыни.

Для него искусство было приближением Бога к земле, пророчеством, а не вымыслом, молитвой, а не праздной забавою. Оно

было для него не отдыхом от труда, а трудом, работою, — самым серьезным и великим делом, на какое только способен человек.

А 60-е годы говорили ему, что в поисках необъятного он не дает того крошечного, что́ им было нужно от него. И вот между поэтом и временем завязалась борьба.

Эпиграммы, сатирические баллады, злые шаржи и элегические поэмы — все было мобилизовано Толстым на защиту своей возлюбленной Царь-Девицы.

Его идеал искусства, повторяю, был не в том, чтобы

Поэт на лире вдохновенной
Рукой рассеяной бряцал, —

а в том, чтобы он «строил свой псалтырь» «под звуки грома», влекомый к «таинственной отчизне». Поэт для Толстого — пророк, апостол, предтеча вечного, беспредельного Бога, и гнать поэта — это грех, это преступление, это святотатство. Суровый игумен запретил Иоанну Дамаскину песнотворчество, но так как

Над вольной мыслью Богу не угодно
Насилие и гнет;
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет, —

то старец, прозрев, с покаянием пал пред Иоанном:

Певец, святые вдохновенья
Из сердца звучного излей, —
Меня ж, молю, прости, о, чадо,
Что слову вольному преградой
Я был, по грубости моей!

То же святотатство свершали иконоборцы. Они говорили: «Божество неописуемо, отрекись от попыток изобразить его». Но разве недостижимость идеала отвлекает от жертвы?

Други, не верьте! Все та же единая
Сила нас манит к себе неизвестная.
Та же пленяет нас песнь соловьиная,
Те же нас радуют звезды небесные!
Правда все та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите во имя прекрасного
Против течения.

И с полным сознанием ответственности, которую налагало на него сравнение художников с апостолами, Алексей Толстой говорит:

В оные ж дни, после казни Спасителя,
В дни, как апостолы шли, вдохновенные.
Шли проповедовать слово Учителя,
Книжники так говорили, надменные:
«Распят мятежник! Нет проку в осмеянном,
Всем ненавистном, безумном учении!
Им ли, убогим, идти, галилеянам.
Против течения».

Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить нас своею гордынею:
На берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею!
Верх над конечным возьмет бесконечное,
Верою в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения.

Но хулители и слышать не хотели о какой-то «неизвестной силе», о какой-то «чудесной звезде вдохновения».

Они только что пережили весь ужас крепостного права.

«Поэзия», «вдохновение», «звезды» связывались в их представлении — вполне понятным образом — с насилием, с угнетением, с холопством, ибо поэты дотоле выходили почти исключительно из помещичьей, из дворянской среды.

Поэт — был синонимом обскуранта.

Гр. А. Толстой «ради баловства сочиняет бессмысленные баллады»* — таков был приговор тогдашней критики[1].

Баловство, а не пророчество, — да и разве иначе мог относиться к поэзии разночинец, затаивший в себе бесконечную ненависть ко всему, что́ так или иначе было связано с постылым дореформенным строем?

И что за пророчество, о чем? Какие тут пророчества, если разночинец только что познакомился с Дарвином, с Молешотом, с Бюхнером, только что, наперекор идеалистическим течениям в дореформенном барстве, стал рьяным позитивистом, сторонником положительного знания! Нет, «пророчества», «святыни», «соловьиные песни» — все это лишнее; нет, ясно, что Алексей Толстой — «враг просвещения, поклонник и проводник беззаветного холопства»; ясно, что он крепостник и враг освободительного движения.

Толстой, конечно, не остался пред ними в долгу.

Со всем блеском ослепительного своего юмора нападает он на враждебные ему идеи. И в порыве негодования создает целый ряд неувядаемых шедевров русского сатирического искусства.

[1] Цитирую по статье Ливенстима — «Вестник Европы». 1906. X.

«*Поток-богатырь*», «*Пантелей-целитель*», «*Два Лада*» – никогда ни до Толстого, ни после него на русском языке не создавалось таких тонких, оригинальных, художественных сатир.

Поток-богатырь, заснувший в Киеве при Владимире Красное-Солнышко, просыпается в Петербурге при Александре Втором. Посещает реформированный суд, вступает в спор с соседями —

...из их слов ничего не поймет
И в другое он здание входит;
Там какой-то аптекарь, не то патриот,
Пред толпою ученье проводит:
Что, мол, нету души, а одна только плоть,
И что если и впрямь существует Господь,
То он только есть вид кислорода,
Вся же суть в безначалье народа.

И, увидя Потока, к нему свысока
Патриот обратился сурово:
— Говори, уважаешь ли ты мужика?
А Поток вопрошает: — Какого?
— Мужика вообще, что́ смиреньем велик.
Но Поток говорит: — Есть мужик и мужик;
Если он не пропьет урожаю,
Я тогда мужика уважаю.

Так же судит здравомысленный русский богатырь о женском равноправии, о суде присяжных, о прогрессивной «интеллигенции» того времени. Но эти суждения его кажутся мягкосердными и чрезвычайно снисходительными, если их сопоставить со следующей молитвой Алексея Толстого к народному русскому угоднику Пантелеймону:

Они[1] звона не терпят гуслярного, —
Подавай им товара базарного!
Все, чего им ни взвесить, ни смеряти,
Все, кричат они, надо похерити!
Только то, говорят, и действительно,
Что́ для нашего тела чувствительно.
И на этих людей,
Государь Пантелей,
Палки ты не жалей
Суковатые!

Он, певец духа, вечный искатель того, что неуловимо, недоступно человеческому уму, чего «ни взвесить, ни смеряти» — был

[1] «Материалисты» 60-х годов.

оскорблен в лучших своих чаяниях и переживаниях. «Материалисты» казались ему какими-то калеками.

Есть меж нами душою увечные,
Есть и разумом тяжко болящие,
Есть глухие, немые, незрящие —

ибо только глухой не услышит тех звуков, что́

...рыдали всегда в беспредельном пространстве, —

только слепой не узрит тех о́бразов, которые «вечно носились над землею, незримые оку».

Но не такое было время, чтобы думать о вечности. Люди думали о минуте, и мысли о вечности казались им вредными, мешающими, приносящими им неискоренимое зло. «Работать нужно сию же минуту, сейчас, довольно болтали о вечности, о бесконечности, о небе, о звездах. Земля дороже, говорите о земле» — таково было общее настроение.

Мы уже видели, как высока и священна в глазах Алексея Толстого миссия искусства. Требовать от искусства пользы — было для него унижением. «Убить искусство так же легко, как отнять дыхание у человека, — писал поэт Я. П. Полонскому, — отнять дыхание под тем предлогом, что оно роскошь и отымает время даром, не вертит мельничных колес и не раздувает мехов»*. И вот в «*Балладе с тенденцией*» поэт притворяется сторонником своих врагов:

...полн иного чувства,
Я верю реалистам;
Искусство для искусства
Равняю с птичьим свистом.
Я, новому ученью
Отдавшись без раздела,
Хочу, чтоб в песнопеньи
Всегда сквозило дело.

«Дело» же заключается в том, что он уже больше не пишет «бессмысленных баллад», а придает им «тенденцию»: перечисляет те драгоценные человеческому сердцу явления и вещи, которые должны быть уничтожены, во имя «пользы», «выгоды», «всеобщего блага». Пред нами два Лада — жених и невеста; в роскошных одеждах бредут они по лугу:

Ей весело, невесте.
— О, милый! — молвит другу: —
Не лепо ли нам вместе
В цветах идти по лугу?

И взор ее он встретил
И стан ей обнял гибкой.
— О, милая! — ответил
Со страстною улыбкой:

Здесь рай с тобою сущий!
Воистину все лепо!
Но этот сад цветущий
Засеют скоро репой.

— Как быть такой невзгоде! —
Воскликнула невеста: —
Ужели в огороде
Для репы нету места?

А он: — Моя ты Лада!
Есть место репе, точно,
Но сад испортить надо,
Затем, что он цветочный.

За цветами следуют соловьи: они должны уступить место индейкам:

Подняв свои ресницы,
Спросила тут невеста: —
— Ужель для этой птицы
В курятнике нет места?

— Как месту-то не быти!
Но соловьев, о, Лада,
Скорее истребити
За бесполезность надо!

Тенистую рощу вырубят для пастбища и т. д., и т. д. И все это во имя пользы, все это по учению ненавистных ему «материалистов».

— Поведай, шуток кроме, —
Спросила тут невеста:
Им в сумасшедшем доме
Ужели нету места?

— О, свет ты мой желанный,
Душа моя ты, Лада,
Уж очень им пространный
Построить дом бы надо!

Вопрос: каким манером
Такой им дом построить?
Дозволить инженерам —
Премного будет стоить;

А земству предоставить
На их же иждивеньи —
То значило б оставить
Постройку без движенья!

Лада в ужасе: что же делать, чтобы спасти родину? Ее возлюбленный знает превосходное средство:

Чтоб русская держава
Спаслась от их затеи,
Повесить Станислава
Всем вожакам на шеи.

4

Казалось бы, все признаки ретроградства налицо: Толстой нападает на суды, на земство, на передовых русских людей; казалось бы, критики совершенно правы в своих обличениях.

Но, во-первых, разве не прав и проф. Н. Котляревский, когда он говорит про последнее стихотворение: «одно в этой балладе характерно, это то, что сатирик не нашел иного обвинения для ненавистных ему людей, *как обвинение во вражде к искусству,* точно у них и не было иных грехов»[1*].

А во-вторых — разве можно хоть на минуту забыть, что, во имя все той же абсолютной правды, над которой так смеялись тогдашние деятели освободительного движения, граф Алексей Толстой был великим поборником всего, что только было чистого, высокого и свободного в этом движении его эпохи.

Его «*Сон статского советника Попова*» навсегда останется недосягаемым образцом русской сатиры. Чиновник, который, явившись на поздравление к министру, забыл надеть панталоны, это только предлог для широкой и тонкой, поразительно жизненной картины нравов.

С изумительным мастерством языка поэт передает мельчайшие оттенки чиновной психологии и самим темпом речи, самими рифмами, самим напевом стиха придает своим действующим лицам особую непередаваемую комичность. Во всей этой сатирической поэме нет ни одного негодующего слова, ни одного неприязненного возгласа, — напротив, все в ней мягко, ласково, нежно, — и все же смело можно сказать, что русский язык еще никогда не звучал такой убийственно-злой, уничтожающей, шельмующей речью.

---

[1] «Вестник Европы». 1906. VII.

Министр, принимая поздравления подчиненных, радикальничает в круглых и запутанных переходах:

...России предстоит,
Соединив прошедшее с грядущим,
Создать, коль смею выразиться, вид,
Который называется присущим
Всем временам, и, став на свой гранит,
Имущим, так сказать, и неимущим
Открыть родник взаимного труда...
Надеюсь, вам понятно, господа?

Эти радикальные речи подали надежду забывшему брюки Попову:

— А что, — подумал он, — коль мой наряд
Понравится? Ведь есть же, право-слово,
Свободное, простое что-то в нем!
Кто знает? Что ж? Быть может! Подождем!

Разве может быть злее насмешка над чиновничьим либерализмом. И, право, не знаешь, чему больше удивляться — неумолимой ли иронии поэта, или тому утонченному изяществу, с которым он играет своими героями. Сколько красок, сколько оттенков бытовой живописи в этой повести о посрамлении беспочвенных упований чиновного либерала:

— Ба! Что я вижу!? Тит Евсеич здесь! — обращается радикальный министр к радикальному советнику:

Так, так и есть! Его мы точно знаем!
Но отчего ж он виден мне не весь
И заслонен каким-то попугаем?
Престранная выходит это смесь!
Я любопытством очень подстрекаем
Увидеть ваши ноги... Да, да, да,
Я вас прошу, пожалуйте сюда.

Но тщетны бывают надежды на начальственный либерализм:

В изумленьи
Министр приставил к глазу свой лорнет.
— Что это? Правда или навожденье?
Никак на вас штанов, любезный, нет?

И в результате такая резолюция «ревнителя народных прав»:

Вы, милостивый, смели, государь,
Приехать так? Ко мне? На поздравленье?
В день ангела? Безнравственная тварь!
Теперь твое я вижу направленье;

Вон с глаз моих! Иль нету — секретарь!
Пишите к прокурору отношенье:
Советник Тит Евсеев, сын Попов,
Все ниспровергнуть власти был готов.

И вот:

Под стражей ныне шлется к прокурору
Для следствия сей вредный человек,
Дерзнувший снять публично панталоны;
Да поразят преступника законы!

Как огрубела, как опошлилась русская сатира со времен Алексея Толстого. Где эта художественная красочность слов, образов, положений? Где эта колоритная живопись обличаемого явления? У Попова потребовали список сообщников совершенного им злодеяния, — и даже перечень их имен каким-то чудом выходит у Толстого заразительно-смешным, даже он вызывает художественные эмоции:

Явились тут на нескольких листах
Какой-то Шмит, два брата Шулаковы,
Зерцалов, Палкин, Савич, Розенбах,
Потанчиков, Гудим Бодай-Корова,
Деляверганж, Шульгин, Строженко, Драх,
Грай-Жеребец, Бабков, Ильин, Багровый,
Мадам Гриневич, Глазов, Рыбин, Штих,
Бурдюк-Лишай — и множество других.

К сожалению, изумительное стихотворение это более четверти века оставалось, из-за цензурных условий, почти недоступным для русского читателя, и только теперь у нашего журнала является счастливая возможность возвратить родной литературе один из прекраснейших ее перлов.

Нужно признаться к тому же, что русская действительность точно сама постаралась, чтобы стихотворение это не устарело и для нашего времени.

А разве не кажется написанным только вчера исторический обзор того, как в России вводили порядок*. Эта поэтическая сатира опять-таки жалит не злобными какими-нибудь выкликами, а тонкими красочными образами своими, многообразным, гибким, капризным своим языком. Пред вами целая вереница исторических характеров, и у каждого свой колорит, свой ритм. Вот хотя бы образ Великого Петра:

...«Мне вас жалко,
Вы сгинете вконец;
Но у меня есть палка,
И я вам всем отец.

Не далее как к святкам
Я вам порядок дам».
И тотчас за порядком
Уехал в Амстердам.

Вернувшися оттуда,
Он гладко нас обрил,
А к святкам так что чудо
В голландцев нарядил.

Меняются действующие лица, — меняется и ритм стиха:

Веселая царица
Была Елисавет:
Поет и веселится,
Порядка только нет.

Какая ж тут причина,
И где же корень зла,
Сама Екатерина
Постигнуть не могла.

«Madame, при вас на диво
Порядок расцветет», —
Писали ей учтиво
Вольтер и Дидерот, —

Лишь надобно народу,
Которому вы мать,
Скорее дать свободу,
Скорей свободу дать».

— «Messieurs, — им возразила
Она, — vous me comblez!»◊
И тотчас прикрепила
Украинцев к земле.

Пусть совершенно забудутся многие действующие лица этой поэмы, пусть исчезнет повод, по которому она была написана, но останется она сама, останется ее тонкая художественная красота.

Итак, даже в пылу разгоревшихся страстей, даже в свалке политических убеждений поэт остался верен своей Царь-Девице — абсолютной, вселенской, вечной правде. Он видел раздробленные лучи этой правды и там и здесь, в двух борющихся станах. Единственный изо всех своих современников, он осмелился открыто, громко, всенародно признаться в этом. Он ви-

◊ Вы льстите мне *(франц.)*.

дел, что великий идеал — тот самый, который был им прославлен и у Василья Шибанова, и у князя Репнина, у Дон Жуана и у Иоанна Дамаскина, у Шуйского и у Годунова — *равно* освещает и освящает обе враждующие стороны. Он видел, что великое зло пошлости и холопства тоже абсолютное, тоже вселенское, тоже вечное — омрачает их обе, — и боролся с ним, где бы его ни приметил.

— Двух станов не боец, — говорит он в известном своем стихотворении —

...но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими — досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами —
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снесть,
Я знамени врага отстаивал бы честь!

Это не двоедушие, не слабоволие, меньше всего это апатия. Алексей Толстой был слишком религиозной натурой, чтобы относиться безразлично к таким громадным нравственным вопросам, как участие в благоустроении родины. Нет, это — именно служение вселенскому идеалу добра — в какой бы форме он ни проявлялся.

Но такое жертвоприношение великим богам не могло не оскорбить малых. Было время, когда оба стана равно возненавидели Алексея Толстого, и с одной стороны клеймил его «мракобесом», с другой «нигилистом».

Странно и жутко перечитывать теперь те злобные, несправедливые, тупые выходки против величайшего идеалиста, какого только знала русская литература. Он перенес все клеветы, всю дикую слепую вражду, все незаслуженные обиды — и до конца остался верен своему вселенскому идеалу, верен — и одинок. Не было никого, кто бы мог преклониться пред его красивым подвигом. Кому было дело до его духовных терзаний? Кто замечал среди «мажорных», смеющихся его строк такие величавые томления:

Советов, угроз, обещаний так много,
Но где же прямая святая дорога?
С мучительной думой стою на пути —
Не знаю, направо ль, налево ль идти.

Одна только верная Царь-Девица подавала ему свой голос из «темноты и тумана», и ободряла его, и звала, и манила:

Махни уж рукой да иди, не робея,
На голос, который всех манит сильнее,
Который немолчно, вблизи, вдалеке
С тобой говорит на родном языке.

Он и шел за ним всю жизнь и — гребец «против течения» — ни разу не свернул со своего тяжелого пути. И, как памятник его подвига — остались эти великие, суровые, торжественные его творения, а те, кто гнал поэта, кто отвергал его Царь-Девицу, его непреклонный идеал вселенского добра, — где они? Кто помнит их имена, кто плачет, кто радуется над их созданиями? «Молчаливы и бесплодны их гробы, и нечего сказать на заброшенных их могилах».

Так мстит за себя прекрасная, строгая Царь-Девица — этот вечный идеал вселенской Любви, Красоты, Добра...

1906

1

Это просто поразительно, сколько у Шевченка разных покинутых людей. Он, кажется, не рассказал ни единой такой любовной истории, где бы любовники не покидали друг друга. Все эти его паны, москали, козаки, чумаки, кажется, специально для того и «кохаются» с различными «чорнобривками», чтобы, в конце концов, их непременно покинуть, и только под этим условием попасть на страницы к Шевченку.

Все помнят «Катерину», кинутую москалем. Но вот «Лілея», — опять то же самое:

Пан поїхав десь далеко,
А мене покинув.

Вот «Відьма»: «А він мене и покинув». Вот кинутая любовником «Наймичка». Вот «Титарівна», кинутая Никитою. Вот «Три шляхи», и в них опять-таки:

Той жінку покинув,
А той сестру, а найменший —
Молоду дівчину.

В поэме «Сон» чернобровка покидает казака «в хатині віку доживати». В «Причинной» казак покидает чернобровку. В «Хустине» покинутая чернобровка тщетно прислушивается, «чи не ревуть круторогі (волы), чи не йде чумак з дороги». В «Черниці-Марьяне» то же самое:

Не співає чорнобрива,
Тяжко-тяжко плаче, —
«Ой, вернися, подивися,
Зрадливий козаче».

Я уверен, что уже надоел читателю, составляя этот каталог шевченковских «кинутых людей», но ведь, как хотите, это пора-

зительно, такое изобилие. Раскрываю одну поэму, читаю: «Минув і рік, минув другий, — козака немає».

Раскрываю другую: буквально то же самое: «А москаля, її сина, немає, немає».

В третьей опять слово в слово:

Уже третій, і четвертий,
І п'ятий минає
Не малий рік, а Степана
Немає, немає.

(«Тополя», «Сова», «Невольник»)

И вся суть для Шевченка в том, что любящие «титаривны», Марьяны, Катерины ждут этих Степанов, казаков, москалей, и по той или иной причине дождаться не могут, и непременно, непременно гибнут. Кто, как Катерина, бросается в воду, кто, как «Причинна» или «Відьма», сходят с ума, кто просто умирает, все равно, но вот это-то напрасное ожидание любящим человеком любимого и вот эту-то гибель от такого напрасного ожидания и избрал почему-то Шевченко чуть ли не единственною своею темою, в любовных, по крайней мере, стихах. И никогда эта тема не надоедала ему. Блестящий ученик блестящего Брюллова или темный рядовой «пятого линейного батальона Оренбургского корпуса», в закаспийской пустыне, в полтавской деревне, в столице, он нет-нет, да и вернется к этим своим покинутым, и, должно быть, была же для него в покинутости какая-то эстетика и какой-то особенный поэтический ореол, раз он всю жизнь так верно служил этой теме. На проклятом Аральском море, в каком-то, черт знает, Косарале стал воспевать какую-то забытую Оксану, и тотчас же оказалось, что сразу в один год создал множество очаровательных народных песен, и, должно быть, сам не заметил, что одна за другой, чуть не все они говорят о том же: «Не вернувся из походу гусарин-москаль».

В одной песне — любовников разлучает вдова, в другой — «злая матір», в третьей — просто «люди», в четвертой «пан», в пятой «смерть», потом опять «пан», и опять «злая матір» и т. д., и всюду так или иначе «разлученный», «покинутый» говорит:

Коли ж згинув чорнобривий,
То й я погибаю.

И всю свою гениальную способность к обожанию, к умилению, к преклонению отдает тогда Шевченко на то, чтобы воспеть этого «покинутого», и вот его стихи уже не стихи, а какой-то акафист, какое-то величание, и сам он уже не поет, а буквально молится перед своим героем, простирается перед ним в прах.

«Великомученице!» — взывает он к одной «покрытке», и вот его обращение к другой:

О світе наш незаходимий...
Благоуханний сельный крине!

К своей сестре в одном стихотворении он обращается так: «Многострадалиця святая!» и т. д. Но, конечно, дело не в этих мелочах, а в общем молитвенном строе его поэзии.

2

Вообще к молитве была у него величайшая способность, недаром так хороши его «Псалмы», иные места «Еретика», иные обращения к Украйне, «Неофиты» и изумительная его «Мария».

Это нисколько не оды, и не гимны, вроде тех, что писали Китс или Шелли; для од надобен восторг, а восторга не знал Шевченко, — он знал только обожание, чрезмерное, нечеловеческое, и для него вдохновиться — это значило именно вдруг сверхъестественно заобожать кого-нибудь, так заобожать, как люди почти никогда не обожают друг друга, — заобожать что-нибудь «покинутое»: покинутую Катерину, или покинутую Украйну, или себя самого покинутого, и вдруг почувствовать с несомненностью, что это «покинутое» — свято, что свята покинутая Катерина, свята покинутая Украйна и свят он сам — покинутый Шевченко[1].

Без этого ощущения, что его «герой», его «сюжет» — свят (именно не только «идеален» или благороден, а непременно: свят), без этого крайнего благоговения он и строчки не мог написать, ибо, кроме религиозного обожания, ему никаких других чувств отпущено не было: он не умел «симпатизировать», любить, уважать, восторгаться — он умел только религиозно обожать.

Этот пьяный, лысый, оплеванный, исковерканный человек, когда садился за стол и брал в руки перо, становился как бы иереем: свершал богослужение пред своими покрытками, пред Днепром, пред самим собою — предо всем, что так или иначе покинуто. В «Марии» это богослужение явно, «Мария» — нескрываемая икона (и где тот, кто может читать ее без благоговения!), но все «Лілеи», «Наймички», «Причинны», «Відьмы», «Княжны» — все они в сущности такие же иконы, только поменьше, только попроще, и недаром Шевченко начинает свою «Відьму» словами:

[1] Он даже иногда проговаривался: «*святые* горы Днепра», «*святой* гетман Палей», «*святая* Волынь» и т. д. Но ощущение этой святости было у него и без таких слов всегда. Характерно, что во всех своих стихах он только один раз отозвался о себе неодобрительно.

Молюся, знову уповаю,
І знову сльози виливаю...
и т. д.

И главное, главное: покинутость. Покинутость всего: вот в «покинутой Богом» пустыне «стоить дерево високе, покинуте Богом», а под деревом покинутый Богом Шевченко. Вот «пустки», покинутые хаты, — их так много у нашего поэта. Вот Котляревский, чуть умер — «сиротами кинув і гори, і море, де перше витав». И это вечное ощущение, что «святая» Украйна, которой он «молится» без конца, что она непременно брошена навеки, как и все другое, любимое им, — и эти его послания «і мертвим, і живим, і ненародженним землякам моїм», с мольбами, чтоб они не бросали, и с анафемой за то, что они ее бросили. Это вечное ощущение: «Не вернеться воля... не встануть гетьмани», и опять: «Була колись гетьманщина, та вже не вернеться»; и опять: «Минулося, осталися могили на полі»; и опять: «Було колись, — минулося, не вернеться знову»; и опять: «Те що було, минулося, и знову не буде» и т. д. Украйна покинута, как и «Титарівна»; она сирота, как и все те бесчисленные (и довольно однообразные) женщины, которых так любил изображать Шевченко, и весь его безумный патриотизм — не отсюда ли он? Не потому ли поэт так религиозно обожал эту Украйну, что она казалась ему символом всяческой покинутости?

О, это несомненно: шевченковская «Украйна» есть отвлеченное понятие, нигде в географии не указанное. Эта «Украйна» есть то же, что для Сологуба «звезда Маир», то же, что для чеховских трех сестер «Москва», а для Гильды из «Сольнеса» — Апельсиния.

Если бы «Украйны» не было, Шевченко выдумал бы ее для себя, изобрел бы ее сам, потому что религиознейшей его натуре, среди всех явлений мира во что бы то ни стало необходимо было одно такое, которому он бы отдал всю свою нежность, и все свои молитвы, и всю свою гениальную способность обожать.

Поэтому так странно, когда говорят о каком-то патриотизме Шевченка и выводят из его «виршей» разные политические догмы. Если он и патриот, то патриот Апельсинии: недаром он даже Галилею сделал как бы Украйной (в «Марии»), недаром, изображая свою тоску, он ничего не придумал лучше, чем такое сравнение:

Тяжко, тяжко мені стало,
Так, *мов я читаю*
Історію Украйни.

И недаром он сам иногда признавался, что «взаправдашняя» Украйна совсем не то, что его Апельсиния (см., например, стихотворение: «І виріс я на чужині»).

Выдуманная «Украйна» была для него тем удобна, что он мог наделять ее — в чрезвычайной степени — какими угодно свойствами, и как же ему было всю ту покинутость, которую он видел во всех своих героях и которую неизбывно он ощущал в себе самом — как же ему было — в грандиозных размерах — не передать ее Украйне. И вот Украйна — «забытая мать», «вдова-сиротина», «погорелая пустка» и т. д. — и это ее свойство господствует у него надо всеми остальными, побуждая его к новым и новым молитвам.

3

А больше ничего.

Ничего, кроме святой и покинутой Украины, кроме святой и покинутой женщины и кроме него самого, псалмопевца этих святынь, тоже святого и тоже непременно покинутого.

Больше ничего, это те три кита, на которых держится у него вселенная. Правда, там где-то есть Бог, но Он нужен Шевченку ровно постольку, поскольку Он нужен покинутой Украйне и покинутым женщинам, а сам по себе ни разу не заинтересовал великого поэта. Шевченко определял Бога только по Его отношению к различным «Катеринам» и к святым берегам Днепра. Если Катерине плохо, или плохо Украйне, Шевченко пишет:

І Бог не знає,
А може, й знає, та мовчить.

Или: «А Бог хоч бачить, та мовчить». Или: «Те знає... Вседержитель... а може, ще й Він не добачає». Или: «Чи Бог тее знае? Бо се було б диво, щоб чути і бачить — і не покарать».

Его Бог непременно должен заниматься либо покрытками, либо Украйной. «А до то́го я не знаю Бога». До того — «Немає Господа на небі». Даже самое существование Божие зависит у него от судьбы этих «покрыток».

А потом опять: «Ми не знаєм, що твориться у Його там. А Він хоч зна, та нам не скаже». И опять:

Чи Бог бачить із-за хмари
Наші сльози?

И ещё: «А може, й сам на небеси сміється, батечку, над нами?»

И ни разу он не отвел взора от покрытки-Украйны и не взглянул на Бога — самого по себе, — отдельно от нее.

И что еще примечательнее: ни разу не задумался о смерти. В «Невольнике» ему, правда, подвернулся образ этого «непевного косаря», но так как поэт тут же обещает своей возлюбленной по-

сле кончины «витать» над нею, то ясно, что об ужасе смерти здесь и речи не может быть, равно как и в том стихотворении, где он жалуется, что умрет в тюрьме, покинутый, *вдали от Украйны.* («Понад полем іде»). Он просто не замечал ни Бога, ни смерти, завороженный своею покинутой Апельсинией.

4

Его называют поэтом горя человеческого, но он знал одно только горе: покинутость. Это горе он изображал гениально; прочтите его знаменитое послание к Казачковскому о самом себе, к Основьяненку, к Лазаревскому, прочтите все его любовные поэмы, все поэмы об Украине, все его лирические стихи, — словом, прочтите весь «Кобзарь», и вы убедитесь в этом.

Но кроме покинутости, он никакого горя в жизни не заметил, и был до странности бессилен изобразить все, что сюда относится. У него был единственный в сущности способ изображать горе: «сльози». Чуть где у кого несчастье, Шевченко пишет: «він заплакав», «покотились сльози», «хлинули сльози» и так дальше до бесконечности. Я пробовал подчеркивать в своем «Кобзаре» слова: «плачу», «плаче», «сльози», но увидал, что буквально придется исчеркать всю книгу — и бросил. Ярема в «Гайдамаках» идет на свидание. Его Оксана немного запаздывает; у Яремы тотчас же —

... Хлинули сльози.
Поплакав сердега.

И заплакал он о том, что она не заплачет о нем: «а ты не заплачеш», обращается он мысленно к ней. Даже минутная покинутость невыносима для шевченковского героя. Он плачет строк десять, а на одиннадцатой вдруг:

Та й заплакав сіромаха...
Плаче собі тихесенько —

и плачет напрасно, потому что Оксана в конце концов пришла. И чуть Оксана пришла, она тотчас же заплакала сама: «И сльози блиснули». И пошло: «не плач, сердце», «ти й справді плачеш!», «не плач же» и т. д. И это как в первых его вещах, так и в последних, когда он успел уже понять всю цену человеческих слез. В его «Петрусе», например, — «генеральша уночі тихенько плакать собі стала». «Ти, душко, плачеш?» «А генеральша плаче, плаче». «Ридала, билася... нечистую, огненную сльозу лила». «І ридала». «А ти аж плакала, молилась» и т. д. Но к чему примеры? Пусть читатель рас-

кроет любую страницу, и он всюду заметит эту замену слез словами о слезах.

И сам Шевченко избрал слезоточивость как бы своею специальностью. В раннем послании к Гоголю он так отмежевал свое призвание от гоголевского:

Ты сміешься, а я плачу,
Великий мій друже!

И это огромное заблуждение, ибо изо всех его слез настоящими были только слезы покинутости. Он не был поэтом горя, он не был поэтом слез, — на что ему это? — у него был другой величайший дар: дар мести и безумного гнева.

Во всем мире я не знаю другого поэта с такой способностью к проклятию, к исступленной ярости, к негодованию, — как Шевченко.

Все наши так называемые «гражданские» поэты — какие-то жалкие вегетарианцы в сравнении с этим поэтом «великого гнева». Некрасов, Надсон, Огарев, П. Я., — вот уж поистине:

Ничего они не ели,
Пили только молоко, —

и когда я читаю у них про «забытые деревни», «парадные подъезды», про «убогую и нарядную», — мне кажется, что в самом размере этих стихов, в самом их кадансе есть что-то постное, постническое, унылое и смиренное. По сравнению с ними Шевченко — безумная, кровожадная, звериная сила. У него нет «жалости», нет «симпатий», — он весь либо молитвенное обожание, либо нечеловеческий гнев.

У него, не знаю, было ли великое сердце, но великая печень была у него несомненно, и создания его великой печени — непревосходимо-прекрасны.

Этот утонченный поэт, с таким грациозным, изысканным стихом, превративший украинскую речь в какую-то нежнейшую музыку[1] — чуть только им овладевала гневливость, начинал швы-

[1] Например:

Хто се, хто се по сім боці
Чеше косу? Хто се?..
Хто се, хто се по тім боці
Рве на собі коси?

Так он передает шелест предутреннего ветра. Или, напр., его аллитерации для передачи ночной пирушки: «Гармидер, галас, гам у гаї». Или что может быть изящнее: «Дніпро беріг риє-риє, яворові корінь міє, – стоїть старий похилився, мов козак той зажурився». Сколько звуков ї в первой строке и как кстати эти ударения на и в третьей. Как много нужно душевной нежности, чтобы создавать такие нежные стихи.

ряться словами, как каменьями, становился дьявольски-язвителен, груб, жесток, и, читая его стихи, буквально чувствуешь, как он топчет свою жертву ногами, — и, попадись ему в эту минуту те, кого он так бичует на бумаге, и будь у него под рукою нож, кто знает, не стал ли бы этот нежнейший из людей, — убийцей. Помню, когда за границей я прочитал «Сон», «Кавказ», «Царей» и многое множество мелких его стихов, я впервые понял, как бесконечна бывает ненависть, и как прекрасен бывает гнев. О, Шевченко хорошо понимал своего Галайду, когда тот в неистовстве резал, жег и вешал мертвецов и исступленно кричал:

Чом я не сторукий!
Дайте ножа, дайте силу,
Муки ляхам, муки!

И нечего выдумывать, будто сам он этому крику не сочувствовал. Шесть лет спустя (в пьеске «Холодный Яр») он страстно защищает своих «Гайдамаков» и говорит без обиняков:

Вражою злою кров'ю
Волю окропіте.

И уже перед смертью твердит: нужно «разбудить волю — наточить топоры, чтобы «потекла свиняча кров, як та смола, з печінок ваших поросячих». И недаром у него так много в «Кобзаре» гневных, непримиримых душ, которые переполнены «жаждой мщения», и мстят, мстят за все, мстят дико, жестоко, зверски. «Кобзарь» — это книга о страшных мстителях. «Титарівна» насмеялась над Микитою — и Микита в отместку довел ее до того, что ее *живую закопали в землю*! А вот в другом стихотворении отец сжег живьем родную дочку, чтобы отомстить пьяным ксендзам. Вот в «Москалевой криниці» — один Максим поджигает хату другому Максиму, и бросает того другого Максима в колодец — тоже из мести. А вот запорожец из мести рубит голову женщине, которая пошутила над ним («У тієї Катерини»). Вот юноша просадил вилами пана, как «местник» (мститель) за честь девушки. Вот дочка убивает из мести отца за то, что тот убил ее любовника («У Вільні, городі преславнім»). А вот «Варнак» за то, что его разлучили с возлюбленной — «різав все, що паном звалось», «мов поросяча, кров лилась». Казаки у Шевченка придумали такую жестокую месть Петру Великому:

На страшному на су́дищі
Мы Бога закриєм
Од очей твоїх неситих.

А Марина — в отместку — зарезала насильника пана и подожгла его «палаты»:

Пани до одного спеклись,
Неначе добрі поросята.

Словом, все оттенки кровавой, безумной мести перебрал и перечувствовал в своей поэзии этот кроткий поэт, но в жизни, — даже того предателя, который, как некий Азеф, выдал его полиции, и подверг величайшим страданиям, он и того простил, — и взывал из-за решетки к друзьям:

І його забудьте, други,
І не проклинайте!

Одно дело жизнь, другое — Апельсиния. Там в Апельсинии можно молиться перед покинутым и топтать ногами покинувшего, а здесь нужно что-то совсем другое; но Шевченко ничего другого не замечал, ни о чем другом не думал, и если бы это было иначе — разве мог бы он быть гениальнейшим псалмопевцем среди мировых поэтов.

1909

1

Недавно мне случилось писать о Шевченке.

Я назвал его «гениальнейшим псалмопевцем среди мировых поэтов» и отметил в нем, между прочим, вот какую драгоценную черту: он всю жизнь твердил: «Украйна», «Украйна», но эта «Украйна» для него была не только родина, не только, так сказать, liebes Vaterland◊, а нечто бесконечно большее: она для него категорический императив, абсолют, мерило всех вещей: она силою его религиозного творчества — была для него некиим отвлеченным началом, вместилищем всякой красоты и всякой истины, и даже самого Бога; он, — как я и доказывал, — мерит Украйной, и мечта об этой несуществующей, «неземной», «небесной» Украйне только и спасла его от всякого падения и всякой скверны.

В минуты злейшего уныния он спрашивал:

За що я Вкраїну люблю?
Чи варт вона огня святого?

Т. е. за что я люблю Украйну? Достойна ли Украйна моей любви? — и это были для него самые страшные вопросы, такие же, как для всякого верующего вопросы религиозных сомнений. Еще в 1845, 1846 году Украйна имеет у него известное реальное обличье, но после сплошная область фантастики: то он взывает к своим «думам», чтоб они к нему прилетали из-за Днепра, то он спрашивает звезду: взошла ли она над Украйной, то среди туч и облаков видит во сне пронзительно ярко — ее, свою Прекрасную Даму, то заставляет Божью Матерь рыдать над судьбою Запорожья, то — это так знаменательно! — когда покидает его вдохновение, он спрашивает: разве я не люблю Украйну? Разве я ее забываю?

◊ любимое отечество *(нем.)*.

И тут же признается, что припомнить Украйну — для него это значит, «как будто сделать кому-то добро».

Не ясно ли, что эта Украйна — у него нравственная категория, а отнюдь не географическая? И по его признанию, даже творчество утешает его только потому, что слова словно прилетают к нему из-за Днепра и т. д.

Словом, для меня было очевидно, что «Украйна» для Шевченка то же, что Апельсиния для Гильды из «Сольнеса». Он ею оправдывал мир, возможна ли большая любовь? Светозарная Гильда, этот благороднейший, нежнейший образ мировой литературы, неужели она недостойна, чтобы рядом с нею поставить нашего великого «кобзаря»?

О, конечно, они брат и сестра. И, как ни прекрасна Украйна, — поверьте, Апельсиния еще прекраснее. Как ни почетно быть украинцем, но быть апельсинцем — это самое почетное, что есть на земле. И Платон, и Петрарка, и Кант, и Ибсен кое-что понимали в этом; и, причисляя Шевченка к этим апельсинцам, я был уверен, что сильнее не могу выразить свое перед ним преклонение.

Но я забыл об одном. Я забыл, что уже лет сорок всевозможные «поклонники» скандируют перед русским читателем:

— Шевченко это, так сказать, яркий светоч, это, так сказать, путеводная звезда наших идеалов, прогресса и свободы, той свободы, которая...

Я забыл, что таким юбилейным враньем Шевченко весь обмазан, как патокой, что его самого, живого, жизненного, близкого, из-под этой патоки давно не видать; что он давно уже перестал для русского читателя быть человеком, а стал каким-то оселком, на котором гг. почитатели давно уже пробуют свое юбилейное красноречие.

Я забыл о Балалайкине, я думал о Шевченке.

Но, оказывается, это страшное преступление. «Он покушается на Шевченка! — закричали разные почтенные люди. — Он пачкает это чистое имя!..» И вот, десятки различных «писем в редакцию», где выражается мне жестокое порицание за то, что я осмеливаюсь любить Шевченка по-своему, по-интимному, а не по готовому, фальшивому юбилейному шаблону.

2

Я, например, заявляя, что Шевченко был «гениальнейшим псалмопевцем среди мировых поэтов», — ни на минуту не забывал, что этот «гениальнейший псалмопевец» был лыс, и был

пьян, и был исковеркан жизнью, и был одинок, и — что ж? — разве лысого я его меньше люблю, чем любил бы его лохматого; разве пьяный он менее гениален, чем трезвый? Разве гений должен быть членом общества трезвости! С каких это пор русский критик должен сделаться Челышевым?

И как это не нашлось у меня ни одного читателя, который бы понял, что эту «лысину» и это «пьянство» — я упомянул с величайшим благоговением, и что, может быть, еще никогда никто не любил так горячо великого украинского поэта, как я его любил, когда набрасывал такие строки:

— Когда этот пьяный, лысый, исковерканный человек брал в руки перо, вдруг становился святым, становился как бы иереем во храме — и мог говорить только о святынях. Об ином он не говорил, ибо «иное» было недостойно его святынь. Об «ином» не говорят во храме.

Боже мой, как нужно «заюбилействоваться», к какой пошлейшей юбилейной фразеологии нужно себя приучить, чтобы в этих моих искренних словах, где живая любовь к живому человеку, — увидеть оскорбление Шевченка!

Лысый, лысый! В глубине души своей обыватель таит эстетическое правило: у гениев должна быть шевелюра: обывателю нужды нет, что еще в 1852 поэт писал своему товарищу: «У меня лысина, что твой арбуз», а год спустя шутил над самим собою:

«Не писал бы ты, Тарас, стихов, да поменьше бы пьянствовал, да учился бы чему-нибудь путному, вот и было бы теперь как находка, а то поседел, *облысел* , простофиля, и туда же берется за физику». Желая жениться, Шевченко писал своему свату Максимовичу: «Скажите (невесте), что я лысый, седоусый, то она и так перепугается».

— Лысый дядя! лысый дядя! — звали его дети коменданта Ускова.

Но обывателю до этого нет никакого дела, он хочет, чтобы у Шевченка была шевелюра, как у самого Балалайкина. Точно так же не хочет обыватель, чтобы Шевченко был пьян. Ему наплевать, что Шевченко сам в дневнике отмечает это, и какое ему дело, что Шевченко был один из членов всепьянейшего общества «мочемордии», и что у него, у пьяного, однажды украли «девицы» 125 рублей (как сам же Шевченко и записал в дневнике), ему наплевать, что в этом пьянстве сказалась за последние годы нечеловеческая тоска одинокого, оскорбленного поэта, ему до этого дела нет, — в глубине души он хотел бы, чтобы Шевченко был трезв, как Челышев — и нет таких оскорблений, которых он, в письмах и газетных заметках, мне не нанес бы за то, что я осмелился отступить от этого канона его, обывательской, эстетики.

3

В заключение курьез.

Редакция «Нашей Газеты», распушив меня за эту злополучную «лысину» и для чего-то выдумав, будто я «лысиной» и «пьянством» *характеризую* Шевченка, черным по белому заявляет:

«Нам кажется, что писатель, берущийся писать специальную статью о поэте, должен был бы предварительно с ним ознакомиться, прочитать также и те его произведения, которые и *до сих пор запрещены русской цензурой.* Там он нашел бы и общественные мотивы. Не мешало бы ему вспомнить хотя бы яркую картину тогдашней России, в которой, по словам поэта, «*от молдавана аж* до финна на всіх языках *всі мовчат*... бо *благоденствуют*»»...

Конечно, благородство хорошая вещь, но, господа, если вы любите Шевченка и даже защищаете его от меня, отчего же вы так невежественны во всем, что касается этого, столь вами любимого поэта?

Отчего вы не знаете, например, что *все* сочинения Шевченка разрешены еще в 1905 году, и что уже нет ни единой строчки, которая была бы запрещена цензурой? Как же вы рискуете рекомендовать мне «ознакомиться» с тем-то и тем-то, ежели ясно, что сами вы ни с чем не ознакомились? Ежели вы сами даже двух строк из Шевченка верно процитировать не умеете и в двух строках делаете четыре ошибки. Как вам не стыдно и предо мной, и пред читателями, и пред великою памятью Шевченка.

1909

Посвящаю дорогому И. Е. Репину

1

Украинский язык, такой журчащий, щебечущий, как будто созданный для нежных, любовных речей: ясочка моя ласочка моя, зіронька ясная! — стал у Шевченка еще нежнее и ласковее, ибо воистину Шевченко самый нежный и ласковый изо всех во всем мире поэтов.

Когда он пишет об униженных и оскорбленных, вот об этих своих наймичках и покрытках, он не только их любит, не только жалеет, он тут же, на страницах, как бы ласкает их, берет их за руку, гладит по голове, — и нечеловеческая нежность, небывалая, обожание безмерное наполняет его всего, — восторг обожания, экстаз обожания и нежности, какого не знал ни один поэт, и часто, не в силах сдержать такой внезапный наплыв умиления, вот он падает ниц и начинает молиться об этой «ясочке», «ласочке» — Катерине, Оксане, Марьяне:

О, Боже мій милий!
За що ж Ти караєш її молоду?
За те, що так щиро вона полюбила
Козацькії очі?.. Прости сироту!
Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки,
Одна, як та пташка в далекім краю.
Пошли ж Ти їй долю, — вона молоденька,
Бо люди чужії її засміють.
Чи винна ж голубка, що голуба любить?
Чи винен той голуб, що сокіл убив?[1]

[1] Встречающиеся здесь цитаты на украинском языке надлежит читать так: букву *и* как русское *ы*, букву *е* после согласной как *э*, после гласной как *е*. Все цитаты приводятся по «Кобзарю», 2-е изд. о-ва имени Т. Г. Шевченко для вспомоществования нуждающимся уроженцам южной России. Спб., 1908 г. под редакцией В. Н. Доманицкого. Это лучшее издание «Кобзаря», так как в 1905 г. оно без малейшего пропуска было разрешено цензурой.

Видите, он на коленях, он простирает руки, он предстательствует перед Богом за свою «голубку», «пташку», «сироту», Оксану, Марьяну, Катерину, он просит для нее прощения и милости, и собою готов заслонить ее от карающего гневного Бога.

О, Боже мій милий,
За що ж Ти караєш її молоду?

Это его юные стихи, едва ли не первые из напечатанных, но и в старости то же самое. Почти перед смертью твердит он ту же молитву все о той же «пташке», «голубке», «сироте»: веселий рай пошли їй, Господи, подай! Подай їй долю на сім світі! Начав говорить о ней, он естественно и неизбежно всегда приходит к молитве. Заброшенный в пустыню, на безлюдный какой-то остров, за тысячу верст ото всех любимых и близких, снова с той же безмерною нежностью молится он о покрытке:

— «Мій Боже милий!» — ниспошли моим словам святую власть пронизать у людей сердца, вызывать у них слезы, чтобы осенило их милосердие, чтобы стало им жаль моих девушек, т. е. опять-таки тех же «наймичек», униженных и оскорбленных.

И заметьте, одно из этих стихотворений создалось в 1838 г., другое в 1848 г., третье в 1858 г., и, значит, молитвенный этот экстаз был у него не случайный, а проходил через все его творчество. Вот и еще такая же молитва о такой же обездоленной женщине:

Ти сирота, нема нікого,
Опріче праведного Бога.
Молися ж, серце, помолюсь
І я з тобою.

Но этого мало, и к концу своей страдальческой жизни этот одинокий и необласканный человек скопил у себя в душе такие запасы нерастраченной нежности, что она излилась у него через край, и странное, безумное, почти невозможное слово сказал он тогда о своей «голубке» и «пташке»: *святая*! Святая Катерина! Святая Оксана! Чрезмерная нежность дошла до предела, и вот перешла за предел! «Святая» твердит он о той, которую прежде ласкательно звал только квиточкой, ласочкой, серденьком. — «Многострадалица *святая*!» — говорит он о крепостной рабе. Обманутая, сгубленная женщина теперь тоже у него «святой ангел», и он вспоминает теперь «як сотнями в кайданах гнали в Сібір невольників *святих*». И в том безумце, который ударил тирана и был им за это замучен, он тоже чувствует святость: «*святой* ры-

царь», зовет он его[1]. И даже киевлян угнетенных величает святыми: «Мої *святиі* кияне!» В поэме «Солдатский колодец» калека-солдат тоже оказался *святым*: святой Максим.

Это слово стало у Шевченка обиходным, потому что и чувство вошло в обиход, чувство набожной, религиозной нежности к труждающимся и обремененным. Вера в святость страдания теперь ему так нужна, иначе как же ему понять, как принять, как оправдать те страдания, которые вынес он сам? И в последние годы жизни, сам растоптанный и замордованный, чуть он увидит страдающего, он так больно и нежно чувствует в нем красоту ослепительную, божественность, осиянность, что молится уже не о нем, а ему самому, — ему самому! это так поразительно! и пишет о своей Катерине, Оксане такие небывалые строки:

Стане жаль
Мені її і зажурюся,
І перед нею помолюся,
Мов перед образом святим
Тієї матері святої,
Що в мир наш Бога принесла.

Экстаз обожания стал религиозным экстазом. Покрытка теперь для поэта икона; больше: она для него божество: «і перед нею помолюся, мов перед образом святим». До этого еще не доходила никакая человеческая нежность. Молиться не о покрытке, а покрытке, — это ведь поклон Раскольникова перед проституткою Соней. Шевченко встретил однажды в Оренбурге какую-то девушку, вернее — барышню, может быть, на вечеринке, в гостях, и, чуть только ему показалось, что она обреченная, что ее ожидают страдания, — вот уж он пишет, быть может, в альбом, в провинциальный альбом захолустной девицы:

Дивлюся иноді, дивлюсь
І — чудно! — *мов перед святою*
Перед тобою помолюсь.

И чем больше ему выпадало тоски и отчаяния, тем страстнее и благоговейнее эти странные его молитвы, молитвы человека перед человеком, и жутко читать, как погибая, он взывает к Марку-Вовчку, к сомнительной беллетристке Марье Александровне Маркович, — о пощаде, о спасении, о милости:

[1] «Ви огласили юродивим *святого* лицаря, а бивий фельдфебель ваш, Сарданапал, послав на каторгу *святого*». Здесь подразумевается польский студент, давший пощечину киевскому генерал-губернатору Д. Г. Бибикову.

Світе мій!
Моя ти зоренько святая!
Моя ти сило молодая!
Світи на мене, і огрій,
І оживи моє побите,
Убоге серце неукрите,
Господнее, — і оживу...

В самом ритме этих стихов чувствуешь и мольбу, и руки, хватающие за края одежд, и видишь, что дальше нельзя, что нужно же, наконец, куда-нибудь прорваться, излиться этому потоку обожания и нежности, и вот совершилось: в гнилую петербургскую зиму незадолго до смерти Шевченко создает Песнь-Песней, молитву молитв, свой последний акафист-псалом, эту сладчайшую поэму «Мария», где его неутолимая жажда ласкать, обожать, преклоняться наконец-то нашла утоление!

2

Ведь самое ужасное было то, что человеку с таким сверхъестественным даром обожания и нежности это обожание и нежность были запрещены. Все мы знаем: ему, живописцу, поэту, возбранялось рисовать и писать, но ведь когда его сдали в солдаты, тем самым ему запретили любить.

И он, посвятивший женщине едва ли не сорок поэм, вечно о ней молящийся и даже молящийся ей, он на десять лет, на самые богатые любовью годы, был насильственно отторгнут от нее! И так нищ он стал любовью в ту пору, что, когда в Новопетровском укреплении какая-то женщина не то чтобы влюбилась в него, а только ему разрешила ее полюбить, он уже и этим был доведен до восторга. «Я счастлив! — пишет он другу из «незамкнутой» своей темницы. — Никогда еще ни одного письма так радостно я не дописывал, как это». Даже любить невзаимной любовью стало для него тогда блаженством. И вырвавшись, наконец, из казармы, он тотчас же кинулся к ним, к Оксанам, Катеринам, Марьянам, все с тем же запасом нерастраченной нежности и как бы спросил у них:

— Вы, Марьяны, Оксаны, не нужна ли кому моя ласка? Я так вас ласкал у себя на страницах, я так защищал вас от лютых насильников, от панов, паничей, москалей, я ваш рыцарь и ваш поэт! Не нужна ли кому моя ласка? — Но они посмеялись над ним, и Харитина Довгополенко предпочла ему бравого писаря. И Гликерья Полусмак (душу которой в стихах называл он тоже святою) предпочла ему парикмахера Яковлева. И Пиунова «Тетяна» пред-

почла ему провизора Фуса. И поэту осталось писать у себя в дневнике: «я самый смешной и несчастный жених»; поэту осталось писать у себя в «Кобзаре»:

Минули літа молодиі...
Холодним вітром од надіі
Уже повіяло... Зима.

Поэту осталось жаловаться: «Тоска сживет меня со свету»... «Невыносимо тяжело одинокому»... «Если бы не занятия, то я давно бы сошел с ума»... И вот уже в отчаянии он просит всех хоть заглазно отыскать ему женщину, подругу, и рассылает письма в Корсунь, в Полтаву, в Прохоровку с постоянными просьбами: «если не жените, пропаду на чужбине бурлакою», и сначала на актрисе хочет жениться, потом на крестьянке, потом, как говорит в одном стихотворении, «хотя бы и на чертовой сестре». Но нет для него и такой. Все от него сторонятся, и торжествует провизор Фус... И вдруг, внезапно, он понял, он нашел, кому он отдаст все щедроты, все молитвы, все ласки своей отринутой души: Марии, страдающей Матери страдающего Бога, из наймичек Наймичке, из покрыток Покрытке. Она-то от него не отвернется, и как-то в ноябре в Петербурге он заперся у себя наверху, в мастерской и там наконец-то истратил, наконец-то расточил до капли свою отринутую ласку, свою осмеянную нежность, устроил себе пиршество нежности, оргию нежности, молитвы, славословий, величаний, любви:

О, світе наш незаходимий!
О, ти, Пречистая в Женах!
Благоуханий сельний крине!

Он весь дрожит от умиления не только когда говорит о Марии, но и обо всем, что ее окружает. На что она ни посмотрит, все становится для него тотчас же каким-то милым, трогательным, осиянным; и все, что ни возьмет она в руки, он готов лобызать и лелеять. Вот Мария берет на руки козленка, козленок ему кажется милым, «как кошечка». «Сердешне козяточко!» — шепчет он. Мария идет к Тиверіадскому озеру, — Шевченко влюбляется в озеро: «тихий Божий став», «широкий Божий став». Мария готовит кому-то бурнус, — он умилен и бурнусом: «святешний бурнус», восхищается он.

Вокруг Марии «святий тихий рай», и самый воздух как будто святой. Пейзаж, ее окружающий, так для него упоителен, что даже похож на украинский: «явор», «тополя», «ярочок», «криниця»;

и вы только вслушайтесь в самый тон его голоса, в эти уменьшительные, ласкательные, тихие слова:

А він *маленький, неповинний.*
Святую шибеничку[1] *кинув...*

...Взяла,
У *холодочек* завела,
В бур'ян, в *садок,* поцілувала
Та *коржиком* погодувала,

Свіженьким коржиком. Воно ж
Попестилось собі, погралось
Та й *спатоньки*, мале, лягло...
Мов *ангеляточко* у раю.

Не спать, а *спатоньки*, не свежий корж, а *свеженький коржик*, и даже виселица стала для влюбленного *виселичкой.* Здесь каждый образ для него упоителен и ее самое, Марию, он здесь зовет «квітом рожевим», «зельним цвітом», «пресветлым раем», — «кроткая», «всесвятая» —

Святая сило всіх святих,
Пренепорочная, благая,
Молюся, плачу і ридаю!..

Он украшает ее лилиями, маками, и с каким восторгом и ужасом глядит на нее, когда начинаются ее небывалые, «огнепалимые» муки. Этими-то муками своими она и вызывает в нем нежность, ибо, если страдающие для него святы, то святые должны страдать! Другой святости, кроме святости мук, он не знает и молится только пред ними!

Вообще у него была вечная потребность молиться. Он и раньше припадал к Марии, взывая:

Благословенная в Женах,
Святая, Праведная Мати
Святого Сина на землі.

Мы видели, как он молился о покрытках и перед покрытками. У него так часты обращения, взывания к людям, к Богу, к различным предметам, к Музе, к Украйне, к судьбе. Я бы сказал: это был гений молитвы. Как великолепно перелагал он пророка Исайю, Осию, Иезекииля, псалтырь! И в поэме «Еретик» какие окрыленные молитвы влагает он в уста Ивану Гусу, поэма «Неофиты» вся доверху полна псалмами, величаниями, и даже в соловьином ще-

[1] Шибениця — виселица.

бетаньи ему чудится общение с Богом: «защебече соловейко... та дрібно, та рівно, *як Бога благае*, — как будто молится Богу (стр. 10). И снова:

І соловейко на калині
Святого Бога вихваляв.

И есть у него стихи, которые так и зовутся «Молитвы», и в которых повторяется «пошли Господи», «подай Боже», «помоги», «соблюди», и часто он прерывает себя самого взываньями к месяцу, к туману, к звезде и даже, — в поэме «Варнак», — к стенам своей комнаты. И разве не в молитву, в мольбу, в славословие превращаются его столь частые стихотворные послания к Щепкину, к Шафарику и к другим:

— «Слава тобі, Шафарику, во віки і віки! Що звів єси в одно море слав'янскиії рікії». «Слава тобі, любомудре» и т. д.

Или:

— «І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті».

Он вечно обращается к кому-нибудь или к чему-нибудь — «сини мої гайдамаки», «зоре моя вечірняя!» — «думи мої, думи мої ви моі едині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині!» — «Вкраіно, мій любий краю неповинній», такая уж отдающаяся, льнущая, готовая на славословие, на величание, на умиление была у него душа, и его переливчатый, журчащий стих как будто был создан для тихой вечерней молитвы.

3

Но вот, описав однажды, как старуха-мать отмстила за поругание дочери и подожгла господские хоромы, Шевченко взглянул на обугленные трупы и молвил, — так неожиданно! —

«Пани до одного спеклись, неначе добрі *поросята*».

И в другом стихотворении, незаконченном, он, обращаясь к кому-то, сказал:

«А потім ніж, — і потекла *свиняча* кров, як та смола з печінок ваших *поросячих*».

Т. е. почти дословно сказал то же самое, что в поэме «Варнак» говорил у него клейменный какой-то каторжник:

«Княжат (шаферов), панят і молодих всіх перерізали... Не втік ніже єдиний католик: всі полягли, мов *поросята* в багні смердячому».

Нежнейший, вечно молящийся поэт, и какие жесткие, жестокие слова! — «Мов поросяча, кров лилась. Я різав все, що паном

звалось». О, этот ласковый, сладкогласный Баян недаром был внук гайдамаки! Слишком часто он знал эти приступы ослепляющей бешеной ярости, безоглядного гнева, который делает человека или преступником, или пророком. — «Задушу! — кричит он Лукерье? — прочь, а то задушу тебя, — и по словам свидетелей, сделался страшно лют, поднял вверх руки, затопал ногами, — кротчайший нежнейший поэт! — и, рассказывая как-то Я. П. Полонскому о том, что его родные и до сих пор рабы, крепостные, он рыдал, скрежетал зубами и, наконец, «взвизгнул и так ударил кулаком по столу, что чашки с чаем слетели на пол и разбились вдребезги». — «Тебе ж, о суко, і мі сами, і наши внуки, і миром люди прокленуть!» — яростно импровизирует он в мастерской у Микешина перед статуей Екатерины Второй, и в глазах его Микешин заметил огонь: «глаза его горели, и он напоминал вдохновенного пророка», — вспоминал художник.

Должно быть, в такие минуты Шевченко писал у себя в «Кобзаре»:

«А кровью вашою, собаки, собак напоют».

Или:

«Ножем тупим тебе заріжуть, мов собаку, убьют обухом».

Обличить злодея ему было мало, он спрашивал:

Чому на його не плюют?
Чому не топчут?

И называл ненавистных ему «щенками», «кабанами», «портянками» (онучі), «пилатами», «фарисеями», «люциперами» — и создавал гениальные, патетичнейшие места в «Посланіи до Живих і Мертвих», в «Кавказе», в поэме «Сон» — и чувствовал, что в нем просыпается Гонта, который в беспамятстве гнева носится с ножом по базару и, «лютуя», кричит:

«Крові мені, крові! шляхецькоі крові! бо хочеться пить!»

Гонта в поэме у Шевченко даже мертвых вешал, резал и жег, и все кричал: «мало!», «дайте ляха, дайте крови наточить з поганих»! И Шевченко звал его «праведным мучеником». Когда в Петербург приехал трагический актер неистовый негр Ольридж, Шевченко тотчас же влюбился в него: еще бы! в этом рыкающем, исступленном арапе он сразу почувствовал родное. И сам Тарас Бульба, я думаю, пришел бы в восторг, услыхав, как Ольридж-Отелло кричит:

— Крови жажду, крови!

Слушая Ольриджа из ложи, Шевченко, к негодованию публики, не сдерживал криков восторга, а после спектакля бросался в уборную и, весь в слезах, покрывал поцелуями раскрашенное ли-

цо вдохновенного негра. Он и сам в себе чувствовал часто такие вдохновения ярости и когда говорил, например, о рабстве и крепостничестве, пафос его, по словам того же Микешина, «напоминал великого трагика Айра Ольриджа»... Характерно, что в этом позоре крепостничества его часто возмущали не столько помещики, сколько сами рабы: зачем они молчат, зачем не взбунтуются? Кругом грабеж и насилие, «а люди, хоч бачать люди, та мовчать!» Это выводит его из себя. Рассказав в очень живописных стихах про некоего самодура Петра Скоропадского, он определительно пишет:

Не жаль на його,
На п'яного Петра кривого,
А жаль великий на людей,
На тих юродивых дітей.

Во всяком беззаконии он видит наше же попустительство:

А ми дивились і мовчали
Та мовчки чухали чуби.

Исступленная нечеловеческая нежность и исступленный нечеловеческий гнев. Этот гений молитвы — в то же время и гений проклятий. Со времен ветхозаветных пророков ни одно еще, кажется, сердце не вмещало в себе так много чрезмерной любви и так много чрезмерной ненависти.

Некрасов написал «Размышления у парадного подъезда». Шевченко был на это неспособен. «*Размышления!*» Что же *размышлять* у парадных подъездов! — «треба миром, громадою обух сталить та добре выгострить сокиру» — сказал бы он «у парадного подъезда». Для него причем же здесь — *размышления*!

Вообще сокира, обух, нож и кровь — нередкие слова в «Кобзаре».

І вражою злою кров'ю
Волю окропіте,

он, как и его гайдамаки, верил в иные минуты, что ножи бывают священны.

Другие наши гражданские поэты кажутся рядом с этим поэтом великого гнева какими-то анемичными, малокровными, дряблыми: Некрасов именно привлекателен своей унылостью и резиньяцией, и это в нем глубоко национальная черта: еще в 1827 г. этнограф Максимович указывал, что в народных великорусских песнях «выражается дух, покорный судьбе и готово повинующийся ее велениям», так как «русский не привык брать дея-

тельного участия в переворотах жизни», а народные песни украинские, «будучи выражением борьбы духа с судьбою, отличаются порывами страсти»[1].

Совершенно непонятно, почему, например, Некрасов называл свою музу «музою мести и печали». Где же у Некрасова месть? А Шевченко был недаром автор «Тарасовой ночи»! «Невсипущая кара», «правда-мста» (т. е. месть-справедливость) — такова его постоянная тема.

У Шевченка казак рубит голову той, что посмеялась над ним. У Шевченка отец сжигает родную дочь, чтобы сжечь и тех, кто ее изнасиловал. В экстазе мести у Шевченка люди режут родных сыновей. Несчастный соперник поджигает счастливого, и даже когда уж любимая ими скончалась, топит ее мужа в колодце. Казак, у которого пан погубил невесту, — три года ходит с ножем и «как мясник» три года режет всех панов направо и налево. Сам Шевченко: когда еще в юности он увидел бесчувственно пьяным того, кто не раз колотил его, он связал этого пьяного веревкой и, насколько хватило сил, высек его теми же розгами.

Он говорил о Медузе, что вот она где-то пьянствует, но скоро проспится, «и тогда начнет справлять похмелье вашею кровью, тираны».

Эта Медуза нередко была его Музою, и только он, только внук гайдамаки, мог изобразить, например, как женщина-мстительница хочет сначала спустить на врага медведя, но потом восклицает: — «Нет, нет, мне этого мало! Не медведь, я сама загрызу его!» Шевченко хорошо понимал эту упоительность мщения! У него какой-то убогий Никита, над которым посмеялась гордая дочка церковного старосты, довел ее из мести до того, что живьем ее закопали в могилу. А помещика, оскорбителя девушки, какой-то парень вилами проколол насквозь, — «как жабу», замечает Шевченко, и зовет этого парня «святым отмстителем» и в другой поэме изображает такого же «святого отмстителя», который тоже «как жабу» «вздене т, бывало, на пику ребенка».

Таких поэм о «невсыпущей каре», о «правде-мсте», о «святых отмстителях» у Шевченка великое множество, и среди них меня поразила та, где рассказывается, как душу младенца, грудного ребенка, безгрешного, ни в чем еще неповинного, изгоняют из рая, не пускают туда, лишь за то, что этот ребенок, по детскому своему неразумию, засмотрелся с улыбкою на блестящую, позлащенную

[1] У Бодянского в диссертации «О народн[ой] поэзии славянских племен» та же мысль выражается пространнее. Поэзия северян есть «поэзия не борьбы духа с роком, но покорности его своей судьбе, ita tamen, ut flectamur, non frangamur». Не то поэзия южная: melius frangi, quam flecti. «Або добуть, або в господі не буть».

галеру, в которой плыла по Днепру Екатерина Вторая. Грудная девочка хоть и не знала, что Екатерина Вторая есть враг ее родины, но все же как смела она улыбнуться! И нет для души ее рая. Шевченко за эту улыбку не пустит ее туда:

«От за що, моі сестриці, я тепер караюсь».

Так же отринута раем у Шевченка оказалась и та, что, по детскому своему неразумию, принесла Петру Первому, врагу Украины, воды — напоить взмыленного коня.

А самому-то Петру он сулит еще более жестокую кару:

«На страшному на судищі ми Бога закриєм од очей твоїх неситих».

Поэт-мститель, поэт-ненавистник (по-мужицки: с топором и вилами), Шевченко единственный из славянских поэтов мог назвать свою музу музой мести и гнева.

4

Но вот подробность воистину замечательная.

Как-то, в мае 60-го года, уже совсем перед смертью, Шевченко написал стихотворение «Молитва», где просил Бога, чтобы Бог оковал ненавистных ему людей оковами и замуровал бы их глубоко в землю:

У пута кутії окуй,
В склепу глибокім замуруй.

Но не прошло и двух дней, а Шевченко уже к Богу с новой молитвой, совершенно отвергающей старую. Он просит Бога не делать того, о чем он просил накануне. В новом стихотворении он пишет:

У пута кутії не куй,
В склепи глибокі не муруй![1]

То есть сегодня он молится о мщении, а завтра уже о прощении. Непосредственный первый порыв его оскорбленного сердца: уничтожить, проклясть, отомстить; но второй порыв, такой же страстный и такой же властительный: милосердие, всепроще-

[1] Кстати: как изысканны аллитерации в шевченковском стихе. «У пута кутії не куй», «*Ту*м*а*н, *ту*м*а*н, *ти* пус*то*т*а*»; «неначе ляля в льолі білій»; «*га*рмидер, *га*лас, *га*м у *га*ї»; «з д*а*вняго д*а*вна у г*а*ї над ст*а*вом»; «нем*а* г*о*л*і*й шк*о*л*і* в*о*л*і*»; «і помол*я*ться на в*о*л*і* нев*о*л*ь*ничі діти»; «а у с*е*лах у в*е*с*е*л*и*х і люди в*е*с*е*л*и*»; «*ста*ла на в*се* с*е*ло сл*а*ва»; «отак і *ї*й: одн*ій* ед*и*ній ще молод*и*й мо*ї*й княг*и*ні», — и это изящнейшее сочетание звуков для передачи шелеста ветра: «“Хто се, хто се по сім боці, чеше косу? Хто се?.. Хто се, хто се по тім боці рве на собі коси?.. Хто се, хто се?” — тихесенько спитає-повіє» (Утоплена).

ние, не какое-нибудь, а опять-таки исступленное, нечеловечески-чрезмерное.

Испытав однажды издевательства, он записывает у себя в дневнике: «Забудем и простим темных мучителей наших, как простил милосердный Человеколюбец своих жестоких распинателей»...

Но через несколько страниц в том же дневнике про кого-то: «Рабочий дом, тюрьма, кандалы, кнут и неисходимая Сибирь — вот место для этих безобразных животных».

То прощая, то вновь проклиная, вновь прощая и вновь проклиная, он и там и здесь, и в прощении и в проклинании, был равно необуздан и неукротим, и недаром в одной молитве еще в 1845 году обращался к Богу с такими словами: — «Дай жити, серцем жити, і людей любити, а коли ні, то проклинать, і світ запалити». Или всех любить, или сжечь всю вселенную, или всех обнять или всех проклясть — эти два великих порыва попеременно владели им.

Вот в «Кобзаре» он пишет о радости примирения: «примиренный будет весел», «он забудет свое горе» и «в неволе он познает волю», «он познает всетворяющую любовь».

И, восхваливши радость примирения, он в том же «Кобзаре» восклицает:

«Всюди вас найде правда-мста; а люде... в кайдани туго окують, розпнуть, розірвуть, рознесуть».

Противление и непротивление злу равно прельщало этого наследника Гонты! Вскоре после «Гайдамаков» он пишет великолепного своего «Гуса», который, сгорая, молится на костре за врагов:

«Прости им, ибо не ведают, что творят!»

Грандиозные, почти невозможные образы всепрощения и нечеловеческой милости мерещатся ему иногда. После «Гуса» он пишет «Ведьму», где опять-таки за неслыханные муки — неслыханное милосердие и всепрощение.

«Ведьма» это та же, все та же «покрытка». Ее обольстил помещик и кинул. Она родила ему двойню, и он, изнасиловав дочь, променял ее на борзую собаку; в карты проиграл родного сына. Несчастная любовница и мать десятки лет, бессонными ночами, лелеет грезы о мести. Но вот ее мучитель заболел. И она собирает целебные травы и хочет лечить его. Ее прогоняют. Но все же она пробралась к нему, к этому извергу, искалечившему всю ее жизнь и погубившему ее детей, и крестит его, и шепчет:

— Я прощаю... Я давно простила.

Это прославление кротости и милости — последняя поэма, написанная Шевченком на воле. В 1847 году его арестовали и при

обыске у него нашли книгу «О подражании Христу». Подражание Христу, вот эта неземная красота величайшего слова: «я прощаю» — надолго овладела им всецело. Можно сказать, что в тюрьме и в казарме Шевченко охватил восторг всепрощения, экстаз всепрощения и милости. Он весь осветился каким-то сиянием кротости и *это спасло его*. Позже он писал княжне Репниной: «Ужасная безнадежность так ужасна, что только одна христианская философия может бороться с нею». И он всячески старался развить, укрепить в себе эту «христианскую философию», потому что как же ему было иначе бороться с «ужасом ужасной безнадежности».

Погубленный злобным доносом какого-то предателя, студента Петрова, он в Петропавловской крепости находит в себе силы сказать ему: «я прощаю»:

І його забудьте, други,
І не проклинайте!

И через несколько времени снова:

— «За те, що я тепер терплю, єй-Богу, братія, прощаю».

Вообще, когда читаешь его стихи того времени, то явственно видишь, что в каземате Петропавловской крепости находился тогда не поэт, а святой. В этих изумительных, коротеньких лирических отрывках, по двадцать, по сорок строк, которые именно с этой поры появляются у него в «Кобзаре» — всмотритесь, как часто там слово «любовь». Как некий апостол, из-за решетки он завещает друзьям.

«Любітеся, брати моі! Смирітеся, молитесь Богу... свою Україну любіть».

И в казарме как он жалеет, как сокрушается, что на воле не знал этой радости: христианской любви и прощения. — «Кого я — де — коли любив? Кому яке добро зробив? Нікого в світі, нікому в світі!»

Он хватался тогда за смирение, за всепрощение, ибо, повторяю, в ту пору отчаяния и безнадежности только здесь была его опора. Тогда-то он и заключил знаменитое свое примирение с поляками:

«Подай же руку козакові і серце чистеє подай, і знову іменем Христовим ми оновим наш тихий рай!»

Чтобы хоть как-нибудь утвердить себя в этой целительной «христианской философии», он создает настоящий апофеоз всепрощения и милости и пишет все в этом же 1848 году христианнейшую свою поэму «Москалева криниця» о «праведном», «преблагом» и «святом» солдате Максиме Власовиче.

Этому Максиму изменила жена, но Максим не проклинал ее, а молился о ней.

Злые соседи из зависти подожгли его хату и сожгли его скот, но он не проклинал злых соседей, а только молился о них.

Узнавши, что сына вдовы злые люди беззаконно забрили в солдаты, он и здесь никого не осудил, а сам вместо сына вдовы пошел отбывать солдатчину.

Никого не лихословит,
Не болтает много;
Скажет: счастье и несчастье
Нам дано от Бога.
Оскорбят его: — «Бог с ними!»
И проходит мимо,
И собаки не кусают
Кроткого Максима.

И Шевченко нисколько не скрывает, что это не повесть, а проповедь. Чрезмерное, почти недоступное человеческим силам милосердие и всепрощение — вот чего потребовал теперь от нас поэт. Он прямо говорит:

«Отак-то, друже мій, живи, то й весело на світі буде».

И снова:

«Отак живіть, недоуки, то й жить не остине».

Он подкреплял, он поддерживал самого себя в этом примирении с действительностью. Он как будто боялся, что долго ему не выдержать такого восторга любви и смирения, и убеждал самого себя:

Любовь Господня благодать!
Люби мій друже. —

приговаривал он в той повести: «и буде варт на світі жить, як матимеш кого любить», но экстаз любви у поэта проклятий долго продержаться не мог, и вот как мы видели, чуть только миновал этот год его святости, 1847-й, он пишет у себя в «захалявной» тетрадке:

Ну-но знову
Людей і долю проклинать!

В гневе он как пророк, в смирении как апостол; его ласка переходит в молитву, его кротость — в подвиг любви и прощения; каждое чувство он доводит до пафоса и религиозен в каждом своем слове: иным и не может быть великий национальный поэт, жрец и жертва своего народа, облагородивший, возвысивший, претворивший в красоту и святыню все, что создала его родина.

5

В Бога он веровал крепко, опять-таки совсем по-крестьянски, хоть иногда и любил вольнодумствовать, но странное чувство не раз осеняло его: ему казалось, что все мы покинуты Богом, что Бог как бы махнул на всех рукой, ушел от нас, отвернулся; и потому-то мы все так несчастны, что Богу теперь не до нас.

Описавши в поэме «Сон» жестокости крепостного права, он спрашивает, он допытывается:

Чи Бог бачить із-за хмари
Наші сльози, горе?

И в поэме «Княжна», изобразивши голод в деревне, повторяет тот же вопрос:

Чи Бог тее знае? Бо се було б диво,
Щоб чути і бачить і не покарать?

Опять-таки кара, но дело сейчас не в ней, а в этом ощущении поэта, что вот у людей одна лишь надежда на Бога, а Бог отвернулся от них. Люди без Бога — сироты; людям очень трудно без Бога, потому что, как сказано в той же «Княжне», — «дочку й теличку однімає у мужика,

І Бог не знає»...

Так что Шевченко и сам готов довести как-нибудь до сведения этого отвернувшегося от нас Бога, «що вони, поганці, діют в нас на Україні». Он обращается к звездочке «зоре моя вечірняя!» — он всю ночь готов ей рассказывать о страданиях родного края, а звездочка рано поутру пускай уже расскажет Богу обо всем, что он ей сообщает.

«Ти завтра тихесенько Богові роскажеш».

Услыхав как-то игру какого-то мужика на скрипке, он почувствовал в этих звуках «стоны поруганной крепостной души» — и вот уже спрашивает у себя в «Дневнике»:

«Скоро ли долетят эти пронзительные вопли до Твоего слуха, наш праведный Боже?»

То есть, если бы эти вопли «долетели до слуха», то все было бы хорошо, но, по какой-то причине, они явно не долетают. О, если б Бог увидал и услышал то, что видит и слышит Шевченко! Но все вокруг так мучительно, что поневоле приходит безумная мысль:

«Немає Господа на небі». — «Нема навіть кругом тебе великого Бога».

И сказавши однажды, что о наших страданиях знает один Вседержитель, Шевченко тотчас же прерывает себя:

«А може, ще й Він не добачає!»

О, если б Он увидал, Он не стал бы потворствовать злобе и злу! А если Он видит все, что творится средь нас, то почему же, почему же тогда торжествует в этом мире зло: — «за що пак милує Господь лихую твар такую?»

В Бога Шевченко веровал крепко, но изо всех свойств Бога он заметил и удержал в своем сердце только одно: милосердие. Он бы хотел, чтобы Бог был защитник и покровитель страдающих, больше от Бога ему ничего и не нужно. Мистика и метафизика не для него. Он так больно почувствовал с детства людские страдания, что Бог ему надобен ровно постольку, поскольку он эти страдания утишит.

Тайна, бесконечность, сверхчувственный мир, так ясно ощущаемый чуть не всеми великими, — все это ему нелюбопытно. Он отнюдь не богоискатель, а если б и стал он отыскивать Бога, то только затем, чтобы Бог поскорей пособил какой-нибудь страдалице-Оксане. Слишком близко увидал Шевченко все раны и язвы корчащегося в муках человечества, и потому, если думал о Боге, то только как о целителе ран. Он так полюбил здешний наш бедный мир, что мира нездешнего ему и не надо. Взирая на небо, он думает только одно: видит ли Небо страдания Земли? —

А Ти, Всевидящее Око,
Чи Ти дивилося звисока,
.....
Як мордували, разпинали
И вішали?

как мучили людей здесь, на земле.

Только натолкнувшись на горе людское, он вспоминает о Боге:

І все то те лихо, все, кажуть, од Бога.
Чи вже ж Йому любо людей мордувать?

Бог, как участник человеческих дел, только такой и существует для Шевченка. И в зависимости от того, велико ли это участие, менялось и его отношение к Богу. Однажды он сказал, что готов петь Богу Осанну, но только тогда, когда людям выпадет лучшая доля:

«А до того, — сказал он, — я не знаю Бога».

Словом, страдающих людей этот страдалец возлюбил даже больше, чем Бога. Он готов даже отречься от Бога, если Бог не дает людям счастья. «Ми не раби Його, ми люди», — с гордостью на-

поминает он нам. Счастье человеческое у него главнее всего, — и когда этого счастья нет, тогда Шевченко с изумлением спрашивает: «А може й Сам на небеси сміешся, Батечку, над нами?» Если так, если там, над миром смеется Бог, то миру не нужно Бога: «коли ж одпочити, ляжеш, Боже утомленый, і нам даси жити?» — язвительно спрашивает он.

Он истинно набожен, и чувствует это свое прометейство, эти свои дерзкие напоминания Богу о людях, как смертный мучительный грех, но каяться в своем грехе не будет, потому что эти обездоленные люди для него дороже спасения души: «я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неі душу погублю».

Он готов даже против Бога пойти, которому так предан, пред которым расточает столько молитв, — все ради тех же страдающих людей. Бог для него свят, но эти муки вокруг еще для него святее, и из страждущего человечества он создает как бы новое божество для себя. Мы видели, как страстно он молился пред униженными и оскорбленными! Думать о Боге как о Сущности всех вещей, как о Начале Начал, он никогда бы не мог. Дикими показались бы ему эти слова Сведенборга: «Божественное Могущество существует чрез Божественную Истину, исходящую от Божественной Человечности». Все эти фиоритуры схоластики были невнятны ему. Только однажды, в юности, задумался он о начале вещей и о тайне вселенной: — «куди ж воно ділось, відкиля взялось?»

Но тут же решил, что «і дурень, і мудрий нічого не знає», — и раз навсегда покончил со всякими — для него — праздными вопросами, всею душою уйдя в великий стан погибающих.

6

Итак, мы покинуты Богом, Бог позабыл о нас, и это самое страшное, что только знает о Боге Шевченко. Ибо изо всех страданий человеческих он почему-то больнее всего почувствовал именно это: покинутость. В стране страдающих ему близки и милы все, но роднее и ближе других были те, кого он звал «сіромахи», «сиро́ми», — «сирые сироты», — забытые, покинутые люди, и когда читаешь «Кобзарь», то кажется, что самое мучительное в мире — не голод, не безумие, не болезнь, не смерть, а именно сирость, сиротливость, когда тебя оттолкнут, когда от тебя «отцураются», и как же это должно быть ужасно, если от людей «отцурался» их Бог!

Люди, от которых кто-нибудь за что-нибудь «отцурался», — только таких принимал на страницы к себе Шевченко. Придите ко мне, все покинутые, я один не покину вас!

Все запомнили из «Кобзаря» Катерину: «жартуючи кинув Катрусю москаль». Но ведь и Оксаночку — «таку маленьку, кучеряву», — которая в детстве была подругой поэта, — тоже покинул такой же москаль. И Титарівну-Немирівну тоже. Титарівна-Немирівна еще поджидает к себе москаля, а Катерина уже бросилась в прорубь, Оксаночка сошла с ума, Лукия, — из поэмы «Ведьма», — сделалась юродивой, а «Причинна», покинутая казаком, и даже не покинутая, а только подумавшая: вот я покинута! — бросилась в реку к русалкам.

Самая счастливая из этих покинутых идет в монастырь; для других безумие и самоубийство почти неизбежный удел у Шевченка. «Великомученица!» — называет он ту, которую покинул помещицкий сын. Она умирает под забором, зимой, на морозе. Зрелище покинутой женщины так для Шевченка невыносимо, что он даже воскликнул однажды:

«Очі, очі, нащо ви здалися? Чом вы змалку не висохли, слізьми не злилися?»

Многое здесь изумляет меня, и многое мне непонятно. Конечно, сам сирота, в девять лет лишившийся матери, а в двенадцать — отца, познавший в «покинутой Богом пустыне», в Косарале, в Ново-Петровске, весь ужас тоски и заброшенности, никем не обласканный в старости, он естественно влекся к таким же, как и сам, сиротливым. Но все же почему невыразимо-зловеще звучат у него всегда такие как будто нестрашные слова:

«А він мене і *покинув*»... «Він поіхав десь далеко, а мене *покинув*»... «Нема Петра, не чуть Петра, не вже ж то *покинув*»... «*Покинули* стару матірь, той жінку *покинув*»... «Не кидай матері, казали. — А ти *покинула*, втекла»[1].

Почему, в самом деле, у Шевченка все люди так безумно боятся быть кинутыми? В поэме «Невольник» старик, «седой, богатый сирота» — почему он так плачет, когда узнает, что его дочь —

Його единая дитина
Покинуть хоче.

«З ким дожить, добити віку вікового?» И даже Гонте, который режет родных сыновей, и то страшнее всего, что он без них — си-

[1] Три раза во всем «Кобзаре» вернулся к покинутой тот, который покинул ее. Но он вернулся либо слепым («Невольник»), либо мертвым («Хустина»), либо, что хуже, обманутым («Між скалами, неначе злодій»). По «Кобзарю» это как бы вечный закон, что «покинувший» не должен возвращаться.

рота! «А хто мене поховає на чужому полі, хто заплаче надо мною?» — причитает над детьми детоубийца. И почему еще с юности заброшенная старость вставала пред Шевченком неотвязным и пугающим призраком? В двадцать четыре года он, как написал у себя в «Катерине», что «старик с своей старухой стали сиротами», так и повел через весь «Кобзарь», через всю свою жизнь, эту вереницу сиротеющих старух и стариков, одиноко умирающих на печи, в холодной и темной избе:

Покинута старуха-мать:
Никто ей не истопит хаты
И не прикроет дряхлых плеч.
А ей уж трудно встать — зажечь
Огонь бессильными руками...

У «Відьмы» умирает старик-отец, и «некому его перекрестить, некому сложить его руки». В другой поэме снова: «одна старуха на печи, и та, бедняга, помирает, изба погнулась — догнивает». А эта старуха-мать Костомарова, у которой отняли сына —

Чорніше чорної землі
Іде, з хреста неначе знята...

И в поэме «Княжна» — этот умирающий князь, покинутый дочерью. И в поэме «Сова» — эта мать, у которой сына взяли в солдаты, она сидит целые дни у порога и глядит на тропинку в поле, — «а москаля, її сина, немає, немає», и, наконец, сходит с ума, делает себе куклу и нянчит ее, как ребенка, и другая мать, в «Неофитах», потерявшая сына, разбивает себе голову о стену и замертво падает наземь.

Нас покидают любимые, у нас умирают любимые, от нас отрывают любимых — почему же это была вечная тема Шевченка, которой он все с новыми приливами чувства неустанно отдавался в «Кобзаре»?

7

И, странно сказать, даже к вещам, даже к предметам покинутым он чувствовал необъяснимое влечение. Гнездо, покинутое соловьем, одиноко качающееся на ветвях калины, и этот покинутый челн, который несется по ветру пустой, и эта поэтичная «тополя», которая «одна, одна, як сирота на чужині гине», и горы-сироты и море-сирота, и сироты-рощи:

«Не кинь сиротою, як кинув діброви» —

и степные курганы-сироты и днепровские пороги, и эта найсвятая Украйна, которая —

Обідрана, *сиротою*
Понад Дніпром плаче.
Тяжко-важко *сиротині*,
А ніхто не бачить.

Главное, что «ніхто и не бачить», это-то и умиляет, это-то и привлекает его больше всего. И еще эти осиротелые избы, которые так зловеще зовутся по-украински «пустками»: «Тілько пустка на край села набік похилилась»... «І хата пусткою смердить»... «І хата пусткою гніє»...

Эти избы, где не люди живут, а совы, — и высыхающие пруды, — и завалившиеся колодцы, — и тропинки, заросшия травой, — и колокольни, которые покинул звонарь[1], и раскрытые ворота, куда никто не въезжает, и матери, которых покинули дети, — и девушки, которых покинули любовники, — и вселенная, которую покинул Бог, от которой Он отвернулся, которую Он осиротил, — о, конечно же, эти символы, это подобия, это внешние образы, которыми бессознательно Шевченко пытался хоть как-нибудь передать неизбывное, вечное чувство своей нечеловеческой сирости, но все же одна подробность, небольшое одно обстоятельство, о котором и говорить бы не стоило, все время смущает меня, и я тороплюсь это высказать, прерывая себя самого...

Вы только представьте, только вообразите себе на минуту этого юношу-подростка Тараса здесь, в Петербурге, — он бегает где-нибудь по Гороховой, по Литейной, Мещанской в тиковом халатике, с ведром и с кистью в руке, весь забрызганный известью, вохрой, — ученик маляра Ширяева, живописных дел мастера. — «Тараска, за пивом!» — «Тараска, за табаком!» — спит и ест со стекольщиками, кровельщиками, — калужскими, костромскими, — в грязи, на чердаке, — и, конечно, пинки, тумаки, — обыкновенный петербургский мальчишка — бегает, здесь, по Гороховой, и год, и два, и три, и четыре, — раб крепостной, беспросветный:

Не знав, сіромаха, що виросли крила,
Що неба достане, коли полетить,
Не знав, нагинався, —

и, конечно же, ему дают на чай — вот тебе гривенник! — и, конечно, он целует руку (он пришел к Сошенку и поцеловал у него руку) — и, целуя, боится, что его, быть может, ударят (когда Сошенко отдернул руку, он испугался и убежал), — запуганный, загнанный раб, ко-

[1] В пьесе «Чума»: «Бо дзвона вже давно не чуть, сумують комини без диму». Вообще для этого чувства покинутости характерны: «Чума», «Не кидай матери», «Чигирин» и мн. др. В каждой пьеске до десяти, до пятнадцати заглохших, заброшенных предметов.

торого секли на конюшне и который в детстве ел глину от голода. И вдруг совершается чудо, фантазия, «то, чего не было», «то, чего не бывает»: слетаются к нему какие-то ангелоподобные люди, — он и не подозревал, что существуют такие, — маги и колдуны, — и говорят ему: ты свободен! И дают ему хартию вольности, волшебную какую-то бумагу, — ты свободен от маляра Ширяева, от помещика Энгельгардта, от вохры и матерной брани, — и этот благосклонный Жуковский, и пышный Брюллов, и граф Вьельгорский, и графиня Баранова, и вице-президент Григорович, и художник Венецианов — все к нему, все о нем, выкупают его у помещика, — ласковы, милы, как никто, и хоть на одну, на самую короткую минутку, когда такие добрые руки со всех сторон потянулись к нему, ведь должно же было в нем умолкнуть это вечное чувство брошенности, потому что не брошен же был он тогда, потому что и через двадцать лет не в силах он будет позабыть о блаженстве своем тогдашнем, и через двадцать лет будет удивляться ему:

«Самому теперь не верится, — напишет он у себя в дневнике, — а действительно, это было так». «Я из грязного чердака, я, ничтожный замарашка, на крыльях перелетел в волшебные залы академии художеств». «Быстрый переход с чердака грубого мужика-маляра в великолепную мастерскую величайшего живописца нашего века!»...

Был апрель и был май, были белые ночи, и, растегнувши, должно быть, пальто, как носился он по всему Петербургу, по Литейной и по Гороховой, и в кармане у него отпускная, его хартия вольности, он выймет ее и целует, перекрестится и поцелует, и уже выводит каракули на каких-то клочках, — и вчитайтесь в эти строки, что у него написались сейчас же в ближайшие месяцы, когда был он спасен:

...Бо я одинокий
Сирота на світі в чужому краю...

Вот что он пишет на этих страницах. И снова:

«Тяжко мені сиротою на сім світі жити».

И снова:

«Сиротині сонце світить, світить та не гріє»... «Люди б сонце заступили, щоб сироті не світило».

О, конечно, он до слез благодарен этим приласкавшим его! Он посвящает им чуть не все свои «вирши»: Жуковскому — «Катерину», Григоровичу — «Гайдамаков»[1]; но в этих *виршах* он говорит

[1] Впоследствии он вспоминал в «Кобзаре» о благодеянии Григоровича: «Як бы не він спіткав мене при лихій годині, давноб доси заховали в снігу на чужині». И снова: он «мені на чужині не дав погибати».

им одно: все о той же своей сиротливости: как страшно ему жить среди чужих на чужбине. «Чужие люди» — обычное слово в тогдашних его стихах. Кто же чужой ему был тогда? Граф Яков де-Бальмен? Петровский? Гребенка? Штернберг? Или Сошенко? С ним они делят последнее, работают с ним и голодают, и вообще друзей у него столько, что, как писал он потом, «бросишь в собаку, а попадешь в друга», и не просто «приятелей», а преданнейших, задушевнейших, — и сколько потом на Украйне: Кулиш, Костомаров, Белозерский, княжна Репнина, Козачковский, Тарновский, — и все же в каждой строке он только и жалуется, только и плачется на жестокое свое сиротство:

«Кругом мене, де не гляну, не люди, а змії».

И вглядитесь в самые первые петербургские его песни за первые годы творчества: все те же, такие же образы все той же, такой же покинутости: девушка бродит над морем рыдая, — «коли ж згинув чорнобривий, то й я погибаю»... И другая, точно такая же, и тоже над морем, — «нехай плаче сиротина, нехай літа тратить»; и третья, такая же: «минув і рік, минув другий, козака немає».

И вечные эти повторения; «я сирота, мій голубе». «Я сирота з Вильшаної, я сирота без матері, сирота, бабусю».

Удивительно. Со всех сторон пред ним раскрытые объятия, а он их будто не видит. Щепкин, Кухаренко, Бодянский, Максимович, — неужели он не вспомнил о них, позабыл, когда писал впоследствии в казарме: «ніхто любив мене, вітав, і я хилився ні до кого». Сам такой ласковый, к ласке других не чувствителен. То есть чувствителен, но не здесь, в «Кобзаре». Откуда же в нем такое? Я долго не мог объяснить себе это, но теперь, мне кажется, я знаю. Вникните, вслушайтесь в народные украинские песни, возьмите хотя бы того же Максимовича, старинный сборничек, еще тот, которым восхищался некогда Гоголь, — и вы с изумлением увидите, что в творчестве народа украинского покинутость и сиротливость тоже главенствуют над всеми другими чувствами:

Ой, поіхав в Московщину
Та там і загинув.
Свою милу Україну
На віки покинув.

Это в первой же песне — и, не правда ли, это будто из «Кобзаря»? И вслед за этим другая песня: сын обещает вернуться к матери лишь тогда, когда взойдет посев песку, поливаемый ее слезами; и третья: он вернется, когда павлинье перо погрузится на дно, а мельничный жернов поплывет... Да и как же песням украинским не быть песнями разлуки и брошенности?

Вспомните жену Тараса Бульбы: «она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества»... «Оба пола виделись между собою самое короткое время, и потом разлучались на целые годы. Годы эти были проводимы женщинами в тоске, в ожидании своих мужей, любовников, мелькнувших пред ними, как сновидение, как мечта», и не отсюда ли та туга, та журба, тот беспрерывный «плач Ярославны», плач о *ладе* ее, Святославе, который слышится в напевах украинских?

В классических книгах Чубинского о юго-западном крае[1] я нашел лишь 14 песен о ревности, только 30 о несчастной любви, — но 240 посвящено разлуке!

И вот замечательно, что Шевченко возлелеял в себе и проявил, даже независимо от своей биографии, даже иногда *наперекор своей биографии*, исключительно эти народные чувства; все же другие, его народу не свойственные, он хоть и переживал, хоть и страстно порою испытывал, но как-то они не вмещались в «Кобзаре», как-то оставались за обложкою «Кобзаря», для них как бы не было даже слов у Шевченка, — ни образов, ни ритмов, ни лирики! Эти не народные чувства и мысли, — сколько бы ни отдавался им Шевченко, — как-то гасли в нем, потухали, чуть только он брался за перо.

Ведь это же какое-то чудо! Шевченко живет в Петербурге шестнадцать лет, на Васильевском Острове, он до мозга костей петербуржец, но где же в его «Кобзаре» этот Васильевский Остров? — где же он хоть в малейшей черте психологии? Где в «Кобзаре» Брюллов, где Академия художеств? Шевченко может прожить с Брюлловым десятки лет, пред ним благоговеть, подражать ему всячески, в живописи, в одежде, в прическе, толковать с ним о Дюрере, Гвидо-Рени, Тенирсе, но вот он взялся за перо, и где ты тогда, Брюллов! Где тогда ресторан Юргенса, где Излер, Александринский театр, и Каратыгин, и «Северная Пчела», и «Золотой якорь», и Николай Полевой и граф Яков де-Бальмен и Даль, и Перовский, и Плетнев, и растегаи, и «Адольфинка» — все спадает с него, как какой-то внешний покров, и нет у Шевченка тогда, в тот изумительный миг, ни единого жеста, ни одной полумысли, ни одной самомалейшей черточки, которой бы не было и в том днепровском Остапе, Максиме, Яреме, все он сбросил с себя, как, помните, — Наташа Ростова, графинечка, воспитанная француженкой, когда вдруг заплясала русскую, сбросила с себя и графство и всю обычную свою психологию, и крестьянка Анисья сквозь

[1] *П. П. Чубинский.* Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край. 1872—1878. Т. V.

смех прослезилась, глядя на эту чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять и выразить каждым жестом, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке Анисьи, и в матери Анисьи, и вот этой-то способностью, этим даром отрешения ото всех случайных черт своего личного «я», как никто, обладал Шевченко, и отсюда та особенность его книги, что, сколько в нее ни вглядывайся, в ней почти не найдешь его личности, не найдешь ничего, для него одного характерного, принадлежащего ему одному, и все, что ни отнесешь к нему, *как к поэту, как к автору*, окажется: нет, не его, а всего народа украинского.

Мы, например, объясняли личным его темпераментом эту его страстную жажду возмездия: «крові мені, крові, бо хочеться пить!» — но ведь недаром же история Украины была историей набегов и битв, недаром же был на Днепре этот *лицарський* остров Хортица, — и Бульба, *отмщая* за сына, недаром всякий раз приговаривал: «это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» и вырезывал женщинам груди, и сжигал и вешал всех без разбору, именно как мститель, как «местник»; и малороссийские песни (по слову Срезневского) были недаром песнями именно местников, тех, кто, «неравнодушно взирая на погибель своих сподвижников, с отчаянием *отмщевали* за смерть их врагам».

Мы думали: здесь Шевченко. Но нет, здесь тоже народ!

И эта молитвенность творчества, эти постоянные взывания:

— Ой, тумане, тумане.

— Ой, талане, талане.

Может быть, здесь его личность, самобытная его особенность? Но нет, это опять-таки особенность песен народных, где, как бывало указано, «столь часты беседы с буйным ветром, дробным дождем, черными тучами», и молитвенные обращения Шевченка к людям, к стихиям, к предметам, разве не те же они, что и в этом тоже почти народном, тоже днепровском «Слове о полку Игореве»:

«Вітріло-вітре мій єдиний!»

«О, мій Словутицю преславний!»

Недаром «Слово» так легко уложилось у него в «Кобзаре!» И даже эта вечная забота Шевченка о девушках, о Катеринах, Оксанах — казалось бы, такая уж особенная, личная его черта, но, вслушавшись в это его знаменитое «кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями», как поневоле не вспомнить народное, точно такое же:

Ой дівчата, моі голубочки, не діймайте козакам віри,
Я молода віри діймала, тепер же я на віки пропала.

Или:

Ой сусіди, пани-маточки, навчайте свої дочки,
Щоб по ночам не ходили, козаченьків не любили...
У козака гіра, як на морі піна[1].

и многое множество других.

Покинутость, сирость, мы уже видели, тоже не личное его ощущение, — и нежность, и гневность тоже, и в том-то и чудо, что почти ни одной его личной черты в его творчестве разыскать нельзя, и говоря о нем, против воли говоришь о народе, а говоря о народе — о нем! Тут какая-то небывалая круговая порука. Счастливейший Платон Каратаев! Какое для него было блаженство в этой его почти мистической слиянности с народом. Ему никогда не приходилось искать ни форм, ни идей для своего творчества, он не искал Бога, не искал мировоззрения, не искал оправдания своему бытию, все ему было дано и все определено в народе и народом, и ему незачем было спрашивать: что такое жизнь? что такое смерть? во что мне веровать? что мне делать? куда идти? кто такой я? что такое вселенная? — народ ответил ему еще раньше, чем он об этом спросил, и на всех путях жизни был он водим и спасаем народом, и стоило ему хоть немного отклониться или уклониться хоть на волос в сторону, оторваться на мгновение от народа, он становился неузнаваемо беден и слаб. Ведь поразительно: когда он писал не на родном днепровском своем языке, а «по-московськи», по-великорусски, вдохновение отлетало от него. — «Я не советую вам печатать эту русскую повесть, — писал ему С. Т. Аксаков, — она несравненно ниже вашего огромного стихотворного таланта... Вы имеете пред собою блистательное поприще, на котором вы — полный хозяин». Аксаков не советовал ему писать русскую прозу, но и русские его стихи были нисколько не лучше. Его «Тризна», которая, как он сам утверждал, была написана им для того, «чтобы великоруссы не говорили, что я не знаю их языка», есть как будто плохой перевод какого-то хорошего стихотворения. «Жаль, что я плохо владею русским стихом», — записал он сам у себя в дневнике. По словам Кулиша, редакции русских журналов даже и печатать не хотели русские его произведения. — «Какой черт и за какой грех искусил меня исповедоваться пред кацапами черствым их словом, — писал Шевченко товари-

[1] Через десять лет после «Катерины», когда социальные воззрения Шевченка значительно стали шире, он пишет новый вариант этой песни, заменяя ненависть к москалю ненавистью к пану:

— Кохайтесь хоч І з наймитами
З ким хочете, моі люби, тільки не з панами

щу, сочинивши русскую драму «Слепая невеста». — Виноват ли я, что я родился не кацапом и не французом».

А ведь русским языком он владел превосходно, проведя среди великороссов большую часть своей жизни...

Характерно, что то же случилось и с другим национальным гением, с шотландским поэтом Бернсом, когда он пытался писать по-англйски. «Хотя Бернс, — говорит Карлейль, — пишет и по-английски с восхитительной силой и даже весьма изысканно, — он далеко не так владеет английской прозой, как он владел шотландским стихом. Когда читаешь его прозу, то кажется, что вот человек всеми мерами силится выразить, высказать что-то такое, для выражения чего он лишен надлежащего органа. Напыщенность и ходульность его прозы находятся в таком противоречии с суровой простотой его стиха» (Critical Essays).

Гениальность есть явление национальное, и на эсперанто еще не творил ни один великий поэт.

1914

Под названием «Люди и книги шестидесятых годов» сборник К. И. Чуковского, составленный из очерков начала 1930-х годов и нескольких новых публикаций, выходил лишь однажды (Л., 1934). В него входили шесть критико-биографических очерков («Толстой и Дружинин в шестидесятых годах», «Петров», «Жизнь и смерть Николая Успенского», «Николай Успенский и Некрасов», «Василий Слепцов. Тайнопись „Трудного времени“», «История слепцовской коммуны») и три публикации («Письма Дружинина Льву Толстому», «Письма Николая Успенского», «Письма В. А. Слепцова»).

Выход книги был отмечен краткой информативно-аннотирующей рецензией в газете «Правда» (1934, 21 сентября. № 261) и более развернутой рецензией Я. Эльсберга в журнале «Красная новь» (1934. № 9. С. 197–199). Эльсберг отмечал замечательное мастерство Чуковского в жанре литературного портрета, особенно портрета Слепцова, редкостное владение автора «богатством частностей». Вместе с тем, писал далее критик, «частности заслоняют у К. Чуковского общее, нередко дают о нем неправильное представление» (с. 199). Этими частностями, по мнению критика, заслоняются и «буржуазная сущность» А. В. Дружинина, и «политическая неустойчивость» Н. В. Успенского. И «уже грубо ошибочно утверждение К. Чуковского, — заключал Эльсберг, — что “Слепцов был совершенно свободен от тех герценовско-славянофильских иллюзий, которыми тешили себя наряду с Чернышевским многие социалисты шестидесятых годов”» (с. 198). Герцен, — сурово указывал критик, — в 60-х годах — враг славянофилов, Чернышевский не идеализировал крестьянскую общину, а Слепцов скорее примыкал к Чернышевскому.

В переработанном виде очерковая серия этого сборника (кроме очерков «Петров» и «Николай Успенский и Некрасов») была включена К. И. Чуковским в первый раздел нового его сборника под названием «Люди и книги» (М., 1958). Этот раздел был дополнен одним из ранних очерков («Тема денег в творчестве Некрасова» — из книги «Рассказы о Некрасове») и тремя очерками, публиковавшимися исследователем отдельно в 1940–1950-х гг. («Григорий Толстой и Некрасов», «Ростислав и его письма Некрасову», «Ленин о Некрасове»).

Многочисленные газетные и журнальные рецензии на новую книгу К. И. Чуковского были неизменно положительными и почти не содержали критических замечаний. «По-новому, по-своему» — так была озаглавлена рецензия Л. Лазарева, который отмечал поразительную эрудицию ученого, острую наблюдательность, прочный фундамент фактов, на котором он выстраивает свою концепцию, богатый исторический фон в очерках Чуковского («Литературная газета». 1958, 3 июня. № 66).

Те же особенности таланта К. И. Чуковского, который счастливо «сочетает в себе темперамент художника с точностью исследователя», отмечал Е. Осетров в рецензии под заглавием «Судьба людей и книг» («Литература и жизнь». 1958, 4 июня. № 28).

В рецензии под заглавием «Стиль, отвечающий теме» О. Михайлов констатировал движение исследовательской манеры Чуковского от метода «художественной мемуаристики» — к глубокому научному анализу: «Маска мемуариста снята, перед нами ученый, обладающий редкой способностью вникать в психологию изучаемых им исторических лиц. И другое. За психологией личностей Чуковский видит социальную психологию, <...> сложное переплетение классовых симпатий и тяготений» («Новый мир». 1958. № 11. С. 251). «Если попытаться определить писательский метод, родственный дарованию Чуковского, — заключал О. Михайлов, — то это будет, на мой взгляд, метод предельного заострения, я бы даже сказал, оправданной утрировки». (Там же. С. 252.)

Более придирчивым рецензентом сборника Чуковского «Люди и книги» был, естественно, критик профессионального литературоведческого журнала Н. Ждановский, который, впрочем, назвал свою статью — «Книга на многие годы» и отметил высокое мастерство Чуковского-литературоведа. Н. Ждановский сожалел о том, что Чуковский «обходит» вопрос о натурализме Успенского и излишне строго судит коллег по изучению наследия Дружинина. В заключительной части рецензии он писал: «автору рецензируемой книги вряд ли стоит упрекать советских литературоведов, именующих Дружинина приверженцем искусства для искусства, в том, что они тем самым говорят не о человеке, а о второстепенном в его теории. Когда литературовед называет Дружинина теоретиком искусства для искусства, этим он указывает на охранителя устоев, противника передовых идей и не вкладывает в свои слова иного смысла» («Вопросы литературы». 1958. № 12. С. 223).

При жизни К. И. Чуковского цикл очерков о писателях-шестидесятниках печатается еще дважды: во втором, дополненном издании «Люди и книги» (М., 1960) и в пятом томе его «Собрания сочинений в шести томах», изданном в 1965–1969 гг. В оба названные издания автор вернул в первую часть сборника «Люди и книги» очерк о Петрове и включил итоговую работу «От дилетантизма к науке».

В настоящем томе тексты цикла очерков о писателях-шестидесятниках печатаются по последнему прижизненному изданию: *Чуковский Корней.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1967.

Этот цикл дополнен *приложением* из четырех ранних и никогда не перепечатывавшихся работ К. И. Чуковского, посвященных писателям той же эпохи, а также его дореволюционными статьями о Шевченко.

Сокращения, используемые в комментариях:

Дружинин. — *Дружинин А. В.* Повести. Дневник. М., 1986 (серия «Литературные памятники»).

Некрасов. – *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., СПб.: Наука, 1981–2000.

ГРИГОРИЙ ТОЛСТОЙ И НЕКРАСОВ

Впервые опубликовано: «Литературное наследство». Т. 49–50. М., 1946. С. 365–396.

С. 8 *Неизвестный редактор архивного наследия Анненкова...* – Редактором книги «Анненков и его друзья» (СПб., 1892) был Л. Н. Майков.

С. 9 *Когда в 1928 г. я в своем предисловии к «Воспоминаниям» А. Я. Панаевой дерзнул указать по какому-то случайному поводу, что «степной помещик»... был Григорий Толстой...* — См.: *Панаева Авдотья.* Воспоминания. 1824–1870. 3-е изд. Л., 1929. С. 10.

С. 11 *Стряхнул с себя личины «Перепельского», «Пружинина», «Ивана Грибовникова».* – Перечислены театральный и журнальные псевдонимы Некрасова.

С. 12 *Гоголь в том же 1846 году назвал эту группу «некрасовцами»...* – Аберрация. Это выражение принадлежит П. А. Плетневу, который сразу по выходе «Петербургского сборника» писал В. А. Жуковскому: «Верно, Вам пришлет Соллогуб “Петербургский сборник”. Там есть Достоевского роман “Бедные люди”. От него наши некрасовцы, печатающиеся в альманахе какого-то Некрасова, без ума и говорят, что теперь смерть Гоголю...» (См.: *Барсуков Николай.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 8. СПб., 1894. С. 350).

Известно, что Н. В. Гоголь, бывший в это время в Германии, заинтересовался альманахом «Физиология Петербурга». В числе книг (в основном религиозного содержания), которые он просил в письме к А. О. Смирновой прислать ему, названа «книга совершенно мирская, на днях вышедшая, что-то вроде “Петербургских сцен” Некрасова, которую очень хвалят...» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. [Л.], 1952. Т. 12. С. 491).

Мысль о журнале... не могла не зародиться у Некрасова еще в 1845 году. – По свидетельству П. В. Анненкова «с половины 1845 года мысль покинуть «Отечественные записки» не оставляла Белинского, в чем его особенно поддерживал Н. А. Некрасов» (*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1983. С. 285). Мысль о новом журнале, в котором Белинскому отводилась ведущая роль, возникла у его московских и петербургских друзей гораздо ранее середины 1845 г. В конце 1844 или начале 1845 г. Т. Н. Грановский и А. И. Герцен предпринимали какие-то попытки основать свой журнал. 25 февраля 1845 г. Н. Х. Кетчер, гостивший в это время в Петербурге, в письме к Герцену и Грановскому сообщал о результатах своих бесед о будущем журнале с Белинским, Некрасовым и Панаевым: «Вы хлопотали о журнале в Москве — хлопоты не удались; но они могут удаться в Петербурге. Можно купить который-нибудь из здешних журналов, а купить и иметь журнал необходимо» («Русская мысль». 1892. № 9. С. 10–11). 14 января 1846 г. Белинский сообщал Герцену: «О новом журнале в Питере подумывают многие, имея меня в виду...» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. XII. М., 1956. С. 258).

С. 13 *Две другие книги, которые он... издал и распродал вскоре после выхода «Петербургского сборника», принесли ему кое-какие доходы.* – После «Петербургского сборника» Некрасов в 1846 г. издал дешевый юмористический альманах «Первое апреля» и, совместно с В. Г. Белинским и Н. Я. Прокоповичем, «Стихотворения Кольцова». Однако К. И. Чуковский имеет, очевидно, в виду два выпуска альманаха «Физиология Петербурга», изданные Некрасовым в 1845 г.

С. 14 *Чаще всего это дело изображается так, будто ни у Некрасова, ни у Панаева не было и мысли о журнале, когда они поехали в гости к Толстому.* — См., например:

Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1986. С. 157–159. О мечте Белинского и Некрасова обзавестись своим журналом см. примеч. на предыдущей странице. Однако к лету 1846 г. у них возникла новая идея, казавшаяся более реальной: основать книжную лавку (в ту пору книжные лавки были фактически издательскими домами) для издания и распространения литературной продукции писателей новой волны — *натуральной школы*. В письме к жене от 11 июня 1846 г. В. Г. Белинский, путешествовавший по югу России, писал: «Некрасов будет в Питере к августу. Он открывает книжную лавку и тотчас же займется печатанием моего альманаха ("Левиафан" — *ред.*). Открытие лавки очень выгодно для моего альманаха, так же как и мой альманах очень выгоден для лавки. Деньги для лавки дают ему москвичи» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. XII. М., 1956. С. 286). С появлением материальной возможности купить или арендовать один из существующих журналов Некрасов отказался от намерения открыть лавку. 5 сентября 1846 г. Ф. М. Достоевский, также посвященный в планы Некрасова и Белинского, писал брату: «Белинские доехали хорошо, и с самой пристани я еще не видался с ними. Зашел на другой день к Некрасову. Он живет в одной квартире с Панаевыми, и потому я видался со всеми. Альманах идет; нужно спешить. Про лавку я не хотел спрашивать и не знаю; но, верно, тоже идет. Но вот известие: <...> к новому году у нас может быть новый журнал» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 28. Кн. 1. Л., 1985. С. 124–125).

С. 24 *На выдачу аванса... П. А. Плетневу, получившему в первый же год 5850 рублей ассигнациями за одно лишь название журнала.* – По договору об аренде «Современника» между П. А. Плетневым и И. И. Панаевым, заключенному 23 октября 1846 г., новый издатель обязывался выплачивать владельцу 3000 р. ассигнациями или 857 р. 14 коп. серебром в год и с каждого нового после 1200 подписчиков 6% дополнительно. В первый год издания некрасовский «Современник» имел 2000 подписчиков. К. И. Чуковский приводит цифру из расчетов, сделанных В. Е. Евгеньевым-Максимовым в его книге. «„Современник" в 40–50 годы» (Л., 1934. С. 38).

...он... попросил его выслать хоть мелкую сумму, хоть пять тысяч ассигнациями. – В письме к Толстому, относящемуся к первой половине февраля 1847 г., Некрасов говорит: «Вы *имели возможность* внести деньги или по крайней мере ту сумму, которая на первый раз была необходима (я у Вас просил только 7 или 5 т[ысяч] ас[сигнациями]» (*Некрасов.* Т. 14. Кн. 1. СПб., 1998. С. 66).

С. 40 *Не стали бы Некрасов и Тургенев упоминать об этой «почетной кайме» в известной эпиграмме (1847)...* – Имеется в виду стихотворение «Послание Белинского к Достоевскому» (1846), которое заканчивается куплетом:

Буду нянчиться с тобою,
Поступлю я как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец.

(Некрасов. Т. 1. С. 424)

...не стал бы рассказывать о ней в своем фельетоне Панаев (1855)... – Имеется в виду фельетон «Заметки нового поэта...» в № 12 «Современника» за 1855 г. (отд. «Смесь». С. 240–243).

С. 44 *В этих черновиках приехавший из-за границы помещик сперва проповедует самоотверженное служение интересам крепостного люда, а потом нарушает свои же собственные гуманные заповеди.* – См., например, в набросках к началу поэмы:

Как бишь? Читали, кажись, Ламартина
И рассуждали какая причина,
Что уж который теперича век
Беден, несчастлив и дик человек?..

Он говорил, не теряю надежды
Переведутся-де злые <невежды>...

И за свершенье надежды своей
Старой рябиновкой чокался с ней!

И к концу:

Это-де звери, скоты, а не люди
Нет благородства — в их рабс<кие> груди,
Надо-де ждать нам решительных <мер>,
Время прошло для химер.

(Некрасов. Т. 4. С. 287, 271–272)

...Решетиловых, Агариных, Пальцовых... — Герои произведений Некрасова «Самодовольных болтунов...», «Саша» «Сцены из лирической комедии „Медвежья охота“».

ДРУЖИНИН И ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Впервые опубликовано в сборнике К. И. Чуковского «Люди и книги шестидесятых годов» (Л., 1934) под названием «Толстой и Дружинин в шестидесятых годах».

С. 45 *Роман «Чернокнижников».* — Незавершенное произведение Дружинина, над которым он работал в 1840–1850 гг.

Подражание... «Пиквику». — Т. е. роману Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837).

С. 46 (*примеч.*) *Записки и дневники Дружинина до сих пор неизвестны в печати.* – Издание этих материалов подготовлено и осуществлено В. В. Ждановым и Б. Ф. Егоровым уже после кончины К. И. Чуковского в серии «Литературные памятники»: (см.: *Дружинин).*

С. 47 *Многотомное собрание его сочинений, вышедшее вскоре после его смерти.* — *Дружинин А. В.* Собр. соч. Т. 1–8. СПб., 1865–1867.

С. 50 *«Я люблю хорошую помещичью жизнь...»* — Дневниковая запись Дружинина под 5 августа 1854 г.

С. 59 *«Современник» в 1851 году напечатал пошлого Кукольника.* — Единственная публикация Н. В. Кукольника в «Современнике» — его «быль» «Третий понедельник» (1851. № 11).

Дружинин... увидел здесь самое доброе знамение. — См.: *Дружинин А. В.* Собр. соч. Т. 6. СПб., 1865. С. 552.

С. 61 *«Исследовать попытки социальных реформ последнего времени – вот моя цель...»* – В прочтении В. В. Жданова и Б. Ф. Егорова эта фраза отсутствует. Продолжение большой цитаты с купюрами, обозначенными К. Чуковским отточиями, совпадает с прочтением публикаторов дневниковой записи Дружинина под 16 января 1846 г. Приводим начало абзаца, предшествующее в опубликованном тексте фрагменту, который у Чуковского идентичен с текстом в «Лит. памятниках»:

«У меня умирали люди одного со мной положения, к которым я был привязан, у меня умер отец, которого я любил, но горесть, испытанная мною при этих случаях, была совсем отличная от грусти, охватывающей меня у постели умирающего солдата или старого слуги. Первая идея бывает ропотом на *причину,* создавшую нас, на природу и на весь свет, – потому что жизнь и ...» (далее – текст, идентичный в обеих публикациях – *ред.*). (*Дружинин.* с. 149).

С. 63 «Рассказ Алексея Дмитрича». – Повесть Дружинина, опубликованная в № 2 «Современника» в 1848 году.

С. 64 *После февральских дней 1848 года...* – Имеется в виду революция во Франции и начало «мрачного семилетия» для русской литературы и журналистики.

«Фрейлейн Вильгельмина». – «Современник». 1848. № 6.

Дружинин вместе с Некрасовым выносил на своих плечах «Современник»... – Ср. слова Дружинина в его письме к Е. Н. Ахматовой от 29 декабря 1852 г.: «Когда мы с Некрасовым чуть ли не три года выносили на своих плечах “Современник”, у нас были деньги и товарищи, все задуманное и присоветованное поступало в нижнюю инстанцию и являлось на свет Божий» («Русская мысль». 1891. № 12. С. 141).

...когда в 1855 году узнал о смерти Николая I, записал у себя в дневнике: «Конец давящего кошмара». – Император Николай I скончался 18 февраля 1855 г. В публикации дневника Дружинина, подготовленного и изданного В. В. Ждановым и Б. Ф. Егоровым, нет *записей* между 29 января и 28 июня 1855 г. Возможно, К. Чуковский видел рукопись Дневника Дружинина в более исправном виде, чем позднейшие публикаторы.

С. 65 *Цензурный террор был в то семилетие таков, что в журнал не допускалось вообще никаких критических статей... Приходилось прибегать к суррогатам, заменяя критику фельетонными очерками...* – Преувеличение. В «толстых» журналах, в том числе и в «Современнике» в годы мрачного семилетия сохранялись отделы «Критики и библиографии». В первые годы после смерти В. Г. Белинского и до прихода в журнал Н. Г. Чернышевского (1853) этот отдел некрасовского журнала был заметно слабее, чем, например, в «Отечественных записках» А. А. Краевского, на что указывали редакции «Современника» наиболее требовательные подписчики. Вот одно из нескольких печатных объяснений Некрасова по этому поводу, относящееся к 1849 году: «Совершенно разделяем мнение того письма <...>, в котором изложена мысль о слабости критического отдела “Современника” сравнительно с другими его отделами. Не в оправдание (ибо мы делали все, что могли), а в объяснение этого скажем несколько слов. Известно, что люди, обладающие критическим талантом, во всех литературах редки, – у нас тоже; итак, не мудрено, если в этом отношении журнал, прежде возникший, имеет некоторое преимущество перед журналом, начавшимся позднее, что первый успел удержать за собой деятельность немногих критических талантов еще тогда, когда второго не существовало» (*Некрасов.* Т. XIII. Кн. 1. С. 82).

С. 65 (примеч.) *См. в Рукописном отделении ИРЛИ неизданное письмо Дружинина к Анненкову (1858).* – Приводим дословно по подлиннику фрагмент письма Дружинина к П. В. Анненкову от 13 июля 1858 г., содержание и характер которого использует К. И. Чуковский: «Узнав, что Вы вместо Италии заехали в Берлин, я очень ожесточился, но мне было сказано, что этого и надо было ожидать, ибо Вы с особенным вожделением рвались в Италию, ergo, и должны были очутиться в самом похабном из городов вселенной как можно дальше от Италии. И что бы Вам стоило встретить весну в Милане, а то куда теперь Вы денетесь в адские жары июля и августа. Чувствую, что Париж будет неизбежен. А потом опять Берлин с прибавлением Штетина! Киссинген должен быть непотребным местом с немецкими принцами, русскими графинями и всякими стервецами аристократического свойства» (ИРЛИ, 5707, л. 16 об.).

С. 67 *Исследуя его бумаги, мы видим, сколько черной работы пришлось ему выполнить... чтобы в 1859 году могло наконец состояться первое заседание этого общества.* – Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым (Литфонд), инициатором создания которого был Дружинин, было образовано 8 ноября 1859 г. (См.: «Современник». 1859. № 11. Отд. III. С. 142).

С. 69 *Мне посчастливилось отыскать в одном частном архиве письма Льва Толстого к Дружинину и Дневник Дружинина, относящийся к 1855–1859 годам.* – По свидетельству племянника А. В. Дружинина — В. Г. Дружинина, «когда был юбилей Л. Н. Толстого (очевидно в 1928 г. — *ред.*), К. И. Чуковский купил для "Красной газеты" право использовать письма Толстого к А<лександру> В<асильевичу>...» (*Дружинин.* С. 425). Семь из них К. И. Чуковский впервые опубликовал в статье «Молодой Толстой» («Звезда». 1930. №№ 3–5).

«К. И. Чуковский, — указывает далее В. Г. Дружинин, — которому я разрешил ознакомиться с дневником для доклада в Пушкинском Доме о литературной деятельности А[лександра] В[асильевича], <...> ничего о втором экземпляре Дневника (т. е. о копии — *ред.*) не упоминал» (*Дружинин. С.* 425). Судя по всему, В. Г. Дружинин здесь озабочен не столько защитой своего наследного права на издание материалов архива своего дяди, сколько предупреждением административных преследований за несанкционированное распространение архивных материалов.

...в приятельском письме к одному офицеру... – К М. А. Ливенцову.

С. 70 *Фет обратился к нему с обширным стихотворным посланием.* – В эту пору А. А. Фет опубликовал два стихотворных произведения, посвященные И. С. Тургеневу: стихотворение «Петербургская ночь» («Современник». 1856. № 11) и поэму «Две липки» («Отечественные записки». 1857. № 1).

С. 72 *6 декабря 1855 года Дружинин записал в дневнике.* – Далее приводится запись от 7 декабря 1855 г. (См.: *Дружинин.* С. 360).

С. 73 *...смотрел на них так, «словно гладил».* — В письме Некрасова к В. П. Боткину от 24 ноября 1855 г. о Толстом: «...приятнейшее лицо, энергическое, и в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит» (*Некрасов.* Т. 14. Кн. 1. С. 234).

Меня начинает сокрушать поведение Саши Жуковой... – Эта запись в публикации Дневника Дружинина — под датой «пятница, 9 декабря» 1855 г. (*Дружинин.* С. 360).

С. 74 *«Был спор о Саше и Наде...»* – В издании Дневника эта запись — под датой «Суббота, 10 дек<абря>» (там же. С. 361).

С. 74 *«Башибузук закутил...»* — В издании Дневника эта запись о событиях 11 декабря помещена под датой «Понедельник, 12 декабря» (там же. С. 361).

«...удивляться Шекспиру и Гомеру...» — Цитата из Дневника под 7 декабря 1855 г.

...Дружинин – 31 января 1856 – прочитал у Некрасова свой перевод «Короля Лира» и вместе с Тургеневым стал вразумлять Троглодита... – Изложение дневниковой записи Дружинина под 2 февраля 1856 г. (там же. С. 374).

С. 76 *Вся эта группа писателей... требовала у Некрасова в пятьдесят пятом году, чтобы он удалил Чернышевского и поставил во главе журнала его антипода – Дружинина.* – Начало этой кампании относится к лету 1856 г., когда стало известно, что А. В. Дружинин переходит окончательно в «Библиотеку для чтения». В письме к Некрасову от 2 июля 1856 г. Л. Н. Толстой сетовал: «Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина из нашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в "Современнике", а теперь срам с этим клоповоняющим господином (Н. Г. Чернышевским — *ред.*)». (Переписка Н. А. Некрасова в двух томах. Т. 2. М., 1987. С. 38.)

С. 77 *В конце 1856 года они подписали договор с «Современником»...* – Текст «обязательного соглашения» см.: *Некрасов.* Т. XIII. Кн. 2. С. 241.

С. 78 *Толстой открыто бойкотирует Ивана Панаева, ведающего здесь беллетристикой.* – Уезжая в августе 1856 г. для лечения за границу, Некрасов оставил Н. Г. Чернышевскому официальное письмо, подписанное также и И. И. Панаевым, в котором говорилось: «Прошу Вас, кроме участия Вашего в разных отделах "Современника", принять участие в самой редакции журнала и сим передаю Вам мой голос во всем, касающемся выбора и заказа материалов для журнала, составления книжек, одобрения или неодобрения той или другой статьи» (*Некрасов.* Т. XIV. Кн. 2. С. 28).

С. 80 *Дружинин... прислал Толстому очень дельный разбор его повести.* — Далее цитируется письмо Дружинина от 15 сентября 1856 г. (*Толстой Л. Н.* Переписка с русскими писателями. Т. 1. М., 1978. С. 264).

С. 81 *Восьмого числа Дружинин записал в дневнике.* – Цитируемая далее запись в издании Дневника Дружинина помещена под 9 ноября 1856 г.

С. 84 *Дружинин утверждал, что если бы Белинский прожил еще несколько лет, он сделался бы чистым эстетом...* – В статье «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» («Библиотека для чтения». 1856. №№ 11, 12) Дружинин писал: «Главный представитель критики сороковых годов, человек, в котором она сосредоточивалась, человек, давший направление главным ее фазисам, Виссарион Григорьевич Белинский готовился к преждевременной кончине».

И чуть ниже: «...мы решаемся высказать всю мысль нашу о том, что совершила бы критика гоголевского периода, если бы небу угодно было продлить годы ее главных представителей. Она не могла долго идти по дидактически-сомнительной дороге, ее последнее пристрастие к этому пути кажется нам не признаком несокрушимого убеждения, а тем временным упорством, с каким истинно страстные натуры прилепляются к воззрениям, уже близящимся к своему упадку» (*Дружинин А. В.* Литературная критика. М., 1983. С. 171, 172).

С. 86 *«Современник» объявил, что с такого-то времени они нигде, кроме «Современника» не станут печататься.* — В объявлении «Об издании "Современника" в 1857 году», напечатанном впервые 22 сентября 1856 г. в № 144 «Московских ведомостей» (см.: *Некрасов.* Т. XIII. Кн. 1. С. 142). Четыре писателя – Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. Н. Островский.

С. 87 *«У нас не только в критике...»* – Цитируется письмо к Некрасову от 2 июля 1856 г.

С. 88 *Б. Эйхенбаум уже отметил в своей книге о Льве Толстом сходство литературных суждений Толстого... с литературными суждениями Дружинина.* – В процессе анализа письма Л. Н. Толстого к Некрасову от 2 июня 1856 г. Б. М. Эйхенбаум тоже приходит к выводу: «Здесь многое, как, например, фраза о Пушкине и Белинском, вдохновлено, несомненно, Дружининым» (*Эйхенбаум Б.* Лев Толстой. Л., 1928. С. 224). Заметим, однако, что статья Дружинина «Критика гоголевского периода...», с положениями которой Эйхенбаум и Чуковский сопоставляют письмо Толстого, напечатана в конце 1856 г., значительно позже письменного обращения Толстого к Некрасову, и это сопоставление не может быть убедительным аргументом в пользу «несомненной» зависимости мнений Толстого от мнений Дружинина.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТРОВ

Впервые опубликовано в сб.: Шестидесятники. Избранные произведения. М.–Л., 1933 — под названием «М. Петров. Биографический очерк».

Личность М. А. Петрова оставалась неизвестной историкам литературы еще долгое время после публикации очерка Чуковского. Однако именно этот очерк побудил редакцию биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917» предпринять поиск биографических сведений о забытом писателе. В четвертом томе этого издания (М., 1998. С. 580–581) помещена статья М. Г. Алхазовой, Е. В. Войналович, М. А. Карамзинской и М. Ю. Муравейниковой о Петрове, существенно дополняющая сведения, собранные Чуковским.

С. 104 *«Выборы»*. – Опубликовано в № 9 «Библиотеки для чтения» в 1859 г.

С. 106 *«Наносная беда»* – Опубликовано в № 9 «Отечественных записок» в 1860 г.

С. 108 *Восторженный отзыв... в «С.-Петербургских ведомостях»* – 1860, 10 марта.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО НИКОЛАЯ УСПЕНСКОГО

Впервые опубликовано в журнале «Новый мир». 1930. № 3 под названием «Судьба Николая Успенского».

С. 113 *«Здесь проехал человеконенавидец Успенский»...* – Цитата из письма И. С. Тургенева к П. В. Анненкову из Парижа от 7 (19) января 1861 г.

С. 114 *В либеральном журнале Дудышкина* – в «Отечественных записках».

С. 122 *Едва Некрасов прочитал его рассказы, он тотчас же послал их в набор...* – В февральском номере 1858 г. «Современника» были напечатаны под рубрикой «Очерки народного быта» рассказы Успенского «Поросенок» и «Хорошее житье».

...обратился к ректору Петербургского университета Л. А. Плетневу – Далее приводится письмо от 3 ноября 1858 г. к П. А. Плетневу, у которого Некрасов вместе с И. И. Панаевым арендовал право на издание «Современника».

С. 127 *Тургенев... использовал этот отзыв в романе...* – В XXI главе романа «Отцы и дети» Базаров говорит о Пушкине: «У него на каждой странице: “На бой, на бой, за честь России!”»

С. 130 *Чернышевский воспользовался его ранними очерками для определения готовности русских крестьян к революции...* – Имеется в виду статья Н. Г. Чернышевского «Не начало ли перемены? (Рассказы Н. В. Успенского. Две части. СПб., 1861)», напечатанная в ноябрьском номере «Современника» за 1861 г.

С. 144 *Стал утверждать... что Некрасов присвоил немалую долю того барыша, который дала эта книжка.* – Согласно «Счету чистого барыша от продажи посторонних изданий „Современника“», составленному И. А. Панаевым в 1866 г., весь «барыш» от изданных редакцией журнала «Грозы» и «Воспитанницы» А. Н. Островского, «Очерков Петербургской жизни» И. И. Панаева, «Рассказов» Н. В. Успенского и книги очерков Н. И. Костомарова составил 1122 р. 39 коп. серебром (ИРЛИ, 5071).

С. 145 *В начале шестьдесят второго года в «Современнике» был напечатан последний рассказ Николая Успенского...* – «Из дневника неизвестного» («Современник». 1862. № 1).

С. 146 *«Современник», с своей стороны, поспешил указать...* – В рецензии А. Ф. Головачева на «Рассказы Н. В. Успенского» в трех частях.

С. 150 *Знаменитые пожары в Петербурге...* – В конце мая 1862 г. в Петербурге сгорело несколько крупных торговых и административных зданий, в поджоге которых охранительные органы печати обвиняли студентов, якобы подстрекаемых оппозиционной печатью, прежде всего «Современником».

...свирепое усмирение польских повстанцев... – Имеется в виду польское восстание 1863 г. и его подавление генералом М. Н. Муравьевым.

...арест Михайлова, Чернышевского, Серно-Соловьевича... – М. Л. Михайлов был арестован 14 сентября 1861 г., Н. Г. Чернышевский и Н. А. Серно-Соловьевич — 7 июля 1862 г.

«Обоз» – Рассказ Н. В. Успенского, напечатанный в мартовском номере «Современника» 1860 г.

С. 152 *«Федор Петрович»*. – Напечатан в № 6 «Отечественных записок» 1866 г.

Щедрин впервые бегло набросал Дерунова... – Персонаж цикла «Благонамеренные речи» (гл. «Столп»).

С. 159 *...тогда же были напечатаны документальные данные...* – И. А. Панаевым в № 4630 газеты «Новое время» от 18 января 1889 г.

С. 163 *...в советские годы мы получили возможность вернуть литературе этого большого писателя...* – Интерес Чуковского к творчеству Н. Успенского и других «крестьянских» писателей 1860–1870-х годов тесно связан с захватившими его в начале 1930-х годов проблемами начинающейся коллективизации. Вскоре после публикации очерка «Судьба Николая Успенского» он записывает в дневнике (1 июня 1930):

«Напишу-ка я лучше о том, что сейчас волнует меня больше всего. <...> Я изучил народничество — исследовал скрупулезно писания Николая Успенского, Слепцова, Златовратского, Глеба Успенского — с одной точки: что предлагали эти люди мужику? Как хотели народники спасти свой любимый народ? Идиотскими, сантиментальными, гомеопатическими средствами. Им мерещилось, что до скончания века у мужика должна быть соха — только лакированная, — да изба — только с кирпичной трубой, и до скончания века мужик должен остаться мужиком — хоть и в плисовых шароварах. <...> И когда вчитаешься во все это <...> только тогда увидишь, что *колхоз* — это единственное спасение России, единственное *разрешение* крестьянского вопроса в стране!» (Наст. изд. Т. 12.

С. 404.) Чуковский был инициатором и редактором первого советского издания сочинений Н. Успенского (см.: *Успенский Н. В.* Сочинения. Т. 1. М.–Л., 1933, подготовка текста, статья и комментарий К. И. Чуковского).

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВАСИЛИЯ СЛЕПЦОВА

Впервые опубликовано в сборнике «Люди и книги шестидесятых годов» (М.,1934) под названием «Василий Слепцов».

Давний интерес К. Чуковского к личности и творчеству Слепцова и работа исследователя по сбору материалов о нем отражены отчасти в его дневниковых записях, начиная с 1919 года (см. наст. изд. Т. 11–13 по Указателю имен).

На склоне лет Чуковский, разочарованный советской действительностью, критически оценивал собственную концепцию творчества Слепцова. Двадцать второго октября 1967 г. он записал в дневнике:

«Замучен корректурами пятого тома своих сочинений — где особенно омерзительны мне статьи о Слепцове. Причем я исхожу в этих статьях из мне опостылевшей формулировки, что революция — это хорошо, а мирный прогресс — плохо. Теперь последние сорок лет окончательно убедили меня, что революционные идеи — были пагубны ...» (наст. изд. Т. 13. С. 448).

С. 178 *Эта псевдорецензия Слепцова давно уже считалась утраченной и обнаружена лишь в самое последнее время.* – Запрещенная цензурой рецензия Слепцова на постановку «Доходного места» А. Н. Островского. Опубликована В. Э. Боградом: «Литературное наследство». Т. 71. М., 1963. С. 124–132.

С. 197 *В его тогдашних письмах к Некрасову...* – Тринадцать писем Слепцова к Некрасову 1867–1875 гг. опубликованы в т. 51–52 «Литературного наследства» (М., 1949. С. 493–498).

ТАЙНОПИСЬ «ТРУДНОГО ВРЕМЕНИ»

Впервые опубликовано в издании: *Слепцов В. А.* Сочинения. Т. 1. М.–Л., 1932, под названием «Тайнопись Василия Слепцова в повести “Трудное время”».

Все дореволюционные публикации «Трудного времени» содержали большое количество цензурных купюр и искажений. К. И. Чуковский восстановил текст по найденному им автографу «Трудного времени» и печатному экземпляру повести, изданной в 1866 г., с авторской правкой и расшифровал ее *тайнопись.*

Любовное отношение к «Трудному времени» К. Чуковский испытывал всю жизнь. Первого января 1948 г. он записал в дневнике:

«Целую ночь — с часу до пяти читал “Трудное время” Слепцова, — прелестная талантливая вещь — единственная прелестная вещь 60-х годов. Каждый человек не двух измерений, как было принято в тогдашней беллетристике, а трех измерений, и хотя схема шаблонная, но нигде ни одной шаблонной строки. Вот истинный предтеча Чехова» (наст. изд. Т. 13. С. 107).

С. 225 *«В жизни крестьянина, ныне свободного, / Бедность, невежество, мрак...»* — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Как празднуют трусу» (1876).

С. 228 *«Вишь ты, ледящий какой...»* – Из стихотворения Некрасова «Деревенские новости» (1860).

С. 231 ... *строки «Железной дороги» появилась в «Современнике» в том же году.* – 1865. № 10.

ИСТОРИЯ СЛЕПЦОВСКОЙ КОММУНЫ

Впервые опубликовано в издании: *Слепцов В. А.* Сочинения. М.–Л., 1932.

С. 258 (примеч.) *Пользуюсь случаем, чтобы исправить одну очень большую ошибку, допущенную мною в предисловии к «Запискам» Жуковской* – См. с. 261 наст. изд.

С. 260 *Как относился Слепцов к феминизму, можно видеть... из одной его статьи, не вошедшей в собрание его сочинений и напечатанной в журнале «Женский вестник»* – Имеется в виду передовая статья Слепцова к № 1 «Женского вестника» 1866 г. под заглавием «Женское дело».

РОСТИСЛАВ И ЕГО ПИСЬМА К НЕКРАСОВУ

Впервые опубликовано в «Литературном наследстве» Т. 51–52. М., 1949, под заглавием «Ф. М. Толстой и его письма к Некрасову», где, в отличие от комментируемого варианта, напечатан полный корпус писем Ф. М. Толстого к Некрасову.

С. 277 *Некрасов напечатал статью Щедрина в «Современнике»...* – В первоначальном варианте комментируемого очерка К. И. Чуковского помещено раздосадованное письмо Толстого к Некрасову по поводу этой статьи М. Е. Салтыкова-Щедрина («Литературное наследство». Т. 51–52. С. 580).

С. 278 *Одну его повесть еще в начале пятидесятых годов принял в «Современник»... Иван Панаев.* – «Капитан Тольди. Очерки светской жизни» («Современник». 1852. № 1) с подписью *Ростислав.*

С. 281 *...в 1859 году он... написал оппозиционный роман («Болезни воли»).* – «Русский вестник». 1859. № 9, 10.

С. 287 *Некрасов... решился на отчаянный шаг...* – Подробнее об этом эпизоде см. в очерке К. И. Чуковского «Поэт и палач», помещенном в т. 8 настоящего издания.

«...статьи и набор каждого № стоят около 20 000 рублей». — Здесь в воспроизведении цифры явная опечатка или описка автора письма. Очевидно, имеется в виду «2 000». В договоре Н. А. Некрасова с А. А. Краевским (после закрытия «Современника») от 8 декабря 1867 г. об издании «Отечественных записок» под фактической редакцией Некрасова говорится: «Общая сумма на оригинал со включением жалованья помощникам редактора полагается до двух тысяч пятисот рублей на книжку» (*Некрасов.* Т. XIII. Кн. 2. С. 262).

С. 290 *...пришлось всю поэму вырезать из 1-й книжки «Отечественных Записок» за 1868 год.* – «Суд» был вырезан из части тиража этого номера (*Некрасов.* Т. III. С. 404).

...письмом... которое кончалось такими словами... – В первой публикации комментируемого очерка К. И. Чуковский приводит полный текст этого письма («Литературное наследство». Т. 51–52. С. 584–585).

С. 290 ...*Данкевич – это псевдоним Е. Толстого...* – В настоящее время принято считать, что это псевдоним самого Ф. М. Толстого (*Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: В 20 т. Т. 9. М., 1970. С. 575).

С. 293 ...*начало «Недоразумения» было уже напечатано в другом журнале...* – В «Записках для чтения» 1868 г., издававшихся К. В. Трубниковым при его газете «Биржевые ведомости».

Тогда Феофил Толстой... обратился с сердитым письмом... не к Некрасову, а к владельцу «Отечественных записок» А. А. Краевскому... – В первой публикации комментируемого очерка помещен полный текст этого письма («Литературное наследство». Т. 51–52. С. 591–592). Намек К. И. Чуковского на неэтичность такого поступка Толстого в данном случае не вполне основателен: около 10 августа 1868 г. Некрасов уехал в Карабиху, формально передав функции редактора Краевскому, и вернулся в Петербург через месяц, около 10 сентября.

Некрасов обратился к Феофилу Толстому... – Из писем Некрасова к Толстому до нас дошло лишь одно – от 23 декабря 1867 г. Содержание других писем поэта К. И. Чуковский восстанавливает по ответным письмам Толстого.

С. 294 ...*ему было предъявлено требование не допускать в редакцию Антоновича...* – 24 октября 1862 г. Некрасов представил в С-Петербургский цензурный комитет для разрешения к печати объявление о возобновлении издания «Современника» «по истечении осьми месяцев остановки» (*Некрасов.* Т. XIII. Кн. 2. С. 158). Текст объявления содержал дерзкое заявление редакции о возвращении «к делу» «с решительностью и полной надеждой сохранить в журналистике положение самостоятельное и независимое» (*Некрасов.* Т. XIII. Кн. 1. С. 304). Сложная цензурная история этого объявления, разрешенного к печати в совершенно обезличенном виде лишь 7 ноября 1862 г., изложена в комментариях к названным текстам (объявление и прошение) в академическом издании сочинений Некрасова. О требованиях, предъявлявшихся Некрасову в это время со стороны цензурного ведомства в устной форме, мы узнаем отчасти из письма двоюродной сестры Н. Г. Чернышевского Е. Н. Пыпиной к родным в Саратов. Пыпина была близка к редакции «Современника», в частности, к М. А. Антоновичу и Ю. Г. Жуковскому, только что принявшим предложение издавать газету «Очерки». «Дело “Современника”, – сообщала она около 1 ноября 1862 г., – в таком положении: так как на “Очерки” уже подана какая-то бумага, вроде доноса, вследствие того, что редактируют Елисеев и Ант[онович] (имена довольно страшные некоторым господам), то Нек[расов] просил Сашу (А. Н. Пыпина,– *ред.*) дать свое имя в противовес к имени Ант[оновича] для “Соврем[енника]”, чтобы таким образом ввести несколько примиряющий элемент и не показаться страшным» («Литературное наследство». Т. 25–26. М., 1936. С. 389).

«Асмодей нашего времени». – Эта статья Антоновича помещена в № 3 «Современника» за 1862 г.

ОТ ДИЛЕТАНТИЗМА К НАУКЕ

Впервые опубликовано в журнале «Новый мир». 1954. № 2.

С. 314 ...*журнал ...«Русская старина» – опубликовал самодельные вирши некоего генерала Вениамина Асташева и выдал их за неизданное стихотворение Некрасова.* – Имеется в виду стихотворное обращение В. И. Асташева к Некрасову «Раз деся-

тый к тебе приезжаю...», на подлинную принадлежность которого тогда же указал К. И. Чуковский («Речь». 1913, 16 февраля).

С. 315 *Напрасно мы... доказывали редактору...* – С 1905 г. до закрытия «Русской старины» (в 1918 г.) этот журнал редактировали военные историки С. П. Зыков и П. А. Воронов.

С. 318 *...в одиннадцатом издании некрасовских книг...* – Имеется в виду двухтомное издание «Полного собрания сочинений» Некрасова (СПб., 1913).

...в тринадцатом издании... – Имеется в виду двухтомное издание «Полного собрания сочинений» Некрасова (СПб., 1917).

С. 319 *...однотомник, вышедший в 1920 году...* – Имеется в виду издание*: Некрасов Н.* А. Стихотворения. Издание, исправленное и дополненное. Под редакцией К. Чуковского. С биографическим очерком В. Евгеньева-Максимова. СПб., 1920.

С. 330 *«Ему судьба готовила... Чахотку и Сибирь.* – В академическом собрании сочинений Некрасова эти строки из *набросков* к поэме, зачеркнутые самим поэтом, помещены в отделе «Другие редакции и варианты» (*Некрасов.* Т. V. С. 517). В окончательном варианте главы «Эпилог. Гриша Добросклонов» этот образ переосмыслен автором. Фрагмент «Ему судьба готовила...» заменен следующими стихами:

Немало Русь уж вывела
Своих сынов, отмеченных
Печатью дара Божьего,
На честные пути,
Немало их оплакала
(Увы! Звездой падучею
Проносятся они!)
Как ни темна вахлачина,
Как ни забита барщиной
И рабством — и она,
Благословясь, поставила
В Григорье Добросклонове
Такого посланца...

(Некрасов. Т. V. С. 229–230)

С. 339 *...в журнале «Советская книга» появилась рецензия...* – Имеется в виду рецензия А. М. Гайденкова на 1–11-й тома «Полного собрания сочинений и писем» Некрасова в 12 томах («Советская книга». 1953. № 3).

С. 341 *Долгая и сложная история реконструкции поэмы остается до сих пор не изученной.* – После первой публикации комментируемой работы К. И. Чуковского во второй половине XX в. «Русские женщины», в том числе и основной текст этой поэмы стали предметом целого ряда диссертационных исследований, статей и книг С. А. Рейсера, А. И. Груздьева, Л. А. Розановой, И. А. Битюговой, Б. В. Мельгунова и др. Именно эти работы наряду с трудом К. И. Чуковского определили принципы подготовки текста «Русских женщин» и характер комментария к поэме в академическом «Полном собрании сочинений и писем» Н. А. Некрасова в пятнадцати томах (Т. IV. Л., 1982).

С. 342 *...я отказался ввести этот жульнически состряпанный опус на страницы Некрасова...* – В одном издании стихотворений Некрасова К. И. Чуковский все же был вынужден уступить сторонникам Д. Бедного, см.: *Некрасов Н. А.* Полн. собр.

стихотворений. Изд. 6-е. М.–Л., 1931, отдел «Стихотворения, приписываемые Некрасову». С. 489, 644.

С. 343 *Миф о «Светочах» был полностью рассеян.* – Подробно об этом см.: *Рейсер С. А.* Осно вы текстологии. Л., 1978, глава «Подделки», в которой приведено письмо К. И. Чуковского к автору книги от 28–29 июня 1960 г., содержащее рассказ о личном признании Анатолия Каменского К. И. Чуковскому в подделке, совершенной им совместно с Швецовым (с. 110. См. также: *Рейсер С. А.* Еще раз о «Светочах». — «Некрасовский сборник». Вып. XI–XII. СПб., 1998. С. 169–170).

С. 345 *Сцена родов изъята главным образом оттого, что своими подробностями она отвлекала читателей от одухотворенного образа героини...* — На исключении этого эпизода из текста поэмы настаивал также сын декабристки М. С. Волконский, предоставивший поэту подлинник «Записок» М. Н. Волконской (см.: *Некрасов.* Т. IV. С. 577).

С. 350 *Поэма «В. Г. Белинский» была в свое время послана Некрасовым Тургеневу...* – К. И. Чуковский имеет в виду письмо Некрасова к Тургеневу от 17 сентября 1855 г., в котором поэт писал: «Посылаю тебе мои стихи — хотя они и набраны, но вряд ли будут напечатаны» (*Некрасов.* Т. XIV. Кн. 1. С. 226). Мнение Чуковского было оспорено А. М. Гаркави в его работе «Произведения Н. А. Некрасова в вольной русской поэзии XIX в.» (Ученые записки Калининградского гос. пед. института. 1957. Вып. 3. С. 207–249). Ср.: *Некрасов.* Т. XIV. Кн. 1. С. 334.

С. 352 *Мы обязаны печатать это стихотворение под 1861 годом, без заголовка и при этом указать в комментариях, что вероятнее всего оно обращено к А. И. Герцену, а стихотворение «Тургеневу» убрать из числа стихотворений 1861 года и отнести к 1877 году.* – Адресованность стихотворения «Мы вышли вместе. Наобум...», всегда смущавшая К. И. Чуковского и В. Е. Евгеньева-Максимова, вызывала жаркие споры их современников и продолжателей. Редакции академического издания сочинений Некрасова пришлось делать выбор между двумя наиболее аргументированными, но прямо противоположными точками зрения Н. Н. Скатова и А. М. Гаркави, не только на адресованность, но и на состав основного текста: *Скатов Н. Н.* Н. А. Некрасов и И. С. Тургенев (К истории создания стихотворения Некрасова «Т<ургене>ву»). — Страницы истории русской литературы. М., 1971. С. 376–383; *Гаркави А. М.* Тургеневу или Герцену? — О Некрасове. Статьи и материалы. Ярославль. 1975. Вып. IV. С. 132–145. Аргументация Н. Н. Скатова оказалась более убедительной. В академическом собрании сочинений это стихотворение помещено под названием «Т<ургене>ву» с датой «1861–1877». (см.: *Некрасов.* Т. III. С. 189, 481–482). См. также: *Мельгунов Б. В.* «Мы вышли вместе» (Некрасов и Тургенев на рубеже 1840-х годов). — «Русская литература». 2000. № 3.

С. 357 *Чернышевский говорил не о новой, дополнительной строке, а о варианте старой...* – Эта аргументация К. И. Чуковского была представлена в развернутом виде уже в первом советском издании стихотворений Некрасова. «Нам кажется, — писал он, заключая свою аргументацию ("любовное" отношение поэта к Александру II в ту пору; неверное толкование свидетельства Чернышевского; отсутствие крамольной строки в авторизованном списке "Размышлений..." А. Я. Панаевой), — что эта строка вставлена в сатиру Некрасова в конце 70-х годов — вставлена не поэтом, а тогдашними революционно настроенными студентами, которые пели ее, как нелегальную песню» (*Некрасов Н. А.* Стихотворения. Пг., 1920. С. 560). Эти же аргументы затем повторялись во всех последующих научных изданиях, ответственным редактором которых неизменно был Чуковский. Ника-

ких изменений, соответствующих указанию Чернышевского, в текст «Размышлений...» не внесено и в академическом издании (см.: *Некрасов*. Т. II. С. 354). Однако в 1970–1980-е годы целым рядом исследователей (Р. Б. Заборова, А. Ф. Тарасов, Б. Л. Бессонов, Б. В. Мельгунов) были опубликованы сведения о вновь обнаруженных списках «Размышлений...», относящихся к концу 1850 — 1860-м годам и рукописных вставках в прижизненные издания, «Стихотворений» Некрасова, содержащие разные вариации крамольной строки:

а) Сокрушив палача и корону.

б) Сокрушив палачей и корону.

в) Сокрушишь палача и корону.

г) Сокрушить палачей и корону.

д) С палачей ты сорвешь ли корону.

(Подробно см.: *Мельгунов Б. В.* О «Размышлениях у парадного подъезда». (Текстологические заметки). — «Некрасовский сборник». Вып. X. Л., 1988. С. 124–132). Авторитет владельцев этих списков (С. Н. Васильковский, В. М. Лазаревский, Ф. Н. Глинка, В. П. Острогорский) и авторитетное свидетельство Чернышевского могут служить опорой для нового текстологического решения о финальных строках «Размышлений...». В основном тексте они будут иметь следующий вид:

Ты проснешься, исполненный сил.
<……>
Иль, судеб повинуясь закону,
Все, что мог, ты уже совершил,
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?

А полный свод известных вариантов 113-го стиха, обозначенного в основном тексте отточием, следует помещать в отделе «Другие редакции и варианты» или в составе комментария к стихотворению.

С. 359 *«Чашу народного горя...»* – Предложение А. М. Гаркави, поддержанное К. И. Чуковским, было принято в трехтомнике Большой серии «Библиотеки поэта» (*Некрасов Н. А.* Полное собрание стихотворений. Т. II. Л., 1967. С. 275). Однако это решение было оспорено другими исследователями. Лексическую и музыкальную нерасторжимость варианта «вселенского» с основным текстом стихотворения убедительно показал Н. Н. Скатов (см.: *Скатов Н.* Некрасов. Современники и продолжатели. Л., 1973. С. 259–261). Другой исследователь показал ошибочность мнения А. М. Гаркави путем текстологического анализа источников текста. Публикация в народническом издании (нелегальный, выходивший за рубежом «Работник. Газета для русских рабочих», в № 11–12 которой за 1875 г. это стихотворение под редакционным заголовком «Песня народного борца» было напечатано *по памяти* известным революционером Н. А. Морозовым) в данном случае не может считаться авторитетной, она содержит и другие искажения в тексте некрасовского стихотворения (подробно см.: *Мельгунов Б. В.* Из комментария к стихотворениям Некрасова. — «Некрасовский сборник». Вып. VI. Л., 1978. С. 130–135).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА ПАССЕК И ЕЕ «ВОСПОМИНАНИЯ»

Впервые опубликовано в «Ежемесячных и популярно-научных приложениях к журналу «Нива»». 1906, № 11, стб. 405–418, в виде рецензии на издание: Воспоминания Т. П. Пассек. («Из дальних лет»). В трех томах. Издание А. Ф. Маркса. СПб.,1905.

С. 363 *«Все это уж было когда-то...»* — Слегка измененная цитата из стихотворения А. К. Толстого «По гребле неровной и тряской...».

«Увы, на жизненных браздах...» — Цитата из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл. II, строфа XXXVIII).

С. 364 *Тильзитский мир.* – Договоры между Францией и Россией и Францией и Пруссией, подписанные в Тильзите (ныне г. Советск Калининградской обл.), соответственно 25 июня (7 июля) и 9 июля 1807 г. после победы наполеоновских войск в русско-прусско-французской войне 1806–1807 гг.

Священный союз – Союз европейских монархов, заключенный после крушения наполеоновской империи для борьбы против революционного и национально-освободительного движения и обеспечения незыблемости решений Венского конгресса 1814–1815 гг.

Тугендбунд (нем. «Tugendbund) — «Союз добродетели», тайное политическое общество в Пруссии, созданное в апреле 1808 г. с целью возрождения национального духа после разгрома Пруссии Наполеоном.

«Кастрюльки, стулья, сундуки...» — Цитата из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Гл.7, строфа XXXI).

...когда девиц называли Пленирами и Темирами – Т. П. Пассек в семейном кругу называли Темирой, этим именем она подписывала и свои детские письма (см. Т. 1 «Воспоминаний», гл. «Чертовая»).

В пансионе эмигранток Данкар и Фальбала... — Пансион мадемуазель Данкар (Данкварт), в котором воспитывалась мемуаристка, описан ею в главе «Пансион» первого тома «Воспоминаний».

«Ручей два древа разделяет...» — Стихи из девичьего альбома, подписанные Сашей Воейковой, подругой Т. П. Пассек по пансиону мадам Воше (Т. 1, гл. «Выход из пансиона»).

...улану Пыхтину или Буянову или Ивану Петушкову. – Персонажи романа «Евгений Онегин».

Гименей – В древнегреческой и древнеримской мифологиях бог брака.

С. 370 *«Гамлет Щигровского уезда»* – Рассказ И. С. Тургенева из цикла «Записки охотника».

«Для действительности скованный...». – Слова Миши из некрасовской «Медвежьей охоты» (Сцена 5).

С. 372 *«Насчет Базарова...»* — Цитата из письма Герцена к Огареву от 7 мая (25 апреля) 1868 г.

АСКЕТИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ

Впервые опубликовано в «Ежемесячных литературных и популярно-научных приложениях к журналу „Нива“», 1906, № 9, стб. 123–134 в виде рецензии на издание: *Омулевский* (И. В. Федоров). Полное собрание сочинений. В двух то-

мах. С портретом, биографическим очерком и библиографическим указателем. Под редакцией П. В. Быкова. Изд. А. Ф. Маркса. СПб., 1906.

С. 374 *«Упорствуя, волнуясь и спеша»* – Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Памяти Белинского» (1853).

С. 375 *«Мне борьба мешала быть поэтом...»* — Цитата из стихотворения Некрасова «З[и]не» (1876).

С. 376 *«Шаг за шагом»*. – Впервые опубликовано в журнале «Дело». 1870 г.

С. 380 *«Попытка не шутка»* — Роман Омулевского, первые главы которого опубликованы в № 1 журнала «Дело» 1873 г. Полностью опубликован в 1983 г.

«Плоды просвещения». – Драма Л. Н. Толстого.

«Смерть Ивана Ильича». – Повесть Л. Н. Толстого.

С. 380 *«Кто бредет по житейской дороге...»* — Цитата из стихотворения Некрасова «Ночь. Успели мы всем насладиться...» (1858).

С. 381 *«Лица крестьян, их терпенье безмерное...»* — Неточная цитата из стихотворения Некрасова «Литература с трескучими фразами...» (1862).

[ЕКАТЕРИНА ЖУКОВСКАЯ И ЕЕ «ВОСПОМИНАНИЯ»]

Впервые опубликовано в виде предисловия к изданию: *Жуковская Екатерина*. Записки. Редакция и предисловие К. Чуковского. Л., 1930. С. 5–15.

С. 384 *«Литературное объяснение с господином Некрасовым...»* — Полное название брошюры-памфлета: «Материалы для характеристики современной русской литературы. I. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым М. А. Антоновича. II. Postscriptum. Содержание и программа «Отечественных записок» за прошлый год Ю. Г. Жуковского». СПб., 1869.

С. 387 *«Нынче журналы читая...»* – Цитата из сатиры Некрасова «Публика» в цикле «Песни о свободном слове» (1866).

«Народная летопись». – Газета, основанная Ю. Г. Жуковским в марте 1865 г. и закрытая в апреле того же года за то, что не откликнулась на кончину наследника российского престола.

Дворянская «Весть». – Петербургская политическая и литературная газета, выходившая с августа 1863 г., издавалась В. Д. Скарятиным и Н. Н. Юматовым.

«Суд». — Опубликовано в № 1 «Отечественных записок» за 1868 г.

...скорее Райский, чем Волохов. – Герои-антиподы в романе И. А. Гончарова «Обрыв».

С. 388 *«Девятнадцатый век и его нравственная культура»* — СПб., 1909.

С. 389 *«Не предали они, они устали...»* – Цитата из «Медвежьей охоты» Некрасова (1867).

С. 390 *Когда ее воспоминания о Некрасове появились в печати... — Жуковская Е. И.* Воспоминания о Некрасове. — «Былое». 1923. № 22. С. 101–108.

В. Е. Евгеньев-Максимов... противопоставил им фактические данные... – См. его книгу: «Очерки по истории социалистической журналистики в России 19-го века» (М., 1930, глава «Некрасов и Елисеев»). К. И. Чуковский также выступил с опровержением «свидетельств» Жуковской об истории отношений Некрасова с П. Н. Мейшен (*Чуковский К.* Подруги поэта. – «Минувшие дни». Л., 1928. № 2).

...выдал подписчикам взамен «Современника» дорогостоящее «Собрание сочинений Шекспира». — О расчете с подписчиками четырехтомным «Полным собранием

драматических произведений Шекспира», издававшимся Некрасовым во второй половине 1860-х годов, см.: *Некрасов*. Т. XIII. Кн. I. С. 200.

С. 391 *Сохранилось письмо Некрасова к Жуковскому, где поэт в полной мере признает этот долг.* – См.: *Некрасов*. Т. XV. Кн. I. С. 53.

Некрасов сам выразил Пыпину готовность предстать перед судом, но Пыпин не согласился... – См. письмо Некрасова к Пыпину от 23 августа 1866 и комментарии к нему (*Некрасов*. Т. XV. Кн. I. С. 50, 231).

С. 392 *...«бурые» задумали наладить кооперативную жизнь совместно с «аристократами», к числу которых принадлежал сам Слепцов.* — Позднее в очерке «История слепцовской коммуны» К. И. Чуковский признал «очень большой ошибкой» эту свою характеристику Слепцова (см. наст. изд. С. 261).

ПОЭТ-ДУХОВИДЕЦ

Печатается по: Ежемес. лит. и попул.-науч. прил. к журналу «Нива». 1906. № 12. Стб. 586–606.

Чуковский цитирует и упоминает в статье следующие произведения графа Алексея Константиновича Толстого: стихотворения «Пантелей целитель» (1866), «Змей-Тугарин» (1868), «Песнь о походе Владимира на Корсунь» (1869), «Царь-Девица» («Темнота и туман застилают мне путь...», 1870), «Поток-богатырь», «Илья Муромец» (оба — 1871), «Алеша Попович» (1872), «Садко», «Канут», «Слепой» (все три — 1873), «Гаральд Свенгольм» (1877); поэмы «Грешница» (1858), «Иоанн Дамаскин» (1859); сатиру «Сон статского советника Попова» («Сон Попова», 1878); исторический роман «Князь Серебряный» (1863), вторая часть драматический трилогии «Царь Федор Иоаннович» (1868). «Баллада с тенденцией» — первоначальное название песни из романа «Князь Серебряный» «Порой веселой мая...». Вероятно, по именам действующих лиц Чуковский называет ее «Два лада».

С. 393 *Старец Гёте ласкает его на коленях...* – Когда мальчику было десять лет, он путешествовал с матерью по Германии, они посетили в Веймаре Гете, и, по семейному приданию, Гете посадил будущего поэта на колени.

Брюллов пишет его девически-прекрасные черты... — Карл Брюллов написал портрет А. К. Толстого в 1836 году. Портрет находится в Государственном Русском музее.

Жуковский заботится о его воспитании... — Воспитателем А. К. Толстого был его дядя Алексей Перовский (печатался под псевдонимом Антоний Погорельский, автор написанной специально для племянника сказки «Черная курица, или Подземные жители»). Дядя показывал стихи Толстого В. А. Жуковскому, который их одобрил.

...леса и луга «в золоте и пурпуре», такие «торжественные, что слезы навертываются на глаза» — из письма к Я. П. Полонскому от 20 декабря 1868. Это и следующее письма Чуковский цитирует по статье: *Левенстим А.* Граф А. К. Толстой, его жизнь и произведения // Вестник Европы. 1906. № 10. С. 507.

С. 394 *«... Не могу не сказать тебе... все лишь свет и счастье».* – Из письма к С. А. Толстой от 31 марта (12 апреля) 1873. Цит. по статье А. Левенстима. С. 505.

Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре... — начало стихотворения Толстого (1858).

Зачем твой ласковый всегда так робок взор... — из стихотворения «Тебя так любят все, один твой тихий вид...» (1858).

С. 395 *Даже Дон Жуан и тот у него мудрец...* – герой одноименной драмы А. К. Толстого (1862).

У Василия Шибанова были рабские, холопские идеалы... — герой стихотворения «Василий Шибанов» (1858).

У князя же Михайлы Репнина — герой стихотворения «Князь Михайло Репнин» (1867), которое далее цитируется.

С. 397 *Вырастает дума, словно дерево...* — начало стихотворения (1858).

С. 398 *...все сокровища природы...* – из стихотворения «Иоанн Дамаскин».

С. 399 *...рассказ убедительно лживый* – из стихотворения «Он водил по струнам; упадали...» (1857).

С. 400 *О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем...* — из стихотворения «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель...» (1857).

С. 401 *Звуки льются, звуки тают...* — из стихотворения «Алеша Попович».

Проснулось – что в сердце дремало давно... – из стихотворения «Слепой».

С. 402 *Поэт на лире вдохновенной...* — из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

Други, не верьте! Все та же единая... — из стихотворения «Против течения» («Други, вы слышите крик оглушительный...», 1867).

С. 403 *«ради баловства сочиняет бессмысленные баллады» – таков был приговор тогдашней критики – Левенстим А.* Граф А. К. Толстой. С. 496.

С. 405 *Есть меж нами душою увечные...* — из стихотворения «Пантелей-целитель».

«Убить искусство так же легко... и не раздувает мехов» — из письма Я. П. Полонскому 20 декабря 1868 года. Цитируется по статье А. Левенстима. С. 518.

С. 407 *...«одно в этой балладе характерно, это то, что сатирик не нашел иного обвинения для ненавистных ему людей, как обвинение во вражде к искусству, точно у них и не было иных грехов». — Котляревский Н.* Гр. А. К. Толстой как сатирик // Вестник Европы. 1906. № 7. С. 14.

С. 409 *...исторический обзор того, как в России вводили порядок.* — Имеется в виду сатира Толстого «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1883).

С. 411 *Двух станов не боец... а только гость случайный...* – начало стихотворения (1867).

Советов, угроз, обещаний так много... — из стихотворения «Лишь только один я останусь с собою...» (1856).

ШЕВЧЕНКО (1909)

Печатается по: Речь. 1909. 1 (14) марта.

Статьи о Шевченко перемещены в настоящий том из тома 7 ввиду того, что именно в этом томе собраны статьи о литературе 19-го века. Они создавались в период, когда Чуковский был исключительно литературным критиком, и его набеги и вылазки в область истории литературы носили эпизодический характер. Чаще всего они совершались на страницах журнала «Нива», образцы таких статей представлены в томах критики, а один из них — статья о графе А. К. Толстом, публикуется в настоящем томе. Дореволюционные историко-литератур-

ные статьи Чуковского в отличие от критических статей, вокруг которых разгорались бурные дискуссии, как правило, не вызывали споров. Исключение составляла лишь статья о Гаршине, бурная полемика вокруг которой описана в комментариях к тому 7 настоящего издания, и статьи о Шевченко, публикуемые в этом томе.

К творчеству украинского писателя Тараса Григорьевича Шевченко Чуковский обратился не случайно. Родной язык его матери был украинский, и стихи Шевченко, как и многих других украинских поэтов, Чуковский любил и знал с детства. В период работы над первой статьей о Шевченко Чуковский записал в дневнике: «Я обложен хохлацкими книгами, читаю, и странно: начинаю думать по-хохлацки... и еще страннее: те хохлацкие стихи, которые я знал с детства и которые я теперь совсем, совсем забыл, заслонил Блоками и Брюсовыми, теперь выплывают в памяти, вспоминаются, и еду на лыжах и вдруг вспомню Гулака, или Квітку, или Кулиша» (наст. изд. Т. 11. С. 150, запись 20 февраля 1909), и через несколько дней: «О Шевченке расписался — и, кажется, много пустяковых слов. Это так больно: я долго готовился, изучил Шевченка, как Библию, и теперь мыслей не соберу» (там же. С. 151, запись 26 февраля). Еще одна запись касается намерений Чуковского включить статью в подготовляемый сборник статей: «Шевченко войдет в критическую книгу...» (там же. С. 160, запись 19 мая 1909), но разгоревшийся затем вокруг этой статьи скандал помешал осуществиться этому намерению.

Уже в первой статье о своем любимом поэте Чуковский стремился отойти от сложившейся традиции живописать его судьбу как своего рода житие. Он пытался отказаться от шаблонов, написать о судьбе поэта именно так, как она отразилась в его письмах и дневниках — со всеми противоречиями и несообразностями. С самого начала его внимание привлекло несоответствие реальной, каждодневной жизни поэта, протекавшей за пределами Малороссии, в русской полубогемной среде, и исключительно национальным содержанием его стихов. Параллели к творчеству Шевченко Чуковский находил в английской поэзии, среди поэтов, имевших шотландские и ирландские корни.

Это противоречие в своей первой статье о Шевченко Чуковский заострил с излишней резкостью, что навлекло на него бурю негодования. Но это несоответствие он продолжал отмечать и дальше, это стало главной темой всех последующих статей Чуковского о Шевченко.

Публикация первой статьи «Шевченко» в газете «Речь» 1 (14) марта 1909 года вызвала «десятки различных писем в редакцию», как отметил Чуковский, отвечая на посыпавшиеся обвинения следующей статьей «Излишнее рвение» («Речь». 9 (22) марта), в которой он пытался объяснить читателям собственное отношение к Шевченко.

В ответ на эти объяснения появились отклики в печати, первым из которых стала статья Вс. Чаговца «Новый выпад Чуковского» (Киевская мысль. 1909. 11 марта), где критика, вероятно, по аналогии об одной из его статей о Леониде Андрееве, назвали «пьяным Тюхой», где его обвиняли в том, что он «превратил русского критика в скандалиста». Статью о Шевченко Чаговец излагал самым нелепым и тенденциозным образом, противопоставляя ей «теплые, благоговейно прекрасные слова молитвы к Пушкину» Юлия Айхенвальда из его книги «Силуэты русских писателей». Похвалив Айхенвальда за уважение к классике, Чаговец совершал неожиданный переход к Чуковскому: «...тот, кто сегодня "разделал" Шевченко, завтра может наброситься на Пушкина и скажет о нем то-

же, как о “пьяном”, — ибо оба они гениальны для тех народов, из скорбящего сердца которых к ним излетело веление “и виждь, и внемли”...».

В таком же духе откликнулся на статью «Шевченко» и А. Белоусенко в статье «Тоже критика» (Наша газета, 1909, 13 марта), где не только выразил негодование статьей Чуковского, но повторил все те «общие места» и шаблонные комплименты, против которых восставал Чуковский. «Характеризуя творчество Шевченка, — писал А. Белоусенко, — присяжный критик «Речи» просмотрел как раз то, что составляет идейную суть творчества этого поэта — элемент гражданский, политико-социальные его идеи». Но еще более чувствительным могло оказаться замечание по адресу газеты «Речь»: «В конце концов нельзя сомневаться в том, что письма в редакцию “Речи” по поводу статьи г. Чуковского имеют в виду собственно не самое статью, не заслуживающую внимания, а факт помещения ее в политическом органе прогрессивной партии. Если признать, что политический партийный орган не есть парламент мнений, что все газетные этажи его должны освещаться строго принципиальным отношением к затрагиваемым вопросам, то появление в таком органе статьи, отрицающей всякое идейное credo у виднейшего корифея украинского движения и приписывающей ему человеконенавистнические тенденции, — естественно, может быть понято, без всякой даже национальной амбициозности, как выражение принципиального взгляда партии; ведь при ином принципиальном отношении к подобным вопросам было бы невозможно выражение газетой таких взглядов, хотя бы даже и во внешней форме литературного фельетона. Такое выступление, косвенно затрагивающее украинское движение вообще, во всяком случае, нельзя признать особенно удачным и тактичным со стороны партийного органа. Это уже явная тактическая неряшливость. И странно, что, получая недоуменные вопросы от своих читателей, редакция, вместо открытого заявления собственного взгляда, ограничивается помещением статьи автора, уже раз вызвавшего недоразумения и теперь разъясняющего инцидент совершенно неудовлетворительно, — с умолчанием о самом главном. Такая непонятная тактика к<онституционно> д<емократического> органа как в этом, так и некоторых других случаях, прискорбна уже потому, что может иметь последствием идейный разлад между элементами, принципиально созвучными».

В библиографии Чуковского зарегистрирован отклик на украинском языке (З газет и журналів // Рада. 1909. 9 (22) марта), оставшийся нам недоступным. Другие печатные отклики на эту первую статью не выявлены, но поднятый ею скандал получил продолжение спустя два года.

ИЗЛИШНЕЕ РВЕНИЕ

Печатается по: «Речь». 1909. 9 (22) марта.
Комментарий см. выше к статье «Шевченко (1909).

ШЕВЧЕНКО (1914)

Печатается по книге «Лица и маски» [1914]. Републикация с предисловием М. Петровского: Радуга (Киев). 1989. № 3. С. 121–136.

В 1911 году Чуковский пытался еще раз вернуться к творчеству Шевченко в связи с 50-й годовщиной со дня его смерти. Он подготовил публичную лекцию, которая была прочитана им 21 февраля в зале Тенишевского училища в Петербурге. В процессе ее подготовки Чуковский 30 января записал в дневнике: «Я сейчас занят Шевченко, но, изучив его до конца — не знаю, как мне к нему от-

нестись. Я чувствую его до осязательности, голос его слышу, походку вижу и сегодня даже не спал, до того ясно чувствовал, как он в 30-х гг. ходит по Невскому, волочится за девочками и т. д. Удастся ли мне все это написать?» (Наст. изд. Т. 11. С. 166). Не могло быть и речи о том, чтобы грубые окрики по поводу его первой статьи заставили его пересмотреть отношение к Шевченко, но, продолжая ощущать в его судьбе нечто, что не укладывалось в сложившийся шаблон его биографии, Чуковский искал новые способы написать о разладе между жизнью и творчеством, которые он ощущал в судьбе поэта. Кстати, подобные же контрасты и разлад позднее он будет открывать в биографии Некрасова, но в отличие от Шевченко его биография и судьба еще не успели тогда сложиться в житие — слишком многое в них изначально не укладывалось в подобные рамки. С Шевченко было иначе — его биография прочно срослась с житийным жанром. Текст лекции нам неизвестен, но с ее чтением связан новый скандал. По неизвестным причинам в газете «Свободные мысли» в качестве отчета о лекции были приведены отрывки из статьи «Шевченко» 1909 года (*Б/п.* К лекции // Свободные мысли. 1911. 28 февраля (13 марта). Эту заметку сразу перепечатало «Новое время» с сочувственными комментариями: «Из Шевченковской юбилейной литературы наибольшей независимостью и оригинальностью отличается заметка г. К. Чуковского в “Свободных мыслях”». Далее следовал пересказ перепечатки в «Свободных мыслях» и заканчивалась заметка словами: «Для критика левого лагеря необходимо было значительное гражданское мужество, чтобы так непочтительно отозваться о “святая святых” радикализма» (*Б/п.* Чуковский и Шевченко. [В рубрике «Среди газет и журналов»] // Новое время. 1911. 1 (14) марта.)

Чуковский протестовал против этой перепечатки в «Свободных мыслях» письмом в редакцию, где было сказано: «Из “Нового времени” от 1 марта я узнал, что в одной петербургской газете в качестве моей новой статьи была недавно перепечатана моя статья об украинском поэте Шевченко. Эта старая моя статья теперь не вполне соответствует мнениям моим о Шевченке, — что и заставило меня теперь посвятить этому поэту новое, более обширное исследование, которое уже было мною обнародовано в недавней публичной лекции. Вследствие этого долгом считаю заявить, что указанная перепечатка сделана без моего ведома и согласия» (Речь. 1911. 2 марта). Уже после публикации этого письма заметку о лекции Чуковского напечатал журнал «Неделя „Вестника знания“» (без подписи, под рубрикой «Голоса печати», 6 марта. 1911 (№ 9); о причинах враждебности журнала к Чуковскому см. в комментариях к т. 7): «Есть такой критик г. Чуковский, который с успехом подвизается в развенчивании разных знаменитостей. Теперь он одарил своим вниманием Т. Шевченко по поводу его юбилея». Далее следовала традиционная цитата про «пьяного, лысого, оплеванного, исковерканного человека», которая кочевала из статьи в статью, почему-то более всего поразив критиков, и подводился итог: «Приводя эти выдержки, “Новое время” захлебывается от удовольствия перед “гражданским мужеством критика левого лагеря”, так непочтительно отзывающегося о “святая святых” радикализма. Нужно отдать справедливость г. Ч.: его гражданское мужество все чаще и чаще удостаивается одобрения “Нового времени”, что ж, гг. Меньшиков и Буренин уже стары...».

Еще перед чтением лекции о Шевченко Чуковский предложил Брюсову, возглавлявшему тогда Литературно-художественный кружок в Москве, повторить лекцию в кружке. Сославшись на то, что предложение поступило поздно, Брюсов, уже как редактор журнала «Русская мысль», предложил Чуковскому доработать лекцию и опубликовать ее в журнале в качестве статьи. Скандала, разгоревшегося вокруг чтения лекции, Брюсов, похоже, не заметил, и Чуковский тем более охотно принял предложение опубликовать новую статью о Шевченко. 5 (18) марта 1911 года, посылая первую часть статьи, критик писал Брюсову:

«Когда я писал о Шевченко, мне казалось, что все это очень недурно, теперь, отсылая Вам, перечитал вновь, — и кажется: как вяло, как банально. В оправдание хочу сказать, что здесь нет ни одного слова, к<ото>рое было бы сказано кем<и>б<удь> другим, что все это хоть и бледные, но *мои* слова. Вторую часть пришлю на этих днях. Она будет поживее». (Цитируется по тексту переписки Брюсова и Чуковского, подготовленному А. В. Лавровым для настоящего издания; материалы переписки Чуковского и Брюсова использованы также в статье: *Сивоволов Б. М.* Из переписки Чуковского с Брюсовым (По поводу публикации статьи К. И. Чуковского о Т. Г. Шевченко. 1911 // Вопросы русской литературы. Вып. 2 (24). Львов. 1973. С. 84–87).

Ввиду задержки с присылкой второй части, статья «Шевченко» появилась в двух номерах «Русской мысли» — апрельском и майском. 4 (17) апреля Брюсов писал Чуковскому: «Ваша статья о Шевченко мне *очень нравится*». (Цитируется по тому же источнику.)

Вторая статья «Шевченко» хотя и развивала прежние мысли Чуковского, но уже без прежнего заострения. В отличие от статей 1909 года она сосредоточена почти исключительно на творчестве Шевченко и в гораздо меньшей степени касалась его биографии, хотя и здесь развивается мысль о несовпадении реальной биографии поэта и основных тем его творчества. Во второй статье появляется интересная параллель между Шевченко и Робертом Бернсом, тогда почти неизвестным в России.

Незамеченной оказалась еще одна попытка вернуться к биографии украинского поэта в рецензии Чуковского «Воскресающий Шевченко» (Речь. 1911. 12 июня). Обозревая появившиеся в юбилейном году новые издания произведений, дневников и писем Шевченко, Чуковский и здесь привлекал внимание к фактам его биографии, не умещающимся в рамки жития. Цитируя вновь опубликованные письма и дневники поэта, в осторожной форме Чуковский с помощью цитат пытался обратить внимание читателей на то «новое, неожиданное [в его биографии], такое, что хоть немного усложнит тот примитивный и довольно-таки топорный образ Шевченка, который издавна сложился у большинства». Чуковский обращал внимание на любовь Шевченко к прекрасному, свидетельствующую о том, что «в эстетике он был аристократ», а «его отзывы о разных храмах и зданиях — хоть сейчас годятся в „Аполлон“». Чуковский подчеркивал, что Шевченко коренным образом расходился с эстетикой шестидесятников, которые делали из него союзника. И в чисто человеческом облике Шевченко, как он вырисовывался за страницами его дневника, Чуковский пытался обратить внимание в первую очередь на те его черты, которые не укладывались в шаблон. Например, на то, что постоянно писавший о собственном сиротстве и одиночестве Шевченко и в Петербурге, и в Малороссии был окружен толпой доброжелателей и меценатов, постоянно заботившихся о нем, что Малороссии, о которой он писал, он по существу не знал, потому что вся жизнь его прошла в России. Но главная тайна состояла для Чуковского по-прежнему в том, как, живя такой сугубо петербургской жизнью, Шевченко продолжал оставаться великим национальным поэтом, темы и образы которого тесно связаны с украинским фольклором и историей. Но и эта новая попытка найти штрихи для воссоздания сложного и противоречивого облика украинского поэта прошла незамеченной. Можно сказать, что попытки Чуковского свернуть с проторенных путей в осмыслении судьбы и творчества Шевченко потерпели неудачу, они не нашли сочувствия, а после революции стали совсем немыслимыми. Позднее Чуковский обращался к творчеству Шевченко почти исключительно как переводчик.

Комментарии Б. В. Мельгунова
К статьям о Шевченко и к статье «Поэт-духовидец» комментарии Е. В. Ивановой
при участии О. В. Степановой

Авдеев Михаил Васильевич (1821—1876), писатель, публицист 88, 209; *209*
Авсеенко Василий Григорьевич (1842—1913), прозаик, критик, журналист 375
Агесилай (442—358 до н. э.), спартанский царь 399—358 до н. э. 119
Азеф Евно Фишелевич (1869–1918), член партии эсеров, провокатор 421
Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928), критик *472*
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), поэт, публицист 85, 107
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), писатель 34–35, 85, 366, 369, 393, 448; *34*
Александр II (1818—1881), русский император 128–129, 150, 176–177, 196, 204–205, 213–214, 217, 225, 229, 231, 235, 251, 285–286, 325, 332, 393, 404; *466*
Александра Федоровна (1798—1860), императрица, жена Николая I 270, 272
Альбов Михаил Нилович (1851—1911), писатель 382
Алябьев Александр Александрович (1787—1851), композитор 369
Алхазова М. Г. *460*
Анакреон (ок. 570—478 до н. э.), древнегреческий поэт 51
Андерсен Ханс Кристиан (1805—1875), датский писатель 249
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), писатель *472*
Анненков Павел Васильевич (1812—1887), критик, историк литературы, мемуарист 7–10, 12, 21, 23, 36–43, 54–56, 64, 69, 71, 75, 80, 83–84, 98, 100, 127, 134, 270, 275; *7, 8, 23, 36, 38, 40, 42, 65, 80, 454, 458, 460*
Анненский Николай Федорович (1843—1912), публицист, экономист-статистик 321
Антигон (384—301 до н. э.), полководец Александра Македонского 119
Антонович Максим Алексеевич (1835—1918), критик, публицист 76, 294, 383–386, 388; *464, 469*
Апраксин Антон Степанович (1817–1899), граф, генерал-майор 359
Аргиропуло Перикл Эммануилович (1839—1862), участник революционного движения 60-х гг. 169
Арнольд Юрий Карлович (1811—1898), композитор, писатель, мемуарист 270; *270*
Арсеньева Валерия Владимировна (1836—1909), тульская помещица *80*
Асташев Вениамин Иванович (1837—1899), генерал-майор, приятель Н. А. Некрасова по охоте 314; *465*
Ауербахи (**Герман Андреевич Ауербах**, тульский помещик; его жена **Юлия Федоровна**, начальница тульской женской гимназии) 99
Ахматова Елизавета Николаевна (1820—1904), писательница, переводчица 59, 64; *48, 457*

Б., князь 272, 279
Базанов Василий Григорьевич (1911—1981), литературовед *201*
Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), деятель международного революционного движения, идеолог анархизма 8, 15–21, 23, 25–26, 34–36, 369,; *16–20, 26, 34*

Бакунин Павел Александрович (1820–1900), брат М. А. Бакунина 17, 18, 20; *34*

Балакирев Милий Алексеевич (1836–1910), композитор 270; *271*

Баллод Петр Давидович (1839–1918), участник революционного движения 60-х гг. 232

Баранова Луиза (Юлия) Трофимовна (1810–1887), графиня, принимала активное участие в выкупе из крепостной зависимости Т. Г. Шевченко 446

Баранцевич Казимир Станиславович (1851–1927), писатель 382

Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844), поэт 330

Барон Брамбеус, *см.* Сенковский О. И.

Барсов Елпидифор Васильевич (1836–1917), собиратель и исследователь фольклора и древней письменности *222*

Барсуков Николай Платонович (1838–1906), историк *454*

Бартенев Петр Иванович (1829–1912), историк, библиограф 315

Батюшков Константин Николаевич (1787–1855), поэт 330

Бебутов Василий Осипович (1791–1858), князь, военачальник, генерал от инфантерии, сподвижник генерала Ермолова. В 1853–54 командующий Кавказским корпусом, одержал победы над турецкими войсками 69

Бедный Демьян, псевдоним **Ефима Алексеевича Придворова** (1883–1945), поэт 342; *465*

Бекетов Владимир Николаевич (1809–1883), цензор Петербургского цензурного комитета 286, 322

Бекман, домовладелец в Петербурге 247, 265

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848), литературный критик 8, 11–15, 21, 23, 25–26, 35, 38, 47, 59, 63–65, 83–85, 87, 315, 319, 327–328, 347–351, 358, 384; *8, 11, 12, 40, 63, 349, 454–455, 457, 459–460, 466, 469*

Белинская (урожд. **Орлова**) **Мария Васильевна** (1812–1890), жена В. Г. Белинского *455*

Белозерский Василий Михайлович (1825–1899), друг Т. Г. Шевченко, украинский общественный деятель, либерал, один из инициаторов создания Кирилло-Мефодиевского товарищества. В 1861–1862 гг. редактор журнала «Основа» 447

Белоусенко А., критик *472*

Белоусов Иван Алексеевич (1863–1930), поэт, переводчик *158*

Беляев Михаил Дмитриевич (1884–1955), литературовед 19; *19*

Бенни Артур Иванович (1840–1867), журналист, переводчик 242, 243, 264; *264*

Беранже Пьер-Жан (1780–1857), французский поэт 122

Берг Николай Васильевич (1823–1884), писатель, переводчик, журналист 160

Бернайс Михаэль (1834–1897), немецкий историк литературы, критик 36

Бернс Роберт (1759–1796), шотландский поэт *475*

Бессонов Борис Лаврентьевич (р. 1929), литературовед *467*

Бестужев Николай Александрович (1791–1855), декабрист, писатель, художник 316

Бестужевы, декабристы, братья **А. А.**, **М. А.** и **Н. А.** 32, 316

Бетховен Людвиг ван (1770–1827), немецкий композитор 39, 400

Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792–1870), киевский, волынский, подольский генерал-губернатор, министр внутренних дел (1852–1855) *428*

Бируков Александр Степанович (1772–1844), цензурный деятель 285

Бирюков Павел Иванович (1860–1931), биограф Л. Н. Толстого *82, 88*

Битюгова Инна Александровна (р. 1926), литературовед *465*

Блан Луи (1811–1882), французский публицист, историк 17, 36

Блинчевская Минна Яковлевна (р. 1921), литературовед 352

Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт 317; *472*

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921), писатель, журналист 160, 315

Богоявленский С. А., автор воспоминаний о Н. В. Успенском *148*

Боград Владимир Эммануилович (1917–1986), литературовед, библиограф *462*

Бодянский Осип Максимович (1808–1877), филолог-славист, профессор Московского университета 447; *435*

Бозвел Джеймс (1740—1795), английский писатель 46

Бозио Анжелика (1824—1859), итальянская певица 7

Боков Петр Иванович (1835—ок. 1915), врач, участник революционного движения 60-х годов 249

Бонди Сергей Михайлович (1891—1984), литературовед 360

Борис Годунов (ок. 1552–1605), русский царь с 1598 г. 395, 411

Бородин Александр Порфирьевич (1833—1887), композитор, химик 270, 271

Бородина (урожд. **Протопопова**) **Екатерина Сергеевна** (1832—1887), пианистка, композитор, жена А. П. Бородина *271*

Боткин Василий Петрович (1811—1869), писатель, публицист, критик 12, 21, 23, 36, 54–55, 57, 61, 67–68, 70, 74–75, 82, 85, 88, 90, 94, 100, 102–103, 106–107, 127–128; *51, 81, 103,* 328, 358, *458*

Бранденбург, генерал-майор 162

Брюллов Карл Павлович (1799–1852), русский художник, профессор Петербургской Академии художеств (с 1836 г.); сыграл важную роль в выкупе молодого Т. Шевченко из крепостной неволи 414, 446, 448; *470*

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924), поэт 314; *472, 474, 475*

Буланова (урожд. **Трубникова**) **Ольга Константиновна** (1858 – после 1925), жена народовольца А. П. Буланова *19*

Булгаков Александр Яковлевич (1781—1863), автор историко-биографических статей, московский почт-директор 269, 272; *269–270*

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), журналист, беллетрист 8, 12, 59, 271, 275–278, 312

Бунге Николай Христианович (1823—1895), экономист, министр финансов 388

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), писатель 117; *149*

Буренин Виктор Петрович (1841—1926), поэт, публицист 40, 159, 264–266; *266, 474*

Бутенев Аполлинарий Петрович (1787—1866), дипломат, член Государственного совета 309

Бутенев, псевдоним **А. Чернолесов** 303, 305–309

Бутурлин граф, **Дмитрий Петрович** (1790—1849), военный историк, председатель особого комитета для надзора за печатью 285, 347–349; *349*

Бутурлин граф, **Михаил Дмитриевич** (1807—1876), юрист, историк 272; *272*

Бухштаб Борис Яковлевич (1904 –1985), литературовед 314, 318, 360

Буш Владимир Владимирович (1888—1934), литературовед *161*

Быков Петр Васильевич (1843—1930), журналист, библиограф, мемуарист 165; *165, 469*

Бюхнер Людвиг (1824–1899), немецкий врач, естествоиспытатель и философ; сторонник социального дарвинизма 403

Вагнер Рихард (1813—1883), немецкий композитор 297

Валуев Петр Александрович (1814—1890), государственный деятель 177, 287

Васильковский С. Н. *467*

Васин Д. (**Дмитрий Глебович Соколов**; середина 1840-х—1904), писатель, музыкант, дядя Г. И. Успенского 120; *118*

Ватéль Франсуа, мастер праздничных церемоний при дворе Людовика XIV, французский кулинар 294

Вейтлинг Вильгельм (1808—1871), деятель немецкого рабочего движения 17

Векслер Иван Иванович (1885—1954), литературовед *143*

Вельбутович-Паплонская, *см.* Слепцова Ж. А.

Вельтман Александр Фомич (1800—1870), писатель 369

Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920), историк литературы, библиограф 367; *68*

Венецианов Алексей Гаврилович (1780–1847), живописец, один из основоположников бытового жанра в русской живописи 446

Витберг Александр Лаврентьевич (1785—1855), архитектор, художник, друг А. И. Герцена 369

Ветринский Ч., *см.* Чешихин В. Е.

Виктория (1819—1901), королева Великобритании 112

Витте Сергей Юльевич (1849—1915), государственный деятель 388; *279*

Владимир Святославович (?—1015), князь Киевский 158, 396, 404; *470*

Вовчок Марко, *см.* Маркович М. А.

Водов, домовладелец в Петербурге 100

Водовозова Елизавета Николаевна (1844—1923), педагог 166, 174; *166, 174*

Воейкова Саша, подруга Т. П. Пассек *468*

Войналович Е. В. *460*

Волков, член коммуны в Эртелевом переулке 240

Волконская Мария Николаевна (1805—1863), жена декабриста С. Г. Волконского, мемуаристка 338–339, 342, 344–345; *466*

Волконский Михаил Сергеевич (1832–1907), сын декабристки *466*

Вольтер Мари Франсуа-Аруэ (1694—1778), французский философ, писатель 301, 410

Воронина Вера Захаровна, знакомая В. А. Слепцова, писательница (псевдоним **Головина**) 166, 258

Воронов Михаил Алексеевич (1840—1873), писатель 67, 104, 107, 111, 120, 168; *136*

Воронов Павел Николаевич (1851–1922?), генерал-лейтенант, военный историк, редактор журнала «Русская старина» (1905–1918) *465*

Воскресенский Дмитрий Алексеевич (ок. 1843—?), участник революционного движения 60-х гг. 240

Воше, владелица пансиона *468*

Вульф Карл Иванович (?—1860), владелец типографии 288

Вьельгорский (Виельгорский) Матвей Юрьевич (1794–1866), граф, российский виолончелист и музыкальный деятель 446

Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878), поэт, критик, государственный деятель 72

Гааг Луиза Ивановна (1795–1851), мать Герцена 368

Гайденков А. М. *465*

Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892), историк литературы, педагог 123, 328

Ганнибал (ок. 247—183 до н. э.), карфагенский полководец 119

Гаркави Александр Миронович (1922—1980), литературовед 358–359; *359, 466–467*

Гаркнесс Маргарет, псевдоним **Джон Ло**, английская писательница 345

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888), писатель 249; *249, 472*

Гафиз (**Хафиз**; 1300—1389), персидский и таджикский поэт 97

Гвидо-Рени, *см.* Рени Гвидо

Гербель Николай Васильевич (1827—1883), поэт, переводчик, библиограф 69

Гервег Георг (1817—1875), немецкий поэт, политический деятель 7, 17, 36

Гервег Марсель, сын Георга Гервега 7; *8*

Герцен Александр Иванович (1812—1870), писатель, журналист, политический деятель 11–12, 15–16, 38, 43, 59, 63, 128, 146, 160, 176, 300–301, 307, 315–317, 350–352, 366–371, 373; *16, 368, 452, 454, 466, 468*

Герцен Егор Иванович (1803–1882), брат Герцена 368

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель 315, 393; *470*

Глинка Михаил Иванович (1804—1857), композитор 269–270, 272, 275, 280; *269–270, 281*

Глинка Федор Николаевич (1786–1880), поэт *467*

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852), писатель 11–12, 34–35, 37, 50–51, 55, 59, 70, 85, 87, 136, 137, 189, 200, 291, 317, 393, 419, 447; *34, 58, 454, 459–460*

Голицына (**Апраксина**) **Наталья Степановна** (1794–1890), княгиня, хозяйка салона 272

Головачев Аполлон Филиппович (1821—1877), журналист, секретарь «Современника» 249, 265, 392; *461*

Головнин Александр Васильевич (1821—1886), министр народного просвещения в 1862—1866 гг., член Государственного совета 129, 177; *129*

Гомер, легендарный эпический поэт древней Греции 74, 370, 400; *459*

Гонта Иван (?–1768), сотник надворных казаков польских магнатов Потоцких (с 1757), участник движения гайдамаков,один из руководителей «Колиивщины» (1768); взят в плен и замучен польской шляхтой; воспет Т. Г. Шевченко в поэме «Гайдамаки» 433, 437, 443

Гончаров Иван Александрович (1812—1891), писатель 12, 47, 54, 69, 71, 74–75, 84, 88, 93–95, 100, 270, 273, 317, 393; *273, 469*

Гораций (**Квинт Гораций Флакк**; 65 до н. э.—8 н. э.), римский поэт 51

Горбунов Иван Федорович (1831—1895), писатель, актер 67, 189, 267, 268; *267*

Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867—1941), лингвист, литературовед 340; *340*

Горький М. (псевдоним **Пешкова Алексея Максимовича**; 1868—1936), писатель 186, 201–202, 317, 326; *186, 201*

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), историк, общественный деятель 366, 369; *454*

Гребенка Евгений Павлович (1812–1848), украинский и русский поэт и беллетрист 447

Греков В. И., журналист *199*

Греч Николай Иванович (1787–1867), писатель, журналист, издатель, домовладелец 242, 264

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829), писатель 315, 317

Григорович Василий Иванович (1786–1865), конференц-секретарь Академии Художеств, художественный критик, издатель «Журнала изящных искусств»; ему посвящена поэма Т. Г. Шевченко «Гайдамаки» 446; *446*

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899), писатель, сын В. И. Григоровича 12–13, 45, 54–55, 69–70, 72–73, 77, 81, 86, 123, 137, 140, 159, 278; *54, 73, 78, 81, 460*

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), поэт, литературный критик 74

Грубер Венцеслав Леопольдович (1814—1890), профессор анатомии Петербургской медико-хирургической академии 121

Груздьев Александр Иванович (1908–?), историк литературы *465*

Грузинский Алексей Евгеньевич (1858—1930), литературовед, педагог *314*

Грюн Карл Теодор Фердинанд (1817—1887), немецкий историк, публицист 15, 16, 18, 19; *16*

Гуд Томас (1799—1845), английский поэт 48

Гулак-Артемовский Петр Петрович (1790–1865), украинский писатель *472*

Гурин Н., *см.* Салтыков-Щедрин М. Е.

Гус Иван (**Ян**) (1371–1415) национальный герой чешского народа, идеолог чешской Реформации; осужден церковным собором в Констанце и сожжен 431, 437

Гусев Николай Николаевич (1922—1967), литературовед *84*

Гутьяр Николай Михайлович (1866—1930), литературовед *148*

Гюго Виктор-Мари (1802—1885), французский писатель 21

Давыдов Алексей Иванович, петербургский книготорговец, издатель 92, 96, 99–100; *96*

Даль Владимир Иванович (1801—1872), писатель, этнограф 124, 170, 369, 448; *124*

Данкар (Danquart) , владелица благородного женского пансиона в Москве в первой четверти XIX века 364–365; *468*

Данилевич, *см.* Толстой Ф. М.

Данкевич, *см.* Толстой Ф. М.

Дантон Жорж-Жак (1759—1794), деятель французской революции, депутат Конвента от Парижа 308

Дарвин Чарлз Роберт (1809–1882), естествоиспытатель 403

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813–1869), композитор 270
Де Бальмен Яков Петрович (1813–1845), украинский художник, иллюстрировал рукописный вариант «Кобзаря»; офицер царской армии, служил на Кавказе, где погиб в 1845 г. Шевченко посвятил ему поэму «Кавказ» 447–448
Дельвиг Андрей Иванович (1813–1887), инженер путей сообщения, мемуарист *279*
Демерт Николай Александрович (1835–1876), публицист 300–301
Демулен Камилль (1760– 1794), деятель французской революции 308
Джеффри Френсис (1773– 1850), английский критик 47
Джонсон Самюэл (1709– 1784), английский критик 47
Дивильковский Анатолий Авдеевич (1873–1932), критик 232; *232*
Дидро Дени (1713–1784), французский философ-материалист, писатель 410
Диккенс Чарлз (1812–1870), английский писатель 45, 46; *456*
Димитрий Донской (1350– 1389), великий князь Московский с 1359 г. 158
Добролюбов Александр Иванович (1812–1854), отец Н. А. Добролюбова 115, 232
Добролюбов Николай Александрович (1836–1861), критик, публицист 53, 76, 104, 115, 123, 145, 156, 199, 231, 282, 313–314, 317, 351, 384–386
Довгополенко Харитина, знакомая Т. Г. Шевченко 429
Долгорукая Ольга Александровна (1813–1865) дочь А. Я. Булгакова *269*
Доманицкий Василий Николаевич (1877–1910) выдающийся украинский ученый; под редакцией Доманицкого вышло первое полное, критически проверенное издание «Кобзаря» (Санкт-Петербург, 1907 и 1908 гг.) *427*
Долинин Аркадий Семенович (1883–1968), литературовед 360
Дольчи Карло (1616–1686), итальянский художник 292
Достоевский Михаил Михайлович (1820–1864), писатель, старший брат Ф. М. Достоевского *455*
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель 11–13, 35, 39–40, 134, 369, 375, 382, 383, 428; *40, 454–455*
Дружинин Александр Васильевич (1824–1864), писатель, критик 12, 45–100, 102–107, 281, 328; *46–52, 55–56, 58–63, 65, 68, 73, 80–81, 84–85, 96, 102, 281, 452–453, 456–460*
Дружинин Василий Григорьевич (1859–1937), археограф, племянник А. В. Дружинина *46, 458*
Дружинин Василий Федорович, отец А. В. Дружинина 53, 62
Дружинина Мария Григорьевна (**Маша**, ?–1859), малолетняя племянница А. В. Дружинина, в следующем письме Дружинин сообщает о ее смерти 92
Дудышкин Степан Семенович (1820–1866), критик, журналист 114, 122, 134; *460*
Дюма Александр (Дюма-отец; 1802–1870), французский писатель 126, 145
Дюрер Альбрехт (1471–1528), немецкий живописец и график 448

Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (1883–1955), литературовед 199, 325, 339, 342, 350, 354, 355, 358, 390; *23, 145, 284, 355, 455, 465–466, 469*
Евстигнеева Лидия Алексеевна, литературовед *168, 198*
Егоров Борис Федорович (р. 1926), литературовед *456–457*
Екатерина II (1729–1796), императрица 336–337, 410, 433, 436
Елена Павловна (1806–1873), великая княгиня 270
Еленев (Скалдин) Федор Павлович (1828–1902), журналист, член Главного управления по делам печати 286
Елизавета Петровна (1709–1761), русская императрица 410
Елисеев Григорий Захарович (1821–1891), публицист 76, 156, 293, 296, 299, 301, 385; *464, 469*
Ермолов, симбирский помещик 32–33, 38

Жданов Владимир Викторович (1898–1981), литературовед *456–457*
Ждановский Н., критик *453*

Жукова Александра, знакомая А. В. Дружинина и Л. Н. Толстого 73–74; *73, 458*
Жуковская (**Ценина**) **Екатерина Ивановна** (1841—1913), участница Знаменской коммуны В. А. Слепцова, жена Ю. Г. Жуковского 173, 245–251, 253–254, 256–259, 383–384, 389–392; *245–246, 248, 251, 253–255, 257, 258, 260, 463, 469*
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852), поэт 330, 393, 446; *454, 470*
Жуковский Юлий Галактионович (1822—1907), публицист, экономист 151, 386–391; *245, 464, 469–470*

Заборова Роза Борисовна (р. 1915), литературовед *467*
Завалишины, **Иринарх Иванович** (1762–1821) генерал-майор, литератор и его сын **Дмитрий Иринархович** (1804–1892), мемуарист, декабрист 32
Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852), писатель, драматург 35, 369
Зайдель Григорий Соломонович, литературовед *9*
Зайцев Варфоломей Александрович (1842—1882), критик, публицист 308
Зарин Ефим Федорович (1829—1892), критик, переводчик 208, 211; *207, 208*
Засодимский Павел Владимирович (1843—1912), писатель 151, 198, 379
Захарьин (**Якунин**) **Иван Николаевич** (1839—1906), писатель *14*
Звонарев Семен Васильевич (?—1875), книгопродавец, издатель 143, 288, 298; *288*
Звягинцев Евгений Алексеевич (1869—?), историк 365
Зильберштейн Илья Самойлович (1905—1988), литературовед, искусствовед 315, 316
Зиновьев Петр Васильевич (1812–1863), новгородский помещик 33
Златовратский Николай Николаевич (1845—1911), писатель 151, 160, 198, 379–380; *461*
Зотов Владимир Рафаилович (1821—1896), писатель, драматург, журналист 279; *286*
Зыков Сергей Петрович (1830–?), военный историк *465*

Ибсен Генрик (1828–1906), норвежский писатель, драматург 416, 423
Ивашев Василий Петрович (1794—1840), декабрист, член Южного общества 19, 21, 33, 174
Ивашев Петр Никифорович (1767—1838), генерал-майор, отец декабриста В. П. Ивашева 33
Ивашева (урожд. **Толстая**) **Вера Александровна** (?—1837), мать декабриста В. П. Ивашева 19
Ивашевы 32, 34, 39
Иванова Евгения Викторовна, историк литературы *475*
Игорь Святославич (1150–1202), князь новгород-северский (с 1178), черниговский (с 1199) 449
Иезекииль, древне-еврейский пророк 7–6 вв. до н. э. 431
Излер Иван Иванович (1811–1877), владелец петербургского загородного сада «Минеральные воды», весьма популярного в 1860-х годах 448
Измайлов Александр Алексеевич (1873—1921), пародист, критик 315
Ильин Б. П., историк *16*
Иоанн Дамаскин (ок. 675–до 753), византийский богослов, философ и поэт, автор церковных песнопений 396, 400, 402, 411; *470–471*
Иоанн Лейденский (**Иоанн Боккользон**; ок. 1510—1536), вождь плебейской секты анабаптистов в Северо-Западной Германии 265
Ирвинг Вашингтон (1783—1859), американский писатель 45
Исайя (ок. 765–685), пророк 431
Исленьев Александр Михайлович (1794—1882), дед С. А. Толстой со стороны матери 96; *96*

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), юрист, историк, публицист 328
Кавеньяк Луи-Эжен (1802—1857), французский генерал, политический деятель 21
Каверин Вениамин Александрович (1902—1989), писатель *122*
Каллаш Владимир Владимирович (1866—1919), историк литературы, педагог *202*
Каменский Анатолий Павлович (1876–1941), писатель *466*

Кант Иммануил (1724–1804), немецкий философ 423

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866), революционер-террорист 196, 240, 266, 293

Карамзин Николай Михайлович (1756—1825), писатель, историк 365

Карамзинская М. А. *460*

Каратыгин Василий Андреевич (1802–1853), знаменитый трагик 448

Карлейль Томас (1795–1881), английский философ, историк 451

Каронин С. (псевдоним **Николая Елпидифодоровича Петропавловского**; 1853—1892), писатель 152, 380

Карцов Василий Сергеевич (1864–?), библиограф 290

Катков Михаил Никифорович (1818—1887), публицист 60–61, 219, 229, 293, 369

Катон Цензор Марк Порций (ок. 234 до н. э. – 149 до н. э.), выдающийся полководец и политический деятель Древнего Рима, первый латинский писатель-прозаик 119

Квитка-Основьяненко (наст. фам. **Квитка**) **Григорий Федорович** (1778–1843), прозаик, драматург, поэт, писавший на украинском и русском языках 418; *472*

Кельсиев Иван Иванович (1841—1864), участник революционного движения 60-х годов 169

Кетчер Николай Христофорович (1806–1886), переводчик, литератор *454*

Кёхли Герман Август Теодор (1815–1876), немецкий филолог-классик 36

Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933), историк 315

Киндяковы, известные помещичьи дворянские фамилии 32

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), писатель, филолог 366

Китс Джон (1795–1821), английский поэт 415

Клейнмихель Мария, графиня (1846–?), хозяйка салона 272

Кноблох Карл Карлович, инспектор московских народных училищ 160

Ковалевский Евграф Петрович (1790–1867), министр народного просвещения *80*

Ковалевский Егор Петрович (1811—1868), историк, географ, писатель, участник обороны Севастополя 69, 80, 87, 98; *80*

Коведяева-Воронцова Любовь Егоровна, доктор медицины, приятельница В. А. Слепцова 240

Козачковский Андрей Осипович (1812–1889), врач, друг Т. Г. Шевченко 447

Козьмин Борис Павлович (1883—1958), литературовед *122*

Кок Шарль-Поль де (1794—1871), французский писатель 4

Колбасин Дмитрий Яковлевич (1827—1890), чиновник, брат Е. Я. Колбасина 86

Колбасин Елисей Яковлевич (1831—1885), писатель, историк литературы 70, 76, 83–85; *76*

Колумб Христофор (1451—1506), мореплаватель 140

Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842), поэт 106, *454*

Кондратьев Иван Кузьмич (1849—1904), прозаик, драматург 110, 111, 157–160

Кони Анатолий Федорович (1844—1927), юрист, общественный деятель 286, 351–352

Коптева Мария Николаевна, переводчица 248, 250, 253, 255, 390

Корнилов Александр Александрович (1862—1925), историк 18–19; *17–20, 26, 34*

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921), писатель, журналист 160, 232

Костомаров Николай Иванович (1817–1885), украинский и русский историк, писатель, этнограф, член-корреспондент Петербургской АН, один из основателей и ведущих деятелей Кирилло-Мефодиевского общества 447; *461*

Котляревский Иван Петрович (1769–1838), украинский писатель 416

Котляревский Нестор Александрович (1863–1925), литературовед, академик 407; *471*

Кохановская (Соханская) Надежда Степановна (1825—1884), писательница 93, 94
Крабб Джордж (1754—1832), английский поэт 46
Краевский Андрей Александрович (1810—1889), издатель-журналист 72, 79, 93–94, 98, 129, 233, 288, 293, 295, 299–301, 304, 306, 311; *80, 457, 464*
Крамской Иван Николаевич (1837—1887), художник 245; *245*
Красной С., историк *9*
Красноусов А., литературовед *201*
Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895), писатель 134, 175, 256, 391; *253*
Крешев Иван Петрович (1824—1859), поэт, переводчик 67
Кротковы, известные помещичьи дворянские фамилии 32
Крузе Николай Федорович (1823—1901), цензор Московского цензурного ведомства 326
Кузин А., литературный критик *199*
Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), писатель, драматург 59; *456*
Кулиш Пантелеймон Александрович (1819–1897), украинский писатель, историк, этнограф, фольклорист 447, 450; *472*
Кундель, портной 97
Курганов Николай Гаврилович (1725—1796), просветитель 364
Курочкин Василий Степанович (1831—1875), поэт-сатирик, переводчик 53, 122, 267, 317
Кусков Платон Александрович (1834—1909), поэт, критик 390
Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745—1813), полководец 270; *270*
Кухаренко Яков Герасимович (1800–1862), украинский писатель и этнограф; генерал-майор, наказной атаман Черноморского казачьего войска. Ему посвящена поэма Т. Г. Шевченко «Москалева криниця» 447
Кушелев-Безбородко Григорий Александрович (1832—1870), издатель журнала «Русское слово» 72, 90–92
Кюи Цезарь Антонович (1835—1918), композитор, музыкальный критик, инженер-генерал 270
Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797—1846), поэт, декабрист 316–317

Лаврентьева С. *369*
Лавров Александр Васильевич (р. 1949), литературовед *475*
Лажечников Иван Иванович (1792–1869), писатель 369
Лазарев Лазарь Ильич (р. 1927), критик *452*
Лазаревский Василий Матвеевич (1817—1890), писатель, переводчик, член совета Главного управления по делам печати 286, 308, 354; *467*
Лазаревский Михаил Матвеевич (1818–1867), чиновник Оренбургской Пограничной комиссии, коллежский секретарь, близкий товарищ Т. Г. Шевченко 418
Лазерсон Белла Израилевна (р. 1922), литературовед *233*
Ламартин Альфонс (1790–1869), французский писатель-романтик, политический деятель *456*
Лассаль Фердинанд (1825—1864), немецкий социалист 37
Лебедев Степан Сидорович, цензор Петербургского цензурного комитета с 1860 г. 299
Левенстим А. А. *403, 470–471*
Левитов Александр Иванович (1835—1877), писатель 67, 76, 107, 111–112, 120, 123, 139, 143, 156, 169, 177, 186, 198, 252, 380
Ледрю-Роллен Александр-Огюст (1808—1874), французский политический деятель 21
Лемке Михаил Константинович (1872—1923), историк, литературовед 317, 367
Леонардо да Винчи (1452–1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер 393
Ленин Владимир Ильич (1870—1924), государственный деятель 128, 135, 150; *36, 128, 136, 150*
Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891), писатель, публицист 114, 160
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841), поэт, писатель 70, 315, 317

Леру Пьер (1797—1871), французский социалист-утопист 36
Лесков Николай Семенович (1831—1895), писатель 175, 190–191, 242, 246, 248, 249, 253, 256, 259, 264, 270, 272, 375, 391; *242, 246, 248, 253, 272, 276*
Ливенцов Михаил Алексеевич (1825—1896), генерал-лейтенант, писатель 67, 69; *71, 458*
Лизавета Ивановна, *см.* Гааг Л. И.
Ломовская Л. Ф., *см.* Маклакова Л. Ф.
Лопатин Герман Александрович (1845—1918), революционер, публицист 232
Ляцкий Евгений Александрович (1868—1942), критик, литературовед 8

Мазаев Михаил Николаевич (1869—?), библиограф 290
Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт 74–75, 88
Майков Леонид Николаевич (1839–1900), историк литературы, библиограф, этнограф 8; *454*
Макашин Сергей Александрович (1906—1989), литературовед 315, 360; *285*
Маклакова Лидия Филипповна (псевдоним **Л. Нелидова**; 1851—1936), писательница, жена В. А. Слепцова 199, 246, 249, 262; *168, 240*
Максимов В., *см.* Евгеньев-Максимов В. Е.
Максимов Сергей Васильевич (1831—1901), писатель-этнограф 120, 267
Максимович Алексей Яковлевич (1908—1942), литературовед 330, 332–333, 341, 357–358; *341*
Максимович Михаил Александрович (1804–1873), украинский и российский естествоиспытатель, историк, филолог, член-корреспондент Петербургской АН (1871); первый ректор Киевского университета 424, 434, 447
Макулова Екатерина Александровна (1840—1896), участница Знаменской коммуны В. А. Слепцова 249, 251, 255
Марат Жан Поль (1743—1793), французский политический деятель 370
Маркелова (Каррик) Александра Григорьевна (1835—1916), детская писательница, переводчица 249, 254–256, 259, 268
Марко Вовчок, *см.* Маркович М. А.
Марков Владимир Сергеевич, историк литературы *168, 169, 261*
Маркович-Вилинская Мария Александровна (псевдоним **Марко Вовчок**; 1834—1907), украинская писательница 56, 204, 428; *204, 230*
Маркс Адольф Федорович (1838–1904), издатель и книгопродавец *468–469*
Маркс Карл (1818—1883), основоположник научного коммунизма 7–10, 15, 17, 22–23, 35–39, 41–44; *8–10, 15, 35–36, 41–42*
Мартьянов Петр Кузьмич (1827—1899), поэт-юморист, публицист 143; *119, 143*
Мартынов П., историк *39*
Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930), поэт 189
Мезенцев Николай Владимирович (1827—1878), шеф жандармов, начальник III Отделения в 1876—1878 гг. 308
Мей Лев Александрович (1822—1862), поэт, драматург 369
Мейлах Борис Соломонович (1909—1987), литературовед *201*
Мейшен Прасковья Николаевна (1842–1921), подруга Н. А. Некрасова *469*
Мельгунов Борис Владимирович (р. 1939), историк литературы *465–467, 475*
Мельников Николай Павлович (1856–1910), сын писателя П. И. Мельникова-Печерского, мемуарист 111; *111*
Мельников Павел Иванович (псевдоним **Андрей Печерский**; 1818—1883), писатель *111*
Мельшин Л., *см.* Якубович П. Ф.
Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918), русский мыслитель, публицист и общественный деятель, ведущий сотрудник газеты «Новое время» *474*
Мещерский Владимир Петрович кн. (1839—1914), журналист, издатель 162

Микеланджело Буонаротти (1475–1564), итальянский скульптор, живописец, поэт 277, 292, 393
Микешин Михаил Осипович (1835–1896), скульптор 433–434
Миловидов С., журналист *155*
Милюков Павел Николаевич (1859—1943), историк, лидер партии кадетов 367
Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889), поэт, переводчик 198, 317
Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865), революционер, публицист, поэт-переводчик 67, 70, 74, 150, 177, 229, 321; *461*
Михайлов Олег Николаевич (р. 1932), критик *453*
Михайлов П. М., литературовед *201*
Михайлов-Шеллер, *см.* Шеллер А. К.
Михайловский Николай Константинович (1842—1904), социолог, публицист, критик 113, 149, 301–302, 385
Мицкевич Адам (1798–1855), польский поэт 378
Можайский Иван Павлович (1828 или 1830—1893), поэт-сатирик, педагог 164; *164*
Молешотт Якоб (1822–1893), немецкий физиолог 403
Мопассан Анри-Рене-Альбер Ги де (1850—1893), французский писатель 68, 262
Морозов Николай Александрович (1854–1946), революционер-народоволец *467*
Мочалов Павел Степанович (1800—1848), трагический актер 35
Муравейникова М. Ю. *460*
Муравьев («Вешатель») **Михаил Николаевич** (1796—1866), государственный деятель 177, 196, 205, 216, 229, 266, 287–288, 313–314, 354; *284, 288, 354, 461*
Муравьева Александра Григорьевна (урожд. графиня **Чернышова**; 1804—1832), жена декабриста Н. М. Муравьева 344
Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795—1862), попечитель Петербургского учебного округа, председатель Петербургского цензурного комитета 278
Мусоргский Модест Петрович (1839—1881), композитор 242–243, 270–272; *271–272,*
Надсон Семен Яковлевич (1862–1887), поэт 419
Найденов М., историк *225*
Наполеон I (**Наполеон Бонапарт**, 1769–1821), французский император *468*
Нарышкин, член коммуны А. Бенни *264*
Наумов Николай Иванович (1838—1901), писатель 152
Нелидова Л., *см.* Маклакова Л. Ф.
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877), поэт, журналист 10–15, 20–31, 35, 39–41, 43–45, 47, 53, 56–57, 59, 63–74, 76–77, 86–87, 100, 104, 113, 122, 123, 125–127, 143–145, 147, 159, 162, 171, 173, 177, 182–183, 196–197, 203, 207, 222, 229–231, 257, 259, 270–271, 273, 275–284, 286–304, 306–313, 314–316, 318–360, 380, 383–391, 419, 434–435; *14, 30, 40, 54, 80–81, 144–145, 288, 313–314, 342–345, 349, 352, 354–356, 358–359, 452–467, 469, 474*
Некрасова Зинаида Алексеевна (наст. имя и фам. **Фекла Анисимовна Викторова**; 1846?–1915), жена Н. А. Некрасова *469*
Неттлау Макс (1865—1944), немецкий литературовед 8
Нефедов Филипп Диомидович (1838—1902), писатель-народник, этнограф 198
Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882), революционер-заговорщик 18, 304
Никитенко Александр Васильевич (1805—1877), профессор русской словесности, литературный критик, цензор 24, 60, 285–286; *60*
Николадзе Нико Яковлевич (1843—1928), писатель, общественный деятель 232
Николай I (1796—1855), император 64, 72, 104, 270, 275–276, 339, 347; *80, 275, 457*
Новодворский Андрей Осипович (1853—1882), писатель 380

Оболенский Леонид Егорович (1845—1906), журналист 151
Огарев Николай Платонович (1813—1877), поэт, соратник А. И. Герцена 43, 47, 74, 316–317, 366–369, 371–372, 419; *468*

Огинский Михай Клеофас (1765—1833), польский композитор 378
Одоевский Владимир Федорович (1804—1869), писатель 337
Оксман Юлиан Григорьевич (1894–1970), литературовед 360
Олдридж (Ольридж)**Айра Фредерик** (ок. 1807–1867), негритянский актер 433–434
Оленин Алексей Алексеевич (1798–1854) член Союза Благоденствия 314
Омир 370
Омулевский (наст. фам. **Федоров**) **Иннокентий Васильевич** (1836–1883), писатель 374–382; *468–469*
Орлов Владимир Николаевич (1908—1985), литературовед, критик 360
Орфанов Михаил Иванович (1848—1884), писатель-народник 67, 111, 240
Осетров Евгений Иванович (1923–1993), писатель, литературный критик *453*
Осия, пророк 9 в. до н. э. 431
Основьяненко, *см.* Квитка-Основьяненко Г. Ф.
Островский Александр Николаевич (1823—1886), драматург 47, 74, 77, 88, 178, 198, 200, 257; *78, 460–462*
Острогорский Виктор Петрович (1840–1902), русский педагог, редактор ряда педагогических журналов, литератор *467*

П. С., *см.* Славинский П. Г.
П. Я., *см.* Якубович П. Я.
Палей (**Палий**, наст. фам. **Гурко**) **Семен Филиппович** (1640-е–1710), предводитель украинского правобережного казачества, в должности белоцерковского полковника принимал участие в Полтавском сражении 1709 г. Т. Шевченко воспел Палея в стихотворениях «Чернец» и «Швачка» *415*
Пальмерстон Генри Джон Темпль (1784—1865), английский государственный деятель 112
Панаев Валериан Александрович (1824—1899), инженер путей сообщения, публицист 13, 27, 32; *13, 27*
Панаев Иван Иванович (1812—1862), писатель, журналист, мемуарист 12–14, 21–24, 40, 54, 57, 69, 75, 78, 85, 278, 287, 303; *11, 454–455, 459–461, 463*
Панаева Авдотья Яковлевна (1819—1893), писательница, мемуаристка 9, 13–16, 18–21, 25–26, 28, 32, 43, 165, 166, 173, 175, 247, 253– 254, 256, 262, 267, 391; *14, 80, 165–166, 175, 253, 256, 262, 267, 454–455, 466*
Панов, преподаватель семинарии в Туле 118
Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919), издатель, журналист 232
Папковский Борис Васильевич (1908—1950), литературовед *285*
Пассек Александр Вадимович (1836–1860), сын Т. П. Пасек 369
Пассек Вадим Васильевич (1808–1842), этнограф, писатель, университетский товарищ А. И. Герцена, муж Т. П. Пассек 368
Пассек Владимир Вадимович (1841–1880), сын Т. П. Пасек 369
Пассек Татьяна Петровна (урожд. **Кучина**; 1810—1889), двоюродная сестра А. И. Герцена, мемуаристка 363–373; *369, 468*
Пастернак Борис Леонидович (1890—1960), поэт 317
Перовский Алексей Алексеевич (псевд.: **Антоний Погорельский**, 1787–1836), писатель пушкинской эпохи, дядя А. К. Толстого *470*
Перовский Борис Алексеевич (1815—1881), генерал-адъютант, член Государственного совета 102–103
Перовский Лев Алексеевич (1792–1856), министр внутренних дел, сторонник постепенной отмены крепостного права 448
Петр I (1672–1725), российский император 275, 409, 420, 436
Петрарка Франческо (1304–1374), итальянский поэт 423
Петрашевский-Буташевич Михаил Васильевич (1821—1866), видный деятель русского освободительного движения середины XIX в. 61, 329
Петров, провокатор, по доносу которого был арестован Шевченко 438
Петров Михаил Александрович (1822 или 1823 — после 1881), писатель 67, 92, 93, 95, 96, 101–109; *92, 452–453, 460*

Петровский Петр Степанович (1814–1842), художник, ученик Брюллова, товарищ Т. Г. Шевченко по Академии искусств 447
Петровский Мирон Семенович (р. 1932), литературовед *473*
Пиа Феликс (1810—1889), французский политический деятель, драматург 21, 36
Пиксанов Николай Кирьякович (1878—1968), литературовед 354; *161*
Писарев Дмитрий Иванович (псевдоним **К. Путилов**; 1840—1868), критик 58, 134, 209, 229, 281–283, 371, 384–385; *58, 209, 282, 284*
Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881), писатель 48, 56, 69–70, 72, 75, 85, 88, 95–96, 183, 275; *56, 88, 96*
Пиунова Екатерина Борисовна (1843–1909), артистка Нижегородского театра, исполняла роль Тетяны в спектакле по пьесе И. П. Котляревского «Москаль-чаривник» 429
Платон (428 или 427 до н. э. – 348 или 347 до н. э.), древнегреческий философ-идеалист 423
Плетнев Петр Александрович (1792—1865), поэт, критик, историк литературы 22, 24, 122–123, 448; *454–455, 460*
Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918), марксист, революционер 152; *183*
Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893), поэт 390
Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель, публицист 65, 369; *454*
Покровский, знакомый В. А. Слепцова 169
Полевой Николай Алексеевич (1796–1846), писатель, журналист, историк, член-корреспондент Петербургской АН; издатель журнала «Московский телеграф» 448
Полежаев Александр Иванович (1804—1838), поэт 56
Полонский Яков Петрович (1819—1898), поэт 70, 91, 95, 143–145, 148, 317, 405, 433; *393, 470–471*
Полусмак (Полусмакова) Ликерия Ивановна (1840–1917), бывшая крепостная, знакомая Т. Г. Шевченко, на которой он имел намерение жениться; ей посвящено несколько стихотворений поэта 429
Помяловский Николай Герасимович (1835—1863), писатель 67, 104, 111, 123, 139, 143, 156, 168, 177, 193
Пономарев Степан Иванович (1828—1913), библиограф 357
Попов Павел Сергеевич, литературовед *63*
Постников, помещик Казанской губернии 38
Постный, *см.* Ткачев П. Н.
Прово, садовница 367
Прокопович Николай Яковлевич (1810–1857), поэт *454*
Протопопов Михаил Алексеевич (1848—1915), критик 211; *212*
Прудон Пьер-Жозеф (1809—1865), французский социалист-утопист 17
Пургольд Е. Н., знакомая В. В. Стасова *272*
Путилов К., *см.* Писарев Д. И.
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837), поэт 49–51, 56, 66, 70–71, 83, 85, 87, 127, 157, 193, 315, 317; *49, 460, 468, 471–472*
Пфейфер Генрих (?—1525), философ 243–244; *244*
Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), журналист, историк литературы 387–388, 391; *245,464, 470*
Пыпина Екатерина Николаевна (1847–1933), мемуаристка, младшая кузина Н. Г. Чернышевского *464*

Раевский Владимир Федорович (1795—1872), поэт, декабрист 316
Раевский Николай Николаевич (1771—1829), генерал, герой Отечественной войны 1812 года 345
Разюмалин Д., автор воспоминаний о Н. В. Успенском *111*
Рафаэль Санти (1483–1520), итальянский живописец, архитектор 393
Рейнгардт Николай Викторович (ок. 1842—после 1905), журналист, издатель, общественный деятель 232
Рейсер Соломон Абрамович (1905—1989), литературовед 341, 343, 360; *343–346, 465–466*

Рени Гвидо (1575–1642), итальянский живописец 448
Репин Илья Ефимович (1844– 1930), художник 141, 241, 426; *141, 241*
Репнин Михаил Петрович (?–1564), князь, боярин, убит по приказу Ивана IV Грозного 395, 411; *471*
Репнина Варвара Николаевна (1808–1891), княгиня, дочь героя Отечественной войны Н. Г. Репнина, племянница декабриста С. Г. Волконского. Т. Г. Шевченко посвятил ей поэму «Тризна» 438, 447
Решетников Федор Михайлович (1841–1871), писатель 104, 112, 123, 139, 143, 169, 177, 195, 291–293, 309, 312, 372; *143*
Риббентроп Адольф, друг Маркса, последователь Фейербаха 36
Ричардсон Самюэл (1689–1761), английский писатель 46
Робеспьер Максимильен-Мари-Изидор (1758–1794), французский политический деятель 267, 308
Родионовы, известные помещичьи дворянские фамилии 32
Розанова Людмила Анатольевна (р. 1925), литературовед *465*
Розен Андрей Евгеньевич, барон (1800–1884), декабрист, мемуарист 271
Розенгейм Михаил Павлович (1820–1877), поэт, журналист 313
Ростислав, *см.* Толстой Ф. М.
Руге Арнольд (1802–1880), немецкий публицист 17, 36
Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826), поэт, публицист, декабрист 316
Рязанов Дмитрий Федорович, историк 8–9; *8–10*

Савины, фабриканты 234; *197, 201*
Салиас де Турнемир Евгений Андреевич (1840–1908), писатель 169, 175, 262–265; *264*
Салиас де Турнемир Елизавета Васильевна, псевдоним: **Евгения Тур** (1815–1892), писательница, публицистка 64, 169, 171, 262
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (псевдоним **Н. Гурин**; 1826–1889), писатель 48, 53, 122, 147, 148, 152, 153, 171–173, 182–183, 189, 192, 200, 202, 249, 257, 259, 267, 276–277, 279, 290, 292–297, 299, 301, 309, 311–312, 317, 385, 389–390; *147, 183, 200, 276, 290, 297, 461, 463*
Самарин Юрий Федорович (1819–1876), критик, публицист 34
Санд Жорж (псевдоним **Авроры Дюдеван**; 1804–1876), французская писательница 21
Сарданапал, легендарное имя ассирийского царя Ассурбанипала (668–626 до н. э.) 428
Сарторий, полководец времен римского императора Тита Флавия Домициана (81–96 н.э.) 119
Свешников Николай Иванович (1839–1899), угличский мещанин, книготорговец 240–241; *240*
Сведенборг Эмануэль (1688–1772), шведский ученый и теософ-мистик 442
Семанова Мария Леонтьевна (р. 1909), литературовед *179*
Семевский Василий Иванович (1848–1916), историк 368; *269*
Семевский Михаил Иванович (1837–1892), писатель, публицист 315
Сенковский (**Барон Брамбеус**) **Осип Иванович** (1800–1858), писатель, журналист 59, 65, 122, 271, 369; *122*
Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616), испанский писатель 198
Сергиевский Алексей Егорович (1846–?), слушатель Петровской земледельческой академии 240
Сергий Радонежский (1314–1392), церковный и политический деятель, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, один из духовников Дмитрия Донского 158
Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834–1866), революционер-демократ 150, 229; *461*
Серов Александр Николаевич (1820–1871), композитор, музыковед, музыкальный критик 267, 271, 280; *250, 270–271, 280*
Серов Валентин Александрович (1865–1911), художник *250*
Серова Валентина Семеновна (1846–1924), композитор, мемуаристка, жена А. Н. Серова и мать В. А. Серова 267; *250*

Сеченов Иван Михайлович (1829–1905), физиолог 389–390

Сивоволов Б. М., литературовед *475*

Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910), критик, историк литературы 151–152, 165–167, 173, 175, 183–184, 186, 243, 247, 254, 259–260, 267, 294–295, 301–302, 307, 391; *122, 152, 165, 167, 183, 243, 247, 268*

Скарятин Владимир Дмитриевич, публицист 1860-х годов *469*

Скатов Николай Николаевич (р. 1931), критик, историк литературы, директор Пушкинского Дома *466–467*

Скафтымов Александр Павлович (1890–1969), литературовед 360

Скориков Николай Фомич, астраханский учитель 232

Скоропадский Петр (1805–1848), черниговский помещик-крепостник, наследник гетмана И. Скоропадского 434

Славинский Павел Григорьевич, журналист, автор «Деревенских писем» 93

Слепцов Алексей Васильевич, отец В. А. Слепцова 167, 168

Слепцов Василий Алексеевич (1836–1878), писатель, журналист 67, 109, 120, 123, 132, 139, 143, 148, 165–240, 243–268, 317, 380, 389–392; *165–166, 168–169, 174, 179, 193, 196, 200–202, 227, 228, 232, 252, 253, 258, 261, 264, 268, 452, 461–463, 470*

Слепцова (урожд. **Вольбутович-Паплонская**) **Жозефина Адамовна**, мать В. А. Слепцова 167–168, 196, 199, 256; *168*

Слепцова Екатерина Александровна (урожд. **Цуканова**, ?–1857), кордебалетная танцовщица Московского театра, первая жена В. А. Слепцова 169

Случевский Константин Константинович (1837–1904), поэт, издатель 128, 130, 317; *126*

Смирнов Василий Дмитриевич (1846–1922), историк 367

Смирнова-Россет Александра Осиповна (1809–1882), близкий друг Н. В. Гоголя 275; *454*

Сниткина Анна Николаевна (1812–1893), мать А. Г. Достоевской 67

Соболев Василий Иванович (1844–?), слушатель Петровской земледельческой академии 240

Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882), писатель 32, 34–35, 292, 303; *34–35, 454*

Соллогубы, известные помещичьи дворянские фамилии 39

Сологуб (наст. фам. **Тетерников**) **Федор Кузьмич** (1863–1927), поэт 416

Софьяно С. П., генерал-адъютант, географ 162

Сошенко Иван Максимович (1807–1876), украинский художник и педагог 445, 447

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), граф, государственный деятель 366

Срезневский Всеволод Измайлович (1867–1936), историк литературы, библиограф *85*

Станкевич Николай Владимирович (1813–1840), писатель, переводчик 38, 366

Станюкович Константин Михайлович (1843–1903), писатель 375

Старчевский Адальберт Викентьевич (1818–1901), публицист, критик 53, 64, 122; *59*

Стасов Владимир Васильевич (1824–1906), художественный и музыкальный критик, историк искусства 174, 241–242, 249, 271–272; *241, 271–272*

Стасова Надежда Васильевна (1822–1895), общественная деятельница 174

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911), историк, публицист, издатель 40, 388; *40*

Стахевич Сергей Григорьевич (1842–1918), член общества «Земля и воля» 232

Степанов Николай Александрович (1807–1877), художник-карикатурист, журналист 122

Степанова Ольга Валентиновна *475*

Столыпины, известные помещичьи дворянские фамилии 32

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), журналист, издатель 40, 280; *40*

Суворов Александр Васильевич (1730–1800), полководец 33

Сулла Люций Корнелий (138–78 до н. э.), римский диктатор 119
Сусанин Иван Осипович (?–1613), 275
Суханов Я., историк *197, 201*
Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817–1903), драматург 189

Танеев Владимир Иванович (1840–1921), философ-социолог, писатель 165, 173, 198; *165, 166, 173, 198*
Тарасов Анатолий Федорович (1919–1996), литературовед *467*
Тарновский Григорий Степанович (1788–1853), украинский помещик Черниговский, владелец и «душа» усадьбы Качановка, ставшей средоточием и важным центром украинской культурной жизни 19 века, известнейший меценат. В его имениях жил и творил Т. Г. Шевченко 447
Тарусин Иван Егорович (1834–1885), мемуарист 117
Татариновы, известные помещичьи дворянские фамилии 32
Теккерей Уильям Мейкинс (1811–1863), английский писатель 46
Тенирс Давид (1610–1690), фламандский живописец 448
Теплинский Марк Вениаминович (р. 1924), литературовед 359
Тимашев Александр Егорович (1818–1893), государственный деятель, министр внутренних дел 286, 308–310; *308, 471*
Тимофеева, участница коммуны в Эртелевом переулке 240
Тихон, **святитель Калужский** (?–1492), основатель Тихоновой пустыни 157
Ткачев Петр Никитич (псевдоним **Постный**; 1844–1885), литературный критик, публицист, идеолог народничества 148, 210, 224; *210*
Токарский Александр Ардалионович (1853–1917), юрист 232
Толстая Александра Андреевна (1817–1904), двоюродная тетка Л. Н. Толстого 102–103, 107
Толстая Евдокия Савельевна, мать Г. М. Толстого 33
Толстая Мария Николаевна (1830–1912), сестра Л. Н. Толстого 73, 81, 98–100; *81*
Толстая Софья Андреевна (урожденная **Бахметьева**, 1825–1895), жена А. К. Толстого 394; *96, 470*
Толстой Алексей Константинович (1817–1875), поэт, драматург 270, 274, 393–412; *274, 393, 468, 470–471*
Толстой Владимир Михайлович, брат Г. М. Толстого 14, 16, 21, 28; *16*
Толстой Григорий Михайлович (1808–1871), казанский помещик 7, 9, 10, 13–29, 31–39, 41–44; *9, 16, 35, 36, 42, 452, 454–455*
Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), государственный деятель 8, 13
Толстой Е., родственник Ф. М. Толстого 290; *464*
Толстой Иван Матвеевич (1806–1867), сенатор, товарищ министра иностранных дел, брат Ф. М. Толстого 270, 279
Толстой Лев Николаевич (1828–1910), писатель 7, 13, 45, 68–103, 105–107, 113, 123, 145–146, 158–159, 199–202, 270, 302, 317, 375, 380, 383, 386, 448–450; *46, 68, 73, 78, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 93–97, 99, 100, 102, 103, 105, 199, 200, 303, 452, 456, 458–460, 469*
Толстой Михаил Львович, отец Г. М. Толстого 32, 33
Толстой Николай Валерьянович, граф (1850–1878), племянник Л. Н.Толстого, сын М. Н. Толстой 98, 100
Толстой Николай Николаевич (1823–1860), брат Л. Н.Толстого 93, 98–101
Толстой Сергей Николаевич (1826–1904), брат Л. Н.Толстого 99–101
Толстой Федор Петрович (1783–1873), вице-президент Академии художеств, скульптор, медальер, знакомый Т. П. Пассек 369
Толстой Феофил Матвеевич (псевдонимы: **Данилевич**, **Данкевич**, **Ростислав**; 1809–1881), композитор, писатель, цензор 8, 13, 269–283, 286–312; *269, 270, 275, 278, 280–281, 283, 288, 452, 463–464*
Толстой Яков Николаевич (1791–1887), парижский агент III Отделения 8–10, 13, 35, 38, 41–42; *9, 35*
Томашевский Борис Викторович (1890–1957), литературовед 360

Трепов Дмитрий Федорович (1855—1906), московский обер-полицмейстер в 1896—1905 гг. 162

Трефолев Леонид Николаевич (1839—1905), поэт 198

Трубецкая Екатерина Ивановна (урожд. гр. **Лаваль**; 1800—1854), жена декабриста С. П. Трубецкого 338–340, 342–344

Трубников Константин Васильевич (1829—1904) журналист, промышленный деятель 304–306, 308–309; *464*

Трубникова Мария Васильевна (1835—1897), деятельница женского образования, писательница, дочь декабриста В. П. Ивашева 174

Тур Евгения, *см.* Салиас де Турнемир Е. В.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883), писатель 12, 26, 31, 40, 47, 50–51, 54–55, 57, 63, 68–74, 76–77, 82–83, 85–86, 88, 93–95, 97–98, 100, 103, 107, 113, 123, 127, 137, 140–142, 145–146, 148, 159, 200, 209, 275, 294, 317, 350–352, 358–359, 366, 372, 375, 380, 383, 386, 393; *57, 71, 76–78, 80, 82–83, 86, 103, 127, 146, 148, 455, 458–460, 466, 468*

Тургеневы, известные помещичьи дворянские фамилии 32

Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна (1829–1913), жена Огарева, мемуаристка 368

Тютчев Федор Иванович (1803—1873), поэт 35, 314, 317, 318, 330*; 314*

Усков Ираклий Александрович (1810–1882), майор, затем подполковник, комендант Новопетровского укрепления 424

Усов Павел Степанович (1828—1888), журналист, издатель *27*

Успенская Елизавета, жена Н. В. Успенского 112, 155–156

Успенская Елизавета Васильевна, сестра Н. В. Успенского 115, 157

Успенский Александр Иванович (1853—?), брат Г. И. Успенского, лесничий *118*

Успенский Борис Глебович (1885—1951), сын Г. И. Успенского, писатель, журналист *161*

Успенский Глеб Иванович (1843—1902), писатель 67, 113–114, 119, 123, 139, 146, 151–152, 159–161, 163, 193, 233, 291, 293, 309, 312, 317, 380, 385; *113, 116, 118, 151, 161, 164, 461*

Успенский Дмитрий Иванович (1814 или 1815 — не ранее 1852), учитель финского, греческого и латинского языков в С.-Петербургской духовной семинарии 117; *116, 117*

Успенский Иван Васильевич, брат Н. В. Успенского 115, 117

Успенский Иван Яковлевич (?—1864), тульский чиновник, отец Г. И. Успенского 118–120

Успенский Михаил Васильевич, брат Н. В. Успенского 115, 117

Успенский Николай Васильевич (1837—1889), писатель 51, 53, 67, 76, 104–105, 107, 109–164, 168–169, 173, 177, 183, 189, 193, 198, 247, 252–253, 256, 259–260, 265, 317, 391; *51, 111, 113, 116–117, 121, 126–127, 129, 142–144, 148, 151–152, 154–155, 161, 247, 252, 452, 453, 460–462*

Утин Евгений Исаакович (1843—1894), писатель 186; *184*

Фальбал, содержательница женского благородного пансиона в Москве 364; *468*

Федор Иоаннович (1557–1598), последний русский царь из династии Рюриковичей 274, 396; *470*

Федотов Павел Андреевич (1815—1852), художник 61–63, 67; *62*

Фейербах Людвиг Андреас (1804—1872), немецкий философ-материалист 243

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892), поэт 51, 56, 70, 74–75, 94–95, 97, 99–100, 270, 317, 386; *80, 95, 458*

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942), революционерка, народоволка 282–283; *282*

Филипп II Македонский (ок. 382—336 до н. э.), царь Древней Македонии, полководец 119

Флобер Густав (1821—1880), французский писатель 243

Фохт Карл (1817—1896), немецкий естествоиспытатель, философ 17

Фрейганг Андрей Иванович (1806–?) цензурный деятель 285

Фриккен Алексей Федорович, искусствовед, специалист по итальянскому искусству, знакомый Н. А. Добролюбова 232–233
Фурье Шарль (1772—1837), французский социалист-утопист 175, 246
Фус, провизор 430

Хованский, князь 33
Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), поэт, философ, публицист 366
Хрущев, домовладелец в Петербурге 240

Цезарь Гай Юлий (102 или 100 – 44 до н. э.), римский государственный и политический деятель, полководец 74
Ценина, *см.* Жуковская Е. И.
Церетелев Дмитрий Николаевич, князь (1832—1911), поэт, журналист *273*
Цявловский Мстислав Александрович (1883—1947), литературовед 360

Чаговец Всеволод Андреевич (1877–1950), украинский театровед, журналист, историк *472*
Челышев Михаил Дмитриевич (1866–1915), депутат III Государственной Думы, городской голова Самары; активный сторонник борьбы за трезвость 424
Черкезов Варлаам Николаевич (1846—1925), слушатель Петровской земледельческой академии 240
Чернолесов А., *см.* Бутенев
Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889), писатель 51–52, 54–58, 75–78, 80–81, 84–87, 98, 103–104, 113–114, 123, 125, 128, 130, 135–139, 145–147, 150, 156, 162, 171, 174–179, 183, 208, 229, 231–236, 242–245, 255, 258, 261–262, 266, 275, 312, 317, 355–356, 384–386; *22, 50, 52, 54, 56, 113, 135, 137–139, 179, 233, 276, 338, 355, 452, 457, 459, 461–461, 464, 466, 467*
Чернявский, казанский помещик 38
Чехов Антон Павлович (1860—1904), писатель 160, 185, 195, 200–202, 239, 317, 416; *201, 462*
Чешихин Василий Евграфович (псевдоним **Ч. Ветринский**; 1866—1923), историк литературы *151, 314*
Чубинский Павел Платонович (1839–1884), украинский этнограф, фольклорист, поэт 448; *448*

Шаликов Петр Иванович (1768—1852), писатель, журналист 364
Шафарик Павел Йозеф (1795–1861), словацкий и чешский славист, деятель чешского и словацкого национально-освободительного движения 432
Шахматов Алексей Александрович (1864—1920), филолог 102
Швецов Сергей Порфирьевич (1858–1930), деятель народнического движения, участник подделки «Светочей» *466*
Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861), украинский поэт 319, 369, 413–451; *426, 443, 445, 450, 453, 471–475*
Шевырев Степан Петрович (1806—1864), критик, историк литературы 65
Шекспир Вильям (1564— 1616), английский драматург 49, 51, 56, 66, 71, 74, 82, 90, 227, 372, 390; *459, 469–470*
Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891), общественный деятель, публицист 232
Шеллер Александр Константинович (псевдоним **А. Михайлов**; 1838 –1900), писатель, журналист 375
Шелли Перси Биши (1792–1822), английский поэт 415
Шеншина (**Борисова**) **Надежда Афанасьевна** (1832–1869), сестра А. Фета, заболела психическим расстройством 95; *95*
Шереметева Анна Сергеевна 269; *269*
Шибанов Василий (?–1564, казнен), слуга князя А. М. Курбского 395, 411; *471*
Шидловский Михаил Романович (1826—1880), начальник Главного управления по делам печати в 1870—1871 гг., товарищ министра внутренних дел 301, 304–305, 307
Ширяев Василий, мастер декоративной живописи, у которого учился Т. Г. Шевченко 445–446

Штернберг Василий Иванович (1818–1845), живописец, жанрист и пейзажист 447
Шувалов Петр Андреевич (1827–1889), граф, шеф жандармов, начальник III Отделения 160
Шуйский Иван Петрович (?–1588), князь, боярин, воевода; противник Бориса Годунова; с 1586 г. в ссылке, затем убит 395, 411

Щапов Афанасий Прокофьевич (1830—1876), писатель, историк 232
Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931), историк, литературовед *12*
Щедрин, *см.* Салтыков-Щедрин М. Е.
Щепкин Михаил Семенович (1788—1863), драматический актер 35, 432, 447
Щербатов, участник коммуны в Эртелевом переулке 240
Щербина Николай Федорович (1821—1869), поэт, переводчик 70, 369
Щукин Петр Иванович (1853–1912), известный коллекционер, собиратель русских и восточных древностей; для популяризации своего собрания выпускал специальные иллюстрированные издания, получившие название «Щукинских сборников» 315; *128*

Эдельсон Евгений Николаевич (1824—1868), критик 134
Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959), литературовед 88, 360; *460*
Эльсберг (наст. фам. **Шапирштейн-Лерс**) **Яков Ефимович** (1901–1972), критик *452*
Энгельгардт Александр Николаевич (1832–1891), химик, публицист, переводчик 174
Энгельгардт Анна Николаевна (1838—1903), писательница, переводчица 174
Энгельгардт Павел Васильевич, помещик-крепостник, штаб-ротмистр, адъютант Виленского генерал-губернатора 446
Энгельгардт Софья Владимировна (1828—1894), писательница 60
Энгельс Фридрих (1820—1895), основоположник научного коммунизма 7, 9–10, 15, 17, 22, 35–36, 38, 42–43, 345; *9–10, 15, 35–36, 42*
Эртель Александр Иванович (1855—1908), писатель 160

Юдин П., биограф Н. В. Успенского *111*
Юзов (псевд. **Иосифа Ивановича Каблица**, 1848–1893), публицист, призывавший «не учить народ, а учиться у него» 151
Юматов Николай Николаевич, публицист, издатель 1860-х годов *469*
Юргенс, владелец ресторана 448
Юшков Павел Львович (1864—1928), журналист, мемуарист 22–23, 26, 32; *111*

Языков Владимир Николаевич, коллежский секретарь, шурин В. А. Слепцова 249
Языков Николай Михайлович (1803—1846), поэт 35
Языков Петр Михайлович (1798—1851), помещик, брат Н. М. Языкова 19
Языкова Елизавета Петровна (1805—1848), сестра декабриста В. П. Ивашева 18–20, 33–34
Языковы, 39
Яковлев, парикмахер 429
Якубович Петр Филиппович (псевдонимы: **П. Я.** и **Л. Мельшин**; 1860—1911), писатель-народоволец 318, 419; *318*
Якушкин Павел Иванович (1820—1872), фольклорист, беллетрист-этнограф 67, 104, 107, 139, 193, 222, 372; *222*
Ямпольский Исаак Григорьевич, (1903—1991), историк литературы 360

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЮДИ И КНИГИ

Григорий Толстой и Некрасов 7
Дружинин и Лев Толстой 45
Неизвестный Петров 101
Жизнь и творчество Николая Успенского 110
Жизнь и творчество Василия Слепцова 165
Тайнопись «Трудного времени» 203
История слепцовской коммуны 240
Ростислав и его письма к Некрасову 269
От дилетантизма к науке 313

ПРИЛОЖЕНИЕ

Татьяна Петровна Пассек и ее «Воспоминания» 363
Аскетический талант 374
[Екатерина Жуковская и ее «Воспоминания»] 383
Поэт-духовидец (Алексей Толстой) 393
Шевченко (1909) 413
Излишнее рвение 422
Шевченко (1914) 426

Комментарии 452
Указатель имен 476